ISSN 0130 – 6545

8.1990

Иностранная литература

Елена на стенах Трои

Цветные иллюстрации номера — работы французского художника Гюстава Моро

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Галатея
Этюд

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ

А. М. АДАМОВИЧ

Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора

О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА

Т. П. ГРИГОРЬЕВА

Я. Н. ЗАСУРСКИЙ

А. М. ЗВЕРЕВ

И. Ф. ЗОРИНА

Т. П. КАРПОВА

Т. В. ЛАНИНА

Т. Л. МОТЫЛЕВА

В. Ф. ОГНЕВ

П. В. ПАЛИЕВСКИЙ

В. С. ПЕРЕХВАТОВ

Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь

К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора

Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

8

август 1990

СОДЕРЖАНИЕ

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Когда я умирала *(Повесть. Перевод с английского В. Голышева)* 5

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ — Стихи из двух книг *(Вступление и перевод с польского Владимира Британишского)* 79

ЧЕСЛАВ ДЗЕКАНОВСКИЙ — Frutti di mare *(Фрагменты книги. Перевод с польского В. Бурякова. Вступление Сергея Станкевича. Послесловие Вацлава Садковского)* 91

ГЕНРИ МИЛЛЕР — Тропик Рака *(Роман. Окончание. Перевод с английского Г. Егорова)* 129

КРИТИКА

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС — По течению реки ▲ Г. ПОЛЯК — Генри Миллер и русские на Западе *(О русской версии романа)* 199

«Как много предстоит сделать с обеих сторон...»
Писатели ФРГ о России и русской литературе *(Участвуют: Вольфганг Кёппен, Ханс Магнус Энценсбергер, Мартин Вальзер, Дитер Веллерсхоф, Гюнтер Грасс, Эрнст Юнгер, Зигфрид Ленц, Вальтер Йенс. Вступление, составление и перевод с немецкого Юрия Архипова)* 204

Публицистика

ВЛАДИМИР ЗОТОВ — Китай: «Дух Лэй Фэна» против «буржуазной либерализации» 214

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД — Судьба советских перебежчиков *(Окончание. Перевод с английского Иосифа Косинского и Людмилы Скорописцевой. Послесловие Виктора Перельмана)* 231

Курьер «ИЛ» 253

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1990

Главный художник С. И. Мухин.
Технический редактор Е. П. Поляков.

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Совета народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 15.06.1990. Подписано в печать 31.10.90.
Формат 70×108 1/16. Печать высокая, бумага книжно-журнальная.
Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 29,88.

Тираж 350 000 экз. (1-й завод: 1—280 000 экз.). Зак. 2640. Цена 1 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическом объединении ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21. Зак. 1232.
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

Когда я умирала

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского В. ГОЛЫШЕВА

Дарл

Мы с Джулом идем тропинкой через поле, друг за другом. Я впереди на пять шагов, но если посмотреть от хлопкового сарая, видно будет, что растрепанная и мятая соломенная шляпа Джула — на голову выше моей.

Тропа пролегла прямо, как по шнуру, ногами выглаженная, июлем обожженная, словно кирпич, между зелеными рядами хлопка, к хлопковому сараю, огибает его, сломавшись четырьмя скругленными прямыми углами, и дальше теряется в поле, утоптанная и узкая.

Хлопковый сарай сложен из иетесаных бревен, замазка из швов давно выпала. Квадратный, с просевшей односкатной крышей, пустой, сквозной и ветхий, он клонится под солнцем, и оба широких окна его смотрят из супротивных стен на тропинку. Я сворачиваю перед сараем и огибаю его по тропинке. Джул сзади в пяти шагах, глядя прямо перед собой, вошел в окно. Он глядит прямо вперед, светлые глаза будто из дерева иа деревянном лице, и, в четыре шага пройдя сарай насквозь, негнущийся и важный, как деревянный индеец на табачном киоске, неживой выше пояса, выходит через другое окно на тропинку как раз, когда я выхожу из-за угла. Друг за другом в двух шагах — только теперь он первым — мы идем по тропинке к подножию обрыва.

Повозка Талла — у родника, привязана к перилам, вожжи захлестнуты за сиденье. В повозке два стула. Джул останавливается у родника, снимает с ивовой ветки тыкву и пьет. Я миную его и, поднимаясь по тропинке, слышу, как пилит Кеш.

Когда я выхожу наверх, он уже перестал пилить. Стоит в стружках и примеряет одну к другой две доски. Между тенями они желтые, как золото, мягкое золото, на них плавные ложбины от тесла: хороший плотник Кеш. Он опер обе доски на козлы, приставив к начатому гробу. Стал на колени и, прищуря один глаз, смотрит вдоль ребра, потом снимает доски и берет тесло. Хороший плотник. Лучшего гроба и пожелать бы себе не могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и удобно. Я иду к дому, а вслед мне Тюк, — тесло Кеша Тюк Тюк.

Кора

Ну вот, подкопила яиц я и вчера испекла. Пироги удались на славу. Куры нам — большое подспорье. Они хорошо несутся — те, которые оставили нам опоссумы и прочие. Змеи еще, летом. Змея разорит курятник быстрей кого угодно. А раз обошлись они нам гораздо дороже, чем думал мистер Талл, и я обещала разницу покрыть за счет того, что они несутся лучше, мне приходилось яйца экономить — ведь я же настояла на покупке. Мы могли бы взять кур подешевле, но мисс Лоуингтон советовала завести хорошую породу — я и пообещала, тем паче мистер Талл сам говорит, что коровы и свиньи хорошей породы в конце концов окупаются. А когда мы столько кур потеряли, самим пришлось от яиц отказаться — не слушать же мне от мистера Талла попреки, что это я настояла на покупке. Тут мне мисс

Лоуингтон сказала о пирогах, и я подумала, что могу испечь и за раз получить чистой выручки столько, сколько стоили бы еще две куры вдобавок к нашим. Если откладывать по яичку, то и яйца ничего не будут стоить. А в ту неделю они особенно неслись, и, кроме продажных, я и на пироги скопила и сверх того столько, что и мука, и сахар, и дрова для плиты нам как бы даром достались.

Вот вчера я испекла — и уж так старалась, как ни разу в жизни, на славу пироги удались. Нынче утром привозим их в город, а мисс Лоуингтон говорит, что та дама передумала и гостей звать не будет.

— Все равно должна была взять, — говорит Кэт.

— Ну, — говорю, — на что они ей теперь?

— Должна была взять, — Кэт говорит. — Конечно, богатая городская дама, ей что? — захотела и передумала. Это бедным нельзя.

Богатство — ничто перед лицом Господа, потому что Он видит сердце.

— Может, в субботу на базаре продам, — говорю. — Пироги удались на славу.

— Можешь получить за них по два доллара, — говорит Кэт.

— Да они мне, можно сказать, ничего не стоили. Яйца я накопила и обменяла дюжину на муку и сахар Так что пироги, можно сказать, ничего не стоили, и мистер Талл сам понимает· отложила я сверх того, что на продажу, — можно считать, нашли их или в подарок получили.

— Должна была взять пироги, — говорит Кэт, — ведь она все равно что слово тебе дала.

Господь видит сердце Если так Он захотел, что у одних людей одно понятие о честности, а у других другое, то ие мне Его волю оспаривать.

— Да на что они ей? — говорю. А пироги удались на славу.

Одеялом накрыта до подбородка, наружу только голова и руки. Она лежит на высокой подушке, чтобы смотреть в окно, и каждый раз, когда он берется за пилу или топор, мы его слышим. Да и оглохни, кажется, а взглянуть только на ее лицо — все равно услышишь его и почти что увидишь. Лицо у нее осунулось, кожа обтянула белые валики костей. Глаза истаивают, как два огарка в чашечках железных подсвечников. Но вечиой благодати иет на ней.

— Пироги удались на славу, — я говорю. — Но Адди пекла лучше.

А как девчонка стирает и гладит — если это и вправду глаженое, — видно по ее наволочке. Может, хоть тут поймет свою слепоту — когда слегла и жива только заботами и милостями четверых мужчин и сорванца-девчонки.

— У нас тут никто не умеет печь, как Адди Бандрен, — говорю. — Оглянуться не успеем, как она встанет на ноги, примется печь, и тогда нашу стряпню никому ие сбудешь.

Бугорок от нее под одеялом не больше, чем от доски, и если бы не шелест шелухи в матрасе, нипочем не догадаться, что дышит. Даже волосы у щеки и те не колыхнутся, хотя девчонка стоит прямо над ней и обмахивает веером. У нас на глазах, не переставая махать, поменяла руку.

— Уснула? — спрашивает Кэт

— На Кеша смотреть не может, — говорит девчоика.

Слышим, как вгрызается в доску пила. С храпом. Юла повернулась иа сундуке и смотрит в окно. Красивые на ней бусы и к красной шляпе идут. Не скажешь, что стоили всего двадцать пять центов

— Должна была взять пироги, — говорит Кэт.

Деньги эти я бы с толком употребила А пироги мне, кроме работы, можно считать, ничего не стоили Скажу ему. промашка у каждого может случиться, но не каждый, скажу, выйдет после нее без убытка. Не все, скажу, могут съесть свои ошибки

Кто-то идет по передней Это Дарл. Прошел мимо двери, не заглянув, и скрывается в задней части дома. Юла смотрит на иего, когда он проходит. Рука у нее поднялась, трогает бусы, потом волосы. Заметила, что я за ней наблюдаю, и сделала пустые глаза

Дарл

Папа и Вернон сидят на задней веранде. Оттянув двумя пальцами нижнюю

губу, папа ссыпает за нее молотый табак с крышки табакерки. Они обернулись и смотрят на меня, а я перехожу веранду, опускаю тыкву в кадку с водой, пью.

— Где Джул? — спрашивает папа.

Еще мальчишкой я понял, насколько вкуснее вода, когда постоит в кедровой кадке. Прохладно-теплая и отдает жарким июльским ветром в кедровой роще. Она должна постоять хотя бы часов шесть, и пить надо из тыквы. Из металла никогда не надо пить.

А ночью она еще вкуснее. Я лежал на тюфяке в прихожей, ждал и, когда они все засыпали, вставал и шел к кадушке. Кадушка черная, полка черная, гладь воды — круглый проем в ничём, и, пока не зарябилась от ковша, видишь звезду-другую в кадке, и в ковше звезду-другую, пока не выпил. Потом я подрос, повзрослел. Ждал, чтобы уснули, и лежал, задрав подол рубашки, слышал, что спят, осязал себя, хотя не трогал себя, чувствовал, как веет прохладная тишь на мои члены, и думал: не занят ли этим же в темноте Кеш, не занялся ли этим года за два до того, как я захотел заняться.

У папы ноги растоптанные, пальцы кривые, корявые, гнутые, а мизинцы совсем без ногтей — оттого что мальчишкой подолгу работал в сырых самодельных туфлях. Его башмаки стоят возле стула. Как будто вырублены из чугуна тупым топором. Вернон был в городе. Чтобы он поехал в город в комбинезоне, я ни разу не видел. Говорят: это все жена. Тоже была когда-то учительницей

Я выплеснул опивки из ковша на землю и утерся рукавом. К утру дождь пойдет. А то еще и до ночи.

— В хлеву, — отвечаю. — Запрягает мулов.

С конем своим он возится. Пройдет через хлев на выгон. Коня не видно: он в сосновых посадках, в холодке. Джул свистит пронзительно, один раз. Конь всхрапывает, и Джул видит его: мелькнул, весело лоснясь, среди синих теней. Джул опять свистит; конь ссыпается по склону, упираясь передними ногами; острыми ушами прядет, разноцветными глазами водит — и остановился боком к Джулу, шагах в десяти, глядит на него через плечо, в игривой и настороженной позе.

— Давай-ка сюда, почтенный, — говорит Джул. И срывается с места. Стремительно: полы отлетели назад, треплются языками, как пламя. Развевая гриву и хвост, вскидываясь и кося глазом, конь отбегает недалеко и снова останавливается, собрав ноги; смотрит на Джула. Джул медленно идет к нему, не шевеля руками. Если бы не двигались ноги Джула, эти две фигуры на солнце — как живая картина.

Когда Джул подходит к коню почти вплотную, конь взвивается на дыбы и норовит ударить его копытами. Джул заключен в поблескивающий копытный лабиринт, словно обнят призрачными крыльями; между ними, под закинутой грудью, он движется со взрывчатой гибкостью змеи. За миг до того, как рывок отдастся в его руках, он видит со стороны свое тело, вытянувшееся над землей в змеином всхлесте; поймал ноздри коня и снова стоит на земле. Застыли в неимоверном напряжении: конь будто пятится, и бедра его вздрагивают от натуги; Джул, вросший ногами в землю, душит коня, одной рукой захватив ноздри, а другой часто и ласково гладит его, осыпая грязной, яростной бранью.

Длится миг неимоверного напряжения; конь дрожит и стонет. Но вот Джул у него на спине. Сгорбясь, взвился в воздух, словно бич, и еще в полете приладил тело к коню. Мгновение конь стоит, расставив ноги, с опущенной головой, потом бросается вскачь. Джул высоко, как пиявка на холке, а конь тяжелыми прыжками несется вниз по склону и, засеменив, останавливается перед изгородью.

— Ну, — говорит Джул, — хватит, если наигрался.

В хлеву Джул соскакивает на ходу. Конь входит в стойло, Джул за ним. Не оглянувшись, конь пробует лягнуть его, и копыто с пистолетным грохотом ударяет в стену. Джул пинает его в брюхо; конь, оскалясь, поворачивает голову; Джул бьет его по морде кулаком, потом, проскользнув вперед, вскакивает на корыто. Держась за ясли, он опускает голову и смотрит поверх перегородок в дверь. На тропинке никого, отсюда не слышно даже пилы Кеша. Он тянется вверх, торопливо стаскивает охапками сено и наталкивает в ясли.

— Жри. Ну-ка живее подметай, гад толстопузый, пока не отняли. Сученок мой хороший, — говорит он.

Джул

Все потому, что он торчит под самым окном, пилит, колотит по чертову ящику. У нее на глазах. И каждый вздох ее полон этого стука и ширканья, и все у нее на глазах, а он долбит ей: Видишь? Видишь, какой хороший тебе строю? Я ему сказал, чтобы перешел на другое место. Ты что, ей-Богу, вколотить ее туда хочешь? — говорю. Вот так же раз, когда он был мальчишкой, она сказала: было бы удобрение, я цветы бы посадила, — а он взял хлебный противень и принес из хлева полный навозу.

И эти теперь расселись, как стервятники. Ждут, обмахиваются. Я сказал: ну что ты стучишь и пилишь, человеку уснуть невозможно, — а у ней руки на одеяле — будто выкопал кто два корешка, помыть хотел, да не отмываются. Вижу веер и руку Дюи Дэлл. Дай ей покой, говорю. Стучат, и пилят, и воздух над лицом гоняют, так что усталому человеку вздохнуть некогда, и тесло это чертово знай себе: Щепку долой. Щепку долой. Щепку долой — чтобы каждый прохожий на дороге остановился, посмотрел и сказал: какой хороший плотник. Моя бы воля, когда Кеш упал с церкви или когда на отца воз дров свалился и он лежал хворал, — моя бы воля, не было бы такого, чтобы каждая сволочь в округе приходила поглазеть на нее, потому что если есть Бог, то на кой тогда Он нужен. Были бы я и она, двое, на горе, и я бы как камни катил им в морду, подбирал и бросал с горы, в морду, в зубы, куда попало, ей-Богу, пока она не успокоилась бы, и не стучало бы чертово тесло: Щепку долой. Щепку долой, и мы успокоимся.

Дарл

Смотрим, как он огибает угол и поднимается по ступенькам. На нас не глядит.

— Готов? — спрашивает.

— Если ты запряг, — отвечаю. Говорю: — Погоди.

Стал, смотрит на папу. Вернон сплевывает, не шевелясь. Сплевывает с чинной неторопливостью, прицельно, в рябую пыль под верандой. Папа потирает колени. Глядит куда-то за обрыв на равнину. Джул посмотрел на него еще немного, потом идет к ведру и снова пьет.

— Пуще всех не люблю нерешенного дела, — говорит папа.

— Это же три доллара, — говорю я.

Рубашка на горбу у папы выгорела сильнее, чем в других местах. Пота у него на рубашке нет. Ни разу не видел потного пятна у него на рубашке. Ему было двадцать два года, и он заболел от того, что работал на солнце, а теперь объясняет всем, что если еще раз вспотеет — умрет. По-моему, сам в это верит.

— Но если она отойдет, до того как вернетесь, — говорит папа, — ей будет обидно.

Вернон сплевывает в пыль. А дождь к утру пойдет.

— Она рассчитывала на это, — говорит папа. — Она захочет ехать сразу. Я ее знаю. Я ей обещал, что упряжка будет на месте, и она на это рассчитывает.

— Три доллара нам тогда сильно пригодятся, — я говорю.

Он глядит на равнину и потирает колени. С тех пор как у папы выпали зубы, он будто медленно жует губами, когда опускает голову. Из-за щетины он напоминает лицом старую собаку. Я говорю:

— Ты поскорее решай, чтобы мы до темноты туда поспели и погрузились.

— Мама не такая плохая, — Джул говорит. — Не болтай, Дарл.

— В самом деле, — говорит Вернон. — Сегодня она больше на себя похожа — за всю неделю такой не была. Когда вы с Джулом вернетесь, она уж сидеть будет.

— Тебе лучше знать, — говорит Джул. — То и дело ходите, смотрите. То ты, то родня твоя.

Вернон смотрит на него. У Джула на румяном лице глаза будто из светлого дерева. Он на голову выше нас всех, всегда был выше. Я им говорю, что поэтому мама его и лупила больше и баловала. Потому что торчит над всеми. Потому, говорю, и Джулом [1] назвала

---

[1] Jewel — драгоценность, сокровище *(англ.)*.

— Не болтай, Джул, — говорит папа, словно и не особенно прислушивался. Он глядит на равнину и потирает колени.

— Ты можешь одолжить упряжку у Вернона, а мы тебя догоним, — я говорю. — Если она нас не дождется.

— Хватит ерунду-то болтать, — говорит Джул.

— Она захочет ехать на своей, — говорит папа. Он трет колени. — Пуще всех не люблю.

— Все потому, что лежит и смотрит, как Кеш стругает чертов... — говорит Джул. Говорит грубо, со злостью, но самого слова не произносит. Так мальчишка буянит в темноте, распаляет в себе храбрость и вдруг затих, своего же шума испугался.

— Она сама этого хотела — и на повозке тоже на своей хочет, — говорит папа. — Ей покойней будет знать, что он хороший и притом свой. Она всегда была щепетильной женщиной. Сам знаешь.

— Свой так свой, — говорит Джул. — Только кто тебе сказал, что он... — Джул смотрит папе в затылок, и глаза у него будто из светлого дерева.

— Да нет, — вступает Вернон, — она продержится, пока Кеш не кончит. Продержится, пока все не приготовят, пока срок ей не придет. А дороги сейчас такие, что вы ее одним духом домчите.

— Дождь собирается, — говорит папа. — Я невезучий человек. Всю жизнь невезучий. — Он потирает колени. — Доктор того и гляди заявится, будь он неладен. Не мог я его раньше известить. Приехал бы назавтра, сказал, что срок подходит, — она бы ждать не стала. Я ее знаю. Есть повозка, нет повозки — ждать не стала бы. Тогда бы она огорчилась, а я ее огорчать не хочу ни за что на свете. Родные ее похоронены в Джефферсоне и ждут ее там — понятно, ей будет невтерпеж. Я ей слово дал, что мы с ребятами доставим ее туда без проволочки, лишь бы мулы не подвели. — пускай не беспокоится. — Он потирает колени. — Не люблю нерешенного дела.

— Да что вам неймется? — грубо, со злостью говорит Джул. — И Кеш круглый день у ней под окном пилит и стучит по...

— Она сама так хотела, — говорит папа. — Ни любви, ни жалости к ней у тебя нету. И не было никогда. Мы с ней ни у кого одалживаться не станем. Не одалживались сроду, и ей спокойней спать, когда знает это, что ее родная кровь напилит доски и забьет гвозди. Она всегда за собой убирала.

— Три доллара ведь, — я говорю. — Ну, ехать нам или не ехать? — Папа потирает колени. — Завтра к вечеру вернемся.

— Ну... — говорит папа. Волосы торчат вбок, он смотрит на равнину и медленно переталкивает табак из-за щеки за щеку.

— Пошли, — говорит Джул. Спускается с веранды. Вернон аккуратно сплевывает в пыль.

— Только чтобы к вечеру, — говорит папа. — Я не хочу, чтобы она ждала.

Джул оглянулся и сворачивает за дом. Я иду в прихожую и до самой ее двери слышу голоса. Дом наш немного наклонился под гору, и сквозняк в прихожей дует всегда с подъемом. Бросишь перо у входа, его подхватит, вынесет к потолку, отгонит к черной двери, и там оно попадает в нисходящий ток; то же самое — с голосами. Войдешь в прихожую, и они будто над головой у тебя, в воздухе говорят.

Кора

Никогда не видела такой душевности. Он словно чувствовал, что больше ее не увидит, что Анс Бандрен прогонит его от материнского смертного одра и на этом свете им больше не свидеться. Я всегда говорила, что Дарл не такой, как они. Что он один у них пошел в мать, один знает, что такое привязанность. Не чета Джулу, а уж кого еще, кажется, она так трудно носила, так нежила и баловала и столько терпела от его скандального, угрюмого характера, кто еще так изводил ее своим озорством — на ее бы месте я порола его почем зря. И не пришел к ней попрощаться. Не упустить бы лишние три доллара — а что мать не поцеловала напоследок, так Бог с ней. Бандрен до мозга костей, никого не любит, ни до кого дела нет — только смотрят, где бы чего урвать, да поменьше утруждаясь. Мистер Талл говорит, что Дарл просил их подождать. Чуть не на коленях, говорит,

умолял не отсылать его, когда она в таком состоянии. Куда там — ведь Ансу с Джулом надо выручить три доллара. Кто знает Анса, ничего другого и ждать не мог, но подумать, что отступился Джул, любимый сын, ради которого она себя забывала столько лет... Меня не обманешь: мистер Талл говорит, что она любила Джула меньше всех, но я-то знаю. Знаю, любила больше всех — за то же самое, за что терпела Анса Бандрена, хотя его отравить бы стоило, как говорит мистер Талл, — и нате, из-за трех долларов не поцеловался с матерью напоследок.

А я последние три недели приходила при всякой возможности, да и когда не было ее, приходила, в ущерб своей семье и обязанностям, чтобы хоть кто-нибудь при ней побыл в последние минуты, хоть чье-нибудь знакомое лицо поддержало в ней дух перед лицом Великого Неведомого. Я не жду похвалы за это: я надеюсь, что и ко мне отнесутся так же. Но, слава Богу, это будут лица моих родных и любимых, моя плоть и кровь, потому что посчастливилось мне с мужем и детьми, как мало кому, хоть и тяжело с ними порой приходилось.

Одинокая женщина, одиноко жила, гордо, не показывала виду, скрывала, что ее только терпят, — ведь еще тело ее в гробу не остыло, а они уже повезли ее за сорок миль хоронить, презрев волю Божью. Не положили рядом со своими Бандренами.

— Она сама велела отвезти, — говорит мистер Талл. — Хотела лежать со своими родственниками

— Так почему живая туда не поехала? — спрашиваю. — Никто бы ее не удерживал — вон и младший у них подрастает, скоро станет бессердечным эгоистом, как остальные.

— Она сама хотела. Анс при мне говорил.

— А ты и рад поверить. Похоже на тебя. Да брось.

— Поверю — тому, о чем промолчавши, он никакой выгоды от меня не получит.

— Да брось, — я сказала. — Живая она или мертвая, место женщине — при муже и детях. Придет мой час, захочу я, по-твоему, уехать обратно в Алабаму, брошу тебя с дочерьми — если я уехала оттуда по своей воле, чтобы делить с тобой радость и горе до самой смерти и после?

— Ну, люди разные.

— Да уж, надо думать. Я старалась жить праведно перед Богом и людьми, к чести и утешению моего мужа-христианина, и чтобы заслужить любовь и почтение моих детей-христиан. В смертный час я буду знать, что исполнила долг и меня ждет награда, и окружать меня будут любящие лица, их последний поцелуй я унесу с собой. Не буду умирать одна, как Адди Бандрен, пряча свою гордость и разбитое сердце. Радоваться смерти. Лежать на подушках и смотреть, как Кеш строит гроб, следить, чтобы не сляпал наспех, чего доброго, — ведь они только об одном волнуются: успеть бы еще три доллара выручить, пока дождь не зарядил, река не поднялась, пока можно на тот берег переправиться. Если бы не задумали везти последнюю подводу, так, чего доброго, перенесли бы ее на одеяле в повозку, переправили через реку и там бы стали ее смерти ждать, христиане.

А Дарл — нет. Никогда не видела такой душевности. Бывает, что я перестаю верить в людей, меня одолевают сомнения. Но всякий раз Господь оживляет во мне веру, показывает свою великую любовь к своей твари. Не Джул, хотя она с ним нянчилась. Нет, Дарл — тот, про кого говорят, что он чудной, что лентяй и слоняется без дела, как Анс, а вот, мол, Кеш у них хороший плотник — всегда за столько дел берется, что кончить ничего не может, а у Джула один интерес: как бы заработать, да чтобы люди о нем говорили; а полуголая девчонка эта все стояла над Адди с веером, и если кто хотел с ней заговорить, подбодрить ее, сразу вместо нее отвечала, как будто не хотела людей к ней подпускать.

Нет. Дарл. Он подошел к двери, встал там и посмотрел на умирающую мать. Только посмотрел, и я опять почувствовала великую любовь Господню и Его милость Я поняла, что с Джулом она только притворялась, а по-настоящему любили и понимали друг друга — она и Дарл. Он только посмотрел на мать, но не зашел, чтобы она его не увидела и не расстроилась: он ведь знал, что Анс отсылает его и больше им не свидеться. Не сказал ничего, только посмотрел.

— Чего тебе, Дарл? — спросила Дюи Дэлл, а сама веером машет и говорит

быстро — даже его не хочет подпускать. Он не ответил. Стоял и смотрел на умирающую мать, говорить не мог от сильного чувства.

Дюи Дэлл

Первый раз мы с Лейфом собирали хлопок. Папа не потеет, потому что умрет, если опять заболеет, и кто приходит к нам, все помогают. А Джулу все трын-трава, наших забот знать не хочет, по заботе не родной. А Кеш будто распиливает долгие желтые грустные дни на доски и к чему-нибудь прибивает. И папе дознаться некогда, занят тем, что соседей к работе приставляет вместо себя, потому что, думает, соседи так и должны всегда друг к другу относиться. Я думала, и Дарл вряд ли узнает — сидит за ужином, глаза глядят куда-то за еду и за лампу, в глазах полно земли, выкопанной из головы, а ямы заполнены далью, что дальше земли.

Мы шли по ряду, собирали, лес и укромная тень все ближе, собирали в мой мешок и в мешок Лейфа, все ближе к тени. Я сказала: соглашусь или не соглашусь — это когда мешок наполовину полон, а если к лесу станет полон, тогда уже не моя воля. Сказала: если нельзя мне, так мешок не будет к лесу полон, я поверну на новый ряд, а если полон будет, так воля не моя. Тогда я вроде как должна, и это не в моей воле. И мы собирали, шли к укромной тени, и глаза наши нет-нет да посмотрят в одну сторону, то на его руки, то на мои, а я ничего не говорила. «Что ты делаешь?» — я говорю, а он: «Собираю в твой мешок». И он стал полон к концу ряда, значит воля не моя.

Ну и случилось, раз воля не моя. Там и случилось, а потом я увидела Дарла, и он знал. Сказал без слов: «я знаю», — как теперь сказал без слов, что мама умрет, и я поняла, что он знает: если бы словами сказал: «знаю», я бы не поверила, что он там был и видел. А он сказал, что не знает, и я сказала: «Папе хочешь доложить, убить его хочешь?» — без слов сказала, а он без слов сказал: «Зачем?». Вот почему я могу знаться с ним без слов и ненавидеть за то, что знает.

Стал в дверях и смотрит на маму.

— Чего тебе, Дарл? — я спрашиваю.

— Она умрет, — он говорит. И входит старый ворон Талл поглядеть, как она умирает, но их я могу обмануть.

— Когда она умрет? — я спрашиваю.

— До того, как вернемся.

— Тогда зачем берешь Джула?

— Чтобы грузить помог.

Талл

Анс потирает колени. Комбинезон на нем выгорел; на колене шерстяная заплата из воскресных брюк, заносилась до железного блеска.

— Пуще всех не люблю, — говорит он.

— Человеку иногда надо вперед заглядывать, — говорю я. — А если не мудрить долго — что так, что этак, большого урона не будет.

— Она захочет ехать сразу. До Джефферсона и — по хорошей погоде не близко.

— Дорога-то сейчас сухая, — я говорю.

Однако ночью дождь будет. Его родню хоронят у Новой Надежды — туда меньше трех миль. Но на то он и Анс, чтобы взять жену из такого места, докуда добрый день езды, и чтобы она умерла у него.

Он смотрит на равнину и потирает колени.

— Пуще всех не люблю.

— Они свободно обернутся. Тут и волноваться нечего.

— Три доллара как-никак, — говорит Анс.

— А может, им и назад будет не к спеху. Хочется так думать.

— Она отходит, — говорит Анс. — Она решила.

Тяжелая жизнь у женщин, верно. У некоторых. Моя мама, скажу, умерла на восьмом десятке. Работала каждый день, в дождь и в вёдро, ни дня не хвора-

ла с тех пор, как родила последнего, — а потом вроде огляделась вокруг, пошла, взяла ночную рубашку с кружевом, сорок пять лет пролежавшую в сундуке и ненадеванную, надела, легла на кровать, натянула одеяло и глаза закрыла. «Вам теперь за отцом ухаживать, — сказала. — Старайтесь. Устала я».

Анс потирает колени.

— Господь дал, — говорит он.

Слышим, как пилит и стучит за домом Кеш.

Правда. Истинней слова не молвит никто.

— Господь дал, — говорю я.

По склону поднимается их мальчик. Несет рыбу чуть ли не себя с ростом. Бросил на землю, крякнул, сплюнул в сторону, как взрослый. Чуть ли не с него, здорова.

— Это что? — говорю. — Кабан? Где поймал?

— Под мостом, — отвечает. Перевернул ее: на мокрый бок налипла пыль, глаз — как шишка, заклеен грязью.

— Так и будет здесь лежать? — спрашивает Анс.

— Маме показать хочу, — говорит Вардаман. Он смотрит на дверь. Ветер доносит до нас оттуда голоса. И стук Кеша. — У ней там гости, — говорит мальчик.

— Да нет, это мои, — говорю я. — Им тоже интересно посмотреть.

Он молчит и смотрит на дверь. Потом глядит на рыбу в пыли. Переворачивает ее ногой и тычет большим пальцем в глаз. Анс смотрит на равнину. Вардаман смотрит на лицо Анса, потом на дверь. Поворачивается, отходит к углу дома, и тогда Анс, не оглянувшись, окликает его:

— Почисть рыбу.

— А Дюи Дэлл не может почистить? — спрашивает он.

— Почисть рыбу, — говорит Анс.

— Ну, пап.

— Ты почисть, — говорит Анс. Он не обернулся.

Вардаман возвращается и поднимает рыбу. Она выскальзывает у него из рук, смазывает его мокрой грязью и шлепается в пыль: рот разинут, глаза выпучены, зарылась в пыль, словно стыдится, что она мертвая, и хочет поскорей зарыться в пыль. Вардаман ругает ее, ругает, как взрослый, расставив над ней ноги. Анс не оборачивается. Вардаман поднимает рыбу. Он уходит за дом, неся ее на руках, как дрова, и она свешивается по обе стороны — голова и хвост. Чуть не с него ростом.

У Анса руки торчат из рукавов: всю жизнь на нем рубашки будто с чужого плеча, ни разу не видел, чтобы впору. Как будто Джул отдает ему свои донашивать. Но рубашки не Джула. Он рукастый, хоть и на жердь похож. А рубашка не пропотелая. Из-за этого можно сразу определить, что ансова и больше ничья. Глаза его похожи на два выгоревших угля и смотрят на равнину.

Когда тень доходит до крыльца, он говорит:

— Пять часов.

Только я встал, из дома выходит Кора и говорит, что пора ехать. Анс потянулся за туфлями.

— Не надо, мистер Бандрен, — говорит Кора, — не вставайте.

Он ступил в туфли — втопиул, — он все так делает: будто надеется, что все равно ничего не выйдет, и не стоит даже пытаться. Мы идем в прихожую, и они грохочут, как железные. Он подходит к ее двери, моргает глазами, словно вперед себя заглядывает, туда, где не видно, — словно надеется, что она там будет сидеть, к примеру, на стуле или пол подметать, и заглядывает в дверь удивленно, — он так всякий раз заглядывает и удивляется, что она еще лежит, а Дюи Дэлл обмахивает ее веером. И стал, словно не намерен больше двигаться и вообще ничего не намерен.

— Ну, нам пора, пожалуй, — говорит Кора. — Надо еще курам насыпать.

А дождь, однако, будет. Такие облака не врут, а хлопок поспевает с каждым божьим днем. Еще одна ему забота. Кеш все притесывает доски.

— Если понадобимся, — говорит Кора.

— Анс нам сообщит, — говорю я.

Анс на нас не смотрит. Он озирается, моргает, удивленно как всегда — слов-

но весь измучился от удивления и даже этому удивляется. С моим бы амбаром Кешу так постараться. Говорю:

— Я сказал Ансу, что, может, еще и не понадобимся. Хочется так думать.

— Она решила, — отвечает Анс. — Видно, отойдет.

— Теперь насчет кукурузы, — говорю я. И еще раз обещаю помочь, если не управится — при больной жене и прочем. Как многие по соседству, я уже столько ему помогал, что теперь бросать поздно.

— Хотел сегодня ей заняться, — говорит он. — Да как-то решиться ни на что не могу.

— Может, она продержится, пока убираешь, — говорю я.

— На то воля Божья, — отвечает Анс.

— Да утешит Он тебя, — говорит Кора.

С моим бы амбаром Кешу так постараться. Мы идем мимо, и он поднимает голову.

— Видать, на этой неделе я к тебе не выберусь.

— Не к спеху, — говорю я. — Приходи, как сможешь.

Садимся в повозку. Кора ставит на колени коробку с пирогами.

— Не знаю, что он будет делать, — говорит Кора — Прямо не знаю.

— Бедный Анс, — говорю. — Тридцать с лишним лет заставляла его работать. Утомилась, верно.

— И еще тридцать лет не отстанет, — говорит Кэт. — А не она, так другую найдет, раньше, чем хлопок поспеет.

— Теперь Кешу с Дарлом и жениться можно, — говорит Юла.

— Бедный парень, — говорит Кора. — Бедный мальчик.

— А Джулу? — спрашивает Кэт.

— И ему можно, — отвечает Юла.

— Хм, — Кэт говорит. — Я думаю. Почему не жениться? Я думаю, тут многие девушки опасаются, как бы Джула не окрутили. Ничего, пусть не волнуются.

— Будет тебе! — говорит ей Кора. Повозка затарахтела.

— Бедный парень, — говорит Кора.

Дождь будет ночью. Как пить дать. Повозка тарахтит — большая сушь. Но это пройдет у ней. Пройдет.

— Должна была взять пироги, раз условились, — говорит Кэт.

Анс

Черт бы взял эту дорогу. Да еще дождь собирается. Прямо вижу его отсюда, вижу, встает позади них стеной, встает между ними и моим твердым обещанием. Делаю что могу — когда могу решиться, но черт бы взял этих ребят.

Под самой дверью пролегла, по ней несчастья шляются, и всякое непременно к нам завернет. Стали ее к нам вести, я сказал Адди: не годится жить на дороге, — а у женщины известно какой ответ: «Так поднимайся, переезжай». Говорю ей: не годится это, потому что Господь сделал дороги для передвижения, почему и положил их лежмя на землю. Что двигаться должно, то Он сделал вдлинь — ту же дорогу, или телегу, или лошадь, а что на месте быть должно, то Он сделал торчмя — к примеру, дерево или человека. Не судил Он человеку на дороге жить — ведь что чего раньше, я говорю, дорога или дом? Ты видала ли когда, чтобы Он проложил дорогу возле дома? Никогда не видала, говорю, потому что человек до тех пор не успокоится, пока не поставит дом в таком месте, чтобы из каждой проезжей телеги могли плюнуть ему в дверь, чтобы людям не сиделось, сняться с места хотелось, переехать — а Он их сделал для того, чтобы места держались, как дерево или кукуруза. Если бы Он хотел, чтоб человек всегда передвигался и кочевал, разве не положил бы его вдлинь, на брюхо, как змею? Надо думать, положил бы.

Так провели, чтоб несчастье бродячее мимо не прошло, в мою дверь загляну-ло, да еще придавило налогом. Деньги плати за то, чтобы Кеш забрал себе в голову плотничать, — а если бы не провели дорогу, он бы плотничать не надумал; чтобы с церквей падал и полгода рукой шевельнуть не мог, а мы с Адди за него отдувались — да стругай ты дома сколько влезет, коли так надо.

И с Дарлом тоже. Отдать его уговаривают. Я работы не боюсь: и себя кормил, и семью, и крыша над головой была; но ведь работника хотят отнять потому только, что в чужие дела не лезет, что глаза земли полны все время. Я им говорю: сначала он был ничего, а глаза полны земли, так ведь и земля тогда на месте стояла; а вот когда дорога подошла и землю продоль повернула, а глаза все равно полны земли, они и начали мне грозить, что заберут, по закону отнимут работника.

И еще деньги плати за это. Она здоровая и крепкая была, поискать такую, — да все эта дорога. Прилегла только, на своей постели отдохнуть, ничего ни от кого не просит.

— Захворала, Адди? — я спросил.

— Не захворала, — говорит.

— Полежи, отдохни. Я знаю, что не захворала. Устала просто. Полежи, отдохни.

— Не захворала, — говорит. — Я встану.

— Лежи себе, — я говорю, — отдыхай. Устала просто. Завтра встанешь.

И лежала себе, здоровая и крепкая, поискать такую, да все эта дорога.

— Я тебе не вызывал, — говорю. — Будь свидетелем, что я тебя не вызывал.

— Не вызывал, — говорит Пибоди. — Подтверждаю. Где она?

— Она прилегла, — я говорю. — Приустала она, но...

— Анс, поди отсюда, — он сказал. — Посиди-ка на веранде.

А теперь деньги плати за это, когда во рту ни одного зуба, а еще подиакопить думал, чтобы зубы вставить, чтобы хлеб Господень жевать по-людски, и она здоровая и крепкая — поискать такую — до самого последнего дня. За то плати, что три доллара тебе понадобились. За то плати, что ребятам теперь за ними ехать надо. И прямо вижу, как дождь стеной встает между нами, как прет к нам по этой дороге, словно дурной человек, словно не было на земле другого дома, куда ему пролиться.

Слышал я, как люди проклинали свою долю — и не зря проклинали, потому что грешные были люди. А я не скажу, что наказан, потому что зла не делал и наказывать меня не за что. Я человек не религиозный. Но душа моя покойна; это я знаю. Всякое делал; но не лучше и не хуже тех, что притворяются праведниками, и знаю, Старый Хозяин порадеет обо мне, как о той малой птице, которая падает. А все-таки тяжело, что человек в нужде терпит столько уязвлений от дороги.

Из-за дома выходит Вардаман, перепачкался, как свинья, с ног до головы в крови, а рыба там небось топором раскромсана, а то и просто брошена на землю, чтобы собаки сожрали. Да и ждать ли от мальца другого, чем от его взрослых братьев? Подходит молча, глядит на дом и садится на ступеньку.

— Ух, — говорит, — до чего устал.

— Поди руки вымой, — я говорю.

Адди ли не старалась правильно их воспитать, и больших и маленьких? Этого у ней не отнимешь.

— Кишок и кровищи в ней, что в свинье, — он говорит. А у меня что-то душа ни к чему не лежит, да еще эта погода давит. — Пап, — он говорит, — мама еще хуже расхворалась?

— Поди руки вымой, — говорю я. Но и приказываю-то словно без души.

Дарл

На этой неделе он был в городе: затылок подстрижен, а белая полоска между волосами и загаром похожа на сустав белой кости. Ни разу не оглянулся.

— Джул, — говорю.

Бежит навстречу дорога между двумя парами мульих ушей и утягивается под повозку, лентой мотается на катушку передних колес.

— Ты знаешь, что она умирает, Джул?

Чтобы родить тебя, нужны двое, а чтобы умереть — один. Вот как кончится мир.

Я спросил Дюи Дэлл:

— Хочешь ее смерти, чтобы в город попасть, верно? — Про что оба знаем,

она молчит. — Потому молчишь, что, если скажешь хоть про себя, тогда поймешь, что так и есть, верно? Все равно ведь знаешь, что так и есть. Я тебе чуть ли не день назову, когда ты поняла. Почему не скажешь-то, хоть про себя? — Молчит. Одно твердит: «Папе хочешь доложить? Убить его хочешь?» — А почему не можешь поверить, что так и есть? Не можешь поверить, что Дюи Дэлл Бандрен оказалась такой невезучей — вот почему, верно?

Солнцу час до горизонта, лежит на тучах, как кровавое яйцо; свет стал медным; глазу — зловещий, носу — серный, пахнет молнией. Когда Пибоди приедет, ему спустят веревку. В пузо весь пошел от холодных овощей. Станут втаскивать его по тропе на веревке: как воздушный шар в серном воздухе.

— Джул, — говорю, — ты знаешь, что Адди Бандрен умирает? Адди Бандрен умирает?

Пибоди

Когда Анс послал за мной сам, я сказал: «Укатал ее наконец». Ее счастье, говорю, — и поначалу не хотел ехать: а вдруг еще не поздно помочь, вытащу ее, не дай Бог. Может, там на небе, думаю, та же дурацкая этика, что у нас в медицинском колледже, а вызывает меня, должно быть, Вернон Талл — в последнюю минуту по своему обыкновению, чтобы побольше получить за свои деньги; впрочем, сегодня — за деньги Анса. А позже, когда почувствовал, что погода ломается, понял, что вызывать мог только Анс, больше никто. Кому еще, кроме неудачника, понадобится врач перед самым циклоном? И подумал, что, если и до Анса уже дошло, что нужен врач, значит уже поздно.

Подъехал к роднику, слезаю, привязываю упряжку, а солнце скрылось за черной грядой туч, точно за вспухшим горным хребтом — точно угли туда высыпали; и ветра нет. Пилу Кеша я услышал за целую милю. Анс стоит на краю обрыва, над тропинкой. Спрашиваю:

— Где конь?

— Да Джул-то уехал, — отвечает он. — А больше никто его не поймает. Пешком придется подниматься.

— Сто килограммов весу во мне — и подниматься? По этой стене подниматься?

Он стоит под деревом. Жаль, ошибся Господь, давши деревьям корни, а Бандренам — ноги. Сделал бы наоборот, и никто бы теперь не тревожился, что наша страна обезлесеет. Или еще чья-нибудь страна.

— Ты чего от меня хочешь? — я спрашиваю. — Чтобы я здесь стоял и меня в другой округ сдуло, когда эта туча разверзнется?

Тут и верхом-то четверть часа ехать — через выгон, потом наверх, потом к дому. Тропинка похожа на кривой сук, прибитый к обрыву. Анс не был в городе двенадцать лет. И как только мать его поднялась туда родить? Истинно, сын своей матери.

— Вардаман несет веревку, — говорит он.

Немного погодя появляется Вардаман с веревкой. Конец дает Ансу, а сам спускается по тропинке и разматывает.

— Крепче держи, — я говорю. — Этот визит я в журнал уже записал, так что, если не поднимусь, счет тебе все равно представлю.

— Держу, — говорит Анс. — Можно подыматься.

Черт его знает, почему я не брошу. Семьдесят лет, сто кило весу, а меня на веревке таскают вверх и вниз по горе. Потому, наверно, не бросаю, что должен догнать до пятнадцати тысяч долларов неоплаченные визиты в моем журнале.

— Какого черта твоя жена придумала, — я говорю, — заболеть на вершине горы?

— Виноваты, — говорит он.

Он отпустил веревку, просто бросил и пошел к дому. Тут, наверху, еще не совсем стемнело, небо — цвета серных спичек. Доски похожи на полоски серы. Кеш не обернулся. Вернон Талл говорит, что каждую доску он показывает ей в окно, чтобы она одобрила. Нас нагоняет мальчик. Анс оглянулся на него.

— Где веревка?

— Там, где ты ее бросил, — говорю я. — И пусть лежит. Мне еще надо

спуститься с обрыва. Я не хочу, чтобы буря меня здесь застигла. Попадешься тут — унесет к чертовой матери.

Дочь стоит у кровати и машет веером. Когда мы входим, Адди поворачивает голову и смотрит на нас. Она уже десять дней мертвая. Оттого, что столько лет была частью Анса, наверно, и не проявляется перемена, — а может, и перемены нет. Помню, в молодости я думал, что смерть — явление телесное; теперь я знаю, что она всего лишь функция сознания — сознания тех, кто переживает утрату. Нигилисты говорят, что она — конец; ретивые протестанты — что начало; на самом деле она не больше чем выезд одного жильца или семьи из города или дома.

Адди смотрит на нас. Кажется, что только глаза сохранили подвижность. Они будто трогают нас, но не зрением, не мыслью, а так, как трогает тебя вода из шланга, — настолько отъединенная от наконечника в миг прикосновения, что будто и не из него вышла. Адди совсем не смотрит на Анса. Смотрит на меня, потом на мальчика. Маленькая под одеялом, как связка гнилых хворостинок.

— Ну, мисс Адди, — говорю я. Девушка все машет веером. — Как ты, милая? — Изможденное лицо на подушке; смотрит на мальчика. — Хорошо ты придумала — затащить меня сюда и бурю устроить.

Потом я отсылаю Анса с мальчиком. Она провожает мальчика глазами. Только глаза и двигаются.

Когда я выхожу, оба на веранде, мальчик сидит на ступеньках. Он поворачивает ко мне лицо, моргает.

— Почему ты раньше меня не вызвал? — спрашиваю Анса.

— Да то одно, то другое. Кукурузу вот хотели с ребятами убрать, а Дюи Дэлл за ней ухаживает, и люди навещают, предлагают помочь, — а теперь подумал...

— Черт с ними, с деньгами, — я говорю. — По-твоему, я когда-нибудь торопил безденежного человека?

— Да не денег я жалею. Я что думал?.. Она ведь отходит?

Сидит на ступеньке чертов малец и еще меньше кажется в желтом свете. Вот в чем беда нашей страны: все тут, и погода, и что ни возьми держится слишком долго. И реки и земля наша: неясные, медлительные, буйные, создают и кроят людскую жизнь по неумолимому и хмурому образу своему.

— Я ведь понимаю, — говорит Анс. — По всему убеждаюсь. Она решила.

— И слава Богу, — я говорю. — С никчемным...

Он сидит не шевелясь на верхней ступеньке, маленький, в выцветшем комбинезоне. Когда я вышел, он посмотрел на меня, потом на Анса. А сейчас на нас не смотрит. Сидит, и все.

— Ты ей сказал? — спрашивает Анс.

— Зачем? На кой дьявол?

— Она догадается. Я знал: увидит тебя и догадается, как прочтет. Тебе и говорить незачем. Она реши..

За спиной у нас голос дочки: «Пап». Я смотрю на нее, на ее лицо. И говорю:

— Иди скорее.

Когда мы входим в комнату, она глядит на дверь. Глядит на меня. Глаза пылают, точно лампы перед тем, как кончится керосин.

— Она хочет, чтоб вы ушли, — говорит дочка.

— Ну как это, Адди? — говорит Анс. — Он из Джефферсона ехал тебя лечить.

Она глядит на меня; я физически чувствую ее взгляд. Он как будто выталкивает меня. Я видел такое у женщин. Видел, как гонят из комнаты тех, кто пришел с сочувствием и жалостью, с действенной помощью, и льнут к никчемному животному, которое видело в них только вьючную лошадь. Вот что такое для них любовь, превосходящая разумение: гордыня, исступленное желание прикрыть жалкую наготу, которое мы приносим с собой в мир, и несем в операционную, и упрямо, исступленно уносим с собой в землю. Я выхожу из комнаты. За верандой с храпом режет доску пила Кеша. Через минуту она окликает его, резко и громко:

— Кеш! Иди, Кеш!

Дарл

Папа стоит у кровати. Из-за его ноги выглядывает Вардаман, круглоголовый, с круглыми глазами и приоткрытым ртом. А она смотрит на папу; вся ее иссякающая жизнь выливается через глаза — упорно, необратимо.

— Она Джула хочет, — говорит Дюи Дэлл.

— Что ты, Адди, — говорит папа, — они с Дарлом повезли еще одну подводу. Думали, что успеют. Что ты их дождешься — это же три доллара и... — Он умолкает и кладет ладони ей на руки. Она смотрит на него без укоризны, вообще без всякого выражения, словно одними глазами слушает навеки умолкающий его голос. Потом приподнимается на кровати — хотя десять дней лежала не шевелясь. Дюи Дэлл наклоняется, хочет ее уложить.

— Ма, — говорит она, — ма.

Мама глядит в окно; там Кеш, согнувшись над доской, трудился в потемках, трудится в темноте, словно ход пилы сам освещает ей дорогу, доска и пила — его порождение.

— Кеш, — кричит она резким, сильным, здоровым голосом. — Иди, Кеш!

В сумерках он оглядывается на худое лицо, обрамленное окном. В этой картине составилось для него все время, начиная с детства. Он роняет пилу и показывает ей доску, глядя на неподвижное лицо в оконной раме. Подтягивает вторую доску и прикладывает к первой так, как они будут сбиты, а потом показывает на те, что еще лежат на земле, и свободной рукой рисует в воздухе будущий гроб. Она смотрит на него с этой составной картины не осуждая, не одобряя. Потом лицо скрывается.

Она ложится и поворачивает голову, не взглянув на папу. Смотрит на Вардамана; жизнь хлынула из глаз, два пламени сильно вспыхнули на мгновение. И гаснут, словно кто-то наклонился к ним и задул.

— Мама, — говорит Дюи Дэлл. — Мама!

Нагнулась к ней, но не прикасается руками, и, продолжая махать веером, как все эти десять дней, она начинает голосить. Ясный, сильный молодой голос вибрирует, он словно зачарован собственной громкостью и тембром, а веер машет ровно вверх-вниз и с шелестом гонит ненужный воздух. Потом она бросается к матери на колени, обхватывает ее и трясет с неистовой молодой силой, а потом вдруг распластывается на связке гнилых костей, которые оставила от себя Адди Бандрен, и кровать отзывается на толчок долгим шушуканьем шелухи в матрасе; руки у нее раскинуты, и веер в одной еще колышется, вея последними вздохами на одеяло.

Из-за папиной ноги выглядывает Вардаман с широко раскрытым ртом; вся краска стекает с его лица ко рту, словно он ухитрился вонзить зубы в свое тело и выпивает кровь. Он медленно пятится от кровати; глаза у него круглые, бледное лицо растворяется в сумраке, как клочок бумаги, прилепленный к ветхой стене, — и пропадает за дверью

Папа нагибается над кроватью; в его сгорбленном силуэте — что-то от совы: взъерошенное возмущение, под которым прячется мудрость настолько глубокая или косная, что даже не родит мысли.

— Черт бы их взял, ребят, — говорит он.

Джул, говорю я. Над головой пластом несется серый день, затмевает солнце полетом серых копий. Под дождем чуть курятся спины мулов, заляпанных желтой грязью, и правый, скользя и вскидывая круп, хочет удержаться на обочине над канавой. Торчат блестящие темно-желтые доски, промокшие и тяжелые, как свинец: почти стоймя торчат из канавы над лопнувшим колесом; мимо поломанных спиц и мимо щиколоток Джула мчится желтый поток — ни воды, ни земли, заворачивает вместе с желтой дорогой, ни земляной, ни водяной, и растворяется в курящемся темно-зеленом месиве — ни земли, ни неба. Джул, говорю я.

Кеш с пилой подходит к двери. Папа стоит у кровати, сгорбясь и свесив руки. Его невзрачный профиль сминается внизу, когда он разгоняет по деснам табак.

— Она умерла, — говорит Кеш.

— Вот, покинула нас, — говорит папа. Кеш не смотрит на него. — Много тебе осталось? — спрашивает папа. Кеш не отвечает. Он входит с пилой. — Ты там займись, а? Ребята-то уехали, надо навалиться.

Кеш смотрит на ее лицо. Совсем не слушает папу. К кровати не приближается.

Остановился посреди комнаты, пила у ноги, потные руки припорошены опилками, лицо сосредоточенно.

— Если не поспеешь, может, кто приедет завтра, пособят, — говорит папа. — Вернон мог бы.

Кеш не слушает. Смотрит на ее покойное, застывшее лицо, а оно сливается с сумерками, словно темнота — предвестница могильной земли, и кажется уже, что оно отделилось, парит само по себе, легко, как отраженье мертвого листа.

— Христиане тут найдутся, помогут тебе, — говорит папа.

Кеш не слушает. Немного погодя он поворачивается и, не взглянув на папу, выходит. И снова захрапела пила.

— Они помогут нам в нашем горе, — говорит папа.

Звук пилы, ровный, уверенный, неторопливый, будоражит гаснущий свет дня, так что с каждым ходом пилы ее лицо будто слегка оживает — прислушивается, ждет, считает ходы. Папа смотрит на ее лицо, на рассыпавшиеся черные волосы Дюи Дэлл, на раскинутые руки и веер в одной из них, теперь неподвижный на темном одеяле.

— Собирай-ка ужинать, — говорит он.

Дюи Дэлл не пошевелилась.

— Поднимайся, ужин ставь, — говорит папа. — Нам силы понадобятся. И доктор Пибоди небось проголодался с дороги. И Кешу поесть поскорей да опять за работу, чтобы не было задержки.

Дюи Дэлл рывком поднимается, смотрит на лицо. Оно похоже на меркнущую бронзовую маску, и только руки еще хранят подобие жизни — корявое, скрюченное, бездеятельное; силы уж нет, но как бы осталась готовность; еще не стерлась печать усталости и труда, словно и сейчас руки еще не вполне уверовали в успокоение; мозолистые и убогие, настороженно охраняют отдых, который не будет долгим.

Дюи Дэлл наклоняется, вытаскивает из-под рук одеяло и накрывает мать до подбородка, разглаживает, одергивает одеяло. Потом, не взглянув на папу, огибает кровать и выходит из комнаты.

Она пойдет туда, где стоит Пибоди, остановится в сумерках и будет смотреть ему в спину, а он, почувствовав ее взгляд, обернется и скажет: Я бы не стал убиваться. Она была старая и больная. Мы даже не представляем себе, как она мучилась. Поправиться она не могла. Вардаман уже подрастает, и ты сумеешь за ними присмотреть. Убиваться не надо. Поди-ка лучше собери ужин. Особенно не старайся. Но поесть им надо. — А она скажет взглядом: захотели бы, так помогли мне. Если б знали. Я — это я, вы — это вы, и я знаю, а вы не знаете, а знали бы — помогли, если б захотели, а если б захотели, то я бы вам открылась, и никто бы ничего не знал, кроме вас, меня и Дарла.

Папа стоит над кроватью, свесив руки, сгорбленный, неподвижный. Поднимает руку к голове, ерошит волосы, слушает пилу. Подходит ближе, вытирает руку о штанину — и ладонь, и тыльную сторону — и кладет ей на лицо; а потом на бугорок, где лежат ее руки под одеялом. Он трогает одеяло, хочет расправить у шеи, как Дюи Дэлл, и только хуже сминает. Снова пробует расправить, но неловко — рука, словно птичья лапа, разглаживает морщины, а они появляются, как назло, повсюду, и тогда он сдается, опускает руку, трет о бедро — ладонь и тыльную сторону. В комнате слышен мерный храп пилы. Папа дышит тихо, с присвистом, перекатывая во рту табак.

— Исполнится воля Божья, — говорит он. — Зубы теперь вставлю.

У Джула шляпа свесилась на шею, сливает воду струйкой на мокрый мешок, повязанный вокруг плеч; в канаве, по щиколотку в воде, он поддерживает скользкой доской, опертой на гнилой обрубок, ось повозки. Джул, говорю я. Она умерла, Джул. Адди Бандрен умерла.

Вардаман

И я бегу. В черную дверь, до края веранды и останавливаюсь. Плачу. Я чувствую место в пыли, где лежала рыба. Теперь она разрезана на куски нерыбы, а на руках и штанах у меня — некровь. Тогда этого не было. Не случилось. А теперь она далеко ушла, и мне ее не догнать.

Деревья похожи на кур, что купаются в прохладной пыли жарким днем. Если

спрыгну с веранды, окажусь там, где была рыба, а она теперь вся разрезана в нерыбу. Я слышу кровать и ее лицо, и их, чувствую, как пол дрожит под ногами у этого — который приехал и все сделал. Приехал и сделал — она была живая, а он приехал и сделал.

— Гад пузатый.

Прыгаю с веранды и бегу. В сумерках скатом надо мной — крыша хлева. Если прыгну, пролечу насквозь, как розовая женщина в цирке — в теплый запах, и ждать не надо. Руки сами хватаются за кусты; из-под ног осыпается земля и камушки.

Но вот я снова могу вдохнуть — теплый запах. Вхожу в стойло, пробую тронуть его и уже могу плакать, меня рвет с плачем. Когда он кончит лягаться, я смогу, а тогда смогу плакать, плач сможет.

— Он ее убил. Он ее убил.

Жизнь в нем бежит под кожей, под моей рукой, под пятнами пробегает, пахнет, и тошнота начинает плакать, выташнивает плач, и я уже могу вздохнуть, выташнивая это. Шуму получается много. Я чую жизнь, текущую в меня через ладони и вверх по рукам, и теперь я могу выйти из стойла.

Не могу найти. Темнота, пыль, стены — и не могу найти. Много шуму от того, что плачу. И зачем столько шуму. Потом нашел под навесом для повозки, в пыли, и бегу через двор на дорогу, а палка прыгает у меня на плече.

Я подбегаю, а они следят за мной, дергают назад, храпят, лупят глаза, натягивают вожжу, которой привязаны. Я бью. Слышу, как бьет палка; вижу, как бьет по головам, по лямке или мимо, когда они дергают, но я рад.

— Ты маму убил!

Палка сломалась, они дергают и храпят, копыта громко бьют по земле; громко, потому что будет дождь и воздух пустой перед дождем. Но она еще длинная. Они бросаются и натягивают вожжу, а я бегаю за ними и бью.

— Ты ее убил!

Я бью, они кружат на длинной привязи, дрожки кружат на двух колесах; они неподвижны, словно прибиты к земле, и лошади неподвижны, словно их задние ноги прибиты к вертящейся тарелке.

Я бегу в пыли. Ничего не вижу, бегу, пыль в глазах, и дрожки исчезают на двух колесах. Я бью, палка ударяет по земле, отскакивает, взбивает пыль, бьет по воздуху, пыль тянет вдоль по дороге, быстрее, чем от машины. И теперь я могу плакать, смотрю на палку. Она сломана у самой руки — длиной с полешко, а была длинная. Я бросаю ее и теперь могу плакать. Теперь шуму не так много.

Корова стоит в дверях конюшни, жует. Увидела меня на дворе и замычала; шлепает зеленью во рту, шлепает языком.

— Не буду тебя доить. Ничего для них делать не буду.

Прохожу мимо и слышу, что она повернулась. Я обернулся: дышит на меня сзади, жарко, сильно.

— Сказал тебе, не буду.

Она тычется в меня, сопит. Мычит из нутра, с закрытым ртом. Я отмахиваюсь, ругаю ее, как Джул.

— Пошла.

Наклоняюсь, опускаю руку к земле и бегу на нее. Она отскакивает, бросается прочь, потом останавливается, следит за мной. Мычит. Уходит на тропинку и стоит там, глядит на тропинку.

В хлеву темно, тепло, тихо и пахнет. Могу плакать тихо и смотрю на холм.

Кеш идет на холм, хромает — с церкви упал. Смотрит вниз, на рудник, потом на дорогу и назад, на хлев. Припадая на ногу, идет по тропинке и смотрит на порванную вожжу, на дорожную пыль и вдаль на дорогу, куда утянулась пыль.

— Ага, небось уже дом Талла пробежали... Дом Талла пробежали.

Кеш повернулся и захромал по тропинке.

— Гад. Я ему показал. Гад.

Я уже не плачу. Я ничего. К холму подходит Дюи Дэлл и зовет меня: «Вардаман». Я ничего. Я тихо. «Эй, Вардаман». Теперь могу плакать тихо, чувствую и слышу слезы.

— Тогда этого не было. Еще не случилось. Вон где она лежала, на земле. А теперь она будет ее жарить.

Темно. Слышу лес, тишину: я их знаю. Но звуки не живые — и его тоже. Слов-

но темнота лишила его цельности, разъяла на составные части — храпы, топы, запахи остывающего тела и аммиачные волосы; обманчивое видение связанного целого из пятнистой шкуры и крепких костей, внутри которого отдельное, потаенное и знакомое *есть* отлично от всего *есть*. Я вижу, как он распадается — ноги, дикий глаз, яркие пятна, как холодные огни, — и, паря во тьме, тонет, меркнет; все вместе и ничего по отдельности; все по отдельности и ничего. Я вижу, как летит к нему слух и захлестывает, гладит, лепит его плотное тело: копыто, бедро, плечо и голову; запах и звук. Я не боюсь.

— Поджарили и съели. Поджарили и съели.

Дюи Дэлл

Он помог бы мне, если б только захотел. Как будто для меня все на свете заключено в этой толстой туше, и нельзя поверить, что в ней найдется место еще для чего-нибудь очень важного. Он — большая туша, а я — маленькая туша, и если в большой нет места еще для чего-нибудь важного, разве может найтись место в маленькой? Но я знаю, что оно нашлось: Бог подает женщинам знак, когда случилось неладное.

Это потому, что я одна. Если б я могла его почувствовать, все было бы иначе, потому что я была бы не одна. Но если бы я была не одна, все бы про это узнали. А он смог бы мне помочь, и тогда я не была бы одна. Была бы одна неогорченная.

Я пустила бы его между собой и Лейфом, как Дарл стоит между мной и Лейфом, поэтому Лейф тоже один. Он — Лейф, а я — Дюи Дэлл, и когда мама умерла, мне надо было выбраться из себя, Лейфа и Дарла — ведь он мог бы мне помочь, а не знает этого. Даже не знает.

С задней веранды мне хлев не виден. С той стороны слышна пила Кеша. Звук ее, как собака дворовая, носится кругом дома, к какой двери ни подойдешь, хочет внутрь забежать. Он сказал: Я больше тебя тревожусь, а я сказала: Не знаешь ты, что такое тревога, когда тревожиться нет сил. И хочешь, но додумать до тревоги не успеваешь.

Зажигаю на кухне лампу. Раскромсанная рыба тихо кровит в сковороде. Быстро ставлю ее в буфет, а сама слушаю, что в прихожей, слышу. Она десять дней умирала; может, еще не знает этого. Может, не отойдет, пока Кеша не дождется. А может, и Джула. Вынимаю блюдо с овощами из буфета и противень с хлебом из холодной печки, останавливаюсь, смотрю на дверь.

— Где Вардаман? — спрашивает Кеш. При лампе голые руки в опилках похожи на песочные.

— Не знаю. Я его не видела.

— Упряжка Пибоди убежала. Поищи Вардамана. Конь ему дается, он поймает.

— Ладно. Скажи, чтобы ужинать шли.

Хлев не виден. Я сказала: Тревожиться не умею. Плакать не умею. Пробовала, не получается. Чуть погодя доходит из-за угла звук пилы, темный, ползет по земле в пыльной тьме. И тогда я вижу его: кланяется над доской.

— Иди ужинать, — говорю я. — И его зови.

Он мог бы все для меня сделать. А он не знает. Он — это его нутро, а я — это мое нутро. И я — нутро Лейфа. Вот как. Не понимаю, почему он не остался в городе. Они, городские люди, нам, деревенским, не чета. И чего он не остался? Потом я различаю крышу хлева. Корова стоит в низу тропинки, мычит. Когда я поворачиваюсь, Кеша уже нет.

Я вношу пахту. Папа, Кеш и он — за столом.

— Ваш парень большую рыбу поймал, где она, детка? — спрашивает он.

Я ставлю пахту на стол.

— Времени не было поджарить.

— Брюква — тощая еда для такого толстого, как я, — говорит он.

Кеш ест. На волосах у него ободом потная вмятина от шляпы. Рубашка в пятнах пота. Руки по локоть в опилках, не мыл.

— Надо было найти время, — говорит папа. — Где Вардаман?

Я иду к двери. — Не видать его нигде.

— Слушай, милая, — говорит он, — не возись ты с рыбой. Не испортится. Иди сюда, сядь.

— Я не вожусь. Подоить хочу, пока дождь не начался.

Папа накладывает себе и отодвигает блюдо. Но к еде не притрагивается. Руки с согнутыми пальцами лежат по обе стороны от тарелки, голова опущена, волосы косо торчат в свете лампы. Похож на быка после удара обухом: он уже не живой, но еще не знает, что мертвый.

А Кеш начал есть, и этот тоже.

— Ты поешь, — говорит он. Смотрит на папу. — Бери пример с меня и Кеша. Тебе понадобятся силы.

— Да, — отвечает папа. Он поднимается, как бык, стоявший на коленях в пруду. — Она на меня не посетует за это.

Когда меня уже не видно из дома, я иду быстрее. Корова мычит под обрывом. Тычется в меня носом, сопит, сквозь платье горячим нежным духом обдает мое горячее голое тело, мычит.

— Нет уж, погоди. Потом тобой займусь. — Она идет за мной в хлев, я ставлю там ведро. Она дышит в ведро, мычит. — Сказано тебе. Погоди. У меня дел выше головы.

В хлеву темно. Когда я прохожу, он бьет копытом в стену. Иду дальше. Выломанная доска — как светлая доска, поставленная стоймя. Потом я вижу склон, воздух снова тихо веет в лицо, не такой темный, но непроглядный; купы сосен — кляксами на склоне, затаились, ждут.

Корова — плоская тень в двери, тычется в плоскую тень ведра, мычит.

Прохожу мимо стойла. Почти прошла. Слышу, говорится задолго до того, как выговорится само слово, и то, чем слушаю, боится, что не будет уже времени выговорить. Я чувствую, как мое тело, мои кости и мясо раздвигаются, раскрываются навстречу, *одна,* и становиться не-одной ужасно. Лейф, Лейф.

— Лейф.

Лейф, Лейф. Я чуть наклонилась вперед, одна нога выставлена в мертвом шаге. Чувствую, как тьма несется мимо моей груди, мимо коровы; и я сама несусь во тьму, но на пути корова, а тьма, пропитанная лесом и тишиной, несется дальше нежным жарким мыком.

— Вардаман. Эй, Вардаман!

Он выходит из стойла.

— Ах ты, шпион проклятый. Шпион проклятый.

Он не сопротивляется; унеслась со свистом стремительная тьма.

— Чего? Я ничего не сделал.

— Шпион проклятый! — Мои руки трясут его с силой. Наверно, я не смогу их остановить. Я не знала, что они могут так сильно трясти. Нас обоих трясут — и меня и его.

Руки перестали трясти его, но еще держат.

— Что ты тут делаешь? Почему не откликался, когда звала?

— Ничего не делаю.

— Ступай домой ужинать.

Он хочет отодвинуться. Я держу.

— Хватит тебе. Отпусти.

— Ты что тут делаешь? Шпионить за мной пришел?

— Я ничего. Я ничего. Хватит тебе. Я и не знал, что ты здесь. Отпусти.

Я держу его, наклоняюсь, чтобы увидеть его лицо, проверить глазами. Он вот-вот расплачется.

— Ну, ступай. Ужин на столе, сейчас подою и приду. Ступай, пока он все не съел. Чтоб его лошади в Джефферсон убежали.

— Убил ее, — говорит он. И плачет.

— Тихо.

— Она ему ничего не сделала, а он взял и убил.

— Тихо. — Он вырывается. Я держу. — Тихо.

— Убил ее.

Сзади подходит корова, мычит. Я снова трясу его.

— А ну, перестань сейчас же. Добесишься сейчас, заболеешь, в город не сможешь ехать. Ступай домой, ужинай.

— Не хочу я ужинать. Не хочу я в город.

— Смотри, дома оставим. Будешь безобразничать, оставим дома. А ну, иди, пока эта старая тыква все не слопала.

Он уходит, постепенно сливаясь с холмом. Вершина холма, деревья, крыша дома вырисовываются в небе. Корова тычет меня носом, мычит.

— Придется тебе подождать. То, что в тебе есть, против того, что во мне, — ерунда, хотя ты тоже женщина.

Она идет за мной, мычит. Снова мне повеяло в лицо мертвым, горячим, серым воздухом. Все бы мне сделал, если б захотел. И даже не знает этого. Все бы мог сделать, если б знал. Корова дышит мне в зад и в спину, дышит хрипло, ласково, тепло, и мычит. Небо распласталось на склоне, на невидимых деревьях. Из-за холма выплеснулась зарница и погасла. В мертвой тьме мертвый воздух лепит мертвую землю — дальше, чем мертвую, землю лепит зрение. Мертвый и теплый, он облегает меня, трогает мою наготу сквозь одежду. Я сказала: Не знаешь ты, что такое тревога. Я не знаю, что это такое. Не знаю, тревожусь я или нет. Могу или нет. Не знаю, могу я плакать или нет. Не знаю, пробовала или нет. Я чувствую себя, как влажное, набухшее семя в жаркой слепой земле.

Вардаман

Когда они сколотят его, они положат ее туда; я долго не мог сказать слово. Я видел, как встала тьма и унеслась вихрем, и я сказал: «Ты забьешь ее гвоздями, Кеш? Кеш. Кеш». Я захлопнулся в ларе, и новая крышка чересчур тяжелая, она захлопнулась, дышать было нечем, потому что весь воздух выдышала крыса. Я сказал: «Ты забьешь его гвоздями, Кеш? Забьешь? *Забьешь?*»

Папа ходит. Ходит его тень вокруг Кеша, а он с пилой кланяется над проклятой доской.

Дюи Дэлл сказала, мы купим бананов. Поезд — за стеклом, красный на рельсах. Когда он бежит, рельсы то блестят, то гаснут. Папа сказал, мука, сахар и кофе очень дорогие. Потому что я деревенский мальчик, потому что мальчики городские. Велосипеды. Почему мука, сахар и кофе дорогие, если он деревенский мальчик. «Может быть, лучше хочешь бананов?» Бананы съел, и нет их. Нет их. Когда он пробегает, рельсы опять блестят. «Пап, почему я не городской мальчик?» Я сказал: Меня Бог создал. Я не просил Бога, чтобы Он создал меня в деревне. Если Он может создать поезд, почему не может создать всех в городе, потому что мука, сахар и кофе. «Может, бананов лучше хочешь?»

Он ходит кругом, тень его ходит кругом.

Это не она была. Я там был, смотрел. Я видел. Я думал, это она, а это была не она. Не мама. Она отошла, когда другая легла на ее кровать и закрылась одеялом. Она отошла. «До самого города ушла?» «Дальше города ушла». «А те кролики и опоссумы дальше города уходили?» Бог создал кроликов и опоссумов. Он создал поезд. Зачем они уходят в разные места, если она все равно что кролик.

Папа ходит кругом. Тень его ходит. Пила как будто спит, такой от нее звук.

Значит, если Кеш забьет гроб, она не кролик. Значит, если она не кролик, я не мог дышать в ларе, и Кеш его забьет. Значит, если она ему позволит, это не она. Я знаю. Я там был. Я видел, когда там была не она. Видел. Они думают, это она, и Кеш его забьет.

Это была не она, потому что лежала вон там в грязи. А теперь вся раскромсана. Я ее раскромсал. Лежит на кухне в сковородке с кровью, ждет, когда ее поджарят и съедят. Тогда ее не было, а мама была, а теперь она есть, а мамы не было. А завтра ее поджарят и съедят и мама станет им и папой, и Кешем, и Дюи Дэлл, а в гробу ничего не будет, и, значит, мама сможет дышать. Лежала вон там на земле. Пускай Вернон скажет. Он там был и видел ее, и для нас двоих она будет, а потом ее не будет.

Талл

Он разбудил нас около полуночи, дождь уже шел. В такую ночь ждешь дурного: буря идет, и, пока скотину накормишь, в дом попадешь, да сам поужинаешь, да до постели доберешься, можно ждать чего угодно; дождь уже зарядил, а когда прибежали лошади Пибоди, волоча порванную упряжь, и нашильник у правой болтался меж-

ду ногами, Кора сказала: «Это Адди Бандрен. Отмучилась».

— Да тут десяток домов в окрестности, Пибоди в любом мог быть, — я говорю. — И почем ты знаешь, что это его лошади?

— А чьи же? — она говорит. — Иди запрягай.

— Зачем? Если умерла, мы до утра все равно ничем не поможем. И гроза вон собирается.

— Это мой долг, — она говорит. — Давай закладывай.

Я не послушался.

— Надо думать, если бы мы понадобились, за нами послали бы. Кто сказал, что она умерла?

— Ты что, докторских лошадей не узнал? Скажешь, не его? Ну, знаешь ли.

Но я не пошел. Если ты нужен людям — подожди, когда позовут, так я вывел.

— Это мой христианский долг, — говорит Кора. — Ты помешаешь мне выполнить христианский долг?

— Завтра можешь целый день там быть, если хочешь, — говорю я.

И вот, когда разбудила меня Кора, уже дождь лил. Пока я шел к двери с лампой, и она светила в стекло, и он, стало быть, знал, что иду, стук все равно продолжался. Негромкий, но ровный, будто он уснул, стуча. А я и не разобрал, что стучат так низко, дверь открываю — никого. Лампу поднял, капли дождя блестят, а Кора в прихожей спрашивает: «Вернон, кто там?» А я никого не вижу, потом только лампу догадался опустить да за дверь заглянул.

Он был похож на утопшего щенка — в комбинезоне, без шапки и грязью заляпан до колен — четыре мили ведь прошел.

— Вот так штука, — говорю.

— Вернон, кто там? — Кора спрашивает. А он смотрит на меня, глаза круглые, зрачки черные, как у совы, когда ей в морду посветишь.

— Помнишь рыбу, — он говорит.

— Иди в дом, — говорю. — Что случилось? Мама твоя...

— Вернон, — Кора опять.

Он вроде прячется за открытой дверью, в темноте. Дождь по лампе хлещет, она шипит, вот-вот лопнет.

— Ты там был, — говорит он. — Ты ее видел.

Кора к двери подошла.

— Уйди с дождя, — говорит и втаскивает его, а он на меня смотрит. Похож на утопшего щенка. — Сказала я тебе, — говорит Кора. — Сказала, что там делается. Иди запрягай.

— Он же не сказал... — отвечаю.

Он на меня смотрит, а с него на пол течет.

— Коврик испортит, — говорит Кора. — Закладывай, а его пока на кухню отведу.

Он не идет, смотрит на меня круглыми глазами, а с него каплет.

— Ты там был. Ты видел, она на земле лежала. Кеш хочет забить гвоздями, а она на земле лежала. Ты видел. След от нее на земле видел. Я когда пошел сюда, дождя еще не было. Успеем обратно.

У меня мороз пошел по коже, хотя я еще не понимал. А Кора поняла.

— Запрягай, да поскорее, — говорит. — Он ума лишился от горя.

Ей-Богу, мороз по коже. Так вот задумаешься иногда. Про беды и несчастья в этом мире; ударить может куда угодно, как молния. Видно, крепкая вера в Господа нужна, чтобы охраниться человеку, но порой мне сдается, что Кора чересчур уж предусмотрительная, — вроде как других оттесняет, чтобы самой ближе всех встать. А потом случится что-нибудь такое, и думаешь, что она права, так и надо стараться, и верно она говорит, посчастливилось мне с такой женой, что всегда стремится к святости и добродетели.

Вот и задумаешься иногда об этом. Не часто, правда. Да оно и лучше. Потому что создал нас Господь для дела, а не для того, чтобы чересчур долго думали; мозги — они как машина, не любят, чтобы в них зря копались. Работают себе и пусть работают, делают обыденную работу, и не надо, чтобы какая-нибудь часть напрягалась больше положенного. Говорил и опять скажу: вот что неладно с Дарлом: чересчур много внутри себя думает. Кора правильно говорит: ему, чтобы выправиться, жена нужна, и все. А я думаю, что если человеку ничего, кроме жены, не поможет,

то на нем можно ставить крест. Но, наверно, Кора правильно говорит, для какой надобности Господу пришлось создать женщину: для такой, что мужчина не понимает своей пользы, когда она у него под носом.

Я подогнал повозку к дому, а они были на кухне. Кора оделась прямо на ночную рубашку, голову замотала платком, зонт у ней и Библия, в клеенку завернутая, а он сидит на опрокинутом ведре, на цинковом листе перед печкой, как она его посадила, и с него капает на пол.

— Ничего от него не добилась, кроме рыбы, — Кора говорит. — Это им наказание. Вижу руку Господа на мальчике — Ансу Бандрену наказание и предостережение.

— Я когда уходил, дождя не было, — он говорит. — Я ушел. В дороге был. А она там лежала в пыли. Ты видел, Кеш хочет забить ее гвоздями, но ты-то видел.

Когда мы к ним приехали, дождь лил вовсю, а он сидел между нами, завернутый в ее платок. Больше ничего не сказал, так и сидел молча, а Кора держала над ним зонт. Кора иногда переставала петь и говорила: «Это наказание Ансу Бандрену. Пусть поймет, что шел стезей греха». И снова петь, а он сидит между нами, вперед подавшись, словно мулов хочет поторопить.

— Она вон там лежала, — говорит, — а дождя не было, когда я ушел. Теперь пойду и открою окна, потому что Кеш ее еще не забил.

Последний гвоздь мы загнали поздно ночью; пока я вернулся, распряг мулов и обратно залез в постель — там на соседней подушке так и лежал ночной чепец Коры, — почти рассвело. А я будто слышу еще, ей-Богу, пение Коры и чувствую, как мальчишка между нами подался вперед, словно он впереди мулов, и вижу, как Кеш пилой водит и Анс стоит, словно пугало, словно бык по колени в пруду, — и кто-то подошел, пруд стоймя поставил, а он и не заметил, что воды-то нет. Последний гвоздь мы загнали чуть ли не перед рассветом и внесли его в дом; она лежала на кровати, опять у открытого окна, и ее обдавало дождем. Два раза он открывал окно, а сам сонный, еле на ногах держится, и лицо, сказала Кора, похоже на святочную маску, которую закопали на время, а потом выкопали, — но тут ее переложили в гроб и крышку забили, чтобы он окно ей больше не открывал. Наутро его нашли на полу, в одной рубашке, спал как убитый, а крышка гроба вся как есть просверлена, и в последней дырке — новенький бурав Кеша, сломанный. Крышку сняли — оказывается, он и лицо ей два раза пробуравил.

Если это наказание, то неправильное. Других дел, что ли, у Господа нет? Должно быть. Потому что другой ноши, кроме себя самого, на Ансе Бандрене никогда не было. И когда плохо о нем говорят, я про себя думаю, что не настолько он ниже человека — иначе как бы он терпел себя так долго.

Неправильно это. Ей-Богу, неправильно. А что сказал Он: пустите детей приходить ко Мне, — так от этого все равно не станет правильно. Кора сказала: «Я родила тебе то, что Господь Бог послал. Я принимала это без страха и ужаса, потому что велика была моя вера в Господа, поддерживала и укрепляла меня. Если нет у тебя сына, значит, так повелел Господь в мудрости Своей. Жизнь моя всегда была открытой книгой для Его созданий, для мужчин, для женщин — все едино, ибо уповаю на Господа моего и награду мою».

Пожалуй, она права. Пожалуй, если есть на свете такой человек, кому Он мог бы доверить все дела и отлучиться со спокойной душой, то человек этот — Кора. И думаю, как бы Он ни управлял до нее, она бы кое-что переменила. И думаю, переменила бы нам на пользу. По крайности нам придется так думать. По крайности кто нам помешает жить как жили и делать как делали.

Дарл

Фонарь стоит на пне. Ржавый, замасленный, с треснутым стеклом, облизнутым с одного боку копотью, он льет чахлый и душный свет на козлы, на доски и землю вокруг. Стружки на темной земле — как случайные мазки мягкой бледной краски на черном холсте. Доски похожи на изнанку длинных гладких лоскутов, вырванных из плоской тьмы.

Кеш трудится у козел. Ходит туда и сюда, поднимает доски и кладет; в мертвом воздухе они долго гремят, как будто он бросает их на дно невидимого колодца, — звук замирает, не удаляясь, словно любое движение может вновь и вновь извлекать

из окружающего воздуха многократное эхо. Он опять нилит, его локоть ходит медленно, и тонкая огненная бечевка бежит по краю пилы, пропадая и возникая в конце и в начале каждого хода, тянется, тянется, словно пила длиной в человеческий рост, — и прочерчивает наискось невзрачную и праздную папину фигуру. «Подай ту доску, — говорит Кеш. — Нет, другую». Он кладет пилу, отходит, берет нужную доску и, держа наперевес, длинным тусклым лучом ее сметает папу в сторону.

Воздух пахнет серой. На неосязаемой воздушной пелене, как на стене, лежат их тени, словно и тени, подобно звукам, не падают далеко, а сгущаются здесь же, близкие и задумчивые. Кеш продолжает работать, уперши тонкую, как палка, руку в бок, в пол-оборота к чахлому огоньку: свет падает наклонно на его опущенное лицо, сосредоточенное и неподвижное над снующим локтем. Под небом дремлет зарница; на фоне ее неподвижные деревья взъерошены до самого мелкого черенка, раздались, разбухли, как беременные.

Начинается дождь. С протяжным вздохом немыслимого облегчения первые редкие, стремительные капли дождя пробивают листву и секут землю. Крупные, как картечь, теплые, словно из ружейного ствола; с яростным шипением охлестывают фонарь. Папа поднимает лицо с разинутым ртом и влажной черной каймой жвачки, прилипшей к деснам; сквозь расслабленное изумление созерцает, он, словно сквозь время, эту последнюю обиду. Кеш только взглянул на небо, потом на фонарь. Пила не запнулась, бегучая огненная линия зубьев не замерла ни на миг.

— Принеси чем фонарь прикрыть, — говорит он.

Папа идет к дому. Дождь хлынул вдруг, без грома, без предупреждения; краем своим смахнул папу к веранде, а Кеш мгновенно промок насквозь. Но пила не запнулась, словно ею и рукой водит спокойная убежденность в том, что дождь всего лишь обман чувств. Потом он кладет пилу, отходит и приседает над фонарем, прикрывает его своим телом: кости тощей спины торчат из-под мокрой рубашки, словно вместе с рубашкой он вывернут наизнанку.

Возвращается папа. На нем плащ Джула, а в руках — плащ Дюи Дэлл. Сидя над фонарем, Кеш протягивает руку назад, подбирает четыре палочки, втыкает в землю, берет у папы плащ Дюи Дэлл и растягивает на палочках — навес над фонарем. Папа за ним наблюдает.

— Не знаю, как тебе быть, — говорит он. — Дарл увез свой плащ.

— Мокнуть, — говорит Кеш Мокрый, костлявый, неутомимый, легкий телом, словно мальчишка или старик, он снова берется за пилу; снова она заходила вниз и вверх, невозмутимо и плавно, как поршень в масле. Папа наблюдает за ним, моргая глазами, по лицу его течет вода; он снова глядит на небо с тяжелой глухой обидой, но и со злорадством, точно ничего другого не ожидал; время от времени он шевелится, делает шаг — долговязый, весь залитый водой, подбирает доску или инструмент, потом кладет обратно. Теперь здесь и Вернон Талл; Кеш — в плаще Верюна, и они с Верноном ищут пилу. Немного погодя находят — в руке у папы.

— Шел бы ты домой с дождя, — говорит Кеш. Папа глядит на Кеша, по лицу его медленно течет. Как будто лицо сделано злым карикатуристом и эти потоки воды — грубая пародия на скорбь. — Иди в дом, — говорит Кеш. — Мы с Верноном сами кончим.

Папа смотрит на них. Рукава плаща ему коротки. Дождь стекает по лицу медленно, как холодный глицерин.

— Я не сетую на нее, что промок, — говорит он. Снова зашевелился: перекладывает доски, поднимает и кладет, осторожно, будто они стеклянные. Подходит к фонарю, подтягивает навес из плаща — и валит; Кешу приходится ставить снова.

— Иди домой, — говорит Кеш. Он отводит папу в дом, возвращается с плащом, свертывает его и кладет под навес рядом с фонарем. Вернон не прервал работу. Продолжая пилить, поднимает голову.

— Сразу надо было, — говорит он. — Ты же знал, что дождь пойдет.

— Лихорадка у него, — отвечает Кеш. Он смотрит на доску. — Ну да, — говорит Вернон. — Все равно бы вышел.

Кеш прищурясь смотрит на доску. Тысячами капель, то чаще, то реже, дождь хлещет по всей ее длине.

— Сниму на скос.

— Больше канители, — говорит Вернон.

Кеш ставит доску на ребро, Вернон смотрит на него, потом дает ему рубанок,

Вернон крепко держит доску, а Кеш строгивает ребро с тщательностью ювелира. К краю веранды подходит Кора и окликает Вернона:

— Много вам осталось?

Вернон не поднимает головы.

— Немного. Но осталось.

Она смотрит на Кеша; водяночный свет фонаря косо падает на согнутую спину, и блики скользят по ней при каждом его движении.

— Оторвите доски от хлева да заканчивайте, уходите с дождя, — говорит она. — Простудитесь оба насмерть. — Вернон не шевельнулся. — Вернон, — говорит она.

— Нам недолго осталось, — отвечает он. — Еще немного — и кончим.

Она смотрит на них. Потом уходит в дом.

— Если будем опаздывать, можно оторвать от хлева, — говорит Вернон. — Потом я помогу тебе зашить.

Кеш отнял рубанок и смотрит одним глазом вдоль доски, вытирая ее ладонью.

— Давай следующую.

Дождь перестает незадолго до рассвета. На исходе ночи Кеш вбивает последний гвоздь, с трудом распрямляется и смотрит на законченный гроб; остальные наблюдают за ним. При свете фонаря лицо у него спокойное и задумчивое; неспешно, сосредоточенно, удовлетворенно он вытирает ладони о плащ. Потом вчетвером — Кеш с папой и Вернон с Пибоди — поднимают гроб на плечи и направляются к дому. Он легок, но шагают медленно; пуст, но несут осторожно; неодушевлен, но переговариваются шепотом, остерегая друг друга, словно, законченный, он стал живым и только дремлет чутко, а они ждут, когда он сам проснется. На темном полу их ноги топочут неуклюже, словно они отвыкли ходить по полам.

Они опускают гроб рядом с кроватью. Пибоди тихо говорит:

— Давайте перекусим. Утро скоро. Где Кеш?

Он вернулся к козлам; нагнувшись, при чахлом свете фонаря собирает инструменты, тщательно обтирает их тряпкой и кладет в ящик с наплечным ремнем. Потом берет ящик, фонарь и плащ и поднимается по ступенькам, смутно вырисовываясь на фоне неба, уже посеревшего на востоке.

В чужой комнате ты должен опорожнить себя для сна. А до того как опорожнил, то, что есть в тебе, — ты. А когда опорожнил себя для сна, тебя нет. И когда ты наполнился сном, тебя никогда не было. Я не знаю, что я такое. Не знаю, есть я или нет. Джул знает, что он есть, потому что не знает, что не знает, есть он или нет. Он не может опорожнить себя для сна, потому что он не то, что он есть, и он то, что он не есть. За неосвещенной стеной я слышу, как дождь лепит повозку — нашу; на нее нагружен лес, уже не тех людей, кто свалил его и распилил, еще не тех, кто его купил, но и не наш, — хотя лежит на нашей повозке, — потому что только дождь и ветер лепят его только для Джула и меня, раз только мы не спим. А раз сон — это не быть, а дождь и ветер это — *было,* значит его нет. А повозка *есть,* потому что когда повозка станет *было,* Адди Бандрен не станет. И Джул *есть,* значит Адди Бандрен должна быть. А тогда и я должен быть, иначе не смог бы опорожнить себя для сна в чужой комнате. Значит, если я еще не опорожнен, я *есть.*

Сколько раз я лежал в дождь под чужой крышей, думая о доме.

Кеш

Я сделал все на скос.

1. Гвозди схватывают большую поверхность.

2. В каждом шве поверхность прилегания вдвое больше.

3. Воде придется просачиваться в него наискось. Вода легче всего движется по отвесу и по лежню.

4. В доме две трети времени люди в отвесном положении. Поэтому соединения и стыки делаются отвесно. Потому что нагрузка отвесная.

5. На кровати люди все время лежат, вязки делаются по лежню, потому что нагрузка лежачая.

6. Но.

7. Тело не прямоугольное, как шпала.

8. Животный магнетизм.

9. Животный магнетизм мертвого тела дает нагрузку вкось, поэтому швы и соединения гроба делаются на скос.

10. На старой могиле видно, что земля оседает на скос.

11. В природной же яме она оседает посередке, потому что нагрузка отвесная.

12. Поэтому я сделал на скос.

13. Качество работы лучше.

Вардаман

Моя мама — рыба.

Талл

Вернулся я к ним в десять, привязав лошадей Пибоди к задку повозки. Дрожки его уже кто-то притащил — Квик нашел их в миле от родника, вверх колесами над канавой. У родника их скатили с дороги, и там уже стояло с десяток упряжек. Дрожки нашел Квик. Он сказал, что река поднялась и еще поднимается. Сказал, что уже закрыло самую верхнюю отметку на сваях.

— Мост такой большой воды не выдержит, — я говорю. — Ансу про это сказали?

— Я сказал, — отвечает Квик. — Он думает, что ребята про это услышали, и разгрузились, и уже обратно едут. Говорит, погрузимся и переедем на ту сторону.

— Похоронил бы лучше у Новой Надежды, — сказал Армстид. — Мост старый. С ним шутки плохи.

— Нет, в Джефферсон решил везти, — сказал Квик.

— Тогда надо поскорее отправляться, — сказал Армстид.

Анс встречает нас у двери. Он побрился, но плохо. На подбородке длинный порез, а одет он в выходные брюки и белую рубашку с воротничком на запонке. Рубашка обтягивает горб, в белом горб кажется больше, и лицо у него тоже другое. Теперь он смотрит людям в глаза с достоинством, лицо сосредоточенное и трагическое, он пожимает руку каждому из нас, а мы по очереди поднимаемся на веранду, вытираем ноги, чувствуя себя неловко в выходных костюмах, выходные костюмы шуршат на нас, а мы избегаем его взгляда.

— Господь дал, — говорим мы.

— Господь дал.

Мальчишки тут нет. Пибоди рассказал, как он пришел на кухню, увидел, что Кора жарит рыбу, стал орать, ругаться, бросался на нее, и Дюи Дэлл увела его в хлев.

— Целы мои лошади? — спрашивает Пибоди.

— Целы, — отвечаю. — Я им корму дал нынче утром. Дрожки тоже вроде целы. Не разбились.

— Кому-то за это большое спасибо, — говорит он. — Пять центов не пожалел бы, чтобы узнать, где был мальчик, когда лошади сорвались.

— Если там что поломалось, починю, — говорю я.

Женщины ушли в дом. Мы слышим, как они разговаривают и машут веерами. Веера — шу, шу, шу, а сами говорят, говорят, будто пчелы в бочке шепчутся. Мужчины остались на веранде, переговариваются, друг на друга не смотрят.

— Здорово, Вернон. Здорово, Талл.

— Опять дождь будет.

— Да, похоже.

— Опять пойдет. Непременно.

— И налетит быстро.

— А уходить будет медленно. Известное дело.

Я перехожу на заднюю сторону. Кеш затыкает дыры в крышке. Обстругивает втулки, по одной, дерево мокрое и стругается плохо. Мог бы разрезать консервную банку и разом закрыть, никто бы не заметил разницы. А заметил — не сказал бы. Помню, он час при мне вытесывал клинышек, словно со стеклом работал, — а ведь нагнись только, подбери щепок, забей под шип, и хорош.

Когда мы кончили, я вернулся к ним. Мужчины отошли от дома, сидели, где

мы его строили ночью, — кто на обрезках досок, кто на козлах, кто на корточках, кто так, Уитфилд еще не приехал.

Они посмотрели на меня, спросили глазами.

— Все почти, — я говорю. — Будем забивать.

Поднимаемся по лестнице, к двери подходит Анс, смотрит на нас, и мы всходим на веранду. Снова вытираем ноги, старательно пропускаем друг друга вперед, толпимся перед дверью. Анс стоит за порогом, сосредоточенный, держится с достоинством. Показывает нам — проходите, и сам идет в комнату первым.

Они уложили ее вверх ногами. Кеш сделал его наподобие часов, вот такой,

все швы и стыки — на скос и выровнены рубанком, тугой, как барабан, аккуратный, как шкатулка, а ее уложили головой в ноги, чтобы не смялось платье. Платье было венчальное, колоколом, вот и положили ее головой в ноги, платье чтобы не примять, а москитной сеткой лицо прикрыли, чтоб не видно было дырок от бурава.

Выходим, а навстречу Уитфилд. Идет мокрый, грязный до пояса.

— Да утешит Господь этот дом. Я опоздал, потому что мост залило. Я поехал к старому броду и переплыл с лошадью, и Господь хранил меня. Да будет милость Его над этим домом.

Мы пошли обратно к козлам и обрезкам, сели.

— Я знал, что зальет, — говорит Армстид.

— Долго он держался, этот мост, — говорит Квик.

— Скажи лучше, Господь его держал, — говорит Дядя Билли. — Не помню, чтобы за двадцать пять лет молотком по нему кто ударил.

— Сколько же он тут стоял, Дядя Билли? — спрашивает Квик.

— Его построили... дай Бог памяти... в 1888 году, — говорит Дядя Билли. — А помню потому, что первым по нему проехал Пибоди — ко мне, когда Джоди родился.

— Если бы я ездил каждый раз, когда твоя жена приплод давала, он бы давно уж сносился, — говорит Пибоди.

Мы вдруг громко смеемся и разом смолкаем. Переглядываемся искоса.

— Много людей по нему переехало, — говорит Хьюстон, — последний раз в жизни.

— Это факт, — откликается Литлджон. — Это верно.

— Одной уж теперь не удастся, — говорит Армстид. — Им с ней на мулах до города два-три дня. Пока в Джефферсон отвезут да потом обратно — как раз неделя.

— А что Ансу втемяшилось везти ее в Джефферсон? — спрашивает Хьюстон.

— Обещал ей, — говорю я. — Сама захотела. Родом она оттуда. Так решила.

— И Анс так решил, — говорит Квик.

— Да, — говорит Дядя Билли. — Вот плывет человек всю жизнь без руля, без ветрил, а потом возьмет да такое удумает, чтобы всем хлопот устроить выше головы.

— Ну, теперь разве только сам Господь поможет перебраться через реку, — говорит Пибоди. — Ансу одному не справиться.

— Думаю, Он поможет, — говорит Квик. — Он уж давно Ансу помогает.

— Это факт, — говорит Литлджон.

— Так давно, что и бросить теперь жалко, — говорит Армстид.

— Я думаю, Он как все у нас тут, — говорит Дядя Билли. — Так долго помогал, что теперь поздно бросать.

Выходит Кеш. Он надел чистую рубашку; мокрые волосы гладко зачесаны на лоб, гладкие и черные, как будто голову покрасили масляной краской. С трудом присаживается на корточки, мы за ним наблюдаем.

— Чувствуешь погоду-то? — спрашивает Армстид.

Кеш не отвечает.

— Сломанная кость всегда погоду чувствует, — говорит Литлджон. — У кого кость сломана, предсказывать может.

— Это счастье, что отделался сломанной ногой, — говорит Армстид. — На всю

жизнь мог стать лежачим. Кеш, ты с какой высоты падал?

— Двадцать восемь футов четыре с половиной дюйма примерно, — говорит Кеш. Я подсаживаюсь к нему.

— На мокрых досках недолго поскользнуться, — говорит Квик.

— Обидно, — я говорю. — Но что ты мог сделать?

— Это все бабы, черти, — говорит он.— Я его строил, чтобы у ней с ним было равновесие. Строил по ее размеру и весу.

Если люди с мокрых досок падают, большое паданье тут будет, пока не переменится погода.

— Что ты мог сделать? — говорю я.

Люди падают — это ладно. А вот с кукурузой и хлопком моим что будет?

Да и Пибоди не против, чтобы люди падали. Скажи, доктор?

Это факт. С корнем из земли вымоет. Не одна напасть, так другая.

А как же? Потому они и стоят чего-то. Если бы не напасти эти, да у всех бы урожай большой, тогда и растить бы небось не стоило.

Нет уж — работаешь, ломаешься, а потом чтобы твою работу смыло к чертовой матери?

Это факт. Вот если бы сам мог дождь пустить, тогда и смоет — не обидно.

Какой же человек может это сделать? Какого, интересно, цвета у него глаза?

Да. Господь растениям дал расти. Он и смоет, если будет на то Его воля.

— Что ты мог сделать? — говорю я.

— Это все бабы, черти, — говорит он.

В доме женщины запели. Мы слышим, как начинается первый стих, крепнет, обрастая голосами, и мы встаем, идем к двери, снимаем шляпы, выплевываем жвачку. Не входим. Останавливаемся перед ступеньками кучкой, держим шляпы вялыми руками, кто перед собой, кто сзади, стоим, выставя ногу вперед и опустив голову, смотрим вбок или на шляпы, или в землю, а иногда на небо и на серьезное, сосредоточенное лицо соседа.

Песня кончается; дрожащие голоса дружно вывели последнюю замирающую ноту. Начинает Уитфилд. Его голос больше его самого. Как будто они — не одно. Как будто он отдельно и голос отдельно, переплывают на двух лошадях реку у брода и входят в дом — один измазан грязью, а другой даже не намок, торжественный и печальный. Кто-то заплакал в доме. Кажется, что ее глаза и ее голос обращены внутрь, и она слушает; мы переступаем с ноги на ногу и, встретившись глазами, тут же отводим их, делаем вид, что этого не было.

Уитфилд наконец умолк. Женщины опять поют. Голоса возникают прямо из густого воздуха и сливаются в печальную утешительную мелодию. Смолкли, но будто не исчезли. Будто затаились в воздухе, и стоит нам двинуться, мы снова извлечем из воздуха печальную и утешительную песню. Но вот они кончили, мы надеваем шляпы неловкими руками, словно никогда не носили шляп.

По дороге домой Кора продолжает петь. «К Богу путь держу и к моей награде», — поет она в повозке, закутав плечи в платок, под раскрытым зонтом, хотя дождя нет.

,— Она свою получила, — говорю я. — Не знаю, куда она попадет, но награду уже получила — освободилась от Анса Баидреиа. *Три дня лежала в гробу, ждала, когда Дарл и Джул вернутся за новым колесом и опять уйдут туда, где их повозка лежит в канаве. Анс, возьми мою, сказал я.*

Дождемся нашей, он сказал. Она захочет на своей. Она всегда была щепетильной женщиной.

На третий день они вернулись, погрузили ее в повозку и поехали — и уже было поздно. Вам придется ехать кругом, через Самсонов мост. Дотуда день дороги. И оттуда сорок миль до Джефферсона. Анс, возьми мою.

Дождемся нашей. Она на своей захочет.

Его мы увидели в миле от дома, сидел у болотного озерка. Сколько живу, рыба там никогда не водилась. Оглянулся на нас, глаза круглые и спокойные, лицо чумазое, удочка на коленях. Кора еще пела.

— Неподходящий день, чтобы рыбу удить, — сказал я. — Поехали с нами домой, а завтра чем свет пойдем на реку и наловим рыбы.

— Эта здесь сидит. Дюи Дэлл ее видела.

— Поехали с нами. На реке-то лучше.

— Она здесь. Дюи Дэлл ее видела.

— К Богу путь держу и к моей награде, — пела Кора.

Дарл

— Ведь не конь твой умер, Джул, — говорю я.

Он сидит на сиденье прямо, чуть подавшись вперед, спина деревянная. Поля шляпы в двух местах отмокли от тульи, провисли перед его деревянным лицом, и, нагнувши голову, он смотрит в дыры, словно из-под забрала, смотрит вдаль через долину, туда, где хлев прислонился к обрыву и лепит невидимую лошадь.

— Вот видишь? — я говорю. Висят высоко над домом, сужая круги в густом бурливом небе. Неумолимые, терпеливые, зловещие, отсюда они кажутся соринками. — Только ведь не конь твой умер.

— Черт бы тебя взял, — говорит он. — Черт бы тебя взял.

Я не могу любить мать, потому что у меня нет матери. У Джула мать — лошадь.

Неподвижные грифы кругами парят в вышине, и тучи несутся, будто отбрасывая их в обратную сторону.

Неподвижный, с деревянной спиной и деревянным лицом, напряженно устремясь вперед, он лепит коня своей ястребиной посадкой, и крылья согнуты. Они ждут нас, уже готовы выносить, его ждут. Он входит в стойло, ждет, когда конь лягнется, — чтобы проскользнуть мимо и вскочить на корыто; смотрит оттуда поверх стойл на пустую тропу и только потом тянется наверх за сеном.

— Черт бы его взял. Черт бы его взял.

Кеш

— Равновесия не будет. Если не хотите, чтобы перевешивался на ходу и в езде, нам надо...

— Поднимай. Поднимай, черт бы тебя взял.

— Говорят тебе, на ходу и в езде перевешиваться будет, если...

— Поднимай! Поднимай, бестолочь, душу твою в пекло!

Равновесия не будет. Если не хотят, чтобы на ходу и в езде перевешивался, им надо...

Дарл

Наклоняется над ним вместе с нами, две руки из восьми. Кровь приливает волнами к его лицу, а между волнами оно зеленоватое — ровная, сплошная, светлая зелень коровьей жвачки; лицо задыхающегося, яростный оскал.

— Подиимай! — говорит он. — Поднимай, бестолочь, душу твою дьявол.

Натужился и вдруг вскидывает свой конец; мы едва успеваем за его рывком — подхватываем гроб, чтобы не перевернулся. Первое мгновение он сопротивляется, будто живой — будто ее тонкое, как лучина, тело внутри, даже мертвое, яростно противится из стыда — примерно так она стеснялась бы раздеться, показать грязное белье. Потом открывается и взлетает на наших руках, словно истощенное тело придало доскам летучесть или же она, поняв, что одежду сейчас сорвут, бросается за ней вдогонку, и в этой крутой перемене чудится насмешка над первоначальной потребностью и желанием. Лицо у Джула становится совсем зеленым, и я слышу зубы в его дыхании.

Мы несем его по прихожей, неуклюже и громко шаркая ногами по полу, и выносим в дверь.

— Постойте-ка минуту, — говорит папа и отпускает. Он поворачивается, чтобы захлопнуть и запереть дверь, но Джул ждать не хочет.

— Пошли, — говорит он задыхающимся голосом. — Пошли.

Мы осторожно спускаемся с ним по ступенькам. Боимся даже чуть-чуть наклонить его, словно это — невиданная драгоценность, несем, отвернув лица, дышим сквозь зубы, чтобы не дышать носом. Движемся по тропинке к склону.

— Все-таки подождите, — говорит Кеш. — Говорю, равновесия нет. На холме понадобится еще один человек.

— Ну и отпусти, — говорит Джул. Он не останавливается.

Кеш не поспевает за ним, он ковыляет и шумно дышит; потом отстал, и Джул один несет передний конец, и на склоне гроб тоже наклоняется, начинает убегать от меня, скользит вниз по воздуху, как сани по невидимому снегу, плавно отсасывая воздух, в котором еще запечатлено его содержание.

— Джул, подожди, — говорю я.

Но он не хочет ждать. Он почти бежит, а Кеш остался сзади. Мне кажется, что мой конец ничего не весит, плывет, как соломинка на буйной волне джулова отчаяния. Я уже не прикасаюсь к нему, когда Джул поворачивается и, остановившись, на заносе, с ходу досылает гроб в повозку, а потом оборачивает ко мне лицо, полное ярости и отчаяния.

— Черт бы тебя взял. Черт бы тебя взял.

Вардаман

Мы едем в город. Его не продадут, сказала Дюи Дэлл, потому что он Деда Мороза и Дед Мороз забрал его до Рождества. Тогда он опять будет за стеклом, блестеть и ждать.

Папа и Кеш спускаются по склону, а Джул идет в хлев.

— Джул, — папа говорит. Джул не остановился. — Ты куда ндешь? — папа спрашивает. А Джул не остановился. — Оставь коня здесь, — говорит папа. Джул остановился и смотрит на папу. Глаза у Джула светлые. — Оставь коня здесь, — говорит папа. — Мы все поедем с мамой на повозке, как она хотела.

Но моя мама — рыба. Вернон видел. Он был тут.

— У Джула мать — лошадь, — сказал Дарл.

— Тогда моя может быть рыбой, правда, Дарл? — сказал я.

Джул — мой брат.

— Тогда и моя должна быть лошадью, — сказал я.

— Почему? — спросил Дарл. — Если твой папа — папа, почему твоя мама должна быть лошадью, потому что у Джула мама — лошадь?

— А почему должна? — спросил я. — Почему, Дарл?

— Дарл — мой брат.

— Дарл, а кто твоя мама? — спросил я.

— У меня ее нет, — сказал Дарл. — Потому что, если у меня была, то она *была*. А если *была*, значит ее нет. Нет?

— Нет, — сказал я.

— Значит меня нет, — сказал Дарл. — Я это я?

— Ты.

Я это я. Дарл — мой брат.

— Ведь ты это ты, Дарл.

— Я знаю, — сказал Дарл. — Поэтому меня и нет, что я для тебя — *ты*. И для них — *ты*.

Кеш несет свой ящик с инструментами. Папа смотрит на него.

— На обратной дороге зайду к Таллу, — говорит Кеш. — Там надо крышу на амбаре.

— Это неуважение, — папа говорит. — Это издевательство над ней и надо мной.

— Хочешь, чтобы он доехал досюда, а потом пешком тащил их к Таллу? — спрашивает Дарл.

Папа смотрит на Дарла, жует ртом. Теперь папа бреется каждый день, потому что моя мама — рыба.

— Это неправильно, — говорит папа.

У Дюи Дэлл в руке сверток. И корзинка с нашим обедом.

— Это что? — спрашивает папа.

— Пироги взяла у Коры, — говорит Дюи Дэлл и влезает на повозку. — Просила в город отвезти.

— Это неправильно, — говорит папа. — Это неуважение к покойной.

Он будет там. Она говорит, он будет там на Рождество, блестеть на рельсах. Говорит, его не продадут городским ребятам.

Дарл

Он идет к хлеву, входит на участок, спина деревянная.

Дюи Дэлл несет корзинку через руку, в другой руке что-то квадратное, завернуто в газету. Лицо у нее спокойное и угрюмое, в глазах настороженная мысль; в них я вижу спину Пибоди, как две круглые горошины в двух наперстках: может быть, в спине Пибоди — два таких червячка, которые упорно и тайком проедаются сквозь тебя и вылезают с другой стороны, и ты вдруг пробуждаешься от сна или бодрствования с ошарашенным, озадаченным лицом. Она ставит корзину в повозку и влезает сама; нога длинно заголилась под натянувшимся платьем: этот рычаг, который переворачивает мир; эта половинка циркуля, которым меряется длина и ширина жизни. Она садится на сиденье рядом с Вардаманом и кладет на колени сверток.

Вот он входит в хлев. Он не оглянулся.

— Это неправильно, — говорит папа. — Такую малость мог бы ради нее сделать.

— Поехали, — говорит Кеш. — Хочет, пускай остается. Ничего с ним здесь не сделается. А может, к Таллу пойдет, там поживет.

— Он нас нагонит, — говорю я. — Срежет напрямик и встретит нас у талловой дороги.

— Он бы на коне своем еще поехал, — говорит папа, — если б я не запретил. Пятнистая зверюга, дикая, хуже рыси. Издевательство над ней и надо мной.

Повозка тронулась; запрыгали уши мулов. Позади, в вышине над домом, неподвижные, реют кругами, потом уменьшаются и пропадают.

Анс

Я сказал ему, чтобы уважал покойную мать и не брал коня: неправильно это, форсить на цирковом звере, шут бы его взял, — она ведь хочет, чтобы все мы, кто из ее плоти и крови вышел, были с ней в повозке; и вот, не успели мы таллову дорогу проехать, Дарл начинает смеяться. Сидит на скамейке с Кешем, покойная мать в гробу лежит у него в ногах, а он смеется. Не знаю, сколько раз я ему говорил, что из-за таких вот выходок люди о нем и судачат. Тебе, говорю, может, наплевать, и сыновья у меня, может, выросли черт знает какие, но мне не все равно, что говорят про мою плоть и кровь, а когда ты такое выкидываешь и люди про тебя судачат, это твою мать роняет — не меня, говорю: я мужчина, мне не страшно; это на женскую половину падает, на твою мать и сестру, ты об них подумай — и нате вам, оглянулся назад, а он сидит и смеется.

— Я не жду, что ты ко мне поимеешь уважение, — говорю ему. — Но у тебя же мать в гробу не остыла.

— Вон, — и головой показывает на поперечную дорогу. Лошадь еще далековато, идет к нам ходко, и кто на ней, мне говорить не надо. Я оглянулся на Дарла, а он сидит и смеется.

— Я старался, — говорю. — Старался сделать так, как она хотела. Господь отпустит мне и простит поведение тех, кого послал мне.

Она лежит в ногах у Дарла, а он сидит на скамье и смеется.

Дарл

Он едет по дорожке быстро, но мы уже в трехстах ярдах от перекрестка, когда он сворачивает на главную дорогу. Из-под мелькающих копыт летит грязь; он сидит в седле легко и прямо и теперь чуть придерживает коня; конь семенит по грязи.

Талл у себя на участке. Смотрит на нас, поднимает руку. Едем, повозка скрипит, грязь шепчется с колесами. Вернон продолжает стоять. Он провожает глазами Джула; конь бежит словно играючи, высоко поднимая колени, в трехстах ярдах от нас. Мы едем; движемся как во сне, в дурмане, будто не перемещаясь, и кажется, что время, а не пространство сокращается между ним и нами.

Она поворачивает под прямыми углами, колеи с прошлого воскресенья уже затянулись: гладкий красный язык лавы извиваясь уходит в сосны; белая доска с линялой надписью: Церковь Новой Надежды, 3 мили. Она наезжает, как неподвижная ладонь над мертвым океаном; за ней дорога — как спица колеса, у которого обод —

Адди Бандрен Тянется навстречу, пустая, без следов, и белая доска отворачивает свое линялое и бесстрастное извещение. Кеш спокойно смотрит на дорогу и поворачивает голову вслед доске, как сова; лицо у него сосредоточенное. Горбатый папа смотрит прямо вперед. Дюи Дэлл тоже глядит на дорогу, потом оборачивается ко мне, в настороженных глазах тлеет отказ, а не вопрос, как у Кеша. Доска позади; дорога без следов тянется. Потом Дюи Дэлл отворачивает лицо. Скрипит повозка.

Кеш плюет через колесо.

— Дня через два запахнет, — говорит он.

— Это ты Джулу скажи, — говорю я.

Теперь он остановился, выпрямившись сидит на коне у перекрестка, наблюдает за нами, неподвижный, как указатель, поднявший навстречу ему свою надпись.

— Для долгой дороги он плохо уравновешен, — говорит Кеш.

— И это ему скажи, — говорю я. Повозка скрипит дальше.

Через милю он обгоняет нас; поводья подобрал, и конь, выгнув шею, идет быстрой иноходью. Джул сидит в седле легко, надежно, прямо, лицо деревянное, порванная шляпа лихо заломлена. Он проезжает быстро, не взглянув на нас, конь бодр, грязь шипит под копытами. Лепешка грязи, отброшенная копытом, шлепается на гроб. Кеш наклоняется вперед, достает что-то из ящика с инструментами и аккуратно ее соскребает. Когда дорога пересекает Уайтлиф и ветлы склоняются над нами, он отламывает ветку и оттирает пятно мокрыми листьями.

Анс

Тяжело человеку в этом краю; тяжело. Восемь миль трудового пота смыто с Господней земли, а ведь Господь Сам велел его тут пролить. Нигде в нашем грешном мире не разжиться честному работящему человеку. Это — для тех, которые в городских магазинах сидят, пота не проливают, а кормятся с тех, которые проливают трудовой пот. Это — не для трудового человека, не для фермера. Иногда думаю, почему не бросим? Потому что в небесах нам будет награда, а они туда свои автомобили и другое добро не возьмут. Там все люди будут равны, и кто имеет, у того отнимется, и дано будет Господом тому, кто не имеет.

Но похоже, что этого долго ждать. Чтобы заработать свою награду за праведность, человек себя мытарить должен и своих мертвецов, — хорошо ли это? Ехали весь день, в сумерки добрались до Самсона, а моста и там уж нет. Они никогда не видели, чтобы река так поднялась, — а дождь-то еще не перестал. Старики не видали и не слыхали, чтобы такое было на памяти людской. Меня избрал Господь, потому что кого Он любит, того наказывает. Но чудными же способами извещает он об этом человека, ей-ей.

Но теперь я вставлю зубы. Это будет утешением. Будет.

Самсон

Это было как раз перед закатом. Мы сидим на веранде, а по дороге подъезжает повозка, их в повозке пятеро, а один сзади верхом. Кто-то из них поднял руку, но проехали мимо магазина и не остановились.

— Кто это? — спрашивает Маккалем — забыл его имя, ну, Рафа близнец — это он был.

— Бандрены, из-за Новой Надежды, — Квик отвечает. — А под Джулом конь из тех снопсовских лошадок.

— Не знал, что они тут еще водятся, — говорит Маккалем. — Я думал, вы все-таки исхитрились их раздать.

— Поди возьми его, — говорит Квик.

А повозка проехала. Я говорю:

— Могу спорить, эту ему папаша Лон не за так отдал.

— Да, — говорит Квик. — Папа ему продал. — А повозка едет дальше. — Они, поди, не слышали про мост, — говорит Квик.

— А что они тут делают? — спрашивает Маккалем.

— Да, видно, жену похоронил и отпуск себе взял, — Квик говорит. — В город, видно, едет, а Таллов мост у них залило. И про этот, значит, не слышали?

— Тогда им лететь придется, — я говорю. — Думаю, что отсюда до устья Ишатовы ни одного моста не осталось.

Что-то у них было в повозке. Но Квик ездил на похороны три дня назад, и нам, конечно, в голову не могло прийти ничего такого — ну, разве, поздновато из дому отправились, да про мост не слышали.

— Ты бы им крикнул, — говорит Маккалем. Черт, на языке вертится имя.

Квик крикнул, они остановились, он пошел к повозке и объяснил. Возвращается вместе с ними. Говорит: «Они едут в Джефферсон. Возле Талла моста тоже нет», — будто мы сами не знаем, и нос как-то морщит, а они сидят себе — Бандрен с дочкой и малец спереди, а Кеш и другой, про которого судачат, на доске у задка, и еще один на пятнистом коньке. Наверно, они уже принюхались: когда я сказал Кешу, что им опять придется ехать мимо Новой Надежды и как им выгодней поступить, он только одно ответил:

— Ничего, доберемся.

В чужие дела лезть не люблю. Каждый пусть сам решает, как ему быть, такое мое мнение. Но когда мы с Речел поговорили о том, что специалист их покойницей не занялся, а у нас, мол, июль и все такое, я пошел к амбару и хотел про это с Бандреном поговорить.

— Я ей дал обещание, — он мне в ответ. — Она так решила.

Я заметил, что ленивый человек, которого с места не стронешь, если уж двинулся, то пойдет и пойдет, как раньше сидел и сидел — словно бы ему не так противно двигаться, как тронуться и остановиться. И если появляется трудность, мешает ему двигаться или сидеть, он этой трудностью даже гордится. Анс сидит на повозке, сгорбившись, моргает, мы рассказываем ему про то, как быстро моста не стало и как высоко вода поднялась, а он слушает, и, ей-Богу, вид у него такой, как будто гордится этим, как будто он сам сделал наводнение.

— Значит, такой высокой воды вы никогда не видели? — говорит. — На все воля Божья, — говорит. — К утру она вряд ли сильно спадет.

— Ночуйте здесь, — я говорю, — а завтра с утра пораньше отвезете к Новой Надежде.

Мне этих мулов отощавших стало жалко. А Речел я сказал: «Ты что же, хотела, чтобы я прогнал их на ночь глядя, за восемь миль от дома? Что мне было делать-то? — спрашиваю. — Всего на одну ночь, — поставят ее в сарае, а на рассвете уедут».

Ну, и говорю ему:

— Оставайтесь здесь на ночь, а завтра пораньше везите обратно к Новой Надежде. Лопат у меня хватит, а ребята поужинают и могут заранее вырыть, если захотят, — и вижу, его дочка на меня смотрит. Если бы у ней не глаза были, а пистолеты, я бы сейчас не разговаривал, — прямо прожигают меня, честное слово. А потом пришел к сараю — они там расположились, — слышу, дочка говорит, не заметила, как я подошел. Говорит:

— Ты ей обещал. Она не хотела умирать, пока ты не пообещал. На твое слово понадеялась. Если обманешь ее, Бог тебя накажет.

— Никто не может сказать, что я не держу слово, — Бандрен отвечает. — У меня душа всем открытая.

— Какая у тебя душа, не знаю, — она говорит. Говорит быстро, шепотом. — Ты ей обещал. Должен сделать. Ты... — Потом увидела меня и замолчала; стоит. Если бы они были пистолетами, я бы сейчас не разговаривал. Ну, и опять завел про это речь, а он говорит:

— Я ей дал обещание. Она так хочет.

— Но мне сдается, для нее же лучше, если мать похоронят близко, и она сможет...

— Я Адди дал обещание, — он говорит. — Она так хочет.

Тогда я сказал, чтобы закатили ее в сарай, потому что дождь опять собирается, — а ужин скоро будет готов. Но они входить не захотели.

— Благодарствую, — говорит Бандрен. — Мы стеснять вас не хотим. В корзинке у нас кое-что есть. Мы обойдемся.

— Ну, раз ты так печешься о своих женщинах, — говорю, — я тоже пекусь. Когда мы есть садимся, а наши гости за стол не идут, моя жена считает это за оскорбление.

Тогда его дочка пошла на кухню помогать Речел. А потом Джул ко мне подходит.

— Конечно, — я говорю. — Натаскай ему с сеновала. Мулов накормишь и ему дай.

— Я хочу тебе заплатить, — он говорит.

— За что? — спрашиваю. — Что же я, человеку корма для коня пожалею?

— Я хочу тебе заплатить, — он говорит; мне послышалось: «лишнего».

— Чего лишнего? — спрашиваю. — Он что, зерна и сена не ест?

— За лишний корм. Я даю ему больше и не хочу, чтобы он у чужих одалживался.

— У меня, парень, ты корм покупать не будешь, — я говорю. — А если он может всю клеть сожрать, завтра утром я помогу тебе погрузить мой сарай в повозку.

— Он никогда ни у кого не одалживался. Я хочу за него заплатить.

А меня подмывало сказать: если бы мои хотения исполнялись, тебя бы тут вообще бы не было. Но я только одно сказал:

— Тогда самое время ему начать. У меня ты корму не купишь.

Речел накрыла ужин, а потом с его дочкой стала стелить постели. Но в дом никто из них не пошел. Говорю ему:

— Она уже столько дней мертвая, что ей эти глупости ни к чему. — Я не меньше любого уважаю покойников, но уважать-то надо самих покойников, и если женщина четыре дня лежит в гробу, самое лучшее к ней уважение — похоронить ее поскорей.

А они не желают.

— Это будет неправильно, — Бандрен говорит. — Конечно, если ребята хотят лечь, я с ней один посижу. Не могу я ей в этом отказать.

Когда я вернулся туда, они сидели на корточках вокруг повозки.

— Пускай хоть мальчонка пойдет в дом, поспит, — говорю. — Да и ты бы пошла, — говорю его дочке. Не хотел я вмешиваться в их дела. И ей тоже вроде ничего плохого не сделал.

— Он уже спит, — говорит Бандрен. Они его уложили в корыто в пустом стойле.

— Ну так ты иди, — говорю ей. А она молчит. Все сидят на корточках. И едва их разглядишь. — А вы, ребята? — спрашиваю. — Завтра у вас трудный день.

И немного погодя Кеш отвечает:

— Благодарствую. Мы обойдемся.

— Не хотим быть в тягость, — Бандрен говорит. — Благодарим покорно.

Так и остались сидеть на корточках. Принюхались, наверно, за четыре-то дня. А Речел — нет.

— Это безобразие, — говорит. — Безобразие.

— А что ему делать? — спрашиваю. — Он ей слово дал.

— Да про него разве речь? Кому он нужен? — А сама плачет. — Чтобы ему, и тебе, и всем вам... Мучаете нас при жизни и над мертвыми издеваетесь, таскаете туда и сюда...

— Ну полно, полно, — говорю. — Ты расстроилась.

— Не прикасайся ко мне! Не прикасайся ко мне!

Ну разве может человек их понять? Вот я прожил с одной пятнадцать лет, и будь я проклят, если понял. Я представлял себе, что между нами могут встать самые разные вещи, но будь я проклят, если думал, что это будет тело, четыре дня как мертвое, притом женское. А они сами себе портят жизнь, не принимая то, что она нам преподносит, — в отличие от мужчин.

И вот я лежал, слышал, как начинается дождь, думал о том, что они сидят там на корточках вокруг повозки, а дождь стучит по крыше, думал о том, как плакала Речел, — покуда не стало казаться, что слышу ее плач до сих пор, хотя она уже спала, что чую этот запах, хотя знал, что чуять его не мог. И уже понимать перестал, пахнет или нет, и не чудится ли мне запах только потому, что о нем знаю.

А наутро я туда не пошел. Я слышал, как они запрягали, и когда понял, что они вот-вот выедут, вышел из дому и пошел по дороге к мосту; оттуда услышал, как повозка выехала со двора и повернула назад, к Новой Надежде. Воротился домой, а Речел набросилась на меня за то, что ушел и не позвал их завтракать. Ну, кто их

разберет? Только решишь, что они хотят одного, тут же понимай все наоборот, да еще, черт возьми, взбучку получишь за то, что не так ее понял.

А запах я все равно как бы слышал. Тогда я решил, что его уже нет, а просто знаю о нем — бывает иногда, что так обманываешься. Но когда подошел к амбару, понял, что ошибаюсь. Вошел и вижу, там кто-то сидит. Вроде на корточках, и сперва я подумал, что кто-то из них остался, а потом разглядел, кто это. Гриф. Он оглянулся, увидел меня и заковылял по проходу — ноги врастопырку, крылья развесил и оглядывается на меня то через одно плечо, то через другое, как лысый старик. Вышел вон и полетел. Ему долго пришлось лететь, чтобы в воздух подняться, — толстый, тяжелый и весь дождем пропитан.

Если уж им так надо в Джефферсон, могли бы поехать кругом, через Маунт-Вернон, как Маккалем. Верхом он будет дома послезавтра. Оттуда им до города восемнадцать миль. Но, может быть, увидел, что и этого моста нет, и образумится, придет в рассудок.

Маккалем этот. Двенадцать лет уж мы с ним подторговываем. Мальчишкой его знал; имя его знаю как свое. Но убей меня бог, не могу вспомнить.

Дюи Дэлл

Завиднелась доска с надписью. Сейчас она смотрит по дороге в ту сторону, потому что может ждать. Она скажет: Новая Надежда 3 мили. Новая Надежда 3 мили. Новая Надежда 3 мили. И тогда начнется новая дорога, завьется, в рощу уйдет, будет ждать, пустая, и скажет: Новая Надежда, три мили.

Я слышала, что мама умерла. Жалко, что некогда было дать ей умереть. Жалко, что некогда было пожалеть, что некогда. Это потому, что в буйной возмущенной земле слишком скоро слишком скоро слишком скоро. Не потому, что я не хотела и не хочу, а потому что слишком скоро слишком скоро слишком скоро.

Теперь сказала: Новая Надежда три мили. Новая Надежда три мили. *Вот что значит чрево времени: отчаяние и мука раздвигающихся костей, жестокий пояс, в котором заключена возмущенная внутренность событий.* Когда мы приближаемся, голова Кеша поворачивается, его бледное, печальное, сосредоточенно застывшее лицо вопросительно поворачивается за пустым и рыжим изгибом дороги; у задка едет верхом Джул, глядя прямо вперед.

Земля убегает из глаз Дарла; они сливаются в булавочные головки. Они начинают с моих ног, поднимаются по телу к лицу, и вот на мне уже нет платья: сижу голая над медлительными мулами, над их потугами. *А если попрошу его повернуть? Он сделает, как я скажу. Ты же знаешь, сделает, как я скажу.* Однажды я проснулась, и подо мной неслась черная пустота. Я ничего не видела. Я увидела, как поднялся Вардаман, подошел к окну и вонзил в рыбу нож; кровь хлынула, зашипела, как пар, но я ничего не видела. *Он сделает, как я скажу. Всегда делал. Я могу убедить его в чем угодно. Могу, ты же знаешь. Если скажу: Поворачивай.* Это было, когда я умерла в тот раз. *Что, если скажу? Мы поедем к Новой Надежде. Нам не придется ехать в город.* Я поднялась, выдернула нож из рыбы, из шипящей крови и убила Дарла.

В ту пору когда я спала с Вардаманом у меня однажды был кошмар я думала что не сплю но ничего не видела и ничего не чувствовала не чувствовала под собой кровати не могла подумать кто я такая не могла подумать что я девушка и даже не могла подумать Я подумать что хочу проснуться и даже вспомнить от чего пробуждаются ведь без этого не проснешься и что-то проходило но я не знала что не могла подумать о времени а потом вдруг поняла это был ветер он дул на меня как будто налетел и сдул меня оттуда где было так что меня нет сдул комнату и спящего Вардамана и всех их опять над меня и все дул словно ленту прохладного шелка тянули поперек моих голых ног.

Прохладный, он дует из сосен с печальным ровным шумом. Новая Надежда. Было 3 мили. Было 3 мили. Я верю в Бога. Я верю в Бога.

— Папа, почему мы не поехали к Новой Надежде? — спрашивает Вардаман. — Мистер Самсон сказал, мы едем туда, а мы проехали поворот.

Дарл говорит: — Смотри, Джул. — Но смотрит не на меня. Смотрит на небо. Гриф застыл там, словно прибит гвоздем.

Мы сворачиваем на таллову дорогу. Проезжаем сарай и едем дальше, колеса

шепчутся с грязью, проезжаем зеленые ряды хлопка на буйной земле, а Вернон в поле, с плугом. Когда мы проезжаем, он поднимает руку и долго еще стоит, глядя нам вслед.

— Смотри, Джул, — говорит Дарл. Джул сидит на коне, оба они будто вырезаны из дерева, смотрят вперед.

Я верю в Бога, Боже. Боже, я верю в Бога.

Талл

Когда они проехали, я отпряг мула, повесил цепи на плуг и пошел за ними. Они сидели на повозке у края дамбы. Анс сидел и смотрел на мост — а видны были только его концы, потому что середина провисла в воду. Смотрел так, как будто все время думал, что люди врут и мост не залило, но и надеялся все время, что это правда. Как бы с приятным удивлением смотрел и жевал губами, сидя на повозке в воскресных штанах. Выглядел вроде лошади, которую нарядили, а не почистили: не знаю.

Мальчик смотрел на середину моста, где над ним проплывали бревна и всякая всячина; мост дрожал и шатался, словно вот-вот развалится, а он смотрел большими глазами, как будто сидел в цирке. И сестра его. Когда я подошел, она на меня оглянулась — глаза загорелись сердито, словно я собрался ее потрогать. Потом поглядела на Анса, а потом опять на воду.

Она почти залила дамбу с обеих сторон, земля скрылась, кроме языка перед мостом, и если не знать, как раньше выглядела дорога и мост, ни за что не скажешь, где была река, а где земля. Только желтая муть и дамба шириной с обушок ножа, и мы сидели перед ней — кто на повозке, кто на коне, кто на муле.

Дарл смотрел на меня, а потом Кеш обернулся и посмотрел, с таким выражением, как в тот вечер, будто примерял в уме к ней доски, прикидывал длину, а тебя не спрашивал, что ты думаешь, и как бы даже не собирался слушать, если вдруг сам захочешь сказать, но на самом-то деле слушал. Джул не шевелился. Он сидел на коне, чуть подавшись вперед, а лицо у него было такое же, как вчера, когда они с Дарлом проезжали мимо моего дома, возвращаясь за ней.

— Если бы его не залило, мы бы могли переехать, — говорит Анс. — Переехали бы на ту сторону.

Иногда через затор протискивалось бревно и, поворачиваясь, плыло дальше, а мы наблюдали, как оно подплывает к тому месту, где был брод. Оно задерживалось, вставало поперек течения, на секунду высовывалось из воды, и по этому ты догадывался, что брод был здесь.

— Ничего не значит, — я говорю. — Может быть, там намыло зыбучего песку. — Мы наблюдаем за бревном. Девушка опять смотрит на меня.

— А Уитфилд там переправился, — говорит она.

— Верхом, — отвечаю. — И три дня назад. С тех пор на полтора метра поднялась.

— Если бы мост не закрыло, — говорит Анс.

Бревно высовывается и плывет дальше. Много сора и пены, и слышно воду.

— А его закрыло, — говорит Анс.

Кеш говорит: — Если осторожно, то можно перебраться по доскам и бревнам.

— Но перенести уж ничего не сможешь, — говорю я. — И кто его знает, может, только ступишь, вся эта свалка тоже тронется. Как думаешь, Дарл?

Он смотрит на меня. Ничего не говорит; только смотрит чудными глазами — из-за этого взгляда люди о нем и судачат. Я всегда говорю: не в том дело, что он выкинул, или сказал, или еще чего-нибудь, а в том, как он на тебя смотрит. Вроде внутрь к тебе залез. Вроде смотришь на себя и на свои дела его глазами. Снова чувствую, что девушка взглянула на меня так, словно я собираюсь ее потрогать. Она говорит что-то Ансу. «...Уитфилд...» — говорит она.

— Я дал ей обещание перед Господом, — Анс говорит. — Я думаю, беспокоиться не надо.

Но не трогается с места. Мы сидим над водой. Еще одно бревно выбирается из затора и плывет вниз; мы наблюдаем, как оно застревает и медленно поворачивается там, где был брод. Потом плывет дальше.

— Может, завтра к вечеру спадать начнет, — говорю я. — Потерпели бы еще день.

Тут Джул поворачивается на коне. До сих пор он не шевелился, а сейчас поворачивается и смотрит на меня. Лицо у него как бы с зеленцой, потом делается красным, потом опять зеленеет.

— Иди отсюда к чертовой матери, — говорит он, — паши там. Какого черта ты за нами таскаешься?

— Я ничего плохого не хотел сказать.

— Замолчи, Джул, — говорит Кеш. Джул опять смотрит на воду, желваки вздулись, лицо — то красное, то зеленое, то красное. — Ну, — немного погодя говорит Кеш, — что делать собираешься?

Анс не отвечает. Сидит сгорбившись, жует губами.

— Если бы не залило, могли бы переехать, — говорит он.

— Поехали, — говорит Джул и трогается с места.

— Погоди, — говорит Кеш. Он смотрит на мост. Мы смотрим на Кеша — все, кроме Анса и дочки. Они глядят на воду. — Дюи Дэлл, Вардаман и папа, вы идите пешком по мосту, — говорит Кеш.

— Вернон может их проводить, — говорит Джул. — А мы пристегнем его мула перед нашими.

— Моего мула ты в воду не поведешь, — говорю я.

Джул смотрит на меня. Глаза как осколки тарелки.

— Я плачу тебе за мула. Прямо сейчас покупаю.

— Мой мул в воду не пойдет, — говорю я.

— Джул с конем своим идет, — говорит Дарл. — Почему ты за мула боишься, Вернон?

— Замолчи, Дарл, — говорит Кеш. — И ты Джул, оба замолчите.

— Мой мул в воду не пойдет, — говорю я.

Дарл

Он сидит на коне, свирепо глядя на Верноиа, лицо у него покраснело от подбородка до корней волос, глаза светлые, жесткие. В то лето, когда ему было пятнадцать лет, у него сделалась спячка. Однажды утром я пошел кормить мулов и увидел, что коровы еще не выгнаны; потом услышал, что папа вернулся к дому и зовет его. Когда мы возвращались завтракать, он прошел мимо нас с молочными ведрами, спотыкаясь, как пьяный, а когда мы запрягли мулов и выехали в поле, он только доил. Мы поехали без него, а он и через час не появился. Днем Дюи Дэлл принесла нам есть, и папа отправил ее искать Джула. Его нашли в хлеву: он спал, сидя на табурете.

После этого папа стал приходить по утрам и будить его. Джул засыпал над ужином, а после сразу шел спать, и, когда я ложился в постель, он лежал там как мертвый. И все равно папе приходилось будить его по утрам. Джул поднимался, но ничего не соображал: молча выслушивал папины упреки и жалобы, брал молочные ведра и шел в хлев; однажды я его там застал: он спал, привалившись головой к боку коровы, под выменем стояло полное ведро, а руки у него висели в молоке до запястий.

После этого доить стала Дюи Дэлл. Он по-прежнему поднимался, когда папа его будил, делал, что мы ему велели, — как опоенный, и старался словно бы, и сам недоумевал.

— Ты захворал? — спрашивала мама. — Тебе нездоровится?

— Нет, — отвечал Джул. — Я здоров.

— Обленился просто, отца из себя выводит, — говорил папа, а Джул стоял и будто спал на ногах. — Так, что ли? — будил Джула, требовал ответа.

— Нет, — отвечал Джул.

— Отдохни сегодня, посиди дома, — говорит мама.

— Когда вся низина еще не вспахана? — говорил папа. — Коли не хвораешь, так что с тобой?

— Ничего. Здоров я.

— Ничего? — говорил папа. — Да ты сейчас стоя спишь.

— Ничего. Здоров я.

— Я хочу, чтобы он сегодня посидел дома, — говорит мать.

А папа: — Он мне нужен. Спасибо, если все-то управимся.

— Придется вам с Кешем и Дарлом налечь, — говорила мама, — Я хочу, чтобы он посидел дома.

А он отказывался. «Я здоров», — и шел с нами. Но он не был здоров. Это все видели. Он худел, и я замечал, что он засыпает с мотыгой; видел, как мотыга движется все тише и тише, поднимается все ниже, а потом совсем замрет, и он, опершись на нее, тоже застынет в жарком мареве.

Мама хотела позвать доктора, но папа не хотел понапрасну тратить деньги, а Джул в самом деле был на вид здоров — если не считать худобы и того, что засыпал на каждом шагу. Ел он хорошо — только мог заснуть над тарелкой, не донеся хлеб до рта, и дожевывал во сне. Божился, что здоров.

Доить за него мама пристроила Дюи Дэлл — как-то платила ей — и домашнюю работу, которую он делал до ужина, тоже переложила на Дюи Дэлл и Вардамана. А когда не было папы, делала сама. Она готовила ему особую еду и прятала для него. Так я узнал, что Адди Бандрен может таиться, а ведь она нас всегда учила: обман — это такая штука, что там, где он завелся, ничто уже не покажется чересчур плохим или чересчур важным — даже бедность. Случалось, когда я приходил спать, она сидела в темноте возле спавшего Джула. Я знал, что она ненавидит себя за обман и ненавидит Джула за такую любовь к нему, из-за которой должна заниматься обманом.

Однажды ночью она заболела, и, когда я пошел в сарай, чтобы запрячь мулов и ехать к Таллу, я не мог найти фонарь. Я вспомнил, что прошлым вечером видел его на гвозде, а теперь он куда-то делся. Я запряг в темноте — была полночь, — поехал и на рассвете вернулся с миссис Талл. Фонарь — на месте, висит на гвозде, где я давеча искал его. А потом, как-то утром, перед восходом солнца Дюи Дэлл доила коров, и в хлев сзади вошел Джул — вошел через дыру в задней стенке, с фонарем в руке.

Я сказал Кешу, и мы с Кешем посмотрели друг на друга.

— Гон у него, — сказал Кеш.

— Ладно. А зачем фонарь-то? Да еще каждую ночь. Как тут не отощать? Ты ему что-нибудь скажешь?

— Без толку, — ответил Кеш.

— А от шлянья его тоже не будет толку.

— Знаю. Но он должен сам это понять. Дай срок, сам сообразит, что никуда оно не денется, что завтра будет не меньше, чем сегодня, и он опамятуется. Я бы никому не говорил.

— Ага. И я Дюи Дэлл сказал, чтобы не говорила. Маме хотя бы.

— Да. Не надо маме.

Тогда все это мне стало казаться потешным: и что он такой смущенный и старательный, что ходит как лунатик и отощал до невозможности и что считает себя таким хитрецом. Мне любопытно было, кто девушка. Я перебирал всех, кого знал, но так и не смог догадаться.

— Никакая не девушка, — сказал Кеш. — Там замужняя женщина. Больно лиха да вынослива для девушки. Это мне и не нравится.

— Почему? — спросил я. — Для него безопасней, чем девушка. Рассудительней.

Он поглядел на меня; глаза его нащупывали, и слова нащупывали то, что он хотел выразить.

— Не всегда безопасная вещь в нашей жизни — это...

— Хочешь сказать, безопасное — не всегда самое лучшее?

— Вот, лучшее, — сказал он и опять стал подбирать слова. — Это не самое лучшее, не самое хорошее для него... Молодой парень. Противно видеть... когда вязнут в чьей-то чужой трясине... — Он вот что пытался сказать. Если есть что-то новое, крепкое, ясное, там должно быть что-то получше, чем просто безопасность: безопасные дела — это такие дела, которыми люди занимались так давно, что они поистерлись и растеряли то, что позволяет человеку сказать: до меня такого никогда не делали и никогда не сделают

Мы никому не рассказывали, даже после того, как он стал появляться на поле рядом с нами, не зайдя домой, и брался за работу с таким видом, будто всю ночь

пролежал у себя в постели. За завтраком он говорил маме, что не хочет есть или что уже поел хлеба, пока запрягал. Но мы-то с Кешем знали, что в такие ночи он вообще не бывал дома и на поле к нам выходил прямо из лесу. И все-таки мы не рассказывали. Лето шло к концу; ночи станут холодными, и, если не он, так она скажет: шабаш.

Настала осень, долгие ночи, но все продолжалось, с той только разницей, что по утрам он лежал в постели, и поднимал его папа — такого же обалделого, как в самом начале, и был он теперь дурнее, чем летом, когда шлялся до утра.

— Ну и выносливая, — сказал я Кешу. — Я ей удивлялся, а теперь прямо уважаю.

— Это не женщина.

— Все-таки ты знаешь, — сказал я. А он наблюдал за моим лицом. — Кто же тогда?

— А вот это я и собираюсь узнать.

— Можешь таскаться за ним всю ночь по лесу, если хочешь. Я не хочу.

— Я за ним не таскаюсь, — он сказал.

— А как это называется?

— Я за ним не таскаюсь. Я по-другому хочу.

И вот через несколько дней я услышал, как Джул встал с постели и вылез в окно, а потом услышал, как Кеш встал и вылез за ним. Утром я пошел в сарай, а Кеш уже там, мулы накормлены, и он помогает Дюи Дэлл доить. И когда я увидел его, я понял, что он все узнал. Я заметил, что он иногда странно поглядывает на Джула, как будто, узнавши, куда ходит Джул и чем занимается, он только тут и задумался всерьез. А посматривал он без тревоги; такой взгляд я замечал у него, когда он делал за Джула какую-то работу по дому, про которую папа думал, что ее делает Джул, а мама думала, что делает Дюн Дэлл. И я ни о чем не спросил его — надеялся, что, переваривши это, он сам мне скажет. А он так и не сказал.

Однажды утром — в ноябре, через пять месяцев после того, как это началось, — Джула в постели не оказалось, и в поле он к нам не пришел. Вот тут только мама и начала понимать, что происходит. Она послала Вардамана искать Джула, а немного погодя пришла к нам сама. Как будто, пока обман шел тихо-мирно, мы все позволяли себя обманывать, соучаствовали по неведению, а может, по трусости, потому что все люди трусы и всякое коварство им больше по сердцу — ведь видимость у него нежная. А теперь мы все — будто телепатически согласившись признаться в своем страхе — сбросили с себя лукавство, словно одеяло на кровати, и сели голенькие, глядя друг на друга и говоря: «Вот она, правда. Он не пришел домой. С ним что-то случилось. И мы это допустили».

А потом увидели его. Он появился у канавы и повернул к нам, напрямик, через поле, — верхом. Грива и хвост у коня развевались, словно в движении они разметывали пятнистый узор шкуры; казалось, он едет на большой вертушке, с какими бегают дети, — без седла, с веревочной уздечкой и непокрытой головой. Конь происходил из тех техасских лошадок, которых завез сюда двадцать пять лет назад Флем Снопс и распродал по два доллара за голову — поймать свою сумел только Лон Квик, но подарить потом никому уже не сумел, так что кровь ее сохранилась.

Джул подскакал к нам и остановился, сжав пятками ребра коня, а конь плясал и вертелся так, как будто форма гривы, хвоста и пятен на шкуре не имела никакого отношения к мясному и костяному содержимому; Джул сидел и смотрел на нас.

— Где ты взял лошадь? — спросил папа.

— Купил. У мистера Квика.

— Купил? На что? Под мое слово купил?

— На свои деньги, — сказал Джул. — Я их заработал. Можешь не волноваться.

— Джул, — сказала мама, — Джул.

— Все правильно, — сказал Кеш. — Деньги он заработал. Расчистил шестнадцать гектаров новой земли у Квика — те, что он разметил прошлой весной. Один работал, по ночам, с фонарем. Я его видел. Так что конь никому, кроме Джула, ничего не стоил. По-моему, нам не из-за чего волноваться.

— Джул, — сказала мама. — Джул... — Потом она сказала: — Сейчас же иди домой и ложись спать.

— Нет, — сказал Джул. — Некогда. Мне еще нужно седло и уздечку. Мистер Квик сказал...

— Джул, — сказала мама, глядя на него. — Я дам... я дам... дам... — И заплакала. Заплакала горько, не пряча лица — стояла в линялом халате и глядела на него, а он глядел на нее с коня, и лицо у него постепенно сделалось холодным и больным, он отвел взгляд, а к маме подошел Кеш и тронул ее за руку.

— Иди домой, — сказал Кеш. — Тебе нельзя тут, земля сырая. Ну, иди.

Тогда она закрыла лицо руками, постояла немного и пошла, спотыкаясь о борозды. Она не оглядывалась. У канавы остановилась и позвала Вардамана. Он стоял возле коня, смотрел на него и приплясывал.

— Джул, дай прокатиться, — сказал он. — Джул, дай прокатиться.

Джул туго натягивал поводья; он посмотрел на Вардамана и опять отвел взгляд. Папа наблюдал за ним, жамкая жвачку.

— Значит, ты купил лошадь, — сказал он. — Тайком от меня купил лошадь. Со мной не посоветовался; ты знаешь, как нам туго приходится, и купил лошадь мне на шею. Свалил работу на родных и за их счет купил лошадь.

Джул посмотрел на папу, и глаза у него были еще светлее, чем всегда.

— Твоего он горсти не съест. Горсти. Я его убью вперед. И не думай даже. Не думай.

— Джул, дай прокатиться, — сказал Вардаман. — Джул, дай прокатиться. — Голос, словно кузнечик в траве, маленький. — Джул, дай прокатиться.

В ту ночь я застал маму у его кровати. Она плакала в темноте, плакала горько, может быть, потому что приходилось плакать тихо; может быть, потому что плакала, как обманывала — ненавидя себя за это, ненавидя его за то, что приходится плакать. И тогда я понял то, что понял. Понял это так же ясно, как потом другое — про Дюи Дэлл.

Талл

В конце концов они заставили Анса сказать, чего он хочет, и он с дочкой и мальчиком вылез из повозки. Уж мы к мосту подошли, а он все оглядывался, словно думал, что стоит ему вылезти из повозки, как все это рассеется, и он опять очутится у себя на поле, а она будет лежать и ждать смерти у себя на кровати, и все придется начинать сызнова.

— Отдал бы ты им мула, — говорит он, а мост дрожит и шатается под нами, он уходит в быструю воду так, словно выйти должен на другой стороне земли, а другой конец — будто и не от этого моста, и те, кто выберется из воды на другом берегу, вылезут из глуби земной. Но мост был цел — чувствовалось по тому, что наш конец шатался, а другой — будто бы нет: будто тот берег и деревья на нем медленно качались, как маятник больших часов. А бревна били и скребли по затопленной части, вставали торчком, совсем выскакивали из воды, ныряли в гладкую, пенную, стерегущую круговерть и уносились к броду.

— А какой от него толк? — я спросил. — Если твои мулы брода не найдут и не перетащат повозку, что толку в третьем муле или в десяти мулах?

— Я у тебя не прошу, — он говорит, — я всегда сам обойдусь. Я не прошу тебя рисковать мулом Покойница ведь не твоя; я тебя не упрекаю.

— Им вернуться надо и до завтра потерпеть, — я говорю.

Вода была холодная. Она была густая, как снежная слякоть. Только как будто живая. Ты и понимал вроде, что это просто вода, та же самая, что многие годы текла под мостом, но когда она выплевывала бревна, ты не удивлялся — они как будто были частью воды, ее стерегущей угрозы.

Удивился я только тогда, когда мы переправились, вышли из воды и встали на твердую землю Мы словно и не ожидали, что мост достанет до того берега, до чего-то укрощенного, до твердой земли, которую мы исходили ногами и хорошо знали. Неужели я мог попасть сюда? Неужели хватило глупости полезть в эту прорву? А когда поглядел назад, увидел моего мула на другом берегу, где я сам стоял недавно, и подумал, что мне еще надо вернуться туда, я понял, что этого быть не могло — ни за какие коврижки я и раз не прошел бы по мосту. И однако — вот я где, и если кто может пройти по мосту второй раз, то кто-то другой, а не я — даже если Кора прикажет.

И все из-за мальчонки. Я сказал: «А ну дай мне руку» — и он дождался меня и дал. Да нет, черт возьми: получилось, что будто бы вернулся за мной; будто сказал: невредимым пройдешь. Будто рассказывал про чудесное место — там, что ни день, то праздник, и зимой, и летом, и весной, и если за него буду держаться, тоже не пропаду.

Я посмотрел на мула, словно в подзорную трубу посмотрел: я увидел через мула весь простор земли и посредине мой дом, взошедший на поте — словно, чем больше пота, тем просторней земля; чем больше пота, тем крепче дом, потому что крепкий нужен дом для Коры, иначе не удержит Кору — как кувшин молока в студеном роднике: крепкий имей кувшин или же нужен сильный родник, ну а коли родник большой, так есть для чего заводить крепкие, надежные кувшины — потому что молоко-то — твое, хоть кислое, хоть какое, потому что молоко, которое может скиснуть, интересней того, которое не киснет, потому что ты — мужчина.

Он держал меня за руку, а рука у него горячая и уверенная, так что хотелось сказать: Смотри-ка. Видишь вон там мула? Ему здесь делать было нечего, вот он и не пошел, ведь он мул всего-навсего. Человек иногда понимает, что у детей больше разума, чем у него. Но он им в этом не признается, пока у них не отрастет борода. Когда борода отросла, они чересчур озабоченные, потому что не знают, смогут ли вернуться туда, где у них разум был, а бороды не было; тут-то тебе нетрудно признаться людям, так же беспокоящимся о том, о чем беспокоиться не стоит, что ты — это ты.

И вот перешли мы, стоим и смотрим, как Кеш разворачивает повозку. Видим, как он едет по дороге назад, к тому месту, где от дороги к броду отходит колея. Скоро повозка скрылась из виду.

— Надо пойти к броду, помочь если что, — я сказал.

— Я дал ей слово, — говорил Анс. — Для меня оно свято. Я знаю, ты недоволен, но она благословит тебя на небесах.

— Ладно, — говорю, — им сперва надо сушу обогнуть, чтобы в воду броситься. Пошли.

— Возвращаются, — говорит он. — Плохая примета — возвращаться.

Сгорбленный и печальный, он стоял и смотрел на пустую дорогу, а перед ним дрожал и шатался мост. И девушка стояла — через одну руку корзинка с едой, под другой — прижатый к боку сверток. В город собрались. Решили бесповоротно. Сквозь огонь и воду пройдут, чтобы съесть пакет бананов.

— Надо было день потерпеть, — я сказал. — К утру бы немного спала. Может, ночью дождя не будет. А выше ей подниматься некуда.

— Я обещание дал, — говорит он. — Она надеется.

Дарл

Темный густой поток бежит перед нами. Неумолчным тысячеголосым шепотом разговаривает с нами; желтая гладь — в жутких рябинах недолговечных водоворотов; немо и многозначительно они сплывают по течению и пропадают, словно под самой поверхностью что-то громадное и живое лениво пробудилось на миг и снова погрузилось в чуткий сон.

Он хлюпает и бормочет среди птиц и в коленях у мулов. Покрытый жирными косами пены, как потный, взмыленный конь. Сквозь кустарник проходит с жалобным звуком, задумчивым звуком; тростник и молодая поросль гнутся в нем, как от маленькой бури, они лишены отражений и колышутся, словно подвешенные на невидимой проволоке к сучьям наверху. И стоят над неугомонной водой деревья, тростник, лозы без корней, отрезанные от почвы, — призраками среди громадной, но не бескрайней пустыни, оглашаемой ропотом напрасной, печальной воды.

Мы с Кешем сидим в повозке; Джул — на коне у правого заднего колеса. С длинной розовой морды коня дико смотрит младенчески-голубой глаз, а конь дрожит и дышит хрипло, будто стонет: Джул подобрался в седле, молчит твердо и быстро поглядывает по сторонам, и лицо у него спокойное, бледноватое, настороженное. У Кеша тоже серьезный, сосредоточенный вид; мы с ним обмениваемся долгими, испытующими взглядами, и они беспрепятственно проникают сквозь глаза в ту сокровенную глубь, где сейчас Кеш и Дарл бесстыдно и настороженно пригнулись в пер-

вобытном ужасе и первобытном предчувствии беды. Но вот мы заговорили, и голоса наши спокойны и бесстрастны.

— Похоже, что мы еще на дороге.

— Талл додумался спилить здесь два дуба. Я слышал, раньше в паводок по этим деревьям брод находили.

— Два года назад он здесь лес валил, тогда, наверно, и спилил дубы. Не думал, верно, что брод еще кому-нибудь понадобится.

— Наверно. Тогда, должно быть, и спилил. Он тут порядком заготовил леса. По закладной им расплатился, я слышал.

— Да, наверно, так. Наверно, он спилил.

— Точно он. Кто лесом у нас пробавляется, им, чтобы лесопилку кормить, крепкая ферма нужна в подспорье. Или же лавка. Но с Вернона станется.

— Могло статься. Чудной.

— Да. Это есть. Ага, здесь она, наверно. Если бы старую дорогу не расчистил, нипочем бы лес не вывез. Кажись, мы на ней. — Он молча оглядывает расположение деревьев, наклонившихся в разные стороны, смотрит назад, на дорогу без полотна, смутно намеченную в воздухе сваленными голыми стволами, — словно и дорога отмокла от земли, всплыла, запечатлев в своем призрачном очерке память о разорении еще более основательном, чем то, которое мы наблюдаем сейчас с повозки, тихо разговаривая о былой исправности, о былых мелочах. Джул смотрит на него, потом на меня, потом обводит спокойным пытливым взглядом окрестность, а конь тихо дрожит у него между коленями.

— Он может потихоньку проехать вперед и разведать дорогу, — говорю я.

— Да, — отвечает Кеш, не глядя на меня. Лицо его повернуто: Джул уже впереди, и Кеш смотрит ему в спину.

— Мимо реки не проедет, — говорю я. — За пятьдесят шагов ее увидит.

Кеш не смотрит на меня, его лицо повернуто в профиль.

— Если б знать, я бы на прошлой неделе приехал, все обглядел.

— Тогда мост был, — говорю я. Он на меня не смотрит. — Уитфилд проехал по нему верхом.

Джул снова смотрит на нас, и выражение лица у него серьезное, внимательное, послушное. Голос тих:

— Что мне надо делать?

— Приехал бы на прошлой неделе и все обглядел, — говорит Кеш.

— Откуда же мы знали, — говорю я. — Не могли мы этого знать.

— Я поеду вперед, — говорит Джул. — Вы двигайтесь за мной.

Он подбадривает коня. Конь съежился, повесил голову; Джул наклоняется к нему, что-то говорит и, кажется, силком посылает вперед; конь дрожит, шумно дышит и шатко переставляет ноги, расплескивая воду. Джул разговаривает с ним, шепчется:

— Иди. Я тебе плохого не сделаю. Ну, иди.

— Джул, — говорит Кеш. Джул не оглядывается. Он подбадривает коня.

— Он умеет плавать, — говорю я. — Если не будет коня торопить...

Он родился слабенький. Мама, бывало, сидит при лампе и держит его на подушке, на коленях. Проснемся, она сидит. И оба — ни звука.

— Подушка длиннее его была, — говорит Кеш. Он чуть наклонился вперед. — Что бы мне съездить на прошлой неделе и поглядеть. Надо было.

— Правда, — говорю я. — Ни ногами, ни головой не доставал до краев. Да разве ж ты знал?

— Надо было съездить. — Он подбирает вожжи. Мулы тронулись, натянули постромки; ожили колеса, залопотали в воде. Он оборачивается и смотрит сверху на Адди.

— Равновесия нет.

Наконец деревья расступаются; распахнулась река, перед ней, полуобернувшись на коне, сидит Джул, а конь по брюхо в воде. За рекой мы видим Вернона, папу с Вардаманом и Дюи Дэлл. Вернон машет нам, показывает вниз по течению.

— Выше брода заехали, — говорит Кеш.

Вернон еще и кричит, но мы не можем расслышать слова из-за шума воды. Тут глубоко, течение ровное, спокойное, и его не ощущаешь даже, пока не появится, медленно вращаясь, бревно.

— Следи за ним, — говорит Кеш.

Мы следим: оно будто споткнулось, замерло на секунду, вода вспухает позади него густой волной, накрывает его, потом оно вдруг выскакивает и несется дальше.

— Там, — говорю я.

— Да. Там.

Мы опять смотрим на Вернона. Теперь он машет руками по-птичьи. Медленно и осторожно мы спускаемся вдоль реки и наблюдаем за Верноном. Он уронил руки.

— Здесь брод, — говорит Кеш.

— Ну так поехали, черт возьми, — говорит Джул и трогается.

— Постой, — говорит Кеш.

Джул остановился.

— Какого еще черта...

Кеш смотрит на воду, потом опять на Адди.

— Равновесия нет.

— Тогда идите к чертям на мост и пешком перебирайтесь, — говорит Джул. — Оба, с Дарлом. Вместо вас сяду.

Кеш не обращает на него никакого внимания.

— Равновесия нет, — говорит он. — Вот что. Надо за ним следить.

— Чего там следить, — говорит Джул. — Слезайте, я сяду. Боишься ехать, так... — Глаза у него белые, как две стружки. Кеш смотрит на него.

— Переедем, — говорит он. — Слушай, что надо делать. Ехай обратно, перейди по мосту, спустись тем берегом и встречай нас с веревкой. Вернон заберет твоего коня домой и подержит, пока не вернемся.

— Иди ты к лешему, — говорит Джул.

— Возьми веревку, спустись тем берегом и жди. Тут от троих не больше толку, чем от двоих, — один правит, другой его придерживает.

— Да ну тебя к черту.

— Пускай Джул возьмет конец веревки, идет выше нас и натягивает, — говорю я. — Сделаешь, Джул?

Джул пристально смотрит на меня. Взглянул на Кеша и снова на меня — глаза внимательные и строгие.

— Мне один черт. Лишь бы делать. Расселись здесь, только воду в ступе толчем...

— Кеш, давай, а? — говорю я.

— Придется, пожалуй, — говорит Кеш.

Сама река в ширину — шагов сто, и кроме папы, Вардамана и Дюи Дэлл ничто не нарушает однообразия пустыни, почти незаметно, но жутко накренившейся справа налево — словно мы достигли места, где опустошенный мир ускоряет свой бег к последней бездне. А фигурки их — крохотные. Словно разделяет нас с ними уже не пространство, а время — и в этом есть безвозвратность. Словно время не уходит от нас сужающейся чертой, а пролегло между ними и нами, сложившись вдвое, петлей, как веревка, и разделяет нас не промежуток между двумя ветвями, а вся их удвоенная длина. Мулы уже стоят наклонясь: плечи ниже крупов. Они тоже не дышат, а будто стонут; оглянулись, скользнули по нас взглядом, диким, печальным, глубоким и полным отчаяния, будто в густой воде они прозревают несчастье, но не могут сказать, — а мы его не видим.

Кеш перегнулся назад. Положил ладонь на Адди и пробует качнуть. Опущенное лицо его спокойно и озабоченно, он что-то прикидывает, потом берет ящик с инструментами и сдвигает вперед, загоняет под сиденье; вдвоем мы сдвигаем вперед и Адди, заклиниваем ее между инструментами и дном повозки. Потом он поворачивается ко мне.

— Нет, — говорю я. — Лучше останусь. Один можешь не управиться.

Из ящика с инструментами он достает свернутую веревку, дважды обводит ее вокруг стойки сиденья и, не завязав, дает конец мне. Длинный конец стравливает Джулу, и Джул захлестывает его за луку седла.

Он должен загнать коня в реку. Конь идет, высоко поднимая колени, выгнув шею, нервничает. Джул чуть подался вперед и приподнял колени; снова его быстрый, внимательный, спокойный взгляд скользнул по нам и по окрестности. Он направил коня в поток и успокаивает его тихим голосом. Конь поскользнулся, ушел в воду до седла, но поднялся на ноги; вода достигает Джулу до бедер.

— Аккуратней, — говорит Кеш.

— Я на перекате, — говорит Джул. — Трогай.

Кеш подобрал вожжи и умело, осторожно направляет мулов в реку.

Я ощутил хватку течения и понял, что мы на броде; только по этой скользящей тяге и можно было определить, что мы вообще движемся. То, что казалось плоской поверхностью, стало чередой гребней и впадин, колыхалось вокруг нас, толкало нас, дразнило, легко и лениво трогая в мгновения обманчивой прочности под ногами. Кеш оглянулся на меня, и тогда я понял, что мы пропали. Но сам не знал, зачем нужна веревка, пока не увидел бревно. Оно вынырнуло из воды и на миг стало стоймя над вздыбленными водами, как Христос. Вылазь, тебя отнесет к излучине, сказал Кеш. Выберешься. Нет, сказал я, что там, что здесь, одинаково промокну.

Бревно вдруг выскакивает между двух волн, словно выстрелено со дна реки. На конце его, как стариковская или козлиная борода, — длинный клок пены. Когда Кеш заговорил со мной, я понял, что он следил за бревном все время — следил за бревном и следил за Джулом, который впереди нас шага на три

— Пусти веревку, — говорит Кеш. Он опускает свободную руку и в два оборота отматывает веревку от стойки. — Вперед, Джул, попробуй протащить нас раньше бревна.

Джул кричит на коня; снова он будто посылает его коленями. Конь сейчас на самом гребне переката какая-то опора у него есть: влажно лоснясь над водой, он бросается вперед и с плеском делает несколько прыжков. Он движется с неправдоподобной быстротой: по этому Джул наконец догадывается, что веревка отпущена; вижу, как он натянул поводья, повернув к нам лицо, а бревно тяжелым броском вдвигается между нами, наплывает на мулов. Они тоже его видят: лоснящиеся их бока тоже на миг появились над водой. Потом нижний исчезает и утаскивает за собой второго; повозку разворачивает наискось, но она еще держится на перекате; бревно ударяет в повозку и накреняет ее, задирает ей передок. Кеш сидит полуобернувшись, одной рукой туго натягивает вожжи, а другой прижимает Адди к высокому борту повозки.

— Прыгай, — спокойно говорит он. — Мулов сторонись, иди по течению. Тебя вынесет на излучине.

— И ты прыгай, — говорю я.

Вернон с Вардаманом бегут вдоль берега, папа и Дюи Дэлл стоят и смотрят на нас, у Дюи Дэлл в руках корзина и сверток. Джул старается повернуть коня. Появляется голова одного мула с широко раскрытыми глазами; он глядит на нас и издает почти человеческий звук. Голова его опять исчезает.

— Назад, Джул, — кричит Кеш. — Назад.

Еще мгновение я вижу, как он нагнулся в накренившейся повозке, обхватив рукой Адди и свои инструменты; вижу, как бородатая голова бревна снова ударяет в повозку; а Джул вздергивает лошадь, голова у ней завернута назад, и он бьет по голове кулаком. Я спрыгиваю по течению. Между двумя волнами еще раз вижу мулов. Они по очереди показываются из воды, перекатываются кверху брюхом, и ноги у обоих жестко вытянуты, как в ту минуту, когда из-под них ушла земля.

Вардаман

Кеш старался но она выпала и Дарл прыгнул в воду ушел под воду Кеш кричал Лови и я кричал бежал и кричал и Дюи Дэлл кричала мне Вардаман вардаман вардаман а Вернон обогнал меня он видел что оиа всплыла и она опять нырнула в воду и Дарл никак не мог ее поймать.

Он вынырнул чтобы оглядеться я кричу лови ее Дарл лови и он не показался потому что она тяжелая а надо было ловить ее я кричал лови ее дарл лови ее дарл потому что в воде она плывет быстрее человека и Дарлу надо было ловить ее я знал что он может поймать потому что он самый лучший ловильщик хотя мулы были у него на пути они вынырнули выкатились прямыми ногами вверх покатились дальше спинами вверх и Дарлу пришлось снова потому что в воде она плывет быстрее людей и я обогнал Вернона а он не полез в воду помогать Дарлу он знал что с Дарлом поймал бы ее но не захотел помогать.

Мулы опять вынырнули прямыми ногами вверх и ноги медленно легли на воду потом опять Дарл и я кричал лови ее дарл лови ее тяни ее к берегу дарл а Вернон

не хотел помогать а потом Дарл увернулся от мулов и поймал ее под водой и пошел к берегу шел медленно потому что она боролась в воде хотела остаться под водой но Дарл сильный он шел медленно я знал что он держит ее потому что он шел медленно и я забежал в воду помочь а сам кричу потому что Дарл был сильный и крепко держал ее под водой хотя она боролась он ее не отпускал он меня видел и он ее удержит теперь все в порядке все в порядке все в порядке.

Потом он выходит из воды. Идет долго и медленно рук еще не видно но она должна быть у него должна быть иначе я не вынесу. Потом показываются его руки и весь он над водой. Я не могу перестать. Мне некогда заставить себя. Я заставлю когда смогу но он выходит из воды с пустыми руками вода с них льется вода.

— Где мама, Дарл? Ты не поймал ее. Ты знал, что она рыба, и дал ей уплыть. Ты не поймал ее, Дарл. Дарл. — Я снова побежал по берегу и увидел, что мулы медленно вынырнули и опять ушли под воду.

Талл

Рассказал я Коре, как Дарл спрыгнул с повозки, а Кеш остался и старался ее спасти, и повозка стала опрокидываться, как Джул почти уже у берега стал заворачивать коня назад, но конь не хотел, на это у него ума хватало, — а она говорит:

— И ты еще твердил заодно с другими, что Дарл у них чудной, что Дарл простоватый, а у него-то как раз хватило ума соскочить с повозки. Анс, между прочим, еще смекалистее — вовсе на нее не сел.

— Ну, сел бы он — что пользы-то? — я говорю. — У них все ладно шло, и переправились бы, если б не бревно.

— Бревно. Чепуха. Это рука Божья.

— Тогда почему глупостью это называешь? — я спрашиваю. — От руки Божьей никто не охранится. Да и охраниться — святотатство.

— А против нее зачем переть? — спрашивает Кора. — Ты мне вот что объясни.

— Анс и не пер. И ты же его за это упрекаешь.

— Ему там полагалось быть, — Кора отвечает. — Был бы мужчиной, там бы сидел, не взвалил бы на сыновей, чего сам боялся.

— Не пойму, чего тебе все-таки надо. То говоришь, против воли Божьей поперли, то Анса ругаешь, что с ними не сел.

Тогда она опять запела, нагнулась над корытом, и лицо у нее сделалось такое певческое, словно она поставила крест на людях и глупости людской и пошла себе дальше — с песнями шагает в небо.

Повозка там долго еще держалась, река набухала за ней, ссовывала ее с брода, а Кеш клонился все ниже и ниже, старался удержать гроб, чтобы он не сковырнулся набок и не завалил повозку. Когда повозка наклонилась как следует и река уже могла прикончить ее, бревно поплыло дальше. Оно обогнуло повозку и пошло вниз, да ходко так, что твой пловец. Как будто было послано сюда для дела и, сделавши дело, поплыло дальше.

Когда мулы оторвались, я подумал, что Кеш сумеет удержать повозку. Казалось, он и повозка совсем не двигаются, а только Джул воюет с конем, чтобы вернуть его к повозке. Потом мимо меня пробежал мальчонка, он кричал Дарлу, и за ним гналась сестра, а потом я увидел, как мулы медленно прокатились по воде, растопыря прямые ноги, словно еще упирались вверх ногами, и снова закатились под воду.

Потом повозка опрокинулась, а потом она, и Джул и конь — все смешалось вместе. Кеш, вцепившись в гроб, скрылся из виду, а конь так вился и плескался, что я уже ничего не мог разглядеть. Я подумал, что Кеш бросил гроб, сам спасается, и стал кричать Джулу, чтобы он вернулся, но вдруг он вместе с конем тоже ушел под воду, и я подумал, что всех теперь утянет. Я понял, что коня тоже снесло с брода и хорошего ждать нечего: конь тонет, бьется, повозка перевернута, гроб невесть где, — и не успел я опомниться, как сам стою по колено в воде и кричу назад Ансу: «Видишь, что ты наделал? Видишь, что ты наделал?»

Конь показался. Он плыл к берегу, закинув голову, а потом я увидел, что кто-то из них цепляется за седло с той стороны, ниже по течению, и побежал по берегу, смотреть, где Кеш — Кеш-то плавать не умеет; «Где Кеш?» — Джулу кричу, как полоумный, ничем не лучше их мальца: тот стоит пониже и кричит Дарлу.

И вот зашел я в воду так, чтобы ил меня еще держал, и вижу Джула. Он по пояс в воде, — значит, на броде, — и сильно наклонился против течения, а потом вижу у него веревку, вижу, вода бугром над повозкой: он держит ее под самым перекатом.

Так что это Кеш висел на коне, а конь, плескаясь, выкарабкивался на берег и кряхтел и стонал, все равно как человек. Когда я подошел, он только что кончил лягаться, оторвал от себя Кеша. Кеш соскользнул обратно в воду и на секунду перевернулся вверх лицом. Оно было серое, с длинным нахлыстом грязи, а глаза закрыты. Потом он ослаб, и его перевернуло. Он болтался у берега, как связка старых одежек. Лежал в воде ничком, покачивался и как будто разглядывал что-то на дне.

Мы видели, как веревка режет воду, чувствовали, как за ней возится и елозит всей своей тяжестью повозка — лениво, нехотя, — а веревка режет воду, твердая, словно железный прут. С шипом режет, словно раскаленная докрасна. Как будто железный прут вкопали в дно, а мы держимся за конец, и повозка подпрыгивает лениво и вроде как подталкивает, подпихивает нас, словно оказалась у нас за спиной, — и ни туда ни сюда, ворочается только, никак не решит, куда ей податься. Проплыл подсвинок, раздутый, как пузырь: из пятнистых свиней Лона Квика. Налетел на веревку, словно на железный прут, его отбросило, потом понесло дальше, а мы следили за веревкой, косо уходившей в воду. Следили за ней.

Дарл

Кеш лежит на земле лицом вверх, под головой у него свернутая одежда. Глаза закрыты, лицо серое, волосы гладким лоскутом прилипли ко лбу, точно нарисованы кистью. Кожа на лице провисла под костяными выступами орбит, носа, десен, будто потеряла от воды упругость, придававшую лицу полноту, зубы в бледных деснах не сжать, как будто он тихо смеется. Худой как щепка, он лежит в мокрой одежде; рядом с головой лужица рвоты, изо рта к ней тянется нитка — он даже не успел повернуть голову; Дюи Дэлл наклоняется и вытирает ему лицо подолом платья.

Подходит Джул. У него рубанок.

— Вернон нашел угольник. — Джул смотрит сверху на Кеша, и с него тоже течет. — Не заговорил еще?

— При нем была пила, молоток, шнур и угольник, — отвечаю я. — Это точно.

Джул кладет угольник. Папа наблюдает за ним.

— Они где-то недалеко, — говорит папа. — Все вместе утонули. Надо же быть таким невезучим человеком.

Джул на папу не смотрит.

— Лучше позови оттуда Вардамана, — говорит он. Смотрит на Кеша. Потом поворачивается и отходит. — Сделайте, чтобы он поскорее заговорил — пусть скажет, что еще при нем было.

Мы возвращаемся к реке. Повозка вытащена на берег, стоит прямо у воды, и под колеса положены колодки (аккуратно: мы все помогали; казалось, что в знакомых, неподвижных очертаниях бедной повозки затаилось, но вовсе не умерло буйство стихии, убившей мулов, которые тащили эту повозку лишь час назад). А он лежит в повозке веско, длинные светлые доски чуть потускнели от воды, но желты по-прежнему, как золото под слоем воды, только перечеркнуты двумя грязными полосами. Мы проходим мимо и останавливаемся на берегу.

Веревка привязана к дереву. Перед стремниной по колени в воде, чуть наклонившись вперед, стоит Вардаман и увлеченно наблюдает за Верноном. Он мокрый до подмышек и уже не кричит. Вернон — у другого конца веревки, по плечи в воде; оглядывается на Вардамана.

— Где-то дальше, — говорит он. — Иди к дереву и подержи мне веревку, чтобы не оторвалась.

Вардаман вслепую пятится по веревке к дереву, следит за Верноном. Мы подошли, он глянул на нас круглыми, немного ошалелыми глазами и опять смотрит на Вернона, увлеченно подавшись вперед.

— Молоток я тоже подобрал, — говорит Вернон. — И шнур пора бы уж найти. Уплыл, наверно.

— Давно уплыл, — говорит Джул. — Не найдем. А пила здесь где-то.

— Пожалуй, — говорит Вернон. Он смотрит в воду. — Так, шнур. Что же с ним было?

— Он пока не говорит, — отвечает Джул и входит в воду. Оглядывается на меня. — Поди приведи его в чувство, пусть скажет.

— Там папа, — говорю я. Вслед за Джулом я вхожу по веревке в воду. Под рукой у меня она как живая — выгнулась длинной, пологой, звучащей дугой. Вернон за мной наблюдает.

— Шел бы ты туда, — говорит он. — При нем побудь.

— Может, еще что вынем, пока не унесло, — отвечаю я.

Мы держимся за веревку, вокруг наших плеч — рябь и вороночки. Но под этой обманчивой кротостью на нас наваливается вся ленивая сила потока. Я не думал, что в июле вода может быть такой холодной. Кажется, она руками мнет и тискает самые наши кости. Вернон еще оглядывается на берег.

— Думаете, она всех нас выдержит? — спрашивает он. Мы тоже озираемся, пробегаем взглядом по веревке — твердому пруту, идущему из воды к дереву, под которым, пригнувшись, стоит Вардаман и наблюдает за нами.

— Не удрал бы мой мул домой, — говорит Вернон.

— Давайте, — говорит Джул. — Что встали?

Мы по очереди погружаемся, цепляясь за веревку и придерживая друг друга; холодная стена воды отсасывает обратным током илистый склон у нас из-под ног, и на весу мы шарим по холодному дну. Здесь даже ил не лежит спокойно. Он холодит и моется, словно земля под нами тоже пришла в движение. Осторожно продвигаясь по веревке, мы трогаем и нашариваем руки друг друга; а выпрямившись, видим, как вода вертится и бурлит над нырнувшим. Папа подошел к берегу и наблюдает за нами.

Вынырнул Вернон, с него льет, лицо рылышем сошлось к вытянутым губам. Он пыхтит, и губы синеватые, как кружок обвегренной резины. В руке — линейка.

— Он обрадуется, — говорю я. — Совсем новая. В прошлом месяце купил по каталогу.

— Знать бы, что там еще, — говорит Вернон, оглянувшись через плечо, а потом переводит взгляд туда, где скрылся Джул.

— Он ведь раньше меня нырнул? — спрашивает Вернон.

— Не знаю, — отвечаю я. — Вроде, да. Да. Да, раньше.

Мы смотрим на густую воду, уносящую от нас медленные завитки.

— Дерни ему за веревку, — говорит Вернон.

— Он с твоей стороны.

— С моей стороны никого.

— Потяни, — говорю я.

Но он уже вытянул ее, держит конец над водой; и тут мы видим Джула. Он в десяти метрах: вынырнул, отдувается и смотрит на нас; встряхнул головой, откинул со лба длинные волосы и посмотрел на берег; мы видим, как он набирает в грудь воздух.

— Джул, — негромко говорит Вернон, но голос его звучно разносится над водой, повелительный и вместе с тем вежливый. — Она должна быть ближе. Вернись сюда.

Джул снова ныряет. Мы стоим, упираясь в потоке, смотрим на то место, где он исчез, и держим повисшую веревку, как двое пожарных держат шланг, дожидаясь воды. Вдруг позади нас в реке возникает Дюи Дэлл.

— Велите ему вернуться, — говорит она. — Джул!

Он опять вынырнул, откинул волосы с глаз. Плывет к берегу, и с такой же быстротой его сносит вниз течением.

— Джул! — говорил Дюи Дэлл.

Мы стоим с веревкой и смотрим, как он подплывает к берегу и вылезает. Поднявшись из воды, он наклоняется и поднимает что-то. Идет вдоль берега. Он нашел шнур. Останавливается напротив нас и озирается, будто продолжая поиски. Папа идет берегом вниз. Хочет еще раз посмотреть на мулов: их круглые тела плавают и тихо трутся друг об друга в заводи за излучиной.

— Вернон, куда ты девал молоток? — спрашивает Джул.

— Ему отдал. — Вернон показывает головой на Вардамана. Вардаман смотрит вслед папе. Потом оглядывается на Джула. — С угольником.

Вернон смотрит на Джула. Джул направляется к берегу, мимо меня и Дюи Дэлл.

— Уходи отсюда, — говорю я. Она не отвечает, смотрит на Джула и Вернона.

— Где молоток? — спрашивает Джул. Вардаман отбегает и приносит молоток.

— Пила легче молотка, — говорит Вернон. Джул привязывает к рукоятке молотка шнур.

— В молотке дерева больше всего, — говорит Джул. Они с Верноном стоят лицом друг к другу. Оба смотрят на руки Джула.

— И плоская, — говорит Вернон. — Ее отнесет раза в три дальше. Попробуй с рубанком

Джул смотрит на Вернона. Вернон тоже высокий; длинные, тощие, в облипшей мокрой одежде, они стоят нос к носу. Лону Квику стоило только на небо взглянуть — хоть пасмурное — и угадывал время до десяти минут. Не Маленький Лон, а Большой Лон.

— Вылезай ты из воды, — говорю я.

— Он не поплывет, как пила, — говорит Джул.

— Да уж ближе к пиле ляжет, чем молоток, — говорит Вернон.

— Давай спорить, — говорит Джул.

— Не буду, — отвечает Вернон.

Они стоят и оба смотрят на неподвижные руки Джула.

— Черт с тобой, — говорит Джул. — Давай рубанок.

Они берут рубанок, привязывают к нему шнур и снова входят в воду. Папа возвращается по берегу. Останавливается и смотрит на нас, сутулый, печальный, как отставной бык или старая высокая птица.

Вернон и Джул возвращаются на прежнее место, борясь с течением. Джул говорит Дюи Дэлл:

— Уйди с дороги. Вылезь из воды.

Она немного теснит меня, чтобы уступить им дорогу; Джул несет рубанок высоко, словно боится, что он растает, и голубой шнур тянется за его плечом. Прошли мимо нас и остановились; начинают тихо спорить, на каком месте перевернуло повозку.

— Дарл должен знать, — говорит Вернон. Они смотрят на меня.

— Я не знаю, я там недолго был.

— Черт, — говорит Джул.

Они неуверенно продвигаются, наклонясь против течения, нащупывают ногами брод.

— За веревку держишься? — спрашивает Вернон.

Джул не отвечает. Смотрит по сторонам: сперва на берег, прикидывая расстояние, потом на руку. Бросает рубанок; шнур бежит между пальцами, оставляя на них голубой след. Но вот шнур остановился, и Джул передает конец его назад, Вернону.

— Давай теперь я, — говорит Вернон.

И опять не отвечает Джул; мы видим, что он нырнул.

— Джул, — пищит Дюи Дэлл.

— Тут не очень глубоко, — говорит Вернон. Он не оглядывается назад. Смотрит на воду, где исчез Джул

Джул выныривает с пилой.

Когда мы проходим мимо повозки, возле нее стоит папа и стирает листьями две грязные полосы. На фоне леса конь Джула выглядит как лоскутное одеяло, висящее на веревке.

Кеш лежит по-прежнему. Мы стоим над ним, держим рубанок, пилу, молоток, угольник, линейку, шнур, а Дюи Дэлл садится на корточки и поднимает Кешу голову.

— Кеш, — говорит она. — Кеш

Кеш открывает глаза и глубоким взглядом смотрит на наши опущенные лица.

— Не было на свете такого невезучего человека, — говорит папа.

— Смотри, Кеш, — говорим мы и показываем ему инструменты. — Что еще у тебя было?

Он пытается заговорить, поворачивает голову, закрывает глаза.

— Кеш, — зовем мы, — Кеш.

Голову он повернул, чтобы блевать. Дюи Дэлл отирает ему рот мокрым подолом платья. Теперь он может говорить.

— Разводка для пилы, — объясняет Джул. — Новая, купил вместе с линейкой.

Он поворачивается, уходит, Вернон смотрит ему вслед, не вставая с корточек. Потом поднимается, идет за Джулом к воде.

— Не было на свете такого невезучего человека, — говорит папа. Мы — на корточках, и он возвышается над нами; похож на фигуру, неловко вырезанную из твердого дерева пьяным карикатуристом. — Это испытание, — говорит он. — Но я на нее не сетую. Никто не посмеет сказать, что я на нее посетовал.

Дюи Дэлл опустила голову Кеша на сложенный пиджак и отвернула от рвоты. Рядом с ним лежат его инструменты.

— Можно сказать, ему повезло, что эту же ногу сломал, когда с церкви падал, — говорит папа. — Но я не сетую на нее.

Джул и Вернон снова в воде. Отсюда кажется, что они совсем не нарушили ее поверхности: будто она рассекла их одним ударом, и два торса бесконечно медленно, до нелепости осторожно движутся по этой глади. Она кажется безобидной, как большие механизмы, когда привыкнешь к их виду и шуму. Будто сгусток, который есть ты, растворился в первоначальной движущейся жиже и зрение со слухом сами по себе слепы и глухи; ярость сама по себе коснеет в покое. Дюи Дэлл сидит на корточках, и мокрое платье вылепило перед незрячими глазами трех слепых мужчин млекопитающие нелепицы — эти долины и горизонты земли.

Кеш

Равновесия не было. Я им говорил: если не хотите, чтобы перевешивался в езде и на ходу, надо...

Кора

Однажды мы говорили. По-настоящему религиозной она не была никогда — даже после тех летних молитвенных собраний на воздухе, когда брат Уитфилд побоялся за ее душу, выделил ее и изгонял суету из ее смертного сердца, — и я ей сколько раз говорила: «Бог дал тебе детей, чтобы облегчить твою тяжелую человеческую участь, и как знак Своего страдания и любви, потому что в любви ты зачала их и родила». Я ей говорила так потому, что она принимает любовь Господню и свой долг перед Ним как что-то само собой разумеющееся, а Ему такое поведение не очень нравится. Я сказала: «Он даровал нам способность возносить Ему несмолкающую хвалу», — потому что, говорю, одному грешнику на небе больше радуются, чем ста безгрешным. А она ответила: «Вся моя повседневная жизнь — это признание и искупление моего греха», — а я говорю: «Кто ты такая, чтобы говорить, где грех, а где нет греха? О том судить Господу; нам же — славить милосердие Его и святое имя Его в слух смертных, потому что Он один видит сердце, и пускай жизнь женщины праведна в глазах мужчины, все равно она не может знать, что нет греха у ней в сердце, покуда не открыла сердце Господу и не получила прощение от Него». Говорю: «Если ты была верной женой, это еще не значит, что не согрешила в сердце, и если жизнь твоя тяжка, это еще не значит, что Господь простил тебя по Своей милости». А она сказала: «Я знаю мой грех. Я знаю, что достойна наказания. И не сетую». А я сказала: «Из тщеславия судишь о грехе и спасении вместо Господа. Наш смертный удел — страдать и возвышать голоса наши во славу Господа, который судит грех и посылает нам спасение через наши тяготы и несчастья спокон веков, аминь. А ведь брат Уитфилд, благочестивый человек — не знаю, есть ли еще такой на Божьем свете, — молился за тебя и усердствовал, как никто бы не мог», — я сказала.

Не нам судить о наших грехах, не нам знать, что есть грех перед очами Господа. У ней была трудная жизнь, но жизнь у всех женщин трудная. А послушаешь ее, можно подумать, что о грехе и спасении она знает больше Самого Господа Бога, больше тех, которые боролись и сражались с грехом в этом человеческом мире. А всего-то грехов у нее — что больше любила Джула, и это же ей было наказанием, потому что Джул ее никогда не любил; любил Дарл, которого Сам Господь отметил, а мы, смертные, считали чудным, — и его она обделила любовью. Я сказа-

ла: «Вот твой грех. И наказание тоже. Джул — твое наказание. А где спасение твое? Жизнь-то коротка, — говорю, — чтобы заслужить вечную милость. Господь есть Бог ревнитель. Ему судить и определять; не тебе».

«Знаю, — сказала она. — Я...» Тут она замолчала, а я говорю:

«Что знаешь?»

«Ничего, — она говорит. — Он мой крест и будет моим спасением. Он спасет меня от воды и от огня. И хоть сгубила я жизнь свою, он меня спасет».

«Откуда ты можешь знать, пока не отворила сердца для Него и не вознесла Ему хвалу?» — сказала я. Потом поняла, что она говорит не о Боге. Поняла, что она кощунствует от тщеславия сердца своего. И я тут же стала на колени. Я просила ее стать на колени и отворить свое сердце, выбросить из него дьявола тщеславия и отдаться на милость Господню. Но она не захотела. Так и сидела, заблудшая в тщеславии гордыни, затворивши сердце от Господа, а на место Его поставивши смертного себялюбивого мальчишку. Я стояла на коленях и молилась за нее. Молилась за эту несчастную слепую женщину, как никогда не молилась за себя и моих родных.

Адди

Днем, когда кончались уроки и последний сопливый уходил, шмыгая носом, я отправлялась не домой, а вниз к роднику, где я могла сидеть в тишине и ненавидеть их. Там было тихо, только булькала вода, да солнце тихо опускалось за деревья, и тихо пахло сырыми прелыми листьями и свежей землей; особенно по весне — когда было хуже всего.

Я вспомнила слова моего отца: Смысл жизни — приготовиться к тому, чтобы долго быть мертвым. И когда я смотрела на них изо дня в день: каждый и каждая со своей тайной эгоистичной мыслью, чужие друг другу по крови и мне по крови чужие, — когда думала: неужели только так я могу готовиться к тому, чтобы быть мертвой? — тогда я ненавидела отца за то, что он меня зачал. Я с нетерпением ждала, когда они провинятся и надо будет их пороть. Каждый удар розги я ощущала своей кожей; когда под розгой вспухало и кровоточило — то моя кровь текла, и при каждом ударе я думала: Теперь ты знаешь обо мне! Теперь и я частица твоей тайной эгоистичной жизни, потому что пометила твою кровь моею на веки вечные.

И я взяла Анса. Раза три или четыре я видела, как он проезжал мимо школы, и только тогда узнала, что для этого ему надо сделать в четыре мили крюк. Я заметила, что он уже горбится — высокий мужчина и молодой, на козлах он напоминал голенастую озябшую птицу. Повозка медленно проезжала, поскрипывая, а он по ходу медленно поворачивал голову, глядя на дверь школы, и скрывался за поворотом. Однажды, когда он проезжал, я вышла и стала в дверях. Он увидел меня, сразу стал смотреть в другую сторону и больше не оглядывался.

По весне бывало хуже всего. Ночами, когда дикие гуси летели на север и дикие, далекие их крики неслись с вышины сквозь дикую темень, я лежала в постели и думала, что не вынесу этого, а днем не могла дождаться, когда уйдет последний и я смогу спуститься к роднику. И вот, в тот день я подняла голову и увидела Анса: он стоял в воскресном костюме и вертел, вертел шляпу в руках. Я сказала ему:

— Если у вас есть женщины в семье, почему они не заставят вас постричься?

— Нету их у меня, — сказал он. И вдруг пустил на меня глаза, как двух собак на чужом дворе. — Затем я и приехал к вам.

— И не скажут, чтоб вы спину не горбили, — сказала я. — Так нет женщин? Но дом-то есть. Говорят, у вас дом и хорошая ферма. А вы один живете, сами управляетесь? — Он только смотрел на меня и вертел шляпу. — Новый дом, — я сказала. — Собираетесь жениться?

А он, глядя мне в глаза, повторил:

— Затем я и приехал к вам.

Потом он мне сказал:

— Родни у меня нет. Так что допекать вас будет некому. У вас-то есть небось.

— Да. Есть родные. В Джефферсоне.

Он немного приуныл.

— Какое-никакое, а хозяйство имеется. Я человек бережливый; у меня честное имя. Я знаю, каковы городские, но может, когда поговорят со мной...

— Послушать они могут, — сказала я. — Но разговаривать с ними будет трудно. — Он вглядывался в меня. — Они на кладбище.

— А живые родственники? — сказал он. — С ними другой разговор.

— Да? — сказала я. — Не знаю. Других у меня никогда не было.

И я взяла Анса. А когда поняла, что у меня есть Кеш, я поняла, что жизнь ужасна и что это — весь ответ. Тогда мне стало понятно, что слова бесполезны; что слова не годятся даже для того, для чего они придуманы. Когда он родился, я поняла, что материнство изобретено кем-то, кому нужно было это слово, потому что тем, у кого есть дети, все равно, есть для этого название или нет. Я поняла, что страх изобретен тем, кто никогда не знал страха, гордость — тем, у кого никогда не было гордости. Я поняла, в чем дело: не в том, что у них сопливые носы, а в том, что мы должны были относиться друг к другу через слова, как пауки висят на балках, держа во рту паутину, и качаются, крутятся, но никогда не прикасаются друг к другу, — и что только от удара розгой их кровь и моя кровь сливались в одном потоке. Я поняла, в чем было дело: не в том, что изо дня в день надо было нарушать мое одиночество, а в том, что его так и не удалось нарушить, пока не родился Кеш. Даже Ансу по ночам.

А у него тоже было слово. Любовь — так он это называл. Но я к словам давно привыкла. Я знала, что это слово — такое же, как другие, только оболочка, чтобы заполнить пробел; а когда придет пора, для этого не понадобится слово, так же как для гордости и страха. Кешу незачем было говорить это слово мне, и мне — незачем; пусть Анс говорит, если хочет, — твердила я. Так что получалось, Анс или любовь, любовь или Анс — не имеет значения.

Я думала об этом даже ночами, когда лежала возле него в темноте, а Кеш спал в колыбели на расстоянии вытянутой руки. Я думала, что если бы Анс проснулся и заплакал, я и ему дала бы грудь. Анс или любовь — не имело значения. Мое одиночество было нарушено, а потом восстановлено этим нарушением: время, Анс, любовь или что там еще — за пределами этого круга.

Потом оказалось, что у меня есть Дарл. Сперва я не хотела в это верить. Я думала, что убью Анса. Он как бы обманул меня: спрятался за слово, как за бумажную ширму, и сквозь ширму поразил меня сзади. А потом я поняла, что меня обманули слова древнее, чем Анс или любовь, и что Анс сам обманут этим словом, а отомщу я ему тем, что он не узнает о моей мести. И когда родился Дарл, я взяла с Анса обещание, что после моей смерти он отвезет меня обратно в Джефферсон. теперь я знала, что отец был прав, когда еще не мог знать, что прав, так же, как я не могла знать, что не права.

— Ерунда, — сказал Анс, — нам с тобой еще родить и родить, у нас ведь двое только.

Он еще не знал, что он мертвый. Иногда я лежала возле него в темноте, слышала землю, которая теперь вошла в мою плоть и кровь, и думала: Анс. Почему Анс. Почему ты Анс. Я думала об его имени, покуда не начинала видеть это слово как оболочку, сосуд, и наблюдала, как Анс разжижается и стекает туда, словно холодная патока из темноты в кувшин; кувшин наполнялся и стоял неподвижно: оболочка и знак, полностью лишенные жизни, как пустая дверная коробка; а потом оказывалось, что я забыла и название кувшина. Я думала: форма моего тела там, где я была девушкой — это форма и я не могла подумать *Анс,* не могла вспомнить *Анс.* Нет, я не перестала думать о себе как о не девушке, ведь я была втроем. А когда думала таким же манером *Кеш* и *Дарл,* их имена умирали, затвердевали в оболочку, а потом исчезали вовсе, и я говорила: «Ладно. Не имеет значения, как их зовут».

И когда Кора Талл говорила мне, что я не настоящая мать, я думала о том, как безвредно и быстро убегают вверх слова тонкой длинной линией, и как ужасно тянутся, прижимаясь к земле, дела, и две эти линии расходятся все дальше, так что человеку невозможно держаться обеих сразу; а грех, любовь, страх — просто звуки, которыми люди, никогда не грешившие, не любившие, не страшившиеся, обозначают то, чего они никогда не знали и не смогут узнать, пока не забудут слова. Вроде Коры, которая даже стряпать не умеет.

Она говорила мне, чем я обязана моим детям, Ансу и Богу. Я родила Ансу детей,

я о них не просила. Не просила у него даже то, что он мог бы мне дать: не-Анса. Мой долг перед ним был не просить об этом, и я долг исполнила. Я буду я; а он пусть будет оболочкой и эхом своего слова. Это было больше, чем он просил; не мог он об этом просить, оставаясь Ансом, — уж больно тратил он себя в слове.

А потом он умер. Он не знал, что он мертвый. Я лежала возле него в темноте, слышала, как темная земля говорит о Божьей любви, и красоте Божьей, и грехе; слышала темное безмолвие, в котором слова — это дела, а другие слова, те, что не дела, — лишь зияния человеческих нехваток и слетают из дикой тьмы, как крики гусей в те страшные ночи, и бестолково ищут дел, словно сироты, — чтобы им показали в толпе два лица и объявили: Вот твой отец, твоя мать.

Мне казалось, что я нашла. Мне казалось, что смысл — твой долг перед живым, перед ужасной кровью, красной горькой кровью, кипящей на земле. Я думала о грехе, как думала о той одежде, что мы с ним носим перед лицом мира, об осмотрительности, необходимой, потому что он был он, а я была я, — о грехе, тем более тяжком и ужасном, что он был орудием, которому Бог, создавший грех, предназначил быть очистителем от греха. Пока я ждала его в лесу и он меня еще не видел, он представлялся мне облаченным в грех. Я думала, что тоже представляюсь ему облаченной в грех, только он — прекраснее, потому что облачение, которое он променял на грех, было освященным. Я думала о грехе как об одеждах, которые мы сбросим, чтобы ужасную кровь подчинить сиротливому отзвуку мертвого слова, звучащего в высях. А потом я снова ложилась с Ансом — я ему не лгала: я просто отняла его от себя, как отняла от груди Кеша и Дарла, когда пришел срок, — под безмолвные речи темной земли.

Я ничего не скрывала. Никого не пыталась обмануть. Мне было все равно. Я просто принимала предосторожности, ему нужные, а не мне — примерно так, как ходила одетой перед людьми. И, слушая Кору, думала о том, что со временем высокие мертвые слова становятся еще бессмысленнее, чем их мертвый звук.

Потом это кончилось. Кончилось в том смысле, что его не стало, и я знала, что хоть и встретимся мы снова, я больше никогда не увижу, как он стремительно и тайно идет ко мне по лесу в прекрасном облачении греха, распахнувшимся от быстроты его тайного приближения.

Но не кончилось для меня. Не кончилось в том смысле, что у всего бывает начало и конец: для меня тогда ни у чего не было ни конца, ни начала. Я и Анса все еще не допускала до себя — не длила перерыв, а словно так велось у нас с самого начала. Мои дети были только мои — от буйной крови, кипевшей на земле, — мои и всех живых; ни от кого и от всех. Потом оказалось, что у меня есть Джул. Когда я очнулась, чтобы вспомнить и понять это, его не было уже два месяца.

Смысл жизни, говорил мой отец, — готовиться к тому, чтобы быть мертвым. Я поняла наконец, о чем он говорил, и поняла, что сам он не знал, о чем говорит, — много ли знает мужчина об уборке дома? Я убрала за собой в доме. С Джулом — я лежала подле лампы, сама поднимала голову, смотрела, как накрывает и зашивает, пока он еще не дышал — буйная кровь откипела, и шум ее затих. Потом было только молоко, теплое и мирное, и я мирно лежала в тягучей тишине, готовясь к уборке моего дома.

Я принесла Ансу Дюи Дэлл, чтобы сквитать Джула. Потом принесла Вардамана — взамен ребенка, которого недодала ему. Теперь у него было трое детей — его, но не моих. И теперь я могла готовиться к смерти.

Однажды я разговаривала с Корой. Она молилась за меня, потому что мне грех не виден, хотела, чтобы я тоже стала на колени и молилась: кто знает грех только по словам, тот и о спасении ничего не знает, кроме слов.

Уитфилд

Когда мне сказали, что она умирает, я всю ночь боролся с Сатаной — и одержал победу. Мне открылся ужас моего греха; свет истины открылся мне, и я пал на колени, исповедовался перед Богом и просил руководить меня, и Он внял моей просьбе. «Встань, — Он сказал, — ступай в тот дом, где ты поселил живую ложь, к людям, среди которых нарушил Завет Мой; перед ними исповедайся. Им и обманутому мужу прощать тебя; не мне».

И я пошел. Я услышал, что Таллов мост залило; я сказал: «Благодарю Тебя,

Боже Вседержитель», — ибо по этим опасностям и преградам, которые воздвигнуты передо мной, я понял, что Он не оставил меня; тем слаще будет мне возвращение к Его святому миру и любви. «Не дай мне погибнуть прежде, чем попрошу прощения у человека, которого я предал; не дай мие опоздать, — молился я, — чтобы из моих, а не ее уст услышали они о нашем с ней преступлении. Она клялась, что никогда об этом не расскажет, но страшно стоять перед лицом вечности: разве сам я не боролся бедро к бедру с Сатаной? Так ие дай мне взять на душу грех ее нарушенной клятвы. Не дай могучим водам гнева Твоего потопить меня, пока я не очистил душу перед теми, кому причинил зло».

Его рука благополучно пронесла меня над потопом и отвела от меня опасности воды. Лошадь моя была испугана, и сердце мое ослабело, когда на меня, ничтожного, неслись бревна и вырванные с корнем деревья. Но не душа моя: снова и снова я видел, как отвращаются они от меня в последний гибельный миг, и я возвысил голос над шумом потопа: «Слава Тебе, Господи всемогущий, царь мой. По сему знаку очищу душу мою и вернусь под покров неоскудевающей Твоей любви».

Тогда я понял, что буду прощен. Потоп и опасность остались позади, и снова, едучи по тверди, все ближе и ближе к моей Гефсимании, я обдумывал слова, которые скажу им. Я войду в дом; не дам ей заговорить; я скажу ее мужу: «Анс, я согрешил. Поступи со мной как хочешь».

И было такое чувство, как будто я уже все сказал. Сколько лет в душе у меня не было такой свободы и покоя; я еще ехал, а покой уже снизошел на меня. По правую и по левую сторону я видел Его руку; сердцем слышал Его голос: «Мужайся. Я с тобой».

Я проезжал мимо Талла. Вышла его младшая дочь и окликнула меня. Сказала мне, что оиа умерла.

Я согрешил, Господи. Тебе ведома глубина моего раскаяния и желание души моей. Но Он милостив; Он примет желание действовать, ибо знает, что когда я обдумывал мою исповедь, я обращался к Ансу, хотя его там не было. В бесконечной мудрости Своей Он удержал перед смертью ее уста среди тех, кто любил ее и верил ей; я же испытан водой и храним был силой руки Его. Слава Тебе в Твоей щедрой и могучей любви; слава.

Я вошел в дом скорби, в смиренное жилище, где лежала такая же заблудшая, н ее душа ждала неотвратимого и страшного суда, мир ее праху.

— Господь да будет милостив к этому дому, — сказал я.

Дарл

Верхом уехал он к Армстиду и *вернулся верхом,* ведя армстидовых мулов. Мы запрягли и уложили Кеша поверх Адди. Когда уложили, его опять вырвало, но он успел свесить голову с повозки.

— Его и в живот ударило, — сказал Вернон.

— Конь мог лягнуть в живот, — сказал я. — Кеш, он лягнул тебя в живот?

Кеш пытался что-то сказать. Дюи Дэлл снова вытерла ему рот.

— Что он говорит? — спросил Вернон.

— Что, Кеш? — спросила Дюи Дэлл и наклонилась к нему. — Инструменты, — объяснила она.

Вернон собрал их и положил в повозку. Дюи Дэлл приподняла Кешу голову, чтобы он посмотрел. Тронулись. Мы с Дюи Дэлл сидели возле Кеша и придерживали его, *а он ехал впереди на коне.* Вернон стоял, смотрел нам вслед. Потом повернулся и пошел к мосту. Шел осторожно и по дороге начал встряхивать мокрыми рукавами рубашки, как будто только что намок.

Он сидел на коне перед воротами. Армстид ждал у ворот. Мы остановились, а *он спешился.* Сняли Кеша и внесли в дом — жена Армстида уже приготовила ему постель. Она и Дюи Дэлл стали раздевать его, а мы вышли.

За папой пошли к повозке. Он влез и поехал на двор, а мы за ним пешком. Вода наверио отбила запах, потому что Армстид сказал: «Пожалуйте в дом. Можете там поставить». *Он привел коня за нами и стал возле повозки, держа поводья.*

— Благодарствую, — сказал папа. — Но лучше в сарае. Я знаю, мы вам мешаем.

— Пожалуйте в дом, — сказал Армстид. *А у него опять лицо деревянное: дерзкое, угрюмое лицо и румяное, словно глаза и лицо из двух пород дерева — светлого*

не там, где надо, и темного не там, где надо. Рубашка уже подсыхала, но еще липла к телу при каждом движении.

— Она была бы вам благодарна, — сказал папа.

Мы выпрягли мулов и закатили повозку в сарай. Одна стена у него была раскрыта.

— Тут не намочит, — сказал Армстид. — Но если вам больше хочется.

За сараем валялись ржавые кровельные листы. Мы взяли два и приставили к раскрытой стене.

— Пожалуйте в дом, — сказал Армстид.

— Благодарствую, — сказал папа. — Ты меня очень одолжишь, если дашь им перекусить.

— Конечно, — сказал Армстид. — Сейчас Лула устроит Кеша и ужин приготовит.

А он вернулся к коню, снимал седло, и мокрая рубашка налипала на спину при каждом движении.

Папа в дом не пошел.

— Заходи и поешь, — сказал Армстид. — Почти готово.

— Я поесть не мечтаю, — сказал папа. — Благодарствуем.

— Заходите, обсохните, поешьте, — сказал Армстид. — Ничего с ним не сделается.

— Только ради нее, — сказал папа, — ради нее принимаю пищу. Ни упряжки у меня, ничего. Но она будет вам всем благодарна.

— Ну да, — сказал Армстид. — Зайдите, обсохните.

Однако, когда Армстид папе налил, папе стало легче; а когда мы зашли поглядеть на Кеша, *он с нами не пошел. Я оглянулся: он уводил коней в сарай,* папа уже говорил о том, где бы раздобыть новую упряжку, и к ужину почти сторговал ее. *Он в сарае, гибко проскользнул мимо пестрого мечущегося вихря — в стойло, вместе с ним. Вскочил на ясли, стаскивает сверху сено, выбирается из стойла, ищет и находит скребницу. Потом возвращается и, увильнув от одного звучного удара, прижимается к коню, там, где копыту его не достать. Начинает чистить скребницей, избегая ударов с ловкостью акробата, и любовным шепотом материт коня. Рывком обернулась с оскаленными зубами морда; глаза катаются в потемках, как мраморные шарики на пестрой бархатной скатерти, и он бьет по этой морде обратной стороной скребницы.*

Армстид

Я налил ему еще виски, ужин был почти готов, а он к тому времени уже купил у кого-то упряжку — в кредит. Выбирал, привередничал: эта упряжка ему не нравится, а у этого и курятник купить побоится.

— Может, тебе у Снопса попробовать, — сказал я. — У него три-четыре упряжки. Может, какая приглянется.

Он зашлепал ртом и смотрит на меня так, словно во всем округе у меня одного есть упряжка мулов и я не желаю их продать, — а я и так уже знал, что со двора моего они съедут не иначе как на моих мулах. Не знал только, что они будут делать с мулами, если купят. Литлджон сказал мне, что в низине у Хейли дамба на две мили смыта и в Джефферсон можно попасть только кружным путем через Моттсон. Но это уже было дело Анса.

— С ним тяжело торговаться, — говорит он и шлепает ртом. Но после ужина, когда я налил ему еще, он маленько повеселел. Собрался идти в сарай, при ней посидеть. Может быть, думал, что если будет сидеть там, готовый к дороге, придет Дед Мороз и приведет ему пару мулов.

— Но я, пожалуй, смогу его уломать, — говорит он. — Человек человеку всегда поможет в беде, если в нем хоть капля есть христианской крови.

— Конечно, моих можешь пока взять. — Я-то знал, сильно ли сам он верит в эту причину.

— Благодарствую, — сказал он. — Она захочет ехать на своих. — Да и он знал, сильно ли я в эту причину верю.

После ужина Джул верхом поехал в Балку за Пибоди. Я слышал, что он должен быть сегодня там у Варнера. Вернулся Джул ночью. Оказалось, Пибоди уехал куда-то за Инвернесс, но с Джулом прибыл Дядя Билли и привез свою сумку лошадиных лекарств. Если не мудрить, он говорит, человек не сильно отличается от лошади и мула, разве что разума у лошади чуть больше.

— Где теперь тебя угораздило, пареиь? — спрашивает Дядя Билли и глядит на Кеша. — Давайте мне матрас, стул и стакан виски.

Заставил Кеша выпить виски и выгнал из комнаты Анса.

— Спасибо еще, что эту же ногу сломал, когда с церкви падал, — грустно говорит Анс, шлепает ртом и моргает. — И то слава Богу.

Сложенный матрас положили Кешу на ноги, на матрас поставили стул, на стул сели мы с Джулом, дочка Анса поднесла лампу, а Дядя Билли откусил табаку и принялся за дело. Кеш поначалу сильно брыкался, а потом потерял сознание. Он лежал тихо, а на лице у него выступили крупные капли пота, как будто собрались было течь, но решили повременить, пока не очнется.

Очнулся он, когда Дядя Билли уже собрался и уехал. Он все силился что-то сказать; сестра наклонилась и вытерла ему рот.

— Инструменты, — сказала она.

— Я их занес, — сказал Дарл. — Они у меня.

Он опять попробовал заговорить; она наклонилась к нему.

— Хочет на них посмотреть, — сказала она.

Дарл принес и показал. Их засунули под кровать, не глубоко, чтобы он мог достать рукой и потрогать, когда ему полегчает. Наутро Анс сел на ихнего коня и поехал в Балку к Снопсу. Они с Джулом постояли на дворе, о чем-то поговорили, потом Анс влез на коня и уехал. Думаю, Джул первый раз разрешил кому-то сесть на своего коня, и, покуда Анс не вернулся, все бродил по двору — а походка у него такая, словно там распухло, — и на дорогу глядел, будто совсем уже думал догнать Анса и отобрать коня.

Часам к девяти стало припекать. Тогда я и увидел первого грифа. Намокшая была, наверно, поэтому. Так или нет, но увидел я их не с самого утра, а попозже. Слава богу, ветер дул от дома, так что утром было ничего. Но как увидел я их с поля, так будто за милю почуял запах от одного только вида; а они там кружат и кружат, всей округе показывают, что у меня в сарае.

Мальчишкин крик я услышал за полмили. В колодец, думаю, свалился или еще что — наддал и рысью домой.

Их, наверно, с десяток сидело на коньке сарая, а еще одного мальчишка спугнул с гроба и теперь гонял по двору, как индюка: он только подлетывал и уворачивался, потом захлопал крыльями и сел на крышу сарая. Стало уже совсем жарко, и ветер то ли утих, то ли переменился, так что решил я с Джулом потолковать, — а тут как раз Лула выходит из дома.

— Ты должен что-то сделать, — говорит. — Это безобразие.

— Я как раз и собрался.

— Это безобразие. Судить его надо за такое обращение.

— Старается похоронить ее как умеет.

Нашел я Джула и спрашиваю, не хочет ли он взять одного мула и съездить в Балку, посмотреть, что там с Ансом. Он ничего не сказал. Только поглядел на меня — глаза белые, желваки на скулах белые, — потом отошел и стал звать Дарла.

— Что ты собрался делать? — спрашиваю.

Он не отвечает. Вышел Дарл. Джул ему:

— Пойдем.

— Чего ты придумал? — Дарл спрашивает.

— Повозку выкатим, — Джул ему через плечо.

— Не будь дураком, — я говорю. — Разве я тебе сказал? Ты же не виноват.

И Дарл за ним не торопится; а Джулу хоть кол на голове теши.

— Заткнись, черт бы тебя взял, — он говорит.

— Ей ведь надо где-то лежать, — говорит Дарл. — Папа воротится, тогда и заберем.

— Не будешь помогать? — Джул говорит, и глаза белые, прямо светятся, а лицо дрожит, словно у него малярия.

— Нет, — Дарл говорит. — Не буду. Подождем, когда папа воротится.

Я стоял в дверях и смотрел, как он толкает и тянет повозку. Она стояла на скате, и раз мне показалось, что он вышибет заднюю стену сарая. Потом к обеду позвонили. Я его позвал, но он не оглянулся.

— Пошли обедать, — я сказал. — Мальчика позови.

Но он не ответил, и я пошел обедать. Дочка Анса отправилась за мальчишкой, но вернулась без него. За обедом мы услышали его крик: он опять выгонял грифа.

— Это безобразие, — сказала Лула, — безобразие.

— А что он может сделать? — говорю. — Со Снопсом за полчаса дело не сладишь. До вечера будут сидеть в теньке, торговаться.

— Сделать? — она говорит. — Сделать? Он и так уже много чего наделал.

— Наделал, верно. В том беда, что когда он кончит, наши дела начнутся. Никакой упряжки он ни у кого не купит, тем паче у Снопса, — надо оставить заклад, а что у него годится для заклада, он еще сам не знает. — Так что вернулся я на поле, поглядел на своих мулов и вроде как распрощался с ними на время. А вечером, когда пришел — солнце-то весь день сарай грело, — не сказать, что пожалел об этом.

Все они сидели на веранде, и, только я туда взошел, он едет. Вид какой-то чудной: и побитый — хуже, чем всегда, — и вроде гордый. Словно сделал что-то из ряда вон и не знает, как остальные отнесутся.

— Есть у меня мулы, — говорит.

— У Снопса купил мулов? — спрашиваю.

— Что ж тут, кроме Снопса, и купить не у кого?

— Ну почему? — говорю.

Он смотрит на Джула таким же чудным взглядом, а Джул спустился с веранды и пошел к коню. Посмотреть, что Анс с ним сделал, я думаю.

— Джул, — говорит Анс. Джул оглянулся. — Поди сюда. — Джул вернулся на несколько шагов и встал.

— Чего тебе?

— Так ты у Снопса мулов взял, — я говорю. — Верно, к вечеру их пришлет? Раз вам ехать через Моттсон, завтра пораньше захотите отправиться?

Тут он перестал так смотреть. Вид опять сделался затурканный, как всегда, и ртом опять зашлепал.

— Делаю, что могу, — он говорит. — Никому на всем белом свете не досталось столько издевательств и трудностей, сколько мне.

— Снопса объехавши, человек должен веселей глядеть, — я говорю. — Что ты дал ему, Анс?

Он в сторону смотрит.

— Я ему дал в залог культиватор и сеялку.

— Да за них и сорок долларов не выложат. Далеко ли ты уедешь на сорокадолларовых?

Теперь все смотрели на него, тихо и внимательно. Джул никак не мог дойти до коня: остановился и ждал на полдороге.

— Еще кое-что дал, — сказал Анс. Он снова начал шлепать ртом и стоял так, словно ждал, что кто-то его сейчас ударит, а сам заранее решил не отвечать.

— Что еще? — Дарл спросил.

— Черт с ним, — я говорю. — Возьми моих мулов. Потом приведешь. Я как-нибудь обойдусь.

— Так вот чего ты рылся ночью у Кеша в одежде, — говорит Дарл. Говорит так, словно из газеты читает. Словно ему плевать, в чем там дело. Теперь и Джул подошел: стоит и смотрит на Анса своими мраморными глазами. — На эти деньги Кеш хотел купить у Сюратта говорящую машину, — объясняет Дарл.

Анс стоит и шлепает ртом. Джул на него смотрит. Не моргнул ни разу.

— Ну, пускай еще восемь долларов, — говорит Дарл таким голосом, как будто только слушает, а самому ему наплевать. — На мулов все равно не хватит.

Анс гляиул на Джула — не глянул, а глазом повел, а потом опять отвернулся.

— Видит Бог, нет на свете человека... — говорит. А они все молчат. Только смотрят на него, ждут, а он им в ноги смотрит и выше колен свой взгляд не поднимает. — И лошадь.

— Какую лошадь? — спрашивает Джул.

Анс стоит, и ничего. Черт возьми, если не можешь управиться с сыновьями, тогда гони их из дому, хоть взрослые, хоть какие. А выгнать не можешь — сам уходи. Я бы ушел, ей-Богу.

— Ты что, коня моего хотел выменять? — говорит Джул.

Анс стоит, руки свесил.

— Пятнадцать лет у меня ни одного зуба во рту, — говорит.

— Бог свидетель. Он знает: пятнадцать лет я не ел по-людски; Он сотворил хлеб, чтобы человек ел и поддерживал силу, а я, о семье заботясь, по крохе, по десять центов откладывал на зубы, чтобы есть пищу, Богом человеку предназначенную. Я отдал эти деньги. Я думал, если я могу обойтись без еды, мои сыновья могут обойтись без катания Видит Бог, думал.

Джул стоит подбоченясь и смотрит на Анса. Потом отвернулся. Он смотрит на поле, и лицо у него каменное, как будто кто-то другой говорит о чьем-то коне, а он даже не слушает. Потом он сплюнул, сказал: «Черт», повернулся, пошел к воротам, отвязал коня и повел дальше. Вскочил на ходу, так что, когда опустился в седло, они уже мчались во весь опор, словно за ними гналась полиция. Так и скрылись из виду: пятнистым тайфуном.

— Ладно, — я говорю. — Возьми моих мулов. — Но он не захотел. И остаться они не захотели, а мальчишка весь день гонял грифов на солцепеке и почти уже рехнулся, как остальные. — Кеша хотя бы оставь, — я сказал.

Но и этого не захотели. Постелили на гроб одеяло, положили Кеша, поставили рядом его инструменты, а потом мы впрягли моих мулов и оттащили повозку на милю по дороге.

— Если отсюда будем мешать, — говорит Анс, — ты скажи нам.

— Конечно, — говорю. — Постоит здесь. Ничего с ним не будет. А теперь пошли домой ужинать.

— Благодарствую, — говорит Анс. — У нас кое-что есть в корзинке. Мы обойдемся.

— А откуда вы взяли?

— Из дому привезли.

— Там уж все задохлось, — я говорю. — Пошли, хоть горячего поедим.

Но они не пошли.

— Обойдемся как-нибудь, — сказал Анс.

Тогда я пошел домой, поел, потом отнес им корзинку и снова стал уговаривать, чтобы вернулись в дом.

— Благодарствую, — он сказал. — Обойдемся как-нибудь. — И я ушел, а они сидели на корточках вокруг костерка и ждали — Бог знает чего.

Пришел домой и все думаю о том, как они там сидят и как их парень умчался на коне. Больше они его не увидят. И будь я неладен, если упрекну его. Не за то, что не хотел с конем расстаться, а за то, что развязался с таким дураком, как Анс

Так я думал тогда. Но это такая чертова порода, люди вроде Анса, что ты им почему-то начинаешь помогать, хотя знаешь, что будешь проклинать себя через минуту. И вот наутро, через час после завтрака, приезжает Юстас Грим, работник Снопса, с ним пара мулов, спрашивает Анса.

— Я думал, они с Ансом не сторговались, — я сказал.

— Ну да, — говорит Юстас. — Да спорили-то за лошадь только. Я говорю мистеру Снопсу: не уступил бы он свою упряжку за пятьдесят долларов, если бы его дядя Флем оставил тех техасских лошадок у себя, и Ансу не на что было бы...

— За лошадь? — спрашиваю. — Сынок Анса удрал вечером с этой лошадью и сейчас, уж верно, на полпути к Техасу. И Анс, значит...

— Я не знаю, кто ее привел, — говорит Юстас. — Я их не видел. С утра сегодня пошел кормить, вижу, лошадь в сарае — сказал мистеру Снопсу, а он велел отвести сюда мулов.

— Да, больше они его не увидят, это точно. На Рождество, может, получат от него открытку из Техаса. Если б не Джул, так я бы то же самое сделал; я сам у него вроде должник. Ну прямо заколдовывает этот Анс человека. Ну и фрукт, черт возьми.

Вардаман

Теперь их семь, черными кружками.

Я говорю:

— Смотри, Дарл. Видишь?

Он смотрит вверх. Видим, ходят в вышине черными кружками, не шевелятся.

Говорю: — Вчера их было всего четыре.

На сарае было больше четырех.

— Если опять захочет сесть на повозку, знаешь, что я сделаю?

— Что ты сделаешь? — спрашивает Дарл.

— Не дам на нее сесть. И на Кеша сесть не дам.

Кеш хворает. Он хворает на гробе. А моя мама — рыба.

— В Моттсоне, — папа говорит, — надо будет купить лекарство. Придется покупать.

— Как ты себя чувствуешь, Кеш? — спрашивает Дарл.

— Да не беспокоит нисколько, — говорит Кеш.

— Подложить под нее повыше? — спрашивает Дарл.

Кеш сломал ногу. Он два раза ломал ногу. Он лежит на гробе, у него под головой свернуто одеяло, а под коленом деревяшка.

— Эх, надо было оставить его у Армстида, — говорит папа.

Я ногу не сломал, и папа не сломал, и Дарл не сломал, а Кеш говорит: «Да только на ухабах. Вроде как трутся маленько на ухабах. Не беспокоит нисколько». *Джул уехал. Один раз мы ужинали, а они с конем уехали.*

— Да ведь она бы не захотела, чтоб мы одалживались, — говорит папа. — Ей-Богу, не знаю, какой еще человек сделал бы больше. *Это потому, что мама Джула — лошадь, Дарл? — спросил я.*

— Может, мне еще подтянуть веревку? — говорит Дарл.

Поэтому мы с Джулом были в сарае, а она была в повозке, потому что лошадь живет в конюшне, а мне надо было грифа отгонять.

— Давай, если хочешь, — Кеш говорит. А Дюи Дэлл ногу не сломала, и я не сломал. Кеш — мой брат.

Мы остановились. Дарл развязал веревку, и Кеш опять вспотел. У него зубы показались.

— Больно? — спрашивает Дарл.

— Пожалуй, обратно завяжи, — говорит Кеш.

Дарл завязывает, сильно натягивает веревку. У Кеша зубы показались.

— Больно? — спрашивает Дарл.

— Не беспокоит нисколько, — говорит Кеш.

— Может, папе помедленней ехать? — спрашивает Дарл.

— Нет, — говорит Кеш. — Некогда канителиться. Не беспокоит нисколько.

— В Моттсоне надо будет купить лекарство, — говорит папа. — Придется купить.

— Скажи ему, чтоб ехал, — говорит Кеш.

Мы едем. Дюи Дэлл повернулась назад и вытирает Кешу лицо. Кеш — мой брат. *А мама Джула — лошадь. Моя мама — рыба. Дарл говорит, когда опять подъедем к воде, я могу ее увидеть, а Дюи Дэлл сказала: Она в гробу, как она могла вылезти? Я дырок насверлил, через них и вылезла в воду, — я говорю, — а когда к воде подъедем, я ее увижу. Моя мама не в гробу. Моя мама так не пахнет. Моя мама — рыба.*

— Хороши будут твои пироги, когда до Джефферсона доберемся, — говорит Дарл.

Дюи Дэлл не оборачивается.

— Ты попробуй в Моттсоне продать, — говорит Дарл.

— Дарл, когда приедем в Моттсон? — спрашиваю я.

— Завтра, — говорит Дарл. — Если эти мулы не рассыпятся дорогой. Сиопс небось опилками их кормил.

— Дарл, — я говорю, — почему он кормил опилками?

— Смотри, — говорит Дарл. — Видишь?

Теперь их девять в вышине, черными высокими кружочками.

Приехали к холму, папа остановил, и мы с Дарлом и Дюи Дэлл вылезли. Кеш идти не может, он сломал ногу.

— Пошли, мулы, — говорит папа.

Мулы стараются; повозка скрипит. Дарл, Дюи Дэлл и я идем за повозкой на холм. Наверху папа останавливается и мы влезаем в повозку. Теперь их десять в вышине, черные высокие кружочки в небе.

Случайно поднял голову и увидел ее за окном — на меня смотрит. Не близко к стеклу и не разглядывает ничего в особенности; просто стоит, повернув сюда голову, а глаза ее смотрят на меня как бы озадаченно, как бы знака ждет. Когда я опять поглядел, она уже шла к двери.

С минуту потыкалась в сетку, — как все они, — и вошла. На макушке у нее была соломенная шляпа с твердыми полями, а в руке — газетный сверток: я решил, что у нее должно быть центов двадцать пять, что потолчется тут и купит дешевую гребенку или туалетную воду для негров, и спрашивать пока ничего не стал, заметил только, что довольно хорошенькая, хотя нескладная еще и хмурая, и что в бумажном своем платье и с природным своим цветом лица выглядит лучше, чем с обновкой, которую надумает купить. Вернее — на которую мне укажет. Надумала-то она еще до того, как вошла, — я по ее виду понял. Но их торопить не надо. И я занимался своим делом, — думаю, пускай Альберт ее обслужит; а он у стойки с газированной водой вдруг перестал работать и — ко мне. Говорит:

— Там женщина, пойди-ка выясни, что ей надо.

— Что ей надо? — я спросил.

— Не знаю. Ничего от нее не могу добиться. Подойди к ней сам.

Тогда я вышел из-за стойки. Я увидел, что она босая, стоит спокойно и прочно, как будто привыкла босиком. Смотрит на меня без отрыва и держит сверток; глаза черные, — не знаю, видел ли еще такие, — и незнакомая. Не помню, чтобы встречал ее в Моттсоне.

— Чем могу служить? — спрашиваю.

Она не ответила. Смотрит на меня и не моргнет. Потом оглянулась на людей, которые пили воду. Потом посмотрела мимо меня в глубину магазина.

— Туалетными принадлежностями интересуетесь или вам нужны лекарства?

— Они, да. — И опять быстро оглянулась на стойку с газированной водой. Я подумал, что ее послала за женским лекарством мать или еще кто, а она стесняется спросить. Если бы сама употребляла, не такой бы у нее был цвет лица, да и годы еще не те, чтобы она толком о нем знала. Как они им травятся — просто срам. Однако у нас приходится держать его, если прогореть не хочешь.

— Ага, — я сказал. — Вы чем пользуетесь? У нас есть...

Она опять на меня посмотрела, как будто сказала «Тсс», и опять оглянулась на стойку.

— Можно в заднюю часть зайти?

— Хорошо. — Их надо ублажать. Время сэкономишь. Я пошел за ней в заднюю комнату. Она взялась за дверцу. — Там дальше ничего нет, кроме шкафа с прописями. Что вы хотели? — Она остановилась и посмотрела на меня. Будто крышку сняли с ее лица, с ее глаз. Главное, с глаз: там и тупость, и надежда, и угрюмое желание получить отказ — все вместе. Но что-то у нее стряслось, я это видел. — Что у вас стряслось? — спросил я. — Скажите, что вам нужно. У меня много дел. — Я не хотел ее подгонять, но у нас ведь не столько времени, сколько у них.

— Женские неприятности, — говорит она.

— Ага. И только-то? — Я подумал, что она моложе, чем выглядит, испугалась первых или проходят не совсем нормально, как бывает у молодых женщин. — А где твоя мама? У тебя есть мама?

— Она там, в повозке.

— Ты бы с ней поговорила до того, как принимать лекарство. Любая женщина тебе все объяснит. — Она посмотрела на меня, я — на нее и спросил: — Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— А-а. Я думал, у тебя... — Она смотрит внимательно. Но у всех у них глаза такие, как будто они без возраста и знают все на свете. — У тебя чересчур все правильно или, наоборот, не совсем?

Она перестала смотреть на меня, но не пошевелилась.

— Да, — говорит. — Так, наверно. Да.

— Что «да»? — я спрашиваю. — Ты сама не знаешь? — Это срам и преступление; но все равно же они у кого-то купят. Она стоит и на меня не смотрит. — Ты хочешь чем-нибудь остановить? Так?

— Нет. В том-то и дело. Уже остановилось.

— Ну, и чем я тебе... — А у нее лицо потуплено — они все так делают, когда рядятся с мужчиной: чтобы не знал, откуда ждать подвоха. — Ты ведь не замужем?

— Нет.

— Ага. И давно у тебя остановилось? Месяцев пять, поди?

— Нет, два всего.

— Ну так в моей аптеке ничего для тебя нет — кроме соски. Советую тебе купить, пойти домой и сказать папе, если он у тебя есть, — и пусть он заставит кого-то выправить тебе брачное свидетельство. Больше тебе ничего не нужно?

А она стоит по-прежнему и не смотрит на меня.

— Я заплачу, у меня есть деньги.

— Свои, или он такой молодец, что дал тебе деньги?

— Он дал. Десять долларов. Сказал, должно хватить.

— В моей аптеке ни тысячи долларов не хватит, ни десяти центов. Послушайся моего совета, ступай домой и скажи папе или братьям, если братья есть, или первому встречному на дороге.

Она — ни с места.

— Лейф сказал, что можно купить в аптеке. Велел сказать вам, что мы с ним никому-никому не будем говорить, где купили.

— Хотел бы я, чтобы твой драгоценный Лейф сам сюда пришел; вот чего я хотел бы. Не знаю, может, тогда я его хоть немного зауважаю. Вернешься, можешь так ему и передать, если он еще не удрал в Техас — хотя я в этом очень сомневаюсь. Я честный фармацевт, сорок шесть лет посещаю церковь в этом городе, держу аптеку, ращу детей. Знал бы, кто твои родители, сам бы с удовольствием им сказал.

Тут она на меня посмотрела — глаза и лицо опять стали озадаченными, как тогда, за окном.

— Я не знала. Он сказал, можно что-то купить в аптеке. Сказал, что, может, не захотят продать, но если у меня будет десять долларов и пообещаю никому не говорить...

— Он говорил не про мою аптеку. А если про мою или мое имя назвал, я предлагаю ему это доказать. Я предлагаю ему повторить это вслух или подам на него в суд по всей форме — так ему и передай.

— А может, в другой аптеке продадут?

— Тогда я не желаю о ней знать. Мне это... — Тут я поглядел на нее. Трудная жизнь им досталась; иногда мужчина... если есть извинение греху — но его не может быть. И вообще, жизнь устроена не для того, чтобы быть легкой для людей; зачем бы им тогда к добру стремиться и умирать? — Слушай, — я сказал. — Выбрось это из головы. Что у тебя есть, то тебе дал Господь, даже если послал через дьявола; будет Его воля, Он и заберет, без твоей помощи. Ступай к своему Лейфу, и на эти десять долларов обвенчайтесь.

— Лейф сказал, можно что-то купить в аптеке, — говорит она.

— Так иди и купи. Только не здесь.

И она ушла со своим свертком, тихонько шлепая по полу ногами. Опять потыкалась в дверь и ушла. Через окно я увидел, как она идет по улице.

Остальное я узнал от Альберта. Он сказал, что повозка остановилась перед скобяной лавкой Граммета; женщины бросились врассыпную, прижав к носам платки, а вокруг собрались те, кто покрепче духом, — мужчины и мальчишки, и слушали, как полицейский спорит с хозяином. Он сидел на повозке, высокий, тощий человек, и говорил, что это общественная улица и он вправе стоять тут, как любой другой, а полицейский требовал, чтобы он уехал; люди не в силах были терпеть. Альберт сказал, что трупу уже восемь дней. Они приехали из округа Йокнапатофа, хотели попасть с ним в Джефферсон. Он там, наверно, уже как гнилой сыр в муравейнике, а повозка такая разбитая, сказал Альберт, что люди боялись, она рассыпется, из города не выедет; в повозке — самодельный гроб, накрытый одеялом, и на нем лежит человек со сломанной ногой, а впереди сидят отец с мальчиком, и полицейский выпроваживает их из города. А тот говорит:

«Это общественная улица. Имеем право здесь останавливаться и покупать, как всякий другой человек. Деньги у нас имеются, и нет такого закона, чтобы человек не мог тратить деньги, где хочет».

А остановились они, чтобы купить цемента. Другой сын зашел к Граммету и хо-

тел, чтобы Граммет разрезал мешок и продал ему на десять центов; Граммет в конце концов разрезал, лишь бы уехали. Они хотели зацементировать тому сломанную ногу.

«Вы его погубите, — сказал полицейский. — Он из-за вас ногу потеряет. Отвезите его к врачу, а это похороните поскорее. Подвергаете опасности здоровье населения — знаете, что за это полагается тюрьма?»

«Мы стараемся как можем», — сказал отец. И начал длинную историю о том, как им пришлось ждать, когда вернется повозка, как смыло мост, и они поехали за восемь миль к другому мосту, но его тоже залило, и тогда они вернулись, пошли вброд, и как там утонули их мулы, и как они раздобыли новую упряжку, но оказалось, что дорога под водой, и пришлось ехать аж через Моттсон, — но тут пришел сын с цементом и велел отцу замолчать.

«Сию минуту уедем», — сказал он полицейскому.

«Мы не хотели никому мешать», — сказал отец.

«Отвезите его к врачу», — сказал полицейский тому, что с цементом.

«Да он вроде ничего».

«Мы не такие бессердечные, — сказал полицейский. — Но вы же сами чувствуете, что делается».

«Ну да, — тот говорит. — Сейчас Дюи Дэлл вернется, и поедем. Она сверток понесла».

Они стояли, а люди прижимали к носам платки и отступали подальше; вскоре пришла эта девушка с газетным свертком.

«Залезайте, — сказал тот, что с цементом, — сколько времени потеряли».

Они влезли в повозку и поехали. Когда я ужинать пошел, все равно казалось, что слышу запах. На другой день мы с полицейским принюхались и я сказал:

— Пахнет?

— Да уж они, наверно, в Джефферсоне.

— Или в тюрьме. Слава богу, что не в нашей.

— Да уж, — сказал он.

Дарл

— Вот тут, — говорит папа. Он натягивает вожжи и сидит, повернувшись к дому. — Можем попросить у них воды.

— Хорошо, — я говорю. — Придется одолжить у них ведро, Дюи Дэлл.

— Видит Бог, — говорит папа. — Я не хочу одалживаться, видит Бог.

— Попадется консервная банка побольше, можешь в ней принести, — я говорю. Дюи Дэлл вылезает из повозки со свертком. — А в Моттсоне-то пироги труднее продать, чем ты думала, — говорю. Как разматываются наши жизни в безветрие, в беззвучность, усталые жесты усталым итогом; отголоски былых побуждений бесструнны, бесперстны: на закате мы застываем в неистовых позах, мертвых кукольных местах. Кеш сломал ногу, и теперь высыпаются опилки. Ои истекает кровью, Кеш.

— Я не хочу одалживаться, — говорит папа. — Видит Бог.

— Тогда налей сам, — отвечаю. — Подставим тебе шляпу Кеша.

Дюи Дэлл возвращается не одна, а с каким-то человеком. Она подходит, а он остановился на полдороге, постоял, а потом возвращается к дому и стоит на веранде, наблюдает за нами.

— Спускать его на землю не стоит, — говорит папа. — Можем сделать прямо здесь.

— Кеш, — говорю я, — тебя спустить на землю?

— А завтра в Джефферсон не попадем? — спрашивает он. Глаза его смотрят на нас вопросительно, настойчиво, печально. — Я бы потерпел.

— Тебе полегчает, — говорит папа. — Тереться не будут друг об дружку.

— Я потерплю, — говорит Кеш. — Останавливаться — время терять.

— Мы цемент уже купили, — говорит папа.

— Я бы потерпел. Один день остался. Нисколько не беспокоит, можно сказать. — Большими глазами он вопросительно смотрит на нас; лицо худое и серое. — Схватывается он крепко.

— Мы уже купили, — говорит папа.

Я развожу цемент в жестянке. Размешиваю жижу толстыми зеленоватыми спи-

ралями. Несу цемент к повозке показать Кешу. Он лежит на спине, его острый профиль, аскетический и значительный, обращен к небу.

— Как, по-твоему, правильно замесил? — спрашиваю я.

— Лишней воды не нужно, не будет держать, — говорит он.

— Я лишнего налил.

— Может, песку сумеешь добыть, — отвечает он. — Один день остался. Не беспокоит нисколько.

Вардаман уходит назад по дороге, туда, где мы пересекли ручей, и возвращается с песком. Медленно сыпет его на витое тесто в жестянке. Я снова подхожу к Кешу.

— Теперь правильно замесил?

— Да, — говорит Кеш. — Я бы потерпел. Не беспокоит нисколько.

Мы распускаем лубки и медленно льем цемент ему на ногу.

— Поаккуратней, — говорит Кеш. — Постарайтесь на него не пролить.

— Да, — говорю я.

Дюи Дэлл отрывает от свертка кусок газеты и вытирает с крышки цемент, капающий с ноги Кеша.

— Ну как?

— Приятно, — говорит Кеш. — Он холодный. Приятно.

— Лишь бы помог тебе, — говорит папа. — Я прошу у тебя прощения. Я этого не мог предвидеть, и ты не мог.

— Приятно, — говорит Кеш.

Размотаться бы во времени. Вот было бы хорошо. Хорошо бы, если можно было размотаться во времени.

Мы накладываем лубки, стягиваем веревкой, и зеленоватый цемент густо выдавливается между веревками. Кеш молча смотрит на нас глубоким пронзительным взглядом.

— Будет держать ее, — говорю я.

— Да, — говорит Кеш. — Спасибо.

Потом мы все оборачиваемся на повозке и смотрим на него. Он подходит по дороге сзади — спина деревянная, лицо деревянное, движутся только ноги. Подходит без единого слова, — светлые глаза тверды, длинное лицо угрюмо, — и лезет в повозку.

— Тут холм, — говорит папа. — Придется вам вылезти и пешком пройти.

Вардаман

Дарл, Джул, Дюи Дэлл и я поднимаемся на холм за повозкой. Джул вернулся. Он пришел по дороге и влез в повозку. Он шел пешком. У Джула больше нет коня. Джул — мой брат. Кеш — мой брат. Кеш сломал ногу. Мы залепили Кешу ногу, чтобы не болела. Кеш — мой брат. Джул тоже брат, но у него нога целая.

Теперь их пять в вышине, высокими черными кружками.

— Дарл, а где они ночью бывают? — спрашиваю я. — Когда мы ночуем в сарае, где они бывают?

Холм уходит в небо. Потом солнце показывается из-за холма, а мулы, повозка и папа идут по солнцу. На них нельзя смотреть, медленно идут по солнцу. В Джефферсоне он красный на рельсах, за стеклом. Рельсы блестят и бегут кругом, кругом. Дюи Дэлл говорила.

Ночью я узнаю, где они бывают, когда мы в сарае.

Дарл

— Джул, — говорю я, — ты чей сын?

Ветер потянул от сарая, поэтому мы поставили ее под яблоней, где луна рисует кружевную тень листвы на длинных спящих стенках, а за стенками она иногда разговаривает — невнятным тихим журчанием, таинственным бульканьем. Я позвал Вардамана послушать. Когда мы подошли, с него соскочила кошка с серебряным глазом и серебряным когтем и шмыгнула в тень.

— Твоя мать была лошадью, Джул, а кто был твой отец?

— Врешь, паскуда.

— Не обзывай меня.

— Врешь, наскуда.

— Не обзывай меня, Джул. — Под высокой луной глаза его похожи на клочки белой бумаги, прикрепленные к длинному футбольному мячу.

После ужина Кеш начал потихоньку потеть.

— Немного горячая, чувствую, — он сказал. — Видно, потому, что солнце весь день на нее светило.

— Хочешь, обольем ее водой? — спрашиваем мы. — Может, полегче станет.

— Вот спасибо, — говорит Кеш. — Видно, потому, что солнце на нее светило. Надо было мне догадаться прикрыть ее.

— Нам надо было догадаться, — говорим мы. — Откуда же ты мог знать.

— Я даже не заметил, что горячеет, — сказал Кеш. — Надо было прислушиваться.

Мы облили ее водой. Нога ниже цемента — как ошпаренная.

— Полегчало? — спросили мы.

— Спасибо, — сказал Кеш. — Хорошо стало.

Дюи Дэлл вытирает ему лицо подолом платья.

— Попробуй поспать немного, — говорим мы.

— Ага, — говорит Кеш. — Большое спасибо. Теперь хорошо.

Джул, говорю я. Кто был твоим отцом, Джул?

Черт бы тебя взял. Черт бы тебя взял.

Вардаман

Она была под яблоней, мы с Дарлом пошли при луне, кошка спрыгнула и убежала, а мы слышим, как она разговаривает за досками.

— Слышишь? — Дарл говорит. — Приложи ухо.

Я приложил ухо и слышу ее. Только не разберу, что она говорит.

— Дарл, что она говорит? С кем она разговаривает?

— Она разговаривает с Богом: Зовет Его, чтобы Он помог.

— Чтобы Он как помог? — спрашиваю я.

— Чтобы Он спрятал ее от людских глаз, — говорит Дарл.

— Зачем чтобы Он спрятал ее от людских глаз, Дарл?

— Чтобы могла расстаться с жизнью.

— Зачем расстаться с жизнью, Дарл?

— Слушай, — говорит Дарл. Мы ее слышим. Мы слышим, как она повернулась на бок. — Слушай, — говорит Дарл.

— Она повернулась. Она смотрит на меня через доски.

— Да, — говорит Дарл.

— Дарл, как она может видеть через доски?

— Пошли. Пусть полежит спокойно. Пошли.

— Она сюда не может видеть, дырки-то наверху. Как она может видеть, Дарл?

— Пойдем посмотрим, как там Кеш, — говорит Дарл.

А что я видел, Дюи Дэлл не велела никому говорить.

Кеш болеет от ноги. Днем мы чинили ему ногу, но он опять от нее болеет, лежит на кровати. Мы обливаем ему ногу водой, и ему хорошо.

— Теперь хорошо, — говорит Кеш. — Спасибо вам.

— Попробуй поспать, — говорим мы.

— Теперь хорошо, — говорит Кеш. — Спасибо вам.

А что я видел, Дюи Дэлл не велела никому говорить. Это не про папу, и не про Кеша, и не про Джула, и не про Дюи Дэлл, и не про меня.

Мы с Дюи Дэлл будем спать на тюфяке. Он на задней веранде, оттуда нам виден сарай, а луна светит на половину тюфяка: будем лежать наполовину в белом, наполовину в черном, луна будет нам на ноги светить. И я погляжу, где они бывают ночью, когда мы в сарае. Сегодня ночью мы не в сарае, но сарай мне виден, и я узнаю, где они бывают ночью.

Мы лежим на тюфяке, луна светит нам на ноги.

— Смотри, — я говорю, — у меня ноги черные. И у тебя ноги черные.

— Спи, — говорит Дюи Дэлл.

Джефферсон далеко.

— Дюи Дэлл.

— Если сейчас не Рождество, почему же он там будет?

Он бегает кругом по блестящим рельсам. И рельсы блестящие бегут кругом и кругом.

— Что там будет?

— Поезд. В окне.

— Спи давай. Если он там, завтра увидишь.

Может, Дед Мороз не знает, что они — городские ребята.

— Дюи Дэлл.

— Спи давай. Он его не отдаст городским ребятам.

Он был за стеклом, красный на рельсах, а рельсы блестели кругом и кругом. Сердце от него закололо. А потом были папа, Джул, и Дарл, и сын мистера Гиллеспи. У сына мистера Гиллеспи из-под ночной рубашки видны ноги. Когда он идет под луной, ноги пушистые. Они идут вокруг дома к яблоне.

— Дюи Дэлл, что они будут делать?

Они шли вокруг дома к яблоне.

— Она пахнет, — говорю я. — И тебе пахнет?

— Тсс, — говорит Дюи Дэлл. — Ветер переменился. Спи.

Скоро узнаю, где они бывают ночью. Они выходят из-за дома, идут под луной по двору, несут ее на плечах. Относят ее в сарай, луна светит на нее тихо и слабо. Потом они выходят и возвращаются в дом. Пока они шли под луной, ноги у сына мистера Гиллеспи были в пуху. Потом я подождал и сказал: Дюи Дэлл? потом подождал, а потом пошел смотреть, где они бывают ночью — а что я видел, Дюи Дэлл не велела никому говорить.

Дарл

Посреди темного дверного проема он будто материализуется из темноты — в нижнем белье, поджарый, как скаковая лошадь; на нем лежит отсвет разгорающегося пламени. С яростно-изумленным лицом он спрыгивает на землю. Он увидел меня, хотя не повернул головы и даже не повел глазами: зарево плавает в них, как два маленьких факела.

— Давай, — и длинными скачками несется вниз по склону к сараю. Он бежит, серебряный под луной, и вдруг обрисовался четко, как плоская жестяная фигура: в беззвучном взрыве весь сеновал вспыхнул разом, словно там держали порох. Треугольный фасад с квадратным проемом двери, в котором, как кубистический жук, сидит угловатый гроб на низких козлах, выступил рельефно. Сзади из дома выскакивает папа, Гиллеспи с Маком, Дюи Дэлл и Вардаман.

Ссутулясь, он останавливается возле гроба и с яростью смотрит на меня. Пламя у него над головой гремит; по двору проносится холодный ветерок: в нем еще нет жара, но горсть половы вдруг взвивается в воздух и летит по проходу мимо стойл, где кричит лошадь.

— Быстро, — говорю я, — лошади.

Он смотрит на меня, потом на крышу, потом прыгает к стойлу, где кричит лошадь. Она мечется, лягается, и рев пламени вбирает в себя громкие удары копыт. Звук такой, как будто бесконечный поезд едет по необозримой эстакаде. Мимо меня пробегают Гиллеспи и Мак в ночных рубашках до колен; они кричат высокими тонкими голосами, бессмысленными, но в то же время печально-дикими: «...корова... стойле...» Рубашка Гиллеспи вздувается впереди над волосатыми бедрами.

Дверь стойла захлопнулась. Джул открывает ее задом и появляется сам, вытягивая лошадь за голову: спина у него выгнута, мускулы напряглись под бельем. В выкатившихся глазах лошади носится бешеное опаловое пламя; мотая головой, она отрывает Джула от земли, и мускулы вздуваются и перекатываются у нее под кожей. Он тащит ее — медленно, с неимоверным напряжением; снова бросает на меня через плечо короткий яростный взгляд. Даже на дворе она продолжает упираться и тянуть его обратно, к сараю, пока мимо меня не пробегает Гиллеспи, — голый, рубашка его намотана на голову мула, — и ударами не отгоняет обезумевшую лошадь от двери.

Джул возвращается бегом; снова взглянул на гроб. Но бежит дальше. «Где корова?» — кричит он, пробегая мимо меня. Я иду за ним. В стойке Мак борется со

вторым мулом. Морда повернулась к огню, я вижу дико выкатившийся глаз; но мул не издает ни звука. Он только следит за Маком через плечо и поворачивается задом, когда тот пробует подойти. Мак оглядывается на нас, глаза и рот — три круглые дыры на лице, а веснушки рассыпались по нему, как горох на тарелке. Голос тонкий, высокий, далекий.

— Ничего не могу,.. — Звук словно сорвало с его губ, унесло вверх, и он долетает до нас оттуда, из страшной дали изнеможения. Джул проскользнул мимо нас; мул крутится, бьет копытами, но Дарл уже поймал его за голову. Я наклоняюсь к уху Мака:

— Рубашку. На голову.

Мак смотрит на меня, потом сдирает с себя ночную рубашку, накидывает мулу на голову, и тот сразу становится смирным.

Джул кричит Маку: — Корова? Корова?

— Дальше! — кричит Мак. — Последнее стойло!

Когда мы входим, корова смотрит на нас. Она забилась в угол, опустила голову, но все равно жует, только быстро. Она не двинулась с места. Джул замер на миг, поднял голову, и вдруг у нас на глазах растворяется весь под сеновала. Превратился в огонь; мелким мусором сыпятся вниз искры. Джул озирается. Под корытом — трехногая доильная табуретка. Он хватает ее и бьет с размаху по задней стене. Отщепляется одна доска, потом другая, третья; мы отрываем обломки. Пока мы возимся у пролома, что-то налетает на нас сзади. Это корова; с протяжным свистящим вздохом она проносится между нами, в дыру и дальше на свет пожара, а хвост у нее торчит отвесно, словно метелка, прибитая стоймя к концу хребта.

Джул отвернулся от дыры, пошел в сарай.

— Стой, Джул! — Я хватаю его; он отбивает мою руку. — Дурак, — говорю я, — видишь, нет дороги! — Проход похож на луч прожектора в дожде. — Пошли, — говорю я, — кругом, снаружи.

Мы вылезаем в дыру, и он бросается бежать.

— Джул, — зову я на бегу. Он сворачивает за угол. Когда я добегаю дотуда, он уже у следующего — на фоне пламени, как фигурка, вырезанная из жести. Папа, Гиллеспи и Мак стоят поодаль, смотрят на сарай, розовые среди мрака, где лунный свет пока что побежден. — Ловите его! — кричу я. — Держите его!

Когда я подбегаю к фасаду, он борется с Гиллеспи: поджарый в нижнем белье с голым. Как две фигуры на греческом фризе — красным светом выхвачены из действительности. Я не успеваю: ударом он сбил Гиллеспи с ног, повернулся и побежал в сарай.

Шум огня стал теперь совсем мирным, как тогда — шум реки. Через тающий просцениум двери мы наблюдаем, как Джул подбегает к дальнему концу гроба и наклоняется над ним. Вот он поднял голову, бросил взгляд на нас сквозь дождь горящего сена, словно сквозь портьеру из огненного бисера, и я вижу по его губам, что он зовет меня.

— Джул! — кричит Дюи Дэлл. — Джул! — Кажется, что сейчас до меня долетел весь ее крик, скопившийся за последние пять минут, я слышу, как она шаркает ногами и рвется из рук папы и Мака с воплем: Джул! Джул!

А он уже не смотрит на нас. Мы видим, как напряглись его плечи: он приподнял конец гроба и в одиночку ссовывает его с козел. Неправдоподобно высоким кажется вставший гроб, за ним не видно Джула: я никогда не поверил бы, что для Адди Бандрен понадобится столько места; мгновение он стоит стоймя под дождем искр, которые отлетают от него во все стороны, будто, ударившись о гроб, высекают новые искры. Потом он падает вперед, набирая скорость, открывает Джула, осыпаемого искрами, которые так же множатся на нем и окружают его тонким огненным нимбом. Без задержки гроб кувыркается дальше; встает на другой конец, замирает на миг и медленно опрокидывается вперед, сквозь огненную завесу. Но теперь Джул верхом на нем, припал к крышке, — и, грянувшись оземь, гроб выбрасывает его вперед, вместе с еле слышным запахом паленого мяса, а навстречу прыгает Мак и хлопает по дырам с малиново-красной каймой, распускающимися, как цветы, на его рубахе.

Вардаман

Я пошел поглядеть, где они бывают ночью, и что-то видел. Они говорили: «Где Дарл? Куда пошел Дарл?»

Они отнесли ее обратно под яблоню.

Сарай был еще красным, но это уже был не сарай. Он осел, а красное взвивалось винтом. Сарай красным сором взвивался в небо к звездам, а звезды летели навстречу.

Кеш тогда еще не спал. Он поворачивал голову туда и сюда, а лицо у него было потное.

— Кеш, облить ее? — спросила Дюи Дэлл.

Нога у Кеша внизу стала черная. Мы поднесли лампу и разглядывали ногу Кеша, где она почернела.

— Кеш, у тебя нога, как у негра, — сказал я.

— Придется, видно, разбить, — сказал папа.

— На кой же шут цементом-то? — спросил мистер Гиллеспи.

— Думал, закрепит ее немного, — сказал папа. — Я только помочь ему хотел.

Принесли утюг и молоток. Дюи Дэлл держала лампу. Бить пришлось сильно. И тогда Кеш заснул.

— Он теперь спит, — сказал я. — Когда спит, ему не больно.

Цемент только трескался. Но не отваливался.

— С кожей вместе снимешь, — сказал мистер Гиллеспи. — На кой шут цементом-то? И никто не догадался жиром ее смазать?

— Я только помочь ему хотел, — сказал папа. — Дарл заливал.

— Где Дарл? — они сказали.

— Неужели ни одному из вас ума недостало? — спросил мистер Гиллеспи. — Он хотя бы мог догадаться.

Джул лежал лицом вниз. Спина у него была красная. Дюи Дэлл намазала ее лекарством. Лекарство сделали из масла и сажи, чтобы вытянуло жар. Тогда спина стала черной.

— Больно, Джул? — спросил я. — Джул, у тебя спина, как у негра.

У Кеша нога была, как у негра. Потом цемент разбили. У Кеша из ноги пошла кровь.

— А ты иди, ложись, — сказала Дюи Дэлл. — Тебе спать полагается.

— Где Дарл? — говорили они.

А он с ней там, под яблоней, на ней лежит. Он там, чтобы кошка не вернулась. Я сказал:

— Дарл, ты кошку будешь отгонять?

И на нем лунный свет лежал пятнами. На ней тихо лежал, а на Дарле пятна вздрагивают.

— Ты не плачь, — я сказал. — Джул ее вытащил. Не плачь, Дарл.

Сарай еще красный, а был краснее, чем сейчас. Тогда он взвивался винтом, а звезды летели навстречу, но не падали. Сердце кололо, как от поезда.

Я пошел поглядеть, где они бывают ночью, а что увидел, Дюи Дэлл никому не велела говорить.

Дарл

Уже довольно давно проезжаем мимо рекламных досок: аптеки, закусочные, одежда, готовые лекарства, гаражи, кафе, — и цифры на указателях убывают все круче: 3 мили, 2 мили. С вершины холма, снова влезши в повозку, мы видим плоское покрывало дыма, как будто неподвижного в послеобеденном затишье.

— Дарл, это город? — спрашивает Вардаман. — Это Джефферсон? — Он тоже отощал; лицо у него осунувшееся, напряженное, полусонное, как у нас.

— Да, — говорю я.

Он поднимает голову и смотрит на небо. Сужая круги, они повисли там, как дым: при видимости формы и умысла никаких признаков движения вперед или вспять. Мы снова влезаем в повозку: там на гробе лежит Кеш, и нога у него облеплена осколками раздробленного цемента.

Потрепанные унылые мулы со стуком и скрипом везут нас под уклон.

— Придется показать его доктору, — говорит папа. — Видно, без этого не обойтись.

У Джула на рубашке, там, где она прикасается к спине, медленно проступает черный жир. Жизнь была создана в долинах. На древних страхах, древних вожделениях и отчаяниях ее вынесло на холмы. Поэтому и надо всходить на холмы пешком, чтобы ехать под гору. Дюи Дэлл сидит спереди, на коленях у нее газетный сверток. Когда мы спускаемся с холма на ровное место, где дорога сжата двумя стенами деревьев, она начинает потихоньку поглядывать налево и направо. Наконец говорит:

— Мне слезть надо.

Папа поворачивается к ней. На его помятом профиле написана досада, ожидание неприятности. Повозку он не останавливает.

— Зачем?

— Мне в кусты надо, — говорит Дюи Дэлл.

Папа не останавливает повозку.

— До города потерпеть не можешь? Миля всего осталась.

— Останови, — говорит Дюи Дэлл. — Мне в кусты надо.

Папа останавливает посреди дороги, и мы смотрим, как Дюи Дэлл слезает на землю, не выпуская из рук сверток. Она не оглядывается на нас.

— Пироги-то свои оставь, — говорю я. — Мы покараулим.

Слезает медленно, на нас не глядит.

— А если до города дотерпит, она знает, куда там идти? — спрашивает Вардаман. — Дюи Дэлл, в городе где будешь делать?

Она снимает с повозки сверток, уходит и скрывается среди деревьев и кустов.

— Особенно там не валандайся, — говорит папа. — Нельзя нам время терять. — Она не отвечает. Вскоре и шагов ее уже не слышно. — Надо было сделать, как Армстид и Гиллеспи советовали, — говорит папа, — в город сообщить, чтобы вперед для нас выкопали.

— Что же не сообщил? — спрашиваю я. — По телефону мог сказать.

— На кой черт? — говорит Джул. — Сами не можем выкопать яму в земле?

Из-за холма появляется автомобиль. Загудел и сбавляет ход. На малой скорости едет по обочине, левыми колесами в канаве, объезжает нас и едет дальше. Вардаман глядит на него, пока он не скрывается из виду.

— Дарл, далеко еще? — спрашивает он.

— Недалеко.

— Надо было сообщить, — говорит папа. — Да одалживаться не хочу ни у кого, кроме как у ее близких.

— Сами, черт возьми, не можем яму вырыть? — говорит Джул.

— Неуважительно так говорить про ее могилу, — отвечает ему папа. — Не понимаете вы, что это такое. Вы ее просто никогда не любили, никто из вас.

Джул молчит. Он сидит чересчур прямо, выгнув спину, чтобы не прикасалась рубашка. Выставил розовый подбородок.

Возвращается Дюи Дэлл. Мы смотрим, как она выходит из кустов со свертком и забирается в повозку. Теперь на ней воскресное платье, бусы, туфли и чулки.

— По-моему, я велел тебе оставить наряды дома, — говорит папа.

Она не отвечает, не смотрит на нас. Укладывает сверток в повозку и влезает сама. Повозка тронулась.

— Дарл, сколько еще холмов? — спрашивает Вардаман.

— Один всего. С него прямо в город съедем.

Этот холм песчаный, красный, по обеим сторонам стоят негритянские домишки; над головой в небе густо протянуты телефонные провода, а из-за деревьев вырастает башня суда с часами. В песке колеса только шуршат, словно сама земля хотела бы промолчать о нашем приезде. Перед подъемом мы слезаем на землю.

Мы шагаем за повозкой, за шуршащими колесами, проходим мимо домишек, где внезапно возникают в дверях лица с большими белками. Внезапные восклицания сопровождают нас. Джул смотрел по сторонам, но теперь он головой не крутит, и я вижу, как наливаются яростной краской его уши. Вдоль дороги перед нами идут три негра; впереди них шага на четыре идет белый. Когда мы обгоняем негров, они разом поворачивают головы: лица ошарашенные и не могут скрыть отвращения.

— Господи спаси, что они там везут? — не выдерживает один.

Джул круто поворачивается и произносит:

— Сволочь.

В это время мы поравнялись с белым, который остановился чуть раньше. Джулу точно глаза застлало: повернулся он к белому.

— Дарл! — окликает с повозки Кеш.

Я хочу схватить Джула. Белый отстал от нас на шаг, рот у него все еще открыт; вот он закрыл рот, стиснул зубы. Джул наклоняется к нему, желваки у него побелели.

— Что ты сказал? — говорит белый.

Я вмешиваюсь: — Обождите. Это он просто так. — Джул, — говорю я. Когда я дотягиваюсь до него, он уже замахнулся на человека. Я хватаю его за руку; мы боремся. Джул ни разу не взглянул на меня. Он старается вырвать руку. Я оборачиваюсь к прохожему и вижу у него в руке раскрытый нож. — Постойте, — говорю я. — Я его держу. — Джул, — говорю я.

— Думает, если городской, черт бы его взял... — говорит Джул, тяжело дыша и вырываясь. — Сволочь.

Прохожий делает шаг. Он обходит меня, глядя на Джула, и держит нож низко у бока.

— Никто не смеет меня обзывать.

Папа слез, а Дюи Дэлл вцепилась в Джула, оттесняет его. Я отпускаю Джула и поворачиваюсь к прохожему

— Обождите, — говорю я. — Это он просто так. Он болеет. Обгорел ночью на пожаре; не в себе.

— А хоть пожар, — говорит прохожий, — никто не смеет меня обзывать.

— Он думал, вы ему что-то сказали.

— Ничего я ему не сказал. Первый раз его вижу.

— Ей-Богу, — говорит папа.

— Понимаю, — говорю я. — Это он просто так. Он возьмет свои слова назад.

— Так пусть возьмет.

— Уберите нож, и возьмет.

Прохожий смотрит на меня, смотрит на Джула. Джул перестал вырываться.

— Уберите нож, — говорю я. Он закрывает нож.

— Ей-Богу, — говорит папа. — Ей-Богу.

— Джул, скажи ему, что ты просто так, — говорю я.

— Я думал, он что-то сказал, — отвечает Джул. — Если городской так думает...

— Тихо, — говорю я. — Скажи ему, что ты просто так.

— Я просто так сказал, — повторяет Джул.

— Ну то-то, — говорит прохожий. — Обзывать меня...

— Думаете, он побоится обозвать? — спрашиваю я.

Прохожий смотрит на меня.

— Я так не сказал, — отвечает он.

— И не думай так, — говорит Джул.

— Замолчи, — говорю я. — Пошли. Папа, трогай.

Повозка тронулась. Прохожий стоит, провожая нас взглядом. Джул не оглядывается назад.

— Джул бы его отлупил, — говорит Вардаман.

Мы всходим на вершину холма, где уже начинается улица, бегают туда и сюда автомобили; мулы втаскивают повозку на улицу. Папа осаживает их. Улица протянулась прямо к площади, там перед судом стоит памятник. Мы снова влезаем в повозку — все, кроме Джула, и лица прохожих поворачиваются к нам с уже знакомым выражением. Джул не лезет, хотя повозка уже тронулась.

— Залезай, Джул, — говорю я. — Давай. Поехали отсюда.

Но он не лезет. Он ставит ногу на вращающуюся ступицу заднего колеса и, держась одной рукой за стойку, заносит в повозку другую ногу; ступица плавно вращается у него под подошвой, а он садится на корточки и смотрит прямо вперед, неподвижный, сухой, с деревянной спиной, словно вырезанный целиком из сухого дерева.

Кеш

Ничего другого не оставалось. Либо отправить его в Джексон, либо Гиллеспи подаст на нас в суд — он как-то дознался, что Дарл поджег сарай. Не знаю уж как, но дознался. Вардаман видел, как он поджег, но божится, что никому не сказал, кроме Дюи Дэлл, а она велела никому не рассказывать. Однако Гиллеспи дознался. Да и без этого рано или поздно сообразил бы. Еще ночью мог догадаться — по тому, как вел себя Дарл.

И папа сказал: — Видно, больше нечего делать.

А Джул сказал: — Хочешь, сейчас его укоротим?

— Укоротим?

— Поймаем и свяжем, — сказал Джул. — Или будешь дожидаться, когда он повозку с мулами подожгет к чертям?

Но это было ни к чему.

— Это ни к чему, — сказал я. — Похороним ее — и тогда уж. — Человеку сидеть под замком до конца дней — пусть получит напоследок хоть какое удовольствие.

— По-моему, он должен быть там, с нами, — говорит папа. — Видит Бог, мне досталось испытание. Беда идет, другую ведет.

Я иногда задумываюсь, кто имеет право решать, нормальный человек или ненормальный. Иногда мне кажется, что нет между нами совсем нормального и совсем ненормального, и кто он есть — мы договариваемся и решаем. Выходит, не то важно, что человек делает, а то, как большинство людей посмотрит на его дела.

Уж больно крут с ним Джул. Конечно, ведь это джулова коня продали, чтобы довезти ее до города, и, можно сказать, Дарл хотел сжечь стоимость его коня. Но я не раз думал — и до того, как переправились через реку, и после, — что Бог оказал бы нам милость, если бы забрал ее из наших рук и Сам как-либо ей распорядился, и мне казалось, что Джул шел против воли Божьей, когда старался вытащить ее из реки, а когда Дарл рассудил, что кому-нибудь из нас надо что-то сделать, я порой думаю, что он поступил правильно. Но если человек поджигает чужой сарай, подвергает опасности скот, губит имущество, для этого, по-моему, нет оправданий. Вот когда я считаю человека ненормальным. Вот когда он не может смотреть на вещи, как остальные люди. И тогда, по-моему, с ним надо поступать так, как большинство людей считает правильным, — ничего другого не остается.

А все-таки стыдно. Люди, похоже, отошли от старой правильной заповеди, которая говорит: гвозди вгоняй по шляпку и края затесывай чисто, как будто строишь для себя, для своего удобства. А люди, они ведь как — у одних вроде ровные, красивые доски, хоть суд из них строй, а у других — кругляк корявый, на курятник только годится. Но лучше построить крепкий курятник, чем худой суд, а крепко строят или строят худо не ради удовольствия своего или неудовольствия.

Мы поехали по улице к площади, и он сказал:

— Надо сперва Кеша отвезти к доктору. Оставим его там, а потом вернемся.

В том-то и дело. Мы-то с ним родились почти что подряд, а Джул, Дюи Дэлл, Вардаман стали появляться только лет через десять. Конечно, и они мне родные, но не знаю. А я — старший и думаю, как же он мог это сделать? — не знаю.

Папа смотрел на меня, потом на него, жевал ртом.

— Поехали, — я сказал. — Сперва это сделаем.

— Ей бы хотелось, чтобы мы все там были, — говорит папа.

— Сперва Кеша отвезем к доктору, — сказал Дарл. — Она подождет. Она уже девять дней ждала.

— Не понимаете вы, — говорит папа. — С кем ты был молодым, и ты в ней старился, а она старилась в тебе, видел, как подходит старость, и мог услышать от нее, что это не важно, и знал, что это правда трудной жизни, всех наших горестей и тягот. Не понимаете вы.

— Нам еще выкопать надо, — я говорю.

— Тебе и Армстид и Гиллеспи сказали: дай знать вперед, — говорит Дарл. — Кеш, хочешь, сейчас поедем к Пибоди?

— Нет, — я сказал. — Теперь совсем отпустило. Все надо делать по порядку.

— Если бы было выкопано, — говорит папа. — А мы и лопату забыли.

— Да, — сказал Дарл. — Я пойду в скобяной магазин. Придется купить.

— Она денег стоит, — говорит папа.

— Что же, пожалеешь для нее? — говорит Дарл.

— Иди покупай лопату, — сказал Джул. — Ну-ка, дай мне деньги.

Но папа не остановился.

— Лопату, я думаю, достанем, — сказал он. — Есть же здесь христиане.

Так что Дарл остался и мы поехали дальше, а Джул сидел на корточках на задке и смотрел Дарлу в затылок. Он был похож на бульдога — это такая собака, которая не лает, а сидит на веревке и только смотрит, на кого задумала броситься.

Так он сидел все время, что мы стояли перед домом миссис Бандрен, слушал музыку, твердыми белыми глазами смотрел в затылок Дарлу.

Музыка играла в доме. Граммофон ее играл. Прямо как живой музыкальный оркестр.

— Хочешь, поедем к Пибоди? — спросил Дарл. — Они тут подождут и скажут папе, а я отвезу тебя к Пибоди и вернусь за ними.

— Нет, — я сказал.

Надо похоронить, коль мы уже так близко и только ждем, когда папа лопату одолжит. Он ехал по улице, пока мы не услышали музыку.

— Может, здесь найдется, — сказал он. Он остановился у дома миссис Бандрен. Словно знал наперед. Думаю порой, хорошо бы, работящий человек видел работу так далеко вперед, как ленивый видит день. И вот, словно наперед знал, остановился он перед этим новым домиком, где играла музыка. Мы ждали и слушали. Думаю, он мог бы выторговать у Сюратта такую вещь за пять долларов. Утешительная штука, эта музыка. — Может, здесь найдется, — папа говорит.

— Ну что, Джул сходит? — спрашивает Дарл. — Или лучше мне, думаешь?

— Думаю, лучше я, — говорит папа. Он слез, пошел по дорожке вокруг дома к черному ходу. Музыка замолчала, потом снова заиграла

— И у него такой будет, — сказал Дарл.

— Да, — сказал я. Он словно знал, словно видел сквозь стены и на десять минут вперед.

Только минут получилось побольше десяти. Музыка замолчала и не играла довольно долго — пока папа разговаривал с ней у задней двери. Мы ждали в повозке.

— Давай отвезу тебя к Пибоди, — сказал Дарл.

— Нет, — я сказал. — Мы ее похороним.

— Если он когда-нибудь придет оттуда, — сказал Джул и начал ругаться. Потом стал слезать с повозки. — Я пошел.

Тут мы увидели папу. Он вышел из-за дома с двумя лопатами. Положил их в повозку, забрался, и поехали дальше. Музыка так и не заиграла. Папа оглянулся на дом. Он немного поднял руку, и я увидел, что в окне немного отодвинулась занавеска и показалось ее лицо.

Но страннее всех Дюи Дэлл себя повела. Я удивился. Я понимаю, почему люди называли его чудным, но никто на него и не обижался поэтому. Вроде, сам он тут ни при чем, как и ты, и злиться на это — все равно что злиться на лужу, если ступил туда и забрызгался. А еще мне всегда казалось, что он и Дюи Дэлл многое понимают между собой. И если бы я захотел сказать, кого из нас она больше любит, я бы сказал — Дарла. Но когда мы зарыли и заровняли, выехали из ворот и свернули в проулок, где ждали те люди, когда они вышли и подступили к нему, а он отскочил назад, то первой, раньше Джула, на него кинулась она. И тут я, кажется, понял, как узнал Гиллеспи причину пожара. Она не промолвила ни слова, даже не взглянула на него, но когда те люди сказали ему, чего им надо, что хотят забрать его, она кинулась на него, как дикая кошка, и одному из них пришлось бросить Дарла и держать ее, а она дралась и царапалась, как дикая кошка; другой вместе с папой и Джулом повалили Дарла и прижали к земле, а он лежал на лопатках, глядел на меня и говорил:

— Я думал, ты-то мне скажешь. Не думал, что не скажешь.

— Дарл, — сказал я. Но он опять стал биться — и он, и Джул, и второй человек, а первый держал Дюи Дэлл, а Вардаман кричал, и Джул приговаривал:

— Убить его. Убить паскуду.

Нехорошо. Как нехорошо. Худое дело не сходит с рук. Не сходит. Я хотел ему объяснить, а он сказал только:

— Я думал, ты-то мне скажешь. Не потому я... — сказал и начал смеяться. Второй человек оттащил от него Джула, а он сидел на земле и смеялся.

Я хотел ему объяснить. Если б только я мог подойти, сесть хотя бы. Но я попробовал ему объясиить; он перестал смеяться и глядел на меия снизу.

— Ты хочешь, чтобы меня увезли? — спросил он.

— Тебе лучше будет, — я сказал. — Там будет спокойно, никаких волнений, ничего. Тебе будет лучше, Дарл

— Лучше, — сказал он. И опять начал смеяться. — Лучше. — Еле выговорил от смеха. Он сидел на земле и смеялся, смеялся, а мы глядели на него. Нехорошо. Как нехорошо. Будь я неладен, не понимаю, над чем тут смеяться. Нет человеку оправдания, если нарочно губит то, что другой построил в поте лица и что хранило плоды его труда.

Но не знаю, есть ли у кого право говорить, что — сумасшествие, а что — нет. Словно бы в каждом человеке сидит кто-то такой, кто превзошел и безумие и разум, и наблюдает разумные и безумные дела его с одинаковым ужасом и одинаковым изумлением.

Пибоди

Я сказал: — Конечно, когда прижмет, можно отдаться Биллу Варнеру, чтобы он лечил тебя, как бессмысленного мула, но если ты Ансу Бандрену дал загипсовать себя цементом, у тебя, ей-Богу, больше лишних ног, чем у меня...

— Они хотели, чтобы мне полегче было, — сказал он.

— Хотели, дьяволы, — сказал я. — Какого дьявола Армстид-то разрешил уложить тебя опять на повозку?

— Да уж оно ощутительно сделалось. Некогда нам было ждать.

Я только посмотрел на него.

— А нога нисколько не беспокоила, — сказал он.

— Разлегся тут и будешь мне рассказывать, что шесть дней ехал на повозке без рессор, со сломанной ногой и она тебя не беспокоила.

— Сильно не беспокоила.

— Хочешь сказать, Анса она мало беспокоила? Так же мало, как завалить этого бедолагу посреди улицы и заковать в наручники, словно убийцу. Рассказывай. Расскажи еще, что тебя не будет беспокоить, когда тебе вместе с цементом снимут с ноги шестьдесят квадратных дюймов кожи. И не беспокоит, что до конца дней будешь хромать на одной короткой ноге — если еще встанешь на ноги. Цемент, — я сказал. — Черт возьми, ну что бы стоило Ансу отвезти тебя на ближайшую лесопилку и сунуть твою ногу под пилу? Вот бы и вылечил. А потом бы ты сунул его шеей под пилу и вылечил всю семью... Кстати, сам-то он где? Что новенького затеял?

— Лопаты одолжил, теперь понес обратно.

— Вот правильно, — я сказал. — Конечно, ему надо одолжить лопаты, чтобы похоронить жену, — а лучше бы прямо могилу одолжить. Жаль, и его заодно не положили... Больно?

— Можно сказать — нет, — ответил он. А у самого пот по лицу течет, крупный, как горох, и лицо — цвета промокательной бумаги.

— Ну конечно, нет. К следующему лету прекрасно будешь ковылять на этой ноге. И она не будет тебя беспокоить — нисколько, можно сказать... Считай, тебе повезло, что второй раз сломал ту же ногу.

— Вот и папа говорит то же самое.

Макгауэн

Стою я за шкафом с лекарствами, наливаю шоколад, как вдруг приходит Джоди и говорит:

— Слушай, Комар, там у нас женщина хочет к доктору — я спросил, какого доктора ей надо, а она говорит: «Мне нужно к доктору, который здесь работает», — я говорю: «Никакого доктора тут нет», — а она все равно стоит и заглядывает.

— Что за женщина? — спрашиваю. — Скажи, чтобы поднялась в кабинет к Алфреду.

— Деревенская, — говорит.

— В суд ее отправь. Скажи, все доктора уехали в Мемфис на съезд парикмахеров.

— Ладно, — он говорит и собирается уходить. — А для деревенской — довольно симпатичная.

— Постой, — говорю. Он стоит, а я пошел и глянул в щелку. Но разглядел немного — только что нога у ней хорошая против света. — Говоришь, молодая?

— Для деревенской — прямо цветочек.

— Подержи-ка, — я говорю и даю ему шоколад. Снял фартук, вышел туда. Очень симпатичная. И черноглазая — из таких, что может и ножом пырнуть, если обманешь. Очень симпатичная. Больше никого в зале не было; обеденное время.

— Чем могу служить? — я спрашиваю.

— Вы доктор?

— А кто же, — говорю. Она перестала глядеть на меня и озирается. Спрашивает:

— Можно, мы туда зайдем?

Было четверть первого, но я пошел и сказал Джоди, чтобы посматривал и свистнул мне, если старик появится, — он раньше часа никогда не приходит.

— Брось ты это, — Джоди говорит. — Вышибет он тебя под зад коленкой.

— Он до часа не приходит. Увидишь, когда зайдет на почту. Только смотри не проморгай, свистни мне.

— Что ты затеял? — спрашивает.

— Ты давай смотри. Потом расскажу.

— А меня потом не пустишь?

— Тебе тут что? — говорю. — Питомник, черт возьми? Следи за стариком. Я удаляюсь на совещание.

И ушел в заднюю комнату. Остановился у зеркала, пригладил волосы, потом захожу за шкаф с прописями, она там ждет. Смотрит на лекарства, потом смотрит на меня.

— Так, — говорю, — мадам. Какие у нас затруднения?

— Женские, — говорит, — затруднения. — И смотрит на меня. — У меня есть деньги.

— Ага, — говорю. — У вас есть женские затруднения или вы хотите женских затруднений? Если так, вы правильно выбрали доктора. — Ну, деревенские. Сами не знают, чего им надо, а когда знают, сказать не могут. Часы показывали двадцать минут первого.

— Нет, — говорнт.

— Что «нет»?

— Этого у меня нет, — говорит. — Вот в чем дело. — Смотрит на меня. — Деньги у меня есть.

Тогда я понял, про что она толкует.

— Ага, — говорю. — У вас что-то есть в животе, и вы этому не рады. — Смотрит на меня. — Вам хотелось бы этого чуть побольше или чуть поменьше, а?

— Деньгн у меня есть, — говорит. — Он сказал, в аптеке продают от этого.

— Кто так сказал? — спрашиваю.

— Он. — И смотрит на меня.

— Не хотите выдать имя, — говорю. — Который желудь вам в живот посадил? Он и сказал? — Молчит. — Вы ведь не замужем?

Кольца на ней не было. Но они там, может, и не слышали про кольца.

— Деньги у меня есть, — говорит. И показывает мне — в платок увязаны, десять зеленых.

— Что есть, то есть, — говорю. — Он вам дал?

— Да, — отвечает.

— Который? — спрашиваю. Смотрит на меня. — Который из них?

— Один только есть, — говорит. И смотрит на меня.

— Ладно, ладно.

Она молчит. В подвале то плохо, что выход только один — и на внутреннюю лестницу. На часах двадцать пять первого.

— У такой красивой девушки, — говорю.

Смотрит на меня. И деньги начала в платок увязывать. Я говорю:

— Извините, я на минуту. — Захожу за шкаф. — Ты знаешь, — говорю, — как один ухо вывихнул? А теперь рыгнет и сам не слышит.

— Пока старик не пришел, выведи ты ее из задней комнаты, — Джоди говорит.

— Если ты будешь в торговом зале, за что он, кстати, тебе жалованье платит, он кроме меня никого не поймает.

Джоди пошел прочь, нехотя.

— Комар, что ты с ней будешь делать?

— Не могу тебе сказать, — отвечаю. — Это неэтично. Ты иди туда и следи.

— Слушай, Комар.

— Да ладно, ладно, ничего не будет, только лекарство пропишу.

— За женщину, может, и ничего бы не сделал, но если узнает, что лазишь в шкаф, под зад коленкой так получишь, что в подвал улетишь.

— Мне под зад паразиты похуже его давали, — говорю. — Иди, не прозевай.

А сам ушел обратно. На часах без четверти час. Она деньги в платок увязывает. Говорит:

— Вы не доктор.

— А кто же? — спрашиваю. Разглядывает меня. — Что, молодой чересчур или чересчур интересный? — спрашиваю. — У нас тут раньше лечили старые доктора-подагрики. Джефферсон был вроде богадельни для старых докторов. Но дела стали идти все хуже, люди хворали все меньше, и в один прекрасный день до людей дошло, что женщины-то здесь совсем уже не хотят болеть. Тогда всех старых врачей выгнали и позвали нас, молодых, интересных, чтобы нравились женщинам — тогда женщины опять стали болеть и врачебные дела пошли веселее. Теперь это делают по всей стране. Неужели не слыхали? Это потому, наверно, что вам доктор никогда не был нужен.

— Теперь нужен, — говорит.

— И вы его правильно выбрали, — говорю. — Я вам уже сказал.

— У вас что-нибудь есть от этого? — она спрашивает. — Деньги у меня есть.

— Ну, — говорю, — доктор, конечно, много чего узнает, пока учится каломель развешивать; хочешь не хочешь узнаешь. Но я не выяснил, что вас беспокоит.

— Он сказал, можно что-то купить. Сказал, я могу купить в аптеке.

— А название не сказал? — спрашиваю. — Вы сходите к нему, спросите.

Она перестала смотреть на меня и вертит свой платок в руках.

— Мне надо что-то сделать, — говорит.

— Что, очень надо? — спрашиваю. Смотрит на меня. — Доктор ведь много чему научается, людям даже невдомек, сколько он знает, но он не должен говорить все, что знает. Это против закона

Из зала Джоди зовет:

— Комар.

— Извините, я на минуту. — Иду туда. — Его увидел? — спрашиваю.

— Ты не кончил еще? Может, ты сюда выйдешь и сам последишь, а я ее проконсультирую?

— Может, ты яичко снесешь? — говорю я. Возвращаюсь. Она на меня смотрит. — Вы, конечно, понимаете, что меня могут посадить в тюрьму, если сделаю, о чем просите. Потеряю диплом, — говорю, — и придется идти работать. Вы понимаете?

— У меня всего десять долларов. Можно, я остальное в будущем месяце принесу?

— Всего-то? — я говорю. — Десять долларов? Понимаете, моим знаниям и сноровке цены нет. А тут какая-то жалкая десятка.

Смотрит на меня. Даже не моргнула.

— А что вы хотите?

На часах без четырех час. Я решил, что пора ее выпроваживать, говорю:

— Угадайте с трех раз, а нет — сам покажу.

Она даже не моргает

— Мне надо что-то сделать. — Оглядывается назад и вокруг, потом смотрит в сторону зала. — Сперва дайте лекарство, — говорит.

— Ты что же, прямо сейчас готова? Здесь?

— Сперва дайте лекарство.

Ну, беру мерный стакан, становлюсь к ней спиной и выбираю бутылку безобидную — потому что, кто держит яд где попало в бутылке без ярлыка, по нему тюрьма плачет. А пахнет скипидаром. Отлил ей в стакан и даю. Понюхала и смотрит на меня, стакан под носом.

— Скипидаром пахнет.

— А как же, — говорю. — Это начало лечения. В десять вечера придешь, даю тебе остальное, и сделаем операцию.

— Операцию? — она говорит.

— Больно не будет. У тебя уже была такая операция. Клин клином вышибают, слыхала?

Смотрит на меня.

— А поможет?

— Конечно, поможет. Если придешь.

Ну, выпила она что там было, глазом не моргнув, и ушла. А я в зал.

— Ну, сумел? — спрашивает Джоди.

— Что сумел?

— Да ладно тебе, — он говорит. — Я же не собираюсь отбивать.

— А-а, с ней, — говорю, — ей просто лекарство понадобилось. У ней сильная дизентерия, стесняется сказать при посторонних.

Дежурство в этот вечер все равно было мое, так что я помог старому паразиту все проверить, нахлобучил на него шляпу и в половине девятого выпроводил из лавочки. Дошел с ним до угла и потом еще смотрел, пока он не миновал два фонаря и не скрылся из виду. Тогда я вернулся, подождал до половины десятого, выключил весь свет спереди, только сзади оставил лампочку, запер дверь, потом насыпал шесть капсул тальком, немного прибрался в подвале и сижу, жду.

Пришла ровно в десять, часы еще не начали бить. Открываю, входит быстрым шагом. Я выглянул за дверь — там никого, только мальчишка в комбинезоне сидит на обочине тротуара.

— Тебе чего? — спрашиваю. Она молчит, только смотрит на меня. Я запер дверь, выключил свет и пошел в заднюю комнату. Она стоит и ждет. В этот раз на меня не посмотрела.

— Где? — спрашивает.

Я дал ей коробку с капсулами. Держит в руке, смотрит на капсулы.

— А это правда поможет?

— Правда, — говорю. — Когда проделаешь остальное лечение.

— Где его делать?

— В подвале.

Вардаман

Теперь она шире и светлее, но магазины темные, потому что все ушли домой. Магазины темные, но огни проходят по стеклам, когда мы проходим. Вокруг суда огни в деревьях. Они уселись на деревьях, а суд темный. Часы на нем смотрят на все четыре стороны, потому что они не темные. Луна тоже не темная. Не очень темная. *Дарл он уехал в Джексон мой брат Дарл мой брат.* А он был в той стороне, блестел на рельсах.

— Дюи Дэлл, пошли в ту сторону, — говорю я.

— Зачем? — говорит Дюи Дэлл. Рельсы блестели за стеклом, он красный на рельсах. Но она сказала, его не продадут городским ребятам. — Нет, он на Рождество там будет, — говорит Дюи Дэлл. — Придется тебе подождать, когда его снова выставят.

Дарл уехал в Джексон. Много людей не уехало в Джексон. Дарл мой брат. Мой брат едет в Джексон.

Мы идем, а огни поворачиваются вокруг, уселись на деревьях. Со всех сторон одинаково. Они идут вокруг суда, а потом их не видать. Зато видать в черных окнах. Все ушли домой спать, кроме меня и Дюи Дэлл.

На поезде едет в Джексон. Мой брат.

В этом магазине свет горит, в глубине. За стеклом два больших стакана с газировкой, красной и зеленой. Двум людям их не выпить. Двум мулам не выпить. Двум коровам не выпить. *Дарл.*

К двери подходит человек. Он смотрит на Дюи Дэлл.

— Здесь подожди, — говорит Дюи Дэлл.

— Почему нельзя зайти? Я тоже хочу зайти.

— Здесь подожди.

— Ладно.

Дюи Дэлл входит.

Дарл мой брат. Дарл сошел с ума.

На тротуаре жестче сидеть, чем на земле. Он в открытой двери. Смотрит на меня. Спрашивает: «Тебе чего?» Голова прилизаиная. У Джула иногда прилизанная. У Кеша голова не прилизанная. *Дарл поехал в Джексон мой брат Дарл* На улице он съел банан. *Может, лучше бананов хочешь? сказала Дюи Дэлл. Подожди до Рождества. Тогда его выставят. Тогда его увидишь. Теперь мы купим бананов. Купим полный пакет, я и Дюи Дэлл.* Он запирает дверь. Дюи Дэлл там. Свет погас.

Он уехал в Джексон. С ума сошел, а в Джексон уехал. Много людей не сошли с ума. Папа, Кеш, Джул, Дюи Дэлл и я, мы не сошли с ума. Мы с ума никогда не сходили. И в Джексон не поехали. Дарл

Давно слышу корову, стучит копытами по улице. Потом выходит на площадь. Идет через площадь, голову опустила стучит копытами. Мычит. До того, как замычала, на площади ничего не было, но площадь была не пустая. Теперь замычала, и площадь стала пустая. А она идет дальше, понурилась, стучит копытами. Она мычит. *Мой брат — Дарл. Он поехал в Джексон на поезде. Поехал на поезде не для того, чтобы сойти с ума. Он сошел с ума у нас в повозке. Дарл* Она там долго пробыла. И корова ушла уже. Долго. Она была там дольше, чем корова. Но не дольше, чем площадь пустая. *Дарл мой брат. Мой брат Дарл.* Дюи Дэлл выходит. Смотрит на меня.

— Пойдем теперь в ту сторону, — говорю я. Она смотрит на меня.

— Не поможет, — говорит она. — Вот подлец.

— Дюи Дэлл, что не поможет?

— Знаю, что не поможет, — говорит она. Она ни на что не смотрит. — Знаю.

— Пошли в ту сторону, — говорю я.

— Нам надо обратно в гостиницу. Поздно. Надо потихоньку пробраться.

— Все равно давай пойдем туда, посмотрим.

— Ты же лучше хотел бананов. Хотел бананов?

— Ладно. *Мой брат сошел с ума и он уехал в Джексон. Джексон дальше ума.*

— Не поможет, — говорит Дюи Дэлл. — Знаю, что не поможет.

— Что не поможет? *Чтобы ехать в Джексон, он сел в поезд. Я не ездил в поезде, а Дарл ездил в поезде. Дарл, Дарл мой брат. Дарл. Дарл.*

Дарл

Дарл поехал в Джексон. Его посадили в поезд, со смехом, по длинному вагону со смехом, головы поворачивали по-совиному, когда он проходил. «Над чем смеешься, Дарл?» — спросил я.

«Да да да да»

Двое привели его на поезд. В разномастных пиджаках, оттопырившихся над правыми задними карманами. Шеи у обоих только что выбриты скобкой, словно два парикмахера одновременно брили по шнуру, такому, как у Кеша. «Ты над пистолетами смеешься?» — спросил я. «Почему смеешься?» — спросил я. «Потому что слышать не можешь смеха?»

Они опустили два сиденья, чтобы Дарл мог сидеть у окна и смеяться. Один сел с ним рядом, другой сел напротив, ехал задом. Одному пришлось ехать задом, потому что у казенных денег на каждом лице есть задняя сторона, на каждый зад есть лицо, а едут они на казенные деньги, а там — кровосмешение. У пяти центов с одной стороны женщина, а с другой — бизон; два лица, а зада нет. Я не знаю, что это такое. У Дарла был биноклик из Фраиции, с войны. А в нем женщина и свинья, два зада без лица. Я знаю, что это такое. «Ты поэтому смеешься, Дарл?»

«Да да да да да да»

Повозка стонт на площади, мулы не шевелятся, вожжи захлестнуты за пружину сиденья, повозка задком к суду. Ничем не выделяется из сотни других повозок; возле нее стоит Джул и смотрит на улицу, как любой другой человек в этот день,

и все же чем-то они выделяются, отличаются. Атмосферой предрешенного и скорого отъезда, какая окружает поезда, — может быть, впечатление создается тем, что Дюи Дэлл и Вардаман на сиденье и Кеш на тюфяке в повозке едят бананы из пакета. «Ты поэтому смеешься, Дарл?»

Дарл — наш брат, наш брат Дарл. Наш брат Дарл в клетке в Джексоне, его чумазые руки легко лежат в тихих просветах между прутьями, он глядит оттуда с пеной на губах.

«Да да да да да да да да»

Дюи Дэлл

Когда он увидел деньги, я сказала:

— Это не мон деньги, я им не хозяйка.

— Чьи же?

— Это деньги Коры Талл. Миссис Талл. Я продала ее пироги.

— Десять долларов за два пирога?

— Не трогать. Они не мои.

— Не было у тебя никаких пирогов. Врешь. В свертке у тебя было воскресное платье.

— Не тронь! Возьмешь, вором будешь.

— Родная дочь называет меня вором. Родная дочь.

— Папа. Папа.

— Я кормил тебя и дал тебе кров. Любил и заботился, а теперь моя родная дочь, дочь моей покойной жены, над материной могилой называет меня вором.

— Говорю тебе, не мои. Мои, ей-Богу, отдала бы.

— Где ты взяла десять долларов?

— Папа. Папа.

— Не хочешь говорить. Или через такой позор добыла, что боишься говорить?

— Говорю тебе, не мои. Ты понимаешь или нет, что не мои?

— Да разве ж я не отдал бы обратно? А она родного отца называет вором.

— Говорю тебе, не могу. Говорю, не мои деньги. Ей-Богу, отдала бы.

— И брать не стал бы. Моя родная дочь, которую я семнадцать лет кормил, пожалела мне в долг десять долларов.

— Они не мои Не могу.

— Так чьи же?

— Мне их дали. Купить одну вещь.

— Что купить?

— Папа. Папа.

— В долг ведь. Видит Бог, тошно мне, что родные дети меня попрекают. А я им свое отдавал, не скупясь. С радостью отдавал, не скупясь. И теперь они мне отказывают. Адди. Твое счастье, Адди, что ты умерла.

— Папа. Папа.

— Правду говорю, ей-Богу.

Он взял деньги и ушел.

Кеш

Когда мы остановились, чтобы одолжить лопаты, в доме играл граммофон, а когда лопаты стали не нужны, папа сказал:

— Надо бы их вернуть, я думаю.

И мы опять поехали к тому дому.

— Надо Кеша к Пибоди отвезти, — сказал Джул.

— Да тут делов-то на минуту, — сказал папа. Он вылез из повозки. В этот раз музыка не играла.

— Пускай Вардаман отнесет, — сказал Джул. — Он вдвое быстрей обернется. Или давай я...

— Нет, лучше я сам, — говорит папа. — Я ведь одалживал.

И вот мы ждали в повозке, но в этот раз музыка не играла. Я думаю, хорошо, что у нас нет такой штуки. Думаю, я бы совсем не работал, только слушал. Не знаю, может, музыку послушать — самое лучшее, что бывает у человека. Придет, к при-

меру, вечером усталый, а тут ему музыка играет — и отдыхает человек, лучше-то как еще отдохнуть? Я видел такие, которые закрываются, как чемоданчик, с ручкой — носи его с собой, куда хочешь.

— Что он делает, по-твоему? — спрашивает Джул. — Я бы за это время десять раз отнес лопаты.

— Пускай его. Не забывай, он ведь не такой, как ты, проворный.

— Чего же ты мне не дал отнести? Нам еще ногу твою лечить, а то завтра домой не уедем.

— Да успеется. Интересно, сколько такая машина стоит в рассрочку?

— Рассрочивать-то что? — сказал Джул. — Из каких денег ее купишь?

— Мало ли как бывает, — я сказал. — Думаю, у Сюратта я бы мог купить такой за пять долларов.

Вернулся папа, и поехали к Пибоди. Пока мы у него были, папа сказал, что сходит в парикмахерскую, побреется. Ну, а вечером сказал, что у него есть дело, — говорит, а сам в сторону смотрит, волосы влажные, прилизаны, и пахнет от него одеколоном, — но я сказал, пускай его, я бы и сам не прочь послушать еще этой музыки.

Утром он опять ушел, потом вернулся, велел запрягать и собираться, а он нас встретит — и, когда они ушли, говорит:

— У тебя, верно, нет больше денег.

— Пибоди дал мне только за гостиницу расплатиться, — я сказал. — Нам ведь больше ничего и не надо?

— Да, — сказал папа, — да. Нам ничего не надо. — А сам стоит и не смотрит на меня.

— Если что-то надо, я думаю, Пибоди нам... — сказал я.

— Нет, — сказал он. — Больше ничего. Вы подождите меня на углу.

Ну, вывел Джул упряжку, пришел за мной, уложили меня в повозке на тюфяк и поехали через площадь к углу, где папа велел ждать, — ждем в повозке, Дюи Дэлл с Вардаманом бананы едят, потом видим, они идут по улице. У папы вид виноватый, но как бы задиристый, словно что-то натворил и знает, что маме это не понравится, — а в руке чемоданчик, и Джул спрашивает:

— Кто это?

Тут мы видим, что изменил его не чемоданчик вовсе — лицо изменилось, и Джул говорит:

— Зубы вставил.

И точно. Кажется, на фут вырос, голову держит высоко, сам виноватый, но гордый, — а потом увидели за ним ее, тоже с чемоданчиком — женщина с утиной фигурой, вся наряженная, глаза выпуклые и смотрят твердо: мол, попробуй что скажи. Мы сидим и глядим на них, — Дюи Дэлл и Вардаман с раскрытыми ртами и недоеденными бананами в руках, — а она выходит из-за папы и смотрит на нас с этаким вызовом. И тут я вижу, что чемоданчик у ней в руке — как раз такой маленький граммофон. И точно, оказался граммофон, запертый и аккуратненький, как на картинке, и каждый раз, когда придет по почте новая пластинка, а мы сидим зимой дома и слушаем ее, я думаю: как нехорошо, что Дарл не может с нами порадоваться. Но для него же так лучше. Этот мир — не его мир; эта жизнь — не его жизнь.

— Тут, значит, Кеш, Джул, Вардаман и Дюи Дэлл, — говорит папа, виноватый, но гордый, с новыми зубами и прочим, хотя на нас не смотрит. — Познакомьтесь с миссис Бандрен.

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ

Стихи из двух книг

▲

Вступление и перевод с польского
ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Первая книга Збигнева Херберта вышла в Варшаве в 1956 году. К 1973 году, когда журнал «Иностранная литература» представил читателям десять стихотворений Херберта, он был автором четырех книг стихов, книги эссе и книги пьес. Как поэт он уже тогда был широко известен в Европе и в Америке. В последующие годы эта известность росла.

У нас же, как раз вскоре после 1973 года, Херберт оказался в немилости и его перестали публиковать. Сам Херберт жил в те годы главным образом на Западе, лишь изредка наведываясь в свою варшавскую квартиру. (На Западе живет он и сейчас, но для справочника «International Who's Who 1988—1989» по-прежнему указывает свой варшавский адрес.)

В этой новой публикации мы представляем стихи последних двух книг Херберта, 1974 и 1983 годов, одна из них вышла в Варшаве, другая — в Париже.

Херберт в своей лирике всегда старался избегать лирических излияний, был сдержан и скуп на автобиографические подробности. А в последних двух его книгах вместо автора вообще появляется герой, от автора отделенный и отдаленный. Но литература обязательно питается жизнью автора. Без знания биографии поэта понимание его стихов иной раз просто невозможно. Основные вехи биографии Херберта постараюсь вкратце обозначить.

Збигнев Херберт родился в 1924 году во Львове, в семье юриста. Учился здесь в классической гимназии, которая стала началом и основой его огромной эрудиции.

Началась вторая мировая война. Аттестат зрелости Херберт получил в 1943 году на тайных курсах, поступил в тайный университет. Участвовал в польском Сопротивлении — в Армии Крайовой. В 1944 году перебрался из Львова в Краков. В Кракове короткое время учился в Академии изящных искусств, но вскоре перешел в Торговую академию, которую и окончил в 1947-м с дипломом экономиста. В 1949-м получил диплом юриста. Поселившись в 1950 году в Варшаве, учился на философском факультете университета. Одновременно работал, за десять лет (1947—1956) переменил множество профессий, учреждений и должностей, чаще всего был экономистом.

Писать стихи Херберт начал в годы войны. В 1948 году, в самом конце короткого послевоенного либерального «промежутка», он успел опубликовать три стихотворения, но от дальнейших попыток печататься отказался до 1955-го.

1956 год, «польский октябрь», резко изменил его жизнь. В области культуры перемены, которые принес «польский октябрь», были гораздо более радикальными, чем те, что принесла наша тогдашняя «оттепель». (К слову сказать, вторая книга стихов Херберта — «Гермес, пес и звезда», 1957, — спокойно прошедшая через польскую цензуру, у нас, в московских библиотеках, тридцать лет пролежала в спецхранах.) Какое-то время польской интеллигенции казалось, что и во всей общественной жизни произошло полное обновление, но постепенно стало ясно, что это не совсем так.

Как бы то ни было, с 1956 года Херберт мог позволить себе перестать служить и полностью посвятить себя литературе. Первые книги стихов получили восторженную оценку польской критики и всей литературной среды. С тех пор в оценке Херберта в Польше всегда были единодушны почти все, за исключением двух-трех «зоилов», без которых было бы скучно.

Польским читателям поэзии Херберта было близко все, о чем он пишет. Воспоминания о войне, об оккупации, о Сопротивлении. Воспоминания о только что минувшем (так казалось) «периоде ошибок и искажений».

Не требовали комментариев и его античные стихи.

Античность в поэзии Херберта оборачивалась самой что ни на есть современностью. Не потому, что он одевал современных людей в тоги и хитоны, этим он не за-

нимался никогда. Но античная история была для него метафорой (или метонимией) всеобщей истории, он видел в ней то самое общее, что актуально и сейчас. «Нет сомнения, — говорил когда-то наш Грановский, — что последние 60 лет европейской истории более поясняют древнюю историю, нежели все исследования филологов, устранившихся от современной жизни».

Если Херберт пишет о Троянской войне, он воспевает не гнев Ахиллеса по поводу того, что его обделили при дележе награбленной добычи, а глухое, затаенное, растущее недовольство рядовых греческих воинов, уставших за многие годы бессмысленной и несправедливой войны на чужой территории:

...падают старые мулы и тьма покрывает их очи
и паруса кораблей истлевают в безветренной бухте
жен своих нам не видать и горька нам любовь чужеземок
даже наплакаться досыта мы в их объятьях не можем...

Солдаты обращаются к Аполлону:

...каменной Трои не просим сияющей славы не просим
пленниц и прочей добычи не просим Владыка не просим
но если можешь разгладь искаженные яростью лица
в руки вложи доброту как вложил в эти руки железо
и облака облака ниспошли Аполлон облака

Может быть, вот эта доброта, не всегда свойственная Аполлону, но свойственная самому Херберту, эта доброта и любовь к людям (несмотря на всю жестокость древности и современности) и снискали польскому поэту любовь читателей в Польше и во всем мире.

А также деликатность и ненавязчивость его мастерства, которое он старается сделать почти незаметным. Простота и доступность поэзии этого выдающегося эрудита, старающегося сделать незаметной и эту эрудицию. Удивительная доверительность интонации. Ну и, конечно, хербертовская ирония.

Книгу «Господин Когито» (1974) и многие стихотворения, написанные позже и вошедшие в следующую книгу (1983), объединяет образ Господина Когито. Иногда о Господине Когито говорится в третьем лице, иногда он высказывается от себя.

«Cogito, ergo sum» — «я мыслю, следовательно, я существую» — истина, провозглашенная Декартом в качестве первого принципа философии, действительно стала одним из краеугольных камней философии нового времени, одним из ориентиров самосознания мыслящего европейца последекартовской эпохи.

Знаменитую фразу Декарта Херберт облюбовал как фразу, вошедшую не только в профессиональный язык философов, но и в обыденное, общежитейское сознание, как фразу, которую слышали все.

Господин Когито — человек «такой как все», рядовой интеллигент, рядовой думающий человек второй половины XX века. Чаще всего на протяжении книги он именно думает, размышляет. Вот названия стихотворений: «Господин Когито думает о возвращении в родной город», «Господин Когито размышляет о страдании», «Господин Когито и чистая мысль», «Господин Когито и движение мыслей»... Хотя Херберт все время чуть-чуть подтрунивает над своим героем, над его попытками мыслить.

В одном из интервью Херберт вспоминает понравившийся ему анекдот о том, как Эйнштейна спросили, что он делает со своими мыслями, когда они приходят в голову: записывает их в особую тетрадку или на отдельные карточки. Мысли, ответил Эйнштейн, так редко приходят в голову, что, если уж приходят, запомнить их нетрудно. Вот этот анекдот и дает ключ к тому, как читать книгу «Господин Когито».

Господин Когито — не Херберт. Сколько бы Херберт ни дарил герою черточек своей биографии, своих интересов, своих мыслей. Даже когда Херберт делает Господина Когито поэтом, как в стихотворении «Будни души», они все равно остаются не тождественны. Херберт привыкает к своему герою, начинает перепоручать ему некоторые свои обязанности. Уполномочивает его, например, рассказать о беседе Спинозы с Богом. Наделяет своей любовью к древней истории вообще и к римским стоикам в частности. Но между Автором и Господином Когито всегда остается дистанция, бóльшая или меньшая, совсем малая, но остается.

Декарт считал мышление синонимом сомнения. И наш современник Когито полон сомнений, мучительных сомнений.

Кто я такой? Тот ли я, кем был вчера и десять лет назад? Каков я? Почему я именно таков? Эти вопросы мучают Господина Когито с первой же страницы книги, где в поисках своего «я» он рассматривает свое лицо в зеркале. Проблема тождества личности для человека, пережившего эпоху войн и социальных потрясений, — это именно проблема. И трудная, порой неразрешимая.

На второй странице появляется мотив раздвоенности. В Господине Когито есть и Дон Кихот, и Санчо Панса, и деваться ему некуда, с этим ему жить, так ему и идти по белому свету, «ковыляя неловко».

Господин Когито, уже «по определению», человек мыслящий. Как все мы втайне думаем о себе. Но Херберт, с присущими ему точностью и осторожностью выражения, уточняет: человек, старающийся мыслить. Мыслить, по Херберту, не только способность человека (как-никак его родовое название — Гомо Сапиенс), но и обя-

занность. Однако мыслить — не так-то просто. Подлинное мышление — свое, свободное, независимое. А все мы, как Господин Когито, зависим.

Зависим от мышления наших предков: в нас живы «голод и страх палеолита» и агрессивность варваров раннего средневековья. Зависим от любых новейших веяний и умонастроений, заставляющих каждого «уважающего себя человека» интересоваться то магией, то гностиками, то дзэн-буддизмом, то еще чем-нибудь. Господин Когито — человек «на уровне». Он читает Гераклита и пророка Исаию. Но читает и ежедневную газету, причем задерживается именно на тех ее столбцах, которые ужасали Цветаеву (в стихотворении «Читатели газет») — на уголовной хронике.

Господин Когито бывает смешным. В «когитовском» цикле наряду с иронией много улыбки, юмора, моментами почти буффонады. Нечто, я бы сказал, чаплинское рождается из сочетания иронии, даже насмешки над героем (хербертовской насмешки, но не дай бог нам над ним смеяться: над кем смеетесь — над собой смеетесь!) и сочувствия, симпатии, человеческой солидарности с ним.

Господин Когито, «маленький интеллигент» второй половины XX века, — потомок «маленького человека». Он живет под страшным постоянным давлением действительности. Он и сам знает, что он мал, что почти беспомощен перед огромными силами зла, деспотизма, насилия. Но он не мирится со своей малостью, он преодолевает свою малость, свою беспомощность, преодолевает то расстояние, — один шаг, но какой! — которое отделяет смешное от великого. Он оказывается мужествен и героичен, как герои древности, хотя ситуация нашего современника Когито хуже: в отличие от Катона Младшего у него нет меча, чтобы заколоться, нет также «возможности отправить семью за море». Бывает, что у него остается единственный выбор: выбор последнего жеста, выбор позиции, в которой он хочет умереть. И умереть он предпочитал бы стоя.

В стихотворении «Дракон Господина Когито» речь идет не о мужестве гибели, а о мужестве борьбы. Господин Когито выходит на битву с драконом, выходит один на один:

...он оскорбляет дракона
он его провоцирует

как наездник дерзко гарцующий
впереди отсутствующей армии...

Читая сейчас это стихотворение, мы вспоминаем удушливый политический климат Восточной Европы 1970-х годов.

Книга «Господин Когито» вышла в те годы, которые стали уже историей. В годы, которые у нас теперь задним числом именуют «годами застоя», а в Польше, с легкой руки Ружевича, тогда еще иронически назвали годами «малой стабилизации». В этой своей книге пятидесятилетний к тому времени Херберт чуть отошел (как Монтень с годами) от исключительного предпочтения философии стоиков к признанию правоты как стоиков, так и скептиков. Но стоики, их идеалы, идеалы юности Херберта, остались для него той верой, которой он верен. «Будь верен. Иди». Этими словами заканчивалась книга о Когито. Сейчас, в ретроспективе, видно, сколь большую роль сыграла и эта книга, и вся поэзия Херберта в воспитании мужества, честности, бескомпромиссности польской молодежи 70-х, молодежи, которая предвосхищала, торопила, готовила события и перемены 80-х.

Херберт, польский поэт, лауреат премий Ленау, Гердера, Петрарки, давно уже воспринимается везде как поэт общеевропейский, а за океаном был даже создан новый журнал «Mr Cogito» в знак уважения к поэту-гуманисту, хранителю нравственных ценностей и идеалов человечества.

Из книги «Господин Когито» (1974)

О двух ногах Господина Когито

Левая нога нормальная
можно сказать оптимистичная
малость коротковатая
мальчишеская
улыбающаяся мышцами
хорошо сформированной голени

правая
Боже ты мой
худая
с двумя шрамами
один вдоль сухожилья Ахиллеса

© Zbigniew Herbert, 1974, 1983

другой овальный
бледно-розовый
на память о позорном бегстве

левая
склонная подпрыгивать
танцующая
чрезмерно любящая жизнь
чтоб рисковать

правая
аристократически твердая
презирающая опасность

так
на обеих ногах
левой которую можно сравнить с Санчо Пансой
и правой
похожей на безумного рыцаря
идет Господин Когито
по белому свету
ковыляя неловко

Бездна Господина Когито

Дома всегда безопасно

но сразу же за порогом
когда Господин Когито
выйдет поутру на прогулку
он натыкается на бездну

это не бездна Паскаля
это не бездна Достоевского
это бездна
под стать Господину Когито

ее особенность
не то что она бездонна
не то что рождает ужас

идет за ним будто тень
помедлит с ним у пекарни
в парке через его плечо
читает с ним газету

тягостная как экзема
неотступная как собака
неглубокая не поглотит
голову руки и ноги

может быть позже
вырастет бездна
созреет бездна
будет серьезной

знать бы только

какую пьет она воду
каким зерном кормить ее

сейчас
Господин Когито
мог бы набрать
пару горстей песку
засыпать ее
однако не делает этого

и ежедневно
подходя к дому
оставляет бездну
за порогом
прикрывая старательно
куском старой материи

Господин Когито и движение мыслей

Мысли в голове бродят
говорит поговорка

поговорка преувеличивает
движение мыслей

большинство из них
стоит неподвижно
среди тоскливого ландшафта
серых холмов
сухих деревьев

порой подойдут
к потоку чужих мыслей
стоят на берегу
на одной ноге
будто голодные цапли

с грустью вспоминают
источники что повысыхали

крутятся на одном месте
в поисках зерен

они не бродят
ибо не добредут
они не бродят
некуда им брести
они сидят на камне
заламывают руки

под пасмурным
низким
небом
черепа

Господин Когито
о тех кто умирает стоя

1

Граждане Утики
не хотят защищать свой город

в городе вспыхнула эпидемия
инстинкта самосохранения

храм свободы
сделали барахолкой

сенат обсуждает
как не быть сенатом

граждане
не хотят защищаться
посещают ускоренные курсы
падения на колени

пассивно ждут врага
пишут верноподданные речи
закапывают золото в землю

шьют новые знамена
невинно белого цвета
учат детей лгать

открыли ворота
в которые входит
колонна песка

кроме того как обычно
торговля и совокупленье

2

Господин Когито
хотел бы
быть на высоте ситуации

то есть
смотреть судьбе
прямо в глаза

как Катон Младший
смотри Плутарха

но нет у Господина Когито
меча
нет возможности
отправить семью за море

поэтому он ждет как другие
ходит по бессонной комнате

вопреки советам стоиков
он хотел бы иметь тело из диаманта
и крылья

он смотрит в окно
как солнце Республики
клонится к закату

осталось ему немного
в сущности только
выбор позы
в которой хочет умереть
выбор жеста
выбор последнего слова

поэтому он не ложится
в постель
чтобы не быть
удушенным во сне

он хотел бы до конца оставаться
на высоте ситуации

судьба глядит ему в глаза
туда где была
его голова

Из книги «Рапорт из осажденного города» (1983)

Господин Когито ~ возвращение

1
Господин Когито
решил вернуться
на каменное лоно
отчизны

решенье драматично
жалеть он будет горько

но больше он не может
слушать все эти фразы
— comment allez-vous
— wie geht's
— how are you

вопросы вроде бы простые
требуют сложного ответа

Господин Когито срывает
бинты сочувственного безразличья

в прогресс он больше не верит
болит у него рана

от выставок изобилия
ему тоскливо и тошно

он привязался только
к дорической колонне
к церкви Сан-Клементе
портрету одной дамы
книжке которую не успел прочитать
и нескольким еще мелочам

а потому возвращается

он уже видит
границу
перепаханное поле
смертоносные пулеметные вышки
густые заросли проволоки

бесшумные
бронированные двери
замыкаются за его спиною

и вот
уже
он
в сокровищнице
всех несчастий

2

зачем он возвращается
спрашивают знакомые
из лучшего мира

мог бы здесь остаться
устроиться как-то

поручить свою рану
химии выводящей пятна

оставить ее в зале ожиданья
международных аэропортов

зачем же он возвращается

— к водам детства
— к корням леса
— к памяти давней
— к рукам и лицам
сгоревшим в печи времени

вопросы вроде бы простые
требуют сложного ответа

может быть Господин Когито
возвращается чтобы дать ответ

на шепот страха
на невозможное счастье
на удар внезапный
на вопрос смертельный

Дамаст по прозвищу Прокруст говорит

Моя движущаяся империя между Афинами и Мегарой
я был владыкой чащи оврага ущелья сам
без совета старцев без глупых регалий с простой дубиной в руке
облеченный лишь в волчью тень и ужас будящее имя Дамаст

не было у меня подданных то есть бывали коротко
не доживали до рассвета но неверно звать меня разбойником
как делают фальсификаторы истории

в действительности же я был ученым реформатором общества
подлинной моей страстью была антропометрия

я сконструировал ложе по размерам совершенного человека
и сравнивал пойманных путников с этим ложем
не обходилось — признаю — без растягивания членов
обрубания конечностей

пациенты умирали но чем больше их гибло
тем больше я был уверен что исследования мои необходимы
цель была высокая а прогресс требует жертв

я хотел уничтожить разницу между высоким и низким
человечеству отвратительно разнородному
я хотел дать единую форму
я был неустанным в усилиях уравнять людей

лишил меня жизни Тезей убийца невинного Минотавра
тот что в глубь лабиринта спускался с бабским клубком шерсти
ловкач и обманщик без принципов без прозрений будущего

я не напрасно надеюсь что труд мой продолжат другие
и дело так смело начатое доведут до конца

Дракон Господина Когито

1

Счастливый святой Георгий
с высоты седла
он мог оценить точно
силу и движенья дракона

первый принцип стратегии
правильная оценка противника

Господин Когито
в худшем положении

он сидит в низком
седле долины
затянутой густым туманом

в тумане не разглядишь
горящие глаза
хищные когти
пасть

в тумане
видно только
как мерцает ничто

дракон Господина Когито
не имеет размеров
трудно его описать
он ускользает от определений

он как область низкого давленья
висящая над целой страной

его не пронзишь
пером
копьем
аргументом

если б не душная тяжесть
и смерть что он посылает
можно бы думать
что это морок
болезнь воображенья

но он существует
несомненно

как чад заполняет плотно
дома храмы базары

отравляет колодцы
разрушает здания мысли
покрывает плесенью хлеб

существованье дракона
доказывают его жертвы

это доказательство не прямое
но достаточное

2

рассудительные говорят
что с драконом
можно ужиться

нужно лишь избегать
резких движений
резких слов

в случае опасности
принимать форму
камня или листа

слушаться мудрой Природы
рекомендующей мимикрию

дышать поверхностно
делать вид что нас нету

Господину Когито однако
не нравится жизнь понарошку

он хотел бы сразиться
с драконом
на твердой земле

и вот он выходит на рассвете
в сонное предместье
предусмотрительно запасшись
длинным острым предметом

он вызывает дракона
в гулких пустых улицах

он оскорбляет дракона
он его провоцирует

как наездник дерзко гарцующий
впереди отсутствующей армии

он кричит:
выходи подлый трус

в тумане
маячит только
чудовищное ничто

Господин Когито ищет
неравной битвы

надо чтоб это случилось
как можно скорее

прежде чем наземь
повалит бессилие
прежде чем насмерть
задушит безликое

Рышарду Крыницкому ~ послание*

Немного останется Рышард очень немного
из поэзии этого безумного века наверное Рильке Элиот
несколько других достойных шаманов
знавших тайну заклинания слов
тайну формы устойчивой против действия времени а без этого
нет фразы заслуживающей запоминания речь как песок

школьные наши тетрадки с их честной болью
со следами пота слез и крови
для вечной корректорши будут как песня без нот
текст благородно правдивый слишком уж очевидный

---

* Рышард Крыницкий (род. в 1943 г.) — польский поэт.

слишком легко мы поверили что красота не спасает
ведет легкомысленных от сна до сна на смерть
никто из нас не сумел в тополе пробудить дриаду
читать письменность туч
а потому не пройдет по следам нашим единорог
не воскресим корабль в заливе павлина розу
осталась нам нагота и стоим нагие
по правой лучшей стороне
триптиха Страшный Суд

на худые плечи мы взвалили дела гражданские
борьбу с тиранией с ложью запись страданий
но наши противники — ты согласен — были ничтожны
так стоит ли принижать священную речь
до бормотанья с трибуны до черной пены газет

слишком мало гостила радость — дочь богов в стихах наших
Рышард
слишком мало сияющих сумерек зеркал венцов воспарений
ничего только темные псалмодии стенанья психеи
урны с пеплом в сожженном саду

каких же нужно сил чтоб вопреки судьбе
суду истории неправости людской
в ночи предательства шептать — тихая ночь

каких же нужно сил духовных чтоб во тьме
бия отчаяньем в отчаянье вслепую
искорку света высечь символ примиренья

чтоб вечно длился танец на густой траве
праздник рождения и каждое начало
дары земли воды воздуха и огня

я этого не знаю — Дорогой — не знаю
шлю тебе ночью эти совиные загадки
мое рукопожатье
поклон моей тени

ЧЕСЛАВ ДЗЕКАНОВСКИЙ

Frutti di mare*

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с польского В. БУРЯКОВА

Минуло десять лет с тех пор, как по всему миру полыхнуло заключенное в кавычки слово «Солидарность». Польские рабочие, исчерпав терпение, изверившись в прелестях деспотического режима, загнавшего экономику страны в тупик, решительно взяли свою судьбу в собственные руки.

Вулканическая активность рабочего объединения, поддержанного лучшей частью польской интеллигенции, смела многих партбоссов — вчерашних «всесильных монархов» и «удельных князей», правивших бездарно, но не бескорыстно. Власть села за стол переговоров с теми, чьим именем она лицемерно клялась и чьими интересами она до сих пор безнаказанно пренебрегала.

Польша поняла: ЭТО все же возможно. И эхом от сердца к сердцу покатилось по всей Восточной Европе, где в разных обличьях царила одна и та же мертвящая догма, великая весть: ЭТО возможно, возможно, возможно... За каждым шагом «Солидарности» с надеждой и яростью следили миллионы глаз — чья возьмет? Неужели выстоят?

Как жаль, что тогда в Кремле командовал тот, кто уже однажды послал танки в Прагу. Будь иначе, может, и не кончилось бы все военным положением. Впрочем, это был не конец. Польша уже изменилась необратимо. Внутренняя свобода, обретенная поляками благодаря «Солидарности», не умерла, она лишь затаилась на время. Сейчас ее время настало.

После того как лидеры «Солидарности» сменили конспиративные квартиры и тюремные камеры на министерские и парламентские кабинеты, Польша мучительно трудно, но верно встает на ноги.

Опыт «Солидарности» уникален и поистине бесценен: она дала первую и пока единственную мирную победу рабочего движения, которому принципиально чужды идеи тоталитарной «диктатуры пролетариата». Профсоюз, победивший на выборах коммунистов и повернувший страну от «преимуществ социализма» к рыночной экономике и многопартийной парламентской демократии, — такое не могли бы и представить творцы классической революционной теории. Жизнь в очередной раз, смеясь, попрала догму.

Впрочем, только ли в Польше? А разве шахтерские забастовки, потрясшие Советский Союз летом и осенью 1989 года, не возвестили о том, что «власть трудящихся» и «политический авангард общества» фатально разминулись с подлинными интересами людей труда? Помню свой спазм ужаса и сострадания, когда я спускался в километровой глубины преисподнюю шахты имени Изотова в Горловке, когда заходил в сырые бараки, где влачат горемычный свой быт «хозяева страны», якобы пребывающие у власти уже более семи десятков лет.

И потом, когда я увидел за длинным столом членов правительства, спешно прибывших из Москвы не по собственной воле, и крутых нравом лидеров стачечных комитетов, выкладывавших свои условия, я подумал: все это уже было где-то... Где? Ну конечно: Польша, Гданьск, август 1980-го. Неужто начинается?

Помню холодок от прикосновения к истории: я у знаменитой «второй проходной» гданьской судоверфи имени Ленина. Здесь все начиналось несколько раз. В далеком 1970-м гневный порыв рабочих был безжалостно смят дубинками, газами и свинцом. Беглые залпы заглушили крик, рвавшийся из рабочих колонн: «Народ и армия едины!» Теперь над могилою тех, что «жертвами пали в борьбе роковой», каменный монумент и цветы, к которым добавлена моя лепта. Спите, братья! Пепел ваших надежд стучится в сердце... Десять лет спустя, как храм на крови, здесь поднялась «Солидарность». Еще через десять лет она взяла на себя ответственность за

* Дары моря *(итал.)*.

судьбу страны. Жму руку Валенсе, коренастому усатому Леху, новоявленному пророку, возвестившему эру освобождения и обновления. И ловлю в нем, грубовато-лукавом, напористом, кремневом, уже знакомые черты наших шахтерских лидеров. Неужели аукается?

Повесть, которая перед вами, донесет до советского читателя чистые, живые голоса обыкновенных польских рабочих, вдруг однажды переставших бояться. Эта повесть крайне нужна сейчас в нашей действительности. Я от всей души предлагаю ее моим братьям в Донбассе, Кузбассе и Воркуте. Солдатам и офицерам Советской Армии, в рядах которой больше тридцати лет честно прослужил мой отец. Коммунистам, сотрудникам КГБ, милиционерам, неформалам и парламентариям. Давайте задумаемся над этой повестью, оглянемся на наше прошлое и настоящее, давайте ощутим и поймем ход времени.

СЕРГЕЙ СТАНКЕВИЧ

Пятница, членам партии рекомендовано на заводских собраниях зажать всех так, чтобы никто не пикнул. Но в то же время, конечно, и дискуссии: выдержим ли?

В субботу все обострилось еще больше. Среди ребят, останавливаем производство? Не на всей верфи, а сначала Четвертый цех, потом Третий.

В конференц-зале около ста человек вникают в письмо Политбюро по вопросам ценообразования. За зеленым сукном Кочёлек, Пеньковский, начальник цеха, члены партбюро. С трибуны, на двадцать злотых увеличивается пособие на детей[1]. Зал дрожит от хохота. На пять процентов понижаются цены на лезвия типа «жиллетт». Выкрики с мест, сами брейтесь! Абонементная плата за радиоприемники и телевизоры понижается с шестидесяти злотых до сорока пяти. На это не проживешь, колбаса на сорок дорожает.

Секретарь тянется за стаканом воды. Судовой монтер-ремонтник, я за этот строй от Ленино до Берлина прошел, а через двадцать пять лет мне не на что жить. Его душат слезы. Крановщица, я одна семью кормлю, хуже, чем в оккупацию. Кочёлек, товарищи, так же нельзя, вопрос больной, но решение принять нужно. Короче, надо поддержать и одобрить.

Собравшиеся, так ведь мы работаем, и неплохо, а жить становится все хуже и хуже. Это вы бездарно управляете экономикой, — которое уже по счету письмо, где никаких перспектив на улучшение.

Кажется, впервые на собрании Кочёлек кричит — это из него прет авторитет члена Политбюро и секретаря ЦК. Подытожьте выступления и подготовьте информацию для Воеводского комитета партии. Голоса с мест, а чего писать, и так все ясно, письмо не получило одобрения рабочих судоверфи.

В понедельник на лицах тех, кто, как и я, ежедневно добирается на работу электричками, недовольство и гнев.

В киосках утренние газеты, сообщается о повышении цен, у них это называется сбалансировать и урегулировать. Больше всего убивают цены на продовольствие, это-то каждого касается — верующего, неверующего, партийного, беспартийного.

В раздевалке Четвертого цеха люди, как черепахи, вползают в комбинезоны и унынье. Нехотя тянутся к своим рабочим местам, и хотя уже седьмой час, приступать к работе сегодня никто не торопится. Каждый чувствует себя обманутым, измученным, ненужным.

Я холостяк, мне легче, но понимаю, что нужно предпринять что-то конкретное, дальше так жить нельзя. Надо только аккуратно подбросить идею, как на спортивных сборах, слушайте, ребята, эти тренеры от нас просто каких-то нечеловеческих усилий требуют, кормят черт знает чем, мы же так загнемся, объявляем забастовку?! Все поддерживают, ура-а-а! Пока питание не улучшат, к тренировкам не приступаем! Начальство в бешенстве, это провокация! Зачинщики будут исключены из университета! Но наш бунт в карман не спрячешь, придется обратиться в профсоюз. А мы, зачинщики, ребята отчаянные, нас не испугаешь, и вот пожалуйста — руководство просит на переговоры. В итоге начальство вынуждено отпустить больше денег на питание, суточные увеличены, наши спортивные тела осчастливлены, при таком рационе можно и бегом заниматься.

Конечно, организовать все — дело непростое, голова идет кругом, но нужно воспользоваться шансом, а шанс — это всеобщее недовольство. Подхожу к приятелю, тот сразу меня поддерживает, само собой, помогу, только это надо делать сейчас же, пока не начали работать.

Даю ему задание — пулей обежать один цех, я лечу в соседний, и каждому пятому, каждому десятому: не приступайте к работе!

Люди друг другу не доверяют, стоят у станков и смотрят, кто начнет первым. Но никто не спешит.

Минуты летят, каждый думает только о чудовищном повышении цен. Рабо-

[1] Обменный курс польского злотого в 1970 году по отношению к рублю составлял 15 : 1. *(Здесь и далее прим. перев.)*

тать никто не начинает, и от этого возникает какое-то ощущение солидарности, сознание общего дела.

Мастера и бригадиры моментально все замечают, стараются уговорить начать работу. Но как-то неубедительно, ничего у них не выходит. И начальство уже в курсе. Начальник цеха и заместители совершают обход, здороваются с нами за руку, пытаются внушить, что к работе придется приступить, поймите, мы точно в таком же положении, как и вы, хорошо, будем вам доплачивать из своего кармана. Но это так, шуточки, через несколько минут они уже вполне серьезно докладывают дирекции о сложившейся ситуации.

Спустя час в цех является директор. Выражение лица совсем иное, чем у цехового начальства, — директор в гневе, кипит от злости и страха, собирает рабочих под большими заводскими часами.

При виде директора все испытывают прилив храбрости, все хотят высказаться, но нельзя же всем говорить одновременно. Никому и никогда еще не удавалось договориться с толпой, и поэтому директор с деланным удивлением спрашивает, в чем дело, что происходит? Один из рабочих решительным голосом оглашает ультиматум, принятый на стихийном собрании, требуем двадцать пять злотых за час, только такая оплата позволит нам хоть как-то сводить концы с концами при столь резком повышении цен на товары первой необходимости! Второй оратор, хватит из нас жилы тянуть! Наше терпение может лопнуть и тогда директор вряд ли будет в состоянии что-то сделать, это уже будет не в его власти. Директор кивает, однако послушайте, не так все безнадежно, кое-что можно решить на местах, лишь бы только высшее начальство ничего не узнало.

Но аргументы директора уже никто не воспринимает, дискуссия с ним становится бессмысленной. Вы нас, товарищ директор, все время обманывали, больше не обманете, борьба началась и будет продолжаться! К группе рабочих из Четвертого цеха присоединяются те, кто случайно оказывается рядом, директорская речь игнорируется уже в открытую, каждое слово встречается насмешками. За спиной пытающегося что-то нам доказать директора стоят несколько человек и наблюдают за спорящими. Стараются нас запомнить, взять на заметку.

Митинг длится уже сорок минут, к нам присоединяются люди из других цехов, до которых докатилась весть, что Четвертый прекратил работу. А кто-то, не задерживаясь, проходит, разнося новость по всей верфи.

Я замечаю, что внезапно возле дирекции возникло какое-то движение. За директором, безрезультатно старающимся урезонить нас и уговорить взяться за работу, прибегает посыльный. Как можно скорее вернитесь в свой кабинет — там ждут представители других цехов.

Директор поспешно протискивается сквозь толпу и идет к зданию дирекции. Собравшиеся — за ним. На лестнице он что-то говорит ждущим его, но издалека его голос не слышен.

Толпа становится все плотнее. Из-за того, что директора почти не слышно, он вынужден подняться на второй этаж, чтобы вещать толпе с балкона, как папа римский. Наконец отдается распоряжение принести и установить микрофон.

Громко разносится его голос, обращенный к рабочему люду, почему-то переставшему доверять своему начальству и взбунтовавшемуся. Директорские увещевания встречены свистом. Послушайте, докеры, ремонтники, не устраивайте комедии, прекратите этот психоз и возвращайтесь на свои рабочие места, многое можно уладить, надо только успокоиться и приступить к работе.

Директорские призывы разносятся по цехам, а толпа уже начинает перемещаться ко второй проходной. В шествии, которое разворачивается на моих глазах, люди объединены общей целью, они составляют единое целое. У меня как будто вырастают крылья, и когда толпа, выплеснувшись из ворот, направляется к Главному вокзалу, я улыбаюсь радостно и свободно. На нас смотрят с изумлением из окон учреждений, предприятий, контор, недоуменно выглядывают из фабричных проходных. На лицах прохожих понимание и поддержка.

Направление — Воеводский комитет партии. В шествие вливаются все новые потоки. Движение транспорта на улицах останавливается, такое впечатление, что такси, трамваи и автобусы застыли по стойке «смирно». А мы поем «Интернационал». Песня взмывает под самую крышу Воеводского комитета, откуда никто не спешит выглянуть и обратиться к нам с речью. Обитатели этого дома ведут себя весьма пассивно, словно ни о чем не знают. Не желают замечать эти орды на улице. Реакция лишь на скандирование: Кар-кош-ка! Кар-кош-ка!

Появиться, однако, соизволил второй секретарь, товарищ Юндзилл, всесильный монарх. Люди кричат, хлеба, мяса, масла! Толпа растет, скандирует все громче, и любой случайный прохожий сразу понимает, в чем тут дело: мир труда протестует против чудовищного повышения цен.

Как незадолго до него директор, так теперь удельный князь Юндзилл найти с нами общего языка не может, а тем более перекричать этих докеров и прочих гданьских дикарей. Поэтому отдает приказ дежурному милицейскому наряду явиться на своем «воронке» пред светлы очи. Желание монарха исполнено, милиционер укрепляет перед секретарем микрофон, чтобы тот разъяснил разгулявшемуся сброду важность и своевременность принятого партией постановления, в стране тяжелое экономическое положение, и я тут ничего не могу поделать.

Толпа напирает, если ничего сделать не можешь, освобождай место, вали от-

сюда! Его грубо сгоняют и даже пытаются перевернуть милицейскую машину вместе с сидящим в ней партийным богом.

В машину с матюгальником забираются трое мужчин, и из громкоговорителя звучат слова поддержки и одобрения действий толпы. Она принимает это с удовлетворением.

Затем из машины раздаются предложения ехать по городу, подъезжать к крупным предприятиям и призывать к публичному выступлению, к забастовке. Призыв принят «на ура», особенно рабочими в спецодежде и касках, теми самыми пролетариями, которые явились сюда как бы из другой исторической эпохи или с какой-то экзотической планеты, имя которой — Польский Рабочий.

От Воеводского комитета машина, а за ней и вся колонна направляются к Северной судоверфи. Охрана загораживает вход. Несколько человек подходят ко входу, объясняют, в чем дело. Прорваться через охрану Северной трудно, но двое докеров все же присоединяются к нам.

От Северной — к Ремонтной, здесь нет таких строгостей, поэтому чуть ли не половина верфи бросает работу и присоединяется к нам, мощная демонстрация по улице Клиничной движется к площади перед Гданьским политехническим институтом.

А из рупора в машине все слышатся призывы, бросайте работу, начинайте всеобщую забастовку!

Перед Политехникой кто-то цитирует Линкольна, можно какое-то время обманывать часть общества, можно какое-то время обманывать и угнетать все общество, но еще никому не удавалось обманывать и угнетать вечно.

В машину забирается шахтер, я из Силезии, мы уже вчера начали, под землю никто не спустился, а наши агитаторы разъехались по всей Польше.

К ректору направляются выбранные делегаты. Ректор Сталиньский чрезвычайно удивлен тем, что к нему явились какие-то личности в комбинезонах и касках, а еще больше — требованием немедленно прекратить занятия в институте. Нет, такого приказа я не отдам, и получает каской по голове. Это потрясает его до такой степени, что он уже не может выдавить из себя ни слова. Делегация расползается по аудиториям, присоединяйтесь к нашей демонстрации! Часть студентов тут же соглашается, некоторые отказываются, вы, мол, нас во время мартовских событий не поддержали.

Сопровождаемая толпой милицейская машина от Политехнического плывет к Радиокомитету, известие о забастовке должно быть передано на всю Польшу.

Закрыто. Вахтер открывает, старается понять, что происходит, и захлопывает дверь. Выломать силой! Ворваться и завладеть радиовещанием! Но власти хитрее нас, ток уже вырублен.

К Радиокомитету подкатывает черная «Волга» с черной шевелюрой Бейма, несет что-то несуразное. Отвечаем ему градом камней по машине. Отчаливает с выбитым стеклом.

Толпа снова устремилась к Воеводскому комитету, но на мосту Блэндник для нас уже приготовлены слезоточивые газы, петарды, щиты, заграждения. Летят первые камни — и первые раненые. Толпа оттесняет милицию к зданию Комитета. Площадь Горького освещена горящими газетными киосками «Руха». Милиция все-таки хочет разогнать демонстрантов слезоточивыми газами. Но нашим союзником становится ветер, несущий предназначавшийся нам газ на милицейские заслоны.

На площади вокруг памятника Собесскому сражение, летят булыжники. Машины «скорой помощи» с воющими сиренами медленно рассекают толпу, подбирая и рабочих, и милиционеров.

Из мегафона, установленного на крыше автомобиля, слова уже еле слышны — сел аккумулятор. Внезапная атака милиционеров — и наша забастовочная радиостанция захвачена, арестовывают всех, кто ее обслуживал, увозят в отделение. Но мы все-таки успеваем передать последнее сообщение, завтра сбор у здания дирекции Гданьской судоверфи, и направляемся в город. Возвращаюсь к себе в цех, работать никто не собирается, все живут происходящими событиями.

Ночью произведены первые аресты, прежде всего среди тех, кто выступал на митингах. Из нашего цеха взяли троих. Распознают по фотографиям.

Собираемся у дирекции, решаем идти в город, отбивать арестованных.

Здание милиции выглядит вызывающе, начинаем его поджигать, первый и второй этажи уже горят, милиция получает приказ стрелять, один рабочий убит. Хватаем стрелявшего капитана милиции, линчуем его, летит с моста на рельсы.

Убитого рабочего накрываем красно-белым флагом [1].

И вновь к Воеводскому комитету партии. По дороге крушим милицейские машины. Ребята вскакивают в грузовик и направляют его на кордоны милиции. Мы поддерживаем камнями. Богдан, возвращайся на верфь, в любую минуту тебя могут арестовать, твоя фамилия неоднократно упоминалась в доносах секретарю Пеньковскому. А тот, я удивляюсь, ребята, что такая фигура, как Салей, председатель профкома верфи, доактивничался до такой степени, что возглавляет колонну демонстрантов, идущих в город.

Бегом рву от Воеводского комитета к верфи. Есть предложение созвать представителей цехов. Опыт предыдущей ночи подсказывает, что могут аресто-

[1] Цвета польского национального флага.

вать, но я соглашаюсь войти в стачечный комитет. Начинаем переговоры с председателем профкома, начальником цеха, партсекретарем и директором. Гнем свое, надо по-настоящему сбалансировать, уравновесить цены, можно ведь одновременно понизить на чай там, на кофе, на что хотите. Начальство молчит, а мы настаиваем, требуем оплачивать работу из расчета двадцать пять злотых за час. Директор, об этом не может быть и речи, верфь платит не из собственного кармана. Вам рабочие доверяют, верните людей с улицы, прекратите безобразия в городе.

Внизу шум, люди как обезумевшие бегут по лестнице вверх. Мы в ужасе, что-то горит, дирекция? На мне комбинезон, на председателе профкома тоже, больше всего перепугано начальство — секретарь парторганизации, директор, они без спецодежды. В кабинет директора с криками врывается горстка милиционеров, без оружия, в разорванных рубашках, только что из горящего здания Комитета партии. Секретарь раздвигает шторы, высоко ли? Милиционеры, спасите, убьют! Вслед за ними вламываются наши, с верфи. Директор загораживает им дорогу, прекратите, вы что?! Они такие же люди, выполняли приказ.

Милиционер, нас мой брат спас, подъехал на грузовике на зады Комитета. Я прямо из пламени со второго этажа прыгнул, а ребята за мной.

Вняв директору, рабочие отступают, спускаются вниз. Теперь нужно что-то делать с этим студнем — дрожащими от страха людьми, не способными себя защитить. Решаем переодеть их в рабочие комбинезоны. Начальник цеха звонит на склад, приносят двенадцать комбинезонов. Милиционеры благодарят, переодеваются, переодетые, они спасены, теперь их никто не тронет.

Наши переговоры ни к чему не приводят — речь ведь идет не только о Четвертом цехе, но и обо всей верфи.

А начальству хочется и на елку залезть, и жопу не оцарапать, чтобы все само собой образовалось и забастовка прекратилась. Из репродуктора на весь цех разносится, поймите, повышение цен вызвано необходимостью, а не чьей-то прихотью, вам вообще грех жаловаться, работать надо. Да, правильно, мы рабочие, мы созданы для того, чтобы работать, но мы не белые негры. У вас денег куча, вас всякие мелочи вроде повышения цен не волнуют. Но если вы — правительство рабочих, то перестаньте изображать из себя красиую буржуазию.

По местному беспроволочному телеграфу передаем в соседний цех, присоединяйтесь к нам. В Четвертом две бригады уже полностью прекратили работу, но забастовку мешают начать партийные функционеры и всякие общественники, в этом-то их работа и состоит. Машины, однако, остановлены, версия такая, будто это сделали два маляра, взяли да и повыключали все. Ярмо — за такие деньги работать и на такие деньги жить — становится непереносимым. Предложения сыплются одно хлестче другого, соорудим общее корыто и из него всей семьей будем хлебать. Верно, у докеров и домики собственные есть, но они вкалывают по шестнадцать часов и уже забыли, что такое воскресенье, им тоже хочется пожить, как те, кто гребет деньги лопатой. Я не знаю начальника, у которого не было бы дома или виллы, построенных на «левые» бабки. Так выглядит национальная экономика. Не ворует в стране только рабочий, а если и стибрит какую-нибудь деталь, то расплачивается за это тюрьмой или огромным штрафом.

Во вторник полная тишина, стоит уже вся верфь. Дирекция в радиоузел, ЦК не соглашается ни на какие дискуссии, не хочет с нами разговаривать. Ремонтная верфь в полном составе — двадцать пять тысяч — марширует в направлении Воеводского комитета партии. Мы присоединяемся.

При выходе с территории первая стычка с милицией, та не хочет выпускать людскую реку. А эта река поет: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...» Нет, это не песня, а гром голосов пополам с плачем. Клич, наших арестовали! Голыми руками штурмуем тюрьму. Перелезаем через стену, протаранили ворота, взяли первый этаж.

Мы не хотим захватывать тюрьму, где сидят уголовники, поэтому новый лозунг, возвращаемся к Воеводскому комитету! На мосту нас встречают студенты, мы с вами!

Разомкнуть ряды, принять! В этот момент нас берут в кольцо, в милицейские щиты летят булыжники. Не бить, они ведь никого не били. Милиционеры бросаются к зданию Горсовета.

Капитан милиции с пистолетом в руке пытается проникнуть в здание. Рабочий преграждает ему дорогу. Раздается выстрел, рабочий перерезает ему горло — восемь часов, первая жертва. Кровь брызжет во все стороны, людей охватывает безумие. Начинают рвать милиционера на куски, топчут тело.

Перед Воеводским комитетом крики, требуем ответа! Попытки поджечь здание безрезультатны. Силой отбираем у водителей бензин. У Комитета крепкие стены. При полном одобрении собравшихся срываем прикрепленную к зданию табличку: «Воеводский комитет партии».

Взламываем входные двери, внутрь закатываются баки с бензином, вспыхивает пламя. В огонь летят стулья. С верхних этажей солдаты дают предупредительные залпы в воздух, заявляют, что будут стрелять в нас. Это приводит всех в ярость. Спустя минуту здание Комитета полыхает. Солдаты и милиция на ковровых дорожках спускаются во внутренний двор. Несколько милиционеров спасаются на самоходной тележке с красно-белым флагом. Сержант, не бейте, я с вами. Мне тоже семью кормить надо, нам приказали. «Нам приказали» — так фашисты оправдывались, замечает кто-то. Правительство рабочих расстреливает собственный народ.

К Комитету подъезжают машины, битком набитые милицией. На машинах «скорой помощи» им подвозят дымовые шашки и петарды, взрывом которых может оторвать ноги. Милиционерам приказано двигаться к порту, чтобы отрезать портовых рабочих от остальных. Первыми попавшимися острыми предметами прокалываем шины, машины встают. Следующее отделение милиции, нас встречают петардами и газами. Но чтобы слезоточивые газы вытекли из баллончика, нужно время, кидаем баллончики назад, в машины. Милиционеры задыхаются, рвут брезентовые крыши, чтобы выбраться. Их разоружают, а они умоляют, не забирайте оружие, семьями своими клянемся, стрелять не будем.

Около двенадцати танки и легкие танкетки направляются к вокзалу. Люки закрыты, значит оружие применять не собираются. Чтобы их остановить, наши ложатся под танки или взбираются на них, закрывая смотровые щели. Если танк продолжает двигаться, в ход идут дымовые шашки или баллончики с газом. Танкисты, задыхаясь, выскакивают, как кролики. Три танка мы вывели из строя, остальные отступают к мосту Блэндник. Из одного танка вылезает капитан, он переехал человека. Потрясает оружием, хамит, а ну попробуйте подойти, и вот офицер Войска Польского мертв.

Командир ведет отряд к зданию Воеводского комитета. В солдат летят — нет, не камни, слова, люди скандируют: «Народ и армия едины!» Командир со своим отрядом отступают.

Подвыпившие сопляки доставляют на верфь оружие. Я им говорю, ведите себя потише, в таком балагане все может случиться. Вчерашний день был для нас плохим, сражение продолжалось до полуночи, подожгли киоски, разграбили промтоварные магазины, гастрономы. Ночью стекла в витринах вставили, милиция хоть бы хны, будто ничего не случилось. Парень из Третьего цеха взбирается на бункер жаровой трубы котла, не нравится мне такое поведение, если бастовать, то это нужно делать серьезно, как взрослые люди, а не как мальчишки. Если и дальше будем крушить свое добро, то бастуйте без меня, лучше разойтись по рабочим местам. Я не выдерживаю, тоже влезаю на бункер, согласен насчет хулиганства и уличных беспорядков, не согласен, что надо прекращать забастовку. Нельзя бросать начатое дело. Начали, так надо и закончить. Бригадир дает мне понять, чтобы я закруглялся. Жестами демонстрирует мне свое неудовольствие. Потом просто велит убираться из цеха. Среди нас — а нас около семисот человек, очень разных, — есть немало и люмпенов, отбросов общества. Напиваются вусмерть, грабят магазины, портят репутацию верфи. Иногда и милиция им помогает, чтобы обращение за помощью к армии было обоснованным. Одно сожженное здание Воеводского комитета партии — ущерб народному достоянию явно недостаточный.

Друг попросил меня съездить в Гдыню. Результат — в среду «Парижская коммуна» не приступила к работе.

На трассе Гдыня — Гданьск вижу кавалькаду танков. Десятки боевых машин.

Во вторник утром все работники Комитета являются на службу. Корчиньскому поручается организовать оборону. Ждем секретарей, особенно заведующего отделом пропаганды, который должен включить мощные репродукторы, но монтеры опять подводят.

Рабочие с верфи пришли, как обещали. Мы в растерянности, вести с ними переговоры или нет? Ни один из секретарей до сих пор не появился.

Докеры толпятся у входа, а милиция делает вид, что их не пропускает. Однако группа рабочих проникает в здание, ищут секретарей, распахивают шкафы, открывают ящики, а там коллекции коньяков, имущество красной буржуазии.

Руководство принимает на себя заведующий отделом пропаганды, потому как при известии «рабочие идут» Корчиньский шинель в охапку и ходу, мне нужно в штаб. Перед Комитетом ревущая толпа пытается поджечь здание, летят булыжники — может быть, тех, кто проник в Комитет, заперли, и эти, снаружи, их освобождают?

Звонок в штаб, организовывать оборону или эвакуироваться? Корчиньский, эвакуироваться! Но как? Да что вы, черт бы вас всех подрал, в армии не служили?! Образовать клин! Но входная дверь вращающаяся, из нее по одному выскакивают как кузнечики, какой уж тут клин.

Товарищ Ямка эвакуируется самостоятельно, через черный ход, но там пожар. Некоторые пасуют, а он нет, но вот огонь потушен, и официантки уже подают ему кофе, подкрепить дух, через минуту уйдет домой.

Совещание. Иного выхода нет, только взять в коридоре ковровую дорожку и по ней спускаться на задворки. Деревянная обшивка стен и шкафы горят хорошо, потолок тоже весь охвачен пламенем. Первым съезжает Беганьский, его подхватывают какие-то руки, на, получи, на, на! Он ползает на четвереньках под ногами столпившихся, а они уже вытягивают руки к следующему.

Последним — Хинц, ладно, я не фраер, я на коврах не летаю. И к милиционерам с просьбой, я взлохмачу волосы, подниму воротник, а вы меня схватите и хорошим пинком под зад вытолкните на улицу.

Вечером уже объявлено чрезвычайное положение. Полный кошмар. Воеводский комитет пылает. Солдаты, люди, что здесь творится, что происходит, зачем нас сюда согнали? А вы что, не знаете? Нам сказали, что немецкий десант на верфи. Перекусить тут где-нибудь можно? Нам всю ночь здесь стоять.

В восьмом часу раздаются выстрелы, в двухстах метрах от проходной свист пуль, несколько очередей из автомата, стоны. Стоявшие рядом со мной падают на землю.

Бросаюсь к троим, для которых смертный час уже настал, их уносят подальше от проходной. Над нами кружит вертолет, вопрос войскам, в кого стреляете?! Сестры милосердия бегут к раненым: их никто не поднимает — одни в шоке, другие боятся, как бы их самих не застрелили.

За дело берутся те, кого только что отпустили из милиции. Отдельные крики переходят в скандирование, создать забастовочный комитет! Снизу выкрикивают фамилии, тот, чье имя названо народом, без особого энтузиазма лезет наверх. С последствиями-то тоже приходится считаться, прежний комитет уже сидит. Избранные рассказывают кратко свои биографии. Первые слова Леха, нужно объединяться, действовать организованно.

Директор, обещаю, волос с головы не упадет у того, кто будет трудиться на благо нашей верфи, на наше общее благо, чтобы всем нам жилось лучше. Гарантирую вам это своим честным словом, поверьте мне, если считаете меня своим директором.

Теперь начинаются трения между двумя комитетами. В том и другом по одиннадцать человек, двадцать два человека в руководстве. Побеждает комитет, созданный в результате выборов, члены первого принимают нашу сторону. Минута молчания — чтим память погибших. Затем поем «Славься, Дева Мария...», все преклоняют колена, приспускаются флаги с черной лентой, знак траура. Объявляем забастовку с занятием всей территории верфи — «оккупационную».

Разъясняю, что такая забастовка — это не поджоги, а забота о том, чтобы оберегать свое рабочее место. Разных умников мы утихомирили, чтобы тем, кто стоит за воротами, не давать повода для вторжения. Берем обязательство не допускать порчи имущества, через директора Жачека об этом становится известно наверху. Создана своя, докерская милиция, голубая повязка на рукаве дает большие права. В буфет стоит тысячная очередь, ребят с голубыми повязками пропускают без очереди, никто не протестует.

Чтобы выловить штрейкбрехеров и провокаторов, подговаривающих поджечь склады, отбираем у всех пропуска и выдаем свидетельства, что такой-то является работником верфи. После получения такого свидетельства покидать территорию запрещается.

Вдруг врываются двое с Ремонтной, плохо у нас дело, народ хочет поджечь здание дирекции, помогите.

Мы с другом в машину и туда, объясняем, в чем суть забастовки. Подожжем дирекцию, потом придется самим отстраивать. У нас оккупационная забастовка, никто не покидает территорию без разрешения. Кто не согласен с этими условиями, пусть покинет верфь сейчас, но тот, кто останется, обязан следить за сохранностью государственного имущества и находиться на своем рабочем месте. Поступать иначе — значит плевать на собственный кусок хлеба. Так нам не выиграть, не победить.

Некоторые были уже с факелами, с канистрами, приготовились к поджогу, теперь расходятся. Директор благодарит нас, это же немыслимо, чтобы в государстве рабочих рабочий выступал против рабочего, ведь у нас в стране власть рабочих, во всяком случае так мы ее до сих пор именовали. Разъясняю этому высокопоставленному товарищу, что рабочие выступают не против рабочих, а против партийной элиты, несправедливо, за счет других, присваивающей громадные деньги. В Польше горстка партократии, прикрывающаяся красными партийными одеждами, превратилась в буржуазию. Директор, свысока улыбаясь, как бы признает нашу правоту.

Директор возвращается, если работники верфи будут сохранять спокойствие и порядок, не будут ничего громить и крушить, то никакого вторжения не будет. Гурский подтверждает, именно так было обещано в ЦК.

В комитете мы взаимодополняем друг друга — наш ум о пяти головах. В репродукторы милиция вещает, что мы ввели террор и не выпускаем никого с верфи. Нет, друзья за забором не правы. У судостроителей чувство солидарности, а не страх перед армией или милицией, поэтому никто не покидает верфь. Предлагаю по нашему радиоузлу передать, что неправда, будто стачечный комитет запретил выходить за пределы верфи. Каждый имеет право выйти, однако по некоторым соображениям этого делать не рекомендуется.

Тут же появился Гурский, послушайте, Озембло, это сообщение надо опровергнуть. Нельзя сеять в умах людей смуту, одни скажут, что их убеждают покинуть территорию верфи, другие, что комитет добивается, чтобы все остались.

Близится собрание делегатов, на котором мы должны представить продуманный в деталях план действий. Постоянно кто-то вбегает, на территории появились водолазы, какие-то типы прорвались через туннель, наверняка милиция, прибыл целый состав с углем, пропускать или нет?

Приносят новость, на судне есть радиостанция, можем хоть всему миру объявить, что мы в осаде. Сколько человек обслуживает радиостанцию? Одного достаточно. Дайте десять, но чтобы мышь туда не проскочила. Вам нужна забастовка или революция? Забастовка. Тогда радиостанцией пользоваться не следует, иначе из соседей сделаем врагов.

В утренние часы аж рябит от бригадиров, мастеров и всякого начальства, берите инструменты и за работу. В ваших же интересах приступить к работе, план почти выполнен, конец года, рукой подать до тринадцатой зарплаты, всем улыбается высокая премия.

Отдельные выскочки принимаются за работу, другие их пугают, ты чем по голове предпочитаешь получить, молотком или кирпичом? Собери-ка инструменты и не придуривайся.

Кто-то берет меня под руку, пойдем-ка, ты нужен, говоришь хорошо. Мы идем в другой кабинет, где заседающих поменьше. Напиши что-нибудь, успокой людей.

Пишу, мы объявили оккупационную забастовку, значит, не покидаем территорию верфи, никто без дела не слоняется, каждый находится в своей бригаде, для поддержания порядка мы создали свою милицию, опознавательным знаком которой является голубая повязка на рукаве, сделанная из голубых флагов судоверфи.

Кто-то кричит, кто-то плачет, у кого-то истерика. Говорю, спокойно! Всем запастись продуктами, их можно купить в ларьках, у кого денег нет, пусть одолжит, чтобы потом не говорили, крали, мол, грабили. Просьба в очередях вести себя спокойно, культурно, каждый покупает только на себя. В бригадах нужно выбрать своих представителей, которые держали бы связь с нами, с комитетом. Будем занимать территорию верфи до тех пор, пока не заставим их, то есть правительство, вступить с нами в переговоры. Тем самым мы как бы берем на себя обязательство отвечать за сохранность всего имущества. Нельзя допускать никаких провокаций, дежурные посты выставлены у всех проходных, вдоль стен и канала ходит патруль, необходимо обеспечить сохранность судов.

Выбираем новый комитет, так как большинство недовольно старым. В него предлагают одну женщину и пятерых мужчин. Может быть, кого-нибудь еще? Встает один такой, здоровый, высокий, предлагает Гурского, он хороший организатор. Спрашивают меня, согласен ли я, говорю, да.

Из семи человек, предложенных в состав комитета, женщина тут же уходит домой — кормить ребенка, и один трус — сбегает.

Кто будет председателем? Слушайте, Озембло, а зачем выбирать председателя? Мы как бы составляем единое целое, зачем еще дополнительную иерархию устанавливать? Мы все на равных правах.

Подгайский — сварщик, Валенса — электромонтер, Шолох — наладчик. Двое из этой тройки постоянно присматривают за нами, не замышляем ли мы чего. Контролируют все, что мы делаем. Идешь, например, куда-нибудь, тут же — где был? Приходит Пеньковский, может, все-таки хватит бастовать?

В какой-то момент я остаюсь один, наедине с самим собой. Озембло пошел в радиоузел, Ярош спит, сорок восемь часов без сна каждого свалят, Шолох куда-то запропастился, не знаю куда, Подгайский на Доке-3, Валенса дремлет, но очень чутко, вообще только он один до конца понимает, что происходит, но помалкивает.

Хайдуга, Жачек и Пеньковский вернулись из Воеводского комитета партии, если к назначенному часу не уйдем с верфи, то они вводят войска: понимаете, что это значит?! Мы поражены, онемели просто. Хайдуга бледный, хочет скрыть дрожь, будем обороняться. Может, нам и не победить, но не забывайте, если солдат погибнет, то его товарищ будет за него мстить. Так вот и мы, докеры.

Директор, да они здесь камня на камне не оставят, у них танки, пушки, автоматы, они нас всех с землей сровняют.

Что делать? Стараемся найти решение, но это нам не под силу. Собираем связных от каждой бригады. Ведь речь идет о жизни многих людей. Все по очереди выступают. Встает Озембло: понимая свою ответственность, присоединяюсь к тем, кто вернулся с совещания у Зенона Клишко, забастовку нужно прекращать, помните, если мы к пяти часам не покинем верфь, они введут войска. Я отвернулся к окну, чтобы не принимать участия в обсуждении этой страшной темы. Прекратить забастовку?!

Все во мне оборвалось. Как я посмотрю людям в глаза?

Зал переполнен, набились и те, кого не приглашали. Директор, мне вряд ли стоит объяснять, к чему это может привести. Пусть забастовочный комитет примет решение.

С мест раздаются голоса призывающих покинуть верфь. В нашем распоряжении только бутылки с зажигательной смесью да гаечные ключи, ломы, молотки, топорики, пики из толстых металлических прутьев и куски кабеля. И все. Поэтому, если даже в тебе все кипит от негодования, встань и скажи — нет. На тебе лежит ответственность за сотни жизней. Все чувствуют приближение конца. Слышу Пеньковского, произносящего с нескрываемым удовлетворением, в Гдыне уже семнадцать убитых.

Верфь опустела, остаемся мы одни. Размышляем вслух, могут ведь вывести нас за ворота и в темном уголке пальнуть в затылок без всякого суда и следствия. Сформируют быстренько взвод для приведения приговоров в исполнение, и конец. Хайдуга, в случае чего вот вам ключ и идите вон в ту комнату. Держу ключ

в руке, кажется, из этой комнаты есть тайный подземный выход за территорию верфи.

Агенты службы безопасности во время допроса, да ну, что это был за стачечный комитет? Один — хулиган, другой — уголовник... Недоучившийся монтер... Склеротик...

Политбюро заседает, осчастливливает страну увеличением импорта товаров первой необходимости, в это время Кочёлек и Бабюх выскакивают в другой кабинет, что-то пишут на листке бумаги, Гданьск, Гомулка. Ответ краток, демонстрантов изолировать.

Самолет небольшой, тишина, легкая вибрация. Пятеро, хотя и очень достойных и уважаемых людей, не в состоянии заполнить пространство салона. Напряжение такое, что давит в висках, тяготит отсутствие какой бы то ни было информации. Стюардесса на позолоченном подносе разносит карамельки, к предложенной ветчине рука как-то не тянется. Чай, импортные сигареты. Каим, что будем делать, как прилетим на место? Кочёлек, у меня такое предложение, вы, товарищ министр, с секретарем сразу же едете на верфь, чтобы разобраться, а я с остальными товарищами — в Воеводский комитет партии.

Наконец самолет делает круг над Гданьском. Все припадают к иллюминаторам, не видно ли уличных беспорядков? Посадка мягкая, к трапу поданы машины, каждая на свое, отведенное ей место.

В кабинете директора, товарищ министр, разрешите обрисовать положение. С утра, между семью тридцатью и девятью часами, работа была прекращена, требовали приезда Гомулки. Собравшиеся толпы примерно с час ждали перед зданием дирекции, потом направились к Воеводскому комитету. Там тоже вели себя очень спокойно. Вернулись на верфь, часть приступила к работе, но большинство не работает. Каим, что вы предлагаете? Хайдуга, по-моему, следует вспомнить опыт пятьдесят шестого года, то есть созвать организационные производственные комитеты и еще раз серьезно рассмотреть вопрос оплаты труда.

Звонок из воеводского штаба, товарищ Пеньковский, сегодня по телевидению будет передаваться выступление Кочёлека, известите, пожалуйста, весь партактив.

Каим, я предлагаю повысить зарплату почасовикам на десять процентов. Жачек, к сожалению, этого, вероятно, будет мало. Каим, на бóльшее полномочий у меня нет.

Тогда есть предложение сообщить о десятипроцентном повышении зарплаты для всех. Жачек, все рабочие коллективы в пять утра должны быть на верфи.

Кочёлек шелестит листками требований рабочих, повышение зарплаты на тридцать процентов, немедленное освобождение всех арестованных, так вы утверждаете, что над этой программой работало двадцать человек? Какая еще есть информация? Собравшиеся пожимают плечами. В наше распоряжение выделены две армейские дивизии. Никакие дивизии не нужны, если начать переговоры, все успокоится.

Кочёлек, тут бабка надвое сказала, слишком большой риск, чтобы колебаться. Некоторым казалось, что сегодня будет лучше, чем вчера, на самом деле случилось наоборот. Сегодня комитет партии сожгли, что завтра?

Ночью Клишко заявил, за все, что здесь произошло, ответственность несет руководство Воеводского комитета, дирекция и парторганизация верфи и, разумеется, сами докеры! Поэтому больше войск, генерал! Генерал, две дивизии есть, пока достаточно.

Клишко, ваше бездействие слишком дорого обходится. Мы с товарищем Лога-Совиньским наделены Первым секретарем Гомулкой особыми полномочиями и знаем, как следует поступать. Хайдуга, если бы с людьми с самого начала разговаривали по-человечески, ничего бы этого не было.

Лога-Совиньский, с кем это вы хотели разговаривать? Я никаких этих ихних профсоюзов не признаю и признавать не желаю, все они одинаковые. А больше всех виноваты бригадиры. Кочёлек, товарищи, в такой обстановке невозможно проводить заседание, призываю всех к соблюдению порядка!

Лога-Совиньский, перестрелять их нужно! Пеньковский, зачем?

Клишко, ладно, расстреляем столько человек, сколько потребуется, передавим их гусеницами. но отвечать за это будете лично вы.

Хайдуга, поджог здания Воеводского комитета партии — это высшая степень протеста против властей, которые не выражают интересов рабочего класса и не могут удовлетворить его требования.

Клишко, поджог Комитета — это контрреволюция. Все выяснится и встанет на свои места, как только снимем министра и всех остальных.

Лога-Совиньский, к чертовой матери всех поснимать от министра и ниже.

Каркошка, прежде чем открывать огонь, надо все-таки испробовать все иные меры.

Хайдуга, в такой напряженной ситуации надо рассчитывать все-таки не на пули, а на какой-то мирный выход из положения. И при чем здесь контрреволюция?!

Клишко, на верфь необходимо ввести части морской пехоты и подразделения службы госбезопасности.

Кочёлек, а вы при этом возьмете на себя ответственность за то, что потом произойдет на территории верфи?

Генерал, первый залп будет холостым, в воздух.

Клишко, в восемнадцать ноль-ноль на верфь будут введены войска.

Министр, во всяком случае судостроительной промышленности пока ничего не угрожает.

Каркошка, рано, рано, надо искать другие возможности.

Клишко, вы, товарищ министр, на мой взгляд, неверно оцениваете ситуацию.

Директор верфи, я только что оттуда и со всей ответственностью могу утверждать, что верфи ничто не угрожает, рабочие поддерживают там строжайшую дисциплину и порядок.

Министр, скоро начнут все громить, если уже не начали.

Клишко, обратитесь в соответствующий отдел ЦК, вам разъяснят, какое решение на ваш счет принято.

Хайдуга, ну, а если и армия будет не в состоянии ничего сделать?

Клишко, да вы же сами точно такой же, как все эти, партбилет на стол!

Хайдуга, нет, так, сразу, я вам его не отдам. Не вижу никаких оснований выкладывать свой партбилет. И еще хочу вам напомнить, что верфь — это не только люди, которые будут ее защищать, но также и бензин, ацетилен, газ.

Генерал, второй залп в ноги.

Каркошка, по-моему, нужно рассмотреть их требования еще раз, но спокойно, без эмоций!

Клишко, если мы хоть раз начнем переговоры с рабочими, то создадим прецедент и потом, вместо того чтобы управлять страной, погрязнем в бесконечных переговорах. Я знаю, что такое рабочий класс, и ясно вижу, что, вступи мы сейчас в переговоры, в конечном итоге это обернется против самого же рабочего класса, его задач и целей. Вступать в переговоры недопустимо, неужели это не понятно, товарищи, и я должен что-то объяснять, кого-то убеждать.

Каркошка, как говорится, нечего толочь воду в ступе.

Клишко, основная причина того, что произошло, — в вас, вы сами не убеждены в правильности того или иного решения, например, о ценах. Сегодня последний срок, когда необходимо полностью унять волнения. В вопросе повышения цен никаких уступок требованиям бастующих — это надо четко осознать. Генерал, чего еще мы ждем? Если уговоры не помогают и убедить их покинуть верфь нельзя, то нужно это сделать силой.

Генерал, первый залп в воздух, второй — в ноги, третий — в грудь...

* * *

На узкий перрон станции Гдыня-Верфь из электричек вываливаются пассажиры. Из Гданьска, Вейхерова. Наталкиваются на милицию, танковые кордоны, проволочные заграждения, зампремьер-министра по радио призывает начать работу, громкие призывы разойтись доносятся с кружащего над нами вертолета. Все проходные и ворота верфи закрыты, в огромные репродукторы — назад! А куда назад, некуда.

Пригородные поезда подвозят все новых рабочих, их встречает рев и грохот, автоматные очереди. Зажигательные и трассирующие пули поджигают деревянный помост вокзального перрона, люди в ужасе, кругом огонь, кровь.

Милиционеры в ярости, глаза страшные, будто одурели от наркотиков. Залп в мостовую, пули дум-дум-дум и рикошетом попадают в людей. Вагоны защитой служить не могут, вот ранили стоявшую в очереди беременную женщину. Бегом через пути. Молодые на бегу суют в карманы камни, гайки.

Рабочие, в основном молодежь, напирают со стороны леса, дорогу перекрывает товарный состав. Разгоняют, вернее расшвыривают людей, бьют женщин, двое парней успели перескочить через пути, третий замешкался, его застрелил милиционер. Мильтоны вошли в раж, стреляют в мальчишку с ранцем, попадают.

На ярко освещеной площади перед вокзалом Гдыня-Главная огромная толпа — лицом к вооруженным солдатам. Те торчат в окнах воеводского суда и на крышах близлежащих домов. Перед зданием никаких военных машин, только один танк. В мегафоны орут, призывают разойдитесь по домам, сегодня на работу идти не нужно, прекращайте беспорядки! В толпе смех, а может, мы как раз хотим поработать, а работы нет, как жаль. Потом подходим к танку, окружаем его, начинаем задирать соллат, палачи, стреляйте! Они, чего вы от нас хотите, мы же только стоим и ни в кого не стреляем!

Раздаются голоса, идем к президиуму, там в подвале держат заложников, бьют их, пытают! Тысячи две, а то и три валят по Светлояньской, никакой милиции, никаких солдат, пусто, зато на всех балконах люди, выходите на улицу, спускайтесь к нам, присоединяйтесь! Пытаются улыбнуться, машут руками, но видно, что панически боятся. Сухонькая старушка хватает идущих впереди за рукава, куда вы, не ходите, там танки.

Но вот улица, перегороженная танками и бронетранспортерами, протиснуться между ними можно только по одному. Повсюду солдаты. Минут пятнадцать кри-

чим, освободите арестованных! Со стороны моря появляется первый вертолет, зависает над Светлояньской, начинается газовая атака. Солдаты натягивают противогазы, ветер несет все в их сторону. Ветер не сильный, можно идти за ветром и штурмовать транспортер, но все отступают, чтобы не наглотаться газа.

Второй и третий вертолеты применяют газы более точно — прямо в цель, в людей. В толпе шныряют какие-то мальчишки лет двенадцати-тринадцати, забава для них, только не трите глаза, это все въедается. Толпа редеет. Вдруг минут пять спустя после газовой атаки на Светлояньскую под прикрытием огромных рефрижераторов для перевозки рыбы появляется отряд милиции в касках, с пластиковыми щитами. сбоку оружие, у каждого в руке дубинка, как для игры в бейсбол. Выстраиваются перед войсками в свой, милицейский кордон, суматоха, беготня. Внезапно из пушки танка раздается выстрел, люди отскакивают и на мгновение замирают. Секунду спустя громкий, как на стадионе, хохот, ну не будут же в городе из пушек палить. В этот момент милиция смыкает ряды и перекрывает путь к железной дороге.

Первые петарды разрываются в толпе, но когда сбрасывают второй раз, молодые ребята хватают их в руки — и в середину милицейского кордона. Цепь разомкнулась, толпа прорывается. Сверху, с вертолетов, продолжают сыпаться баллончики с газом, теперь милиционеры надевают противогазы, бросают в нас петарды, мы им обратно, так перебрасываемся больше часа.

Кто-то кричит, на платформе Гдыня-Верфь была стрельба, есть убитые и раненые!

Бегу туда, навстречу мне движется небольшая процессия. На плечах несут выломанную дверь, на ней человек, что такое? Обычная дверь, на секунду мне кажется, что это всего лишь скверная шутка или карнавал, да, стрельба вроде бы была, но стреляли-то, наверное, все-таки в воздух?!

Из похоронной процессии, сними шапку, не видишь, убитый?

Молодой парень, лет двадцать пяти — тридцати, вся правая половина лица от уха до подбородка разворочена пулей, щеки нет.

Дверь несут восемь человек, через каждые десять метров их сменяют другие. По дороге кто-то заскакивает в часовенку и выносит трехметровый металлический крест. Со стороны подбегают люди и бросают цветы.

Проходим последний перекресток, во всю ширину Светлояньской — милиция, раздаются выстрелы. Я иду в третьем ряду, в глубине колонны, хотя ряды — это так, условно, по улице течет лава, а не ряды. Идем вперед, будто этих выстрелов и не было. Они в ответ целое облако газов, белый, как вата, туман, такой густой, что не видно своей вытянутой руки. Резкая, жуткая боль в легких, ощущение, словно я сейчас взорвусь изнутри. Ветер с их стороны, и инстинкт подсказывает, что нужно отступать, бежать назад с вытянутыми руками, чтобы не налететь на кого-нибудь.

Петляю по улице Владислава IV, долго стою опершись о дерево, стараюсь восстановить дыхание, ноги ватные, понимаю, что парализован, не могу двигаться. Легкие разрывает страшная боль. Ближе к железной дороге вновь жарко. Наши «ковбои» стоят расставив ноги, уже без щитов и палят не целясь, просто по толпе. Люди пытаются укрыться за железнодорожной насыпью.

Бегу по насыпи. С той стороны стоят зеваки, много женщин. Демонстранты, отступая, создают под виадуком жуткую давку. Перескакиваю через пути, я не первый, кто хватает лежащие под ногами камни и швыряет в милиционеров. А те все напирают, не прекращая стрельбу. Однако выстрелы из пистолетов не частые, как ксендз кропилом. Вот они уже под мостом. Яростно забрасываем их булыжниками, как ни странно, думаю, что нашу ярость усиливает — это их «ковбойское» поведение. Перед гостиницей «Балтика» огромное, ничем не защищенное пространство площади, и люди растекаются вдоль железнодорожного полотна вправо и влево.

Стрелять вверх неудобно, поэтому они забираются на насыпь, пытаются взять нас в кольцо. Оборачиваюсь и вижу нацеленный прямо на меня пистолет, внутренний порыв — спастись! Бросаюсь на землю, скатываюсь по насыпи мимо лежащих тут и там убитых и раненых. Откуда ни возьмись, спасительный товарняк и на какое-то время отделяет нас от милиционеров. Некоторые, спасаясь от пуль, вспрыгивают на проходящий поезд.

* * *

Теперь я знаю, что сделаю, когда вернусь на верфь. Я буду действовать в открытую. Хватит прятаться с листовками, как вор, по грязным раздевалкам и курилкам. Свои наверняка будут меня предостерегать, зачем тебе это нужно? Ты еще такой молодой, тебе ведь и двадцати нет, вслед за «декабристами»[1] захотелось? Но сила духа, полное спокойствие и абсолютная уверенность в правоте своего дела должны повлиять на них. Они поймут, что у коллективного страха есть свои границы. Я могу пропасть без следа, но останется след в душах людей.

Когда после школы я приехал на Побережье, то думал, что уж тут-то люди ничего не боятся. Но оказалось, что это не так. Отец мне все время твердил, не

[1] Имеются в виду участники забастовок и выступлений рабочих в декабре 1970 г.

лезть ты в эти дела. А матушка постоянно за меня молится. Но поздно, мои любимые старики.

Через год в этот же день собралась еще большая демонстрация, но уже без меня. Я не принимаю в ней участия потому, что просто сижу в тюрьме. Демонстрация была назначена на вторник, а меня посадили в воскресенье. В дверную щель мне видно, как вводят все новых и новых ребят. Я размышляю — мы, арестованные, знаем время начала демонстрации и сможем к ней присоединиться. Я очень рассчитываю на то, что после обеда меня поведут в сортир первым и тогда на меня ляжет обязанность запеть в коридоре гимн. Петь надо так громко, чтобы сидящие за толстыми дверями камер могли меня услышать и подхватить пение.

Первым вывели Шудловского. Он сидит в камере № 4, и сегодня начали почему-то с нее. Обычно же начинали с камеры № 1, в которой сижу я. Шудловский пропел в коридоре первые строки гимна, и его грубо втолкнули обратно в камеру. Но сигнал был уже дан, и заставить прекратить пение в камерах невозможно.

Потом наступает тишина. Через несколько минут заскрежетал замок моей камеры. Меня выводят в коридор, начинаю лихорадочно придумывать, как дать Шудловскому знак, что он не одинок.

Выйдя из сортира, бросаюсь к дверям его камеры, крепко хватаюсь руками за решетку, так что охранникам нелегко сразу оторвать меня от нее, и кричу, Шудловский, вы не одиноки! Меня зовут Анджей Колодзей. Здесь полно наших. У вас отобрали матрац и одеяло за то, что вы начали гимн, я в знак солидарности с вами выброшу в коридор свои одеяло и матрац.

Меня вталкивают в камеру, но прежде чем успевают захлопнуть дверь, я, изловчившись, выбрасываю в коридор матрац с одеялом. Через минуту слышу за дверями своей камеры голос, а я Анджей Буткевич. Сижу с воскресенья. Я тоже с вами.

Примерно через полчаса меня выпускают. Возвращаюсь в свою рабочую общагу, в комнате сидят несколько человек, все свои, спрашивают, почему тебя не было на митинге?

После того обыска, когда менты уже поняли, что я имею отношение к печатанию и распространению листовок, я и решил вести свою деятельность открыто, не таясь.

Во время обеда вхожу в столовую. Вытаскиваю из-под куртки кипу листовок и раскладываю перед обедающими. На лицах недоумение, потом удивление. На листовки смотрят недоверчиво. За моей спиной кто-то кричит: так это же «Рабочий»! Все бросаются ко мне, вырывают листовки друг у друга.

В тот же день меня вызывает начальник цеха, если вы собираетесь продолжать подобную деятельность, то только не на территории верфи. Что мне делать, я решу сам, без подсказок. Если вы не успокоитесь, то вылетите с работы.

Даже люди, которых я никак не могу заподозрить в трусости, говорят мне, как это ты не боишься? Я бы никогда не решился. Если тебя с работы все-таки уволят, то вот тебе наши адреса, телефоны, как-нибудь и чем-нибудь поможем.

Дошло до того, что в январе я роздал в цеху примерно тысяч десять листовок. Когда в конце месяца взял отпуск, начальство облегченно вздохнуло.

В первые же два дня после отпуска я опять за свое — раздаю листовки, а на третий сам получаю бумажку — приказ о моем увольнении.

Мы едем в трамвае с кипой листовок на себе. Там о незаконно посаженном в тюрьму Хоецком. Привязываю шнурок самодельной катапульты к оконной раме. Дарек предупреждающе кивает, указывая на двух солдат на задней площадке. Мы нервничаем и поэтому никак не можем открыть окно, возимся, наконец катапульта выстреливает в раскрытое окно, и листовки рассыпаются над морем голов на привокзальной площади. Начинается столпотворение, останавливаются машины, люди ловят, подбирают с земли листовки. Листовки, как стаи белых голубей, парят над Длугой и опускаются на мостовую. Мы действуем хоть и организованно, но без согласования с другими, теми, с кем мы связаны своей подпольной деятельностью. Так мы готовим демонстрацию к 3 мая[1], а Борусевич настаивает на том, чтобы отметить годовщину 17 декабря.

Едем к Валенсе. У нас все готово: тексты, типография. Квартирка маленькая, стандартная, шестеро детей, жена, колыбелька для грудного, в общем, теснота жуткая.

Слушай, Лех, ты в принципе согласен, чтобы движение «Молодая Польша» и независимые профсоюзы совместно провели демонстрацию 3 мая?

Разумеется, согласен. Есть такие, у которых в загашнике всегда что-то оставлено, припрятано. Лех к ним не относится, он всегда выкладывает все, что у него есть. Леху веришь, как самому себе, он — верняк.

---

[1] Конституция 3 мая — первая в Европе парламентская конституция, принятая сеймом Польши в 1791 г.

Приходит соседка, я тут тебе огурчиков принесла, за ней другая, вот, селедочка. Все считают своим долгом помочь. Обмываем новорожденного.

На улице за нами — топтуны. Только выйдешь из подъезда, как за тобой машина, провожают прямо до остановки. Дарек, я чувствую, что после демонстрации сразу же пойдем в отсидку. Если я не успею со своей речью, ты меня выручишь?

Адвокат, с сегодняшнего дня пошел третий месяц пребывания обвиняемых в тюрьме. По Уголовному кодексу содержание в тюремном заключении допускается не более месяца с момента передачи дела в суд. Установленный законом срок нарушен уже более чем вдвое. Многое говорит о том, что выездной коллегией суда они должны быть признаны невиновными и приговоры, вынесенные им 5 мая, являются незаконными. Причем они были осуждены на максимальные сроки. Действия обвиняемых никак нельзя классифицировать как социально опасные, к тому же у обвиняемых не было ни одной судимости, им инкриминировалось участие в несанкционированном митинге, который продолжался час, ну, самое большее полтора, причем обошлось без вмешательства сил правопорядка. Нарушения общественного спокойствия были не бо́льшими, чем во время экскурсии по городу группы туристов.

Все обвинения касаются состоявшихся в Гданьске 3 мая демонстрации и митинга, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Обвинения содержат три пункта: во-первых, проявление неуважения к Польской Народной Республике и к польскому народу, к общественному строю ПНР и ее государственным органам; во-вторых, нарушение общественного порядка посредством выкриков и создания шума и, наконец, организация и проведение неразрешенных демонстрации и митинга, нарушивших в некоторых местах движение транспорта. Констатируется, что это собрание носило нелегальный характер, но подобное обвинение можно было бы выдвинуть против каждого из многих тысяч, отмечавших таким образом День Конституции. Но все-таки привлечь к суду и посадить тысячи людей нельзя, поэтому обвинения выдвинуты лишь против тех, кто выступал на митинге и высказал свои политические взгляды, отличные от взглядов власть предержащих в нашей стране. Трусливая власть боится напрямую выдвигать обвинения против своих политических противников, вот и звучат эвфемизмы, второстепенная ерунда: помехи городскому движению, слишком громкие выкрики в мегафоны, о содержании же речей и «выкриков» — молчок. Следуя логике властей, можно предположить, что все остальные, кто в этот день прошел маршем от Мариацкого костела до Дровяного рынка, имели официальное разрешение властей.

Эта полустихийная демонстрация к памятнику Яну III в годовщину принятия Конституции 3 мая преследовала единственную цель — достойно отметить один из национальных праздников, отмечавшийся четырьмя поколениями поляков и во времена политической свободы, и в годы иноземного порабощения. И во всем, что касалось этого праздника, все поколения всегда были едины, тут ведь не пустая формальность — праздник Конституции 3 мая символизирует любовь к родине, сама Конституция была принята ради ее спасения, в ней провозглашены свобода и независимость. Эта либеральная конституция — наказ народа самому себе, вот почему более ста пятидесяти лет она была лучом света во мраке рабства, источником силы для наших предков, сражавшихся за свободу в эпоху всеобщей тирании. Обвиняемые не совершали ничего незаконного, а только продолжали дело и традиции своих дедов и прадедов. Принять сторону обвинения означало бы противоречить самим себе и высказать неуважение многим поколениям поляков, чтивших Конституцию 3 мая. Недопустимо прерывать эту традицию. Это важнее возможности беспрепятственного проезда для нескольких автомашин по улицам Пизной или Святого Духа, важнее, чем впечатление, произведенное речами у памятника Яну III Собесскому на нескольких сотрудников милиции. Эти впечатления, изложенные в форме свидетельских показаний перед выездной коллегией суда, звучат очень неубедительно. Свидетели показали, что обвиняемые в своих выступлениях на митинге оскорбили народную власть, требуя, чтобы она не говорила от имени народа. Приводились также содержавшиеся в речах якобы клеветнические измышления о том, что партия и правительство страны тайным поощрением повального пьянства способствуют деградации и вырождению народа. Однако тексты речей, произнесенных на митинге, лежат перед членами Высокого Суда, в них действительно содержатся критические высказывания в адрес властей, но никаких оскорблений, измышлений, клеветы и заведомо ложной информации в них нет. Наоборот, содержащаяся в них конструктивная критика говорит о любви ораторов к родине, заботе о ней. Содержание и тон речей были слишком возвышенными для клеветы, хотя, разумеется, были неоднозначными, противоречивыми. Обвиняемые высказывали свои политические взгляды и убеждения, которые в свободной стране могут быть разными. Так, в выступлении Шудловского содержались оценки современного состояния нашего общества, но нисколько не порочащие его. То же можно сказать и о заявлении движения «Молодая Польша», распространенном в связи с годовщиной катыньской трагедии. В своей речи Кобздей только призвал почтить память наших офицеров, погибших в Катыни. Помнить о десяти тысячах офицеров, защитниках родины, — это наша священная обязанность, патриотический долг. Страна, которая забывает о своих героях, отдавших за нее жизнь, недостойна быть самостоятельным государством.

Обвинения в оскорблении государственного строя ПНР — типично политические. Обвиняемые «нарушили» принятые формы публичных высказываний, поскольку были убеждены в своей правоте. Как показывает история человечества, бороться с такими проявлениями гражданской смелости не имеет смысла.

Шудловский не может быть привлечен к уголовной ответственности как за то, что прошел по улице Пивной не по тротуару, а по проезжей части, так и за организацию антиправительственной демонстрации, поскольку присоединился к ней, когда она уже двигалась по улице к памятнику. Тот факт, что Дариуш Кобздей представил собравшимся Тадеуша Шудловского, свидетельствует лишь о том, что выступавшие по очереди представляли друг друга. Утверждения же, что Дариуш Кобздей руководил ходом митинга, являются бездоказательными.

При каких обстоятельствах обвиняемый Кобздей был арестован? Знакомство с обстоятельствами говорит о том, что лица, принимавшие участие в слежке за обвиняемым и его аресте, по закону должны быть привлечены к уголовной ответственности. Когда обвиняемый Кобздей с группой друзей и знакомых, состоящей из десяти человек, возвращался с демонстрации домой, на них было совершено нападение, все десять человек были жестоко избиты. Необходимо отметить, что среди них были женщины и один ребенок, не пощадили ни женщин ни ребенка. Одну из женщин забрали в отделение милиции, избили в буквальном смысле до потери сознания, после чего ее в бессознательном состоянии отвезли на окраину Гданьска и выбросили из машины. Я, адвокат, то есть также представитель правоохранительных органов, вынужден был обратиться в воеводскую прокуратуру и привести все эти страшные факты и подробности, обратив особое внимание и на зверское убийство молодого человека, врача по профессии, совершенное только потому, что он осмелился публично высказать свои политические взгляды, отличные от официально принятых.

Второй адвокат, я постараюсь дополнить выводы моего уважаемого коллеги, представляющего сторону защиты.

Прежде всего само судебное разбирательство по делу обвиняемых должно вызывать глубокое возмущение у любого юриста. Почему их судит выездная коллегия? Этот псевдосудебный орган государственной власти нарушает существующее законодательство, превращая судебное разбирательство в милицейскую расправу. Поспешно отданное кем-то категорическое указание не гарантирует обвиняемым права на защиту. Это явное беззаконие, а с беззаконием мы никогда не соглашались, не соглашаемся и не согласимся! Пока же приходится констатировать, что псевдосудебное разбирательство проводится фактически не судебными органами, а представителями Министерства внутренних дел, как будто законов не существует. Эти возмутительные нарушения законности, а частности статьи 8-й УК ПНР, происходят в Гданьске, до сих пор бывшем одним из центров правовой культуры страны. Как адвокат и как гражданин ПНР я должен сказать, что в настоящий момент обвиняемые Кобздей и Шудловский являются конкретным, живым опровержением утверждения, что в Польской Народной Республике без приговора суда никто не может быть лишен свободы на срок больший, чем это предусмотрено законом.

Таким образом, настоящее судебное разбирательство имеет принципиальный, даже символический смысл. Рассматриваемый Высоким Судом случай тем более прискорбен, что перед судом предстали люди нравственно чистые, обладающие исключительно высоким чувством моральной ответственности перед обществом. Поэтому я прошу Высокий Суд придать особое значение именно моральной стороне рассматриваемого дела.

Где же конкретно обвиняемые высказали неуважение нашему общественному строю? Проявляю ли таким образом свое неуважение к стороне обвинения и я, в частности, к прокурору, который, к сожалению, покинул свое кресло, а я не люблю говорить об отсутствующих, когда публично критикую их позицию? Наоборот, я не только на словах, но и на деле выражаю свое уважение Высокому Суду и лично товарищу прокурору. Не уважает польский народ лишь тот, кто утверждает, что любая критика существующего положения вещей направлена против нашего народа и государства.

* * *

В Варшаве Михник меня спрашивает, как ты попал в оппозицию? Ты ведь инженер? А я стараюсь понять, почему в оппозиции одни гуманитарии? К чему они стремятся? Работа у них не пыльная, деньги им платят — не ахти, конечно, что за деньги. Но все же. И самое главное — они понятия не имеют, что такое в действительности социализм. Против чего же они-то бунтуют? Принимают ли они во внимание, что власти не допустят создания независимых профсоюзов, потому что это единственная реальная сила, способная противостоять творящемуся вокруг злу. Начинать нужно с того, что больше всего волнует людей сегодня. Если мы должны поднять общество, то это надо делать не так, как это делали капралы — под лозунгами и знаменами независимости, а обращаясь к вещам повседневным, которые еще можно как-то поправить. Например, рабочие нормативы.

В своих лекциях я стараюсь наглядно показать слушателям, что рост заработной платы у них мнимый. Дирекция, администрация, любое начальство хотят переложить ответственность за неэффективность экономики на вас, — обосновываю

я необходимость создания своих, рабочих профсоюзов. Система начисления зарплаты все-таки поближе к телу, чем историософские тезисы.

В последний день апреля мы выпускаем листовку-декларацию, где изложена наша программа, в конце сообщается наш адрес. В фантазиях рисуется длинная-предлинная очередь, решаем дежурить по три дня — первые три дня я, потом она. Но действительность оказывается ужасной, лишь изредка к нам кто-то заглядывает и то обязательно поддатый. Мы его выгоняем, вежливо, но выгоняем.

Однако я неправильно оценил ситуацию. Страх силен, но к нам все чаще приходят те, кому необходима наша помощь, прежде всего уволенные с работы, они нам доверяют. Ну и так постепенно, постепенно дело налаживается. В июне к нам подключился Лех Валенса, потом присоединилась Анна Валентынович. Народ со временем подбирается.

Мы начинаем издавать «Рабочий Побережья», но нам не хватает интеллигенции. Она идет скорее в движение «Молодая Польша», там привлекают национальные лозунги. Но и мы потихоньку раскручиваемся, каждый ведет свою группу, человек пять—семь. У некоторых, правда, группы по десять—двенадцать человек, но это редко — большую группу легче обнаружить. Тех, кто поддерживает с нами связь, выгоняют с работы, но меня держат. Я удостаиваюсь высокой чести, за мной следит сам директор. Однажды на территории я вижу, как из-за кучи угля выглядывает верхняя половина здоровенной туши в голубой сорочке. Начальники четвертый раз за короткое время получают указание найти предлог для моего увольнения, но половина из них приходит ко мне и предостерегает меня. Я тронут, даже несколько меняю свое отношение к партийным.

Нет, повода я им не дам, ни опозданием, ни выпивкой, ни отлучкой куда-нибудь в рабочее время. Я внутренне собран, становлюсь просто образцовым работником. Даже дома приходится быть в состоянии боевой готовности, ведь они могут ворваться, скрутить, а потом заявят, что я был пьяный и это подтверждено объективно проведенной экспертизой, кровь была сдана на анализ анонимно. Под действием алкоголя я избил, мол, восьмерых милиционеров и повредил милицейскую машину. Говорить что-либо на суде, возражать бессмысленно, такие, как я, права голоса вообще не имеют.

К нам приходят рабочие, спрашивают, как, бастуем или нет? Но мы в независимых профсоюзах исходим из того, что нельзя никого заставлять совершать поступки, за которые потом люди понесут ответственность, поэтому приходится говорить, поступайте, как сами считаете нужным.

Сварщики смеются: эх вы вон в Жешове, говорят, поезд к рельсам приварили, а вы ничего до сих пор сварить не можете.

В начале июля наши безработные неожиданно получают работу, власти предпочитают иметь их под рукой и контролировать, только пани Аню увольняют с верфи как потенциального руководителя забастовки. Немедленно выпускаем резкую листовку с требованием вернуть пани Аню на работу, в ее защиту выступила вся верфь.

По Гданьску бродят слухи, что двадцатого августа будет объявлена всеобщая забастовка. Знакомые меня спрашивают, правда ли это? Возможно, это попытка властей спровоцировать забастовку в определенное, удобное для себя время, чтобы тут же ее подавить. Понедельник действительно очень удобный день, так как в субботу после работы потенциальных руководителей забастовки можно арестовать, и в понедельник утром это уже будет не организованный протест рабочего класса, а беспорядки.

В четырнадцать ноль-ноль я должна явиться к начальнику цеха. Вызывает. В качестве свидетельницы беру с собой подругу, но Гуминьский сразу начинает орать, а вас кто сюда приглашал, выйдите отсюда!

Подруга выходит, я тоже возвращаюсь в цех. Мачек, тебе ничего не надо говорить, ты только поприсутствуй, будь в случае чего свидетелем, неизвестно, что нащеха против меня затевает.

Идем молча, потому что нас сопровождает бригадир. Только мы появляется в дверях кабинета как Будзиш рычит из-за стола, а вы сюда зачем, кто вас звал?!

Это я его попросила в качестве свидетеля нашего разговора. Будзиш прямо в лицо Мачеку, не будет здесь никаких свидетелей, вон отсюда!

Мачек пятится, оставляя дверь раскрытой, я за ним, не будет свидетелей, не будет никакого разговора. Будзиш захлопывает дверь, я остаюсь в кабинете, мне нужно вам кое-что сказать, я не хочу, чтобы при этом кто-либо присутствовал.

Простите, но с вашей стороны тоже присутствует свидетель в лице Гуминьского. Пусть и он уйдет.

Мы остаемся вдвоем. Усаживаемся по обе стороны стола. Будзиш пододвигает мне какой-то документ, это приказ о переводе меня на другую работу.

Куда? Отдел снабжения Гданьской судоверфи

Отдел снабжения верфи — понятие весьма широкое. Мне бы хотелось поконкретнее узнать, где я буду работать, на каких условиях и кем? Скорее всего в Вислинке.

Где эта Вислинка? Четырнадцать километров от Гданьска, в сторону Нового Двора.

Но меня это не устраивает. Это нарушение трудового законодательства. Я не

буду туда ездить. Это далеко и неудобно. На каком основании? И что там, в этой Вислинке? Склад какой-нибудь? Подробности вам скажут в отделе снабжения.

Нет, я ни за что туда не поеду, тем более что здесь и так не хватает трех операторов. И чем вызвано это новое назначение? Производственной необходимостью — и обсуждению не подлежит. Если вы не примете наше предложение, то сами будете виноваты в том, что с первого февраля вас придется уволить. Поймите, вы должны это предложение принять, я ведь делаю это не по собственной воле и желанию, надо мной тоже есть начальство, я обязан выполнять приказы.

Дома все размышляю, ну как же так можно. Что это за высокопоставленные лица, на которых ссылался начальник цеха? Понимает ли он, что вредит не только мне, но и верфи?

На следующий день прихожу на работу, меня в табеле нет. Мастер протягивает руку, верните, пожалуйста, ключи от крана. Значит, все так и есть, как говорил начальник цеха.

Отдаю без звука. Работы на нашем участке прерваны, поскольку огромную гибочную машину обслуживать некому, мой кран стоит. Чтобы машина гнула трубы с большой точностью, на кране должен работать опытный оператор, и вот стоящая три миллиона злотых самая современная гибочная машина с программным управлением накрыта брезентом. Обслуживающий ее персонал переводят на машины старого типа, остальные будут гнуть трубы вручную. Это и тяжелее и дороже, потому что огромную трубу надо набить песком, добела разогреть в газовой печи и потом вручную вытаскивать. Я хотела как-то подтолкнуть людей протестовать, но все боятся. От меня ни на шаг не отходит один из мастеров, я вас прошу не отрывать людей от работы. Чувствую себя каким-то диверсантом.

В отделе кадров я вслух громко выражаю свое негодование по поводу того, что после тридцати лет безупречной работы со мной вот так поступают. Видя мое отчаяние и беспомощность, женщины из отдела встают из-за своих столов, окружают меня и наперебой начинают уговаривать, чтобы я не артачилась и соглашалась на другую работу, а то мои враги уж слишком легко получат против меня оружие. Вы что, не понимаете, что они вас уничтожат? И вот я в комнате номер сто двадцать начинаю реветь, впервые за время всех этих свалившихся на меня несчастий.

Пока я добираюсь до начальника отдела снабжения, во мне теплится надежда, что я смогу ему объяснить все как есть.

Вхожу в кабинет, начальник отдела снабжения, которого я не знаю, кивает, я знаком с вашим делом, жду вас с самого утра. Меня охватывает беспокойство, можно себе представить, как его познакомили с «моим делом». Я знаю, что вы прекрасный работник, а такие люди нам нужны. По одному его виду становится ясно, что в моем «деле» он ориентируется слабо. После того как я ему все выложила, он пожимает плечами, а что я могу сделать? Вас ко мне прислали, и нам придется работать вместе, вот и все. Подсовывает мне приказ о моем переводе.

Беру приказ в руки. Чуть ниже того места, где я должна поставить свою подпись, напечатаны слова: приступить к работе отказалась. Если это подчеркнуто, то приказ поступает в отдел кадров и работник квалифицируется согласно статье 52-й трудового законодательства.

Прочитав примечание, я, не говоря ни слова, ставлю свою подпись, поскольку знаю, что эта статья означает немедленное увольнение.

Возвращаю приказ, но я так угнетена всем происходящим, что еле слышу, что мне говорит пан Крук, идемте, я познакомлю вас, провожу на рабочее место.

Мы идем, продолжая разговаривать.

Всего на складе работают четыре человека. Ни криков, ни грохота, ни дыма — чистота, дневной свет, доброжелательные лица, как будто я окружена родными и близкими. Вместе со всей четверкой входим в какое-то помещение, чуть побольше средней величины комнаты. Здесь будет ваша раздевалка, можете располагаться хоть сейчас. Янек, у тебя время пока есть, прибей над окном планочку, повесим занавески, чтобы было поуютнее. Приятной вам работы.

Первая неделя проходит все в той же атмосфере доброжелательности и сочувствия, и я потихоньку начинаю привыкать к своему складу.

Мирек, я чувствую, что что-то не так, в чем дело, может быть, я делаю что-то не то, не так? Нет, нет. Однако по тому, как он все отрицает, становится понятно, что что-то он скрывает.

Подходит ко мне, как-то очень сердечно обнимает меня, в глазах слезы. Я могу кидаться то к одному, то к другому и спрашивать, спрашивать, никто ничего не скажет. Они боятся со мной разговаривать, не отвечают даже на простейшие и невинные вопросы. Может, я вправду в чем-то виновата, сама того не подозревая? Я работаю здесь всего девятый день, и вдруг такие перемены. Что с ними случилось?

Слушай, Мирек, сейчас одиннадцать, у меня пока работы нет, я быстренько сбегаю за зарплатой.

Подожди, мне нужно сообщить начальству, что ты выходишь.

Почему? Зачем? Работа же не страдает?! У меня приказ докладывать о каждом твоем шаге.

Как это? Ты сообщаешь начальству о каждом моем шаге?! Я что, рабыня? Все вы ведь тоже куда-то отходите, уходите по своим делам, и никто же вас не наказывает за нарушение трудовой дисциплины?

Не знаю. Я обязан докладывать. Если я этого не сделаю, а начальство узнает, что ты отлучилась со склада, то мне будет нагоняй.

Раковский, а я должен следить, чтобы ты ни с кем не вела никаких разговоров.

Вы что же, делаете это по собственному убеждению? Считаете это своей почетной обязанностью? А может, у вас какие-то корыстные интересы? Вам за это платят, да? Кто? Сколько?

Мирек, никто нам ничего не платит.

И когда же ты должен сигнализировать? Когда я ухожу? Или когда я возвращаюсь?

Тогда, когда ты мне говоришь о том, что собираешься отойти.

Слушай, но мне действительно нужно пойти за зарплатой.

Мирек снимает трубку, Валентынович хочет выйти получить деньги.

Кладет трубку. тебе разрешили выйти, но в двенадцать сорок пять.

Опять ничего не понимаю, сегодня же суббота, короткий день, без четверти час никого уже нет на месте. Все в двенадцать расходятся по домам, а кассир в полпервого уже должен отчитаться в центральной кассе.

Делаю в специальной книге отметку о своем уходе в одинадцать часов пятнадцать минут. Получаю деньги, возвращаюсь и ставлю напротив своей фамилии время: двенадцать пятнадцать.

В понедельник начальник отдела, я вызвал вас, поскольку вы нарушаете трудовую дисциплину. Вы самовольно покинули рабочее место, за это вам объявляется выговор.

Да как же так можно?! Я же ходила за зарплатой. Это гарантировано трудовым законодательством. О своем уходе я предупредила бригадира, так что ни о каком самовольном уходе не может быть и речи. Кроме того, я сделала отметки о своем приходе и уходе.

Но я вам назначил другое время, прерывает он, за это вы и наказаны.

Из кабинета выхожу с осознанием того, что мой перевод в отдел снабжения — это подключение к репрессиям против меня максимально большего числа людей. Ко мне подходят шестеро охранников во главе с комендантом, разрешите ваш пропуск. Поскольку на нем нет формы, он одет по-гражданскии, спрашиваю, кто вы такой?

Это не важно.

Вы уже не в первый раз отбираете у меня пропуск.

У вас я никогда не отбирал.

Вот, например, одиннадцатого января семьдесят девятого года, я шла из поликлиники, помните?

Подняв руки, это не я, я здесь работаю только с пятнадцатого января этого года.

Один из охранников звонит в гараж, подкатывает «Ниса», меня везут в штаб внутриведомственной охраны. На окнах решетки, на дверях электронный замок, сижу на лавке одна и думаю, что охранительные службы совершенствуются. Из дома меня не взяли, понимают, что тут я призову в свидетели соседей, а зачем тайным службам такая реклама? Они всегда стараются все обделывать по-тихому, прямо с рабочего места тоже не забирают, кто знает, вдруг бригада начнет протестовать? Поэтому сначала по любому незначительному поводу привязывается охрана, задерживает кого надо и передает госбезопасности. Все шито-крыто, никто ничего и не заметил, а я отсижу свои сорок восемь часов, после чего меня, не говоря ни слова, выпустят.

Не прошло и двух часов с моего ареста, как за мной приходят и говорят, пожалуйста, вас ждет машина, вас отвезут туда, откуда забрали.

Секундочку, отдайте мне пропуск и инструкцию, кроме того, я бы хотела получить письменное подтверждение того, что я отсутствовала на работе потому, что была задержана.

Дело в том, что комендант отошел куда-то, что же касается подтверждения, то мы таких документов не выдаем.

В сопровождении двух охранников сажусь в «Нису». Со своего рабочего места звоню начальнику отдела. Рассказываю о своих приключениях и спрашиваю про документы. Он удивленно, нет, я ничего про это не знаю, у меня ваших документов нет, и вообще, давайте поговорим завтра. Как это завтра?! Мне пропуск нужен сегодня, сейчас. Хорошо, до пятнадцати ноль-ноль я постараюсь все выяснить и тогда вам сообщу.

Подаю в суд, выигрываю дело и требую, чтобы решение суда реализовали. Обращаюсь к начальнику цеха, выражая готовность немедленно приступить к работе. Знать ничего не знаю, отвечает, и не хочу, чтобы в моем цехе шлялись посторонние люди. Я не посторонняя, а цех не ваша собственность, так что на работу у нас абсолютно равные права.

Приступаю к работе. Поскольку на пять кранов только три оператора, сажусь в свободную кабину. Мастер и начальник цеха в один голос орут, кто вас допустил к работе?! Немедленно покиньте кабину крана и вообще наш цех. Отойдите, пожалуйста, на стреле груз, как бы несчастного случая не было. Начальник цеха встает так, чтобы максимально мешать мне. Приходится опустить груз на землю. В ту же секунду мастер отключает ток и закрывает выключатель в ящике на ключ. Оба с криками набрасываются на меня, покиньте цех, иначе мы будем вынуждены

применить силу. Сейчас вызовем милицию, привлечем за хулиганство. И ведь привлекут.

Иду в раздевалку, чтобы там присесть и успокоиться. Вслед за мной вбегает мастер и приказывает гардеробщице, сейчас же прогоните эту и заприте раздевалку. Она не имеет права здесь находиться.

Гардеробщица, вот вы сами ее и прогоните.

Мастер выхватывает у нее ключи, покиньте раздевалку, иначе я вас запру.

Я не плачу, спокойно наблюдаю, что он вытворяет. Мастер настроен решительно, запирает меня в раздевалке и забирает ключи с собой. Открывает, когда кончается рабочий день.

В проходной на меня набрасываются четверо охранников. Отнимают пропуск, ведут к коменданту.

Комендант, почему вы не являетесь на работу?

Вы же сами меня не пускаете, это по вашему приказу меня заперли в раздевалке.

Я имею в виду отдел снабжения. Если вы отказываетесь там работать, то вам остается только покинуть территорию верфи.

С верфи я не уйду, а работать буду во Втором цехе.

На каком это основании вы собираетесь работать во Втором цехе?

На основании решения суда.

Покажите мне это решение.

Один экземпляр находится у делопроизводителя верфи, найдите его, пожалуйста. Еще один экземпляр есть у меня, но это мой собственный документ.

И вы мне его не дадите?

Не дам.

Встает с кресла и указывает рукой на дверь. В таком случае немедленно покиньте верфь.

Я не выйду без пропуска.

Хватает телефонную трубку, пришлите двух человек из охраны.

Вытягиваются перед комендантом.

Пожалуйста, выведите эту женщину с территории верфи.

Первый охранник не двигается. Второй, постарше, доброжелательно улыбаясь, протягивает мне руку, идемте.

Я стою на месте, не пойду.

Да что же нам, неужели силой вас выводить?

Нет, я пойду сама, только сначала пусть комендант выдаст мне письменное подтверждение, что с сегодняшнего дня он меня не допускает к работе.

Никакого подтверждения я вам не дам, кричит комендант, потому что вы тут же используете его в своих целях, передадите, например, на «Свободную Европу». Я знаю, вы и на такое способны, вы уже не раз это делали. Если я еще раз услышу по этому радио свою фамилию, я подам на вас в суд.

Мы встретимся в суде значительно раньше, потому что я сегодня же подам на вас в суд за незаконные действия против меня десятого марта сего года.

Я подхожу к телефону, снимаю трубку, комендант вырывает ее у меня из рук. Я хочу позвонить в отдел кадров, но он не дает. Сам набирает какой-то номер, алло, партбюро, передайте, пожалуйста, товарищу Шипиньскому, что я жду.

Я понимаю, что придется ждать и мне. Чтобы нарушить тягостное молчание, начинаю рассказывать о своей деятельности в оппозиции. О «Рабочем Побережья», соредактором которого я являюсь. Вы наверняка знаете, вам ведь приходилось его конфисковывать. А вот почему вы боретесь с правдой, непонятно. Победить зло мы можем только все вместе. Какую же правду отстаиваете вы? Посмотрите непредубежденно, на что направлена деятельность нашего независимого профсоюза и в защиту кого мы выступаем. Как же вы можете преследовать независимое рабочее движение?!

Седьмого со мной расторгнуто трудовое соглашение. Сделано это на основе статьи пятьдесят второй трудового законодательства. Девятого зарплата. На всех проходных получен приказ схватить меня, как только я появлюсь. На всякий случай не беру с собой пропуск, они ведь только и ждут, как бы у меня его отобрать.

Двое охранников ведут меня к коменданту. У входа я хватаюсь за дверной косяк, чтобы меня не впихнули в кабинет. Замешательство. Меня начинают оттаскивать, отрывать, я кричу, протестую. Царапаю о какую-то железяку руку. Они, как только увидели кровь, отпустили. Но тут же подкатила «Ниса», и охранники заталкивают меня в машину. По дороге я распахиваю дверцу и кричу возвращающимся со смены, слушайте, я Анна Валентынович, меня незаконно уволили с работы, сейчас они силой увозят меня с верфи, чтобы никто ничего не узнал. Охранник захлопнул дверцу и машина покатила дальше.

В отдел кадров двое верзил ведут меня, как уголовницу. Один протягивает сотруднице мой паспорт, та ставит печать о моем увольнении с работы. Вторая женщина пересчитывает деньги, мою зарплату. Эта печать в паспорте как клеймо на скотине.

Пани Аня, поверьте, я вынуждена это делать, извините. Но если я откажусь это делать, меня уволят, придет другая и сделает, что велят.

А вот если бы и другая отказалась, говорю я, и третья, то не было бы столько зла.

В разговор вмешивается еще одна кадровичка, вас уволили потому, что боятся, что вы сделаете революцию.

За воротами проходной силы покидают меня. На верфи я оставила без малого тридцать лет. Но ни плакать, ни подавать в суд я больше не буду. Все, сил больше нет. Чувствую себя совершенно разбитой. Нужно немного отдохнуть. А потом найду куда устроиться и доработать четыре месяца, которых мне не хватает до пенсии.

Вечером собрание редколлегии «Рабочего Побережья». Решаем немедленно составить и распространить листовку, обращенную к коллективу Гданьской судоверфи. В ней излагаем только факты. Труднее распространить, гэбисты ходят за нами по пятам. Во всех квартирах, где мы собираемся, встречаемся, проводятся обыски. Выход находит Борусевич. Он уезжает из Гданьска куда-то «в Польшу» и там находит типографию, где нам печатают листовки. Это занимает пять дней. Перед началом рабочего дня в шесть утра десятеро наших раздают листовки перед всеми проходными верфи.

Как на это среагируют люди, мы, конечно же, не знаем. Но уже в четверг четырнадцатого в шесть часов ответ дан.

На верфи идет служба. Все слушают ксендза, а мои мысли возвращаются к началу забастовки. В четверг и речи не было, чтобы отменить приказ о моем увольнении. В пятницу директор уже склонен отменить приказ и направить меня в механический цех, если я дам письменное обязательство, что с первого января уйду на пенсию.

А почему не в свой цех?

Потому что есть такое решение. Если вы примете мое предложение и будете добросовестно работать, я готов повысить вам зарплату.

Воспринимаю это как пощечину. Я работаю добросовестно всю свою жизнь. Это я требовала отменить фиктивные сверхурочные. А кто был инициатором этой липы? Не рабочие. Это руководству нужны были премии, а человеко-часов для перевыполнения плана не набиралось. Какой-то пожилой рабочий кричит на меня, чего вам еще нужно?! Директор идет вам навстречу, повышает зарплату, вам ведь все равно, где последние несколько месяцев доработать до пенсии.

Лех объявляет, что переговоры переносятся на завтра. Когда я выхожу, меня обступает толпа. Зал не радиофицирован, поэтому никто не знает, что там говорилось. Сыплются вопросы, ну что директор сказал? Отменен приказ об увольнении?

Он согласен отменить приказ, но посылает меня работать в механический цех.

Нет, ты должна вернуться к нам! Мы не затем организовали забастовку в твою защиту, чтобы все решал директор. Сегодня условия диктуем мы. Не соглашайся!

* * *

Мы стараемся заранее все предусмотреть, чтобы не повторить июльских ошибок, когда мы организовали забастовку в моем цехе после повышения цен на мясо. Тогда мы еще как-то очень всего боялись и потихоньку шептали друг другу на ухо: бастуем, бастуем, хватит. Действительно, тогда мы затянули завтрак до десяти пятнадцати и нас осталась такая ничтожная горсточка, что назвать это забастовкой было бы несерьезно. Нас никто не поддержал, никто не сказал: молодцы, что стоите на своем!

Теперь мы начинаем с листовок, сообщающих о незаконном увольнении пани Ани. На плакатах должно быть написано: требуем возвращения Анны Валентынович на работу! Требуем повышения зарплаты на тысячу злотых! Требуем денежной компенсации за инфляцию и рост цен!

Самые серьезные, самые организованные группы рабочих — сторонников независимых профсоюзов Побережья, разумеется, в Третьем и Пятом цехах, так что с Третьим и Пятым все ясно. Сперва назначаем забастовку на тридцатое августа, однако у нас еще не все готово, то есть листовки и плакаты, поэтому на один день откладываем.

Я захожу за Крыхом, и мы вместе идем на канал. Слушай, старик, ты завтра к четырем не мог бы подойти на работу? Завтра на верфи начинается забастовка. Ты мне будешь нужен, чтобы расклеивать плакаты и призывать людей не приступать к работе, а просто стоять на месте, как можно дольше стоять, потому что если хоть получасовой перерыв в работе устроим, то это уже успех.

Мы договорились на четыре, но я появляюсь на верфи только без пятнадцати шесть, так что Казик с Людвиком уже успели порасклеить все плакаты. Наспех переодеваюсь. Раздаем людям листовки, экземпляры «Рабочего», хватит играть с нами в жмурки, наигрались, заставляют работать, а жрать нечего. Сначала создай условия для работы, а потом уже требуй от рабочих. Работа прекращается повсеместно, мы не приступим к работе до тех пор, пока начальство не начнет

с нами переговоры. Собираем выборных представителей верфи и требуем переговоров с представителями властей.

Вы к чему стремитесь, к чему хотите все свести? К семидесятому году, чтобы опять кровь лилась?

Мастера и бригадиры бегают по раздевалкам и выгоняют людей оттуда. Нечего тут сидеть покуривать, за работу, само ничего не сделается.

Наступает самый ответственный момент. Кто-то побрел к докам, кто-то остался стоять. Тут группка, там группка. И попробуй все эти группки соединить! Ведь ясно — силой мы будем только тогда, когда все соберутся вместе.

Бросаюсь к расходящимся, куда, что вы делаете? Так опять ничего не выйдет, если все разойдутся. Чего вы боитесь, не бойтесь! Нервотрепка жуткая. Вижу, некоторые боятся бригадиров и что вообще еще не доросли, не созрели для политической забастовки.

Появляется Людвик с транспарантом. С ним человек двадцать — тридцать. Сошли со стапеля, остановились, стоят, ждут.

Мы хватаем каждого, кто попадется под руку, слушайте, присоединяйтесь вон к той группе, которая стоит там на площади. Если вы будете просто так шататься, то ничего не выйдет, когда мы разобщены, мы ничего не сделаем.

А группа вокруг Людвика все увеличивается, их уже человек шестьдесят. Вдруг, как черт из банки, появляется секретарь парторганизации, начинает орать, вы что?! За работу, гады!

Ты, партийный, если ты не бастуешь, то лучше отойди, а то мало ли что случиться может.

Появляется замдиректора Фельский, а это что за забавы в рабочее время?

А вот лозунг, прочтите.

Я не слепой и так вижу, ну объясни, в чем дело-то?

Забастовка.

А что это у тебя в руках?

Протягиваю ему «Рабочего», листовку, и он со всеми нашими материалами полетел в управление.

Второй замдиректора начинает перед собравшимися речь, вас безответственно хотят вывести на улицы. Ваши организаторы не думают, что взбунтовавшуюся толпу могут расстрелять, вновь прольется кровь!

Разрозненные группки, пытаясь расслышать, что он говорит, подтянулись, слились в одну. И это нам помогло. А он все продолжал призывать людей к работе.

Мы с Казиком идем на судно, чтобы врубить сирену. Входим по трапу, начинаем искать ручную аварийную сирену, такую, на случай пожара, но ее нет. А ведь должна быть.

Ребята, мы же боремся за общее дело, присоединяйтесь к нам!

Но лица хмурые, злые. Прогоняют нас, отойдите!

Толпа на площади все разрастается. К нам присоединяются обработчики и частично монтажники. Братья, ребята, мужики, обойдем всю верфь, будем призывать всех, чтобы присоединялись к нам.

Подходим к цеху. Человек пятнадцать, может двадцать, вбегают в цех и пронзительно свистят, забастовка! И все, больше ничего объяснять не надо, все идет на раз-два. Рабочие бросают работу, запирают инструменты в шкафчики и присоединяются к нам.

Теперь нас уже человек четыреста. А если бы не время отпусков — август, было бы еще больше.

Вновь какое-то движение, кто-то сказал, что к нам направляется огромная толпа. Людвик говорит, это Юрек со своими людьми из Пятого цеха. Ребята в их честь проревели громкое «ура». Теперь уже чувствуется, что бунтарский дух охватил всех.

От цеха к цеху толпа все растет. Мы стараемся не пропускать ни литейки, ни небольшие мастерские, ни кузницы. В дверях одной стоит начальник, не выпускает людей. Молодые ребята кричат, вы что, вот этого боитесь, который в дверях стоит?! Да не бойтесь вы, выходите, а если будет мешать, в канал сбросим!

Авангард нашей демонстрации уже достиг Второго цеха. Нас уже более двух тысяч. Второй застаем за завтраком, быстрее ешьте — и с нами! Всеобщая забастовка, здесь среди нас представители всех цехов! Задерживаемся минут на двадцать, ждем, пока все поедят.

Наконец две огромные толпы сливаются в одну, над нами красно-белый флаг. Мы решаем не ходить на площадь перед зданием дирекции, зачем нам нужно, чтобы нас снимали скрытыми камерами. Если хотят, пусть приходят сами и разговаривают.

Медленно приближаемся ко второй проходной, а что теперь делать? Нужно минутой молчания почтить память тех, кто погиб здесь в семидесятом, ведь известно, что большинство погибли у второй проходной.

Меня вдруг охватывает тревога, как бы толпа не вылилась в город. Не подходите к самой проходной, остановитесь в пятидесяти метрах!

Меня на руках поднимают вверх, я кричу, сейчас будет минута молчания, передайте дальше. Услышали, поняли, тишина. Потом раздается «Ешче Польска не згинела»...

Надо людям что-то сказать, но как это сделать? Мы все такие маленькие, нужно быть четырехметрового роста, чтобы тебя было видно. Справа стоит здоровый экс-

каватор, сооружаем из него трибуну. Я обрисовываю ситуацию. Сейчас необходимо выбрать стачечный комитет. Выдвигайте от цехов кандидатуры. Это должны быть люди, пользующиеся доверием, авторитетом.

В самый разгар выборов приходит директор. Дирекция, видимо, решила начать переговоры с рабочей массой. Залезает на экскаватор, его встречают аплодисментами, улыбается, вы прекрасно понимаете, что невозможно разговаривать сразу со всеми. Предлагает стачечному комитету прийти на переговоры в здание дирекции. Мы обсудим ваши требования, и я гарантирую, что они будут выполнены. Кто-то из толпы, они пойдут, и только мы их видели! Да ничего с ними не будет, я уже в семьдесят шестом был директором, помню, мы тогда поставили микрофон и все, кто хотел, говорили о своих болях и проблемах. Ни для кого никаких последствий не было.

Из толпы выделяется Лех Валенса, влезает на экскаватор, встает сзади за директором. Видно, что страшно нервничает. Ему, вероятно, пришлось оторваться от преследователей, а это всегда стоит нервов. Наконец дождался момента, когда толпа затихла, как море во время штиля.

Товарищ директор, вы меня помните? Вы меня уволили. Так пусть товарищ директор скажет за что? Коллектив верфи выразил мне вотум доверия. В семидесятом я был в стачечном комитете, в семьдесят шестом тоже, и вы, товарищ директор, за это меня уволили. О каком доверии к вам может идти речь?! Вы выбираете стачечный комитет, меня примете? Ему рукоплещут. Предлагаю объявить так называемую «оккупационную» забастовку.

Директор, как вы можете быть в составе стачечного комитета, если вы не работник судоверфи?!

Я был им в течение десяти лет, пока меня незаконно не уволили. Однако я продолжаю себя считать работником верфи. Кроме того, я предлагаю, чтобы в комитет была принята Анна Валентынович, хотя ее здесь нет. Но я надеюсь, что директор нам поможет. Без выполнения этого требования никакие переговоры с дирекцией начаты не будут. Выбранных членов комитета я прошу пройти в красный уголок Четвертого цеха и там записать требования бастующих, а остальных просим подождать, не расходиться. После того как требования будут сформулированы, мы вернемся и представим их вам. Как только среди нас будет Анна Валентынович, мы начнем переговоры с дирекцией. Директор, я, собственно, не вижу никаких препятствий к тому, чтобы она была здесь.

Стачечный комитет удаляется в цех.

Я осматриваюсь и понимаю, что практически никого из присутствующих не знаю, кроме Богдана и Людвика. О Валенсе я только слышал. Особые опасения у меня вызывают молодые парни, на первый взгляд им лет по девятнадцать-двадцать, а они уже входят в состав комитета. И не руководит ли ими просто эмоциональный порыв? Насколько они осознают ситуацию? Отдают ли они себе отчет в том, какую ответственность на себя берут?

Добраться до экскаватора непросто, приходится продираться сквозь толпу. Возгласы, ребята, расступитесь, стачечный комитет идет! Валенса зачитывает требования. Пение гимна как бы проставляет на них печать.

Мы слезаем с экскаватора и идем в дирекцию на переговоры. Секретарша распахивает дверь в конференц-зал. Рассаживаемся, появляется Гнех со своей свитой. Директор впереди, улыбается, но держится официально. Он чувствует себя как дома, мы — как в гостях.

Товарищ директор, вы сдержали свое обещание и пропустили на верфь Анну Валентынович?

Нет, я этого не сделал, потому что не знаю, где она живет. Если кто-то из вас знает, я тут же дам машину.

Хорошо, что вы послали за Анной Валентынович, но, к сожалению, мы не можем вести переговоры, поскольку зал нерадиофицирован. Мы же обещали тем, кто ожидает нас снаружи, что они будут слышать все, о чем мы здесь говорим.

Директор чувствует, что его загоняют в угол. Такой решительности он от нас не ожидал. Значит, и директора можно поставить в положение, когда он вынужден слушать рабочего. Я впервые за последние часы чувствую прилив сил и сознаю, как справедлива наша борьба.

Директор, у меня предложение перенести переговоры в новый конференц-зал, он радиофицирован. Первое чувство, которое меня охватило, когда я в него вошел, было недоумение, зачем начальству этот дворец. В таком роскошном зале тысячи две могут разместиться. Кресла, столы, полы, стены, сколько труда в это вложено. Я на глазок определяю, что столешницы толщиной сантиметров тридцать, ножки толщиной сто миллиметров, звуконепроницаемые стены и потолок. И не жаль им денег, для кого этот зал? Не для рабочего же, он в такой роскошной обстановке тушуется. Не знаю, если в воеводских комитетах партии тоже такие же интерьеры, то пожары устраивать не следует, жалко. Надраенный паркет блестит. От всего этого великолепия мне становится как-то не по себе, прежде всего оттого, что, когда это строилось, о рабочих никто и не вспоминал.

Появляется Валентынович. Мы еще раз зачитываем наши требования, чтобы их слышала вся верфь. Доходим до пункта, где содержатся требования гарантий безопасности забастовочного комитета и всех бастующих.

Директор, на вверенном мне предприятии никого к ответственности привлекать не будут.

Лех, а за пределами верфи? Это вы гарантировать можете? Вспыхивает спор,

как гарантировать нам безопасность и кто это должен обеспечить, мнения разделились.

Переходим к повышению зарплаты. Две тысячи.

Директор, что-то вас вверх понесло. На вашем плакате я видел требование тысячи злотых, а сейчас уже две. Такими темпами через час вы можете пойти еще дальше и потребовать три тысячи. Я тут звонил куда надо, советовался. Правительство гарантирует вам оплату по высшей, пятой, категории. Большего вы не добьетесь, хотя, честно говоря, я не знаю, откуда и на это-то брать фонды.

Его моментально знакомят с только что сделанными расчетами, максимальная суточная оплата будет составлять около четырехсот злотых. Вы что, товарищ директор, шутить изволите?! Против этой эксплуатации мы и выступаем. Люди работают на износ, условий никаких, теснота, рабочий на рабочем сидит, маляр, монтер, сварщик — все в одной куче. Сварщик варит, а маляр в это время красит борт, у него краска загорается. Люди болеют, масок нет, вентиляции нет, техника безопасности нулевая, организация работы тоже.

Лех, мы не согласны на пятую категорию. Если на этом ваша компетенция кончается, то пусть переговоры ведет кто-нибудь с бóльшими полномочиями.

Директор, уже поздно, вечер, давайте решать, я взываю к вашему разуму. В стране критическая ситуация. В любой момент не исключено вторжение войск и милиции, о нем могут попросить.

Казик, нам не нужно даже объяснять, кто может попросить, мы сами догадываемся.

Козатек, директор все это говорит, чтобы нас напугать!

Директор, но помните, что я вас предупредил. Итак, решили, переносим переговоры на завтра на семь утра.

Эта перепалка вызывает у меня раздражение, один перебивает другого. Балаган какой-то. Как нам форсировать начатое наступление? До сих пор всем правил директор, и сейчас он разговаривает с нами с позиции силы. Это видно даже по мелочам, например, когда директор объявляет перерыв и время, сколько он будет продолжаться. Опыта нам не хватает, только Лех держится превосходно.

Выхожу из зала проветриться и размяться. Кругом люди сидят, лежат на принесенных кусках поролона. Чувствуется, что они все время находятся в состоянии боевой готовности, они рядом, они следят, чтобы с нами ничего не случилось. Многие расположились на траве. Некоторые спят, другие разговаривают. Выглядит все это внушительно, даже грозно. Если кто-либо посторонний задумал бы вторгнуться на верфь, они — здесь, они несут вахту, они дадут отпор любому. Смотрю и не могу насмотреться. Во всем этом чувствуется огромная воля к борьбе за свои права. О каких компромиссах с дирекцией может идти речь, как можно изменить этим людям? Они готовы сидеть так целую ночь, до утра. Даже после нашего объявления о переносе переговоров на завтрашнее утро большинство не покидают свои посты на газонах.

Возвращаюсь в конференц-зал. Многие уже спят, кто в креслах, кто положив голову на стол. Я тоже решаю вздремнуть. Уже четыре, а может и полпятого.

Я стою у третьей проходной, разговариваю с ребятами из своей бывшей бригады. Вдруг крики, к нам идет Северная. Выбегаю на дорогу, вижу множество людей. У идущих впереди на рукавах красные повязки. Приветствия, объятья, радостные похлопывания по плечам. Спрашивают, что у вас происходит? Быстро просвещаем их и вместе идем в забастовочный комитет.

Казик, ты кого это сюда ведешь?

Яцек, вся Северная к нам пришла! Что с ними будем делать?

Казик, им надо разговаривать со своей дирекцией, наша не может заниматься их делами.

Конечно, хорошо, что ребята с Северной тоже поднялись, но плохо, что они пришли на нашу верфь. В такой ситуации недоразумения почти неизбежны. Вы бы лучше у себя оставались, говорю им, на своей верфи. Поставили бы дежурных у проходных и возле забора! Вы наверняка ведь этого не сделали?

Стоящий во главе их колонны молодой парень утвердительно кивает, мы к вам пришли, чтобы бастовать вместе, так у них будет меньше шансов нас разогнать. Еще нужно будет Ремонтную сюда привести, здесь перед вашей дирекцией больше всего места.

Подходим к залу заседаний. Со всех сторон раздается «браво» и «ура»! То-то, думаю, у нашего директора веселые минутки, телефоны в кабинете, наверное, докрасна раскалились. Лех по радио, приветствую Северную судоверфь. Есть предложение, чтобы Северная собралась в одном месте, отошла от наших. Сейчас к вам подойдут представители забастовочного комитета, объяснят, что делать дальше.

Северная организованно уходит, а через несколько минут получаем сообщение, что Ремонтная тоже стоит. Сообщаю об этом в мегафон, всеобщее ликование.

События развиваются стремительно. Встала «Парижская коммуна», есть сообщения с других предприятий. В портах, да что же это Гданьская за кашу заварила! И другие с нее пример берут!

Переговоры с дирекцией возобновляются в девять. А в шесть от одного из директорских сообщений я прямо-таки остолбенел, в нем говорилось, будто мы согласились на оплату по пятой категории. Я вне себя. Замечаю директору, что он передает сообщение, не согласованное с нами.

Отвечает, я же вам ночью сказал, что ничего больше сделать для вас не могу, и думал, что вы согласились.

Вы, товарищ директор, видели, какие к нам только что гости пожаловали?

Да, надо признать, что вы поступили очень разумно, отослав Северную назад, к себе. Вижу, что на ваш комитет можно положиться.

Может быть, вернемся к двум тысячам злотых?

Директор, вы отдаете себе отчет, какая это колоссальная прибавка к месячной зарплате? А к годовой? Знаете, сколько это дает в сумме? Откуда государство может эти средства взять?

Встает один из наших, я могу подсказать откуда. Всем известно, какие огромные средства тратит государство на глушение радиостанции «Свободная Европа», но все равно все слушают, деньги выбрасываются на ветер.

Лех, за мной, например, ежедневно следят две машины и восемь человек, а сколько по стране таких, за которыми следят? Но мы все равно делаем свое дело, а денежки летят. В семьдесят восьмом Герек подписал конвенцию, в которой, в частности, говорится, что каждая группа людей имеет право создавать свою организацию, и даже получил за это какую-то медаль. А за мной как следили, так и следят, как преследовали, так и преследуют.

Директором управляют сверху, поэтому договориться с ним нет никакой возможности.

На территорию верфи я прихожу около двух часов дня. Вхожу в конференц-зал. Среди собравшихся сумятица и замешательство. Двое представителей Северной и Ремонтной верфей кричат, мы остались одни, Гданьская судоверфь нас бросила, предала. Валенса энергично выходит из зала. Я воспринимаю это как окончание очередного раунда переговоров с директором, но Борусевич горестно машет рукой, Лех закончил забастовку.

Я, так они приняли все наши требования?

Борусевич, не договорились о гарантиях безопасности для бастующих, семидесятый год может повториться. Если захотят, то выбросят всех за ворота, как в семидесятом, как в семьдесят шестом.

Непостижимо, как же опытный Лех мог сделать такой неосторожный шаг? Этого я понять не могу. Теперь, когда появилось столько новых делегатов, среди них наверняка оказалось много подсадных уток, Лех на них опирался, а они его подставили и провалили наши предложения.

Вдруг Валенса врывается в зал и кричит, забастовка продолжается!

Я, как это продолжается?!

Он, я сказал о принятом нами решении, но все кричат, что не согласны. И мы как представители работников верфи будем бастовать до тех пор, пока не будут приняты все наши требования, включая требование гарантий безопасности.

От его слов на глаза наворачиваются слезы. Рабочие, за которых все и всегда решали «представляющие» их коммунисты, сумели правильно сориентироваться в такой сложной ситуации и потребовать совершенно необходимых гарантий безопасности.

Делегатов Северной и Ремонтной уже нет, надо побыстрее их разыскать и предупредить, что забастовка продолжается.

Лех стоит у второй проходной, да, все вопросы, связанные с нашей верфью, мы решили, но мы начинаем забастовку солидарности, мы не можем бросить на произвол судьбы более мелкие предприятия.

Один из нашего забастовочного комитета, которого мы раскусили только в субботу, директорский стукач, берет микрофон, все вопросы решены, дирекция свои обещания выполнит, если все покинут территорию верфи до восемнадцати ноль-ноль.

К нему подлетает Миколайчик, ты говори только от своего имени, а не от имени всех, потому что мы остаемся, а ты, если хочешь, иди себе.

На проходную уже передали, чтобы там предупредили людей о том, что забастовка продолжается. Мы спешим к третьей проходной, кто-то сообщил Леху, что там выходят толпами.

Лех подкатывает на автокаре, если вы все уйдете, то нас останется горсточка, вы создаете властям прекрасную возможность задушить начатое нами дело. Нас остается слишком мало, чтобы обеспечить полную безопасность верфи. Да, свои проблемы мы решили, но разве можно бросать остальных, разве можно не помочь им?

Телефонный звонок, не может ли ксендз быть столь любезным, чтобы прийти на верфь в воскресенье и отслужить службу? Разумеется, это возможно, но я обязан предупредить епископа. На совершение обряда богослужения под открытым небом необходимо разрешение, тем более на территории государственного предприятия.

Епископ, я только что вернулся от воеводы Колодзейского, мы обсуждали вопрос о воскресном богослужении. Воевода просил меня, чтобы службу отслужил самый авторитетный священник, и назвал твою фамилию.

Выслушиваю лаконичный наказ как можно больше общаться с представителями стачечного комитета, с рабочими. Отец-настоятель вручает мне краткий текст своего послания к рабочим, из которого следует, что епископ полностью поддерживает бастующих.

В четыре часа дня надеваю сутану и решаю идти на верфь пешком.

Я бы хотел видеть председателя забастовочного комитета.

Забастовочный комитет — это все мы, слушаем вас.

Но ведь вами, вероятно, кто-то руководит? Разве можно разговаривать сразу со всеми? Завтра я должен отслужить у вас на верфи молебен. Стою, привлекая всеобщее внимание. Внезапно оказываюсь окруженным кольцом рабочих. Где Лех? Я смотрю на него, он на меня. Протягиваю руку, я приходской ксендз костела святой Бригиды. На этой территории находятся и три верфи. Этот, с усами, тоже представляется мне, Лех Валенса, я вас слушаю.

Завтра я должен провести здесь воскресное богослужение.

В этот момент раздается крик, есть ксендз! Сидящие прямо на земле люди бурно аплодируют. Просим ксендза сказать нам что-нибудь в поддержку. Каким-то образом в моей руке оказывается микрофон. Я пришел сюда затем, чтобы завтра в девять часов утра отслужить на вашей верфи молебен. Прошу подготовить мне алтарь.

Ко мне подходят председатели стачечных комитетов Северной и Ремонтной верфей, Северного порта, «Эльмора», а нас ксендз не посетит?

Да, я побываю на всех предприятиях.

Зачитываю собравшимся послание епископа Гданьского.

На Ремонтной судоверфи, будет ли воскресное богослужение и у нас? Можно ли обратиться с просьбой к другим священникам?

Именно так и будет сделано.

А что ксендз думает о нашей забастовке?

По-моему, вы должны, соблюдая законность и порядок, добиваться своих прав.

Благословляю их на прощание, как бы призывая держаться до конца. Под аплодисменты покидаю Ремонтную.

Конечно, началась суматоха, каждый хочет быть как можно ближе к алтарю. Я помогаю снять с лестницы ковровую дорожку, мы хотим протянуть ее между алтарем и второй проходной, сделать такой подход. Чтобы все это смотрелось, чтобы хорошо было.

Без пяти девять я с семинаристом и двумя помощниками отправляюсь на верфь. Подъезжаем, собралось тысяч, наверное, двадцать. Нас приветствуют громом аплодисментов, у собравшихся лица победителей. Отовсюду слышатся всхлипы, этот всеобщий негромкий плач трогает меня до глубины души. Из выстроившейся шереиги внезапно раздается, смотрите: а держится молодцом, идет, как полковник в атаку!

Рядом с больницей, неподалеку от главного входа, высится великолепный алтарь, весь в цветах, национальных и религиозных эмблемах. На воротах укреплен крест, рядом — портрет папы Иоанна Павла II и образ Ченстоховской Божьей матери. Пока я переодеваюсь, является капуцин, который должен помогать мне совершать обряд причастия.

Я стою лицом к алтарю, рядом — служащий литургию отец-настоятель и молоденький помощник. На крыше служебного помещения, прямо над проходной, расположилось телевидение. Снимают. Одна камера все время направлена на толпу, выхватывают лица. Среди стоящих за забором снаружи замечаю сестру и жену. Чувствую внезапный прилив гордости, что сам я — по эту сторону, а не по ту. Нас здесь значительно меньше, чем снаружи, тысяч, может быть, пять, а там — раза в четыре больше. Теперь пусть меня хоть танками давят, я не откажусь от проповеди. Пение пришедших на воскресную литургию нарастает с такой силой, что, кажется, дрожит весь Гданьск. На балконах десятиэтажных башен, в которых живут работающие в Гданьске советские служащие, то появляются, то исчезают человеческие фигурки. Прячутся, потому что боятся, что если они попадут в кадр, то могут потерять работу. У нас бы такого безобразия власти не допустили. Поют так, что перехватывает горло. По щекам непроизвольно катятся слезы. Женщины утирают глаза платочками. Богослужение на государственном предприятии оказывается способным потрясти основы. Взволнованы все. Великое дело! И конечно, уже можно сказать, что это успех. Молитва придала людям новые силы. За эти три дня и три ночи они устали, измучились, а сейчас как будто заново родились.

Услышав звоночек, я выхожу из вестибюля и поднимаюсь на алтарь. «Славься, Дева Мария!» — поет мощный хор. С высоты алтаря смотрю на море голов— прямо подо мной рабочие верфи, за забором тысячи горожан, ощущаю огромный прилив душевных сил.

Горячо любимые братья и сестры во Христе! Так много хочется вам сказать, вы тоже могли бы сказать многое. Божественная литургия всегда есть жертвоприношение, во время ее вы можете высказать Господу все, что лежит у вас на сердце. Человек как творенье Господнее по природе своей связан с трудом, повседневной работой во исполнение своего долга. Для пессимистов труд может быть проклятьем, свидетельством того, что и в дальнейшем человечество ожидают лишь тяготы, болезни, слезы, руины разрушенных городов, переполненные всевозможным оружием арсеналы и концентрационные лагеря с циничной надписью «Arbeit macht frei»[1]. Нам выпало родиться в век техники, поэтому роль человека в сегодняшнем мире можно определить как пассивную. Он не испытывает радости, представляя собой лишь «винтик» в монотонной мелодии механизированного труда. И самое печальное то, что цен-

[1] Труд делает свободным *(нем.)*.

ность человека определяется сегодня по тому, насколько он выполняет производственные нормы. Отсюда — как результат — безумная, бессмысленная спешка или же ничегонеделанье, поиски легких путей. Но это неправда, возлюбленные чада мои, оптимисты утверждают, что труд может стать благословением для человека. Достаточно спросить об этом узников тюрем, стариков или вас. Литургия окончена.

Ночью директор записывает на пленку свою краткую речь. Внимание, внимание, к вам обращается директор судоверфи. В субботу, шестнадцатого августа закончились переговоры, которые дирекция вела с забастовочным комитетом и делегатами от некоторых других предприятий. Переговоры проходили в духе полного взаимопонимания, после чего было подписано соглашение. Было решено, что с первого сентября сего года средняя заработная плата повысится на тысячу пятьсот злотых. Были также приняты требования, которые может удовлетворить руководство верфи, остальные — переданы для рассмотрения в высшие инстанции. Согласно принятому постановлению, весь коллектив верфи должен приступить к работе с сегодняшнего дня. В субботнем соглашении было специально оговорено, что это непременное условие выполнения всех требований рабочих. Давайте не забывать, что мы, и только мы, ответственны за нашу верфь и за ее дальнейшую судьбу.

С самого утра — нервотрепка. Те, кто в воскресенье не вернулся на верфь, привычно, как ни в чем не бывало идут на работу. Информация директора первый раз прозвучала, когда еще не было шести, а мы-то думали, что человек поумнел. Начинают прибывать делегации от различных предприятий, прервавших работу еще в пятницу. Всего около тридцати человек. Некоторые одобрительно кивают головой, ну и башка у этого Валеисы, знает, что делает.

В начале девятого репродукторы разносят новое сообщение директора, в связи с создавшейся обстановкой дирекция просит представителей цехкомов собраться в зале заседаний Пятого цеха, чтобы обсудить возникшие проблемы. Остальные члены коллектива освобождаются от обязанности пребывать на своих рабочих местах до четверга.

Разумеется, это сделано нарочно, в пику нам, вот так вот, могут обойтись и без нас. Директор прекрасно знает, что забастовочный комитет находится в конференц-зале, однако он позволяет себе это игнорировать и назначить совещание в другом помещении. Отсюда вывод: полномочия директора должны быть временно отменены. Но мнения неожиданно разделились.

Лех, ладно, не мешайте ему, пусть себе собирает кого захочет и совещается.

Утром Лех объезжает верфь на автокаре. Едет медленно, за ним толпа. Выкрики, хватит выслушивать директорские бредни и терпеть его фокусы! Настроение у всех такое, что забастовка как бы начинается вновь.

Слушай, мы тут мешки взяли, хотим обойти ближайшие улицы, хоть немного жратвы раздобыть.

Хорошо, только возьмите с собой еще несколько человек.

Выходим из проходной, с нами — группка стоящих у ворот верфи студентов. Заходим в ближайший дом. Один звонит в дверь на первом этаже, остальные расходятся по другим этажам. Удивительно, но кое-кто из жильцов вообще не знает о забастовке. Мы делаем сразу два дела, собираем еду и информируем общественность о том, что происходит на верфи. Нет ни одного, кто бы после секундного замешательства и недоумения не распахнул холодильник и не достал все, что там есть. Ни одного отказа. Молодой человек, знаете, я живу один, только что встал, в магазине еще не был, а дома шаром покати. Но когда мы уже спускаемся вниз, догоняет нас, в целлофановом пакетике завернуты два яйца вкрутую и три помидора. Вот, больше ничего нет.

Блочные дома без лифтов, и через полчаса мы уже шатаемся от усталости. Но нас окрыляет то, что мешки тяжелеют и тяжелеют. Только что же мы будем делать, если забастовка затянется, а призыв «Свободной Европы» к жителям Побережья оказывать бастующим посильную помощь не даст результата?

Эти два дня были самыми трудными.

Но потом еды поступает все больше и больше, поддерживает нас Гданьск. Добровольцы обходят с корзинами овощные и фруктовые базары, доставляют нам десятки килограммов яблок, огурцов, помидоров.

У нас появилась даже финансовая база, так что к хлебу есть и колбаса, и ветчина, и масло. В городе масла нет, а для верфи есть! Рыбных консервов в магазинах тоже не найдешь, но если кто-то скажет, что для верфи, то сразу дадут.

Как хорошо, что на всей верфи есть газировка, потому что кипятить воду негде и не в чем.

Но вот из города привозят большой электрический титан, завариваем чай.

На кофе решено средств не тратить, чтобы не транжириться, хотя как раз кофе-то у нас оказалось полно, люди дают. Мы в состоянии сами купить кофе для всей верфи, но на черта нам кофе?! Однако нам приносят. И шоколад тоже.

Бутерброды сделаны и уложены старательно, любовно. Живущие в общежитиях ребята не из Гданьска — о-о-о! у-у-у! — так бастовать мы согласны все время! Си-

гареты есть, еда есть, работать не надо. Музыка, магнитофоны, гитары, пикник, а не забастовка!

Кругом улыбки, лица у всех веселые. Нет, не у всех. Среди нас немало и тех, кто пережил войну, пятьдесят шестой и семидесятый. Все это им далось нелегко, поэтому и сейчас они глядят невесело.

А вообще атмосфера вокруг забастовки, ощущение всенародного участия и поддержки — это для нас, поляков, конечно же, нечто из ряда вон выходящее, как и столь долгое совместное пребывание на верфи. Нам нанесли всего, но мы все время ходим голодными, некогда. То за столом президиума заседаешь, то внезапно, но надолго вспыхивает дискуссия, или обсуждение, или спор, то надо подъехать на одно из бастующих вместе с нами предприятий. Иностранные корреспонденты вылавливают людей, как рыболовы, и их приходится кормить всякими интервью и рассуждениями на запрещенные в стране темы. В такой кутерьме время летит быстро, и только вдруг чувствуешь, что ты страшно голоден, быка бы съел. Берешь горбушку хлеба, кусочек отгрыз и вроде бы наелся. Что со мной, не знаю. Или это у меня нервное напряжение?

Наши переговоры начинаются с разведки. Обе стороны горячо что-то декларируют. Ситуация и серьезная и смешная. Однако проблемы, вызванные забастовкой, необходимо было разрешить во что бы то ни стало, даже если бы над этим нам пришлось корпеть днем и ночью.

Уже третий раз за сегодняшний день Валенса поражает меня самоуверенностью, граничащей с наглостью. От него веет какой-то невероятной свободой, а исходит она от ощущения физической силы стоящих за ним людей. С каким удовольствием я повыдергал бы ему усы, вбил в зубы его трубку, чтобы она там так и торчала, чтобы он заткнулся навсегда. Хотя, будь моя воля, я не знаю, как долго я терпел бы этих сопляков и засранцев, самозванно именующих себя членами забастовочного комитета. Сейчас, кроме того, что это молодые щенки, про них ничего сказать нельзя. Даже слишком молодые, но уже требуют, чтобы мы говорили на равных, не учитывая, что у нас за плечами огромный опыт работы на верфи, что все мы пережили декабрь семидесятого, когда они еще ходили в школу, а еще раньше — черную бездну сталинизма, грозившего уничтожить всю нацию. Войну они знают по развлекательным книжонкам, что такое оккупация — по кинофильмам и телевизионным передачам. На нас смотрят косо и замечают, что наша идеология зашла в тупик, что мы — сторона проигравшая и обреченная, а ведь мы прежде всего защитники социализма, отстаивающие незыблемость государственных границ, закрепленных с помощью братьев по социализму. Именно благодаря нам крепнет союз людей труда с наукой, культурой и искусством, именно нашими усилиями удалось достичь прогресса во всех областях, и главным образом в политической и идеологической. Как страна, вставшая на путь строительства коммунистического будущего, мы уже добились того, что у нас есть свой космонавт, свой папа римский и свой контингент в войсках Организации Объединенных Наций. Наше социалистическое государство признано и уважаемо во всем мире, а тут какие-то обормоты своей, видите ли, забастовкой портят нам репутацию.

От этих мрачных мыслей у меня пересохло во рту, а все ли вы, присутствующие здесь, действительно представляете интересы коллектива? — про себя задаю я самый важный вопрос. Вам по молодости не понять моих забот, можете ли вы выражать подлинные интересы всех работающих на предприятии или ваша деятельность — только пустая трескотня? Украдкой поглядываю на Валенсу, они все тоже переглядываются. Сейчас я нарушу ваш заговор молчания. Сейчас всем станет ясно, свои ли вы интересы защитаете или поете с чужого голоса? Мне кажется, я своими конкретными вопросами ставлю их в тупик, мы все по вашей просьбе представились, а теперь не могли бы и вы сделать то же самое и сообщить, например, рабочий стаж каждого.

Мой вопрос — самый невинный и простой из тех, которые можно задать соплякам, однако и он их обескураживает, поскольку касается самой сути и вскрывает все пустозвонство и безответственность подрастающего поколения. Один числится на верфи тринадцать дней, другой — месяц, некоторые — по два, по три. Безосновательность их претензий сразу же проявляется весьма наглядно. Настоящей работы они еще и не нюхали и понятия не имеют о том, что такое труд. Хорошо, однако, то, что от них не исходит враждебность, плачутся по поводу своих низких заработков, но тут вмешиваются забастовщики постарше: не время и не место обсуждать личные проблемы. Директор возражает, все проблемы важны, и все их необходимо решать. Поднятые здесь вопросы будут решены в индивидуальном порядке, победно заканчивает директор.

Забастовка рано или поздно кончится, и потом партия наверняка обвинит нашу первичную организацию в отсутствии бдительности и слабой идеологической работе среди молодежи. Как же так, товарищи, на ваших глазах хулиганствующие молодчики раскручивают забастовку, а вы сидите по другую сторону стола и задаете им глупые вопросы, умных что, от вас ожидать уже не приходится?! Вы понимаете, что все это может кончиться новым декабрем и кровью на улицах?! При упоминании о декабре у меня до сих пор начинает учащенно колотиться сердце. Я знаю, что такое смотреть на раненого брата. Сам я чудом остался невредим. Я готов сделать все, чтобы дело не зашло дальше бурных дебатов. Думаю, что такие же декабрьские ви-

дения проносятся и перед глазами этих молокососов, хотя большинству из них было тогда по десять лет и знают они о декабре не по собственному опыту, а по рассказам. Это разные вещи. Для них это все-таки некая абстракция. Нынешняя обстановка нравится им, притягивает их возможность пощупать исторические, как им кажется, события своими руками. Они страстно хотят пережить новый декабрь и прямиком попасть на страницы учебников истории. Но история — дама капризная, и чаще всего она выбирает как раз не тех, кто изо всех сил стремится в нее попасть. Сегодня в цене рассудок, серьезность, умение предвидеть события, а этого-то им и не хватает.

Эта хитрющая бестия Валенса любой разговор умеет повернуть так, что приходится начинать с самого начала. Обязательно что-нибудь придумает, только бы найти повод продолжить забастовку. Но его приемчики я вижу насквозь — они примитивны, как недальновидна и вся его политика. Он же, со своим самомнением, даже не догадывается, что перед нами он как на ладони. Вся наша сторона за столом переговоров видит, что советники, консультанты ему просто необходимы, сам он решение найти не может. Вот он предлагает сделать перерыв, как ученик, который, при мысли о том, что его могут вызвать к доске и заставить отвечать невыученный урок, готов со страха наделать в штаны. После каждого такого перерыва он возвращается с подкинутыми ему новыми аргументами и наша дискуссия продолжается дальше. Плохо только то, что она совершенно бесперспективна, никаких надежд, одни разочарования. У нас в дирекции все отчетливее складывается мнение, что советников необходимо исключить из состава участников переговоров.

Никогда не поверю, что Кобздей или Шудловский могут проникнуться заботами и интересами простых тружеников. Но как прогнать этих профессиональных революционеров? Валенса с такой помпой представил их всем, прямо в микрофон объявил, в зале присутствуют Кобздей и Шудловский, они являются нашими почетными гостями. Хорошенькие гости! Я с ними, правда, не знаком, но кое-что слышал и даже читал про них в одной листовке. Оба — активные деятели организации «Молодая Польша». В своей политической разнузданности они докатились до того, что 3 мая публично выразили поддержку политике Картера и Бжезинского. Их выступления содержали также клевету на государственный и общественный строй Польской Народной Республики. Негодяи!

Как вот с такими бороться? Они же ведут себя как висельники, которым нечего терять, и не остановятся ни перед чем. Для меня очевидно, что их появление на верфи вызвано какими-то иными политическими целями. Как предупредить нежелательные последствия? Конечно, они прикрываются демагогическими рассуждениями, в которых главное — забота об интересах рабочего класса, но только безнадежный тупица не поймет их скрытые цели: привлечь работников верфи на сторону своей черной, кровавой и безжалостной революции.

Так как же все-таки с этим бороться? Само их присутствие обостряет конфликты. Эти проходимцы приложат все усилия к тому, чтобы забастовка продолжалась хоть до бесконечности. Их сверхзадача — втянуть в забастовку как можно больше предприятий, так чтобы в конце концов забастовала вся страна. Достаточно взглянуть на этих игроков, услышать хотя бы обрывки их речей, как нормального человека тут же охватит чувство тревоги и захочется крикнуть, послушайте, товарищи, эти профессиональные революционеры сознательно идут на обострение ситуации на верфи. Тот же Шудловский постарается сделать все от него зависящее, чтобы наши переговоры зашли в тупик. И не только он один. Эта напасть, эта псевдореволюционная зараза, с каждой минутой охватывает все большее число людей. Надо немедленно поставить заслоны на пути распространения пагубного влияния. Какие в связи с этим будут предложения, товарищи?

Я тоже член партии и должен признать, что наша молодежная организация действительно оказалась в стороне от жарких боев на идеологическом фронте. В результате наша деятельность была малоэффективной и нам не удалось предотвратить забастовку. Но почему так произошло, почему мы оказались небоеспособными, не готовыми к борьбе? Потому что в течение тридцати пяти лет нам не с кем было бороться, а искусство борьбы оттачивается только в борьбе. Все послевоенное время мы были авангардом рабочего класса, вот и пришла самоуспокоенность. Мы охотно почивали на лаврах, не замечая, что листья стали потихоньку подсыхать. Нам надо было брать пример со спортсменов. В спорте всегда есть соперник, вот и нашей организации необходим был соперник, конкретный враг, над которым надо было одерживать победу. А у нас враги были все больше воображаемые. Так что мы были победителями лишь в воображении, вот в чем драма!

* * *

Двадцать девятого я приезжаю на Побережье. Вещи оставляю в общежитии. Вахтерша мне говорит, если у тебя пропуск кончился двадцать восьмого, то сегодня тебе обязательно нужно быть на работе, а то тебя могут неправильно понять и не пустить на верфь.

Удается поймать такси. Перед закрытыми воротами рабочие с бело-красными повязками на рукавах и надпись: оккупационная забастовка. Подхожу к одному из них, я возвращаюсь из отпуска и хочу пройти на верфь. Подождите, пожалуйста, к вам подойдет представитель цеха.

Мне кажется, что я жду уже очень долго, а еще один парень перед ворота-

ми — тоже из отпуска, — знаешь, старик, а тебя могут и не впустить, если за тебя не поручится забастовочный комитет.

Здороваюсь с двумя из нашего цеха. Один из них записывает наши данные, забирает пропуска и разрешает войти на территорию.

За проходной возвышается навес, конструкция из досок, накрытых брезентом. Под навесом — лавки, на которых сидят рабочие. Чуть дальше — алтарь и крест. На нашей верфи я впервые вижу что-либо подобное. Ребята из цеха говорят, что богослужения теперь проводятся ежедневно.

Иду в свой Второй. Кто играет в карты, кто читает. Непривычное ощущение — быть на работе и не работать. Каждый ищет, чем бы заняться, только бы убить время. Идет пятиадцатый день забастовки, интересно, как они в таких условиях могут держаться так долго.

Да нет, нам здесь не скучно.

А чем вы все время занимаете? До завтрака спим, часиков так до девяти-десяти, потом слушаем трансляцию переговоров с правительствеиной комиссией. Сначала — «прямой эфир», а потом еще несколько раз повторяют. После обеда выступления артистов. Приезжают, поют песенки, которые цензура не пропускает. Потом молитва. А по вечерам фильм, там за алтарем экран висит.

Все идем на цеховое собрание. Наши представители от цеха — как раз те двое, которые встречали нас у проходной. Оба сварщики. Меня поражает «аншлаг» в зале, все места заняты. Многие даже стоят и слушают через раскрытые окна. Нам сообщается, что переговоры прерваны, Ягельский поехал в Варшаву. Положение нестабильное и неясное. Есть предложения: если переговоры продолжены не будут, поднять на забастовку всю Польшу.

Этот электрик, этот наш польский Хомейни, народный вождь, приходит к нам попить кофейку, пригласили его. Он так вымотан, что ему тут же готовят постель. Десятитысячная масса признает его своим вождем! Каждое его поручение или приказ выполняются немедленно. Что бы он ни сказал, это сразу же становится законом.

На меня он тоже производит большое впечатление, главным образом тем, что не принимает никаких диктаторских решений. Встает вопрос, вышвыривать ли с верфи руководящие партийные кадры, — он спрашивает мнение всех. Он держался молодцом и в пятницу, и особенно в субботу, самый сложный день из-за того, что всех тянуло домой. Сумел успокоить тех, кто постарше, они опасались, что на верфь ворвутся армия и милиция. Вдобавок ко всему дирекция ведет себя «not fair»[1], пришлось посадить ее под замок. Не поддерживающих забастовку под свист и улюлюканье выводят за ворота. Но никакого рукоприкладства, хотя некоторым врезать и не мешало бы.

В субботу, в пять вечера, представитель верфи по делам печати сообщает о том, что забастовка на Гданьской судоверфи окончена. Продолжать не имеет смысла. Давайте спокойно разойдемся по домам.

Спустя час Хомейни официально опровергает это заявление и объявляет о создании МЗК — Межзаводского забастовочного комитета.

Дирекция всеми способами стремится разобщить людей, поссорить их между собой, а мы на основании опыта борьбы коммунистов делаем вывод — сила в единстве, мы должны быть солидарны. Первый и второй секретари разносят алкогольные напитки. Мы же все как один идем совершать обряд причастия. Во время литургии над нами долго кружат вертолеты, сбрасывают листовки. Первый раз ветер уносит их в сторону, второй — прямо на толпу верующих. Никто даже не шелохнулся, никто не протянул за ними руки.

Мы — единственное предприятие, овладевшее типографией. Нам уже не хватает бумаги, пытаемся достать ее на других предприятиях, так как ежедневно у нас печатается двадцать тысяч листовок. Развозим их на машинах «скорой помощи». А воздушный флот с неба и милиция на земле распространяют партийно-государственные прокламации. Менты пытаются вручить их старушкам, те рвут листовки прямо у них на глазах. Из печатей, стоящих на наших конвертах, мне больше всего нравится одна, на которой вьются слова: «СВОБОДА СЛОВА, ПЕЧАТИ И ПУБЛИКАЦИЙ».

Всем на удивление искренне и единодушно поддержан призыв — не допускать на верфь алкоголя во избежание провокаций со стороны властей, поэтому проверяем каждую принесенную семьей из города передачу или посылку. Но все-таки за одну только ночь один только я разбил тридцать две бутылки, потом мне становится жаль бутылок, да и битого стекла много, и я только выливаю содержимое. Особенно мне жаль двух молодых алкашей, превратившихся в неподкупных контролеров, куда мне до них! Какие гениальные парадоксы создает сама жизнь.

Мы сидим далеко от зала заседаний, где идут переговоры с правительством, ждем звонка. Есть! Богдан Лис и Тадеуш Мазовецкий уже выходят, минуты через две подъедут. Богдан, потрясая в воздухе кулаками, есть независимые профсоюзы!! Только пока тихо! Меня охватывает дрожь, не знаю, что со мной происходит. Пани

[1] Некорректно *(англ.)*.

Аня, да что с тобой? А сама тоже дрожит, хватает меня за руку. Рядом с нами Анджей Колодзей, так и стоим, мы хлюпаем, он рычит. Стоящие вокруг рабочие ничего не понимают, переглядываются, показывают на нас, крутят пальцем у виска, мол, с головкой у них не все в порядке.

Ко мне подходит Юзеф, Хеня, что случилось?

Ничего, а сама смеюсь от радости.

Скажи только мне, по секрету, я никому не скажу.

Но мы не можем им сейчас пока ничего сказать, все еще так не точно, все еще каждую минуту, каждую секунду может перемениться.

Все же не выдерживаю, подхожу к одному столику, могу вам кое-что по секрету сказать, вроде бы всё, независимые профсоюзы созданы. Утверждено и подписано. Я это бросила так, мимоходом, но через минуту, конечно, знают уже все. И каждый подходит, Хеня, это правда? Как все это было?

Да не точно еще это. В пять часов приедет Ягельский, тогда узнаем наверняка.

К переговорам с правительством у меня подготовлен список политзаключенных. Вручаю его Ягельскому.

В перерыве ко мне подлетает Зелиньский, ты, сопля, ты думаешь, что делаешь?!

Если политзаключенные не будут освобождены, во всей Польше трамваи не двинутся с места.

Говнюшка всякая тут еще будет распоряжаться! Ко мне подходит один из наших экспертов, пани Кшивонос, с кем вы согласовали свои действия? Мы уже практически договорились, достигнуто согласие по двадцати основным пунктам, а вы что наделали со своими политзаключенными?!

Но у нас в требованиях был двадцать один пункт, так вот меня интересует именно этот «один».

А о последствиях вы не подумали?! Завтра здесь будут танки!

Не надо меня пугать, я все равно не испугаюсь. Нам не к спеху, столько ждали, что еще несколько дней подождем.

Вы своими действиями наносите вред всей Польше. Машет рукой и идет к Анне Валентынович, в надежде, что хоть та на меня повлияет.

Та, не знаю, Хеня, надо подумать, если ты трамваи не пустишь, политзаключенные уж точно не выйдут, и сколько нам тогда здесь сидеть, неизвестно. Тупик получается.

Поймите, раз уж я в эту игру втянулась, то отступить не могу — иначе с ума сойду, рехнусь.

В самом конце переговоров Ягельский, пани Кшивонос, уж если вы были столь упорны и настояли на своем, я хочу от вас кое-что взамен. Вы видели эти ржавые рельсы на путях?

Разумеется.

Так вот, я прошу, чтобы первый трамвай по ним провели именно вы.

Знаете что, хоть я семнадцать дней спала на стульях по двадцать минут, я поведу этот трамвай, чтобы лично вам доставить удовольствие.

Мы знаем, что верфь стоит. Никакой связи с ней у нас нет, но мы понимаем, что нужно что-то организовать, но что, как?

К топливному блоку подъезжает человек на велосипеде, я останавливаю теплоэлектроцентраль!

Что, вы хотите остановить ТЭЦ?

Ну да, а чего ждать-то?! Верфь стоит — и мы!

Да ты хоть соображаешь, что будет, если встанет ТЭЦ?! У нас весь асфальт схватит и потом уже ничего не сделаешь! Знаешь, какой будет ущерб, какие потери?! Ничего глупее вы не могли придумать? Что бы там ни происходило, ТЭЦ должна работать, понял? Или ты нас всех хочешь за решетку отправить?!

Когда-то я работал в конторе, а на перегонный завод перешел потому, что люблю движение, шум, грохот, люблю работать с людьми.

До забастовки я ощущал себя наемным рабочим. Прихожу на работу, покопаюсь, поковыряюсь. Сейчас я впервые в жизни почувствовал себя хозяином своего предприятия. Я за него отвечаю, и все, что я делаю, идет ему во благо. И если я что-то напортачу, то не власти, не правительство предъявят мне претензии, а мои друзья. Но насчет моей компетентности можно не беспокоиться, на заводе я знаю все, что и как должно работать, где и в чем неполадки. Жена мне говорит, ты стал совершенно другим. Правильно, на психике это, конечно, отражается.

Дежурю у проходной с двенадцати ночи до часа. Нервы напряжены до предела. Чуть что стукнет, громыхнет, чуть заурчит автомобиль, а то не дай бог тень, тут же вскакиваем. Въезд в ворота у главной проходной мы перекрыли грузовиком, ребята курсируют вдоль забора. Фары проезжающих автомобилей освещают флаги над воротами и рабочие патрули с повязками на рукаве. Некоторые подъезжают прямо к воротам, номера на машинах варшавские, силезские, мазурские, сигареты, цветы, мы с вами. Дайте хоть немного ваших листовок, мы их развезем вглубь, по всей стране. Газеты, как водится, пишут про вас вранье, а тут мы чувствуем моральную поддержку. Каждый делится с другим всем, что у него есть. Отовсюду нам начинают поступать деньги на еду. Газеты шипят, вы развалите ПНР, а чего ее разваливать, когда она изнутри давно прогнила.

Звонок, звонит секретарь парткома завода, из Воеводского комитета только что поступило известие, что на Гданьской все уже практически закончилось, требования удовлетворены, бастующие расходятся по домам, забастовка окончена. Передайте это директору. Так что ваши фортели ничего не дадут, вы обречены.

Мы жили надеждой, что там уже все раскручено, а мы вроде как их только догоняем, и вот тебе на! Чтобы убедиться, правда ли это, решаем послать людей, пусть разведают, как там все на самом деле.

На верфи в репродукторы читают материалы из последнего номера «Рабочего». Спрашиваем, где забастовочный комитет, кивают в сторону конференц-зала. А там пусто, сидят человек семь, ничего не делают, среди них Валенса. И ничего, ровным счетом ничего не происходит.

Мы с перегонного завода, тоже бастуем. Что вы на это скажете? Стоит продолжать, какие перспективы?

Валенса, разумеется, стоит, поскольку есть за что бороться. Мы будем поддерживать вас, вы — нас, солидарность. Поставьте вот здесь свои подписи, вы же уполномочены своим предприятиям заявить, что ваш завод подключается ко всеобщей забастовке солидарности.

Пеньковская протягивает нам лист, вписываем четыре наших основных требования и расписываемся. Спасибо, мы выяснили все, что хотели, теперь надо возвращаться к себе, чтобы к ночи все было организовано.

В субботу в Межзаводской комитет входило семь предприятий, в воскресенье двадцать шесть. Перегонный завод был зарегистрирован седьмым.

Решающий голос при обсуждении и принятии требований имеют человек восемьдесят. Кто-то на чем-то настаивает, кто-то возражает. Из-за несогласия усиливается напряжение. Валенса предлагает сделать перерыв. В перерыв, обсуждая сложившееся положение спокойнее, приходим к выводу, что всплески эмоций возникают из-за того, что мы никогда ничем подобным не занимались, поэтому нам так трудно договориться. Приходит спасительное решение выбрать президиум. Валенса эту мысль сразу подхватывает, вы совершенно правы, мы сядем здесь, а все остальные там, в зале.

Валенса зачитывает список выбранных в президиум и просит занять места за столом. Вот это и есть переломный момент. Выборный орган — президиум — оказывается в состоянии решить проблемы значительно быстрее, чем восемьдесят спорящих и кричащих человек. Я горжусь, что именно мы предложили такую структуру и такой порядок работы, иначе бы мы спорили до бесконечности.

Семь выдвинутых нами требований включены в общий, сводный список, всего их в нем остается двадцать одно. В них отражены, пожалуй, все инициативы снизу.

Спрашиваю Тадека, слушай, кто такие «коровцы»?

Это у которых орел с короной.

Раньше я что-то слышал о КОРе[1], но особенно им не интересовался. Сейчас среди нас присутствуют трое. Одно из требований касается полной отмены цензуры. «Коровец», послушайте, так же нельзя, поделикатнее, потоньше, пограмотнее. Вспомните Чехословакию, их погубило то, что в некоторых моментах они были чересчур радикальны и не могли хоть чуточку умерить свой пыл и свои требования.

Приглашаем делегацию с верфи нанести ответный визит к нам, они тоже хотят посмотреть, верно ли мы обрисовали ситуацию у себя, насколько мы действительно являемся представителями своего завода. Все-таки мало ли кто за кого себя может выдавать. В два часа ночи к вам добираются двое с верфи.

Сижу в проходной, приносят записку, бастует ровно сто предприятий. Такое сообщение хорошо бы сразу передать. Правда, сто — какое-то круглое число, еще не поверят, поэтому объявляю, бастует девяносто девять предприятий. Часа через три приходит новое известие — сто пятьдесят предприятий, опять круглое число. Сменившись с вахты, узнаю, что их уже двести двадцать. Когда количество достигает трехсот двадцати, я говорю сам себе, все, социалистическая экономика рухнула и летит в тартарары.

Меня зовут к воротам, зачем, не знаю. Подхожу, стоит беременная жена, сын. Из меня — слезы, человеку хочется быть сильным, стойко переносить любые трудности, не выходит. Мой четырехлетний пацан, папочка, ты здесь не сиди, иди домой, тебя так долго нет. Тянет меня за руку, пойдем. Объясняю что-то, папочка должен заработать на хлебушек.

Отец мне всегда говорил, Здишек, кем бы ты ни работал и где бы ни работал, что бы ты ни делал, делай так, чтобы после тебя ничего не нужно было поправлять или доделывать. Вот таким рабочим мне хочется быть. Без хвастовства, за что ни возьмусь, все делаю «супер-люкс». С другой стороны, мне хочется иметь таких руководителей которые могли бы мне подсказать, это делай так, а это — так, и я бы им поверил и зауважал бы их за то, что они так много знают, и не задумывался бы ни над чем, потому что они уже над этим подумали.

Но нынешнее руководство стремится только к одному — вернуть то, что было раньше, прежние порядки и прежнюю власть. Для них забастовка прошла за за-

[1] КОР — Komitet Obrony Robociarzy (Комитет защиты рабочих), созданная в середине 70-х годов нелегальная независимая организация, в которой состояли многие видные представители польской интеллигенции.

крытым занавесом. Забастовка окончена, занавес поднимается, на сцене — прежние, столь близкие их сердцу политические, государственные и социально-экономические уклады. Как было, так все и будет, мы им покажем, что наша твердокаменная, железобетонная, тупоумная до крайних границ идиотизма власть незыблема и никакая смута ее не поколеблет

Пока за этим самым занавесом происходила возня, все было сделано так, чтобы как можно меньше ранить их тонкие, начальственно-руководящие чувства. Да и они свою власть в общем-то не демонстрировали, не приходили на бастующие предприятия, не вступали с нами в дискуссии. Но теперь они стараются «сделать соответствующие выводы», извлечь уроки то есть, проще говоря гкнуть нас в прежнее корыто. Одного не понимают — что люди стали совершенно другими.

У меня дома кипит подпольная работа. Я там иногда неделями не появляюсь, чтобы не мешать, там и печатники, и наборщики, и редакторы, готовят листовки, делают клише. Мне тоже хотелось бы что-то сделать. Перед выборами рисую плакатик и делаю три шаблона. Подойдем к остановке и наклеим, лозунг, например, такой: Выборы! Останься дома! Пусть Брежнев и все брежневцы голосуют сами за себя! И отвалить Надо же хоть что-то ДЕЛАТЬ. Если все так и дальше пойдет, то лет через пять мы будем вкалывать по двенадцать часов в день, а получать еще меньше, это если мы не поднимем головы сейчас, сегодня А мне уже тридцать восемь лет, и я для своего ребенка и отец и мать одновременно.

За неделю до забастовки Борусевич мне говорит если твой «Будимор» не забастует, я тебя знать не хочу

В четверг я еще был на больничном, но не у себя дома, там работают над листовками в защиту пани Ани, три с чем-то тысячи успели выпустить, все это предназначено для города, раздается разбрасывается расклеивается Но в пятницу к девяти тридцати, я иду на работу, чтобы добраться до своего цеха, я прохожу два других, там никто не работает, тут и там стоят люди, узнаю среди них тех, кому прямо перед забастовкой я раздавал номера «Рабочего» и листовки насчет Кобздея и Шудловского, так что на них я возлагаю большие надежды.

Из группок образуется большая толпа, я обращаюсь ко всем, чего не работаете?

Так верфь стоит, и мы тоже.

А начали мы это все хитро-хитро. Первый раз я к Богдану пошел не один, а с Малгосей, потому что ребенок — это ребенок, даже для милиции, которая целых две квартиры напротив Богдана заняла, сотрудники там у них расположились, работают.

Здравствуйте, говорю, я насчет лекарства. А он, пожалуйста, проходите в комнату и показывает, что в прихожей установлено мощное подслушивающее устройство. Снимать его не стоит, потому что Богдана тут же задержат на сорок восемь часов без предъявления обвинения, это уж известно, у нас так по закону можно, и установят новое.

Вся эта сложная кутерьма словно и не касается такого вот Хенрыка, члена партии с сорок шестого года. Я не люблю плохо отзываться о людях, а Хенрык к тому же пожилой человек, даже можно сказать старик, но разве это человек? Я имею в виду полноценный человек? Я ему говорю, в стране все хуже и хуже, катастрофа, нет, говорит, все идет хорошо, намеченным партией курсом, значит, скоро будет еще лучше. Посмотри на себя, говорю ему, ходишь в протертых штанах, даже костюма приличного нет, что ж ты, не заслужил с сорок шестого года, что-то твоя партия не очень-то о тебе заботится. Как об стенку горох.

В субботу заскакиваю домой, помыться, шурин приходит, забастовка, говорит, на верфи кончилась. Я не верю, но его приятель с верфи подтверждает. Я натягиваю брюки и на верфь. А там — прямиком к залу заседаний, надо же, только что дома мечтали, что нужно пошире, с размахом, чтобы все воеводство забастовками охватить.

Лех занят тем, что перечисляет всех поименно. Гвязда Анджей, Валентынович Анна, Лис Богдан, а меня он не знает. Борусевич подсаживается к нему, что-то тихо говорит, я встаю, в двух словах представляюсь, что, откуда. Богдан, «коровец», да, да, я его знаю, могу за него поручиться, считайте, что я даю ему рекомендацию. Так что голосование относительно меня становится пустой формальностью.

А вот когда уже все раскочегарилось, когда Межзаводской комитет был создан, то я первый свой завод предложил, и с тех пор во всех списках «Будимор» на первом месте стоит, за что всему нашему начальству от генерального директора тут же влетело по первое число. Такого деятеля воспитали! — это он про меня. Глядишь, премьером будет, премьер-министром от своей «Солидарности».

Надо ехать на встречу с Ягельским. Зал набит битком, все должны знать, что происходит и кто конкретно будет представлять их интересы на переговорах.

Вишневского, Грушецкого и меня ждет машина какого-то частника. Добро-

волец, на дверце надпись — делегация к премьеру. Главное, конечно, не мы, не делегация, а двадцать один пункт требований.

Вылезаем из машины, вилла роскошная, красивая, лестницы всякие, балкончики. Брусский открывает дверь, прихожая, комната, зал, а его нет. Представитель воеводы бормочет, моментик, и пулей летит за ним.

Спускается сверху по широкой лестнице, выразительно поглядывает на часы, почему вы опоздали? Мы же договорились точно на определенное время, я уже стал беспокоиться.

Нас задержал милиционер.

Элегантен, дружелюбно улыбается, пожалуйста, садитесь, слушаю вас.

Мы попросили о встрече и приехали, чтобы ускорить дело, поскольку вы являетесь председателем правительственной комиссии, с которой мы будем вести переговоры. Мы хотим передать вам свои требования, чтобы вы с ними предварительно ознакомились, так будет быстрее, забастовка ведь по нам тоже ударяет, не только по вам.

Понимаю, понимаю, но с кем мы будем вести переговоры? Не будет ли там каких-нибудь «коровцев» или других антисоциалистических элементов?

Нет, элементов не будет.

Мы присаживаемся, у всех нас такое ощущение, что он страшно боится. Мы — на диванчик у стола, он — на кресло. На столе содовая. Никто не курит, ни Вишневский, ни Ягельский, один я. Достаю пачку, можно здесь курить? Пожалуйста, разумеется. Угощаю его. Благодарю, я не курю, но если можно, я возьму сигаретку. Нервничает, вертит ее в руках, грызет фильтр, не зажигая. Очень волнуется.

Мы прежде всего хотели бы получить от вас гарантии полной безопасности для всего состава президиума. Чтобы не случилось так, что сегодня мы беседуем с вами, а завтра пойдем баланду хлебать. И вы и мы, к сожалению, знаем, что именно так было в семидесятые годы.

Заверяю вас, что никто не подвергнется никаким преследованиям. Скажите фамилии.

Записывает все фамилии.

Как видите, никаких антисоциалистических элементов, все представители рабочих. Нам бы хотелось начать переговоры как можно скорее.

Думаю, что возглавляемая мною правительственная комиссия тоже в этом заинтересована, но не могли бы вы сделать шаг навстречу переговорам? Пустите хотя бы городской транспорт.

Грушецкий, возможно, возможно.

Вишневский более определенно, как только начнутся переговоры, сделаем что-нибудь, транспорт во всяком случае пустим.

Это заявление мне как обухом по голове, Флорек, как же ты можешь так вот легкомысленно говорить?! Транспорт — это ведь жилы города! Я уже не согласен, а что будет дальше, что остальные скажут. Простите, но все-таки сейчас мы официально ничего обещать не можем, абсолютно ничего, до момента подписания соглашения. У нас нет на это полномочий. Нам было поручено только привезти требования, а мы уже более сорока минут сидим разговариваем.

Ну, мы просто беседуем, как люди, обмениваемся мнениями. Рассказывает, что был ранен, показывает рану, вот здесь еще до сих пор осколок, два инфаркта было, сплошные болячки. Нервничает невероятно, все время крутит мою сигарету, изгрыз весь фильтр. Так и остается, потерянный, испуганный, жалкий.

Мы в малом зале заседаний отчитываемся о визите, приедут во главе с Ягельским. Но вот наш Вишневский пообещал, что в момент начала переговоров городской транспорт будет пущен.

Кшивонос аж подскакивает, черт бы тебя разорвал, ты что, сдурел?! Кто тебе дал право?! Ты не подумал, как это может быть воспринято?! Трамваи ходят, значит конец забастовки.

Лех на нас троих рычит, кто вас уполномочил делать такие заявления?!

Итог подводит Гвязда, сами виноваты, послали какого-то придурка.

Честно говоря, наше двадцать одно требование практически совпадает по сути полностью с июньским воззванием КОРа к польскому обществу. Так что почву для успешного проведения и поддержки забастовок во всей стране подготовила, конечно же, демократическая оппозиция. На каждом предприятии люди читали нелегальные издания, потом передавали их или просто пересказывали другим. Вот почему простые рабочие так четко выступают. И это несмотря на пугающую «происками империализма» и «антисоциалистическими элементами» интенсивную официальную пропаганду, хотя и она дает о себе знать в самых неожиданных проявлениях. Представители одного из предприятий присылают в президиум записку, мы требуем подтверждения, что среди нас, в составе президиума, нет членов КОРа. Все должны под этим подписаться. Лех и Аня свои подписи уже поставили. Я не стараюсь выглядеть шутником, но делаю приписку, зато есть члены ПОРП. И расписываюсь.

С удовлетворением смотрю на эту бумажку со своей подписью. Немножко

схулиганил и вроде бы развеялся, а то работы навалилось столько, что в ней можно с головой утонуть. Ведь фактически воеводством управляем мы. Группа людей, большинство из которых до забастовки не были друг с другом знакомы, постоянно вынуждена принимать очень ответственные решения, то бананы пришли в порт, то рыба, все может испортиться, если мы не разрешим возобновить производство кольцевых резиновых прокладок и уплотнителей для тракторов, то сельское хозяйство остановится, как распределить продукты питания, кому давать бензин, а кому нет? Обеспечить проведение забастовки на верфи — это еще полбеды, но на нас уже висят сотни других предприятий. Как все это охватить, как удовлетворить всех, если к тому же телефоны отключены?! Но сознание того, что штурм верфи войсками и милицией все еще возможен, побуждает к активным действиям. Чувствам стараемся не поддаваться, каждое сообщение, каждый тревожный рапорт анализируем трезво и спокойно. Предприятия, расположенные вблизи аэродрома, превращены в посты наблюдения. Люди сидят на крышах, дежурят, наблюдают, так что ни один самолет не приземлится без того, чтобы мы об этом тут же не узнали. Вдоль всех шоссе у проходных бастующих предприятий стоят наблюдатели, и мы прекрасно знаем, какие силы и в каком направлении стягиваются властями. Все маневры и передвижения войск, как всегда, бездарны и, главное, производятся с опозданием дней эдак на пять. Они же готовились к акции против двадцати — тридцати тысяч бастующих, а нас уже перевалило за полмиллиона. Расширять ли нам забастовку на всю Польшу? — вот вопрос вопросов.

Тяжелая это ноша — листок бумаги с номерами телефонов, набрав которые можно быть уверенным, что многие регионы страны немедленно будут парализованы забастовкой. Это потрясающий механизм. Если мы здесь, в Гданьске, решим, что нам необходима поддержка всей страны, то забастовки разразятся одна за другой. Но все это небезопасно, потому что призыв в таких условиях к всеобщей забастовке может означать лишь одно — государственный переворот, стремление к захвату власти в стране.

Они продолжают стягивать силы — и посыпалось: Познань, вся Силезия, листочек с телефонами действует безотказно. Людям представляется, что забастовки вспыхивают по всей Польше сами собой, в знак солидарности с Гданьской верфью, но я все больше прихожу к убеждению, что они результат какого-то неведомого мне соглашения, предварительной договоренности, взаимодействия неких тайных структур, что позволяют сердцу Силезии биться в унисон с бастующим Побережьем. «Свободная Европа» уже третий день начинает свои передачи с перечисления столь близких и знакомых нам имен.

Единственную ночь за всю забастовку удалось поспать в нормальной, чистой постели, после того, как в Щецине принял ванну. Пятеро с завода имени Варского приехали за нами на «фиатах» первого секретаря.

Сразу с дороги нас ведут поесть, затем мы представляемся как члены президиума, восторг неописуемый, как будто мы по меньшей мере прилетели с Марса. Огромный зал, по радио передается информация, что без согласования с Гданьской абсолютно ничего подписывать не следует. Поддержка, одобрение, восторг, почти обожествление.

Встает пожилая женщина, в глазах слезы, мы уже ждали, ждали, кто начнет, и вот наконец Гданьск сдвинул все с места. Мы как только узнали, у нас сразу же то же самое началось, мы уже готовы были.

Через тринадцать часов мы возвращаемся на родную Гданьскую верфь.

Меня известие о начале забастовки не поразило ничуть. Скорее наоборот — удивительно, как это люди так долго все терпели.

Подъезжаю к зданию дирекции, на стоянке ни одной машины, значит, дирекция в страхе, а верфь готова к забастовке. Помню, в мае семьдесят первого поджигали машины начальников — они, дескать, куплены на деньги рабочих. Сейчас уже нечего опасаться за сохранность своей машины, другие времена, другой сценарий. Митинг проходит на площади перед больницей. То, что все собрались не перед дирекцией, свидетельствует о коллективном опыте. Из здания дирекции госбезопасность фотографирует всех участников митинга. Я сам любовался на себя на одной из таких фотографий.

Даже сюда долетают их громкие голоса и крики. Люди без тени страха записываются в забастовочный комитет.

Захожу в дирекцию, Крыся, как обстоят дела на текущий момент?

Здравствуйте, Збышек, как раз в конференц-зале начинается заседание.

Фигурой, выделяющейся на фоне других, является, несомненно, этот усатый Лех. Я его помню черт знает с какого года, очень давно. Поведение, жесты не оставляют сомнения в том, кто здесь первая скрипка. Валенса — это мосток, связующий семидесятый год с сегодняшним днем.

Сажусь в сторонке, эту часть зала можно было бы определить как места для наблюдателей.

Особенно шумно ведет себя, разумеется, молодежь, воют, свистят, аплодируют. Вся эта импульсивность объясняется только возрастом, а не, скажем, обостренным сознанием господствующей социальной несправедливости.

Больше всего меня поражает то, что в требованиях рабочих на первом месте находятся два персональных дела: Валенсы и Валентынович. Они незаконно уволены, их требуют принять обратно.

Важный пункт в требованиях — возведение памятника погибшим в семидесятом году рабочим. В семьдесят первом руководство верфи возложило к воротам проходной венок, в следующем — уже не возлагало, а в семьдесят третьем все, кто отважился на возложение букетика, были уволены.

Относительно требования создания независимых профсоюзов директор только разводит руками — я не могу распустить заводской комитет. Создание нового профсоюза — дело всего коллектива. Я со своей стороны могу только заявить, что поддержу любую профсоюзную организацию, созданную в коллективе.

После этого шепотом интересуется у меня, ну как?

Я, единственно разумная в такой момент позиция.

Вся пятница проходит в ругани насчет повышения зарплат. Лех твердит, что прибавка к зарплате в связи с повышением цен должна быть введена обязательно и никакие иные формы рассмотрены быть не могут. Самое большее, на что он может пойти, — это обсудить величину прибавки. Две тыщи! две тыщи! две тыщи! — взревели клакеры. Лех, уже за столом переговоров, ну, если товарищ директор никак не может, то полторы, тысяча пятьсот, значит. Директор согласен на семьсот, потом на девятьсот и в конце концов останавливается на тысяче двухстах. Объясняет, что выше он ползти уже не может, поскольку исчерпал все выделенные министерством возможные фонды. Сложность заключается в том, что это должно быть оформлено в рамках пятой категории. До сих пор по пятой категории выплачивались лишь аккордные суммы. А мы что же? А с нами как? Мы тоже сидим в своих конторах и бастуем! Послушайте, забастовочный комитет, работники верфи — это ведь не только рабочие. Давайте, наконец, такой вот классовый подход похороним раз и навсегда. Для так называемых работников умственного труда звучит неплохо.

Решено, что голосование будет тайным, ты отдаешь свой голос и не знаешь, за что голосуют остальные.

И в тот момент, когда оказывается, что единства среди собравшихся нет, шансы начальства, решившего оформить эту прибавку как зарплату по пятой категории, резко возрастают. Министерству даже в голову не могло прийти, чтобы согласиться на процентную компенсацию при повышении цен. Власти тем более не готовы к принятию формулировок с ярко выраженными политическими акцентами.

Гнех говорит, тысячу двести, забастовочный комитет, тысячу пятьсот. Во время торга не столько отстаивается правота той или другой стороны, сколько выплескиваются наружу эмоции.

Говорю директору, а вы на себя это взять не можете? Тысяча пятьсот сделает шансы на прекращение забастовки реальными.

Нет, не могу, затем, после короткого совещания при закрытом рукой микрофоне, хорошо, согласен на тысячу пятьсот.

Но кто ему поверит вот так, на слово?

Коллектив хочет, чтобы полторы тысячи были подтверждены документами, как у главного бухгалтера.

Положение вновь становится шатким.

Гнех, у меня тоже жена и дети.

А нам во время перерыва, не могу я этого подписать, не имею права, они этот документ немедленно опубликуют, и уровень повышения зарплаты станет как бы обязательным для всей Польши. Это же сразу станет аргументом на всех бастующих предприятиях. Если я подпишу, из меня сделают козла отпущения, это ты развалил рынок, всю экономику страны и привел к девальвации злотого. И если в правительстве никаких кадровых изменений не произойдет, то эти, нынешние, постараются отыграться не на бастующих — их слишком много, — а на руководстве предприятий.

В воскресенье утром Лех входит в кабинет директора с листком бумаги в руках. Товарищ директор, здесь перечислены требования, касающиеся предоставления нам телекса, радиоузла и права пользования ксероксами. Также сообщаем вам, что административная деятельность дирекции на время забастовки прекращается, вы временно отстраняетесь от своих обязанностей. Подпись, Забастовочный комитет Гданьской судоверфи.

Ну, хорошо, а как быть с судами в порту? А со всеми остальными службами? Бастуешь ты или работаешь, но отсутствие воды, электроэнергии или воздуха заметишь сразу. И чтобы все это продолжало функционировать, необходим координационный управленческий аппарат. Вы можете его заменить, можете ли вы подтвердить, что сознательно принимаете на себя всю ответственность за предприятие?

Лех, неужели можно даже предполагать, что мы об этом не подумали?!

В субботу забастовка затухает. После выступлений Валенсы и Гнеха большинство уже переоделись и стоят в очереди за подписанными Фишбахом гарантиями безопасности. Я вписываю в бланки имя и фамилию, сидящая рядом со мной девушка регистрирует тех, кто такой документ получил. Некоторые не берут, на черта мне это нужно, если решат нас всех пересажать, то и с ними посадят.

С других предприятий начинают поступать полные ярости тексты, изменники,

предали нас, бросили, свои делишки обделали и в кусты! Более того, начинают присылать своих делегатов, группки по двое, по трое, эта Кшивонос от транспортников появилась. Нетерпимые такие, крикливые, некрасиво все это выглядит. В четверг с Северной верфи таких вот делегатов просто-напросто прогнали, когда те вылезали на митинге и стали сеять смуту. Возвращайтесь-ка вы к себе, разве можно оставлять свое предприятие в такой ситуации?!

Спальню я оборудовал себе прямо в конторе; сидим с большой группой приехавших журналистов, после кофе развалились в креслах и слушаем репродуктор. Премьер рассыпается в любезностях, если товарищ председатель забастовочного комитета разрешит... как мальчик. Первые пункты требований проскакивают гладко, пока Валенсе не подсовывают записку, а как насчет отключенных телефонов и официальной лжи про нас в средствах массовой информации?! И началось!

Через какое-то время становится ясно, что главной темой обсуждения будут независимые профсоюзы, а не размер прибавки к зарплате. Все продвигается туго, со скрипом, и главные трудности — по эту, по нашу сторону, а не по ту, не по начальническую. Изменить что-либо в сознании наших поначалу кажется просто невозможным. Многие вещи никак не укладываются у них в голове, ни одного имени не знают, кто такой Мочульский, Куронь? Нет, не слышали, не знаем, о КОРе знают из газет, что это антисоциалистическая организация. Конфедерация независимой Польши? Крайняя антисоциалистическая организация, ею госбезопасность занимается. Вот и попробуй поработай с такими!

Стараюсь как-то расширить их горизонты. Независимые профсоюзы — это то, с чем вынуждено считаться правительство любой страны. У нас есть требование об их создании. А работников умственного труда примете? Отвечают, приняты будут все, партийные, беспартийные, верующие, неверующие. Это уже лучше, что-то сдвинулось. Выражаю им свою поддержку. Директор мне, вы хорошо это обдумали?

Перед зданием дирекции царит революционное возбуждение. Требования бастующих верфи официально касаются не только верфи. В штабе получено сообщение, что власти шутить не собираются. Спешим к микрофонам, чтобы предупредить трагедию, призываем, останьтесь на верфи, не покидайте территорию, ни в коем случае не выходите за ворота! Забастовочный комитет заседает «нон-стоп». Нет, не верят нам. Раздаются выстрелы. Конечно, власти, может быть, по-своему в чем-то правы, возможность грабежей сохраняется, меха, ювелирные изделия, коньяки, и на верфи есть такие, кого в научных социологических исследованиях называют «маргинальными слоями общества».

Коллективу не мешает, что я — начальник цеха, выбирают меня делегатом на встречу с Гереком в Воеводском комитете партии.

Я буду первым из начальства, кто покажет другим, как надо с достоинством в соответствующий момент уходить. Все мы вылеплены из одной глины, из того же самого теста. На моих глазах разыгрываются мини-драмы, даже мини-трагедии, слезы на глазах министра госбезопасности, ненаигранные проявления чувств у Герека.

В семьдесят шестом меня назначают директором, и в этот же вечер поступают сообщения о беспорядках в Радоме и на «Урсусе», верфь работу не прекращает.

На Доминиканской ярмарке раздаются листовки с призывами к забастовке, но мне это настроение не портит, я вообще стараюсь поменьше поддаваться настроению. Менеджер, управляющий, должен быть прежде всего даже не умным, а выдержанным.

В шесть у меня раздается телефонный звонок, люди собираются группами и, кажется, не думают приступать к работе.

Мы с секретарем парторганизации выходим навстречу толпе. Я людей не боюсь, я умею с ними разговаривать. Кричат нам в лицо: компенсация за повышение цен! Валентынович! Вопросы вроде «дела Валентынович» я даже не собираюсь рассматривать, считаю их третьестепенными. Если бы не это, нашли бы другой повод.

Обрывают телефон, что у вас происходит?

Они все остаются на верфи, в город не высовываются, опытные. На площади перед больницей идет митинг.

Я тоже хочу выступить, влезаю на трактор. При виде меня некоторые кричат «ура!». Все портит раздающийся сзади меня голос, товарищ директор, вы меня помните? Это вы незаконно выкинули меня с верфи!

Я немею. Я все-таки думал, что буду иметь дело с работниками своего предприятия, своими подчиненными, а тут, оказывается, полной поддержкой пользуется этот тип. Чувствую, что придется с ним разговаривать. И действительно, коллектив выбирает его председателем забастовочного комитета.

Во время первого раунда переговоров у меня еще нет таких полномочий, чтобы сказать людям, нате, получите свои две тысячи прибавки, и успокоить их.

Я как человек где-то понимаю и в чем-то разделяю требования бастующих, но как директор я нахожусь по другую сторону баррикад. В данном случае — я представитель власти. Большинство молодых парней не помнят меня, когда я еще был здесь мастером, потом бригадиром. Это помнят те, кто постарше. С другой

стороны, и высшее руководство начинает сомневаться, не справится директор, придется занять верфь силой. Но опытные работники в объединении и министерстве отговаривают, если в такой ситуации директору будет высказано недоверие, то бог знает сколько всякого непредвиденного может произойти.

В понедельник на рассвете я уже держу в руках микрофон, нужно начинать работу! Кое-кто меня поддерживает. Но тут врываются боевики, чтобы завладеть радиоузлом. Затем заходит Валенса, насчет моего интервью западным корреспондентам.

Валенса, против нас постоянно применялось насилие, а мы так поступать не будем.

Уходят.

Внизу крики, директор Гданьской в обмороке, так же как и директор «Парижской коммуны»!

Подхожу к окну, уважаемые друзья и коллеги, хочу вам сказать, что директор Гданьской судоверфи никогда не потеряет выдержки!

Слышатся и «ура» и свист, а также угрозы вывезти директора с верфи на тачке.

И уже ползет слух, весь аэродром занят войсками и спецотрядами милиции.

Герек, товарищ Лабенцкий, мобилизуйте партийные кадры, опирайтесь на женщин, Валенсу необходимо дискредитировать, а всех этих сопляков разогнать! У вас там образовалась антисоциалистическая группировка, ее необходимо ликвидировать, а парторганизация верфи проявляет нерешительность.

Я, все это уже не имеет смысла, против нас восстало все общество, и любой наш поступок обернется против нас же. Придется вступить в переговоры с Межзаводским забастовочным комитетом. Товарищ Первый секретарь, у нас нет никаких шансов победить это движение.

FRUTTI DI MARE, или Рождение современной социально-политической эпики

У произведения Чеслава Дзекановского долгая и сложная судьба, оно существует одновременно как бы в нескольких плоскостях новейшей истории нашей страны. Повесть (это жанровое определение здесь весьма условно) ждала отмены наложенного цензурой запрета на публикацию почти десять лет.

Исторические «пласты» проявляются даже в самом названии. В окончательной редакции оно звучит так, как и было задумано автором в самом начале восьмидесятых годов: «Frutti di mare». По-итальянски это обозначает различные морские существа, употребляемые в пищу под всевозможными соусами и обязательно с острыми приправами, что выявляет их удивительный, неповторимый вкус. Когда во второй половине восьмидесятых властвовавшие в то время надсмотрщики от культуры вроде бы уже в конце концов дали согласие на издание повести («с учетом необходимых замечаний и сокращений»), от автора и издательства потребовали, чтобы название звучало по-польски, то есть «Дары моря» или «Плоды моря». На первый взгляд — то же самое, а тем не менее повесть Дзекановского моментально лишается каких-то очень важных оттенков, нюансов, как если бы у этого итальянского блюда отнять половину вкусовой гаммы и пикантности. Однако соглашение между автором и цензорами достигнуто не было, и повесть сохранила свое первоначальное заглавие, а вместе с ним и все свое вкусовое и смысловое многообразие, которое лишь сейчас выносится на суд польских читателей (повесть Дзекановского вышла в издательстве «Искры» немногим раньше, чем появился ее перевод в «Иностранной литературе»).

Самым же важным для оценки и понимания произведения Дзекановского является то, что в нем нашли отражение подлинные исторические реалии: события и персонажи. Автор повествует о двух мощных, ставших уже историческими, забастовках на судоверфи имени Ленина в Гданьске — в декабре 1970-го и августе 1980-го. Первая была кроваво подавлена. Как долг памяти докерам, отдавшим свои жизни за Отечество, положившим их на алтарь свободы, в конце 1980 года был воздвигнут памятник, на котором выбиты слова из знаменитого стихотворения Чеслава Милоша «Поэт помнит».

Вторая забастовка закончилась компромиссом — пакетом соглашений между правительством и бастующими рабочими. Эти договоренности стали основой для официального создания в Польше независимых профсоюзов, послужили толчком к дальнейшему развитию демократического движения, борьбе за гражданские права в нашей стране. В декабре 1981 года принятые соглашения были в одностороннем порядке нарушены — в Польше было введено военное положение. Наконец, в 1989 году обе участвовавшие в переговорах стороны (а происходило это в зале заседаний Гданьской судоверфи девять лет назад) вновь встретились за «круглым столом», чтобы прийти к новым соглашениям. К этому времени в стране были сделаны столь значительные шаги по демократизации общественной жизни, что договаривающиеся стороны поменялись ролями: та, что раньше именовалась «оппозицией», стала играть

в государстве ведущую роль (хотя и в весьма символической коалиции с коммунистами), полностью взяв на себя ответственность за судьбы страны и нации.

Обе забастовки — и в 1970-м и в 1980-м — возглавлял Лех Валенса. И читатель найдет в повести его яркий, впечатляющий портрет. Значительной фигурой в обеих забастовках была крановщица Анна Валентынович — ее незаконное увольнение с работы в конце августа 1980 года стало непосредственным casus belli[1] забастовки, последней каплей, переполнившей чашу терпения рабочих. «Забастовочные» настроения в то время ощущались по всей стране, а на судоверфи имени Ленина — особенно. Среди персонажей повести читатель встретит немало других выдающихся деятелей забастовочного движения 1970 и 1980 годов.

Мы также встречаемся и с людьми, представляющими другую сторону конфликта. На страницах повести мелькают имена Зенона Клишко, Станислава Кочёлека, Тадеуша Фишбаха, Мечислава Ягельского, генерала Гжегоша Корчиньского и, разумеется, Владислава Гомулки и Эдварда Герека. Обоих бывших Первых секретарей ЦК ПОРП представлять, вероятно, не нужно. Что же касается, скажем, Зенона Клишко, то необходимо пояснить или напомнить, что в 1970 году он был секретарем ЦК и членом Политбюро, правой рукой Гомулки. В декабре он прибыл в Гданьск, чтобы лично руководить подавлением забастовки. Сегодня общественное мнение сходится в том, что именно по его приказу армия и милиция открыли огонь по возвращающимся на свои рабочие места докерам: многие рабочие вняли призыву первого секретаря Гданьского воеводского комитета партии Станислава Кочёлека, считавшегося наиболее вероятным преемником Гомулки. Ссылку на общественное мнение мы вынуждены привести здесь потому, что результаты изучения всей документации о декабрьских событиях 1970 года никогда не публиковались.

В Польше не раз задавался вопрос: была ли это всего лишь ошибка в координации действий властей, стоившая жизни многим рабочим и в конечном итоге окончательно подорвавшая авторитет партии в глазах народа, — или же в данном случае мы имеем дело с жестоким, преступным столкновением политических амбиций, когда претенденты на власть действуют исключительно во имя своих шкурнических интересов?

Клишко давал показания секретной партийной комиссии, которая так и не сделала эти сведения достоянием гласности. Самого Клишко «ушли» на пенсию, психика его, вероятно, была расстроена, и он забавлял случайных слушателей вздорными, фантастическими историями о «закулисной стороне событий», всячески при этом подчеркивая собственную невиновность. Умер он несколько лет назад.

Кочёлек «пропутешествовал» через посольства ряда стран (в восьмидесятые годы был послом ПНР в Москве!), в 1981 году, именно тогда, когда в стране было введено военное положение, он возглавлял Варшавскую партийную организацию, позже был главным редактором официального, казенного, не читаемого в Польше никем журнала, кстати, недавно прекратившего свое существование. Кочёлек так же стал персонажем варшавского политического фольклора, сам же он в последнее время прославился как рассказчик анекдотов из жизни высших партийных кругов. Тут необходимо заметить, что все эти «бывшие» — наименее уважаемый в сегодняшней Польше слой общественной иерархии.

Генерал Корчиньский, под непосредственным командованием которого танки стреляли по людям, в начале восьмидесятых был военным атташе в одной из арабских стран, не прекратив при этом занятий своим любимым видом спорта — стрельбой из пушек по безоружным людям. Погиб при невыясненных обстоятельствах, хотя некоторые факты дают основание подозревать, что это было самоубийство.

Тадеуш Фишбах, который в 1970 году был одним из заместителей Кочёлека, секретарем Гданьского воеводского комитета партии и, судя по всему, выполнял роль посредника между представителями стачкома и правительственной комиссией, вскоре стал первым секретарем Гданьского воеводского партийного комитета. На этом посту Фишбах пребывал до начала 1982 года. Оценки линии его поведения по отношению к нарастающей волне забастовок в 1980 году, к родившемуся независимому профсоюзному движению «Солидарность» и его лидерам — могут быть самыми различными и даже весьма противоречивыми. Именно ему пришлось сообщить Леху Валенсе о введении в Польше военного положения в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года. Была перевернута еще одна страничка истории, и никто тогда не мог сказать, как надолго. Ветер перемен вырвал Фишбаха из кресла первого секретаря Воеводского комитета и приземлил в Хельсинки в качестве советника посольства ПНР.

Не раз отмечалась терпимость Фишбаха, его доброжелательность, стремление понять и даже поддержать «Солидарность» и ее лидеров. Возможно, этим объясняется и великодушная терпимость Валенсы и его окружения к попытке Фишбаха стать в начале 1990 года, после самороспуска ПОРП, лидером «подлинных социал-демократов». Фигура Фишбаха, данная Дзекановским на страницах своей повести, весьма близка портрету этого деятеля в фильме Анджея Вайды «Человек из железа»: на разбушевавшуюся стихию рабочего бунта выливает потоки гладкой, но бессмысленной, «деревянной» речи спокойный, уверенно держащийся лысый человек. Его никто не слушает — он не только никому не вредит, но даже не мешает...

Мечислав Ягельский в 1980 году был заместителем Председателя Совета министров и от имени правительства вел переговоры с бастующими. По всеобщему мнению, делал он это весьма толково и даже — по мере возможности — честно и

[1] Повод к войне *(лат.)*.

достойно. Его называют одним из соавторов гданьских соглашений. Год спустя, на Чрезвычайном съезде партии, названном «съездом обновления», имя Ягельского замелькало среди кандидатур в высшие эшелоны власти. Его спросили, ощущает ли он ответственность за стиль и методы работы предыдущих правительств, в которых он постоянно занимал какие-то должности и которые довели страну до катастрофы. Ягельский со всей серьезностью ответил, что он несет за все это ответственность в полной мере, и снял свою кандидатуру. Больше о нем не было слышно.

Так вкратце выглядит самая необходимая информация о наиболее значительных персонажах, появляющихся на страницах повести. Теперь несколько слов о писательской манере Чеслава Дзекановского, о том, как, какими средствами создается полифоническое звучание повести. Это произведение безусловно принадлежит к авангардистскому направлению в современной польской прозе. Автор как бы расшифровывает и переносит на бумагу обрывки магнитофонных записей, неотредактированные высказывания, выкрики, все богатство палитры хора человеческих голосов. Однако эти «стихийные» записи, разумеется, очень точно организованы и на высоком литературном уровне обработаны.

Рассказ о событиях 1970 года, радости, опасения, надежды бастующих докеров переплетены с внутренними монологами рабочих, бастующих в августе 1980-го. Иногда это одни и те же люди. Объединяющей чертой служит тот же самый мотив: протест рабочих, неприятие партийной тирании, коррупции, казнокрадства, лжи, некомпетентности. Разделить все оттенки страха и надежды 1970 и 1980 годов непросто. Бастующие в 1970-м еще помнят кроваво подавленное выступление рабочих в Познани в 1956-м и еще не знают, что вот-вот ступени лестницы Гданьского вокзала вновь обагрятся кровью — стрелять будут в тех, кто откликнется на призыв правительства вернуться на работу. Рабочие помнят и эту кровавую баню в 1980 году, руководители забастовски всячески стремятся избежать появления протестующих толп на улицах, чтобы не дать повода заговорить пушкам и автоматам, но еще никто не знает, что наступит декабрь 1981-го и рабочая кровь будет пролита во время штурма войсками и милицией шахты «Вуек». Можно ли считать, что сегодня подобные опасения уж не имеют под собой почвы?

Дзекановскому удалось передать образ мышления рабочих, их реакции на происходящее как бы изнутри некоего собирательного рабочего сознания. Очень перспективным в сегодняшней польской литературе представляется направление, говорящее правду о человеке и его судьбе, ставящее акцент главным образом на языковой стихии, на проникновение в человеческую речь. С этой точки зрения ни одно из новаторских произведений современной польской литературы не продвинулось так глубоко по пути постижения материи современного общественного сознания, как «Frutti di mare» — одна из первых ласточек социально-политической эпики принципиально нового типа.

ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ

ГЕНРИ МИЛЛЕР

Тропик Рака

РОМАН

Перевод с английского Г. ЕГОРОВА

Как снег на голову однажды утром на меня свалилось письмо от Бориса, которого я не видел уже несколько месяцев. Это был странный документ, и я не могу утверждать, что вполне его понял. «Между нами — по крайней мере насколько это относится ко мне — произошло вот что: ты коснулся меня, коснулся моей жизни, ее самого живого места — моей смерти. С тех пор эмоционально я погрузился еще глубже и начал жить, уже живой. Теперь не в воспоминаниях, как с другими, но в жизни».

Таково было начало. Ни приветствия, ни даты, ни адреса. Написано на линованной бумаге, вырванной из блокнота, аккуратным бисерным почерком. «Поэтому, нравлюсь я тебе или нет — а мне кажется, что в глубине души ты меня ненавидишь, — ты мне близок. Благодаря тебе я знаю, как я умер; я вижу, что умираю опять; я *умираю*. Это больше чем просто быть мертвым. Вот почему я так боюсь увидеть тебя: может быть, ты сыграл со мной злую шутку и тоже умер. Сейчас все происходит так быстро».

Я хладнокровно читаю строку за строкой. По-моему, эти рассуждения о жизни, о смерти и о том, что «все происходит так быстро», — полная чушь. Насколько я вижу, ничего особенного не происходит, кроме обычных событий на первой полосе газеты. Последние полгода Борис живет один в своей дешевенькой маленькой комнатушке, сносясь с Кронстадтом, вероятно, телепатическим образом. Он говорит об «отступлениях», «эвакуации такого-то участка», точно сидит в окопе и пишет военные сводки. Наверное, когда он сел писать это послание, он был в своем сюртуке и, наверное, время от времени потирал руки, как он это делал, когда кто-нибудь приходил смотреть квартиру. «Причина, по которой я хотел, чтобы ты покончил с собой...» Тут я уже разражаюсь смехом. Я вспоминаю, как он ходил взад и вперед, засунув руки под фалды сюртука, на вилле Боргезе или у Кронстадтов — вообще везде, где было достаточно места, и бубнил без конца всю эту ерунду насчет жизни и смерти. Признаться, я никогда не понимал ни слова, но зрелище было эффектное, и мне, как нееврею, естественно, хотелось узнать, что происходит в зверинце его черепной коробки. Иногда он вытягивался на диване, измученный мыслями, которые приходили ему в голову. Тогда его ноги касались книжной полки, на которой он держал Платона и Спинозу, — он всегда удивлялся моему равнодушию к ним. Должен сознаться, что в его изложении они были интересны, хотя и весьма туманны. Иногда я заглядывал в эти книги, из которых он будто бы

Окончание. Начало см. в № 7.

черпал свои бредовые идеи, но связь между его словами и тем, что написано в книгах, оказывалась самой отдаленной. Борис говорил своим собственным языком, особенно когда мы были одни; но когда я слушал Кронстадта, мне всегда казалось, что Борис ворует его мысли. Он и Кронстадт разговаривали какими-то ими же изобретенными математическими формулами. Ничего настоящего и существенного, все — дико, кошмарно надуманно и абстрактно; ни крови, ни мяса — ни в одном слове. Когда речь заходила о смерти, разговор становился проще — в конце концов, у топора или тяпки должна быть ручка. Я получал огромное удовольствие от этих собеседований. Впервые за всю мою жизнь смерть казалась мне увлекательной — все эти абстрактные «смерти» и бескровные агонии. Иногда Борис и Кронстадт поздравляли меня с тем, что я жив, но так, что мне становилось неловко. Я вспоминал, что родился в девятнадцатом веке, чувствовал себя каким-то осколком прошлого, романтической реликвией, неизвестно откуда взявшимся питекантропом. Борис особенно любил прикасаться ко мне: он хотел, чтобы я был жив, а он бы мог «умирать» сколько душе угодно. Когда он смотрел на меня и прикасался ко мне, можно было подумать, что все эти миллионы людей на улицах просто дохлые коровы. Однако письмо... Я забыл о письме...

«Причина, по которой я хотел, чтобы ты покончил с собой в тот вечер у Кронстадтов, когда Молдорф сделался Богом, проста — ты был мне тогда особенно близок. Ближе, вероятно, чем когда-либо. И я боюсь, страшно боюсь, что ты меня как-нибудь подведешь и умрешь на моих руках. И тогда я останусь с одним только представлением о тебе, без всякого физического доказательства. Этого бы я тебе никогда не простил».

Можете вы вообразить человека, произносящего эти слова? Не знаю, что у него было за представление обо мне, но ясно, что это была отвлеченная идея, которая могла жить, ничем не питаясь. Борис никогда не придавал большого значения вопросам питания. Он кормил меня идеями. Для него все было идеей. Тем не менее, когда он пытался сдать квартиру, он не забыл, что надо заменить прокладку. Как бы то ни было, он не хочет, чтобы я умер на его руках. «Ты должен остаться для меня жизнью до самого конца, — продолжает он. — Только так ты можешь утвердить мое представление о тебе. Ибо ты связан с чем-то настолько важным для меня, что вряд ли я когда-нибудь от тебя избавлюсь. Да я и не хочу избавляться. Я хотел бы, чтобы — пока я мертв — твоя жизнь с каждым днем все больше была жизнью. Поэтому, когда я говорю о тебе с посторонними, мне всегда стыдно. Нелегко говорить о себе самом так откровенно».

Может быть, вам кажется, что он хочет повидать меня или узнать, что я делаю? Ничего подобного. Там нет ни строчки о чем-нибудь конкретном или о чем-нибудь личном, все написано этим псевдоживым языком: это просто письмо из окопов, маленькое облачко ядовитого газа, чтобы напомнить всем и каждому, что война продолжается. Я иногда спрашиваю себя, что так привлекает ко мне людей с вывихнутыми мозгами, неврастеников, невротиков, психопатов и в особенности евреев? Вероятно, в здоровом нееврее есть что-то такое, что возбуждает еврея, как вид кислого ржаного хлеба. Взять хотя бы Молдорфа, который, по словам Бориса и Кронстадта, сделал из себя Бога. Этот маленький гаденыш ненавидел меня жгучей ненавистью, но не мог без меня обойтись. Он периодически являлся за получением своей дозы оскорблений — они на него действовали как тонизирующее. Правда, вначале я был терпелив с ним — как-никак он платил мне за то, что я его слушал. И если я не проявлял особой симпатии, то по крайней мере умел слушать молча, когда пахло обедом и небольшой суммой на карманные расходы. Потом я понял, что он мазохист, и стал время от времени открыто над ним смеяться; это действовало на него, точно удар хлыста, вызывая новый бурный прилив горя и отчаяния. Вероятно, все между

нами обошлось бы мирно, если бы он не взял на себя роль защитника Тани. Но Таня еврейка, и потому это было для него этическим вопросом. Он хотел, чтобы я оставался с мадемуазель Клод, к которой, должен признаться, я по-настоящему привязался. Он иногда давал мне деньги, чтоб я мог с ней спать. Но потом он понял, что я неисправимый развратник.

Я упомянул сейчас Таню, потому что она недавно вернулась из России — несколько дней назад. Она ездила одна, Сильвестр оставался в Париже, чтобы получить работу. Он окончательно бросил литературу и посвятил свою жизнь новой Утопии. Таня хотела, чтобы я поехал вместе с ней в Россию, лучше всего в Крым, и начал там новую жизнь. Мы устроили славную попойку у Карла, где и обсуждали эти планы. Меня интересовало, чем бы я мог там зарабатывать себе на жизнь — мог бы я, например, стать там корректором? Таня сказала, что об этом я не должен беспокоиться — работа непременно найдется, если я буду серьезным и искренним. Я попытался сделать серьезное лицо, но получилось что-то трагическое. В России не нужны печальные лица, там хотят, чтобы все были бодры, полны энтузиазма, оптимизма и жизнерадостности. Для меня это звучало так, будто речь шла об Америке. Но от природы мне не дано такого энтузиазма. Конечно, я не сказал об этом Тане, но тайно я мечтал, чтобы меня оставили в покое в моем закутке, пока не начнется война. Вся эта затея с Россией слегка расстроила меня. Таня пришла в такой раж, что мы прикончили полдюжины бутылок дешевенького винца. Карл прыгал вокруг нас, как блоха. Он достаточно еврей, чтобы потерять голову от мысли о России. Карл требовал, чтобы мы с Таней немедленно поженились. «Сейчас же! — кричал он. — Вам нечего терять!» Он даже придумал предлог, чтобы куда-то уйти на время и дать нам возможность воспользоваться его кроватью. Таня тоже хотела этого, но Россия настолько заслонила для нее все остальное, что она растратила это время на разговор, отчего я стал нервным и раздражительным. Но так или иначе пора было поесть и идти на работу. Мы забрались в такси на бульваре Эдгара Кине. Это был великолепный час для прогулки по Парижу в открытой машине, а вино, которое булькало в наших животах, делало ее еще приятнее. Карл расположился напротив нас на откидном сиденье, и лицо у него было красное, как бурак. Он был счастлив, бедняга, воображая, какую интересную жизнь будет вести на другом конце Европы. Но все-таки он слегка нервничал — я это заметил. Ему не хотелось покидать Париж, так же как и мне. Он натерпелся в Париже, так же как и я и все, кто приезжает сюда, но Париж имеет странное свойство — чем больше вам здесь досталось, тем сильнее он вас притягивает, тем крепче, выражаясь фигурально, он держит вас за яйца — точно одуревшая от страсти женщина, готовая скорее умереть, чем выпустить вас из своих рук. Я ясно понимал, что чувствует Карл. Когда мы въехали на мост через Сену, на лице Карла появилась глупая улыбка, и он смотрел на дома и статуи так, словно видел их во сне. Для меня все это тоже было как сон: моя рука была под Таниной блузкой, и я сжимал ее грудь. Я видел под мостами воду и баржи, а вдали Нотр-Дам, точь-в-точь как на открытках, и думал о том, что чуть не попался на удочку. Но даже пьяный я твердо знал, что никогда не променяю всю эту круговерть ни на Россию, ни на рай небесный или земной. Стоял чудесный день, и я думал о том, что скоро мы наедимся до отвала и закажем что-нибудь этакое, какое-нибудь хорошее крепкое вино, которое утопит в нас всю эту русскую чушь. С такими женщинами, как Таня, в полном соку, надо быть осторожным. Иначе они могут стащить с вас штаны прямо в такси. Но все же было невыразимо приятно пробираться в потоке автомобилей вот так, с перепачканными губной помадой лицами, особенно когда такси свернуло на улицу Лафитта, достаточно широкую, чтобы служить достойным обрамлением небольшой церкви в конце улицы, а над ней — Сакре-Кёр, хаотичное нагромождение архитектуры, светлая

французская идея, которая прорезается через ваше пьяное сознание и заставляет вас беспомощно барахтаться в прошлом, как в полудреме, которая не дает вам заснуть, но и не портит вам нервы.

Теперь, когда Таня снова в Париже, когда у меня есть работа, когда можно предаваться пьяным разговорам о России и еженощным прогулкам по летнему Парижу, жизнь приняла приятный оборот. Поэтому, вероятно, письмо Бориса и показалось мне таким дурацким. Я встречался с Таней почти каждый день около пяти часов, чтобы выпить стаканчик «порто», как она называла портвейн. Я позволял ей таскать меня в неизвестные мне места — в шикарные бары вокруг Елисейских полей, где звуки джаза и стонущие детские голоса певцов исходили, казалось, прямо из стен, отделанных панелями красного дерева. Даже когда вы шли в туалет, эта сочная вязкая музыка следовала за вами, проникая через вентиляционные отверстия и превращая все в какой-то сон, сотворенный из разноцветных мыльных пузырей. И то ли потому, что Сильвестр уехал и Таня без него чувствовала себя свободной, то ли по другой причине, но она была тиха, как ангел. «Ты ужасно обращался со мной перед моим отъездом, — сказала она мне однажды. — Почему ты это делал? Я никогда и ничем тебя не обидела...» От мягкого света и молочно-древесной музыки, которая изливалась из стен, мы становились сентиментальными. Приближалось время идти на работу, а мы еще даже не ели. Перед нами лежали купоны из бара — шесть франков, четыре пятьдесят, семь, два пятьдесят; я складывал их механически, думая о том, что, весьма вероятно, мое настоящее призвание — быть барменом. Пока Таня болтала о России, о будущем, о любви и т. д., я часто думал о самых неподходящих вещах — о том, как бы я чувствовал себя, если бы мне пришлось стать чистильщиком обуви или служителем в уборной. Наверное, потому, что всюду, куда меня таскала Таня, было так уютно и я не мог представить себе, что превращусь в трезвого и согбенного старца... нет, мне всегда казалось, что и в будущем, каким бы оно ни было, сохранится та атмосфера, в которую я погружен сейчас, — та же музыка, позвякивание стаканов и аромат духов, исходящий от каждой соблазнительной попки и заглушающий обычный смрад жизни, даже тот, что внизу, в уборной.

Как ни странно, бесконечное хождение по шикарным барам вместе с Таней совершенно меня не испортило. Расставаться с ней было тяжело, это правда. Обычно я заводил ее в маленькую церковку недалеко от редакции, и там, стоя в темноте под лестницей, мы обнимались в последний раз. Она всегда шептала: «Господи, что я теперь буду делать?» Таня хотела, чтоб я бросил работу и день и ночь занимался с ней любовью; она даже перестала говорить о России — ведь мы были вместе. Но стоило нам расстаться, как в голове у меня прояснялось. Совершенно другая музыка, не такая дурманящая, но тоже приятная, встречала меня, как только я открывал дверь. И другие духи — не такие экзотические, но зато слышные повсюду: смесь пота и пачулей, которой пахло от рабочих. Приходя под хмельком, как это чаще всего бывало, я чувствовал, что теряю высоту. Обычно я направлялся прямо в уборную — это слегка освежало меня. Там было прохладнее, или, скорее, звук льющейся воды создавал эту иллюзию. Уборная заменяла мне холодный душ, возвращала к действительности. Чтобы попасть туда, надо было пройти мимо переодевавшихся рабочих-французов. Ну и вонь же шла от них, от этих козлов, несмотря на то что их труд хорошо оплачивался. Они стояли здесь, бородатые, в длинных подштанниках — нездоровые, истощенные люди со свинцом в крови. В уборной можно было познакомиться с плодами их раздумий — стены были покрыты рисунками и изречениями, по-детски похабными и примитивными, но в общем довольно веселыми и симпатичными. Чтобы добраться до некоторых из этих надписей, пришлось бы принести лестницу, но, пожалуй, это стоило бы сделать — даже из чисто психологических соображений. Иногда, пока я мочился, я думал о том, какое впечатление вся эта

литература произвела бы на шикарных дам, которых я видел входящими и выходящими из великолепных туалетов на Елисейских полях. Любопытно, так ли бы они задирали свои хвосты, если б знали, что о них здесь думают? Наверное, они живут в мире из бархата и газа. По крайней мере такое впечатление они создают, шурша мимо вас в облаках благоухания. Конечно, кое-кто из них не всегда был столь благороден, и, проплывая мимо вас, они попросту рекламируют свой товар. И, возможно, когда они остаются наедине с самими собой в своих будуарах, с их губ срываются очень странные слова, потому что их мир, да и всякий другой, состоит главным образом из грязи и погани, вонючей, как помойное ведро, — только им посчастливилось прикрыть его крышкой.

Как я уже говорил, мои ежедневные шатания по барам с Таней не оказывали на меня плохого действия. Когда случалось выпить лишнего, я засовывал два пальца в глотку: у корректора должна быть ясная голова — ведь для поисков пропущенной запятой нужна бóльшая сосредоточенность, чем для рассуждений о философии Ницше. У пьяного воображение может разыграться самым блестящим образом, но в корректуре блеска не требуется. Даты, дроби и точки с запятыми — вот что важно. Но они-то и ускользают от вас, когда голова не варит. Время от времени я пропускал серьезные ошибки, и если бы я не научился с самого начала лизать жопу главному корректору, меня бы давно уже выгнали. Однажды я даже получил письмо от большого человека с верхнего этажа, такого важного, что я никогда его не видел. Среди его саркастических пассажей по поводу моих умственных способностей были прозрачные намеки на то, что, если я не буду внимательней и не перестану болтать в рабочее время, мои дни в газете сочтены. По правде сказать, я чуть не наложил в штаны со страха. Конечно, после этого я свел свои разговоры к односложным словам и междометиям и вообще старался пореже раскрывать рот. Я начал разыгрывать из себя полного кретина, что здесь очень ценилось. Иногда я подходил к старшему корректору и, чтобы польстить ему, спрашивал значение того или другого слова. Ему это очень нравилось. Это был не человек, а какой-то ходячий словарь и график работы, и сколько бы он ни влил в себя пива во время перерывов (а он, пользуясь своим привилегированным положением, делал их часто), его никогда нельзя было сбить с толку. Он был рожден для своего дела. Мое единственное несчастье состояло в том, что я знал слишком много. Это вылезало наружу, несмотря на все мои старания. Если я приходил на работу с книгой под мышкой, он немедленно замечал это и, если книга была хорошая, становился язвительным. Я никогда не хотел сознательно его поддеть; я слишком дорожил своей работой, чтоб добровольно набрасывать себе петлю на шею. Тем не менее очень трудно разговаривать с человеком, с которым у вас нет ничего общего, и не выдать себя, даже если вы ограничиваетесь односложными словами. Он великолепно знал, что у меня нет ни малейшего интереса к тому, что он говорит, и все же по какой-то таинственной причине ему доставляло удовольствие отводить меня в сторону и забивать мне мозги датами и историческими событиями. Я подозреваю, что это был его способ мстить.

В результате я обзавелся небольшим неврозом. Стоило мне глотнуть свежего воздуха, я словно с цепи срывался, причем тема разговора не имела никакого значения. Когда мы рано утром начинали путь на Монпарнас, я немедленно направлял на нее пожарный шланг своего красноречия, и скоро от этой темы оставалось одно воспоминание. Особенно я любил говорить о вещах, о которых никто из нас не имел ни малейшего представления. Я развил в себе легкую форму сумасшествия — кажется, она называется «эхолалия». Я готов был говорить обо всем, о чем шла речь в последней верстке. О Далмации, например. Я только что прочел рекламное объявление об этом очаровательном курортном месте. Итак, Далмация. Вы садитесь в поезд, а утром уже

обливаетесь потом и вокруг вас лопаются спелые виноградины. Я могу нести чушь о Далмации от большого бульвара до дворца кардинала Мазарини и еще дальше. При этом я даже не знаю, где эта Далмация находится, да и не хочу знать, но в три часа утра, когда ваши вены наполнены свинцом, одежда промокла от пота и пачулей, а уши наполнены звоном серебряных браслетов, проходящих через прессы, и разговорами за кружкой пива, такие вещи, как география, костюмы, язык и архитектура, ничего не значат. Далмация связана с определенным часом ночи, когда гудящие гонги уже заглушены и двор Лувра выглядит так глупо, что вам хочется плакать ни с того ни с сего, просто потому, что он так прекрасно беззвучен, так пуст и не имеет ничего общего с первой страницей газеты и персонами с верхнего этажа, играющими в кости. С этим маленьким кусочком Далмации, лежащим на моих натянутых нервах, как холодное лезвие ножа, я словно отправляюсь в путешествие, во время которого со мной происходят разные удивительные приключения. И вот что смешно: я могу исколесить в воображении весь мир, но мысль об Америке никогда не приходит мне в голову. Она для меня дальше, чем потерянные континенты, потому что с ними у меня есть какая-то таинственная связь, но по отношению к Америке я не чувствую ничего. Правда, порой я вспоминаю Мону, но не как личность в определенном разрезе времени и пространства, а как что-то отвлеченное, самостоятельное, как если бы она стала огромным облаком из совершенно забытого прошлого. Я не могу себе позволить долго думать о ней, иначе мне останется только прыгнуть с моста. Странно. Ведь я совершенно примирился с мыслью, что проживу свою жизнь без Моны, но даже мимолетное воспоминание о ней пронзает меня до мозга костей, отбрасывая назад в ужасную грязную канаву моего безобразного прошлого.

Вот уже семь лет день и ночь я хожу с одной только мыслью — *о ней*. Если бы христианин был так же верен своему Богу, как я верен ей, мы все были бы Иисусами. Днем и ночью я думал только о ней, даже когда изменял. Мне казалось, что я наконец освободился от нее, но это не так; иногда, свернув за угол, я внезапно узнаю маленький садик — несколько деревьев и скамеек, — где мы когда-то стояли и ссорились, доводя друг друга до исступления дикими сценами ревности. И всегда это происходило в пустынном, заброшенном месте — на площади Эстрапад или на занюханных и никому не известных улочках возле мечети или авеню Бретёй, зияющей, как открытая могила, где так темно и безлюдно уже в десять часов вечера, что у вас является мысль о самоубийстве или убийстве, о чем-то, что могло бы влить хоть каплю жизни в эту мертвую тишину. Когда я думаю о том, что она ушла, ушла, вероятно, навсегда, передо мной разверзается пропасть и я падаю, падаю без конца в бездонное черное пространство. Это хуже, чем слезы, глубже, чем сожаление и боль горя; это та пропасть, в которую был низвергнут Сатана. Оттуда нет надежды выбраться, там нет ни луча света, ни звука человеческого голоса, ни прикосновения человеческой руки.

Бродя по ночным улицам, тысячи раз я задавал себе вопрос, наступит ли когда-нибудь время, когда она будет опять рядом со мной; все эти голодные, отчаянные взгляды, которые я бросал на дома и скульптуры, стали теперь невидимой частью этих скульптур и домов, впитавших мою тоску. Я не могу забыть, как мы бродили вдвоем по этим жалким, бедным улочкам, вобравшим мои мечты и мое вожделение, а она не замечала и не чувствовала ничего: для нее это были обыкновенные улочки, может быть более грязные, чем в других городах, но ничем не примечательные. Она не помнила, что на том углу я наклонился, чтобы поднять оброненную ею шпильку, а на этом — чтобы завязать шнурки на ее туфлях. А я навсегда запомнил место, где стояла ее нога. И это место сохранится даже тогда, когда все эти соборы

превратятся в развалины, а европейская цивилизация навсегда исчезнет с лица земли.

Однажды ночью, когда в припадке особенно болезненной тоски и одиночества я шел по улице Ломон, некоторые вещи открылись мне с необычайной ясностью. Было ли это потому, что я вспомнил фразу, сказанную Моной, когда мы стояли на площади Люсьена Эрра, — не знаю. «Почему ты не покажешь мне *тот* Париж, — сказала она, — Париж, о котором ты всегда пишешь?» И тут я внезапно ясно понял, что не смог бы никогда раскрыть перед нею тот Париж, который я изучил так хорошо, Париж, в котором нет арондисманов, Париж, который никогда не существовал вне моего одиночества и моей голодной тоски по ней. Такой огромный Париж! Целой жизни не хватило бы, чтобы обойти его снова. Этот Париж, ключ к которому — только у меня, не годится для экскурсий даже с самыми лучшими намерениями; это Париж, который надо прожить и прочувствовать, каждый день проходя через тысячи утонченных страданий, — Париж, который растет внутри вас, как рак, и будет расти, пока не сожрет вас совсем.

С этими мыслями, шевелящимися в моей голове, точно черви, я шел по улице Муфтар и внезапно припомнил один эпизод из моего прошлого, из того путеводителя, страницы которого Мона просила меня открыть. Но переплет его был так тяжел, что у меня не хватило сил это сделать. Ни с того ни с сего — ибо мои мысли были заняты Салавеном, через священные кущи которого я тогда проходил, — итак, ни с того ни с сего мне вдруг вспомнилось, как однажды я заинтересовался мемориальной доской на пансионе «Орфила», которую видел чуть ли не ежедневно, и, поддавшись внезапному импульсу, зашел туда и попросил показать мне комнату, где жил Стриндберг. В то время еще ничего ужасного со мной не случилось, хотя я уже знал, что значит быть бездомным и голодным и что значит бегать от полиции. У меня еще не было ни одного друга в Париже, что очень удивляло и угнетало меня, потому что, где бы я ни бродяжил до тех пор, я без труда обзаводился друзьями. Но на самом деле ничего ужасного со мной тогда еще не произошло. Можно жить и без друзей, как можно жить без любви и даже без денег — этой, по всеобщему мнению, абсолютной ценности. В Париже можно жить — я точно установил! — просто тоской и страданием. Горькая истина, но для некоторых это, вероятно, наименьшее из зол. Во всяком случае, я тогда еще не дошел до ручки. У меня все еще было достаточно интереса к людям и много времени, и я мог заглядывать в чужие жизни и потреблять романтическое варево, которое, как бы оно ни было малосъедобно, всегда кажется заманчивым и интригует, если влито в переплет книги. Выходя на улицу, я чувствовал, как мой рот кривит ироническая улыбка, точно я говорю самому себе: «О нет, ты не готов еще для пансиона „Орфила"!»

Потом, разумеется, я постиг то, что в Париже рано или поздно открывается каждому безумцу: ад совсем не таков, каким мы его себе представляем.

Мне кажется, сейчас я понимаю лучше, почему Мона получила от Стриндберга такое огромное удовольствие. Помню, как она смеялась до слез после какого-нибудь восхитительного пассажа, а потом говорила: «Ты такой же ненормальный, как он... ты хочешь, чтобы тебя мучили!»

Какое это, должно быть, удовольствие для садистки — обнаружить рядом мазохиста и перестать кусать себя, убеждаясь в остроте собственных зубов. В те дни, когда мы только познакомились, воображение Моны было занято Стриндбергом. Этот сумасшедший карнавал, на котором он веселился, эта постоянная борьба полов, эта паучья свирепость, которая сделала его любимым писателем отупелых северных недотеп, — все это свело нас с Моной. Мы начали вместе пляску смерти, и меня затянуло в водоворот с такой быстротой, что когда я наконец вынырнул

на поверхность, то не мог уже узнать мир. Когда я освободился, музыки уже не было, карнавал кончился и я был ободран до костей...

В тот день из пансиона «Орфила» я пошел в библиотеку и после омовения в водах Ганга и изучения знаков зодиака стал раздумывать о значении того ада, который Стриндберг так безжалостно описывал. И пока я переживал все это, мне стала постепенно открываться тайна его паломничества: это судьба каждого поэта, которого неведомая сила гонит на край земли, а потом (повторяя давно сыгранную драму) заставляет героически спуститься в самые ее недра, совершить страшное путешествие во чрево китово и после ожесточенной борьбы за свое освобождение выйти очищенным от прошлого на чужой берег — выйти уже не тем, чем он был раньше, а ослепительным, покрытым кровью богом солнца. Мне стала понятна тайна паломничества Стриндберга, да и не только его (Данте, Рабле, Ван-Гога и т. д. и т. д.), в Париж. Я понял, почему Париж привлекает к себе всех измученных, подверженных галлюцинациям, всех великих маньяков любви. Я понял, почему здесь, в самом центре мироздания, самые абсурдные, самые фантастические теории находишь естественными и понятными, а перечитывая книги своей молодости, видишь в их загадках новый смысл, и с каждым седым волосом его становится все больше. Здесь, в Париже, человек, бродя по улицам, понимает с удивительной ясностью, что он — полоумный, одержимый, потому что все эти холодные, безразличные лица вокруг могут принадлежать только надзирателям сумасшедшего дома. Здесь исчезают все перегородки и мир открывается перед вами, как безумная живодерня. Конвейер тянется до горизонта, все люки задраены, логика стекает по желобам, и окровавленная тяпка свищет в воздухе. Воздух сперт и прохладен. Это язык Апокалипсиса. Отсюда нет иного выхода, кроме смерти. Это тупик, и в конце его — эшафот!

Вечный город, Париж! Более вечный, чем Рим, более великолепный, чем Ниневия. Пуп земли, к которому приползаешь на карачках, как слепой, слабоумный идиот. И как пробка, занесенная течениями в самый центр океана, болтаешься здесь среди грязи и отбросов, беспомощный, инертный, безразличный ко всему, даже к проплывающему мимо Колумбу. Колыбель цивилизации — гниющая выгребная яма мира, склеп, в который вонючие матки сливают окровавленные свертки мяса и костей.

Улицы Парижа были моим убежищем. Никто не может понять очарования улиц, если ему не приходилось искать в них убежища, если он не был беспомощной соломинкой, которую гонял по ним каждый ветерок. Вы идете по улице зимним днем и, увидев собаку, выставленную на продажу, умиляетесь до слез. В то же время на другой стороне улицы вы видите жалкую лачугу, напоминающую могилу, а на ней надпись: «Отель „Заячье кладбище"». Это заставляет вас смеяться тоже до слез. Вы замечаете, что повсюду кладбища для всех — для зайцев, собак, вшей, императоров, министров, маклеров, конокрадов. И почти на каждой улице «Отель де л'Авенир» — «гостиница будущего», — что приводит вас в еще более веселое настроение. Столько гостиниц для будущего! И ни одной для прошлого, позапрошлого, давнопрошедшего. Все заплесневело, загажено, но топорщится весельем и раздуто будущим, точно флюс. Пьяный от этой скабрезной экземы будущего, я иду, спотыкаясь, через площадь Вьоле. Все кругом розовато-лиловое и бледно-серое, а подъезды в домах настолько низки, что лишь карлики и домовые могут пройти в них, не нагибаясь; над скучным черепом Золя трубы извергают белый дым, а мадонна сандвичей слушает своими капустными ушами ворчание в газовых цистернах — в этих прекрасных раздувшихся жабах, сидящих возле дороги.

Почему я вдруг вспомнил Фермопильское ущелье? Потому что в тот день я слыхал, как женщина обратилась к своему щенку на апокалипсическом языке живодерни, и маленькое животное поняло, что говорила эта засаленная повивальная стерва. Меня это ужасно расстроило. Боль-

ше даже, чем вид тех скулящих дворняг, которых продают на улице Брансьон, — там меня приводят в уныние не сами эти собаки, а огромная железная загородка с заржавленными шипами, как бы стоящая между мной и той жизнью, на которую я имею право. На приятной улочке под названием Перишо, возле скотобойни Вожирар (специализирующейся на конине), я заметил тут и там следы крови. Так же, как безумный Стриндберг, видевший в каждом камне на полу пансиона «Орфила» предзнаменования и странные символы, я, бредя по этой забрызганной кровью улице, перебираю осколки своего прошлого, и они кажутся предвестниками ужасающих несчастий. Я воображаю, что это моя кровь в грязи мостовой, кровь, которую выкачивали из меня, вероятно, с самого начала моей жизни — во всяком случае, с того времени, как я себя помню. В этот мир человека выбрасывают, точно грязную маленькую мумию; все дороги скользки от крови, и никто не знает почему. Каждый идет своей дорогой, и даже, когда земля стонет от изобилия, заваленная прекрасными плодами, нет времени, чтоб их собрать; процессия спешит к воротам с надписью «Выход», и каждый одержим истерическим желанием как можно скорее достичь их. Слабые и усталые валятся с ног и топчутся в грязи, но никто не слышит их криков.

Мой мир людей ушел в прошлое. Я был совершенно один, и моими единственными друзьями были парижские улицы, которые разговаривали со мной на печальном, горьком языке, состоящем из страдания, тоски, раскаяния, неудач и напрасных усилий. Ночью, проходя под виадуком на улице Брока́, после того как пришло известие, что Мона больна и голодает, я вдруг вспомнил: как раз здесь, среди грязи и копоти этой улицы, Мона, вероятно в ужасе от мрачных предчувствий, обнимала меня, дрожащим голосом умоляя поклясться, что я никогда ее не брошу — никогда, что бы ни случилось. А спустя всего несколько дней я стоял на платформе вокзала Сен-Лазар и смотрел, как тронувшийся поезд увозит ее. Она высовывалась из окна вагона, точь-в-точь как в Нью-Йорке, когда я покидал ее, с такой же печальной и загадочной улыбкой, и прощальный взгляд должен был сказать так много, но был всего лишь маской, запечатлевшей эту безучастную улыбку. Всего несколько дней назад она умоляла меня не покидать ее... Потом что-то случилось, чего я не понимаю даже сейчас, и она сама, по собственному побуждению влезла в этот поезд и опять смотрела на меня с этой печальной, таинственной улыбкой, которая приводит меня в недоумение своей несправедливостью и неестественностью и которой я никогда не мог поверить. И вот я стою под виадуком и тянусь к ней всем своим существом, с отчаянием и с той же необъяснимой улыбкой на губах, которую я натянул, точно маску, на свое горе. Я могу стоять здесь и странно улыбаться, и как бы ни были горячи мои молитвы, как бы ни было сильно мое стремление к ней, между нами — океан, и ничто не изменится. Она будет голодать там, а я буду ходить здесь с одной улицы на другую, и горячие слезы будут жечь мне лицо.

Такая жестокость заложена в этих улицах; это *она* смотрит со стен и приводит вас в ужас, когда вы внезапно поддаетесь инстинктивному страху. когда вашу душу охватывает слепая паника. Это *она* придает фонарям их причудливую форму, чтобы удобнее было прикреплять к ним петлю; это *она* делает некоторые дома похожими на стражей, хранящих тайну преступления, а их слепые окна — на пустые впадины глаз, видевших слишком много. Это *она* написана на человеческих физиономиях улиц, от которых я бегу сломя голову, когда вдруг вижу над собой табличку с названием: «Тупик Сатаны». И это *она* заставляет меня содрогаться, когда я прохожу мимо надписи у самого входа в мечеть: *«Туберкулез — по понедельникам и четвергам. Сифилис — по средам и пятницам»*. На каждой станции метро оскалившиеся черепа предупреждают: «Берегись сифилиса». С каждой стены на вас смотрят плакаты с яркими ядовитыми крабами — напоминание о приближаю-

щемся раке. Куда бы вы ни пошли, чего бы вы ни коснулись, везде — рак и сифилис. Это написано в небе; это горит и танцует там как предвестие ужасов. Это въелось в наши души, и потому мы сейчас мертвы, как луна.

10

Четвертого июля из-под моей задницы опять вытащили стул. Без всякого предупреждения. Какой-то большой воротила на другом берегу океана решил наводить экономию; за счет выгнанных корректоров и беспомощных машинисток он сможет проехаться в Европу и обратно, а также снять шикарный номер в отеле «Риц». После того как я заплатил мелкие долги линотипистам и небольшую сумму в бистро через дорогу (для поддержания кредита), от моего жалованья почти ничего не осталось. Пришлось сказать хозяину гостиницы, что я съезжаю. Причину я не объяснил, чтобы он не беспокоился о своих жалких двухстах франках.

«Что ты будешь делать, если потеряешь работу?» Эта фраза постоянно звучала у меня в ушах. И вот это «если» превратилось в действительность. Я был конченый человек. Мне ничего не оставалось делать, как идти опять на улицу, слоняться взад и вперед, сидеть на скамейках, убивая время. На Монпарнасе к моему лицу уже привыкли, и какое-то время я мог делать вид, что все еще работаю в газете. Это помогало тут и там перехватить завтрак и обед «на мелок». Стояло лето, в городе было полно туристов, и я знал, как можно выжать из них деньги. «Что ты будешь делать?..» Во всяком случае я не буду голодать. Даже если придется полностью сосредоточиться на пропитании. Неделю-другую я смогу по-прежнему обедать у «Мсье Поля»; он не будет знать, работаю я или нет. Главное — это есть каждый день. Об остальном позаботится Провидение.

Конечно, я держал ухо востро, чтобы вовремя поспеть туда, где можно хоть немного подработать. Я обзавелся целой кучей новых знакомых — зануд, которых я до сих пор старательно избегал, пьяниц, которых я терпеть не мог, художников, у которых водились деньжата, стипендиатов Гугенхайма и т. д. Когда сидишь в кафе двенадцать часов в день, быстро обрастаешь друзьями. Скоро узнаешь всех пропойц на Монпарнасе. Они липнут к тебе, как вши, даже если единственное, что ты даешь им, — это возможность говорить.

Теперь, когда я потерял работу, Карл и ван Норден придумали новый вопрос: «Что ты будешь делать, если к тебе сейчас приедет жена?» Ну, что ж — просто будет два рта вместо одного. У меня появится товарищ по несчастью. И если она не потеряла еще привлекательности, мне будет, может быть, даже легче вдвоем с ней, чем одному, — мир редко позволяет красивой женщине голодать. На Таню я не мог сейчас особенно рассчитывать — она посылала деньги Сильвестру. Я думал, что она позволит мне переехать к ней, но она боялась себя скомпрометировать и, кроме того, не хотела портить отношения с шефом.

Если вы попали в беду, первым делом обращайтесь к евреям. Я знал троих. Очень славные ребята. Один из них был отставным торговцем пушниной, и ему до смерти хотелось увидеть свое имя в печати; он предложил мне написать за него серию статей для нью-йоркской еврейской газеты. Пришлось рыскать вокруг кафе «Дом» и «Куполь» в поисках примечательных евреев. Первым я поймал знаменитого математика, не знавшего ни слова по-английски. Мне приходилось писать что-то насчет теории удара по диаграммам, которые он чертил на бумажных салфетках; описывать движение небесных тел и одновременно громить теорию Эйнштейна. И за все про все двадцать пять франков. Когда я видел свои статьи в газете, то читать их уже не мог, но выглядели они очень солидно, особенно с именем торговца пушниной.

В это время я довольно много писал таким вот образом. Когда

открылся большой новый бордель на бульваре Эдгара Кине, мне тоже перепало кое-что за написанные для них брошюрки. Бутылка шампанского и даровая б.... в одной из египетских комнат. За каждого нового клиента, которого я приведу, мне были обещаны комиссионные, совершенно так же как когда-то моему старому другу Кепи. Однажды я привел ван Нордена; он пришел главным образом ради меня, но когда «мадам» узнала, что он журналист, то наотрез отказалась брать с него деньги. А я снова получил только бутылку шампанского и даровую девицу. В общем, я остался с носом, к тому же должен был писать заметку за ван Нордена, потому что он не знал, как деликатно обойти вопрос о настоящем назначении этого заведения. Эти неурядицы случались со мной постоянно. Одним словом, меня е... во всех позициях.

Но самым тяжелым из моих заказов была диссертация, которую я взялся написать для глухонемого психолога. Диссертация была посвящена уходу за детьми-инвалидами. Моя голова оказалась забита болезнями, протезами, трудотерапией и теориями о пользе свежего воздуха; ушло у меня на эту работу около полутора месяцев с перерывами, и вдобавок мне еще пришлось читать корректуру всего этого ужаса. Он был написан по-французски, таким французским языком, какого я за всю свою жизнь никогда не видел и не слышал. Но зато каждое утро я мог позволить себе хороший завтрак, настоящий американский завтрак — апельсиновый сок, овсянку, сливки к кофе, а иногда для разнообразия и яичницу с ветчиной. Это был единственный период в моей парижской жизни, когда я прилично завтракал — и все благодаря детям-инвалидам из Рокэуэй-Бича и Ист-Сайда.

Потом я подружился с фотографом; он снимал самые злачные места Парижа для какого-то мюнхенского дегенерата. Фотограф предложил мне позировать для него без штанов и в разных других видах. Я вспомнил тех мозгляков, похожих на гостиничных посыльных, которых можно иногда увидеть на порнографических открытках в окнах книжных магазинчиков, — таинственные призраки, обитающие на улице Люн и в других вонючих кварталах Парижа. Мне не особенно хотелось попасть в такую изысканную компанию. Однако, когда фотограф объяснил мне, что все открытки предназначаются для частной коллекции и что заказчик живет в Мюнхене, я согласился. За границей можно позволить себе некоторые вольности, в особенности ради хлеба насущного — причина в высшей степени уважительная. В конце концов, как я вспоминаю сейчас, я и в Нью-Йорке не был слишком разборчив. Иногда мне по вечерам случалось даже просить подаяние на собственной улице.

С фотографом мы не ходили по обычным туристским маршрутам, а выбирали более подходящие маленькие заведения, где до начала работы можно было сыграть в карты. Он был приятный парень, этот мой фотограф. Париж он знал вдоль и поперек, особенно его центральную часть; он говорил со мной о Гёте, о Гогенштауфенах и об избиении евреев во времена Черной смерти. Это все были интересные предметы, к тому же они всегда каким-то образом оказывались связаны с тем, что он к тому же они всегда каким-то образом оказывались связаны с тем, что он делал. У фотографа были разные идеи для киносценариев, надо сказать, очень интересные, но не находилось достаточно смелого режиссера, чтобы их реализовать. Лошадь со вспоротым брюхом, напоминавшим дверь салуна, вдохновляла его на разговор о Данте, или Леонардо да Винчи, или о Рембрандте; выйдя с бойни в Виллет, он хватал такси и вез меня в музей Трокадеро, чтобы показать там череп или мумию, которые произвели на него большое впечатление. С ним мы осмотрели самым детальным образом пятый, тринадцатый, девятнадцатый и двадцатый арондисманы. Нашими излюбленными местами были мрачные площади Насьональ, де Пеплие, Контрэскарп и Поля Верлена. Многие из этих мест я уже хорошо знал, но в его рассказах они обретали для меня новые краски. И если сегодня мне случится попасть на улицу Шато-де-

Рантье, например, то, вдыхая зловоние больничных коек, которым пропитан весь тринадцатый арондисман, я удовлетворенно раздую ноздри, потому что этот запах застоявшейся мочи и формальдегида неразрывно связан с нашими воображаемыми путешествиями по чумному кладбищу Европы.

Через фотографа я познакомился с Крюгером, человеком спиритуалистического склада. Он был скульптором и художником. Крюгер почему-то очень ко мне привязался; когда же он понял, что я готов слушать его «эзотерические» рассуждения, от него стало просто невозможно отделаться. В этом мире есть люди, для которых слово «эзотерический» подобно божественному откровению. Как «кончено» для герра Пеперкорна в «Волшебной горе». Крюгер был одним из тех святых, что сбились с пути, мазохистом, анальным типом, для которого главное — щепетильность, сдержанность и совестливость, но в выходной день он может любому вышибить зубы, причем без малейших колебаний. Крюгер решил, что я созрел для перехода на другой уровень существования, «более высокий уровень», как он говорил. Я был готов перейти на любой уровень по его выбору, поскольку это не отражалось на моем потреблении съестного и спиртного. Он забивал мою голову массой сведений об «астральных телах», «каузальном теле», «переселении душ», упанишадах, Плотине, Кришнамурти, «кармической оболочке души», «сознании нирваны» — обо всей этой ерундистике, которая залетает к нам с Востока, словно дыхание чумы. Иногда он впадал в транс и говорил о своих предыдущих воплощениях, как он их себе представлял. Или рассказывал мне свои сны, которые, на мой взгляд, были скучны, неинтересны и не стоили даже внимания фрейдиста, но он чувствовал в них какой-то скрытый эзотерический смысл, а я должен был помогать ему этот смысл расшифровывать. Он выворачивал себя наизнанку, как изношенный пиджак.

Со временем, завоевав доверие Крюгера, я проник в его сердце. Я довел его до такого состояния, что он ловил меня на улице и спрашивал, не разрешу ли я ему ссудить мне несколько франков. Ему хотелось, чтобы моя душа не расставалась с телом до перехода на более высокий уровень. Я был словно груша, зреющая на дереве. Иногда у меня случались рецидивы, и я признавался, что мне действительно нужны деньги для удовлетворения более земных потребностей, как, например, для визита в «Сфинкс» или на улицу Святой Аполлины, куда и он иногда захаживал, когда его плоть оказывалась сильнее духа.

Как художник он был круглый нуль, а как скульптор — даже меньше нуля. Он умел вести хозяйство — в этом я не мог ему отказать. Он ничего никогда не выбрасывал, даже бумагу, в которую заворачивали мясо. По пятницам вечером Крюгер приглашал к себе своих собратьев-художников, и на этих сборищах всегда было вдоволь и вина, и отличных бутербродов. Если что-нибудь из этого угощения случайно оставалось, то, придя утром, я это съедал.

Был и еще один художник, к которому я часто заходил. Его ателье помещалось позади «Баль Бюллье». Художника звали Марк Свифт, и хотя этот едкий ирландец не был гением, он был зато настоящим эксцентриком. Его натурщица — еврейка, с которой он жил многие годы, — ему надоела, и он искал предлога, чтобы с ней расстаться. Но поскольку в свое время он промотал приданое натурщицы, то не знал, как ее спровадить, не возвращая денег. Проще всего было сделать ее жизнь невыносимой, чтоб она скорее согласилась голодать, чем переносить его жестокость.

Она была довольно славная женщина. Единственное, что можно было сказать о ней плохого, так это то, что она расползлась в талии и потеряла возможность содержать своего любовника. Она тоже была художницей, и, по словам тех, кто считал себя знатоками в этом деле, более талантливой, чем он. Но как бы Свифт ни портил ей жизнь, она оставалась ему верна и никому не позволила бы усомниться в том, что

он великий художник. Его отвратительный характер она объясняла гениальностью. В их ателье на стенах никогда не висели ее картины — только его. Ее работы были свалены в кухне. Однажды — это было при мне — кто-то настоял на том, чтобы она показала их. Результат был самый неприятный. «Видите эту фигуру? — сказал Свифт, тыча ножищей в одно из полотен. — Человек, стоящий в дверях, собирается выйти во двор помочиться. Он никогда не найдет дорогу назад, потому что его голова приделана к телу совершенно по-идиотски... Теперь посмотрите на эту обнаженную фигуру... Все шло хорошо, пока она не принялась за п...у. Я не знаю, о чем она думала, но п.... получилась такой огромной, что кисть провалилась в нее, и вытащить ее оттуда уже невозможно...»

Чтобы показать всем присутствующим, как надо изображать обнаженное тело, Свифт достал огромный холст, который только что закончил. Это было написано с *нее* — замечательный образец мести, вдохновленной нечистой совестью. Работа маньяка — пропитанная ядом, ненавистью, желчью, мелочным презрением, но выполненная блестяще. Создавалось впечатление, что художник подсматривал за своей моделью в замочную скважину, подлавливая ее в самые некрасивые моменты — когда она ковыряла в носу или чесала задницу. На картине она сидела на волосяном диване в огромной комнате без всякой вентиляции и без единого окна; эта комната с тем же успехом могла сойти за переднюю долю шишковидной железы. В глубине вела на галерею зигзагообразная лестница, покрытая ковровой дорожкой ядовито-зеленого цвета; эта зелень могла явиться только из мира, находящегося при последнем издыхании. Но прежде всего бросались в глаза ягодицы женщины, скособоченные и покрытые струпьями. Они не касались дивана — женщина чуть приподнялась, как видно, для того, чтобы громко пернуть. Лицо модели Свифт идеализировал, это было невинное кукольное личико с конфетной коробки. Но ее груди были раздуты, точно их наполняли миазмы канализационных труб, и вся она, казалось, плавала в менструальном море — огромный эмбрион с тупым мармеладным взглядом ангела.

И все-таки Свифта любили. Он был неутомим в работе и кроме живописи действительно ни о чем не думал. Это, правда, не мешало ему быть хитрым, как хорек. Именно он посоветовал мне подружиться с Филмором, молодым человеком из дипломатического корпуса, каким-то образом попавшим в число знакомых Крюгера и Свифта. «Филмор может вам помочь, — сказал Свифт. — Он не знает, что ему делать со своими деньгами».

Когда человек тратит деньги на себя и получает от этого удовольствие, про него говорят: «Он не знает, что делать с деньгами». С моей точки зрения, такой человек нашел лучшее применение своим деньгам. О таком человеке нельзя сказать, что он скупердяй или транжира. Он пускает деньги в обращение — и это самое главное. Филмор знал, что дни его пребывания во Франции сочтены, и твердо решил выжать из своей заграничной жизни все возможное. А так как вдвоем делать это веселей, чем одному, нет ничего удивительного, что Филмор ухватился за такого человека, как я, — ведь у меня было сколько угодно свободного времени. Про Филмора говорили, что он скучный малый, и, по всей вероятности, это было правдой, но когда человеку надо есть, он может вынести гораздо более тяжкие вещи, чем скука. Филмор оказался страшной балаболкой, он говорил без умолку — главным образом о себе и о писателях, которыми рабски восхищался, например об Анатоле Франсе или Джозефе Конраде. И все же мои вечера с ним были интересными, хотя и в другом отношении. Он любил танцы, хорошее вино и женщин. То, что он также любил Байрона и Гюго, ему можно было простить. Он совсем недавно выскочил из университета, и у него оставалось еще много времени для исправления вкуса. Но что мне нравилось в нем, так это страсть к приключениям.

Нас сблизил довольно неприятный инцидент, который произошел во время моего короткого проживания у Крюгера. Это случилось вскоре после появления Коллинза — матроса, с которым Филмор подружился, когда плыл из Америки. Мы все трое встречались каждый вечер перед обедом на террасе «Ротонды». Обед начинался с перно — этот напиток всегда приводил Коллинза в хорошее расположение духа и создавал как бы основу для вина, пива и коньяков, которые за ним следовали. Пока Коллинз оставался в Париже, я жил, как герцог: дичь, вина лучших марок, сладкие блюда, о которых я раньше даже не слышал. Еще месяц такого питания, и мне пришлось бы лечиться в Баден-Бадене, Виши или Экс-ле-Бене. Между тем я жил в ателье Крюгера. И это становилось для него все обременительнее — я редко приходил домой раньше трех часов ночи, и меня было трудно вытащить из постели до полудня. Крюгер никогда не делал мне замечаний, но его отношение ко мне ясно показывало, что, по его мнению, я превращаюсь в пропойцу.

И вдруг я заболел. Изысканные яства оказались не по мне. Я не понимал, что со мной происходит, но не мог подняться с постели. Я был совершенно без сил, а вместе с силами пропала и бодрость духа. Крюгеру приходилось ухаживать за мной, варить мне бульоны и все такое прочее. Это тяготило его, особенно потому, что он собирался устроить в своем ателье выставку для каких-то богатых меценатов, на которых он возлагал большие надежды. Моя постель стояла здесь же, в ателье, — другого места для нее не было.

Утром, в тот день, когда должны были явиться его возможные благодетели, Крюгер проснулся в самом отвратительном настроении. Если бы я мог стоять на ногах, он, наверное, просто дал бы мне по морде и выкинул вон. Но я лежал пластом. Он пытался выманить меня из постели, чтобы, когда появятся меценаты, запереть на кухне. Я прекрасно осознавал, что мое пребывание здесь было для него катастрофой. Какой интерес могут вызвать картины и скульптуры, когда тут же, на ваших глазах умирает человек! А Крюгер был уверен, что я умираю, да и я придерживался того же мнения. Поэтому, несмотря на чувство вины, я без всякого восторга отнесся к предложению Крюгера вызвать машину «скорой помощи» и отвезти меня в Американскую больницу. Если я умираю, то хорошо бы умереть прямо здесь, в уютном ателье, а не искать другого места. По правде говоря, мне было все равно, где я умру, лишь бы не вылезать из постели.

Услышав мои рассуждения, Крюгер встревожился. И больной-то в ателье портил ему картину, а уж покойник — и подавно. Это разрушило бы все его надежды, как бы незначительны они ни были. Конечно, он не сказал мне этого прямо, но я ясно понял по его волнению, что именно так он думает, а поняв, сделался упрямым и наотрез отказался от врача и от больницы. Отказался от всего.

В конце концов Крюгер до того разозлился, что, несмотря на мои протесты, стал меня одевать. У меня не было сил сопротивляться. Я только тихо шипел: «Ну и сволочь же ты...» Несмотря на то, что день был теплый, я дрожал как собака. Крюгер одел меня и, накинув мне на плечи пальто, побежал звонить. «Я никуда отсюда не уйду... никуда... никуда...» — повторял я, но он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Вскоре он вернулся и, не говоря ни слова, стал приводить ателье в порядок. Последние приготовления. Через несколько минут в дверь постучали. Это был Филмор. Он объявил мне, что внизу нас ждет Коллинз.

Филмор и Крюгер вдвоем взяли меня под мышки и поставили на ноги. Когда они волокли меня на лестницу к лифту, Крюгер разнюнился.

— Это для твоей же пользы, — говорил он. — Кроме того, пойми мое положение... Я бился все эти годы как рыба об лед... Ты должен подумать обо мне...

В глазах его стояли слезы.

Я чувствовал себя на редкость гнусно, но при этих словах почти улыбнулся. Крюгер был значительно старше меня. Как художник он ничего не стоил — но все же он заслужил этот, вероятно, единственный в своей бездарной жизни шанс выбиться в люди.

— Я не сержусь, — пролепетал я. — Я все понимаю...

— Ты всегда был мне симпатичен... — бубнил он. — Когда ты выздоровеешь, можешь вернуться обратно и жить здесь сколько хочешь...

— Да, я знаю... Я еще не собираюсь отдавать концы... — прошептал я с трудом.

Когда я увидел внизу Коллинза, произошло чудо, и я слегка воспрянул духом. Трудно было представить себе человека более живого, здорового, веселого и щедрого, чем он. Коллинз поднял меня на руки, точно куклу, и уложил на заднее сиденье такси — очень осторожно, что было особенно приятно после бесцеремонного обращения Крюгера.

Мы приехали в гостиницу, где остановился Коллинз, и пока я лежал на диване в холле, Филмор и Коллинз вели долгие переговоры с хозяином. Я слышал, как Коллинз объяснял, что у меня ничего серьезного, так, легкая слабость, и что через пару дней я буду на полном ходу. Потом он сунул в руку хозяину хрустящую ассигнацию и, быстро повернувшись, подошел ко мне: «Эй, держи хвост пистолетом! Пусть не думает, что ты загибаешься». С этими словами он рывком поднял меня и, обхватив рукой за пояс, повел к лифту.

«Пусть не думает, что ты загибаешься!» Ясно, что умирать среди чужих людей — дурной тон. Человек должен умирать, окруженный семьей и в частном порядке, так сказать. Слова Коллинза подбодрили меня. Все происходящее стало напоминать мне глупую шутку. Наверху, закрыв дверь, Филмор и Коллинз раздели меня и уложили в постель. «Теперь ты, черт возьми, уже не можешь умереть! — тепло сказал Коллинз. — Ты поставишь меня в ужасное положение... И что с тобой вообще, черт побери? Не привык к хорошей жизни? Выше голову! Через пару дней будешь уписывать замечательный бифштекс! Ты думаешь, что ты болен? Ха-ха, подожди, пока подцепишь сифилис! Вот тогда тебе придется действительно призадуматься». И тут он с юмором стал рассказывать о своем путешествии по реке Янцзы, о том, как у него выпадали волосы и гнили зубы. Я совсем ослаб, но поневоле увлекся его рассказом, и мне стало легче. О себе я уже забыл. У Коллинза были стальные нервы и бесконечная жизнерадостность. Вероятно, он привирал, но он ведь делал это ради меня, и я не собирался уличать его во лжи. Я смотрел во все глаза и слушал во все уши. Я видел грязное желтое устье реки, огни Ханькоу, зажигающиеся вдали, море желтых лиц, сампаны, стрелой перелетающие через водовороты и речные пороги, окутанные серным дыханием дракона. Что за рассказ! Кули, облепившие пароход, как мухи, вылавливают из воды отбросы, вышвырнутые за борт; Том Слаттери поднимается со своего смертного ложа, чтобы взглянуть в последний раз на огни Ханькоу; красивый евразиец, лежащий в темной комнате, вводит в свои вены смертельный яд; монотонность синих одежд и желтых лиц, миллионов лиц, изъеденных голодом и болезнями; люди, которые ели крыс, собак и коренья, жевали траву прямо с земли и пожирали своих собственных детей... Я не мог представить себе Коллинза, покрытого язвами и струпьями, не мог представить, что от него шарахались, как от прокаженного. Казалось, его дух был совершенно очищен страданиями, через которые он прошел. Когда он потянулся за стаканом, лицо его смягчилось, а слова зазвучали так, точно ласкали меня. И все это время Китай витал над нами, как судьба. Гниющий Китай, распадающийся в прах, как динозавр, но сохраняющий до самого своего конца всю прелесть, очарование, таинственность и жестокость своих древних легенд.

Перестав следить за рассказом Коллинза, я мысленно перенесся

назад к Четвертому июля, когда я купил свой первый пакетик бенгальских огней, а вместе с ним и длинные ломкие куски трута, который тлеет красным огнем, если на него подуть; его запах въедается в пальцы на много дней и заставляет думать о странных вещах. Четвертого июля в Америке все улицы усыпаны ярко-красными бумажками с черными и золотыми рисунками, везде — маленькие петарды для фейерверка с такими удивительными внутренностями; сколько их тут, и все связаны вместе своими тонкими плоскими короткими кишочками-струнами цвета человеческих мозгов. Целый день в воздухе стоит запах пороха и трута, и повсюду — золотая пыльца от красных оберток, прилипающая к пальцам. Вы не думаете о Китае, но он с вами — на кончиках пальцев и в ноздрях, которые он щекочет. И потом, много дней спустя, когда вы уже забыли запах фейерверка, вы внезапно просыпаетесь, потому что золотая пыльца душит вас, и в ноздрях — едкий запах горящего трута, и вы вспоминаете ярко-красные бумажки с чувством тоски по стране и народу, которых вы никогда не видели, но которые — в вашей крови, которые вошли туда каким-то таинственным образом, как чувство времени и пространства, как какое-то неуловимое, но постоянное впечатление, к которому вы возвращаетесь все чаще, по мере того, как стареете; вы стараетесь охватить это умом, но безуспешно, потому что во всем китайском — мудрость и тайна, и вы не можете коснуться их руками или понять разумом, они должны прилипнуть к вам, остаться на кончиках пальцев и медленно проникать в вены.

Несколько недель спустя, получив настойчивое приглашение от Коллинза, который только что вернулся в Гавр, мы с Филмором сели на утренний поезд, решив провести выходные с нашим другом. Впервые я покидал Париж. Мы были в чудном настроении и всю дорогу пили анжуйское. Коллинз дал нам адрес «Бара Джимми», где мы должны были с ним встретиться — его, по словам Коллинза, знает в Гавре каждая собака.

На вокзале мы влезли в открытый экипаж и отправились к месту встречи бодрой рысцой. У нас еще осталось полбутылки анжуйского, и мы допивали его по дороге. Гавр — веселый солнечный город; бодрящий воздух пропитан крепким соленым запахом, который заставил меня вспомнить о Нью-Йорке чуть ли не с ностальгической грустью. Везде мачты и корпуса судов, яркие флаги, большие открытые площади, кафе с высокими потолками — такие кафе можно встретить только в провинции. Все это было замечательно, и, казалось, знаменитый порт встречает нас с распростертыми объятиями.

Не дойдя до бара, мы увидели Коллинза, бегущего по улице — очевидно на вокзал, но, как всегда, с опозданием. Филмор немедленно предлагает выпить по рюмочке перно; мы хлопаем друг друга по спине, хохочем и фыркаем, уже пьяные от солнца и соленого морского воздуха. Сначала Коллинз в нерешительности — стоит ли ему пить перно. Он сообщает нам, что у него легкий триппер; нет, ничего серьезного, скорее всего это наследственное. Он вынимает и показывает мне бутылочку с лекарством, насколько я помню, оно называлось венесьен — матросское средство от триппера.

Перед тем как отправиться к Джимми, мы решаем перекусить и заходим в приморский ресторан. Собственно, это не ресторан, а огромная таверна с прокопченными потолочными балками и столами, гнущимися под тяжестью снеди. Устроившись, мы с удовольствием пьем вина, которые рекомендует нам Коллинз, а потом выходим на террасу пить кофе с ликерами. Коллинз говорит все время о бароне де Шарлю, который ему очень нравится. Почти месяц Коллинз жил в Гавре, спуская деньги, заработанные на контрабанде. Его вкусы очень просты — еда, вино, женщины и книги. И ванная в номере! Это обязательно.

Продолжая болтать о бароне де Шарлю, мы добираемся до «Бара Джимми». Уже темнеет, и заведение постепенно наполняется публикой. Конечно, тут и сам Джимми с красной как свекла физиономией, и его

супруга, красивая, пышущая здоровьем француженка со сверкающими глазами. Нас встречают как родных. Опять появляется бутылка перно, граммофон орет точно иерихонская труба, публика галдит по-французски, по-английски, по-голландски, по-норвежски и по-испански, а Джимми и его жена — оба в превосходном настроении — обнимаются и целуются, тут же чокаясь. В баре стоит гам неудержимого веселья, и хочется сорвать с себя одежду и пуститься в дикий пляс. Женщины у стойки бара собираются вокруг нас, словно мухи. Раз мы друзья Коллинза, значит, мы богаты. Не важно, что на нас старые костюмы — «англичане» всегда так одеваются. В кармане у меня — ни сантима, что, конечно, сейчас не имеет никакого значения, потому что я здесь почетный гость. Тем не менее я чувствую себя неловко, когда две сногсшибательные девки берут меня в оборот и ждут, чтоб я что-нибудь для них заказал. В конце концов я решил, что пора действовать. К этому времени уже трудно было разобрать, кто и за что платил. Я должен разыгрывать из себя «джентльмена», даже без гроша в кармане.

Иветт — так звали жену Джимми — встретила нас с исключительным радушием и сейчас готовила нам специальный ужин. Она предупредила, что это займет некоторое время, и просила не пить слишком много — иначе мы не сможем оценить ее кухню. Граммофон продолжал греметь, и Филмор, подхватив красивую мулатку в плотно облегающем бархатном платье, пустился в пляс. Коллинз подсел поближе и шепнул, показывая глазами на женщину, сидящую рядом со мной: «Если она тебе нравится, мадам пригласит ее на ужин». По его словам, эта женщина — бывшая проститутка, у нее шикарный дом в предместье Гавра. Сейчас она замужем за морским офицером, который недавно ушел в плаванье. Так что бояться нечего. «Если ты ей тоже понравишься, она пригласит тебя остановиться у нее», — добавляет Коллинз.

Этого мне более чем достаточно. Немедленно повернувшись к Марсель, я начинаю осыпать ее комплиментами. Мы идем к бару и стоим там, точно танцуя на одном месте, но на самом деле щупаем друг друга без зазрения совести. Джимми подмигивает мне и одобрительно кивает головой. Эта Марсель великолепна. Вторая девица исчезла почти немедленно — очевидно, по знаку Марсель. Мы садимся и начинаем длинный и чрезвычайно интимный разговор, который, к сожалению, прерывается приглашением к столу.

Нас было около двадцати человек за столом. Меня и Марсель усадили на одном конце, напротив сели Джимми и его жена. Захлопали пробки, и вскоре начались длинные пьяные застольные речи, во время которых мы с Марсель обследуем друг друга под столом. Когда настала моя очередь встать и предложить тост, пришлось держать перед собой салфетку. Это было и сладко и больно одновременно. Но мой тост был весьма краток, потому что, пока я стоял, Марсель щекотала мне промежность.

Обед затянулся почти до полуночи. Я с удовольствием думал, как проведу ночь с Марсель в ее великолепном особняке на горé, но вышло, увы, иначе. Коллинз повел нас на ночную прогулку по городу, и я не мог отказаться, не обидев его. «Не беспокойся насчет этой красотки, — сказал он. — Она еще успеет тебе надоесть до смерти. Пусть подождет здесь, пока мы вернемся».

Сначала Марсель обиделась, но когда узнала, что мы пробудем в Гавре еще несколько дней, успокоилась. На улице Филмор с серьезным видом взял нас под руки и сказал, что хочет сообщить нечто важное.

— В чем дело, старина? — жизнерадостно спросил Коллинз. — Выкладывай!

Но Филмор почему-то не может ничего выложить. Он мнется, заикается и, наконец, выпаливает:

— Когда я был в уборной, я заметил что-то неладное.

— Значит, ты подхватил! — торжествующе кричит Коллинз и вытаскивает свою бутылочку венесьена. — Послушай меня, не ходи по

врачам, — продолжает он уже ядовито. — Эти сволочи снимут с тебя штаны и будут тянуть деньги десять лет. И не переставай пить. Это все чепуха. Принимай эту штуку два раза в день... перед употреблением взбалтывать. И самое главное — не вешай нос на квинту! Понял? Пошли. Когда мы вернемся, я дам тебе спринцовку и перманганат.

Мы отправляемся к порту, откуда слышны музыка, крики и пьяная ругань. Всю дорогу Коллинз развлекает нас рассказами то про мальчика, в которого он влюбился, то про скандал, который устроили родители мальчика, когда узнали об их отношениях, то опять вспоминает о бароне де Шарлю, то о Курце, который поплыл вверх по реке и не вернулся. Это его любимая тема. Мне нравится, как Коллинз все время плавает по литературным морям; он точно миллионер, который никогда не вылезает из своего «роллс-ройса» и потому не знает, какая разница между реальностью и мечтами. Даже когда мы ввалились в публичный дом на набережной Вольтера и Коллинз заказал девочек и выпивку, а потом развалился на диване, он все еще продолжал грести вверх по реке с Курцем и прекратил свои рассуждения только тогда, когда женщины заткнули ему рот поцелуями. Тут, словно вдруг сообразив, где он находится, Коллинз обратился к почтенной хозяйке и произнес торжественную речь о своих двух приятелях, которые специально приехали из Парижа, чтобы посетить ее знаменитое заведение. В комнате было с полдюжины девочек, совершенно голых и, должен признаться, очень красивых. Они порхали вокруг нас, как птички, пока мы старались поддержать чинный разговор с хозяйкой. Наконец она извинилась и ушла, сказав, чтобы мы чувствовали себя как дома. Я был очарован ее любезностью, благожелательностью и ее теплым, прямо-таки материнским отношением к своим девочкам. А какие манеры! Будь она помоложе, я попробовал бы подъехать к ней. В этом доме совершенно невозможно было себе представить, что ты находишься в «вертепе», как принято называть подобные места.

Мы пробыли там около часа, и из нас троих только я воспользовался услугами заведения. Филмор и Коллинз оставались внизу и болтали с девицами. Когда я вернулся, оба лежали растянувшись на диване, а девочки выстроились полукругом и пели ангельскими голосами хор из «Роз Пикардии». Ушли мы, полные сентиментальных чувств, в особенности Филмор. Но Коллинз тут же повел нас в настоящий портовый притон, где мы и просидели некоторое время, с интересом наблюдая за пьяными матросами и пиршеством педерастов, которое к нашему приходу было уже в полном разгаре. Покинув и этот притон, мы прошли через квартал публичных домов с красными фонарями и с чинными старушками в шалях. Они сидели на ступеньках, обмахиваясь веерами, и приветливо кивали головами всем прохожим — в этих приветствиях было столько достоинства и скромности, точно вас приглашали зайти в детские приюты. Тут и там группы матросов со смехом исчезали в дверях. Сексуальная горячка, казалось, подмывала все устои города, как набежавший прилив. Пристань, где мы остановились облегчиться, походила на свалку; корабли, траулеры, яхты, шхуны и баржи, точно выброшенные на берег грозной бурей, громоздились у берега.

Эти двое суток в Гавре были так насыщены событиями, что казалось, мы здесь уже целый месяц, а то и больше. Мы собирались уехать в понедельник рано утром, так как Филмору нужно было идти на службу. Все воскресенье мы пили и куролесили, не думая о триппере или о чем-нибудь подобном. Коллинз сказал, что собирается вернуться на свою ферму в Айдахо; он не был дома восемь лет и хотел увидеть родные горы, прежде чем отправиться в новое плавание на Восток. Разговор шел в борделе, где Коллинз ждал женщину, которой он обещал кокаин. Он говорил, что ему надоел Гавр — здесь слишком много хищников, висящих у него на шее. Кроме того, жена Джимми влюблена в него и закатывает сцены ревности. Она делала это почти каждую ночь. Правда, после нашего приезда она вела себя прилично, но Коллинз

знал, что это ненадолго. Особенно она ревновала его к одной русской девочке, которая, напившись, иногда заходила в бар. Эта Иветт — настоящая ведьма, жаловался Коллинз. Ко всему прочему, он был безумно влюблен в мальчика, о котором уже рассказывал нам раньше. «Мальчик может вывернуть тебе душу, — говорил Коллинз. — А этот еще и настоящий красавец, черт его побери. Но такой жестокий!» Мы смеялись — до того нелепо это звучало. Но Коллинз был совершенно серьезен.

В воскресенье около полуночи мы с Филмором отправились спать в отведенную нам комнату над баром Джимми. Стояла невероятная духота — ни малейшего дуновения. Через открытое окно мы слышали обрывки разговоров, крики и вой граммофона, не умолкавшего ни на минуту. Неожиданно разразилась гроза. И между ударами грома и порывами ветра, сотрясавшими весь дом, мы услышали звуки другой грозы, разразившейся в баре. Эта гроза бушевала совсем близко, под нами: истерический женский визг, звон бьющихся бутылок, грохот переворачиваемых столов, тупые и страшные удары человеческих тел о стены и об пол.

Около шести утра Коллинз просунул голову к нам в комнату. Его физиономия была заклеена пластырем, одна рука на перевязи. Но на лице его сияла улыбка.

— Все как я и предсказывал, — объявил он. — Иветт совсем спятила. Наверное, вы слышали шум?

Мы быстро оделись и сошли вниз проститься с Джимми. Разгром был полный — бутылки перебиты, столы и стулья сломаны, окна и зеркала разбиты. Джимми готовил себе гоголь-моголь.

По пути на вокзал мы узнали от Коллинза все подробности. Русская девушка пришла в бар сразу после нашего ухода, и Иветт немедленно обхамила ее, хотя русская еще не успела сказать ни единого слова. Обе женщины вцепились друг другу в волосы, и в это время огромный матрос-швед хватил русскую по физиономии, чтобы она пришла в себя. С этого, собственно, все и началось. Коллинз спросил шведа, какое он имеет право вмешиваться в драку. В ответ швед смазал его по морде с такой силой, что Коллинз отлетел на другую сторону бара. «Так тебе и надо!» — заорала Иветт и, воспользовавшись замешательством, хватила русскую бутылкой по голове. Началась гроза. Некоторое время в баре происходило настоящее побоище: женщины решили, что настал момент вернуть друг другу все мелкие должки. Нет более удобного случая, чем пьяная драка, чтобы всадить кому-нибудь нож в спину или ударить бутылкой по башке, пока он лежит под столом. Швед попал в настоящее осиное гнездо — его ненавидели все, в особенности его товарищи по кораблю. Они хотели, чтобы он был добит. Закрыв двери, разбросав столы и стулья и очистив место возле стойки бара, они ждали, что Коллинз его прикончит. И Коллинз их не подвел — несчастного шведа унесли на носилках. Сам Коллинз отделался довольно счастливо — вывихнутой кистью, парой выбитых суставов пальцев, расквашенным носом и подбитым глазом. «Несколько царапин», — как он сказал нам. Но это еще не конец. Коллинз обещал, что если когда-нибудь попадет с этим шведом на один корабль, то убьет его.

Однако ставить точку было еще рано. Оказывается, после побоища в баре Иветт перебралась в другой и напилась там до бесчувствия. Ее оскорбили, и она решила, что пора покончить со всем этим раз и навсегда. Взяв такси, Иветт поехала на берег, к утесам, нависшим над самой водой. Она хотела утопиться, но была так пьяна, что, вывалившись из машины, начала плакать и, прежде чем ее успели остановить, стащила с себя одежду. В конце концов шофер привез ее назад в разгромленный бар почти голой. Увидев ее, Джимми пришел в ярость. Он принес ремень для правки бритв и избил Иветт до полусмерти. Как ни странно, это ей очень понравилось. «Еще, еще...» — умоляла она, стоя перед ним на коленях и обхватывая руками его ноги. Но Джимми

все это уже надоело. «Ты — грязная сука!» — заорал он и дал ей такого пинка под ребра, что она потеряла сознание, а вместе с ним — на время — и большую часть своей сексуальной дури.

Пора было выбираться отсюда. В утреннем свете город выглядел совсем по-другому. Последнее, о чем мы говорили в ожидании поезда, был штат Айдахо. Мы все трое были американцами. И хотя мы жили в разных концах страны, у нас было что-то общее, даже много общего. Мы рассентиментальничались, вспоминая коров, овец, широкие прерии и прочее, — в общем, все было так, как это всегда бывает с американцами, когда они расстаются. И если б вместо поезда пришел пароход, мы бы тут же распрощались с Францией. Но Коллинзу, как я узнал позже, так и не пришлось увидеть Америку. А Филмору... Филмору тоже выпали испытания, о которых мы тогда и не подозревали. Лучше всего держать Америку в отдалении, на заднем плане, как открытку, на которую можно посмотреть в тяжелую минуту. Тогда вы можете всегда вообразить, что она ждет вас — неизменная, неиспорченная, огромная патриотическая прерия с коровами и овцами и с мягкосердечными ковбоями, готовыми уконтражопить все на своем пути — мужчин, женщин, скот. Америки не существует вообще. Ее нет. Это — название, которое люди дали вполне абстрактной идее...

11

Париж — как девка... Издалека она восхитительна, и вы не можете дождаться минуты, когда заключите ее в объятья... Но через пять минут уже чувствуете пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули.

Я вернулся в Париж с деньгами в кармане — несколькими сотнями франков, которые Коллинз сунул мне в последнюю минуту, когда мы садились в поезд. Этого было достаточно, чтобы заплатить за номер и прекрасно есть в течение недели. Я уже несколько лет не держал в руках таких денег и чувствовал возбуждение, какое испытывает человек, ожидающий, что вот-вот для него начнется новая жизнь. Мне хотелось оставаться богатым как можно дольше. Поэтому я пошел смотреть дешевенькую гостиницу над пекарней на улице Шато, недалеко от улицы Ванв — мне ее когда-то показал Евгений. Рядом был мост, перекинутый через железнодорожное полотно. Знакомый квартал.

Я мог снять здесь комнату за сто франков в месяц, без всяких удобств, конечно, и даже без окна, и я бы, наверное, ее снял, чтобы иметь крышу над головой, если бы мне не нужно было проходить через комнату слепого, смежную с моей. Мысль о том, что я должен каждую ночь проходить мимо его кровати, угнетала меня. Решив поискать что-нибудь другое, я пошел на улицу Сельс, за кладбищем, и мне показали там трущобу с покосившимися балконами на каждом этаже со стороны двора. К нижним балконам были подвешены клетки с канарейками. Очень мило, наверно, но мне это напоминало психиатрическое отделение в больнице. К тому же и хозяин, по-видимому, был не совсем в своем уме. Короче, я решил подождать до вечера, осмотреться как следует и потом найти что-нибудь поприличнее на одной из прилегающих улиц.

За обедом я истратил пятнадцать франков — вдвое больше, чем собирался. Это окончательно испортило мне настроение — до такой степени, что я даже отказался от кофе, хотя начинался дождь. Я встал с твердым намерением побродить по улицам час-другой и рано лечь спать. Экономия уже начинала отравлять мне жизнь. Никогда раньше я подобными вещами не занимался — этого просто не было в моей натуре.

Между тем мелкий дождь перешел в проливной, и я обрадовался. Замечательный предлог, чтобы забраться куда-нибудь в кафе и отдохнуть. Лечь спать в такую рань я не мог. Ускорив шаг, я свернул за угол и пошел обратно на бульвар Распай. Вдруг ко мне подходит женщина и спрашивает, который час. Я отвечаю ей, что у меня нет часов. И тут

она выпаливает: «Милостивый государь, не говорите ли вы случайно по-английски?» Я кивнул. Дождь уже лил вовсю. «Не будете ли вы так добры зайти со мной в кафе? Идет дождь, а у меня нет денег. И простите меня, ради Бога, но у вас такое доброе лицо... Я сразу же поняла, что вы англичанин». Произнося все это, она улыбается странной, полубезумной улыбкой. «Я одна на свете... Может быть, вы сможете дать мне совет... Боже мой, это так ужасно — не иметь денег...»

Эти «милостивый государь», «будьте так добры», «доброе лицо» начинают меня смешить. Мне и жалко ее, и в то же время я не могу удержаться от смеха и смеюсь ей прямо в лицо. К моему удивлению, она начинает смеяться тоже, но каким-то диким, визгливым, истерическим смехом и совершенно не в тон. Я хватаю ее за руку, и мы забегаем в первое попавшееся бистро. Она все еще смеется. «Милостивый государь, — начинает она опять. — Может быть, вы думаете, что я говорю вам неправду. Поверьте, я порядочная девушка... из хорошей семьи... только... — При этом она опять улыбается своей пустой, бессмысленной улыбкой. — Только у меня нет счастья, даже самого маленького, чтоб просто где-нибудь приткнуться...» Мне снова становится смешно, я не могу сдержаться — ее голос, язык, ее акцент, нелепая шляпка на голове, полоумная улыбка...

— Послушайте, — говорю я, отсмеявшись, — кто вы по национальности?

— Я англичанка, — отвечает она. — То есть вообще-то я родилась в Польше, но мой отец был ирландец.

— И это делает вас англичанкой?

— Конечно, — говорит она с коротким смешком, слегка смущенно и с претензией на кокетство.

— Вероятно, вы знаете какой-нибудь маленький отель, куда мы можем пойти? — Я вовсе не собираюсь идти с ней, просто хочу помочь ей преодолеть первую стадию подобного рода знакомств.

— О нет, милостивый государь! — говорит она таким тоном, точно я совершил ужасную ошибку. — Я уверена, что вы не хотели сказать этого! Я не такая девушка. Вы, наверное, пошутили... Я вижу это по вашему лицу... Вы такой добрый. Я никогда бы не позволила себе заговорить с французом так, как заговорила с вами. Француз непременно тут же меня бы оскорбил...

Некоторое время она продолжала в том же духе. И мне уже хотелось отделаться от нее, но она меня не отпускала. В ее глазах был испуг — она сказала, что у нее не в порядке документы. Не буду ли я так любезен проводить ее до гостиницы? И, может быть, я «одолжу» ей пятнадцать — двадцать франков, чтобы она могла успокоить хозяина? Я проводил ее до гостиницы, где, по ее словам, она жила, и всунул ей в руку бумажку в пятьдесят франков. Или это была очень хитрая женщина, или очень наивная — иногда трудно отличить одно от другого, — но она попросила меня подождать, пока разменяет деньги в бистро, чтобы дать мне сдачу. Я сказал ей, чтоб она не беспокоилась. Тут она схватила мою руку и поднесла к губам. Это меня так ошарашило, что я уже был готов отдать ей все. Ее импульсивный глупый жест растрогал меня. Как хорошо, однако, быть иногда богатым и получать такие совершенно новые впечатления, подумал я. Но головы все же не потерял. Пятьдесят франков! Сколько еще можно выбросить за один дождливый вечер! Когда я уходил, она махала мне своей нелепой маленькой шляпкой, которую к тому же не умела носить, махала так, словно я был ее старым приятелем. И я почувствовал себя очень глупо. «Милостивый государь... вы так добры... так милы... так хороши...» Мне уже казалось, что я святой.

Когда ты прямо-таки лопаешься от важности, очень трудно идти спать. Чувствуешь, что должен как-то возместить себе этот неожиданный припадок благородства. Проходя мимо монпарнасских «Джунглей», я увидел танцевальную площадку. Женщины с обнаженными спинами и

жемчужными ожерельями, которые как будто душили их, покачивали своими прелестными попочками. Я тут же направился туда и, подойдя к стойке бара, заказал бокал шампанского. Когда музыка смолкла, рядом со мной уселась красивая блондинка, вероятно норвежка. Зал был вовсе не так полон, как мне показалось с улицы. Всего каких-нибудь шесть пар, но когда они танцевали, возникало впечатление толчеи. Я заказал еще шампанского, чтоб поддержать свое постепенно падающее настроение.

Когда я пригласил блондинку потанцевать, мы оказались одни. В другой раз я был бы этим смущен, но выпитое шампанское, страстность, с которой она ко мне прижималась, притушенные огни и чувство независимости, появляющееся вместе с несколькими сотнями франков в кармане... словом, что говорить! Мы танцевали словно на сцене. Вдруг моя дама заплакала — с этого все и началось. Я подумал, что, может быть, она выпила лишнего, и не придал ее слезам большого значения, а стал оглядывать помещение в поисках другого товара. Но мы были одни.

Если вы попались, то единственный выход — бежать как можно скорее. Но мысль о том, что в другом месте опять придется давать на чай гардеробщику, удерживала меня. Всегда попадаешь в капкан из-за такой вот ерунды.

Причину слез блондинки я узнал почти немедленно: она только что похоронила ребенка. И она вовсе не была норвежкой, она была настоящей француженкой, к тому же акушеркой. Очень шикарной акушеркой, должен признаться, даже в слезах. Я поинтересовался, не подбодрит ли ее капля спиртного. Она тут же заказала виски и проглотила его не моргнув глазом. На мое предложение повторить она ответила, что, наверное, именно это ей сейчас и нужно, ведь она так убита горем. При этом она просит у меня еще и пачку американских сигарет «Кэмел». «Или нет, лучше «Пэлл-Мэлл»», — решает она поразмыслив. «Бери что хочешь, — подумал я, — но ради Бога прекрати этот рев, он действует мне на нервы». Я поднял ее для нового танца. На ногах это был другой человек. Не знаю, может быть, горе разжигает страсть. Я шепнул ей на ухо, что нам пора отсюда уйти. «Куда?» — откликнулась она с явной готовностью. «О, куда угодно. В какое-нибудь тихое место, где мы сможем поговорить».

В уборной я подсчитал свои ресурсы. Запрятав стофранковые бумажки в кармашек для часов и оставив пятьдесят франков и мелочь в кармане, я вернулся в бар с твердым намерением довести дело до конца.

Это оказалось нетрудно — она сама завела разговор о своих несчастьях, которые так и сыпались на нее. Она не только потеряла ребенка, но у нее на руках была очень больная мать, которой нужны врачи и лекарства. Разумеется, я не верил ни одному ее слову. И поскольку я еще не снял себе комнату, я предложил ей зайти в какую-нибудь гостиницу и там переночевать. Так я собирался сэкономить. Но моя партнерша не согласилась. Она хотела, чтобы мы пошли к ней, у нее есть квартира, к тому же нельзя оставлять больную мать так надолго. Подумав, я сообразил, что это будет еще дешевле, и согласился. Все же я решил выложить карты на стол, чтоб избежать неприятных разговоров в последний момент. Когда я сказал ей, сколько денег у меня в кармане, мне показалось, что она близка к обмороку. Она была оскорблена до глубины души, и я ждал скандала, но тем не менее решил не сдаваться.

— В таком случае, крошка, — сказал я спокойно, — наши пути расходятся. Может быть, я допустил ошибку.

— И еще какую! — воскликнула она, но тем не менее схватила меня за рукав. — Послушай, дружок... будь пощедрее.

От этих слов я вновь обрел уверенность. Я понял: все, что от меня требуется, — это пообещать ей маленькую прибавку.

— Хорошо, — сказал я устало. — Ты увидишь, что я тебя не обижу.

— Так ты сказал мне неправду?

— Да, — ответил я, улыбаясь. — Я хотел тебя проверить.

Не успел я надеть шляпу, как она уже поймала такси и назвала шоферу адрес на бульваре Клиши. Одна поездка туда будет стоить больше, чем комната на ночь, подумал я. Ладно, посмотрим... У меня еще есть время. Не помню, с чего это началось, но вдруг она заговорила об Анри Бордо. Я еще не встречал в Париже проститутки, которая бы не знала Анри Бордо! Но эта говорила с настоящим вдохновением: фразы были прелестны, выбор слов — безупречен, и я уже соображал, сколько же придется ей прибавить. Мне казалось, что я даже уловил фразу: *«Когда в мире не будет больше времени...»* По крайней мере примерно так это звучало. При моем теперешнем настроении такая фраза стоила ста франков. Но я хотел бы знать, сама она это придумала или выудила из Анри Бордо. Впрочем, не важно. Это как раз та фраза, с которой можно подъехать к подножию горы Монмартр. «Добрый вечер, мадам! Ваша дочь и я позаботимся о вас... когда в мире не будет больше времени!» Кроме того, она обещала показать мне свой диплом — я запомнил это.

Едва за нами закрылась дверь, как «норвежка» стала метаться по квартире, заламывая руки почти в исступлении и принимая позы Сары Бернар. При этом она то раздевалась, то прекращала, умоляя меня поторопиться с моим собственным туалетом. В конце концов, когда она разделась и, держа в руках сорочку, искала кимоно, я поймал и зажал ее. Когда я ее выпустил, на ее лице было выражение отчаяния. «Боже мой, боже мой, мне надо бежать вниз и посмотреть, как мама! — воскликнула она. — Если хочешь, прими ванну, chéri[1]! Вон там. Я вернусь через несколько минут!» Возле дверей я опять обнял ее. Я уже был в нижнем белье и вполне дееспособен. Почему-то все это волнение, все эти вопли и несчастья еще больше возбуждали меня. Вероятно, она побежала вниз успокоить своего сутенера. У меня было странное чувство, что тут есть нечто таинственное, о чем я, быть может, прочту в утренней газете. Какая-то скрытая драма. Я быстро осмотрел квартиру. Две комнаты, довольно прилично, даже кокетливо обставленные, и ванная. На стене висел акушерский диплом — как обычно, «первой степени». А на столе стояла фотография ребенка — прелестной девочки с локонами. Войдя в ванную, я пустил воду, но потом передумал. Если что-нибудь случится, а я в это время буду в ванне... нет, мне эта ситуация не улыбалась. Я стал ходить по квартире взад и вперед, и мне становилось все более и более не по себе.

Наконец блондинка вернулась, но вконец расстроенная. «Она умрет... она умрет!» — рыдала она. Я хотел даже уйти. Как можно спать с женщиной, когда внизу умирает ее мать, может быть прямо у нас под ногами? Все же я обнял ее — частично из сострадания, частично — еще надеясь получить то, за чем я сюда пришел. Прижавшись ко мне, она начала трагическим голосом шептать про деньги, которые ей так нужны... конечно, для maman. «Ну и дерьмо же ты», — подумал я, но решил не торговаться. Подойдя к стулу, где были сложены мои вещи, я выудил из кармашка для часов стофранковую бумажку, однако постарался, чтобы она не увидела, что это не последние мои деньги. Для верности я переложил брюки на стул с той стороны кровати, где собирался лечь. Ста франков, по словам блондинки, было маловато, однако по ее интонации я понял, что этого хватит за глаза. Теперь с поразившей меня живостью она сбросила кимоно и немедленно оказалась в постели. Едва я обнял ее и притянул к себе, она нажала выключатель и комната погрузилась в темноту. Страстно обняв меня, она принялась стонать, как это делают все французские шлюхи. Я был в невероятном возбуждении, а непривычная тьма придавала всей ситуации новый, какой-то романтический оттенок. Все же головы я не потерял и, как только смог, проверил, на месте ли мои брюки.

[1] Дорогой *(франц.)*.

Я был уверен, что мы уже устроились на ночь. Кровать оказалась удобной, гораздо мягче, чем в гостиницах, и я заметил, что простыни были чистыми. Если бы только она так не крутилась! Можно было подумать, что она не видела мужчину целый месяц. Я хотел растянуть удовольствие — выжать все возможное из своих ста франков. Но она шептала мне что-то, не умолкая ни на минуту, на том страстном постельном языке, который всегда так возбуждает, особенно в темной комнате. Изо всех сил я старался сдержаться, боролся как мог, но все эти усилия бесполезны, если женщина, которую вы сжимаете в объятиях, стонет, дрожит и шепчет: «Vite, chéri! Vite, chéri! Oh, c'est bon! Oh, oh! Vite, vite, chéri!» [1]. Я пытался считать в уме, но ее страсть действовала на меня,как набат. «Vite,chéri, vite!» При этом она содрогнулась всем телом с такой силой, что плотину прорвало и все было кончено. Звезды звенели у меня в ушах, и мои сто франков пошли прахом, не говоря о пятидесяти, которые я дал ей раньше и о которых уже позабыл. Вспыхнул свет, и моя красотка выскочила из кровати так же быстро, как туда заскочила, при этом она продолжала стонать и повизгивать, как поросенок. Я закурил и посмотрел с тоской на свои измятые брюки. Через минуту она снова была рядом со мной, кутаясь в кимоно и говоря быстро и возбужденно (это уже начинало меня раздражать): «Я спущусь вниз к маме, на минутку... Будь как дома... Я скоро вернусь».

Прошло четверть часа, и меня опять охватило беспокойство. Подойдя к столу, я прочел письмо, лежавшее там, — ничего интересного, обычное любовное письмо. В ванной я осмотрел бутылочки на полках; здесь было все необходимое, чтобы женщина приятно пахла. Я надеялся, что она вернется и отработает по крайней мере еще пятьдесят франков. Но время шло, а блондинка не появлялась. Теперь я уже забеспокоился не на шутку. Может быть, внизу действительно кто-нибудь умирает? Вероятно, повинуясь инстинкту самосохранения, я начал одеваться, но когда застегивал пояс, внезапно вспомнил, как она засунула мои сто франков в сумочку. В волнении она положила ее в шкаф на верхнюю полку. Я отчетливо помнил, как она встала на цыпочки, чтобы до нее дотянуться. В ту же секунду я был возле шкафа. Сумочка оказалась на месте. Быстро открыв ее, я увидел мою стофранковую купюру, мирно лежавшую в атласном кармашке. Я положил сумочку обратно, надел ботинки и пиджак и открыл дверь на лестницу. Мертвая тишина. Куда эта девка подевалась? Вернувшись в комнату, я стал копаться в сумочке. Я забрал свои сто франков, а заодно выгреб и всю мелочь. Потом, закрыв дверь, спустился на цыпочках по лестнице и быстро зашагал прочь от этого дома. Добравшись до кафе «Будон», я зашел туда перекусить. Сидевшие здесь проститутки издевались над толстяком, который заснул над тарелкой. Он спал и даже похрапывал, но его челюсти продолжали двигаться. Кругом стоял хохот. Иногда кто-нибудь кричал: «По вагонам!» И все начинали ритмично стучать ножами и вилками по тарелкам. Толстяк открывал глаза, тупо моргал, но через минуту голова его снова скатывалась на грудь. Я положил мои сто франков в кармашек для часов и подсчитал мелочь. Шум вокруг все усиливался, и теперь я уже не мог припомнить, действительно ли видел слова «первой степени» на дипломе, висевшем в комнате блондинки. О ее матери я не беспокоился, надеясь, что к этому времени она уже умерла. Как странно было бы, если бы все, что она мне говорила, оказалось правдой... «Vite,chéri... vite, vite!» И эта полоумная со своим «милостивым государем» и «добрым лицом»! Интересно, она на самом деле жила в той гостинице, перед которой мы с ней расстались?..

12

Когда лето уже подходило к концу, Филмор предложил мне переехать к нему. У него была славная квартирка, окна которой выходили

[1] Скорее, милый, скорее! О, как хорошо! *(Прим. ред.)*

на кавалерийские казармы около площади Дюпле. Мы с Филмором часто встречались после нашей поездки в Гавр. И если бы не он, не знаю, что бы со мной сталось — вероятно, я умер бы с голоду.

— Я бы давно уже пригласил тебя, — сказал Филмор, — если бы не эта маленькая шлюшонка Джеки. Я не знал, как от нее отделаться.

Я улыбнулся. Эта сторона жизни Филмора всегда мне нравилась. У него была способность притягивать к себе бездомных шлюх. Джеки, однако, наконец съехала, причем по собственному желанию.

Приближался дождливый сезон — нудные месяцы измороси, грязи и мазутного тумана, который проникает через влажную одежду и впитывается в тело. Париж зимой — отвратительное место. Погода, которая въедается в душу и оставляет человека голым, как Лабрадорское побережье. С тоской я заметил, что у Филмора только одна печурка — в гостиной. Тем не менее квартира была удобная и вид из окон вполне симпатичный.

По утрам, уходя на работу, Филмор бесцеремонно будил меня и оставлял на подушке десять франков. Когда он уходил, я засыпал опять и часто валялся в постели до полудня. Заниматься мне было, в сущности, нечем, кроме собственной книги, но я уже понимал, что никто и никогда ее не напечатает. Однако на Филмора моя рукопись производила большое впечатление. Вернувшись вечером с бутылкой вина под мышкой, он немедленно шел к столу и смотрел, сколько страниц я сделал за день. Вначале его интерес к моему творчеству мне нравился, но потом работа застопорилась, и я чувствовал неловкость, когда он рылся в моих бумагах, ища новые страницы книги, которые, по его представлению, должны были сыпаться из меня как из рога изобилия. В дни, когда мне нечего было ему предъявить, я чувствовал себя такой же вошью, как те шлюхи, которых он пригревал до меня. Я вспоминал, как он говорил о Джеки: «Все бы ничего, если б она давала мне иногда...» Будь я женщиной, я б с удовольствием это делал — мне это было бы легче, чем кормить его страницами собственной рукописи.

Все же Филмор старался сделать мою жизнь у себя приятной. В доме всегда было вдоволь и еды, и вина, а иногда он тащил меня с собой в дансинг. У Филмора было любимое место на улице Одессы, негритянское заведение, где обреталась хорошенькая мулатка, которая часто к нам приходила. И только одно беспокоило Филмора — он не мог найти пьющую француженку. Для него они все были трезвенницами — он любил привести к себе женщину и сначала выпить с ней, а уж потом лечь в постель. Еще почему-то ему хотелось, чтобы женщины думали, что он художник. Создать это впечатление, в общем, было нетрудно, так как человек, у которого Филмор снимал квартиру, был художником. Найдя в чулане старые полотна, Филмор повесил их в комнатах, а одно, незаконченное, водрузил на мольберт. К сожалению, художник был сюрреалистом, и картины создавали неблагоприятное впечатление о Филморе. Когда дело касается искусства, то во вкусах проституток, консьержек и министров нет особой разницы. Филмор вздохнул с облегчением, когда Марк Свифт, часто к нам заходивший, решил писать мой портрет. Филмор питал к Свифту глубокое уважение. По его мнению, Свифт был гений. И хотя люди или предметы на его полотнах имели весьма свирепый вид, он все же не деформировал их до неузнаваемости.

По совету Свифта я начал отпускать бороду. Он говорил, что моя форма черепа требует бороды. Свифт собирался изобразить меня сидящим у окна, на фоне Эйфелевой башни, которая была нужна ему для равновесия композиции. Кроме того, ему была нужна пишущая машинка. Крюгер тоже начал заходить к нам. Но, на его взгляд, Свифт не имел никакого понятия об искусстве. Любое нарушение пропорций убивало Крюгера. Он твердо верил в законы Природы. Свифту же было плевать на природу, и он рисовал, как ему хотелось. Так или иначе, на мольберте красовался мой незаконченный портрет, и хотя все про-

порции были нарушены, даже министр смог бы понять, что на холсте изображен человек с бородой, а наша консьержка начала проявлять к портрету живой интерес. Она находила, что получается удивительно похоже, а с Эйфелевой башней на заднем плане — просто замечательно.

Все шло тихо и гладко в продолжение месяца, а может, даже и больше. Место, где жил Филмор, мне очень нравилось, особенно ночью, когда вся грязь и убожество его выявлялись в полной своей красоте. Маленькая площадь, днем такая милая и спокойная, ночью становилась мрачной и угрюмой. С одной стороны ее обрамлял длинный каменный забор казармы, возле которого всегда стояла по крайней мере одна целующаяся парочка, даже в дождь. Печальное это зрелище — двое влюбленных, прижавшихся друг к другу возле тюремной ограды под светом тусклого уличного фонаря, точно это их последний приют в мире. То, что происходило за стеной, тоже было печально. В дождливые дни я часто стоял у окна и смотрел вниз, как на другую планету. Там все делалось по расписанию, но составлено это расписание было, очевидно, безумцем. Скользили по грязи лошади, выли сигнальные трубы, начинались и кончались солдатские учения — и все это в четырех стенах тюрьмы. Идиотское зрелище! Оловянные солдатики, у которых не было ни малейшего желания учиться убивать, чистить сапоги или ходить за лошадьми. Совершенно ненужная, нелепая жизнь — но входящая составной частью в общий план жизни. В дни, когда обитателям казармы нечем было заняться, они выглядели еще нелепее — почесывались, засовывали руки в карманы, считали ворон, а завидев офицера, щелкали каблуками и отдавали честь. Настоящий сумасшедший дом, на мой взгляд. Даже лошади выглядели здесь глупо. Иногда на улицу выволакивали пушки, и солдаты начинали маршировать, а прохожие останавливались и восхищались их красивыми мундирами. Но мне они всегда казались отступающей армией; в них было что-то затрапезное, усталое и безнадежное; мундиры висели на них как мешки, а веселье и шутки, естественные для этих солдат в обычной жизни, во время занятий куда-то исчезали.

В солнечные дни картина за стеной была несколько веселей. В глазах солдат появлялся проблеск надежды, их шаг становился упругим, и они маршировали даже с некоторым воодушевлением. Краски обретали веселость, а настроение — ту суматошность, которая так выделяет французов из всех прочих народов; в бистро на углу солдаты беззаботно болтали, потягивая пиво, и, должен признаться, даже офицеры производили здесь впечатление обычных милых французов. Когда светит солнце, каждый уголок Парижа прекрасен, а что касается людей, то в бистро за столиками на тротуаре под навесом и с разноцветными напитками в стаканах они выглядят довольно мило. Французы — вообще самый милый народ в мире, когда светит солнце. Они умны, беззаботны, беспечны. Право, это преступление — загонять таких людей в казармы, водить на учения и разделять на рядовых, сержантов и полковников.

Как я уже сказал, ничто не нарушало тихого течения нашей жизни. Иногда заходил Карл и просил написать путевой очерк о каком-нибудь городе или стране — сам он писать их не любил. За них, правда, платили всего по пятьдесят франков, но и особого труда они не требовали. Чтобы состряпать такой очерк, нужно было только покопаться в подшивках и слегка перекроить старую писанину. Главное — освежить эпитеты, а потом добавить даты и статистические данные. Если это были важные материалы, редактор отдела подписывал их сам. Он был безнадежным тупицей, не знал ни одного иностранного языка, но любил находить ошибки, а прочтя понравившийся ему абзац, говорил: «Вот так вы должны писать всегда. Чудно! Можете использовать это в своей книге». Часто эти «чудные» абзацы были попросту списаны нами из энциклопедии или из старого путеводителя. Кое-что из списанного Карл действительно включил в свою книгу — это придало ей некий сюрреалистический оттенок.

Однажды вечером, вернувшись домой с прогулки, я столкнулся с женщиной, выскочившей из спальни. «Так, значит, вы писатель! — воскликнула она и уставилась на мою бороду, точно ища в ней подтверждения своим словам. — Какая ужасная борода! — продолжала она. — По-моему, вы все здесь помешанные!» С одеялом в руках за ней появляется Филмор. «Это княгиня»,— говорит он мне, причмокивая, словно только что поел черной икры. Оба они были одеты так, точно собирались уходить, и я не мог понять, при чем тут одеяло. Но потом сообразил, что, вероятно, Филмор показывал княгине мешок для грязного белья, который стоял в спальне. На мешке были вышиты слова из дурацкого американского анекдота о китайских прачках: «Нет расписки — нет и любашки». Филмор обожал растолковывать изречение француженкам — если, мол, нет «расписки», то есть товара лицом, то нет и «рубашки», то есть денег. Но эта дама не была француженкой, о чем Филмор немедленно объявил мне. Она была русская и к тому же княгиня.

Филмор не закрывал рта ни на минуту, возбужденный, как ребенок, который получил в подарок новую игрушку.

— Она говорит на пяти языках! — заявил он, явно подавленный такой образованностью.

— Нет, только на четырех, — поправила его княгиня.

— Ну, на четырех... Во всяком случае, это умнейшая женщина, тебе надо послушать, как она говорит!

Княгиня явно нервничала — то и дело почесывала бедро или потирала нос.

— Зачем он стелит постель? — внезапно спросила она меня. — Неужели он думает, что я буду с ним спать? Он просто ребенок. К тому же с ужасными манерами. Я взяла его в русский ресторан, и он танцевал там, как негр! — При этом она завихляла бедрами, показывая, как именно танцевал Филмор. — И он слишком много говорит. И слишком громко. При этом несет всякий вздор!

Княгиня ходила по комнате, рассматривая картины и книги, и все время почесывалась. Иногда она останавливалась и поворачивалась, точно линейный корабль, собирающийся дать залп. Филмор ходил за ней с бутылкой и стаканом в руках. — Зачем вы ходите за мной? Что вам надо?! — воскликнула она. — Неужели у вас нет ничего более приличного? Неужели вы не можете достать бутылку шампанского? Мне надо выпить шампанского... Ах, мои нервы, нервы!

Филмор наклонился ко мне и зашептал:

— Актриса... Кинозвезда... Кто-то ее бросил, и она не может забыть его... Я ее хочу напоить...

— Тогда, наверное, мне лучше уйти? — спросил я. Но княгиня прервала нас.

— Почему вы шепчетесь? — закричала она, топая ногой. — Разве вы не знаете, что это неприлично? И *вы* — вы обещали повести меня куда-нибудь! Я должна сегодня напиться! Я ведь вам уже сказала!

— Конечно, конечно, — засуетился Филмор. — Мы сейчас пойдем. Я просто хочу выпить стаканчик.

— Вы — животное! — выкрикнула вдруг княгиня. — Но вы все же славный мальчик. Только говорите слишком громко и не умеете себя вести. — Она повернулась ко мне: — Как вы думаете, я могу доверять этому человеку? Мне необходимо напиться, но я не хочу, чтобы он меня опозорил. Может быть, я после еще приду сюда. Мне хотелось бы поговорить с вами. Вы выглядите умнее его.

Когда они уходили, княгиня церемонно пожала мне руку и сказала, что когда-нибудь она придет к нам на обед.

— Когда буду трезвой, — добавила она.

— Чудно! — воскликнул я. — И приведите с собой еще какую-нибудь княгиню или хотя бы графиню. У нас меняют простыни каждую субботу.

В три часа ночи Филмор вкатывается домой... один и пьяный как сапожник. Он стучит своей тростью, точно слепой... тук, тук, тук... и, проползая мимо меня, бормочет: «Спать, спать... расскажу все утром... — Он проходит в спальню, откидывает одеяло, и тут я слышу его голос: — Что за женщина... что за женщина... — Через минуту он появляется у меня в комнате, все еще в шляпе и с тростью в руке. — Я ждал чего-то в этом роде. Ты знаешь, она сумасшедшая!»

Филмор идет на кухню и появляется с бутылкой анжуйского. Теперь я должен сидеть с ним и пить.

Насколько я смог понять из его сбивчивых слов, все началось в «Рон-Пуэн» на Елисейских полях, куда Филмор зашел по пути домой. Как всегда в этот час, на террасе было полно «стервятниц». Княгиня сидела возле прохода, и перед ней высилась стопка подставок, на которые ставят стаканы; она была одна и настроена вполне мирно. Филмор поймал ее взгляд. «Я пьяна, — сказала она с коротким смешком. — Почему бы вам не присесть?» Когда он сел, она начала ни с того ни с сего рассказывать ему про кинорежиссера, который ее бросил, и как она кидалась с моста в Сену, и т. д. и т. п. — она говорила об этом так, точно все это было самым обычным делом. С какого моста она кидалась, она забыла, но помнила, что когда ее вытащили, то вокруг собралась огромная толпа. При чем тут название моста и почему Филмор задает такие дурацкие вопросы? Рассказывая все это, она истерически хохотала, а потом вдруг решила идти танцевать. Заметив, что он колеблется, она открыла сумочку и вытащила оттуда стофранковую купюру. Потом, сообразив, что на сто франков далеко не уедешь, спросила: «Неужели вы совсем без денег?» Наличных у Филмора было действительно немного, но он ответил, что дома у него есть чековая книжка. Они помчались за чековой книжкой. Филмор уже объяснял княгине насчет «расписки» и «рубашки», и тут очень некстати явился я.

По пути домой они заехали в «Пуассон д'Ор» перекусить, причем княгиня выпила несколько рюмок водки. Там она была как дома — все прикладывались к ее ручке и бормотали: «Княгиня... княгиня». Как ни была она пьяна, а все же старалась вести себя в соответствии со своим титулом. «Не вихляйте задом!» — повторяла она Филмору, когда они танцевали.

Филмор намеревался остаться дома и довести дело до конца, но, находя ее слишком умной и не в меру эксцентричной, решил сначала поехать с ней куда-нибудь и таким образом оттянуть финал на несколько часов. У него даже была мысль найти еще одну княгиню и привезти обеих домой. Поэтому он уходил в хорошем расположении духа и с готовностью истратить несколько сот франков. Все-таки княгини не каждый день попадаются.

На этот раз княгиня повела его в другое место, где ее тоже хорошо знали и где, по ее словам, было легко разменять чек. Здесь все были в смокингах, и опять начались эти дурацкие поклоны и целование руки, а потом официант повел их к столику.

Посреди танца княгиня вдруг бросила Филмора и кинулась к столу, заливаясь слезами.

— Что случилось? — спрашивает Филмор. — Что я сделал на этот раз? — И инстинктивно кладет руку себе на задницу, боясь, что она все еще вихляется.

— Это ничего... ничего, — говорит княгиня. — Вы ни в чем не виноваты... Вы милый мальчик... — Тут она снова потянула его танцевать и танцевала с каким-то исступлением.

— Но что с вами? — допытывался Филмор.

— Ничего, ничего, — повторяла княгиня. — Просто я кое-кого увидела. — И вдруг накинулась на Филмора в безумном гневе: — Зачем вы спаиваете меня? Разве вы не знаете, что я становлюсь дикой, когда пьянею?

— Где ваш чек? — спросила она спустя некоторое время. — Мы

должны уйти отсюда. — Знаком она подозвала официанта и прошептала ему что-то по-русски. — У вас действительно есть деньги в банке? — спросила она, когда официант отошел. И внезапно добавила: — Подождите меня в гардеробе, внизу. Мне надо позвонить.

Официант принес сдачу, и Филмор спустился вниз. Он прохаживался взад и вперед, что-то насвистывая и время от времени причмокивая губами, точно смакуя лакомство, которое теперь получит. Прошло пять минут. Десять. Он все еще насвистывал. Когда прошло двадцать минут и княгиня не появилась, Филмор пришел в полное недоумение. Гардеробщик сказал ему, что княгиня уже давно ушла. Он бросился на улицу. Стоящий у дверей негритос в ливрее, взглянув на Филмора, ухмыльнулся. Филмор бросился к нему с вопросом, не знает ли он, куда отправилась княгиня. Негритос, хитро подмигнув, говорит: «Я слыхал, она сказала что-то про кафе «Куполь»».

В кафе «Куполь» Филмор нашел ее внизу. Она сидела словно в трансе, с мечтательным выражением лица и со стаканом в руке. Увидев Филмора, она улыбнулась.

— Разве это прилично — поступать так, как поступили вы? — спрашивает он. — Почему вы сбежали? Вы бы могли просто сказать мне, что я вам не нравлюсь.

На это княгиня реагирует с настоящим театральным пафосом. И после бесконечных словоизлияний начинает плакать. «Я сошла с ума, — рыдает она. — Но и вы тоже сумасшедший. Вы хотите со мной спать, но я вовсе не хочу этого!» И снова несет что-то о любовнике-кинорежиссере, которого она увидела, когда они танцевали. Потому она и сбежала оттуда. Потому она и пьет, и принимает наркотики каждый день, и потому она хотела утопиться. Княгиня продолжает свой монолог о том, что она сумасшедшая и все такое прочее, как вдруг у нее является блестящая идея. «Поедем в "Бриктоп"», — говорит она. Там, по ее словам, есть какой-то человек, который ее знает... он обещал ей когда-то работу. Она уверена, что он ей поможет.

— Сколько это мне будет стоить? — спрашивает Филмор.

Это будет стоить порядочно, заявляет она без обиняков.

— Но, послушайте, если вы отвезете меня в «Бриктоп», я обещаю, что поеду к вам домой. — Она честно предупреждает Филмора, что ему это обойдется в пять-шесть сотен франков. — Но я стою этого! Вы не знаете, что я за женщина. Во всем Париже нет другой такой женщины, как я...

— Это ваше собственное мнение! — вдруг заявляет Филмор — кровь янки берет верх над приличиями. — И я его не разделяю. По-моему, вы не стоите ни гроша. Вы просто сумасшедшая дуреха. Я скорее отдам пятьдесят франков какой-нибудь бедной французской девушке, чем вам. По крайней мере они дают хоть что-то взамен.

Услышав про французскую девушку, княгиня взрывается:

— Не говорите мне про этих женщин! Я ненавижу их. Они глупы! Они безобразны! Они расчетливы! — Выкрикнув все это, она затихает и пробует по-другому. — Дорогой мой, — говорит она, — вы не знаете, как я хороша раздетая... Я прекрасна, поверьте мне! — И, говоря это, она приподнимает свои груди обеими руками.

Но на Филмора это не производит никакого впечатления.

— Вы просто дрянь, — говорит он холодно. — Мне наплевать на несколько сот франков, но вы ненормальная. У вас грязное лицо и зловонное дыхание. Мне наплевать, что вы княгиня... Мне не нужна ваша аристократическая русская ерунда. Вы должны пойти на панель и работать там, как другие. Вы не лучше обыкновенной французской девчонки. Вы, если на то пошло, — хуже. Я не истрачу на вас больше ни единого франка. Вам надо поехать в Америку — там найдется место для такой пиявки, как вы.

Как ни странно, княгиня не обиделась на него за эту тираду.

— Я думаю, вы просто боитесь меня, — говорит она.

— Я?! Боюсь вас?!

— Вы ребенок, — говорит она. — У вас нет манер. Когда вы меня получше узнаете, вы заговорите другим тоном... Ну будьте же хорошим мальчиком. Если вы не хотите ехать со мной в «Бриктоп» — чудесно. Я буду завтра в «Рон-Пуэн» — между пятью и семью. Вы мне нравитесь.

— Я не намерен тащиться в «Рон-Пуэн» ни завтра, ни послезавтра. Я вообще не хочу больше вас видеть... Здесь сколько угодно хороших французских девок. А вы... вы можете отправляться к черту!

Княгиня смотрит на него и устало улыбается.

— Это вам только так кажется... Это все, пока вы со мной не переспали. У меня великолепное тело. Вы думаете, что француженки понимают что-нибудь в любви? О, вы еще будете сходить по мне с ума. Вы мне нравитесь. Но вы дикарь... просто мальчишка... Вы слишком много говорите...

— А вы, — кричит Филмор, — вы сумасшедшая. Я не взглянул бы на вас, даже если бы вы были единственной женщиной в мире. Идите домой и умойтесь. — С этими словами он повернулся и ушел, не заплатив по счету.

Однако спустя несколько дней княгиня появилась у нас. Эта женщина, по-видимому, действительно была настоящей княгиней. По всем признакам. Правда, у нее обнаружился триппер. Но как бы то ни было, теперь она живет у нас, и нам не скучно с нею. У Филмора — бронхит, у княгини, как я уже сказал, — триппер, а у меня — геморрой. Я только что сдал шесть пустых бутылок в русской бакалейной лавке через дорогу. Шесть бутылок, из которых я не выпил ни капли. Мне нельзя ни мяса, ни вина, ни жирной дичи, ни женщин. Только фрукты и парафиновое масло, капли с арникой и адреналиновая мазь. И во всем доме нет ни одного удобного для меня стула. Сейчас, глядя на княгиню, я сижу обложенный подушками, точно какой-нибудь паша. Паша! Это напоминает мне имя княгини — Маша. Для меня оно звучит не особенно аристократично. Напоминает «Живой труп».

Вначале я думал, что жить втроем будет очень неудобно, но я ошибся. Когда Маша переезжала, я уже считал, что теперь мне надо будет искать новое пристанище, но Филмор сказал, что дает ей приют только до тех пор, пока она не встанет на ноги. Я не совсем понимаю, что это значит по отношению к такой женщине, как она; насколько я могу судить, она всю жизнь стояла не на ногах, а на голове. Она считает, что это революция изгнала ее из России, но я уверен, что если бы не было революции, то было бы что-нибудь другое. Маша убеждена, что она замечательная актриса; мы никогда с ней ни о чем не спорим. Зачем? Это пустая трата времени. Филмор находит ее забавной. Уходя утром, он кладет десять франков на мою подушку и десять франков на Машину, а вечером мы все втроем обедаем в русском ресторане внизу. В этом квартале много русских, и Маша уже нашла место, где ей открыли кредит. Конечно, десять франков — ничто для княгини; она любит икру и шампанское, и ей нужно одеться, прежде чем искать работу в кино. Пока же она ничего не делает. Она толстеет.

Сегодня утром у нас был небольшой скандальчик. Умывшись, я по ошибке схватил ее полотенце. Нам не удается приучить ее вешать полотенце на свой крючок. И когда я накричал на нее, она совершенно спокойно ответила: «Дорогой мой, если бы от этого можно было потерять зрение, как вы говорите, я бы уже давно была слепой».

Потом, конечно, все эти недоразумения с уборной. Я стараюсь говорить с ней по поводу стульчака отеческим тоном. «Какая чушь! — отмахивается она. — Если вы все так боитесь заразы, я буду пользоваться уборной в кафе!» Я пытаюсь ей объяснить, что нужно просто соблюдать элементарные правила. «Чушь! — повторяет она. — Я не буду садиться. Я буду делать все стоя».

С приездом Маши в доме все идет кувырком. Прежде всего она

отказалась спать с нами, ссылаясь на менструацию. Это длилось восемь дней. Мы начали подозревать, что она привирает. Но оказалось, что мы возводили на нее напраслину. Однажды, когда я пытался привести квартиру в порядок, я нашел под ее кроватью ватные тампоны, пропитанные кровью. У нее все идет под кровать: апельсиновые корки, куски ваты, пустые бутылки, ножницы, старые презервативы, книги, подушки... Она перестилает постель только перед тем, как лечь спать. Вообще Маша лежит в постели целый день, читая русские газеты. «Дорогой мой, — говорит она мне, — если бы не газеты, я бы и вовсе не вылезала из постели». И это правда. Мы заросли русскими газетами. Кроме русских газет, нечем подтереть задницу.

Конечно, она была со странностями. Когда у нее кончилась менструация, и она отдохнула, и даже нарастила жирок вокруг талии, она все равно отказалась иметь с нами дело. Теперь она уверяла, что любит женщин. Для того чтобы спать с мужчинами, ей нужно специальное возбуждение. Она просила нас взять ее в вертеп, где женщины совокупляются с собаками. Или еще лучше, может быть, где-нибудь есть Леда с лебедем. Взмахи крыльев, видите ли, ужасно ее возбуждают.

Однажды мы устроили ей проверку и взяли в такое место. Но прежде чем мы успели обсудить это дело с мадам, с нами заговорил пьяный англичанин, сидящий за соседним столиком. Он уже дважды ходил наверх, но хотел попробовать еще раз. Англичанин попросил нас помочь ему столковаться с девицей, на которую он положил глаз, потому что у него оставалось всего двадцать франков, а по-французски он не знал ни слова. Девица оказалась негритянкой с острова Мартиника: здоровенная, веселая и красивая, как пантера. Чтоб убедить ее забрать последние гроши у англичанина, Филмор пообещал, что придет к ней, как только она разделается с этим клиентом. Княгиня, наблюдавшая за переговорами, тут же села на своего аристократического конька. Она обиделась. «Хорошо, — сказал Филмор. — Ты хотела возбуждения? Прекрасно. Вот сиди и смотри, как я это буду делать!» Но она вовсе не хотела смотреть на Филмора, она хотела смотреть на селезня. «Черт подери! — возмутился Филмор. — Я не хуже селезня. И даже лучше!» Так, слово за слово, началась ссора. Чтобы успокоить Машу, пришлось позвать одну из девиц и оставить их вдвоем щекотать друг друга... Когда Филмор с негритянкой вернулись, глаза его горели. По тому, как он смотрел на нее, я понял, что за восхитительный спектакль она ему устроила, и у меня пересохло горло. Филмор взглянул на меня и, вытащив сто франков, положил передо мной. Он понимал, чего мне это стоило — сидеть здесь целую ночь в качестве зрителя. «Послушай, — сказал он, — я думаю, тебе это нужнее, чем нам. Вот деньги, выбери себе кого-нибудь». Почему-то это произвело на меня большее впечатление, чем все, что он сделал для меня раньше — а сделал он немало. Я взял деньги, оценив благородный порыв Филмора, и попросил негритянку приготовиться. Княгиня разобиделась окончательно. Неужели я считаю, что эта негритянка — единственная женщина, которая может привести мужчину в возбуждение? Я сказал, что да, единственная. Так оно и было. Негритянка царила в этом гареме. Стоило только посмотреть на нее, чтобы у вас немедленно возникла эрекция. Ее глаза как будто плавали в сперме. Она точно пьянела от всех мужчин, что бывали у нее наверху. Мне казалось, что она уже не может ходить прямо. Идя за ней по узкой винтовой лестнице, я не мог побороть желания просунуть руку между ее ногами. Так мы и шли — иногда она оглядывалась и смотрела на меня с улыбкой или покручивала задом, когда становилось очень щекотно.

В общем, мы отлично провели время. Все были счастливы. Даже Маша пришла в хорошее настроение. И на следующий вечер, после того как она получила очередную порцию шампанского и икры и рассказала нам новую главу из истории своей жизни, Филмор принялся за нее всерьез. Она перестала сопротивляться. Она легла на кровать, раздви-

нула ноги и позволила ему делать все, что он хотел. Но когда он был уже совершенно готов ее употребить, она спокойно заявила, что у нее триппер. Филмор скатился с нее кувырком. Я слышал, как он возился в кухне, доставая свое специальное черное дегтярное мыло. Через десять минут он уже стоял возле меня с полотенцем в руках. «Можешь себе представить? Эта сволочная княгиня — трипперная!» Филмор, по-видимому, испугался не на шутку. Между тем княгиня, грызя яблоко, попросила принести ей русские газеты. Очевидно, для нее все это было шуткой. «Подумаешь, триппер... есть вещи и посерьезнее», — крикнула она с кровати в открытую дверь. Спустя несколько минут и Филмор стал относиться к происходящему с юмором. Он откупорил новую бутылку анжуйского, налил стакан и залпом выпил. Был только час ночи, и мы еще некоторое время сидели и болтали, Филмор заявил, что все-таки его взаимоотношения с Машей на этом не закончатся. Конечно, надо быть осторожным... в Гавре у него открылся залеченный триппер. Он уже не помнил, как это случилось. Иногда в сильном подпитии он забывал сразу же помыться. Ничего серьезного, но все же чревато осложнениями. Он не хотел, чтобы ему массировали предстательную железу, да и вообще мысль снова попасть в лапы врачей ему не улыбалась. Заболел он еще в университете. Неизвестно, подхватил ли он триппер от своей девушки или, наоборот, сам ее заразил. В студенческой среде были такие нравы, что разобраться в этом оказалось попросту невозможно. Студентки частенько ходили брюхатые. По большей части от неопытности. Даже профессора и те были неопытны. Поговаривали, что один из них себя кастрировал...

Так или иначе на следующий день Филмор решил рискнуть и купил для этого случая презерватив. Большого риска, вообще говоря, не было, если, конечно, презерватив не порвется. Но Филмор купил специальный — длинный, из рыбьей кожи. По его словам, это самые прочные. Но и тут его постигла неудача. У Маши оказалось крошечное влагалище. «Господи, — удивлялся Филмор, — со мной вроде бы все нормально. Ты что-нибудь понимаешь? Кто-то ведь должен был проникнуть туда — иначе как она могла заразиться? Наверное, у него был член как у цыпленка».

После этого Филмор оставил Машу в покое. Они лежали в постели вместе, точно брат с сестрой, и видели кровосмесительные сны. Маша отнеслась к этому философски. «В России мужчины часто спят с женщинами, не трогая их... Они могут лежать вот так вместе неделями, даже ни о чем не думая... Пока однажды он не дотронется до нее... И тогда — раз, и еще раз, и еще много-много раз!»

Теперь все наши усилия сосредоточены на том, чтобы привести Машу в порядок. Филмор считает, что, когда она вылечится, ее влагалище расширится. Странная идея. Он купил ей спринцовку, перманганат, специальный шприц и все прочее, что ему рекомендовал маленький венгерский жулик, специализирующийся на абортах. По словам Филмора, его босс попал как-то в историю с шестнадцатилетней девчушкой — она-то и познакомила его с венгром, а потом, когда босс подцепил великолепный шанкр, его опять лечил этот венгр. В Париже знакомства и дружба завязываются чаще всего на почве секса и венерических болезней. В общем, Маша сейчас лечится под нашим строжайшим надзором. Как-то вечером она привела нас в полную растерянность. Она засунула в себя суппозиторий и потеряла конец шнурка, прикрепленного к нему. «Боже мой! — кричала она. — Где же шнурок? Боже мой! Я не могу его найти!»

— Ты смотрела под кроватью? — ядовито спросил Филмор.

Наконец она нашла шнурок и успокоилась. Но только на несколько минут. Следующее ее заявление было: «Боже мой, опять кровь! Только что кончились месячные — и пожалуйте! Это все от вашего дешевого шампанского! Боже мой, вы хотите, чтобы я изошла кровью?» С этими

словами она появляется в кимоно и с полотенцем, зажатым между ногами, стараясь выглядеть аристократично, как всегда. «У меня всю жизнь так, — говорит она. — Это неврастения. Бегаю целыми днями и напиваюсь вечером. Когда я приехала в Париж, я была девушкой. Я прочла только Вийона и Бодлера. Но у меня было триста тысяч швейцарских франков в банке, и я сходила с ума по удовольствиям, потому что в России меня держали очень строго. Я была еще прекрасней, чем сейчас, и мужчины падали к моим ногам... — При этом она массирует свою округлившуюся талию. — Когда я приехала сюда, у меня не было живота... это все от того яда, который здесь пьют... эти ужасные аперитивы, которые хлещут французы... Тогда-то я и встретила моего режиссера, и он хотел, чтобы я играла в его фильме. Он говорил, что я самое очаровательное существо в мире, и умолял меня спать с ним каждую ночь. Я была глупенькой, невинной девушкой и позволила ему изнасиловать себя. Мне хотелось быть актрисой, и я не знала, что он болен... Это он наградил меня триппером... и сейчас я хочу вернуть ему этот подарок. Это его вина, что я чуть не покончила с собой... Чего вы смеетесь? Вы не верите, что я кончала самоубийством? Я могу показать вам газеты... мой портрет был во всех газетах. Когда-нибудь я покажу вам русские газеты... они замечательно все это описали... Но сейчас, мой дорогой, мне прежде всего нужны новые платья. Не могу же я соблазнять своего режиссера в этих обносках. И потом, я еще должна портнихе двенадцать тысяч...»

Тут Маша начинает длинный рассказ о наследстве, которое она хочет прибрать к рукам. У нее есть молодой адвокат-француз, по ее словам, довольно застенчивый человек, который ведет это дело. Время от времени он подкидывает ей сотню-другую франков в счет будущего наследства. «Он очень скуп, как все французы, — говорит Маша. — А я была так хороша, когда пришла к нему, что он не мог оторвать от меня глаз. Он все время просил, чтобы я дала ему... Мне до того надоело, что однажды вечером я согласилась — просто чтобы он успокоился, а я и дальше изредка получала бы свои сто франков. — Она умолкает, потом начинает истерически хохотать. — Дорогой мой, — продолжает она, — то, что случилось, было безумно смешно! Однажды он звонит мне и говорит: „Мы должны немедленно увидеться... это чрезвычайно важно!" Я прихожу к нему, и он показывает мне медицинскую справку, что у него гонорея! Я рассмеялась прямо ему в лицо. Ну откуда же мне было знать, что у меня еще не прошел триппер? „Вы хотели, мсье, меня вы..ать, а вы..ла вас я!" После этого он замолчал. Так всегда бывает в жизни... ничего не ожидаешь, и вдруг — трах! О Господи, он такой идиот, что опять в меня влюбился и стал умолять хорошо себя вести, не болтаться больше по Монпарнасу, не пить и не б...ствовать... Говорил, что без ума от меня. Хотел жениться, но семья подняла дикий скандал и заставила его уехать в Индокитай...»

Закончив рассказ об адвокате, Маша совершенно спокойно переходит к рассказу о приключении с лесбиянкой. «Это было так смешно, мой дорогой, — как она подобрала меня однажды ночью в кафе „Фетиш". Я, как всегда, была абсолютно пьяна. Она стала таскать меня по разным кафе и щупать под столом. В конце концов я не выдержала, и когда она привезла меня к себе, я ей позволила за двести франков. Она хотела, чтобы я переехала к ней, но мне вовсе не улыбалось спать с ней каждую ночь... это очень ослабляет женщину. Кроме того, сказать по правде, я не люблю сейчас лесбиянок так, как любила их раньше. Я скорее уж буду спать с мужчиной, хотя мне и больно. Когда я очень возбуждена, я не могу сдерживаться, мне нужно три, четыре, пять раз подряд! Но потом у меня начинает идти кровь, а это очень вредно для здоровья — у меня же предрасположение к малокровию. Вот почему я вынуждена позволять лесбиянкам иногда сосать меня...»

13

Когда наступили настоящие холода, княгиня исчезла. Ей было недостаточно маленькой печурки в гостиной; спальня была как ледник, и кухня не теплее. Только возле самой печки было тепло. Поэтому Маша нашла себе скульптора, который, по его словам, был скопцом. Она рассказала нам об этом перед своим отъездом. Через несколько дней Маша, правда, попыталась вернуться к нам, но на сей раз Филмор был как гранит. Она жаловалась, что скульптор своими поцелуями не дает ей спать по ночам. Кроме того, у него нет горячей воды для подмывания. Но в конце концов она решила, что все-таки, может быть, ей лучше и не переезжать к нам обратно. «По крайней мере там хоть нет этого подсвечника, — сказала она, имея в виду Филмора. — Всегда этот подсвечник... он действовал мне на нервы. Ах, почему вы не педерасты, я б тогда осталась с вами...»

С отъездом княгини наши вечера стали другими. Часто мы сидели перед огнем, потягивая горячий грог и вспоминая Америку. Мы говорили о ней так, как будто совсем не собирались туда возвращаться. У Филмора была большая карта Нью-Йорка, и он прибил ее к стене; мы часами сидели перед ней, обсуждая и сравнивая достоинства Парижа и Нью-Йорка. И всегда с нами был Уитмен — самый значительный поэт, которого создала Америка за время своего короткого существования. У Уитмена вся Америка, весь ее быт живут. Живет ее прошлое и ее будущее, ее рождение и ее смерть. Все, что есть в Америке стоящего, Уитмен сумел уловить и передать в своих стихах, и добавить к этому нечего. Будущее принадлежит машинам и роботам. Уитмен был поэтом Тела и поэтом Души. Первым и последним поэтом. Сегодня его уже почти невозможно расшифровать, он как памятник, испещренный иероглифами, ключ к которым утерян. Здесь даже странно упоминать его имя. Ни в одном из европейских языков нет слов, чтобы передать американский дух, который Уитмен сделал бессмертным. Европа битком набита искусством, в ее земле схоронено множество великих мертвецов, а ее музеи ломятся от краденых сокровищ. Но никогда она не знала ЧЕЛОВЕКА, чей дух был бы свободен и здоров. Из европейских поэтов ближе всех стоит к Уитмену Гёте, но и он рядом с ним просто напыщенное ничтожество. Гёте был уважаемым человеком, скучным педантом, всемирным духом, но на всем, что он делал, неизменно стояла немецкая проба, двуглавый орел. Спокойствие Гёте, его олимпийство — это всего лишь сонливость немецкого буржуазного божка. Гёте — это конец, Уитмен — начало.

После таких разговоров я выходил иногда на прогулку, надев фуфайку, весеннее пальто Филмора, а поверх него набросив накидку. Выходил в этот грязный влажный холод, от которого нет защиты, кроме силы духа. Говорят, что Америка — страна крайностей, и это правда; температура там часто падает ниже, чем в Европе, но парижский холод неведом Америке, потому что это психологический холод. Подобно тому как люди оградили свою частную жизнь от постороннего глаза высокими стенами, замками, ставнями, рычащими, озлобленными, грубыми и нечесаными консьержками, они научились защищаться и от холода и жары, от сурового климата. Смыслом человеческой жизни стало самосохранение. Самосохранение и безопасность, чтобы можно было разлагаться со всеми удобствами. В сырую зимнюю ночь широту Парижа нетрудно определить и без карты. Это северный город, форпост, построенный на болотах, где гниют тысячи костей и черепов. Здесь нет тепла, лишь его холодная электрическая имитация вдоль бульваров. *Все прекрасно!* — это ультрафиолетовое изречение делает посетителей кафе «Дюпон» похожими на гангренозные трупы. *Все прекрасно!* — этим кормят нищих и бродяг, бредущих под изморосью фиолетовых лучей. Раз есть свет, значит, должно быть хоть немного тепла. Даже один взгляд в окна, где эти жирные животные пьют свой горячий грог

и дымящийся черный кофе, согревает их. Там, где свет, — там и толпа, люди, толкающие друг друга и выделяющие сквозь свое грязное белье и смрадное дыхание немного животного тепла. Может быть, десяток-другой кварталов и создадут впечатление царящего здесь веселья, но потом улицы опять тонут в темной ночи, мрачной, вонючей, беспросветной ночи, напоминающей застывший жир на краях суповой миски. Квартал за кварталом идут темные дома с наглухо закрытыми ставнями и с дверями на крепких запорах. Миля за милей тянутся эти каменные тюрьмы, и нет в них ни малейшего признака тепла; тепло и уютно там лишь собакам и кошкам вместе с канарейками. Да еще тараканы и клопы тоже в тепле и безопасности. Но помните, *все прекрасно!* Не важно, если у вас ни гроша в кармане, вы ведь можете подобрать старые газеты и устроить себе постель на паперти собора. Двери плотно закрыты, и вас не будет беспокоить сквозняк. Еще лучше спать у входа в метро — тут вы найдете компанию. Посмотрите на этих мужчин, женщин и вшей в дождливую ночь, они лежат там, сгрудившись, накрывшись газетами, в надежде защититься от плевков и паразитов. Посмотрите на них под мостами и базарными навесами. Как они грязны рядом с чистыми, яркими овощами, сложенными точно горки драгоценных камней. Даже туши лошадей, коров и овец, свисающие с сальных крюков, более привлекательны. Завтра их съедят, и даже внутренности пойдут в дело. А эти вонючие нищие, лежащие под дождем, — кому они нужны? Какой в них прок? Они способны заставить ваше сердце кровоточить несколько минут — и это все.

...Пустяки. Это просто мысли, которые лезут в голову от ночного хождения под дождем после двух тысячелетий христианства. Птицам по крайней мере здесь хорошо, да и собакам с кошками тоже неплохо. Каждый раз, проходя мимо окна консьержки, я ловлю на себе ее тяжелый, остекленевший взгляд, и у меня появляется безумное желание передушить всех птиц в мире. Ведь той капли любви, что есть на дне каждого ледяного сердца, хватает только на птиц.

И все-таки я не могу забыть о противоречии между идеями и реальностью. Это противоречие живуче, и его не изжить никакими стараниями. Идеи должны побуждать к действию, но если в них нет жизненной энергии, нет сексуального заряда, то не может быть и действия. Идеи не могут существовать только в безвоздушном пространстве мысли. Они должны быть вплетены в реальность, не важно какую — почечную, печеночную, кишечную и т. д. Ради идеи как таковой Коперник не разрушил бы существующий макрокосм, а Колумб пошел бы ко дну в Саргассовом море. Эстетика идеи выращивает лишь комнатные цветы, а комнатным цветам место на подоконниках. Но если нет ни дождя, ни солнца, какой смысл выставлять цветы за окно?

Филмор теперь помешан на золоте. «Золотой миф», как он это называет. Мне нравится «миф» и нравится идея золота, но само золото меня не волнует; по-моему, комнатные цветы нам ни к чему — даже в золотых горшках. Он рассказывает, что французы складывают свое золото в специальных водонепроницаемых склепах, построенных глубоко под землей, и в этих подземных пещерах и коридорах бегает маленький паровозик. Вот это мне чрезвычайно нравится. Глубокая, мертвая тишина, в которой спокойно спит золото при температуре семнадцать с четвертью градусов по Цельсию. Он говорит, что целая армия за сорок шесть дней и тридцать семь часов не смогла бы подсчитать всего золота, которое похоронено под Французским банком, но есть еще и резерв, состоящий из золотых коронок, браслетов и обручальных колец. В этих склепах также хранится провиант, которого должно хватить на восемьдесят дней. Весь золотой запас зарыт под озером, чтобы предохранить его от сотрясений при взрывах. Золото, по словам Филмора, становится все более невидимым, настоящим мифом, без всяких метафор. Отлично! Я думаю, что́ стало бы с миром, если бы мы отошли от золо-

того стандарта в мыслях, в одежде, в морали и т. д. Я думаю о золотом стандарте любви!

Моя идея сотрудничества с самим собой сводится к желанию отойти от золотого стандарта литературы. Вкратце моя мысль такова: показать воскресение эмоций, описать поведение человеческого существа в стратосфере идей — иными словами, в лапах безумия. Изобразить досократовское существо — полукозла, полутитана. Иначе говоря, построить мир на фундаменте «омфала», то есть пупка, а не на абстрактной идее, распятой на кресте. Тут и там можно еще обнаружить заброшенные статуи, нетронутые оазисы, не замеченные Сервантесом мельницы, реки, текущие в гору, женщин с пятью или шестью грудями, расположенными ярусами по всему телу. (В письме Стриндберга к Гогену есть такие слова: «Я видел деревья, которых не нашел еще ни один ботаник; животных, о существовании которых Кювье даже не подозревал; и людей, создать которых могли только вы».)

Когда Рембрандт делал последний удар кистью, то для него переставала существовать разница между золотом, сушеной солониной и складной койкой. Золото — это ночное слово, отвлеченная мысль; в нем — мечта, миф. Мы возвращаемся к алхимии, этой жульнической александрийской науке, которая создала наши уродливые символы. Настоящая мудрость закапывается в землю скрягами учености. Наступит день, когда они поднимутся в средние слои атмосферы с магнитами; чтобы найти кусочек руды, придется подниматься на десять тысяч футов со специальными приборами — по возможности в холодных широтах — и устанавливать телепатическую связь с недрами земли и с тенями умерших. Больше не будет Клондайков. Больше не будет золотых лихорадок. Придется научиться петь и слегка паясничать, разбираться в знаках зодиака и расшифровывать письмена своих внутренностей. Все золото, которое спрятано в карманах земли, придется добывать снова; весь этот символизм придется заново вытягивать из кишок человечества. Но сначала надо будет усовершенствовать приборы. Надо будет построить самолеты получше теперешних, чтобы различать, *откуда* идет звук, и не сходить с ума каждый раз, когда у вас под задницей раздается взрыв. А потом приспособиться к холоду стратосферы, стать холоднокровной рыбой воздуха. Без благоговения. Без набожности. Без тоски. Без сожаления. Без истерики. Но главное, как сказал Филипп Датц, — БЕЗ СОМНЕНИЙ!

Все эти солнечные мысли навеяны парами вермута, который я пью на площади Трините. Сейчас послеобеденный час субботы, и у меня в руках «неудачная» книга. Все плывет передо мной в божественном розовом мареве. Вермут оставляет во рту терпкий вкус сушеных трав, осадок нашей Великой Западной Цивилизации, которая разлагается на глазах, как ногти на ногах святого. Проходят женщины — целые полки женщин, — и каждая вертит задом у меня перед носом. Под бой курантов автобусы въезжают на тротуар и чмокают друг друга. Гарсон вытирает стол грязной тряпкой, хозяин сладострастно щекочет клавиатуру кассы. На моем лице — отсутствие выражения, заостренное в своей беспредметности. На колокольне через улицу горбун бьет в колокол золотым молотом, и голуби наполняют воздух тревожными криками. Я открываю книгу — книгу, которую Ницше назвал «лучшей немецкой книгой», и читаю:

«Люди станут умнее и тоньше; но не лучше, чем они сейчас, не счастливее и не решительнее. Я предвижу время, когда Бог перестанет радоваться своему творению, и тогда Он разрушит все, чтобы создать нечто новое. Я убежден, что это решено и что время для этого избрано. Но пройдут еще тысячи лет, прежде чем это случится, и мы сможем еще долго развлекаться на этой старой, но милой поверхности».

Великолепно! Слава Богу, сто лет назад нашелся человек, оказавшийся достаточно проницательным, чтобы понять, что наш мир валится с ног от усталости. Наш западный мир! Глядя на мужчин и женщин,

механически двигающихся за стенами своих домов-тюрем, мужчин и женщин, оказавшихся на несколько часов в безопасности своих убежищ, я удрученно думаю о тех потенциальных возможностях, которые все еще скрыты в их вялых телах. За серыми стенами теплятся искры человеческого разума, но никогда не возгорится из них пламя. Отчего? Настоящие ли это мужчины и женщины, спрашиваю я себя, или марионетки, или даже не марионетки, а только тени марионеток, болтающихся на невидимых ниточках? Они свободно двигаются и могут идти куда захотят, но им некуда идти. Только в одной стихии они ничем не скованы, но они не знают ее, потому что не умеют летать. Человечество еще не знало мечты, способной летать. Еще не родился человек, столь легкий и *бесшабашный,* чтобы оторваться от земли! А орлы, которые пытались взмахнуть крыльями, жестоко разбились о землю. От ударов и шуршания их крыльев у нас осталось лишь головокружение. Оставайтесь на земле, птицы будущего! Небеса уже исследованы, и они пусты. Под землей — тоже пустота, лишь кости и тени. Оставайтесь на земле и парите еще тысячи лет!

Сейчас три часа ночи. С нами две шлюшонки, которые делают сальто-мортале на полу. Филмор, совершенно голый, ходит вокруг них со стаканом в руке. Его животик туг, как барабан, и тверд, как свищ. Все перно и шампанское, коньяк и анжуйское, которые он хлестал с трех часов дня, булькают в его брюхе, точно в канализационной трубе. Девочки прикладывают ушки к его животу, точно это музыкальная шкатулка. Открой ему рот сапожным рожком и брось жетон в эту щель, чтобы шкатулка заиграла. Когда начинается бульканье в этой выгребной яме, я слышу, как летучие мыши срываются с колокольни и мечта сползает в яму хитрости.

Девочки уже раздеты, и мы с Филмором изучаем пол, чтобы они не занозили свои жопки. На них все еще туфли на высоких каблуках. Но их задницы! Изношенные, выскобленные, начищенные наждачной бумагой, гладкие, твердые, блестящие, точно бильярдный шар или череп прокаженного! На стене висит портрет Моны — она смотрит на северо-восток, где зелеными чернилами написано «Краков». Слева от нее — Дордонь, обведенная красным карандашом. Внезапно я вижу перед собой темную волосатую расселину в блестящей отполированной поверхности бильярдного шара: ноги зажали мою шею борцовскими «ножницами». Один взгляд на эту темную незашитую рану — и голова моя раскалывается от образов и воспоминаний, которые мною же самим были так трудолюбиво собраны, зарегистрированы, записаны и разложены по папкам с ярлычками; все они выползают сейчас, как муравьи из расселины в тротуаре; земля перестает вращаться, время останавливается, причинная зависимость распадается, кишки вываливаются наружу с какой-то дикой стремительностью, и их неожиданное выпадение оставляет меня лицом к лицу с Абсолютом. Я снова вижу расплывшихся матерей Пикассо с грудями, покрытыми пауками, и легендами, глубоко запрятанными в лабиринте. И Молли Блум, лежащую на грязном матраце в бесконечности, и х.., нарисованные красным мелом на двери уборной, и рыдающую Мадонну. Я слышу дикий истерический смех, вижу заплеванную комнату — и тело, которое было черным, начинает мерцать фосфорическим блеском. Дикий, дикий, неудержимый смех — и эта расселина тоже начинает смеяться мне в лицо, она смеется сквозь пушистые бакенбарды и смех морщит складками блестящую поверхность бильярдного шара. Великая блудница и матерь человеческая с джином в крови. Я смотрю в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший мир, и слышу звон колоколов... две монашки у дворца Станислав, запах прогорклого масла из-под их одежды; манифест, который не был опубликован, потому что шел дождь; война, послужившая развитию пластической хирургии; принц Уэльский, летающий по всему миру, чтобы украшать могилы неизвестных героев. Каждая летучая мышь, срывающаяся с колокольни, — это погибшее начинание, каждый торжествую-

щий крик — это стон, идущий из окопов обреченных. Из этой темной незашитой раны, этой выгребной ямы, этой колыбели наводненных черными толпами городов, где музыка мысли тонет в застывающем сале жизни, из задушенных утопий вдруг появляется паяц, в котором соединились красота и безобразие, свет и хаос. Когда он смотрит вниз и вбок — это сам Сатана, а когда поднимает глаза к небу, то видит масляного ангела, улитку с крылышками. Когда я смотрю вниз в эту расселину, я вижу в ней знак равенства, мир в состоянии равновесия, мир, сведенный к нулю без остатка. Не нуль, на который ван Норден направлял свой электрический фонарик, не пустоту, разочаровывающую возбужденного мужчину. Просто арабский нуль, значок, из которого вырастают бесчисленные математические миры, точка опоры, где уравновешиваются звезды и мимолетные мечты, машины легче воздуха, невесомые протезы и взрывчатые вещества, делающие эти протезы необходимыми. Я хотел бы окунуться в эту расселину до глаз и чтобы эти милые, безумные металлургические глаза бешено мигали там. И тогда я снова услышу слова Достоевского, услышу, как они текут со страницы на страницу с его мельчайшими наблюдениями и глубочайшими прозрениями, со всем его страданием, то окрашенные легким юмором, то похожие на могучие звуки органа, — пока, наконец, не разорвется сердце, и тогда не останется ничего, кроме жгучего света, несущего в себе оплодотворяющую пыльцу звезд. В этом — вся история искусства, корни которого — в бойне.

Когда я смотрю вниз, в эту раздолбанную щель б..ди, я чувствую под собой весь мир, гибнущий, истасканный мир, отполированный, как череп прокаженного. Если бы кто-то посмел сказать все, что он думает об этом мире, для него не осталось бы здесь места. Когда в мир является Человек, мир наваливается на него и ломает ему хребет. Он не может жить среди этих все еще стоящих, но подгнивших колонн, среди этих разлагающихся людей. Наш мир — это ложь на фундаменте из огромного зыбучего страха. Если и рождается раз в столетие человек с жадным ненасытным взором, человек, готовый перевернуть мир, чтобы создать новую расу людей, то любовь, которую он несет в мир, превращают в желчь, а его самого — в бич человечества. Если является на свет книга, подобная взрыву, книга, способная жечь и ранить вам душу, знайте, что она написана человеком с еще не переломанным хребтом, человеком, у которого есть только один способ защиты от этого мира — слово; и это слово всегда сильнее всеподавляющей лжи мира, сильнее, чем все орудия пыток, изобретенные трусами для того, чтобы подавить чудо человеческой личности. Если бы нашелся кто-нибудь, способный передать все, что у него на сердце, высказать все, что он пережил, выложить всю правду, мир разлетелся бы на куски, рассыпался бы в прах — и ни Бог, ни случай, ни воля не смогли бы собрать все эти кусочки, атомы, кванты, из которых он состоит.

С тех пор как в мир явился последний человек с горячей душой, последний человек, знавший, что такое подлинный экстаз, прошло четыре столетия, и все эти четыре столетия мы видели постоянную и неуклонную деградацию человека — в искусстве, в мысли, в поступках. Наш мир устал, в его пороховницах нет больше пороха. Разве может человек, чей взгляд жаден и ненасытен, смотреть с уважением на нынешние правительства, на законы, на кодексы, на принципы, на идеалы, на наши тотемы и табу? Если бы кто-то приподнял завесу над загадкой того, что сегодня называют «щель» или «дыра», если б кто-то объяснил хотя бы частично ту тайну, которая окружает явление, именуемое «непристойным», мир перестал бы существовать. Этот непристойный страх, сухой, раздолбанный взгляд на вещи и придает нашей сумасшедшей цивилизации форму кратера. Этот кратер и есть та великая зияющая пропасть небытия, которую титаны духа и матери человечества носят между ногами. Человек, чей дух жаден и ненасытен, человек, заставляющий визжать всех этих подопытных кроликов, хорошо знает, что ему делать

с энергией, таящейся в половом влечении; он знает, что под панцирем безразличия всегда можно найти безобразную глубокую незаживающую рану. И он знает, как вонзиться в нее, как уязвить самые сокровенные ее глубины. Ему не нужны резиновые перчатки. Он знает, что все, подвластное интеллекту, — лишь оболочка, и потому, отбросив ее, он идет прямо к этой открытой ране, к этому гниющему непристойному страху. И даже если от этого совокупления родится только кровь и гной, все равно в нем есть живое дыхание жизни. Сухой, раздолбанный кратер, может быть, и непристоен. Но бездействие еще непристойнее. Паралич — богохульство более страшное, чем самое ужасное ругательство. И если в мире ничего не останется, кроме этой открытой раны, мир будет жить, потому что она не бесплодна, хотя и родит только жаб, летучих мышей и ублюдков.

В секунде оргазма сосредоточен весь мир. Наша земля — это не сухое, здоровое и удобное плоскогорье, а огромная самка с бархатным телом, которая дышит, дрожит и страдает под бушующим океаном. Голая и похотливая, она кружится среди облаков в фиолетовом мерцании звезд. И вся она — от своих огромных грудей до мощных ляжек — горит вечным огнем. Она несется сквозь годы и столетия, и конвульсии сотрясают ее тело, пароксизм неистовства сметает паутину с неба, а ее возвращение на основную орбиту сопровождается вулканическими толчками. Иногда она затихает и похожа тогда на оленя, попавшего в западню и лежащего там с бьющимся сердцем и округлившимися от ужаса глазами, на оленя, боящегося услышать рог охотника и лай собак. Любовь, ненависть, отчаяние, жалость, негодование, отвращение — что все это значит по сравнению с совокуплением планет? Что значат войны, болезни, ужасы, жестокости, когда ночь приносит с собой экстаз бесчисленных пылающих солнц? И что же тогда наши сновидения, как не воспоминания о кружащейся туманности или россыпи звезд?

Иногда Мона, впадая в восторженность, говорила мне: «Ты большой человек». И хотя она ушла, бросила меня погибать здесь, хотя она оставила меня на краю завывающей пропасти, ее слова все еще звучат в моей душе и освещают тьму подо мной. Я потерялся в толпе, шипящие огни одурманили меня, я нуль, который видел, как все вокруг обратилось в издевку. Мимо меня проходили мужчины и женщины, пахнущие горящей серой, швейцары в ливреях из кальция открывали челюсти ада, слава, изжеванная зубастыми ртами машин, ковыляла на костылях, а небоскребы придавливали ее к земле. Я шел меж высоких зданий к прохладе реки и видел огни, вырывающиеся между ребрами скелетов, точно ракеты. Если я действительно большой человек, как говорила Мона, почему вокруг меня столько рабского идиотизма? Я был человеком с телом и душой, и у меня было сердце, не защищенное сталью. В минуты экстаза я пел, и мое пение высекало искры. Я пел об экваторе, о ее ногах, покрытых красными перьями, и об островах, скрывающихся за горизонтом. Но меня никто не слушал. Пушечный выстрел через Тихий океан бесполезен, потому что земля круглая и голуби летают вверх ногами. Мона смотрела на меня через стол подернутыми грустью глазами; тоска, которая росла в ней, расплющивала нос о ее спину; костный мозг, размытый жалостью, превратился в жидкость. Она была легка, как труп, плавающий в Мертвом море. Ее пальцы кровоточили горем, и кровь обращалась в слюну. С мокрым рассветом пришел колокольный звон, и колокола прыгали по кончикам моих нервов, и их языки били в мое сердце со злобным железным гулом. Этот колокольный звон был странен, но еще страннее было разрывающееся тело, эта женщина, превратившаяся в ночь, и ее червивые слова, проевшие матрац. Я продвигался по экватору, я слышал безобразный хохот гиен с зелеными челюстями, я видел шакала с шелковым хвостом, ягуара и пятнистого леопарда, забытых в саду Эдема. Потом ее тоска расширилась, точно нос приближающегося броненосца, и когда он стал тонуть, вода залила мне уши. Я слышал, как почти бесшумно повернулись орудийные баш-

ни и извергли свою слюнявую блевотину; небо прогнулось, и звезды потухли. Я видел черный кровоточащий океан и тоскующие звезды, разрешающиеся вспухающими кусками мяса, и птицы метались в вышине, а с неба свешивались весы со ступкой и пестиком и фигура правосудия с завязанными глазами. Все, что здесь описано, движется на воображаемых ногах по мертвым сферам; все, что увидено пустыми глазницами, буйно расцветает, как весенние травы. Потом из пустоты возникает знак бесконечности; под уходящими вверх спиралями медленно тонет зияющее отверстие. Земля и вода соединяют цифры в поэму, написанную плотью, и эта поэма крепче стали и гранита. Сквозь бесконечную ночь земля несется к неизвестным мирам...

Сегодня утром я пробудился после глубокого сна с радостным проклятьем на устах, с абракадаброй на языке, повторяя, как молитву: Fay ce que vouldras!.. Fay ce que vouldras! [1] Делай что хочешь, но пусть сделанное приносит радость. Делай что хочешь, но пусть сделанное вызывает экстаз. Когда я повторяю эти слова, в голову мне лезут тысячи образов — веселые, ужасные, сводящие с ума: волк и козел, паук, краб, сифилис с распростертыми крыльями и матка с дверцей на шарнирах, всегда открытая и готовая поглотить все, как могила. Похоть, преступление, святость, жизнь тех, кого я люблю, их ошибки, слова, которые они говорили, слова, которые они не договорили, добро, которое они принесли, и зло, горе, несогласие, озлобленность и споры, которые они породили. Но главное — это *экстаз!*

Кое-что в жизни моих старых идолов вызывает у меня слезы: их долгое молчание, их безалаберность, их неистовство и эта ненависть, которую они пробудили. Когда я думаю об уродстве, претенциозности и скуке их произведений, о чудовищности их стиля, о хаосе и путанице, в которых им пришлось барахтаться, о сетях, которыми они себя опутали, я впадаю в экзальтацию. Все они вязли порой в собственном дерьме. Все, кто никогда не останавливался в своем стремлении к совершенству. Эта истина вызывает во мне желание воскликнуть: «Покажите мне человека, который не останавливается в своем стремлении к совершенству, и я скажу, что вы показываете мне великого человека!» Вы показываете мне мой идеал. В поисках совершенства — следы борьбы; собственно, это и есть борьба, это та питательная среда, в которой только и может существовать мятежный дух. Покажите мне человека, уже умеющего в совершенстве выражать свои мысли, и я скажу, что это тоже великий человек, но он мне неинтересен — мне не хватает в нем косноязычия возбуждения. Когда я думаю, что задача художника — сломать существующую иерархию ценностей, по-своему упорядочить окружающий хаос, посеять брожение и раздоры, чтобы через эмоциональное освобождение воскресить мертвых, — вот тогда я радостно бегу к великим и несовершенным; их путаница — это моя земля под ногами, их заикание — это моя божественная музыка. Когда я вижу их великолепные пухлые рукописи, появляющиеся после долгого молчания, я вижу их победу над всеми дрязгами жизни, вижу, что трусы, лжецы, воры, клеветники не оставили следов в их жизни. Я вижу в раздувшихся мускулах их лирических глоток то чудовищное усилие, которое необходимо, чтобы повернуть остановившееся колесо творчества. Я вижу, что мелочи каждодневных забот, злобное мельтешение слабых и бездарных — это символ парализованной жизненной силы, что тот, кто хочет создать иной порядок вещей, кто хочет заставить человеческую мысль работать, — тот должен снова и снова проходить через костер и виселицу. Я вижу, что благородные жесты всегда отбрасывают нелепую тень, я вижу, что тот, кто велик, не только велик, но и комичен.

Когда-то мне казалось, что самая высокая цель, которую можно перед собой поставить, это быть человечным, но сейчас я вижу, что, поддайся я этой идее, она погубила бы меня. Сегодня я горд тем, что я *вне человечества,* не связан с людьми и правительствами, что у меня

[1] Делай что хочешь! *(старофранц.)*

нет ничего общего с их верованиями или принципами. Я не хочу скрипеть вместе с человечеством. Я — часть земли! Я говорю это, лежа на подушке, и чувствую, как у меня начинают расти рога. Я вижу всех своих полубезумных предков, танцующих вокруг моей постели, утешающих меня, подбадривающих или бичующих своими змеиными языками, издевающихся надо мной, смотрящих на меня плотоядно своими пустыми глазницами. *Я — вне человечества!* Я говорю это, и мой рот кривится в идиотской усмешке, но я буду это повторять, даже если с неба вдруг пойдет дождь из крокодилов. За моими словами — все эти издевательски оскалившиеся черепа; одни из них скалятся так уже много лет, другие застыли, словно их челюсти свело в судороге, третьи обезобразила гримаса, некое подобие улыбки, возникшей в предвкушении последствий происходящего. Яснее всего я вижу свой собственный череп, свой танцующий скелет, подгоняемый ветром; мой язык сгнил, и вместо него изо рта выползают змеи и торчат страницы рукописи, написанные в экстазе, а теперь измаранные испражнениями. И я — часть этой гнили, этих испражнений, этого безумия, этого экстаза, которые пронизывают огромные подземные склепы плоти. Вся эта непрошеная, ненужная пьяная блевотина будет протекать через мозги тех, кто появится в бездонном сосуде, заключающем в себе историю рода человеческого. Но среди народов земли живет особая раса, она вне человечества — это раса художников. Движимые неведомыми побуждениями, они берут безжизненную массу человечества и, согревая ее своим жаром и волнением, претворяют сырое тесто в хлеб, а хлеб в вино, а вино в песнь — в захватывающую песнь, сотворенную ими из мертвого компоста и инертного шлака. Я вижу, как эта особая раса громит вселенную, переворачивает все вверх тормашками, ступает по слезам и крови, и ее руки простерты в пустое пространство — к Богу, до которого нельзя дотянуться. И когда они рвут на себе волосы, стараясь понять и схватить то, чего нельзя ни понять, ни схватить, когда они ревут, точно взбесившиеся звери, рвут и терзают все, что стоит у них на дороге, лишь бы насытить чудовище, грызущее их кишки, я вижу, что другого пути для них нет. Человек, принадлежащий к этой расе, должен стоять на возвышении и грызть собственные внутренности. Для него это естественно, потому что такова его природа. И все, что менее ужасно, все, что не вызывает подобного потрясения, не отталкивает с такой силой, не выглядит столь безумным, не пьянит так и не заражает, — все это *не искусство*. Это — подделка. Зато она человечна. Зато она примиряет жизнь и безжизненность.

Когда я думаю, например, о Ставрогине, я представляю себе божественное чудовище, стоящее на возвышении и швыряющее нам свои выдранные кишки. В «Бесах» сотрясается земля; это не катастрофа, которая обрушивается на человека с воображением, а катаклизм, в котором уничтожается и погребается навеки значительная часть человечества. Ставрогин — это сам Достоевский, а Достоевский — это сумма всех тех противоречий, которые или парализуют человека, или ведут его к вершинам. Для Достоевского не было ни слишком низкого, ни слишком высокого. Он прошел весь путь — от пропасти к звездам. И как жаль, что мы никогда уже не увидим этого человека, сумевшего дойти до самой сердцевины тайны и вспышками своего таланта осветившего глубину и огромность тьмы.

Сегодня я знаю свою родословную. Мне не надо изучать гороскоп или генеалогическое древо. Я не знаю ничего, что записано в звездах или в моей крови. Я знаю, что я произошел от мифических основателей расы. Человек, подносящий бутылку со святой водой к губам; преступник, выставленный на обозрение на базаре; доверчивый простак, обнаруживший, что все трупы воняют; сумасшедший, танцующий с молнией в руке; священник, поднимающий рясу, чтобы насцать на мир; фанатик, громящий библиотеки в поисках Слова, — все они соединились во мне, от них моя путаница, мой экстаз. И если я вне человечества, то только

потому, что мой мир перелился через свой человеческий край, потому, что быть человечным — скучное и жалкое занятие, ограниченное нашими пятью чувствами, моралью и законом, определяемое затасканными теориями и трюизмами. Я лью в глотку сок винограда и нахожу в этом мудрость, но моя мудрость не связана с виноградом, мое опьянение не от вина...

Мне хочется сделать крюк через те высокие засохшие горные хребты, где умирают от жажды и холода, через «вневременную» историю, через те самые последние пределы пространства и времени, где нет ни людей, ни фауны, ни флоры, где вы сходите с ума от одиночества, где ваш язык — это просто набор слов, где время разъединено, выключено и оторвано от бытия. Я хочу в мир мужчин и женщин, деревьев, которые молчат (в мире слишком много разговоров!), в мир рек, течение которых несет вас к иным берегам, но не тех рек, которые превратились в легенды, а рек, которые связывают вас с людьми, с архитектурой, религией, с растительным и животным миром. рек, где плавают лодки и тонут люди — тонут не в мифах и легендах старых пыльных книг, а во времени, пространстве и истории. Я мечтаю о реках, которые создают такие океаны, как Шекспир и Данте, о реках, которые не пересыхают в пустоте прошлого. Да, океаны! Пусть будет больше океанов, новых океанов, что смывают прошлое и создают новые геологические формации, новые топографические дали и странные, страшные материки; океанов, которые разрушают и сохраняют в одно и то же время; океанов, по которым можно плыть к новым открытиям и неведомым горизонтам. Пусть в мире будет больше таких океанов, пусть будут перевороты, войны и бойни. И пусть в новом мире мужчины и женщины обретут невиданную силу влечения, пусть это будет мир подлинного неистовства, страстей, свершений, драм, безумных мечтаний, мир, где торжествует экстаз, а не пустой бздеж. Я уверен, что сегодня, больше чем когда-либо, необходимо искать Книгу, даже если в ней только одна великая страница; мы должны искать осколки, обрывки, клочки, все, что заключает в себе хотя бы крупицу драгоценного металла, все, что может воскресить тело и душу.

Может быть, для нас в мире не осталось больше надежды и мы обречены — обречены все без исключения. Если так, то соединим же наши усилия в последний вопль агонии, вопль, наводящий ужас, вопль — оглушительный визг протеста, исступленный крик последней атаки. К черту жалобы! К черту скорбные и погребальные песнопения! Долой жизнеописания и историю, музеи и библиотеки! Пусть мертвые пожирают мертвых. И пусть живые несутся в танце по краю кратера — это их последняя предсмертная пляска. Но — пляска!

«Я люблю все, что течет», — сказал великий слепой Мильтон нашего времени. Я думал о нем сегодня утром, когда проснулся с громким радостным воплем; я думал о его реках и деревьях и обо всем том ночном мире, который он исследовал. Да, сказал я себе, я тоже люблю все, что течет: реки, сточные канавы, лаву, сперму, кровь, желчь, слова, фразы. Я люблю воды, льющиеся из плодного пузыря. Я люблю почки с их камнями, песком и прочими удовольствиями; люблю обжигающую струю мочи и бесконечно текущий триппер; люблю слова, выкрикнутые в истерике, и фразы, которые текут, точно дизентерия, и отражают все больные образы души; я люблю великие реки, такие, как Амазонка и Ориноко, по которым безумцы вроде Мораважина плывут сквозь мечту и легенду в открытой лодке и тонут в слепом устье. Я люблю все, что течет, — даже менструальную кровь, вымывающую бесплодное семя. Я люблю рукописи, которые текут, независимо от их содержания — священного, эзотерического, извращенного, многообразного или одностороннего. Я люблю все, что течет, все, что заключает в себе время и преображение, что возвращает нас к началу, которое никогда не кончается: неистовство пророков, непристойность, в которой торжествует экстаз, мудрость фанатика, священника с его резиновой литанией,

похабные слова шлюхи, плевок, который уносит сточная вода, материнское молоко и горький мед матки — все, что течет, тает, растворяется или растворяет; я люблю весь этот гной и грязь, текущие, очищающиеся и забывающие свою природу на этом длинном пути к смерти и разложению. Мое желание плыть беспредельно — плыть и плыть, соединившись со временем, смешав великий образ потустороннего с сегодняшним днем. Дурацкое, самоубийственное желание, остановленное запором слов и параличом мысли.

14

Рождественским утром, едва забрезжил рассвет, мы вернулись с улицы Одессы, прихватив с собой двух негритянок из телефонной компании. Мы так устали, что сразу, не раздеваясь, повалились в постель. Моя партнерша, которая весь вечер вела себя точно дикий леопард, заснула, пока я пытался ее оседлать. Некоторое время я бился над ней, как над утопленником, вытащенным из воды. Потом плюнул и тоже заснул.

Все праздники мы пили шампанское — утром, днем и вечером; самое дешевое и самое лучшее шампанское. После Нового года я должен был ехать в Дижон, где мне предложили мелкую должность преподавателя английского языка в рамках одного из так называемых франко-американских «обменов», которые, по мысли их организаторов, должны углублять союз и взаимопонимание между дружественными странами. Филмор был доволен больше, чем я, и не без причины. Для меня же это было перемещение из одного чистилища в другое. У меня не было никакого будущего; к тому же должность не предполагала жалованья. Считалось, что я буду удовлетворен возможностью служить делу франко-американской дружбы. Это было место для богатого маменькиного сынка.

В ночь перед моим отъездом мы загуляли. На рассвете пошел снег; мы бродили по Парижу, прощаясь с ним. Пройдя улицу Святого Доминика, мы внезапно очутились на маленькой площади с церковью Святой Клотильды. Прихожане торопились к мессе. Филмор, который все еще был пьян, почему-то решил зайти в церковь. «Просто так, шутки ради», — как он выразился. Мне эта идея не особенно нравилась. Во-первых, я никогда на мессе не был, а во-вторых, я и выглядел и чувствовал себя довольно скверно. У Филмора тоже был вид забулдыги — смятая шляпа сидела набекрень, а к пальто прилипли опилки из последнего кабака. Пожалуй, он выглядел даже хуже меня. Тем не менее мы вошли, заранее готовые к тому, что нас выгонят.

Я был так поражен увиденным, что все мое беспокойство тут же улетучилось. Несколько секунд, пока глаза привыкали к полутьме, я шел за Филмором, держась за его рукав. Странный, нездешний шум наполнил мне уши — какое-то глухое жужжание, поднимавшееся от каменного пола. Это напоминало могилу, в которой болтались плакальщики; что-то вроде прихожей подземного мира. Температура — градусов двенадцать—пятнадцать. Музыки не было, если, конечно, не считать музыкой заунывное нытье, доносившееся из подвала, — точно миллионы кочанов цветной капусты завывали в темноте. Люди в саванах что-то бормотали с тем безнадежным горестным выражением на лицах, какое бывает у нищих, тянущих в трансе руки и беззвучно шевелящих губами.

Конечно, я знал, что существуют церкви, так же как знал, что существуют скотобойни, морги и анатомические театры. Но таких мест инстинктивно избегаешь. На улице я часто встречал священников с маленькими молитвенниками в руках — видимо, они заучивали свою роль. *Идиоты,* говорил я себе и больше о них не вспоминал. На улице можно встретить самых разных сумасшедших, и священник — это еще не худший вариант. Две тысячи лет приучили нас не удивляться этому идиотизму. Однако, когда вы вдруг попадаете в это маленькое царство,

в котором священник действует как будильник, вы воспринимаете все совершенно по-другому.

На минуту все это бормотание и подергивание губ почти обрело какой-то смысл. Что-то здесь происходило, какая-то пантомима, от которой я еще не начал обалдевать, но которая уже захватила меня. Во всем мире, где только есть эти полутемные могилы, идет этот невероятный спектакль — та же средняя температура, тот же сумеречный свет, то же жужжание и бормотание. По всему христианскому миру в определенные часы люди в черном падают ниц перед алтарями, где стоят священники с маленькой книжечкой в одной руке, с обеденным колокольчиком или пульверизатором — в другой и мямлят слова, которые, даже будь они понятны, уже не имеют ни для кого никакого смысла. Вероятно, священник благословляет свою паству. Он благословляет страну, благословляет правительство, благословляет огнестрельное оружие и броненосцы, благословляет боевые припасы и ручные гранаты. Священника окружают мальчики, одетые как ангелы Господни и поющие альтами и сопрано... Невинные овечки. Все в юбочках, бесполые, как и сам священник, который к тому же, как правило, страдает близорукостью и плоскостопием. Чудный кошачий концерт среднего рода. Мошонка в суспензории, на минорный мотив.

Я старался разглядеть все, насколько это можно было в тусклом свете церкви. Удивительное и увлекательное зрелище. «По всему цивилизованному миру», — повторял я себе. По всему миру. Замечательно. Дождь ли, солнце, град, слякоть, снег, гром, молния, война, голод, мор — не важно, здесь это не имеет значения. Та же температура, та же абракадабра, те же зашнурованные ботинки, те же ангелочки, поющие писклявыми голосами. Возле двери я увидел ящичек для пожертвований, чтобы было на что продолжать эту священную работу и чтоб Божье благословение могло снизойти на короля и на страну, на военные корабли и взрывчатку, на танки и самолеты. Чтобы было больше сил в руках — сил, чтоб резать лошадей, коров и овец; сил, чтоб сверлить дыры в стальных балках; сил, чтоб пришивать пуговицы к штанам; сил, чтоб торговать морковью, швейными машинами и автомобилями; сил, чтобы выводить паразитов, чистить конюшни, опорожнять помойные ведра и мыть уборные; сил, чтобы писать газетные заголовки и пробивать билеты в метро. Сил, сил... Все это бормотание и надувательство — для того лишь, чтоб были силы!

Мы переходили с места на место, осматривая все с тем холодным и ясным вниманием, которое появляется после попойки. Вероятно, мы бросались в глаза, пока бродили вот так в пальто, с поднятыми воротниками, ни разу не перекрестившись и разжимая губы лишь для того, чтобы обменяться скабрезными замечаниями. Но все обошлось бы, не вздумай Филмор пройтись мимо алтаря, чего ни в коем случае нельзя было делать во время службы. Вообще он уже искал выход, но прежде все-таки хотел взглянуть на святая святых, чтоб навсегда сохранить в своей памяти. Поглазев на алтарь, мы направились к приоткрытой двери, ориентируясь на полоску света, как вдруг перед нами выросла фигура священника. Он спросил нас, что мы здесь делаем и куда направляемся. Забыв от растерянности все французские слова, мы вежливо ответили по-английски, что ищем выход. Священник молча, но решительно взял нас за руки, открыл дверь, которая оказалась боковым входом, и буквально вытолкнул из церкви. Мы скатились со ступенек в ослепительный утренний свет. Щурясь, мы сделали несколько шагов и инстинктивно обернулись. Священник все еще стоял на ступеньках, бледный как полотно и с усмешкой, напоминавшей дьявольский оскал. Вероятно, мы довели его до бешенства. Позже, вспоминая этот маленький эпизод, я понял его состояние. Но тогда, увидев его длинную юбку и маленькую шапочку, я разразился хохотом — до того это нелепо выглядело. Я взглянул на Филмора, и он тоже начал смеяться. Так мы стояли, хохоча прямо в лицо этому бедняге. Он совершенно обалдел —

настолько, что не сообразил сразу, что ему сказать или сделать, но, опомнившись, сбежал по ступенькам и рысью направился к нам, потрясая кулаками и явно с серьезными намерениями. За церковной оградой он перешел в галоп. Поняв, что пора уносить ноги, я схватил Филмора за рукав и потащил прочь. Но этот идиот уперся, как осел. «Нет, нет, я никуда не пойду!» — повторял он. «Скорее! — тащил я его. — Не валяй дурака! Этот тип зол как собака!»

По пути в Дижон я долго еще улыбался; этот эпизод напомнил мне подобный же случай во время моего короткого пребывания во Флориде. Во время знаменитого земельного бума я рванул во Флориду и, как тысячи других, здорово вляпался. Пытаясь выбраться, мы с приятелем застряли, так сказать, в самом горлышке бутылки. Город Джэксонвилл, где мы вынуждены были болтаться около шести недель, напоминал осажденную крепость. Голодранцы со всего мира, да и не только голодранцы, набились во все щели. Общежития Союза молодых христиан, Армии спасения, пожарных команд, полицейские участки, гостиницы и меблирашки — все забито. На всех стенках объявления: «Свободных мест нет». Джэксонвиллцы зачерствели до такой степени, что казалось, они ходят в броне. Опять возник старый вопрос, что бы пожрать и где бы приклонить голову. Жратва приходила поездами с юга — апельсины, грейпфруты и всякая дивная снедь. Мы слонялись возле товарных составов в поисках гнилых фруктов, но даже и этой дряни было немного.

Как-то вечером, в полном отчаянии, я потащил моего приятеля Джо в синагогу. Это была реформистская синагога, и раввин произвел на меня благоприятное впечатление. А пение — эта пронзительная еврейская жалоба на судьбу — захватило меня всерьез. Как только закончилась служба, я направился в кабинет раввина и попросил его уделить мне несколько минут. Он был вежлив со мной, пока не узнал, по какому поводу я к нему обращаюсь, а узнав, смертельно перепугался, хотя все, о чем я его просил, это небольшое вспомоществование мне и моему приятелю Джо. У него было такое выражение лица, как будто я предложил ему сдать синагогу под кегельбан. И что хуже всего, раввин спросил меня напрямик, еврей ли я. Услышав отрицательный ответ, он был оскорблен до глубины души. Почему же я тогда обращаюсь к евреям за помощью? Я наивно ответил, что у меня всегда было больше доверия к иудаизму, чем к христианству. Слова эти я произнес так тихо, как будто говорил о чем-то постыдном. Но в общем я сказал правду. Однако раввина она не тронула. Ни капельки. Он был в ужасе и, чтобы отделаться от меня, написал записку в Армию спасения. «Вот куда вам надо обратиться за помощью», — сказал он сухо и отправился пасти свое стадо дальше.

В Армии спасения, как я и ожидал, нам ничем не могли помочь. Если бы у нас было по двадцать пять центов, нам дали бы матрац на ночь. Но у нас не было даже пяти центов на двоих. Пришлось отправиться в парк и залечь на скамейке. Шел дождь, и мы накрылись старыми газетами. Мне кажется, не прошло и получаса, как на дорожке появился полицейский и без всякого предупреждения задал нам такую трепку, что мы, вскочив, бросились прочь, пританцовывая по пути, хотя нам было не до танцев. После побоев я чувствовал себя настолько несчастным, удрученным и озлобленным, что, будь у меня бомба, я, наверное, взорвал бы здешнюю мэрию.

На следующий день, чтобы свести счеты с этими гостеприимными сукиными детьми, мы заявились ни свет ни заря к католикам. На этот раз я решил, что вести переговоры должен Джо. Он был ирландцем, да и говорил с легким ирландским акцентом. Кроме того, у Джо были детские голубые глаза, и он умел при желании пустить слезу. Дверь открыла монашка в черном. Однако она не пригласила нас войти, а попросила подождать в прихожей, пока доложит святому отцу. Тот появился через несколько минут, шипя, как паровоз, и спросил, почему мы беспокоим почтенных людей в такую рань. Мы невинно ответили,

что нам нужно немного поесть и где-нибудь переночевать. Тогда святой отец поинтересовался, откуда мы родом. Из Нью-Йорка. Ах, из Нью-Йорка! Вот, голубчики, и отправляйтесь туда, не теряя ни минуты, прямо сегодня! После чего эта жирная свинья с репообразной рожей захлопнула дверь прямо у нас перед носом.

Спустя час, болтаясь без всякой надежды по городу, точно две пьяные шхуны, мы случайно опять оказались возле дома священника. Провалиться мне, если я не увидел эту развратную рожу в лимузине, выехавшем задним ходом из подъездной аллеи. Проезжая мимо, он обдал нас выхлопными газами, словно говоря: «Вот вам, голубчики!» Лимузин был шикарный, с двумя запасными колесами сзади, а святой отец удобно расположился за рулем, посасывая большую сигару — судя по толщине и запаху, это была «Корона-Корона». Что на нем — юбка или костюм, я не разглядел, видел только струйку коричневого соуса, стекавшую с губ, и большую сигару с пятидесятицентовым ароматом.

Всю дорогу до Дижона я думал о своем прошлом. Я думал о словах, которые мог бы сказать, но не сказал, о поступках, которые мог бы совершить, но не совершил в те горькие тяжелые минуты, когда я, как червяк, извивался под ногами чужих мне людей, прося корку хлеба. Я был трезв как стеклышко, но чувство горечи от прошлых обид и унижений не покидало меня. Я вновь ощутил удары полицейского в парке Джэксонвилла, хотя ничего особенного в них не было — так, небольшой урок танцев.

В своей жизни я много бродяжничал, и не только по Америке, заглядывал и в Канаду, и в Мексику. Везде было одно и то же. Хочешь есть — впрягайся и маршируй в ногу. Весь мир — это серая пустыня, ковер из стали и цемента. Весь мир занят производством. Не важно, что он производит — болты и гайки, колючую проволоку или бисквиты для собак, газонокосилки или подшипники, взрывчатку или танки, отравляющие газы или мыло, зубную пасту или газеты, образование или церкви, библиотеки или музеи. Главное — вперед! Время поджимает. Плод проталкивается через шейку матки, и нет ничего, что могло бы облегчить его выход. Сухое, удушающее рождение. Ни крика, ни писка. Salut au monde![1] Салют из двадцати одного заднепроходного орудия. «Я ношу шляпу, как это мне нравится, — дома и на улице», — сказал Уолт. Это говорилось еще в те времена, когда можно было найти шляпу по размеру. Но время идет. Для того чтобы найти шляпу по размеру сегодня, надо идти на электрический стул. Там вам наденут железный колпак на бритую голову. Немного тесновато? Не важно. Зато сидит крепко.

Надо жить в чужой стране, такой, как Франция, и ходить по меридиану, отделяющему полушарие жизни от полушария смерти, чтобы понять, какие беспредельные горизонты простираются перед нами. *Электрическое тело! Демократическая душа! Наводнение!* Матерь Господня, что же означает вся эта ерунда? Земля засохла и потрескалась. Мужчины и женщины слетаются, точно стаи воронов над вонючим трупом, спариваются и снова разлетаются. Коршуны падают с неба, точно тяжелые камни. Клювы и когти — вот что мы такое. Большой пищеварительный аппарат, снабженный носом, чтобы вынюхивать падаль. *Вперед!* Вперед без сожаления, без сострадания, без любви, без прощения. Не проси пощады и сам никого не щади. Твое дело — производить. Больше военных кораблей, больше ядовитых газов, больше взрывчатки! Больше гонококков! Больше стрептококков! Больше бомбящих машин! Больше и больше, пока вся эта е..ная музыка не разлетится на куски — и сама земля вместе с нею!

Сойдя с поезда, я тут же понял, что совершил роковую ошибку. Лицей был недалеко от вокзала, и я шел по главной улице в ранних зимних сумерках, стараясь угадать направление. Падал легкий снежок, и деревья были покрыты блестящим инеем. Я прошел мимо огромных

[1] Привет миру! *(франц.)* — поэма Уолта Уитмена.

пустых кафе, напоминавших унылые залы ожидания. Безмолвие, пустота, печаль. В общем, передо мной был безнадежный заштатный городишко, из которого горчицу отправляли вагонами, цистернами, бочками, глиняными горшками и красивыми маленькими баночками.

Первый же взгляд, брошенный на лицей, заставил меня содрогнуться. Некоторое время я в нерешительности стоял у ворот, размышляя, идти мне дальше или повернуть назад. Но денег на обратный билет у меня не было, так что вопрос носил чисто академический характер. Я хотел послать телеграмму Филмору, но не знал, как объяснить ему мое нежелание здесь оставаться. Пришлось зажмуриться и идти вперед.

Господин Директор отсутствовал — у него был выходной. Так мне сказали. Вышедший мне навстречу маленький горбун предложил проводить меня к господину Инспектору, который замещал господина Директора в его отсутствие. Я шел за горбуном, завороженный его вихляющей походкой. Таких уродцев всегда можно увидеть на паперти любого захудалого европейского собора.

Кабинет господина Инспектора был огромен и пуст. Я уселся на жесткий стул, а горбун побежал искать хозяина кабинета. Я чувствовал себя почти как дома. Эта комната очень напоминала конторы некоторых американских благотворительных учреждений, где мне приходилось ждать часами, пока какой-нибудь шепелявый чиновник выйдет, чтобы меня допросить.

Неожиданно открылась дверь, и господин Инспектор с гордым видом просеменил в комнату. Я едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. Сюртук у него был в точности как у Бориса, а на лоб свисала челка или что-то вроде завитка — такой, вероятно, был у Смердякова. Серьезный и немногословный, с рысьими глазами, господин Инспектор не стал тратить время на приветствия. Он вытащил из стола расписание занятий, списки учеников и т. п., написанные мелким каллиграфическим почерком, объявил, сколько мне полагается угля и дров, после чего скороговоркой сообщил, что свободным временем я могу располагать по своему усмотрению. Наконец-то я услышал от него что-то приятное. Это прозвучало столь ободряюще, что я мысленно помолился за Францию, за ее армию и флот, за ее систему образования, за ее бистро, за всю эту *чертову музыку*.

Закончив беседу, господин Инспектор позвонил в колокольчик; тут же появился горбун, которому было поручено проводить меня в кабинет господина Заведующего Хозяйством. Этот кабинет больше смахивал на товарную станцию — всюду накладные, резиновые штемпеля, а служащие с бледными одутловатыми лицами скрипели сломанными перьями, делая записи в огромных тяжелых гроссбухах. Я получил положенный уголь и дрова, погрузил все это на тачку, и мы с горбуном двинулись к спальному корпусу. Мне была отведена комната на верхнем этаже, в одном крыле с классными наставниками. Все это становилось довольно забавным. Интересно, что мне еще выдадут. Может быть, плевательницу. Похоже на приготовления к походу; не хватает только ранца и ружья — и личного знака.

Отведенная мне комната была довольно большой, с маленькой печуркой в углу. От печурки шла труба, изгибавшаяся под прямым углом как раз над железной койкой. Возле двери стоял огромный ларь для угля и дров. Окна выходили на ряд неказистых каменных домиков, где жили бакалейщик, булочник, сапожник, мясник и т. д. — все как один слабоумные и по-деревенски неуклюжие. Я посмотрел поверх крыш на голые холмы, мимо которых проходил поезд. Локомотив свистнул тоскливо и истерично.

Горбун развел огонь в печурке, и я спросил его насчет жратвы. Оказалось, что обедать еще рано, и я повалился на кровать прямо в пальто, а сверху натянул одеяло. Возле меня стояла неизменная шаткая тумбочка с ночным горшком. Я поставил на стол будильник и стал следить за движением стрелок. С улицы в сырую, как колодец, комнату

просачивался голубоватый свет. Слушая грохот проезжавших мимо грузовиков, я рассеянно смотрел на печную трубу, которая над кроватью образовывала колено, скрепленное ржавой проволокой. Ларь для угля я видел впервые — мне никогда еще не приходилось жить в таких комнатах. Впрочем, я никогда раньше не разводил огня и не учил детей. И если уж говорить правду, то я никогда еще не работал без жалованья. Я чувствовал себя и свободным и скованным одновременно — что-то подобное испытываешь перед выборами, когда все жулики уже выставили свои кандидатуры и вас уговаривают голосовать за «подходящего человека». Я чувствовал себя деревенским батраком, мастером на все руки, охотником, бродягой, галерным рабом, педагогом, червем и вошью. Я был свободен, но закован в кандалы. Демократическая душа с бесплатным талоном на обед, но без возможности двигаться и без права голоса. Я чувствовал себя медузой, пригвожденной к доске. Но главное — я чувствовал голод. Стрелки часов ползли как черепахи — до пожарной тревоги оставалось еще десять минут. Тьма в комнате сгущалась. Было страшно тихо, и эта напряженная тишина действовала мне на нервы. Хлопья снега прилипали к оконным рамам. Где-то вдали взвизгнул паровоз, потом опять мертвая тишина. Печурка раскалилась докрасна, но теплее от этого не стало. Я начал бояться, что засну и пропущу обед. Тогда придется ворочаться всю ночь с пустым животом.

За несколько секунд до гонга я вскочил с кровати и, заперев дверь, бросился во двор. Там я сразу заблудился. Четырехугольные здания и лестницы походили друг на друга как две капли воды. Бегая в поисках столовой, я наткнулся на длинную вереницу школьников, которые куда-то двигались, выстроившись в колонну, точно каторжники, предводительствуемые надсмотрщиком. Вдруг я заметил энергичного человека в котелке, шедшего мне навстречу. Я остановил его и спросил, как пройти в столовую. Оказалось, что он-то мне и нужен. Это был сам господин Директор. Узнав, кто я, он просиял и осведомился, хорошо ли я устроен и не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Я ответил, что все в порядке. Правда, в комнате несколько прохладнее, чем хотелось бы, осмелился я добавить. Господин Директор заверил меня, что для Дижона это весьма необычная погода. Иногда бывают туманы и снегопад — тогда действительно лучше какое-то время не выходить и т. д. и т. п. Говоря все это, он поддерживал меня под локоток, и мы шли по направлению к столовой. Господин Директор мне сразу понравился. «Славный парень», — думал я. Я даже предположил, что мы можем подружиться и он в холодные вечера будет приглашать меня к себе на стакан грога. Множество приятных мыслей пришло мне в голову по дороге к дверям столовой. Тут господин Директор внезапно приподнял котелок, пожал мне руку и, пожелав всего доброго, удалился. Я так растерялся, что тоже приподнял шляпу. Как выяснилось, я поступил совершенно правильно. Здесь было принято, встречаясь с учителем или даже с господином Заведующим Хозяйством, в знак приветствия приподнимать шляпу. Вы могли встречаться двадцать раз в день, и всякий раз этот ритуал повторялся, даже если ваша шляпа выглядела не лучшим образом. Таков был здешний бонтон.

Но так или иначе, я нашел столовую. Она была похожа на ист-сайдскую больницу — белые кафельные стены, лампочки без абажуров, мраморные столы и, конечно, огромная печь с причудливо изогнутой трубой. Обед еще не подали. Все тот же горбун бегал взад и вперед, разнося ножи, вилки, тарелки и вино. В углу толпилась кучка молодых людей, о чем-то оживленно разговаривающих. Я подошел к ним и представился. Они приняли меня чрезвычайно радушно, даже слишком радушно, как мне показалось. Я не мог понять, что это значит. В столовую входили все новые и новые люди, и меня передавали дальше и дальше, представляя вновь пришедшим. Вдруг они окружили меня тесным кольцом, наполнили стаканы и запели:

Однажды вечером — извилист мысли путь! —
Пришла идея: висельнику вдуть.
Клянусь Цирцеей — тяжкая езда:
Повешенный качается, мудак,
Пришлось е.... его, подпрыгивая в такт.
Клянусь Цирцеей — вечно все не так!

Е....ся в узкое подобие п.... —
Клянусь Цирцеей — хрен сотрешь до дыр.
Е.... же непомерную лохань —
Он скачет в закоулках, как блоха!
Дрочить вручную — нудная труха...
Клянусь Цирцеей, вечно жизнь плоха [1].

Когда они кончили, наш Квазимодо объявил, что обед подан.

Эти надзиратели оказались веселыми ребятами. Один из них по имени Кроа рыгал, как свинья, и всегда громко пукал, садясь за стол. Он мог пукнуть тринадцать раз подряд, что, по словам его друзей, было местным рекордом. Другой, крепыш по прозвищу Господин Принц, был известен тем, что по вечерам, отправляясь в город, надевал смокинг. У него был прекрасный, как у девушки, цвет лица, он не пил вина и никогда ничего не читал. Рядом с ним сидел Маленький Поль, который не мог думать ни о чем, кроме девочек; каждый день он повторял: «С пятницы я больше не говорю о женщинах». Он и Принц были неразлучны. Был еще Пасселло, настоящий молодой прохвост, который изучал медицину и брал взаймы у всех подряд. Он без остановки говорил о Ронсаре, Вийоне и Рабле. Напротив меня сидел Моллес. Он всегда заставлял заново взвешивать мясо, которое нам подавали, проверяя, не обжуливают ли его на несколько граммов. Он занимал маленькую комнатку в лазарете. Его злейшим врагом был господин Заведующий Хозяйством, что, впрочем, нисколько не отличало его от остальных. Господина Заведующего ненавидели все. Моллес дружил с Мозгляком. Это был человек с мрачным лицом и ястребиным профилем; он берег каждый грош и давал деньги под проценты. Мне он напоминал гравюру Дюрера — соединение всех мрачных, кислых, унылых, злобных, несчастных, невезучих и самоуглубленных дьяволов, составляющих пантеон немецких средневековых рыцарей. Без сомнения, Мозгляк был евреем. Он погиб в автомобильной катастрофе вскоре после моего появления — обстоятельство, спасшее мне двадцать три франка. За исключением Рено, моего соседа по столу, эти люди не оставили никакого следа в моей жизни; они принадлежали к разряду бесцветных личностей, из которых состоит мир инженеров, архитекторов, дантистов, фармацевтов, учителей и т. д. Они ничем не отличались от тех олухов, которыми без всякого на то права будут помыкать всю жизнь. Это были круглые нули; ничтожества, которые составляют ядро нашего почтенного и никому не нужного общества. Они ели, наклоняясь над тарелками, и всегда требовали добавки. Они отлично спали и никогда ни на что не жаловались — они не были ни счастливы, ни несчастливы. Равнодушные, которых Данте поместил в преддверие Ада. Элита.

После обеда все они сразу же отправлялись в город. В лицее оставались только дежурные по спальням. В центре города было множество кафе, огромных и скучных, где сонные дижонские лавочники собирались поиграть в карты и послушать музыку. Лучшее, что можно сказать об этих кафе, — в них отличные печки и удобные стулья. Незанятые проститутки за стакан пива или чашку кофе охотно подсаживались к вашему столику поболтать. Но музыка была чудовищная. В зимний вечер в такой грязной дыре, как Дижон, ничего нет хуже, чем звуки французского оркестрика. Особенно если это один из унылых женских ансамблей. Они не столько играли, сколько скрипели и пукали, но делали это в сухом алгебраическом ритме и так монотонно, точно выдавливали зубную пасту из тюбика. Отсипеть и отскрипеть за столько-то франков в час — и к черту остальное! Грустно все это! Так же

[1] Перевод с французского К. К. Кузьминского.

грустно, как если бы старик Евклид глотнул синильной кислоты. Царство Идеи нынче настолько задавлено разумом, что в мире ничто уже не способно породить музыку, ничто, кроме пустых мехов аккордеона, из которых со свистом вырываются звуки, раздирающие эфир в клочья. Говорить о музыке в Дижоне — все равно что мечтать о шампанском в камере смертников. Нет, к здешней музыке я был равнодушен. Более того, я даже перестал думать о женщинах — настолько все здесь было мрачно, холодно, серо, безрадостно и безнадежно. По пути домой в первую ночь я заметил на дверях одного кафе цитату из «Гаргантюа», хотя внутри кафе напоминало морг. Однако *вперед!*

У меня была масса времени и ни гроша в кармане. Два-три часа в день я должен был вести уроки разговорного английского — вот и все. А зачем этим беднягам английский язык? Мне было их жаль до слез. Долбить все утро страницы из «Прогулки Джона Гилпина», а днем приходить ко мне для практических занятий этим мертвым языком. Я думал о времени, которое я потерял, читая Вергилия и копаясь в такой непроходимой чуши, как «Герман и Доротея». Вот безумие! И я вспоминал Карла, который знает «Фауста» наизусть и в каждой книге непременно должен лизнуть ниже пояса своего бессмертного, безупречного Гёте. А между тем у него не хватает ума, чтобы завести себе богатую бабу или купить новые подштанники. Есть что-то непристойное в этом почитании прошлого, и кончается оно обычно ночлежками или окопами. Есть что-то непристойное в духовном жульничестве, которое позволяет идиоту кропить святой водой пушки «Большая Берта», броненосцы и динамит. Каждый человек, набитый классиками, — враг рода человеческого.

И вот теперь я должен был проповедовать евангелие франко-американской дружбы — я, посланец трупа, который, разграбив землю и принеся человечеству бесчисленные страдания и несчастья, решил установить всеобщий мир. Тьфу! Так о чем я должен рассказывать? О «Листьях травы», о налоговых барьерах, Декларации независимости, о последней войне гангстеров? О чем? Вот что мне хотелось бы знать. Сознаюсь — я ни разу не обмолвился даже словом обо всем этом. Я начал с урока, посвященного физиологии любви. Рассказал о том, как происходит половой акт у слонов! Мои слушатели были ошеломлены. После первого дня мой класс всегда был набит битком. После этого первого урока английского ученики толпились у дверей, поджидая меня. Мы великолепно поладили. Они задавали мне самые разнообразные вопросы, точно только вчера родились, а я не просто не возражал, но даже приучал их задавать самые щекотливые вопросы. *Спрашивайте что хотите!* — таков был мой лозунг. Я здесь полномочный представитель царства свободного духа. Я здесь, чтобы пробудить ваше воображение. «В известном смысле, — сказал один знаменитый астроном, — материальная вселенная как бы исчезает, подобно уже рассказанной истории, рассеивается, подобно видению». Вот это общее мнение и есть основа того, что называется образованием. Но я этому не верю. Я вообще не верю тому, чем эти сукины дети норовят нас накормить.

Между уроками, если мне нечего было читать, я поднимался наверх поболтать с классными наставниками. Эти люди были полными, абсолютными невеждами, не знавшими ничего, что происходило в мире — особенно в области искусства. Они были почти так же невежественны, как их ученики. Мне казалось, что я попал в маленький частный сумасшедший дом, откуда нет выхода. Иногда я болтался во дворе, глядя на учеников, которые шли мимо, запихивая огромные куски хлеба в испачканные рты. Я сам тоже постоянно ходил голодный, потому что завтрак подавали ни свет ни заря, когда в постели особенно приятно и вылезти из нее просто нет сил. Этот завтрак состоял из огромной кружки синего кофе и ломтя белого хлеба без масла. Днем нас кормили бобами или чечевицей, в которые для аппетита бросали

маленькие кусочки мяса. Так кормят каторжников и каменотесов. Даже вино было дрянное. Все, что нам давали, было либо разбавлено, либо выварено. Вообще говоря, мы получали просто калории, а не еду. Говорили, что во всем виноват господин Заведующий Хозяйством. Я этому тоже не верю. Просто ему платили за то, чтобы мы не помирали с голоду. И потому его не интересовало, страдаем ли мы от этого меню нарывами или геморроем и у кого из нас деликатный желудок, а кто может переварить и камни. Зачем ему было в это вникать? Его наняли для того, чтобы мы могли превращать столько-то граммов на наших тарелках в столько-то киловатт энергии. Все переводилось в лошадиные силы. Все было аккуратнейшим образом подсчитано в толстых гроссбухах, в которых служащие с бледными одутловатыми лицами строчили утром, днем и вечером. Дебет и кредит — а потом красная черта итогов посередине страницы.

Бродя по двору с пустым брюхом, я начинал чувствовать себя слегка помешанным. Как несчастный Карл Безумный, только у меня не было Одетт Шандивер, с которой я мог бы сыграть в подкидного. Я должен был стрелять сигареты у лицеистов и частенько жевал черствый хлеб на уроках. Моя печка все время гасла, и скоро у меня не осталось щепок для растопки. Мне стоило огромного труда выклянчить немного дров в канцелярии. В конце концов я обозлился и решил собирать щепки на улице, как араб. Но, к моему удивлению, разжиться растопкой на улицах Дижона оказалось не так-то легко. Однако мои поиски заносили меня иногда в любопытные места. Я хорошо познакомился, например, с маленькой улочкой Филибера Папийона (названной так, по-моему, в честь какого-то умершего музыканта), где было несколько борделей. Здесь оказалось веселее, чем в других кварталах, — в воздухе стоял запах готовящейся еды и мокрого белья. Иногда я видел жалких обитательниц этих мест. Все же их судьба была несколько лучше, чем судьба женщин, которых я встречал в универмаге, куда часто заходил погреться. Они заходили туда с той же целью. Искали кого-нибудь, кто заплатил бы за чашку кофе. В этом холоде и одиночестве все они смахивали на полоумных. А когда сгущались сумерки, и сам город казался не совсем нормальным. Здесь можно было ходить по главной улице из конца в конец хоть до Страшного суда — и не встретить ни одного живого человека. Город населяли шестьдесят, а то и семьдесят тысяч мертвецов, может, даже и больше, — мертвецов, одетых в теплое белье и не знающих, куда идти и что делать. Груженные горчицей вагоны. Скрипучие женские оркестры, играющие «Веселую вдову». Серебряные приборы в больших отелях. Герцогский дворец, разваливающийся по кирпичикам. Деревья, стонущие от мороза. Бесконечное постукивание сабо. Университет, празднующий годовщину смерти Гёте или его рождения — не помню, что именно. (Обычно, по-моему, празднуют годовщину смерти.) Во всяком случае идиотское зрелище. Все зевают и потягиваются.

Чувство бесконечной бессмысленности охватывало меня всякий раз, когда я подходил к воротам лицея. Снаружи он выглядел мрачным и заброшенным, внутри — заброшенным и мрачным. Сам воздух, казалось, был пропитан грязной бесплодностью, туманом книжных наук. Шлак и пепел прошлого. Небольшие постройки, напоминающие охотничьи домики, образовывали внутренние дворы. В них помещались классы. На досках — никому не нужная абракадабра, которую будущим гражданам республики предстоит забывать в течение всей своей жизни. Иногда приезжали родители учеников. Их принимали в большом зале возле главного въезда в этот городок; зал был украшен бюстами древних героев — Мольера, Расина, Корнеля, Вольтера и т. д., всех этих пугал, чьи имена так любят поминать министры, произнося своими мокрыми губами речи по поводу какого-нибудь нового «бессмертного», пополнившего эту галерею восковых фигур. (Но, заметьте, здесь не было бюстов ни Рабле, ни Вийона, ни Рембо.) Именно здесь

в торжественной тишине происходит встреча родителей и надутых ничтожных людишек, нанятых правительством уродовать души их детей, сворачивать набекрень их мозги и стричь их, точно газоны в парке. Иногда на эти встречи приходят и дети — маленькие подсолнухи, которым скоро предстоит украсить городские сады. Кое-кто из них — просто фикус, с которого легко будет смахивать пыль старой сорочкой. Как только наступает ночь, все они увлеченно дрочат в своих спальнях. Спальни! Там горят красные лампочки, там звенит колокольчик, как сигнал пожарной тревоги, и раздаются гулкие шаги — таков путь по тюремным коридорам образования.

А учителя! В первые же дни я познакомился с некоторыми из них поближе — «до рукопожатия», и, конечно, мы всегда обменивались поклонами и приподнимали шляпы при встрече. Но о том, чтобы зайти куда-нибудь выпить, не могло быть и речи. Это было просто немыслимо. У большинства из них был такой вид, как будто они со страху наложили в штаны. И потом, я принадлежал к низшей касте. С такими, как я, они не поделились бы даже своими вшами. Мне они были так ненавистны, что, едва завидев кого-нибудь из них, я тут же начинал шептать проклятья. Обычно я стоял с сигаретой во рту, прислонившись к колонне и надвинув шляпу на глаза. Когда «коллега» подходил достаточно близко, я смачно сплевывал и приподнимал шляпу. Я даже не открывал рта для приветствия, а про себя шептал: «Мать твою так-растак».

Через неделю после приезда мне уже казалось, что я здесь всю жизнь. Это был какой-то липкий, назойливый, вонючий кошмар, от которого невозможно отделаться. Думая о том, что меня ждет, я приходил в полуобморочное состояние.

Вечереет. Все, точно крысы, бегут домой под затуманенными фонарями. Деревья ощетинились колючей замерзшей злобой. Тысячу раз я думал о том, что со мной случилось, — тысячу, а может, и больше. Путь от станции до лицея — это как бы Данцигский коридор. Переулок мертвых костей, скрюченных фигур, завернутых в саваны, с рыбьими хребтами вместо спин. Сам лицей из-за снегопада возник передо мной внезапно, как гора, опрокинутая вершиной к центру земли, где Бог или черт, одетый в смирительную рубашку, молол зерно для рая, который ведь не что иное, как сон, кончающийся поллюцией. Если когда-нибудь здесь и светило солнце, я этого не запомнил. Я помнил только холодный жирный туман, наползающий с замерзших болот, которые тянулись к бледным холмам, прорезанным железнодорожными рельсами. Возле станции был канал, а может, и река, запрятавшаяся под желтым небом, с крошечными домишками, облепившими ее обрывистые берега. Где-то здесь, вероятно, были и казармы, потому что я часто встречал маленьких желтых солдат из Индокитая — этих отравленных опиумом жалких коротышек, которые высовывались из своих мешковатых мундиров, точно раскрашенные скелеты, упакованные в древесную стружку. Все, что здесь связано со Средневековьем, будь оно проклято, тревожит и действует вам на нервы, как бы наполняя все вокруг немыми стонами. Это Средневековье прыгает вам на плечи с карнизов, свисает с горгулий, точно повешенный с переломанной шеей. Я все время оглядывался, как краб, которого ткнули грязной вилкой. Все эти толстенькие маленькие чудовища, эти омерзительные уроды, прилепившиеся к фасаду церкви Сен-Мишель, — они преследовали меня, когда я шел по кривым улочкам, выскакивали мне навстречу из-за углов. Ночью весь фасад церкви открывался перед вами, как книга, оставляя вас лицом к лицу с ужасами печатной страницы. Но гасли огни, и все чудовища втискивались обратно в стены, становясь плоскими, мертвыми, как слова, и тогда этот фасад был великолепен: в каждой его извилине, в каждой щели его неровных стен ночной ветер пел печальные псалмы, и холодные каменные кружева окутывал морозный туман цвета абсента.

Здесь, на площади, где стояла церковь Сен-Мишель, все было словно задом наперед. Сама церковь сдвинулась с фундамента — должно быть, ее столкнули века прогресса, дождь и снег. Она лежала на площади Эдгара Кине, лицом к ветру, похожая на мертвого мула. На улице де ла Монне ветер поднимал снег, точно трепал седые волосы; он бешено кружился вокруг белых тумб-коновязей, преграждавших путь автобусам и телегам. Проходя на рассвете по этой старинной улице, я встречался иногда с моим соседом Рено, который, завернувшись в плащ с капюшоном, как обжора-монах, приветствовал меня на языке шестнадцатого столетия. Идя в ногу с Рено под луной, проглядывавшей на сумрачном небе, как проткнутый воздушный шар, я сразу же попадал в трансцендентальный мир. Рено засыпáл меня цитатами из Гёте и Фихте, и его низкий рокочущий бас гремел на гулкой площади, как эхо прошлогоднего грома. Жители Юкатана, жители Занзибара, жители Огненной Земли! Спасите меня от этой прогнившей свиной шкуры! Север громоздится вокруг меня, ледяные фьорды, синие хребты, сумасшедшие огни, непристойное христианское песнопение, которое расползается, как лава от Этны до Эгейского моря. Все здесь окаменело, мысль застыла и покрылась инеем, а придушенное причитание изъеденных молью святых едва слышно. Я весь побелел, закутан в шерсть, запеленут, связан по рукам и ногам, но это не моя вина. Я побелел до костей, но кончики моих пальцев покрыты шафраном. Я беспощаден, как те, кто выплывал из устья Эльбы. И я стремлюсь к морю, к небу, ко всему, что мне непонятно, но так близко и так далеко.

Мечется снег под ветром, рвется, кружится, кусается, щекочет, уносится с шипеньем в воздух, а потом рассыпается пудрой. Ни солнца, ни шума прибоя, ни набегающих волн. Холодный северный ветер с колючими иглами, ледяной, злобный, жадный, поражающий и парализующий. Улицы убегают извилинами, они ломаются под быстрым взглядом и строгим взором. Они сбегают по решеткам, поворачивая церковь на ее фундаменте задом наперед, скашивая по пути статуи, расплющивая памятники, выкорчевывая деревья, замораживая траву, высасывая аромат из земли. Листья, тусклые, как цемент; листья, которые не оживит никакая роса. Увядшие листья, которые никогда не посеребрит луна. Времена года застыли, деревья чахнут и сохнут, телеги ползут по слюдяным колеям, звеня, как струны арфы. В гнезде между белоголовыми холмами спит Дижон, бледный и бескостный. Ни одной живой души на его ночных улицах — только мятежные духи, двигающиеся на юг, к сапфировым решеткам. Но все же я — здесь, хожу, как привидение, как призрак, белый человек, терроризированный холодным разумом этой геометрической живодерни. Кто я? Что я здесь делаю? Я блуждаю в холодных стенах человеческого безразличия, белая трепыхающаяся фигурка, идущая на дно холодного озера, и надо мной — горы черепов. Я погружаюсь в холодные глубины, опускаюсь на меловые ступени, омытые фиолетовой синькой. Темные коридоры земли знают мои шаги, знают, что я тут, чувствуют движение воздуха, чувствуют, как я пыхчу и содрогаюсь. Я слышу, как душат образование и оно хрипит, слышу, как капает слизь летучих мышей и звенят их картонные позолоченные крылья; я слышу, как сталкиваются поезда, гремят цепи, шипит, гудит, дымит и мочится паровоз. Все это видится мне сквозь светлый туман с запахом повторения и желтым похмельем. В мертвом центре, глубоко под Дижоном и глубоко под арктическими регионами стоит Бог Аякс, прикованный к мельничному колесу, под которым хрустят оливки, а из зеленой болотной воды доносится кваканье лягушек.

От тумана и снега, от этих холодных широт, от напряженных занятий, от синего кофе и хлеба без масла, от супа из чечевицы, от бобов со свиным салом, от засохшего сыра, недоваренной похлебки и мерзкого

вина все обитатели этой каторжной тюрьмы страдают запорами. И именно тогда, когда мы начинаем лопаться от дерьма, замерзают сортирные трубы. Кучи дерьма растут, как муравейники, и от холода превращаются в камень. По четвергам приходит горбун с тачкой, скребком и щеткой и, волоча ногу, убирает эти замерзшие пирамидки. В коридорах повсюду валяется туалетная бумага, она прилипает к подошвам, как клейкая лента для мух. Когда на улице теплеет, запах дерьма становится особенно острым. Утром мы стоим над этим спелым дерьмом с зубными щетками в руках, и от нестерпимого смрада кружится голова. Мы стоим вокруг в красных фланелевых рубахах и ждем своей очереди, чтобы сплюнуть в дыру; похоже на знаменитый хор с наковальней из «Трубадура», только в подтяжках. Ночью, когда у меня схватывает живот, я бегу вниз в сортир господина Инспектора, около въезда во двор. Мой сортир не работает, а стульчак всегда испачкан кровью. Сортир господина Инспектора тоже не работает, но там можно хоть сесть.

Каждый день к концу ужина в столовую заходит ночной сторож. Это единственное человеческое существо, с которым у меня есть что-то общее. Он — никто. Он носит фонарь и связку ключей. Он бродит всю ночь из здания в здание, как автомат. Сторож приходит в столовую за своим стаканом вина как раз тогда, когда подают засохший сыр. Он стоит, протягивая руку. У него жесткие, проволочные волосы, как шерсть у английского дога, красные щеки и заиндевевшие усы. Он что-то бормочет, и Квазимодо приносит ему бутылку. Сторож берет ее, запрокидывает голову и, не двигаясь с места, медленно вливает вино себе в глотку. Мне кажется, что он льет в себя рубины. Почему-то меня это глубоко впечатляет. Мне кажется, что он вливает в себя все сострадание, всю доброту и человечность в мире. Опустошая эту бутылку до дна одним длинным глотком, он точно вбирает в себя все, что накопилось в мире за день. Этот человек значит меньше, чем кролик, — таким его сделали. В общем порядке вещей он не стоит даже селедочного рассола. Он — кусок живого навоза. И он это знает. Когда он, опустошив бутылку, смотрит на нас с улыбкой, мне кажется, что мир разваливается. Его улыбка — это послание через пропасть. На дне этой пропасти лежит наша вонючая цивилизация, а над ней, как мираж, витает эта неуверенная улыбка.

Такой же улыбкой он встречает меня ночью, когда я возвращаюсь из города после своих увеселительных прогулок. Я помню, как однажды ночью я стоял у запертых ворот, дожидаясь, пока старик кончит свой обход, и мне было так хорошо и покойно, что я мог бы ждать его целую вечность. Я простоял так около получаса. И все это время я внимательно смотрел вокруг, вбирая в себя мертвые деревья перед лицеем, их скрюченные ветви, дома через улицу, менявшие ночью цвет, далекий поезд, прокладывающий свой грохочущий путь через сибирские просторы, забор с картины Утрилло, небо, выбоины на замерзшей дороге. Внезапно откуда-то появились двое влюбленных; пройдя несколько шагов, они останавливались и обнимались, и когда они скрылись из поля моего зрения, я все еще слышал звук их шагов, слышал, как они останавливались, а потом продолжали идти неровными шагами. Я чувствовал напряжение их тел, когда они облокотились о забор, слышал скрип подошв, когда их мускулы напряглись для очередного объятия. Они брели через темный город по извилистым улочкам, направляясь к застывшему каналу, в котором лежала черная угольная вода. Было что-то необыкновенное во всем этом. Во всем Дижоне они одни были такие.

Между тем старик совершал свой обход; я слышал позвякивание его ключей, скрип его сапог, ровный, мерный, автоматический шаг. Наконец я услышал, как он вошел в подъездную аллею, чтобы открыть мне ворота — чудовищные крепостные ворота, только без рва с водой. Я слышал, как он грохотал ключами, не попадая в скважину замерз-

шими пальцами; его мозги, вероятно, тоже промерзли. Когда он распахнул наконец ворота, я увидел над часовней яркое созвездие. Все двери были заперты, засовы задвинуты. Книги были закрыты. Ночь нависла над землей, украшенная кинжальными остриями звезд, пьяная и сумасшедшая. Она была над нами — эта бесконечная пустота ночи. Над часовней, как митра на епископе, горело созвездие; каждую ночь, все зимние месяцы, оно горело здесь низко и ярко — эти маленькие кинжалы, чистый и пустой блеск. Старик проводил меня до конца аллеи. Ворота беззвучно закрылись. Обернувшись, чтоб пожелать ему доброй ночи, я поймал его отчаянную, безнадежную улыбку — точно вспышка метеора мелькнула над краешком погибшего мира. И я вспомнил, как он стоит, запрокинув голову, и вливает рубины в свою глотку. Все Средиземноморье, казалось, было погребено в нем — апельсиновые рощи, кипарисы, крылатые статуи, деревянные храмы, синее море, застывшие маски, мистические цифры, мифологические птицы, сапфировые небеса, орлята, солнечные заливы, слепые барды, бородатые герои. Все, что ушло из этого мира, сгинуло под лавиной, хлынувшей с севера, похоронено, кануло в вечность. Воспоминание. Безумная надежда.

Некоторое время я стою на месте. Саван, надгробная пелена, невозможная, невыносимая пустота во всем этом... Потом быстро иду по усыпанной галькой тропинке, бегущей вдоль стены, мимо навесов, арок и железных лестниц, от одного корпуса к другому. Все наглухо заперто. Заперто на зиму. Я нахожу проход, ведущий к спальному корпусу. Болезненный синеватый свет пробивается на лестницу через запотевшие, заиндевевшие окна. Краска везде облезла и вылиняла. Камни стерлись едва ли не до дыр, балюстрада скрипит; влага, покрывающая пол, как испарина, поднимается бледной серой мглой в конце лестницы, где тускло мерцает красная лампочка. Я преодолеваю последний марш в холодном поту, иду ощупью в полной темноте по гулкому коридору — все комнаты тут пусты, заперты и покрыты плесенью. Моя рука скользит по стене — я ищу дверную ручку, но едва нахожу ее, меня охватывает ужас. Мне кажется, что сейчас неведомая рука схватит меня за шиворот и потащит назад. Войдя в комнату, я закрываю дверь на задвижку. Это чудо, что я благополучно попадаю сюда каждую ночь и никто не пытается меня придушить по дороге или раскроить мне череп. Я слышу, как по коридору бегают крысы, как они грызут что-то над моей головой между деревянными балками. Лампочка горит зеленовато-желтым светом, и в комнате, которая никогда не проветривается, — сладковатый тошнотворный запах. В углу стоит ларь для угля. Огонь в печурке погас. Вокруг — такая тишина, что она отдается у меня в ушах грохотом Ниагарского водопада.

Я — один с моим огромным пустым страхом и тоской. И со своими мыслями. В этой комнате нет никого, кроме меня, и ничего, кроме моих мыслей и моих страхов. Я могу думать здесь о самых диких вещах, могу плясать, плеваться, гримасничать, ругаться, выть — никто не узнает об этом, и никто не услышит меня. Мысль, что я абсолютно один, сводит меня с ума. Это как роды. Все обрезано. Все отделено, вымыто, зачищено; одиночество и нагота. Благословение и агония. Масса пустого времени. Каждая секунда наваливается на вас, как гора. Вы тонете в ней. Пустыни, моря, озера, океаны. Время бьет, как топор мясника. Ничто. Мир. Я и не-я. *Умахарумума.* У всего должно быть имя. Все надо выучить, попробовать, пережить. *«Будь как дома, дорогой».*

Тишина обваливается, как извержение вулкана. Там, за стеной, среди голых холмов, паровозы тянут свои составы к великим металлургическим центрам. Они грохочут по стальным и железным рельсам, по земле, покрытой шлаком и пеплом, покрытой лиловой рудой. В товарных вагонах — бурые водоросли, стыковые накладки, прокат, шпалы, катанка, листовое железо, пластмассовые изделия, горячекатаные бугеля, шплинты и минометные лафеты. Колеса восьмидесятимиллиметровые, а может, и больше. Мимо проносятся великолепные сбразцы англо-

нормандской архитектуры, проходят пешеходы и педерасты, мелькают открытые подовые печи, заводы, динамо-машины и трансформаторы, чугунные отливки и стальные слитки. Идет публика — пешеходы, педерасты, золотые рыбки и пальмы из дутого стекла, плачущие ослы; все свободно передвигаются по улицам, расходящимся в пяти направлениях. Бледно-лиловый глаз на площади Бразилии.

В моей памяти возникают все женщины, которых я знал. Это как цепь, которую я выковал из своего страдания. Каждая соединена с другой. Страх одиночества, страх быть рожденным. Дверца матки всегда распахнута. Страх и стремление куда-то. Это в крови у нас — тоска по раю. Тоска по иррациональному. Всегда по иррациональному. Наверное, это все начинается с пупка. Перерезают пуповину, дают шлепок по заднице, и — готово! — вы уже в этом мире, плывете по течению, корабль без руля. Вы смотрите на звезды, а потом на свой собственный пуп. У вас везде вырастают глаза — под мышками, во рту, в волосах, на пятках. И далекое становится близким, а близкое — далеким. Постоянное движение, выворачивание наизнанку, линька. Вас крутит и болтает долгие годы, пока вы не попадете в мертвый, неподвижный центр, и тут вы начинаете медленно гнить, разваливаться на части. Все, что от вас остается, — это имя.

15

Только весной мне удалось наконец вырваться из этой каторжной тюрьмы и только благодаря счастливому обстоятельству. Карл написал мне, что в газете освободилось место «на верхнем этаже» и что, если я хочу получить эту работу, он пришлет мне деньги на проезд. Я немедленно телеграфировал Карлу и, как только получил деньги, помчался на вокзал, не сказав ни слова господину Директору и всем прочим. Я просто исчез.

Приехав, я тут же направился в гостиницу к Карлу. Он открыл мне дверь совершенно голый. В постели, как всегда, лежала женщина. «Не обращай внимания, — сказал он. — Она спит. Если тебе нужна баба, ложись с ней. Она недурна». Он откинул одеяло, чтобы я мог ее увидеть. Однако в этот момент меня занимало другое. Я был очень возбужден, как всякий человек, только что сбежавший из тюрьмы, и мне хотелось все видеть и все слышать. Дорога от вокзала теперь казалась мне длинным сном, а мое отсутствие — несколькими годами жизни.

Только сев и как следует осмотрев комнату, я наконец понял, что снова в Париже. Сомневаться не приходилось — это была комната Карла, похожая на смесь беличьей клетки и сортира. На столе еле умещалась даже портативная пишущая машинка, на которой он печатал свои статьи. У него так всегда, независимо от того, один он или с бабой. Открытый словарь всегда лежал на «Фаусте» с золотым обрезом, тут же — кисет с табаком, берет, бутылка красного вина, письма, рукописи, старые газеты, акварельные краски, чайник, зубочистки, английская соль, грязные носки, презервативы и т. п. В биде валялись апельсиновые корки и остатки бутерброда с ветчиной.

— В шкафу есть какая-то еда, — сказал Карл. — Закуси. А я займусь профилактикой.

Я нашел бутерброд и обгрызенный кусок сыра. Пока я уписывал бутерброд и сыр, запивая их красным вином, Карл сел на кровать и вкатил себе здоровую дозу аргирола.

— Мне понравилось твое письмо о Гёте, — сказал он, вытираясь грязными подштанниками. — Я сейчас покажу тебе ответ — я вставляю его в свою книгу. Плохо, что ты не немец. Чтобы понять Гёте, надо быть немцем. Я сейчас не буду тебе это объяснять. Я обо всем этом напишу в своей книге... Между прочим, у меня новая девица — не эта, эта полоумная, — по крайней мере была до прошлой недели. Не знаю, вернется она или нет. Она жила здесь все время, пока ты был в отъезде. Потом

нагрянули родители и забрали ее с собой. Они сказали, что ей всего пятнадцать. Представляешь себе? Я чуть в штаны не наложил...

Я начал смеяться. Это очень похоже на Карла — вляпаться в такую историю.

— Чего ты смеешься? Меня могут посадить в тюрьму. К счастью, я ее не зарядил. И это странно, потому что она никогда не предохранялась. Ты знаешь, что меня спасло? По крайней мере я так думаю. «Фауст»! Не смейся. Папаша заметил его на столе. Он спросил меня, читаю ли я по-немецки. Потом начал просматривать остальные книги. К счастью, Шекспир был тоже открыт. Это произвело на него грандиозное впечатление. Он сказал, что, по его мнению, я — серьезный парень.

— А сама девчонка? Она-то что сказала?

— Она перепугалась насмерть. Понимаешь ли, когда она переехала ко мне, у нее были небольшие часики; во всей этой суматохе мы не могли их найти, и мать стала кричать, что, если я не найду часов, она вызовет полицию. Ты видишь, что́ у меня тут делается! Я перерыл все сверху донизу и не мог найти этих проклятых часов. Ее мать совсем взбесилась. Но мне она понравилась, несмотря ни на что. Она красивее дочери. Погоди, я покажу тебе письмо, которое я начал ей писать... Я влюблен в нее...

— В мать?

— Конечно. Почему нет? Если бы я сперва увидел мать, я бы даже не посмотрел на дочь. И откуда мне было знать, что ей всего пятнадцать? В постели как-то не приходит в голову спрашивать у бабы, сколько ей лет.

— Послушай, Джо, тут что-то не так. Ты случайно не п..дишь?

— Я?! А вот посмотри-ка! — И он показал мне акварели этой девчонки — забавные рисунки: нож и батон, чайник и стол, все — в обратной перспективе. — Она влюбилась в меня, — сказал Карл. — Вообще она совсем ребенок. Я напоминал ей, когда надо чистить зубы, и показывал, как носить шляпу. Посмотри — леденцы на палочках! Я покупал ей леденцы каждый день — она их любит.

— Что же она сделала, когда пришли родители? Подняла крик?

— Всплакнула немножко, и все. Что она могла сделать? Она ведь несовершеннолетняя... Пришлось пообещать, что я никогда ее больше не увижу и не буду ей писать. И вот теперь меня очень интересует, вернется ли она. Ведь когда мы встретились, она была девушкой. Любопытно, сколько она сможет вытерпеть без мужчины. Она сходила с ума по этому делу. Заездила меня чуть не до смерти.

В это время проститутка проснулась и стала спросонья тереть глаза. Она тоже показалась мне очень молоденькой. К тому же она была довольно хорошенькая, но глупая как пробка. Она тут же захотела узнать, о чем мы говорим.

— Слушай, она живет здесь же, на третьем этаже, — сказал Карл. — Хочешь пойти к ней? Я это тебе устрою.

Я не знал, хочу ли я идти с этой девицей или нет, но когда Карл снова взялся за нее, я решил, что хочу, и поинтересовался, не устала ли она. Глупый вопрос. Шлюха никогда не устает. Некоторые из них засыпают, пока вы над ними трудитесь. Как бы то ни было, решили, что я пойду к ней. Таким образом, и за ночлег не придется платить.

Утром я снял номер, выходящий в маленький парк, куда приходили завтракать расклейщики плакатов. В полдень я зашел за Карлом, чтобы пойти с ним перекусить. Пока меня не было, он и ван Норден завели новое правило — ходить завтракать в «Куполь».

— Почему в «Куполь»? — спросил я.

— Почему в «Куполь»? — повторил Карл. — Потому что там каждый день подают овсянку, а от нее хорошо работает желудок.

— Понятно.

С тех пор все идет по-прежнему. Карл, ван Норден и я ходим вместе на работу и с работы. Мелкие дрязги, мелкие интриги. Ван Норден все

еще поет свою песню насчет б..дей и необходимости вычистить грязь из нутра. Только сейчас он нашел себе новое занятие. Он понял, что мастурбировать гораздо проще, чем бегать за шлюхами. Я очень удивился, когда он мне об этом сказал. Вот уж никогда бы не подумал, что такой человек, как ван Норден, может получать удовольствие от мастурбации. Еще больше я удивился, узнав, как именно он это делает. По его словам, он изобрел новый способ. «Ты берешь яблоко, — сказал он, — прорезаешь посередине дыру и смазываешь ее кольдкремом. Попробуй как-нибудь. Сначала можно просто спятить. Но, что ни говори, а это и дешево, и времени не теряешь».

«Между прочим, — продолжал он, перескакивая на новую тему, — твой приятель Филмор в больнице. По-моему, он сошел с ума. По крайней мере так мне сказала его девка. Пока тебя тут не было, он связался с француженкой. Они все время скандалили. Она здоровая, огромная бабища, притом довольно дикая. Я с удовольствием подъехал бы к ней, да ведь без глаз можно остаться. У Филмора все время руки и морда были исцарапаны. Да и у нее вид часто помятый. Ты знаешь этих французских б..дей — когда они влюбляются, им нет удержу».

Да, в мое отсутствие здесь явно произошли некоторые перемены. Мне было жалко Филмора. Он сделал для меня много хорошего. Оставив ван Нордена, я сел в автобус и поехал прямо в больницу.

Врачи еще не решили, окончательно ли Филмор сошел с рельсов или нет. Во всяком случае, я нашел его наверху в отдельной палате и, по-видимому, без особенного надзора. Когда я пришел, он только что вылез из ванны. Увидев меня, он начал плакать.

— Все кончено! — заявил он тут же. — Они говорят, что я сумасшедший и у меня, может быть, даже сифилис. И мания величия. — Он повалился на кровать и безмолвно рыдал некоторое время. Потом вдруг поднял голову и улыбнулся, как просыпающаяся птица. — Почему они поместили меня в такую дорогую палату? — спросил он. — Почему они не положили меня в общую палату или в сумасшедший дом? Мне нечем платить за все это. У меня осталось только пятьсот долларов.

— Вот потому-то они и держат тебя здесь, — сказал я. — Когда у тебя кончатся деньги, ты тут же отсюда вылетишь.

Мои слова произвели на Филмора впечатление. Не успел я договорить, как он отдал мне свои часы с цепочкой, булавку для галстука, бумажник и проч.

— Подержи у себя, — сказал он. — А то эти сволочи меня обчистят. — Тут он засмеялся странным, невеселым смехом, каким редко смеются нормальные люди. — Я знаю, ты думаешь, что я сошел с ума, — сказал Филмор. — Но я хочу загладить свою вину. Я хочу жениться. Ты понимаешь, я не знал, что у меня триппер. Я заразил ее, к тому же она беременна от меня. Мне безразлично, что со мной будет, но я хочу на ней жениться. Я так и сказал доктору, а он говорит, чтоб я подождал с женитьбой, пока не поправлюсь. Но я никогда не поправлюсь. Я знаю. Это конец.

Слушая его, я не мог удержаться от смеха. Мне было непонятно, что с ним случилось. Но так или иначе, я обещал Филмору навестить его девушку и все ей объяснить. Он просил меня присмотреть за ней, помочь чем можно. Сказал, что полностью на меня полагается и т. д. и т. п. Чтобы успокоить его, я обещал все. Вообще говоря, он не показался мне таким уж сумасшедшим, просто слегка свихнувшимся. Обычная англосаксонская болезнь — острый приступ угрызений совести. Но мне было интересно познакомиться с женщиной, на которой он собирался жениться, да и вообще узнать всю подноготную этого дела.

На следующий день я нашел ее. Она жила в Латинском квартале. Узнав, кто я, она сразу же стала очень приветливой и дружелюбной. Ее звали Жинетт. Это была крупная, пышущая здоровьем девка крестьянского типа с полусъеденными передними зубами. Жизнь била

в ней ключом, а в глазах горел странный сумасшедший огонь. Прежде всего она начала плакать. Но как только выяснилось, что я близкий приятель ее Жо-Жо (так она называла Филмора), она бросилась вниз, принесла две бутылки белого вина и потребовала, чтобы я остался с ней обедать. Вино делало ее то веселой, то сентиментальной. Мне не надо было задавать ей никаких вопросов — она говорила без умолку. Больше всего ее интересовало, получит ли Филмор опять свое место, когда выйдет из больницы. Жинетт рассказала мне, что ее родители — люди состоятельные, но она с ними не в ладах. Им не нравился ее образ жизни. Не нравился им и Филмор — плохо воспитан, к тому же американец. Жинетт хотела, чтобы я заверил ее, что Филмор обязательно вернется работать на прежнее место. Я сделал это не задумываясь. Потом она спросила, можно ли верить Филмору, его словам, его обещанию жениться на ней? Дело в том, что с ребенком в пузе да к тому же с триппером у нее не было шансов найти себе другого мужа, особенно француза. Понимаю ли я это? Я сказал, что, конечно, понимаю. Вообще, мне все было абсолютно понятно, кроме одного — каким образом Филмор мог так вляпаться. Однако не буду забегать вперед. Моя задача состояла в том, чтобы успокоить Жинетт, и я постарался это сделать наилучшим образом — сказал, что все, мол, обойдется, что я буду крестным отцом ее ребенка и т. д. и т. п. Мне показалось очень странным, что она хочет рожать, — ведь ребенок мог родиться слепым. Я деликатно намекнул ей на это.

— Мне безразлично, — сказала она. — Я хочу иметь ребенка от Жо-Жо.

— Даже слепого?

— Боже мой, не говорите этого, — заплакала она. — Не говорите этого!

Тем не менее я должен был сказать ей правду. Она начала реветь как белуга и схватилась за рюмку. Но через несколько минут уже громко смеялась, рассказывая, как они с Филмором дрались в постели. «Ему нравилось, когда я дралась с ним, — заявила Жинетт. — Он настоящий дикарь».

Едва мы уселись обедать, как зашла подруга Жинетт — маленькая потаскушка, которая жила в конце коридора. Жинетт немедленно отправила меня за новой бутылкой. Пока я ходил, они, вероятно, успели все обсудить. Подруга, которую звали Иветт, работала в полиции. Полицейская мелочь, насколько я мог понять. Во всяком случае, она намекала на свою осведомленность. Я сразу понял, что на самом деле она просто шлюха. Но у нее была страсть к полиции и разговорам на полицейские темы. Во время обеда обе женщины уговаривали меня пойти с ними в «Баль мюзет». Им хотелось развлечься и потанцевать — Жинетт чувствовала себя так одиноко, пока ее Жо-Жо был в больнице. Но я отказался, сказав, что мне надо на работу, и пообещал им в следующий свободный вечер сводить их на танцульку. Конечно, я без стеснения объявил им, что у меня нет денег. Жинетт, которую мои слова поразили как гром среди ясного неба, тем не менее заявила, что для нее это не важно. И чтоб доказать свое великодушие, даже предложила отвезти меня на работу в такси. Ведь я друг ее Жо-Жо, а значит, и ее друг. «Друг... — подумал я про себя. — Если что-нибудь случится с твоим Жо-Жо, ты немедленно прибежишь ко мне. Вот тогда ты узнаешь, каким я бываю другом!» Я был с нею невероятно любезен. Когда мы подъехали к редакции, Иветт и Жинетт уговорили меня выпить напоследок по рюмке перно. Я не слишком сопротивлялся. Иветт спросила, нельзя ли заехать за мной после работы, — по ее словам, ей о многом хотелось со мной поговорить наедине. Я сумел отвертеться так, чтобы не обидеть ее, но, к сожалению, размяк и дал ей свой адрес.

Я говорю «к сожалению». Но теперь я рад, что все так получилось. Потому что уже на следующий день произошли новые события. Утром,

когда я еще не встал, обе женщины заявились ко мне. Жо-Жо перевели из больницы в небольшой замок в нескольких милях от Парижа. Они говорили «замок», но на самом деле это была психиатрическая лечебница. Они хотели, чтобы я немедленно оделся и ехал с ними. Обе были в панике.

Один я, может, и поехал бы, но ехать туда с ними — на это я не мог решиться. Чтобы оттянуть время и придумать какой-нибудь благовидный предлог, я попросил их подождать меня внизу. Но обе женщины отказались выйти из комнаты и, будто это было обычное дело, смотрели, как я моюсь и одеваюсь. Тут пришел Карл. Я, перейдя на английский, быстро посвятил его в происходящее, и мы отговорились, заявив, что у меня срочная работа. Все-таки, чтоб как-то замазать неловкость, мы сбегали за вином и стали показывать Иветт и Жинетт альбом с порнографическими рисунками. К этому времени у Иветт пропало всякое желание ехать в «замок». Они с Карлом быстро снюхались. Когда пришло время ехать, Карл вызвался сопровождать женщин. Ему хотелось посмотреть на Филмора среди сумасшедших, а заодно увидеть, как такие заведения выглядят изнутри. В общем, они отправились втроем, слегка под хмельком и в самом лучшем расположении духа.

За все время, что Филмор сидел в «замке», я не съездил к нему ни разу. Этого и не требовалось. Жинетт навещала его регулярно и давала мне подробный отчет. По ее словам, врачи не сомневались, что он придет в норму через несколько месяцев. Они считали, что у него было алкогольное отравление. Конечно, был и триппер, но с ним они надеялись легко справиться; сифилиса, по всем признакам, у него не оказалось. Это было уже хорошо. Для начала врачи промыли Филмору желудок и основательно прочистили весь организм. Некоторое время Филмор был настолько слаб, что не вставал с постели. Мрачные мысли одолевали его. Он говорил, что не хочет лечиться, а хочет умереть. Он повторял этот бред с такой настойчивостью, что врачи начали беспокоиться. Это была скверная реклама для их лечебницы. Они всерьез занялись его психикой, а попутно выдергивали Филмору зуб за зубом, пока он не остался без зубов вообще. Врачи были убеждены, что после этого пациент должен чувствовать себя гораздо лучше, но, как ни странно, улучшения не последовало. Напротив, он пришел в еще большее уныние. У него начали выпадать волосы. И в конце концов обнаружилась склонность к паранойе — он обвинял докторов во всех смертных грехах и спрашивал, на каком основании его держат в сумасшедшем доме. После приступов уныния Филмор вдруг становился чрезвычайно энергичен и грозил взорвать «замок», если его оттуда не выпустят. Но самым скверным для Жинетт было то, что он совершенно излечился от намерения жениться. Он заявил ей твердо и определенно, что у него нет ни малейшего желания обзаводиться семьей и, если она такая дура, что хочет иметь ребенка, все последствия лягут только на нее.

Доктора сочли это хорошим признаком. Они были уверены, что Филмор выздоравливает. Жинетт, естественно, считала, что он совсем спятил, но тем не менее мечтала, чтобы его наконец выпустили и она могла бы увезти его в деревню — она полагала, что тишина и покой благотворно скажутся на его здоровье. Между тем родители Жинетт приехали в Париж навестить дочь и даже съездили в «замок» с визитом к будущему зятю. Со своей французской расчетливостью они решили, что их дочери лучше выйти замуж за сумасшедшего, чем вообще остаться без мужа. Отец Жинетт сказал, что подыщет Филмору какое-нибудь занятие на своей ферме. Он, кстати, нашел, что Филмор неплохой парень. А узнав от Жинетт, что у Филмора богатые родители, стал еще приветливее.

Все, казалось бы, шло как по маслу. Жинетт уехала на время в деревню. Иветт часто приходила в гостиницу к Карлу. Она думала, что он редактор газеты, и постепенно язык ее развязывался все больше и

больше. Однажды, упившись в стельку, она объявила нам, что Жинетт — это просто б...., что она пиявка, присасывающаяся к деньгам, и что она никогда не беременеет, а сейчас просто симулирует беременность. По первым двум пунктам у нас с Карлом не было никаких сомнений, но последнее утверждение нас слегка удивило.

— Тогда откуда же у нее такой живот? — спросил Карл.

Иветт прыснула.

— Может, она надувает его велосипедным насосом. Нет, кроме шуток, живот у нее от пьянства. Она пьет как сапожник, эта ваша Жинетт. Вы увидите, из деревни она приедет еще больше раздутая. Ее отец — запойный пьяница. Жинетт тоже. Может, триппер у нее и есть, не знаю, но насчет беременности — это все чушь!

— Зачем же тогда она хочет выйти замуж за Филмора? Влюбилась она в него, что ли?

— Влюбилась?! Ха-ха! Она не может влюбиться — у нее нет сердца. Просто она хочет кого-нибудь подцепить. Ни один француз на ней не женится, потому что ею давно интересуется полиция, а ваш идиот Филмор даже не навел о ней справки. Вот она и решила его охомутать. Родителей она опозорила, так что они знать ее не хотели. Но если она выйдет замуж за богатого американца, тогда все будет шито-крыто... Вы что, на самом деле думаете, он ей нравится? Да вы просто ее не знаете. Когда они жили вместе в гостинице, она водила к себе мужиков, пока он был на работе, и рассказывала, что ваш Филмор не дает ей даже карманных денег, что он скряга. Этот мех, который вы на ней видели... она сказала Филмору, что ей родители подарили. Ну так вот, он просто кретин, ваш Филмор! Я видела, как она приводила мужчину в гостиницу. Она снимала для этого номер этажом ниже. Собственными глазами видела. А какого мужчину! Песок сыплется. У него так и не встал!

Если бы Филмор приехал в Париж после выписки из «замка», я бы, пожалуй, предупредил его. Но пока он был болен, я не хотел отравлять ему жизнь сплетнями Иветт. А после выписки он уехал в деревню к родителям Жинетт, и они сразу взяли его в оборот. Состоялась помолвка, в местных газетах напечатали официальное объявление о предстоящем бракосочетании. Для друзей и знакомых был дан большой прием. Но Филмор пользовался своим положением сумасшедшего и выкидывал всякие штуки. Он, например, мог взять машину своего будущего тестя и просто так гонять по дорогам. Если ему нравился какой-нибудь городок, он останавливался там и жил в свое удовольствие, пока Жинетт его не разыскивала и не увозила домой. Иногда он уезжал вместе с будущим тестем якобы на рыбалку, и они пропадали по нескольку дней. Филмор стал капризным и раздражительным и вел себя как испорченный ребенок. Очевидно, он решил выжать из своего положения все, что только можно.

В Париж Филмор вернулся с новым гардеробом и с полными карманами денег. В деревне он загорел и выглядел теперь здоровым, веселым и совершенно нормальным. Спровадив куда-то Жинетт, он открыл нам душу. Его работа, конечно, пропала, а деньги кончились. Через месяц он должен был жениться, а пока родители Жинетт снабжали его деньгами. «Когда я по-настоящему попаду им в лапы, — сказал он, — я превращусь в их батрака. Ее отец собирается купить для меня писчебумажный магазин. Жинетт будет принимать покупателей, получать деньги, а я буду сидеть в задней комнате и писать или что-то в этом роде. Вы можете себе представить, чтобы я просидел в задней комнате писчебумажного магазина до конца своих дней? Жинетт уверена, что это блестящий план. Ей нравится считать деньги. Но тогда лучше уж я вернусь в „замок“.

Между тем при Жинетт он делал вид, что очень доволен. Я старался убедить Филмора уехать в Америку, но он не хотел об этом слышать. Он считал, что это ниже его достоинства — позволить неграмотным

крестьянам выгнать его из Франции. У него был план исчезнуть на время, а потом снять квартиру в каком-нибудь отдаленном районе, где Жинетт не смогла бы его найти. Но, поразмышляв, мы решили, что это невозможно: во Франции нельзя «потеряться», как в Америке.

— Ты же можешь поехать в Бельгию на некоторое время, — предложил я.

— А как насчет денег? — спросил он. — В этих проклятых странах надо иметь право на работу.

— А что, если тебе жениться, а потом получить развод?

— В это время родится ребенок. Кто будет смотреть за ним?

— Откуда ты знаешь, что у нее вообще будет ребенок? — спросил я, решив, что наступило время выложить карты на стол.

— Как откуда? — переспросил Филмор, не понимая, на что я намекаю.

Я коротко пересказал ему все, что говорила Иветт. Он слушал в полной растерянности, но вдруг перебил меня:

— Не стоит об этом. У нее будет ребенок — я чувствовал, как он шевелится. А Иветт — стерва. Я не хотел говорить этого раньше, но перед больницей я подкидывал ей деньги. Потом крах на бирже — и мое положение изменилось. Тогда я решил, что сделал достаточно для обеих и теперь буду думать только о себе. Это привело Иветт в бешенство. Она сказала Жинетт, что рассчитается со мной... Я бы хотел, чтобы то, что она говорит, оказалось правдой — тогда мне было бы легче вывернуться из этой истории. Но я попал в западню. Я обещал жениться на Жинетт, и я должен это сделать. Не знаю, что потом со мной будет. Но сейчас, как говорится, они держат меня за яйца.

Вскоре Филмор снял номер в той же гостинице, где жил я, и хочешь не хочешь, а мне приходилось видеть и его и Жинетт по нескольку раз в день. Мы почти всегда обедали вместе, и каждый наш обед, естественно, начинался с двух-трех рюмок перно. Во время обеда Филмор и Жинетт шумно ссорились. Это было крайне неприятно — приходилось заступаться то за него, то за нее. Помню, как однажды в воскресенье, позавтракав, мы перебрались в кафе на углу бульвара Эдгара Кине. На этот раз ничто не предвещало ссоры. Мы нашли столик и сели спиной к зеркалу. У Жинетт, очевидно, случился приступ страсти, и она начала сентиментальничать, обнимая и целуя своего Жо-Жо на глазах у всех. Впрочем, для французов это совершенно естественно. Едва они кончили обжиматься, как Филмор вдруг сказал что-то о родителях Жинетт. Она истолковала это как оскорбление и побагровела. Мы старались успокоить ее. Объясняли, что она не поняла слов Филмора, и тут Филмор прошептал мне по-английски, чтоб я ее умаслил. Этого было довольно — Жинетт решила, что мы издеваемся над ней, и пришла в бешенство. Я слегка повысил голос, но это разозлило Жинетт еще больше. Филмор пытался ее успокоить. «Ты слишком вспыльчива, дорогая», — сказал он и поднял руку, чтобы погладить ее по щеке. Но она, решив, что он хочет дать ей пощечину, развернулась и треснула его по скуле своим увесистым, мужицким кулаком. От неожиданности Филмор замер, побледнел, потом встал и залепил Жинетт такую оплеуху, что она чуть не слетела со стула. «Вот тебе! Может быть, научишься вести себя прилично!» — проговорил он на своем ломаном французском. Наступила мертвая тишина. Потом, точно буря, Жинетт налетела на него, схватила стакан и что есть силы швырнула в голову Филмора. Стакан ударился о зеркало. Филмор уже поймал Жинетт за руку, но она свободной рукой хрястнула об пол кофейную чашку. Жинетт рвалась из наших рук как бешеная. Мы еле удерживали ее. Между тем хозяин кафе подбежал к нам и велел немедленно убираться. «Бродяги!» — кричал он. «Да, да! Бродяги! — завизжала Жинетт. — Грязные иностранцы! Бандиты! Гангстеры! Бить беременную женщину!» Теперь на нас уже окрысились все присутствующие. Как же — бедная француженка с двумя американскими бандитами. Гангстерами. Я начал

соображать, как бы нам выбраться отсюда без мордобития. Филмор тоже испугался и стал тише воды, ниже травы. Жинетт бросилась из кафе и оставила нас расхлебывать заваренную ею кашу. Но на пороге она обернулась, подняла кулак и заорала: «Я еще рассчитаюсь с тобой, сволочь! Да ни один иностранец не станет так обращаться с приличной француженкой! Нет уж! Никогда в жизни!»

Слыша все это, хозяин, которому уже уплатили и за выпитое и за разбитое, решил, что настало время выказать себя рыцарем и вступиться за прекрасную представительницу слабого пола Франции. Без лишних церемоний он плюнул нам под ноги и вытолкал в шею, крикнув вслед: «А ну валите отсюда, недоноски!» Или что-то в этом роде.

Оказавшись на улице и обнаружив, что никто ничего в нас не кидает, я рассмеялся. Вот было бы здорово, подумал я, разобрать это дело в суде. Со всеми подробностями, включая показания Иветт. Ведь у французов есть чувство юмора. Может, судья, услыхав рассказ Филмора, освободил бы его от обязательства жениться на этой шлюхе.

Между тем Жинетт стояла на другой стороне, размахивая кулаками и продолжая вопить диким голосом. Прохожие останавливались послушать и высказывали свою собственную точку зрения, как это всегда бывает во время уличных скандалов. Филмор не знал, что ему делать — уйти прочь или, наоборот, подойти к Жинетт и попробовать с ней помириться. Он стоял, размахивая руками и стараясь вставить хотя бы слово. Но Жинетт продолжала осыпать его комплиментами: «Гангстер! Подлец! Ты еще меня попомнишь, сволочь!» — и т. д. и т. п. Все же он решился к ней подойти, но она, думая, что он снова ее ударит, засеменила по улице. Филмор вернулся ко мне. «Давай пойдем за ней тихо...» Мы двинулись за Жинетт, а за нами увязались зеваки. Время от времени Жинетт останавливалась, оборачивалась и грозила нам кулаками. Мы не пытались ее догнать — просто лениво следовали за ней, чтобы посмотреть, что она будет делать дальше. Наконец Жинетт замедлила шаг и перешла на нашу сторону. Кажется, она успокоилась. Расстояние, разделявшее нас, сокращалось, и теперь за нами следовало не больше дюжины любопытных; остальные потеряли интерес. На углу Жинетт остановилась в ожидании. «Я сам поговорю с ней, — сказал Филмор. — Я знаю, как с ней обращаться». Когда мы подошли к Жинетт, по ее щекам текли слезы. Но все же я понятия не имел, чего теперь можно от нее ждать. Меня несколько удивило, когда Филмор сказал с обидой в голосе: «Думаешь, это очень красиво? Почему ты так себя вела?» Тут Жинетт обняла его за шею и, прижавшись к его груди, заплакала, как ребенок, называя Филмора разными ласковыми именами. Но вдруг, повернувшись ко мне, сказала: «Ты видел, как он ударил меня? Разве можно так обращаться с женщиной?» Я собрался было уже ответить «можно», но тут Филмор взял ее за руку и строго сказал: «Довольно. Не валяй дурака... или я опять дам тебе затрещину прямо здесь, на улице».

На мгновение мне показалось, что все начинается сначала. В глазах Жинетт сверкнул огонь, но, очевидно, она была напугана и быстро затихла. Тем не менее, когда мы опять сели в кафе, она с мрачным спокойствием заявила Филмору, что это еще не конец, пусть он не надеется, и что остальное она доскажет ему попозже... может, даже сегодня вечером.

Она сдержала слово. На следующий день лицо и руки Филмора были в царапинах. По его словам, Жинетт дождалась, когда он ляжет, подошла к платяному шкафу, вытащила все его вещи, бросила на пол и стала методично рвать. Такое уже случалось, но так как Жинетт потом всегда зашивала порванное, Филмор не обратил на ее выходку особого внимания. Это-то ее и разозлило, и она отделала его ногтями, причем весьма успешно. То, что она беременна, давало ей некоторое преимущество.

Бедный Филмор! Ему было уже не до смеха. Эта девка его просто

терроризировала. Если он грозился сбежать, она в ответ грозилась убить его. И заявляла об этом таким тоном, что было ясно — она действительно это сделает. «Если ты уедешь в Америку, — говорила Жинетт, — я поеду за тобой и найду тебя! Ты никуда от меня не скроешься! Француженка мстит до конца!» После этого она начинала просить прощения, умоляла его «быть умненьким» и все такое прочее. Когда у них будет магазин, жизнь пойдет как по маслу. Ему не придется ничего делать — она будет работать за двоих. Все, что от него требуется, — это сидеть в задней комнате и писать или заниматься чем-нибудь в этом роде.

Их затяжное сражение продолжалось с переменным успехом несколько недель. Я старался избегать их. Мне все это надоело и было противно смотреть на обоих. В один прекрасный летний день я шел мимо банка «Креди Лионне» и вдруг увидел Филмора, который как раз выходил оттуда. Я поздоровался с ним приветливей, чем обычно, — мне было стыдно, что я избегал его так долго. С понятным любопытством я спросил его, как дела. Филмор отвечал уклончиво, но чувствовалось, что он в отчаянии.

— Она позволила мне пойти в банк, — сказал он странным, дрожащим и робким голосом. — У меня всего полчаса, не больше. Она следит за каждым моим шагом. — Он схватил меня за руку, как бы стараясь увести от этого места.

Мы пошли по улице Риволи. День был чудесный, теплый, солнечный и прозрачный — один из тех дней, когда Париж похож на невесту. Легкий ветерок разгонял обычный затхлый запах большого города. Филмор был без шляпы. Вообще говоря, вид у него был здоровый и бодрый — вид обычного богатого американского туриста, фланирующего по бульвару.

— Не знаю, что делать, — сказал он тихо. — Ты должен мне помочь. Сам я ничего не могу. Не могу даже собраться с мыслями. Если бы я избавился от нее хоть ненадолго, я бы пришел в себя. Но она не отпускает меня ни на минуту. Она позволила мне пойти только в банк, за деньгами. Но я все-таки пройдусь с тобой немного, а потом побегу обратно — у нее уже готов обед.

Слушая Филмора, я думал, что действительно кто-то должен вытащить его из этой ловушки. Он был совершенно беспомощен, без тени самостоятельности, точно ребенок, которого каждый день бьют и который уже не знает, как ему себя вести, а просто дрожит и пресмыкается. Когда мы вошли в длинный пассаж Риволи, Филмор разразился злобной антифранцузской тирадой. Французы опротивели ему.

— Когда-то я был без ума от них, — сказал он. — Но все это литература. Сейчас я их узнал... я раскусил их. Это жестокие, жадные люди. Вначале тебе все здесь кажется замечательным... чувствуешь, что ты свободен... Но потом это начинает удручать. На самом деле это все мертвечина; здесь нет ни любви, ни сочувствия, ни дружбы. Французы — эгоисты до мозга костей. Самый эгоистичный народ в мире! Они способны думать только о деньгах. Деньги, деньги и деньги! Но при этом они еще заставляют тебя соблюдать их сволочные приличия. Это просто сводит меня с ума. Когда я вижу, как она чинит мои рубашки, я готов хватить ее чурбаком по голове. Вся эта штопка, экономия, вечное считание грошей... С утра до ночи я слышу: «Надо быть экономным, mon chéri!» И я это слышу не только дома — повсюду! «Будь благоразумен, будь рассудителен...» Я не хочу быть благоразумным. Не хочу быть логичным! Я ненавижу это! Я хочу наплевать на все на свете и получать от жизни удовольствие. Я хочу хоть что-нибудь делать! Я не хочу сидеть целыми днями в кафе и трепать языком. Лучше делать глупости, чем вообще ничего не делать! Боже мой! У нас много недостатков, но у нас есть энтузиазм. Я скорее соглашусь быть бродягой в Америке, чем уважаемым буржуа здесь! Может быть, это потому, что я — янки. Я родился в Новой Англии, и там мне и место. Я не могу сделаться европейцем ни с того ни с сего. Мы по крови другие. Может, климат...

и прочее. Мы видим все другими глазами. Мы не можем себя переделать, как бы мы ни восхищались французами. Мы — американцы и должны оставаться американцами. Конечно, я ненавижу этих пуританских недоносков у нас дома, меня тошнит от них, но я сам — один из них. Мне нечего здесь делать. Меня тошнит от этой страны.

Пока мы шли по пассажу, Филмор продолжал этот монолог, и я не прерывал его. Ему нужно было выговориться. Но я помнил, как он же всего год назад бил себя в грудь и кричал: «Какой замечательный день! Какая чудная страна! Какой потрясающий народ!» И если бы какой-нибудь американец посмел сказать хоть одно слово против Франции, он расквасил бы ему нос. Я никогда не видел человека, который был бы так влюблен в чужую страну, так счастлив под ее небом, как любил ее и был счастлив Филмор. Когда он произносил «Франция», это значило — вино, женщины, деньги и полная свобода и беспечность. Это значило — бесконечный праздник. И вот теперь этот праздник кончился. Ветер сорвал парусиновую крышу, и он увидел небо и понял, что это не цирк, а просто арена, такая же как и везде. И жить на ней трудно. Я часто думал, слушая филморовские панегирики Франции, свободе и прочему дерьму, что́ сказал бы обыкновенный француз, если б понял его слова. Недаром они считают нас чокнутыми. Действительно, для них мы чокнутые. Глупые дети. Престарелые идиоты. То, что мы называем жизнью, — это просто романтика, купленная в дешевой лавчонке. И этот наш энтузиазм... Что это? Грошовый оптимизм, от которого европейца начинает мутить. Пустая иллюзия. Нет, «иллюзия» — слишком хорошее слово для этого. Это не иллюзия. Это — *недомыслие*. Чистое недомыслие, и все. Мы точно табун диких лошадей с шорами на глазах. Несемся в сумасшедшем галопе. К краю пропасти — и вниз. Нам все равно — нам нужно бешеное движение и смятенье чувств. Вперед, вперед! Все равно куда. Мы мчимся — и пена выступает у нас на губах. Мы орем: «Аллилуйя!» *Аллилуйя!* Почему? Зачем? Бог знает. Это у нас в крови. Это в нашем климате. Это — и многое другое. И это — конец. Мы рушим весь мир. Но не знаем, зачем и для чего. Это наша судьба. Все остальное — ерунда...

Возле «Пале-Рояль» я предлагаю Филмору зайти в бистро и выпить. Он колеблется. Я вижу, что он думает о Жинетт, об обеде, о скандале, который она ему закатит.

— Черт подери, — говорю я. — Забудь ты о ней на минуту. Я закажу что-нибудь, и я хочу, чтобы ты со мной выпил. Не беспокойся, я вытяну тебя из этой идиотской истории. — И с этими словами я заказываю два двойных виски.

Увидев виски, Филмор заулыбался, как ребенок.

— Пей! — говорю я. — И мы закажем еще. Это тебе не повредит. Забудь все, что наговорили тебе доктора; виски — это как раз то, что тебе сейчас нужно. Пей до дна!

Филмор опрокидывает стакан и, когда гарсон уходит за второй порцией, смотрит на меня глазами, полными слез, как будто у него не осталось больше друзей на всем свете. Губы его слегка подергиваются. Он явно хочет что-то сказать, но не знает, с какого бока подойти. Я спокойно смотрю на него, словно не замечая его смущения, потом отодвигаю в сторону тарелки, облокачиваюсь на стол и твердо говорю:

— Довольно валять дурака. Выкладывай все начистоту. Что бы ты хотел сейчас сделать? Говори!

Из его глаз брызгают слезы, и он выпаливает:

— Я хочу домой, к своим. Хочу, чтобы вокруг меня опять говорили по-английски!

Теперь уже слезы текут у него по щекам ручьями, и он даже не смахивает их. Все, что накопилось у него на душе, изливается наружу. Вот это здорово, думаю я про себя. Это — настоящее очищение. Как хорошо позволить себе быть полным трусом, хотя бы один раз в жизни. И не стесняться этого. Право, это прекрасно! Просто великолепно! Гля-

дя на потерявшего самообладание Филмора, я вдруг почувствовал, что для меня нет ничего невозможного. Я был смел и решителен. В голове у меня роились тысячи идей.

— Послушай, — начал я, наклоняясь еще ближе к Филмору. — Если все, что ты говоришь, — правда, почему бы тебе не уехать? Знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Уехал бы прямо сегодня. Точно... Уехал бы сейчас же, даже не попрощавшись с ней. Вообще, это единственная возможность. Если она тебя снова увидит, то уже не выпустит. Ты и сам знаешь.

Гарсон принес нам по второй порции виски. И я видел, с какой отчаянной решимостью Филмор схватил стакан и поднес его к губам. В его глазах блеснула надежда — еще отдаленная, дикая, невероятная. Может быть, ему виделось, как он вплавь пересекает Атлантику. Мне же предстоящая операция казалась парой пустяков. В голове у меня все выстраивалось ясно и четко, от первого шага до последнего.

— Чьи деньги у тебя в банке? — спросил я. — Ее отца или твои?

— Мои! — воскликнул он. — Мне их прислала мать. Я не хочу ее сволочных денег!

— Отлично, — сказал я. — Теперь слушай. Мы возьмем такси и поедем в банк. Забирай все до последнего гроша. Потом мы поедем в английское консульство и поставим визу. Ты сегодня же садишься в поезд и едешь в Лондон, а из Лондона первым же пароходом в Америку. В этом случае не надо будет волноваться, что Жинетт тебя выследит. Ей не придет в голову, что ты поехал через Лондон. Если она погонится за тобой, то, естественно, кинется сначала в Гавр, потом в Шербур... И еще одно — забудь про свои вещи. Оставь все у нее. Пусть она ими подавится. С ее французской психологией ей не придет в голову, что человек может уехать без вещей. Это же невероятно. Француз не может этого сделать... если он не сумасшедший, как ты.

— Правильно! — вскричал Филмор. — А я-то не додумался! Ты же можешь прислать мне их потом — если она их отдаст! Впрочем, это сейчас не важно. Но... Боже мой, у меня нет даже шляпы!

— Зачем тебе шляпа? В Лондоне купишь все, что понадобится. А сейчас поехали. Нам надо узнать, когда уходит поезд.

— Послушай... — сказал он, вынимая бумажник. — Можно я тебя попрошу? Возьми деньги и сделай все что надо. У меня нет сил... Голова кружится.

Я взял бумажник и выгрузил все ассигнации, которые Филмор только что получил в банке. У тротуара стояло такси. Мы сели в него. Поезд уходил с Северного вокзала около четырех часов. Я стал прикидывать в уме. Банк, консульство, «Американ экспресс», вокзал. Чудно! Все можно успеть.

— Теперь не падай духом! — сказал я. — Главное — спокойствие. Черт возьми, через несколько часов ты уже переплывешь Ла-Манш. Сегодня вечером ты будешь гулять по Лондону и слушать свой английский язык. А завтра выйдешь в открытое море, и тебе будет начихать на весь свет. К тому времени, когда ты приедешь в Нью-Йорк, все забудется, как плохой сон.

Филмор ужасно взволновался и начал конвульсивно сгибать и разгибать ноги, как будто хотел бежать прямо в такси. В банке у него так дрожали руки, что он едва расписался. Этого я за него не мог сделать — поставить его подпись. Но если б понадобилось, я посадил бы его на горшок и подтер ему задницу. Я твердо решил отправить парня — даже если придется сложить его, как перочинный нож, и запихать в чемодан.

В английском консульстве был обеденный перерыв до двух часов. Чтобы как-то убить время, я предложил Филмору пообедать. Конечно, он не был голоден и решил, что мы можем удовлетвориться бутербродами. «К чертям бутерброды! — заявил я. — Ты угостишь меня хорошим обедом. Это будет твой последний приличный обед в Париже, может, он тебе надолго запомнится». Я повел его в уютный маленький

ресторан и заказал хороший обед и самое лучшее вино, не думая о цене и вкусе. У меня в кармане лежали все его деньги — куча денег, как мне казалось. Во всяком случае, никогда в своей жизни я не держал столько денег в руках. Какое это было удовольствие — разменивать тысячефранковую купюру! Я сжимал ее в руках, я рассматривал ее на свет, изучая водяные знаки. Красивые деньги! Вот что французы умеют великолепно делать. Один их внешний вид уже выражал глубочайшее уважение к этому священному предмету.

После обеда мы пошли в кафе. Я заказал шартрез и кофе. Почему бы нет? И разменял еще одну купюру — на этот раз пятисотфранковую, чистенькую, новенькую, хрустящую. Приятно держать в руках такие деньги. Официант дал мне сдачу — пачку старых, грязных, подклеенных пяти- и десятифранковых бумажек и целую пригоршню мелочи. Китайские деньги, с дырками. Я уже не знал, в какой карман их класть. Брюки у меня просто трещали от монет и бумажных денег. Пришлось вываливать все это богатство при людях; было неловко, к тому же я боялся, что нас примут за жуликов.

Когда мы приехали в «Американ экспресс», времени оставалось в обрез. У англичан — разумеется, по-английски медлительных и обстоятельных — мы сидели как на иголках. Здесь же все скользили словно на роликах. Они так спешили, что все приходилось делать по два раза. Когда чеки были подписаны и скреплены в аккуратную маленькую книжечку, обнаружилось, что Филмор расписался не в том месте. Ничего не оставалось, как начать все сначала. Я стоял над Филмором, глядя одним глазом на часы, а другим следя за каждым движением пера. Расставаться с деньгами было тяжело. Не со всеми, слава Богу, но с большей частью. В кармане у меня осталось приблизительно две с половиной тысячи франков. Я говорю — приблизительно, потому что я больше не считал деньги франками. Сотней, двумя сотнями больше или меньше — какая разница! Что касается Филмора, то он все это время был в полной прострации. Он не знал, сколько у него денег. Он только знал, что нужно что-то оставить Жинетт. Сколько, он понятия не имел — мы должны были подсчитать это по дороге на вокзал.

От волнения мы забыли разменять все деньги. Но мы уже сидели в такси, и каждая минута была на счету. Теперь надо было выяснить наше финансовое положение. Мы быстро извлекли деньги из карманов и начали их делить. Часть денег упала на пол, часть лежала на сиденье. Было от чего растеряться — французские деньги, американские, английские и куча мелочи в придачу. Мне захотелось собрать монеты и побросать их в окно, чтобы упростить дело. В конце концов мы все рассортировали; он взял английские и американские деньги, а я — французские.

Надо было быстро решить, что делать с Жинетт — сколько ей оставить денег, что ей сказать и т. д. Он все плел какую-то ахинею, которую я должен был ей передать, — он, мол, не хотел делать ей больно и тому подобное. Пришлось его оборвать:

— Не думай о том, что сказать Жинетт. Положись на меня. Реши только, сколько ты хочешь ей оставить. Кстати, а зачем вообще ей что-нибудь оставлять?

Филмор подскочил, как будто у него под сиденьем взорвалась бомба, и зарыдал. Я никогда не видел таких слез! Прежние слезы не шли ни в какое сравнение. Я боялся, что он сейчас упадет в обморок. Не задумываясь, я выпалил:

— Хорошо, давай отдадим Жинетт все французские деньги. Этого ей на какое-то время хватит.

— А сколько там? — спросил Филмор слабым голосом.

— Не знаю точно... около двух тысяч франков. Во всяком случае больше, чем она заслуживает.

— Ради Бога, не говори так! — застонал он. — В конце концов я поступаю с ней как подлец. Родители никогда не возьмут ее обратно.

Нет, отдай ей все — все до последнего гроша... Сколько бы там ни было. — Он вынул платок и стал утирать слезы. — Я ничего не могу поделать, — сказал он. — Мне очень тяжело.

Я молчал. Неожиданно Филмор вытянулся во весь рост — мне показалось, что у него какой-то припадок, — и сказал:

— Нет, я должен ехать назад... Пусть делает со мной что хочет... Если с ней что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу...

Для меня это прозвучало как гром с ясного неба.

— Ты с ума сошел! — завопил я. — Не смей! Теперь уже слишком поздно. Ты должен ехать, а я о ней позабочусь. Я отправлюсь к ней прямо с вокзала. Неужели ты не понимаешь, идиот несчастный: если она узнает, что ты пытался сбежать от нее, она с тебя живого спустит шкуру! Для тебя уже нет пути назад. Все кончено.

«Вообще что может произойти? — подумал я. — Что, она покончит с собой? Tant mieux. Тем лучше, как говорят французы».

Когда мы подкатили к вокзалу, до отхода поезда оставалось еще двенадцать минут. Я решил не покидать Филмора до конца. Он был в таком состоянии, что я не удивился бы, если бы в последний момент он выпрыгнул из вагона и побежал к Жинетт. Любая мелочь могла стать той самой соломинкой и свести на нет все мои усилия. Я потащил его в бар напротив вокзала.

— Сейчас ты выпьешь перно — твое *последнее* перно. А я заплачу за него... *твоими* деньгами.

Он посмотрел на меня с сомнением, сделал большой глоток, а потом, повернувшись ко мне, как побитая собака, сказал:

— Я знаю, что не следует доверять тебе все эти деньги, но... но... Ладно, делай все, как ты считаешь нужным. Я не хочу, чтобы она покончила с собой.

— Покончила с собой? — переспросил я. — Только не она! Ты слишком высокого о себе мнения, если можешь даже вообразить нечто подобное. А насчет денег... Мне противно отдавать ей эти деньги, но я тебе обещаю, что немедленно зайду на почту и переведу их ей телеграфом. Я не хочу таскать эту кучу денег с собой... — Увидев на прилавке вертушку с открытками, я вытащил одну — с Эйфелевой башней — и заставил Филмора нацарапать несколько слов. — Напиши ей, что ты сейчас отплываешь. Напиши, что ты ее любишь и вызовешь ее, как только приедешь в Америку... Я отправлю пневматической городской почтой. А вечером я ее увижу. Не беспокойся... все будет хорошо.

Мы вернулись на вокзал. Оставалось две минуты до отхода поезда. Я чувствовал, что опасность миновала. Подведя Филмора к барьеру, отделяющему пассажиров от провожающих, я хлопнул его по плечу. Я не пожал ему руки — он стал бы за меня цепляться. Я просто показал на поезд со словами: «Скорее! Сейчас отправится». И тут же пошел прочь. Я даже не оглянулся, чтобы убедиться, что он сел в поезд. Мне было страшно.

Во время всей этой возни с Филмором я не думал, что́ я буду делать, когда он уедет. Я надавал ему разных обещаний, но все это было только для того, чтобы его успокоить. Однако я боялся Жинетт не меньше, чем Филмор. Если не больше. Мне становилось не по себе. Все случилось так быстро, что невозможно было как следует разобраться в происходящем. Я вышел с вокзала в каком-то приятном опьянении. В руках у меня была открытка. Остановившись возле фонаря, я прочел ее. То, что там было написано, звучало по-идиотски. Чтобы убедиться, что это не сон, я перечитал открытку еще раз. Потом порвал ее и выбросил в канаву.

И тут же оглянулся, точно ожидая, что Жинетт появится из-за угла с томагавком в руках. Но никто за мной не гнался. Я зашагал по направлению к площади Лафайетт. Как я уже говорил, был прекрасный

день. По небу плыли легкие барашковые облака. Тенты над кафе моталисъ и хлопали на ветру. Никогда еще Париж не казался мне таким очаровательным; мне было даже жалко, что я отправил отсюда этого беднягу. На площади Лафайетт я присел на скамейку лицом к церкви и взглянул на колокольню. Ее нельзя назвать выдающимся произведением архитектуры, но мне нравилась синева циферблата. Сегодня она была еще синее, чем всегда. Я не мог оторвать от нее глаз

Если Филмор в припадке сумасшествия не напишет Жинетт письмо с объяснениями, ей совершенно незачем знать, что произошло. И даже если она узнает, что он оставил ей две с половиной тысячи франков, у нее не будет ни малейшего доказательства. Я всегда могу сказать, что Филмор все это выдумал. Человек, который настолько ненормален, что может уехать в Америку даже без шляпы, легко может придумать историю с двумя с половиной тысячами франков, да и вообще что угодно. Сколько же он все-таки оставил? Мои карманы были набиты деньгами. Я вытащил их и тщательно пересчитал. Две тысячи восемьсот семьдесят пять франков тридцать пять сантимов. Больше, чем я думал. Мне надо было избавиться от семидесяти пяти франков тридцати пяти сантимов. Я хотел иметь круглую сумму — две тысячи восемьсот. В этот момент к тротуару подъехало такси. Из него вышла дама, держа на руках белого пуделя, который мочился на ее шелковое платье. Мысль о том, что собаку катают на такси, обозлила меня. Я не хуже пуделя, подумал я. Подозвав такси, я влез в него и попросил шофера отвезти меня в Булонский лес. Он спросил, куда именно, и я ответил: «Не важно. Просто покатайте меня и не торопитесь. У меня масса времени». Усевшись как можно удобнее, я смотрел на проплывавший мимо Париж — на дома, на зубчатые крыши, на трубы, на крашеные стены, на уличные уборные, на все эти артерии города. Проезжая мимо «Рон-Пуэн», я решил остановиться и зайти туда справить нужду. К тому же, не исключено, что я смогу кого-нибудь там подцепить. Я попросил шофера подождать меня. Первый раз в жизни меня ждала машина, пока я отправлял естественные надобности. Сколько можно истратить таким образом? Не особенно много. С деньгами, которыми были набиты мои карманы, я мог свободно заплатить и за два такси.

Я осмотрелся, но никто не привлек моего внимания. Мне хотелось чего-нибудь свежего, нетронутого — женщину с Аляски, скажем, или с Виргинских островов. Чистый, свежий товар с естественным ароматом. Конечно, ничего подобного я не нашел. Это, правда, меня не слишком расстроило. В общем, мне было наплевать, найду я кого-нибудь или нет. Главное — не проявлять нетерпения и не торопиться. Все в свое время.

Мы проехали мимо Триумфальной арки. Несколько туристов топтались вокруг останков Неизвестного солдата. Катя по Булонскому лесу, я поглядывал на всех этих богатых б...ей, ехавших в своих лимузинах. Они сидели с таким видом, точно куда-то спешили по важному делу. Этот вид должен был придать им значимости, к тому же показать всему миру, как мягко скользят по земле их «роллс-ройсы» и «испано-сюизы». Но я скользил по этой земле еще мягче, чем их «роллс-ройсы». Я весь был точно из бархата — сплошной бархат. Бархатная кора головного мозга, бархатные позвонки. И даже бархатная колесная мазь! Все-таки хорошо хотя бы полчаса быть богатым и сорить деньгами, как пьяный матрос. Весь мир — у ваших ног. И вы даже не знаете, что с ним делать, и это самое приятное. Вы можете развалиться на сиденье и смотреть, как на счетчике набегает огромная сумма, вы можете позволить ветру трепать ваши волосы, вы можете остановить такси и зайти что-нибудь выпить, а потом, дав шоферу солидные чаевые, уйти, посвистывая, как будто для вас это самое обычное дело. Но вы не можете начать революцию, и вам никогда не удастся вычистить всю грязь из вашего нутра.

Когда мы подъехали к Порт-д'Отёй, я попросил шофера подвезти

меня к реке. Возле Севрского моста я вышел и пошел по берегу в сторону виадука. Здесь Сена суживается, становясь похожей на ручей, и деревья обступают ее вплотную с обеих сторон. Вода зеленая и блестящая, особенно у противоположного берега. Покашливая моторами, по реке плыли баржи. Купальщики в коротких трусиках стояли в траве, подставляя себя солнцу. Все было напоено солнечным светом, пульсировало, было реальным и близким.

Проходя мимо пивной под открытым небом, я увидел группу велосипедистов, сидящих за столом. Я сел рядом с ними и заказал кружку пива. Слушая их болтовню, я вспомнил Жинетт и представил себе, как она мечется по комнате, рвет на себе волосы, рыдает и мычит — я это уже не раз видел. Я представил себе шляпу Филмора, висящую на гвозде, и стал думать, придутся ли мне впору его костюмы и пальто. Его пальто-реглан мне особенно нравилось. Филмор сейчас далеко. Скоро под ним будет качаться корабль. Английский язык! Он соскучился по английскому языку! Надо же придумать такое!

Неожиданно я вдруг сообразил, что если бы мне захотелось, то и я мог бы уехать в Америку. В первый раз мне представилась такая возможность, и я спросил себя: «Ты хочешь уехать?» И не получил ответа. Мои мысли унеслись в прошлое, к океану, к другим берегам, к небоскребам, которые я видел в последний раз исчезающими под сеткой мелкого снега. Я вообразил, как они снова наползают на меня, вообразил тот напор, который так ужасал меня в них. Я видел огни, пробивающиеся между их ребрами. Видел весь этот огромный город, раскинувшийся от Гарлема до Баттери, улицы, кишащие муравьями, стремительные поезда надземки, толпу, выходящую из театров. На секунду я вспомнил свою жену — где она? Что с ней сталось?

От всех этих мыслей на меня снизошел тихий мир. Тут, где эта река так плавно несет свои воды между холмами, лежит земля с таким богатейшим прошлым, что, как бы далеко назад ни забегала ваша мысль, эта земля всегда была и всегда на ней был человек. Перед моими глазами в солнечной дымке течет и дрожит золотой покой, и только безумный невротик может от него отвернуться. Течение Сены здесь так спокойно, что его замечаешь с трудом. Оно лениво и сонно, а сама Сена — точно огромная артерия человеческого тела. В той тишине, которая снизошла на меня, мне казалось, что я взобрался на высокую гору и у меня появилось наконец время, чтобы осмотреться кругом и понять значение того ландшафта, что развернулся под моими ногами.

Двуногие существа представляют собой странную флору и фауну. Издали они незначительны; вблизи — часто уродливы и зловредны. Больше всего они нуждаются в пространстве, и пространство даже важнее времени.

Солнце заходит. Я чувствую, как эта река течет сквозь меня — ее прошлое, ее древняя земля, переменчивый климат. Мирные холмы окаймляют ее. Течение этой реки и ее русло вечны.

Критика

Предлагаем читателю, только что познакомившемуся с романом Генри Миллера «Тропик Рака», статьи американских критиков, вводящие в мир этой книги и в историю создания ее русского перевода.

П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС

ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ

История цензурных преследований «Тропика Рака» началась сразу же после того, как книга впервые вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо, но слух о ней — и соответствующая дурная и заманчивая слава — постепенно добрался до американского читателя. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика Рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов.

В США знаменитая книга Генри Миллера впервые вышла в 1961 году, что вызвало 60 судебных исков против издателей.

Теперь скандальный роман можно найти в любом книжном магазине, о нем написаны тома исследований, Миллером восхищались такие эстеты, как Элиот и Оруэлл, архив писателя бережно хранится в престижном университете. Тем не менее «Тропика Рака» нет в нашей районной (в Нью-Йорке!) библиотеке, Миллер не упоминается в стандартных учебниках по истории американской литературы, естественно, не изучается в школах. То есть отблески дурной славы еще не полностью исчезли со страниц этой книги, хотя сама она изрядно потускнела в читательских глазах. Особенно после того, как от «Тропика Рака» отступилась цензура и плод перестал быть запретным.

Можно сказать, что Миллера впитала в себя американская литература, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем.

Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось и американского не было. И если сегодня мы часто ужасаемся пошлости любовных описаний в русских книгах, если и сегодня секс в русской литературе существует или в анатомически-заборных терминах, или в виде фигуры умолчания, то отчасти это происходит оттого, что русский писатель и читатель не прошли школы Генри Миллера

Нет-нет, роман этот никак не может быть отнесен к произведениям порнографическим. Хотя любовь в нем трактуется всегда только в одном, том самом смысле, скабрезность у Миллера имеет мало общего с журналом «Плейбой».

Книга Миллера, которую критики признали главным сочинением в его необозримом литературном наследии, писалась в Париже 20-х годов. В том самом Париже, который сделали своей Меккой добровольные беженцы из обеих Америк.

Смысл этой художественной эмиграции, в которой оказались такие будущие мастера Нового Света, как Хемингуэй или Диего Ривера, до сих пор не совсем понятен. Может, в Париже они искали мост между европейской цивилизацией и своей домашней, еще дикой, но самобытной культурой. В Париж они приезжали не столько учиться — этим занимались их коллеги из прошлого века, — сколько набраться наглости, чтобы взглянуть на родину в целом как на чистый лист, который им предстоит заполнить. И возвращались они домой не раньше, чем приобретали веру и отчаянную решимость отцов-основателей.

В конце концов эти богемные пилигримы и были основателями подлинно американского — в широком смысле — искусства. «...Париж — колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так не Вена, как в Париже. Все достигает здесь своего апогея», — пишет Миллер.

Париж между двумя войнами был колыбелью, был катализатором, был рассадником и отстойником. Но еще он был как бы революцией. Западная культура вместо штурма своих Зимних дворцов эмигрировала в Париж. Разные способы в достижении одной цели — вырваться из завер-

шенного, окостеневшего порядка жизни в новую и свободную реальность. В безразличном, грандиозном Париже разноязыкая богема заражалась революционным пафосом переустройства — жизни, искусства, личности. В России рождалось новое общество, в Париже — новые стили, и при всей разнице результатов людей Востока и Запада объединяло типологическое сходство.

«Тропик Рака» — одно из самых ярких проявлений этой бескровной революции. Миллер и задумывал свое произведение как евангелие революции, одно из тех, которыми так богата русская литература начала века. «Это не книга... Нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте...», — заявлял Миллер примерно то же, что до него уже декретировал Маяковский «Облаком в штанах» или Эренбург в «Хулио Хуренито».

Генри Миллер ненавидит старый мир с его бессмысленными институтами. Его не столько беспокоит общественная несправедливость, сколько именно бессмысленность разобщенной, механической Вселенной: «Должен быть какой-то другой мир, кроме этого болота, в котором все свалено в кучу, точно это не мир, а свалка». Из мира вынули стержень идеи, веры, и он распался, как часы, на отдельные винтики и шестеренки.

Так Миллер заболел самой отважной, самой опасной, самой безнадежной мыслью XX века — мечтой о новом единстве. Эта революция выросла на художественном идеале единой веры, возвращающей хаосу форму и целеустремленность. В крестовый поход революции Миллер вступил с такими же фантастическими и фанатическими надеждами, как и его русские современники. Революции, понимаемой как эволюционный взрыв, одушевляющий космос, воскрешающий мертвых, наделяющий разумом все сущее — от звезд до минералов. В ряду яростных и изобретательных безумцев — Циолковского, Платонова, Заболоцкого — Миллер занял законное место: он построил свой вариант революционного мифа.

В те времена, в мире без Сталина и Гитлера, потребность в мифе еще не была скомпрометирована государственной формой мифа. Человек 20-х годов жаждал одного ответа на все вопросы (разных ответов хватало и без этого). Он страдал от внешнего разнообразия, не связанного общим смыслом. Его не устраивали иные христианские истины, которые просвещение, разрушив мистику, превратило в нравственные протезы. Начало XX века поставило общую для всей культуры задачу — создать новый миф, новую Библию, новый синтез и как следствие — новую личность. Наверное, поэтому, ввиду грандиозной, но так и не возведенной Вавилонской башни духа, люди тех времен с такой легкостью расставались с банальными добродетелями прошлого — с гуманизмом, свободой, демократией. Для них все это выродилось в благотворительность, полицию, парламент. XX век с готовностью принес в жертву век XIX. Об этом замечательно написал Синявский: «Хорошо быть добрым, пить чай с вареньем, разводить цветы, любовь, смирение, непротивление злу насилием и прочую филантропию. Кого они спасли? что изменили в мире? — эти девственные старички и старушки, эти эгоисты от гуманизма, по грошам сколотившие спокойную совесть и заблаговременно обеспечившие себе местечко в посмертной богадельне».

XX век родился максималистом, и его не устраивали скромные радости буржуазной души. Что из этого получилось, всем известно. Но не об этом речь. Мы говорим о мифе, в строительство которого включился и Генри Миллер.

«Тропик Рака» — дерзкая попытка создания обобщенной картины вселенной. Это космологическая фантазия, которую автор набрасывает в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полуневнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом.

«Тропик Рака» можно сравнить с витражами Шагала, где в хаотическом, абстрактном сплетении света и цвета вдруг проглядывают ангел, еврей, корова, космос. Следовать за Шагалом, как и за Миллером, можно, только полностью положившись на авторское чутье. Художественная логика приходит тут в драматическое противоречие с художественной интуицией. Картина мира размыта, неопределенна, туманна. И все же сквозь текст проступает какое-то космическое образование, тень того мифа, который Миллер предлагает своему времени.

«За мелочностью, хаотичностью, бессмысленностью жизни Матисс видит не видимую другим архитектуру», — пишет Миллер, прозрачно намекая, что и он знаком с этими загадочными законами строительства бытия.

Конструируя (лучше — рождая) собственную вселенную, Миллер ощупью находит дорогу к кардинальному образу своей мифологии. Из его сомнамбулического речитатива помимо всякого сюжетного материала вытягивается цепочка первоэлементов жизни.

Он далеко не сразу находит нужное. Отсюда бесконечные в книге перечни, списки деятелей, примет действительности, прейскурант бытия: «Таня — это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ла Либерте», площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой портвейн, сигареты «Абдулла», Патетическая соната, звукоусилители, вечера анекдотов, груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки». И так далее целыми страницами. Миллер роется на той самой «свалке», которой ему представляется обессмысленный мир.

Но постепенно из этого неразборчивого бормотания все чаще выделяются образы, способные течь. Миллер незаметно концентрируется на чем-то влажном, жидком, тягучем. «Мысли катятся, как пот». Жена его друга, как «влажная солома». То там, то здесь появляются сравнения с мочой (Миллер не для брезгливых): «Он не перестает говорить, даже когда раздевается, — непрерывный поток теплой мочи,

точно кто-то проткнул ему мочевой пузырь». Окрестности вокзала Сен-Лазар ассоциируются у Миллера с «густыми струями семени, текущими по сточным канавам». Наконец, сама его книга — это тягучий поток сознания.

К финалу Миллер, как бы обнаружив, куда его занесло, признается: «Люблю все, что течет: реки, сточные канавы, лаву, сперму, кровь, желчь, слова, фразы... Я люблю все, что течет, все, что заключает в себе время и преображение, что возвращает нас к началу, которое никогда не кончается: неистовство пророков, непристойность, в которой торжествует экстаз...»

И кончается книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня — ее прошлое, ее древняя земля, переменчивый климат... Течение этой реки и ее русло вечны».

В поисках метафизического образа мира Миллер пришел к Реке. Она обрадовала его своей всепоглощающей и всеобнимающей сутью, своим постоянным непостоянством.

Миф часто оперирует излюбленными стихиями. Ему свойственно мышление предметными образами, выражающими его однозначную сущность. Бывает миф Земли, как у фашистов, или — миф Огня, как у буддистов, у Миллера — миф Реки.

Представление о текущей реальности, лишенной чего-либо твердого, неподвижного, окостеневшего, и есть тот один ответ на множество вопросов, который так лихорадочно искали современники и который предложил им Миллер. Отсюда уже один шаг до жизнеучительства, до проповеди идеального существования: «Я решил отдаться течению жизни и не делать ни малейшей попытки бороться с судьбой... я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать — жить, как животное, как хищный зверь, как бродяга или разбойник».

Кстати, миллеровское «плыть по течению» отнюдь не противоречит идее революционного преобразования. Его Река прямо восходит к «музыке революции» Блока, тоска по которой доводила его до экстаза в последние годы жизни. То, что Блоку явилось в таинственном облике незримой гармонии, разлитой в воздухе времени, в музыке революции, которую он завещал слушать «всем телом, всем сердцем, всем сознанием», Миллер нашел в своей вечной Реке. Растворившись в течении ее, он обретал ту же первичную гармонию мира, ради которой утонченный Блок отказывался от цивилизации (например, в статье «Крушение гуманизма»).

Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями, псевдозадачами. Цель жизни — жизнь. «Мы... получаем наслаждение от чего угодно — от энтомологии, от изучения океанов, от исследования строения клетки, — только не от самой жизни...» — поучает Миллер. В его, в сущности, антиинтеллектуальной, чувственной религии нет знания. Куда важнее способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который и показался неприличным американской цензуре.

Действительно, «Тропик Рака» перенасыщен эротикой. Секс — идефикс для Миллера. Он похож на солдата из анекдота, который думает о женщинах, глядя на кирпич, потому, что он думает о них всегда. Все, что попадает в поле пансексуального мировоззрения автора, снабжается половыми признаками: «У меня между ног бутылка, и я ввинчиваю в нее штопор».

Психологические истоки феноменальной сексуальности Миллера нам неизвестны. (Норман Мейлер как-то написал, что мотивы эти были не психологического, а анатомического характера.) Нас интересует не то, почему герой «Тропика Рака» вступал в связь с бесчисленными героинями книги, а как это занятие вписывалось в его философию жизни.

Тут Миллер особенно подробен и внимателен. Женщина — его любимый предмет. Она — источник его мифической Реки, эпицентр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начал и концов, рождений и смертей. Женщина и есть жизнь, чистое воплощение сексуальности мира. Поэтому и дел-то у нее — «запускать обе руки между ногами и чувствовать себя принадлежащей живому потоку бытия. В том месте, куда она запускала обе руки, и была сосредоточена ее жизнь».

«Этому месту» — воспользуемся редким случаем, когда автор употребил эвфемизм, — Миллер посвятил лучшие страницы книги. Вглядываясь в «это место» с пристальностью, приравнивавшейся к порнографии, Миллер не устает искать сравнений, метафор, а главное — смысла.

«Один взгляд на эту темную незашитую рану — и голова моя раскалывается от образов и воспоминаний... я вижу в ней знак равенства... мир, сведенный к нулю без остатка... точка опоры, где уравновешиваются звезды и... мечты... Я хотел бы окунуться в эту расселину до глаз...»

Когда Миллер смотрит на мир не замутненными страстью глазами, он не может отплеваться от омерзения. Но экстаз придает миру облик как раз той самой Реки, которая является автору в его метафизических видениях. Миллер воспевает секс как божественную энергию, которая рождается ниоткуда, сама из себя, из нас. В сексе он видит иррациональную природу человека, залог его способности встать над пустотой обыденности, нырнуть в бессознательную, вечную, космическую жизнь, «плыть, смешав великий образ потустороннего с сегодняшним днем».

Секс — это утопия Миллера, и он находит точные, что случается с ним не часто, метафоры вроде: фаллос — тяжелый и легкий одновременно, «кусок свинца с крыльями».

О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Напротив, в нем появляется что-то от целомудренных героев немого кино. Миллер, между прочим, всегда отрицал принадлежность «Тропика Рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды.

Как ни странно, в межвоенном космопо-

литическом Париже, в эпоху бурную, революционную и одновременно декадентскую, Генри Миллер, как никто другой из его соотечественников, сохранил свои американские корни. Проклиная родину, называя ее «воплощением гибели», Миллер тем не менее однажды обмолвился о себе: «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в девятнадцатом веке — как большинство американцев, я немного отстал».

В этом смысле «Тропик Рака» лежит целиком в контексте американской литературы прошлого века. Отцом Миллера можно назвать Уитмена, который ставил себе аналогичные задачи: «Физиологию с головы и до пят я пою». У Уитмена есть и прообраз Реки Миллера — «Безграничный, прозрачный фонтан любви — знойный, огромный, дрожь исступленья, белоцветный яростный сок».

Дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон, давший Америке образцовую проповедь индивидуализма и чувственного отношения к миру: «Для меня священными могут быть лишь одни законы — те, которые диктует мне моя природа».

И уже совсем в прошлое уходят английские предки Миллера — поэты-романтики вроде Уильяма Блейка. Наверное, многие из его афоризмов часто повторял автор «Тропика Рака»: «Похоть козла — щедрость Бога», «Лучше убить ребенка в колыбели, чем сдерживать буйные страсти», «Добродетель всегда нарушает законы».

Однако важна не только литературная зависимость Миллера от его родной классики, но и сам дух американской словесности прошлого века. Словесности, замешанной на проповеди пополам с метафизическими аллегориями, литературы, направленной не на эстетику, а на этику, как бы неожиданно она ни преломлялась под пером того или иного писателя.

В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. В XX век, век совсем других революций, он принес по-протестантски фанатичную веру в индивидуальный путь к Богу. Пафос его книги сродни красноречию негритянского священника во время воскресной проповеди. Та же горячечная скороговорка, та же заражающая паству музыка, та же поэтическая гиперболичность речи.

Сейчас, с полувековой дистанции, слегка наивный, часто многословный иногда повторяющий сам себя Генри Миллер поражает нас мощным зарядом энергии. Главная его заповедь отнюдь не нова — жить, открывшись миру, принимать добро и зло в его диалектическом единстве как животворящий источник.

Но философские истины — не накопляемое знание, их надо каждый раз открывать заново. Но теперь, на закате XX века, мы не без зависти относимся к автору, сумевшему передать нам счастье неофита, только что открывшего человеку путь к счастью.

Г. ПОЛЯК

ГЕНРИ МИЛЛЕР И РУССКИЕ НА ЗАПАДЕ

О русской версии романа

Среди героев «Тропика Рака» мы видим многих русских людей — парижан, эмигрировавших после революции из России. Поэтому не будем удивляться той бурной реакции, которой они встретили роман Генри Миллера

В свое время князь Степан Гатищев прислал мне статью своего отца, из которой выяснилось, что первым из русских в Париже, обратившим внимание на Миллера, был Николай Бердяев — он почувствовал в нем созвучие с «Философией неравенства». «Едва ли существуют две другие книги, — писал позднее Георгий Адамович, — о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера «Тропик Рака» и «Тропик Козерога». По крайней мере во Франции, и не только среди французов, но и среди русских, живущих во Франции, в частности, в здешней русской «культурной верхушке»... В основе этих книг лежит мечта о свободе, да и не только мечта, а чувство свободы, осуществление свободы — свободы от всего решительно, главным образом от истории и исторической необходимости. Не будь Миллер плоть от плоти довоенной монпарнасской богемы, не будь он безумцем знакомого книжно-художественного толка, с цитатами из Андре Бретона и переходами из кафе «Дом» в «Куполь», его свидетельство, его бунт против того, на чем держится строй и порядок жизни, был бы, конечно, богаче и глубже». И далее: «В сущности это бесконечный, непрерывный поток воспоминаний, замечаний, мыслей, сцен, образов — будто автор страдает каким-то мозговым недержанием и пишет для облегчения». «Я человек сложный, небрежный, смелый, пылкий, непристойный, шумный, вдумчивый, совестливый, и я дьявольски искренен», — говорит Миллер о самом себе».

На русском языке «Тропик Рака» впервые был издан в 1964 году тиражом 200 экземпляров. Это издание, по просьбе Генри Миллера, предпринял Барни Россет — в память о русских героях «Тропика Рака».

В 1965 году Россет, набивши чемодан «русскими книгами» Миллера, повез их в Москву, но на таможне их отобрали. Остальная часть тиража сгорела в Нью-Йорке. В результате в мире осталось не более двадцати экземпляров, — они продаются на аукционах как библиографическая редкость.

По подсчетам, которые как-то ради интереса мы сделали с Вагричем Бахчаняном, в Москве было всего три экземпляра романа, обладателем одного из них оказался я.

Напечатанный в журнале перевод «Тропика Рака», возможно, покажется читате-

лям абсолютно современным, на самом же деле он был сделан в 1962 году. Его автор — эмигрант Георгий (Джордж) Егоров — человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны, учился в Нью-Йоркском университете, был дружен со многими из будущих звезд Голливуда, виделся с ними в «Рашен ти рум» — излюбленном месте встреч русских эмигрантов. Были среди его тогдашних друзей молодые Юл Бриннер и Чарлз Бронсон, которые и увезли его в Голливуд. Там Егоров писал русские диалоги для американских фильмов и изредка в этих фильмах даже снимался.

Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются: по-видимому, он сменил фамилию и, как многие русские тех лет, растворился в американском обществе.

Можно сказать, что Генри Миллер оказал немалое влияние на некоторых современных писателей-эмигрантов. Можно сказать — даже больше чем влияние. Но это уже отдельная тема, которая уведет нас слишком далеко за рамки этой заметки.

Если вы хотите

с беспрецедентной быстротой и неподражаемой оригинальностью подготовить к изданию любой вид полиграфической продукции,

пользуйтесь

сверхъестественными возможностями современной техники.
Электронные типографии на базе PC AT 286/386, поставляемые

СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»,

обеспечивают максимальные удобства
пользователя-неспециалиста.
Высочайшее качество тексто-графического материала
гарантируется цветными графическими дисплеями
с высоким разрешением
и печатающими устройствами различных типов,
СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«CROCUS INTERNATIONAL»

поставляет программно-аппаратные комплексы
в любой конфигурации.
СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКТА
С ЦВЕТНЫМ МОНИТОРОМ И ШИРОКИМ ПРИНТЕРОМ
1590 долларов США.

СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

выполняет установку
локальных вычислительных сетей различных конфигураций.

При

СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

функционируют курсы повышения квалификации
специалистов в области вычислительной техники.

СП «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»

обеспечивает техническое обслуживание.

Обращаться по адресу:
117484, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 37а;
телефоны: 335-14-44
330-32-19
факс.: 420-22-65

Критика

«КАК МНОГО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ С ОБЕИХ СТОРОН...»

Писатели ФРГ о России и русской литературе

Вступление, составление и перевод с немецкого ЮРИЯ АРХИПОВА

«Кто хочет узнать поэта...»

Долгие годы, правда, узнавать их приходилось, сиживая в читалке Библиотеки иностранной литературы. Сами же они были как существа с другой планеты, контакты с коими желательны, но не актуальны.

И вот, благодарствуем, перемены.

Ничего, ребята оказались хорошие, «теплые», как говаривал Пушкин о любомудрах. И мудреные разговоры любят паче живота своего. И живут хорошо, по нашим меркам — так до неправдоподобия. И страна под стать — обильная, сытая, гостеприимная, щедрая. Комфорт, говорят, нивелирует, но какая-то разница в обиталищах и обстании остается и кажется неслучайной. Твердокаменный уют старинного, XVIII века, пале: кавалер былых времен Эрнст Юнгер. В свое время мы, в угоду принципу «кто не с нами — тот против нас», вылили на него ушат грязи. «Ну, вы-то еще ничего, — добродушно рассмеялся, обмениваясь со мной крепким, офицерским рукопожатием, девяностопятилетний старец, — хоть отдали должное моим мыслям и стилю, в самой же Германии мне доставалось крепче — у нас ведь очень часто все сводят к политике».

Супермодерн с высоченными, тонированными стеклянными стенами, с изящным видом на каменные извивы «того», классического теперь, модерна: по-современному деловой Ханс Магнус Энценсбергер. Солидно-строгие бюргерские особняки-корабли с неизменным расположением капитанского мостика — кабинета под самой крышей, откуда виды тоже самые нежные — на синюю гладь Боденского озера: Мартин Вальзер; на тающие в дымке очертания старинного Тюбингена: Вальтер Йенс; на зеленые окраины Гамбурга: Зигфрид Ленц. Точно одинокий степной волк в своей необъятной и какой-то не мюнхенской, а петербургской квартире: Вольфганг Кёппен. А Гюнтер Грасс и впрямь как весенняя птица грач (так его метафоризировал Вознесенский): попался на переплете, в ночном фрайбургском кабачке после не идиллически прошедшей встречи со студентами — потому-то и был, наверное, так возбужден, порывист и краток. И показалось, похож на нашу предприимчивую левую, которая кокетничает его дружбой. Все? Нет, еще симпатяга Веллерсхоф, более умный, чем ухватистый в слове, — как крот в лабиринтах своей сложносочиненной кёльнской квартиры...

Встречи получились разной длины и разной окраски. Слывущий нелюдимом Кёппен был тяжко болен, но — спасибо посредничеству Ангелы Мартини из издательства «Зуркамп» — согласился меня принять, и я не стал злоупотреблять гостеприимством, видя, как ему плохо. А вот у Мартина Вальзера провел несколько дней — и о чем только мы не переговорили за трапезами, шахматами, на лесных и озерных прогулках!

Спрашивал всех об одном: что, мол, за страна такая — Россия? (Гоголевское: «Дай ответ...») И какую роль — переходя уже на привычную академическую жвачку — сыграла в их писательском становлении русская литература? И каким представляется им наше культурное — да и политическое — будущее?

Ответы в чем-то очень похожие, а в чем-то и разные. Как они сами.

ВОЛЬФГАНГ КЁППЕН[1]

На ваши вопросы я ответил бы одним словом: Достоевский... Россия и Достоевский для меня синонимы. Вряд ли есть в мире другой писатель, который настолько поразил меня и оказал на меня такое влияние. Уверен, что впечатления от прочитанного — проглоченного — в юности Достоевского и сделали меня писателем. Вновь и вновь заглядывать в бездны человеческой души — с тех пор это стало и моим роком. Читал я и других ваших классиков — чтобы снова вернуться к Достоевскому. Книги русских авторов XX века попадали в мои руки скорее случайно, хотя я даже писал о них кое-что в двадцатые —

[1] В «ИЛ» опубликован роман В. Кёппена «Смерть в Риме» (1965, № 10). *(Здесь и далее, кроме оговоренных, прим. ред.).*

тридцатые годы, когда начинал, я жил в основном рецензиями для газет. Рецензировал, помню, и фильм «Броненосец «Потемкин», который произвел на меня ошеломительное впечатление. Из книг же, отрецензированных мною в то время, самый большой след в душе оставили сборники стихов ваших великих поэтов, покончивших с собой, — Есенина и Маяковского. Запомнились Бабель, Пильняк, Замятин, Олеша. «Вор» Леонова — по-моему, великая книга.

Побывал у вас в шестидесятые годы, но России не нашел — нашел Советский Союз. В прошлом году совершил круиз на советском теплоходе по Индийскому океану. Все на нем было прекрасно — кроме западной публики. И того, что с командой нам не доводилось общаться.

Теперь вот жадно слежу за событиями в вашей стране — по газетам и телевидению. Дай-то Бог...

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР[2]

Первый вопрос — очень многослойный. И отвечать на него можно на разных уровнях. Начну с самого субъективного. Прежде всего, Россия была, конечно, некоторой мифологической величиной, а не реальностью. В библиотеке моего отца, как всякого бюргера-интеллигента, имелись русские классики, и я прочел их сравнительно рано. Затем в сознание вошла вся эта темная тайна — я ведь родился в 1929 году, — итак, тайна «красных», большевизма. Смутно вспоминается пакт Гитлера — Сталина, который был встречен в Германии с иевероятным недоумением. В ореоле таинственности предстал и визит Молотова в Берлин. А потом вдруг в один прекрасный день русские стали «унтерменшами», недочеловеками. Последовала эта ужасная война на Востоке, которая детскому сознанию представлялась чем-то вроде кошмарной сказки. Все это наложилось на кошмары Достоевского, которого я прочел очень рано, лет в восемь-девять. Общее впечатление — какой-то непонятной жути.

А после войны... Я принадлежу к поколению, на долю которого выпало, так сказать, вывозить накопившийся мусор. И когда я впервые приехал в Советский Союз — а было это в 1963 году, — я приехал туда с совсем иными установками. Для нас послевоенное время — это пора великого труда и очищения. Тогда было важно сказать правду о том, что немцы натворили в России. Ведь многие отрицали свою вину. Этому нужно было противостоять. Это было непросто, но я вовсе не хочу героизировать наше поведение — оно было нормальным, оно было нашей работой. Параллельно демонтировалась и «русская мифология»: разрушался образ врага. И вот в 1963 году я очутился в Советском Союзе — приехал по личным мотивам и сравнительно надолго. Поэтому имел возможиость видеть не только «потемкинские» кулисы, не только церемониал парадных приемов в обертке казенных речей — то, чем зачастую и ограничивались впечатления пришельцев с Запада. Я видел и другую действительность, и это требовало осмысления. Многое приходилось как бы выносить за скобки. Вплоть до 1970 года я бывал в СССР довольно часто, так что впечатления росли и накапливались. Завязывались личные контакты и эксклюзивные знакомства — так, я познакомился даже с Хрущевым. Время было оттепельное, что порождало разнообразные надежды, явно влиявшие и на восточную политику западногерманских властей Четкой вехой, помнится, стал 1968 год, год резкой вспышки леворадикального движения на Западе, когда на нас вдруг посыпались критические упреки из Советского Союза, со стороны, как мы думали наших друзей. Ситуация была очень странной но я не хотел бы сейчас ее разбирать[3] Для многих интеллигентов на Западе встал вопрос: как же быть с той моделью социализма, что сложилась в СССР? Очень трудный вопрос, очень. Так и вышло, что в брежневскую эпоху я как-то отдалился от Советского Союза, сохранив только некоторые личные контакты с людьми, знакомство с которыми я считаю удачей судьбы, — с Твардовским, Вознесенским, Бродским. Зато это было время основательного знакомства с русской литературой. Я перечитал многих классиков, особенно основательно своих любимцев — Герцена и Бакунина, увлекся советской литературой 20-х годов, многое пытался читать по-русски. Кое-что и переводил, например Хлебникова. Главной фигурой стал для меня Герцен. Я обрел в нем пророка, который предвосхитил наши сегодняшние проблемы и даже сформулировал их. С одной стороны, это проблемы демократии, в частности диктата посредственности, отсюда — определенной нивелировки. С другой — противостояние авторитарной власти, что объединяло его с Бакуниным. Эта позиция не укладывалась в рамки обычного мелкобуржуазного либерализма, в ней содержались перспективы выхода за пределы, предуказанные буржуазной собственностью. Поэтому можно сказать, что Герцен хотел того, чего человечество еще не достигло. И в то же время он с поразительной точностью сформулировал противоречия, существующие между Россией и Западом, — не в духе славянофильства, но в то же время с глубоким уважением к собственной культуре и истории. Для меня Герцен — самый открытый диалогу, наименее догматичный мыслитель. Именно поэтому я подготовил миого его немецких изданий и всячески пытаюсь внедрить его в наш интеллектуальный обиход.

Все это, конечно, лишь небольшая часть того, что следовало бы сделать, ибо я полагаю, что нам, немцам, нужно многое пересмотреть в нашем отношении к России, отношении весьма неоднозначном, как неоднозначно, впрочем, и отношение русской культуры к Германии. На всем этом лежит печать политических тенденций времени. Но если заглянуть вперед, хотя бы лет на три-

[2] Подборка стихов Х. М. Энценсбергера опубликована в «ИЛ», 1966, № 10.

[3] Может быть, по деликатности — ведь интервьюер в те годы в своих статьях в «Литературной газете» не раз «щипал» Энценсбергера и других «новых левых», в чем, впрочем, не раскаивается до сих пор (*Ю. А.*).

дцать—сорок, то становится ясно, как много предстоит сделать с обеих сторон. И несмотря на то, что жизнь развеяла уже немало моих иллюзий, в этом отношении я остаюсь оптимистическим реалистом. Перед нами множество возможностей взаимообогащения. Для нас прежде всего это шанс уйти от влиятельного диктата массовой культуры американского образца. И, кто знает, может быть, в итоге нам удастся достичь некоего баланса, который будет иметь не только культурное, но и политическое значение. Хотя все это требует труда и усилий, ведь «холодная война» оставила тяжелое наследие. Подсознание народов, как мне представляется, сейчас преисполнено великого ожидания — что будут решены многие застарелые проблемы. Хотя я, разумеется, не берусь давать какие-либо рецепты по вопросам, не входящим в сферу моей компетенции. Предпочитаю делать то, в чем хорошо разбираюсь — прежде всего занят издательской деятельностью, которая, по моему мнению, служит сближению Может быть, в наших условиях она не столь эффективна, как у вас, но она в любом случае доходит до так называемых «мнениеобразующих» слоев населения и по-своему действует. В дальнейшем же будет видно, что окажется важнее, куда вкладывать энергию и время. Собственно, этой деятельностью я занят всю жизнь, еще в 50-е годы я издал антологию «Музей современной поэзии», куда включил крупнейших поэтов России и Запада. Для этого издания я привлек ведущих славистов и таких выдающихся переводчиков, как Пауль Целан и Петер Урбан. С тех пор я полюбил Хлебникова и Ахматову, увлекся и прозаиками — Бабелем, Пильняком, Всеволодом Ивановым, «Серапионами». От них потянулась ниточка к современникам — Ахмадулиной, Вознесенскому, Бродскому. Этот интерес кажется мне чем-то совершенно естественным, а вот царившее некоторое время отчуждение — чем-то совершенно искусственным. Стоит оглянуться и на историю, которая ясно показывает, что близости всегда было больше, чем отчуждения.

Что до перестройки, то нужно прямо сказать: она — самое обнадеживающее событие нашей эпохи Капитализм, не будем этого скрывать, сейчас процветает. Но к этому уже как-то привыкли, мир жаждет чего-то нового. Слишком уж скучно царство посредственности. Это не значит, что я готов восторгаться любой новизной, тем более что уже обжегся однажды и не хотел бы снова предаваться иллюзиям. Но ведь то же самое я обнаружил недавно и в Советском Союзе, когда разговаривал там с коллегами у людей сохраняется трезвый взгляд на вещи. И если кто-то говорит: «У нас еще все впереди, перестройка у нас еще и не начиналась», то это мне импонирует Импонирует трезвость, без наивных детских восторгов. К ним сейчас склонны, пожалуй, американцы. Вот они в восторге — просто потому, что им нравится Михаил Сергеевич. Это все, по-моему, не очень продуктивно, потому что ситуация ведь может быстро измениться, как меняется она в списке бестселлеров, где книги скачут то вверх, то вниз. Но при всем том, что я стараюсь сохранять трезвую голову, я и сам замечаю, что поддаюсь атмосфере восторга, и сообщения из Советского Союза читаю с большей радостью, чем другие газетные статьи. Кроме того, совершенно ведь ясно, что от событий в Советском Союзе многое зависит и в нашей жизни, в жизни всего мира.

Поэтому мне хотелось бы сделать что-то конкретное, что в моих силах. Вот мы основали совместное издательство — на базе издательства «Грено» в Нёрдлингене. Хотим тесно сотрудничать с советскими партнерами, прежде всего с «Прогрессом». Прогрессовская книга «Иного не дано» вышла у нас в немецком переводе и имела заметный успех. Но мы вовсе не хотим ограничиваться обычными партнерскими отношениями на основе экспорта-импорта. Нам хочется создать базу для более полного выявления интеллектуального потенциала Советского Союза. Я имею в виду не только писателей, но и историков, искусствоведов, ученых самых разных специальностей, вплоть до геологии. Нам хотелось бы дать этим людям возможность появиться на международной арене. Это не единственная наша цель, но одна из очень важных. Чтобы лучшие умы всех стран могли завязывать контакты между собой, свободно перемещаться по миру. Словом, мы очень надеемся на расширение и укрепление наших культурных связей.

Не могу заодно не высказать и одну претензию к советской стороне. Видите ли, у вас царит дурное обыкновение не посылать зарубежным авторам книги, которые вы у себя переводите и издаете. Эту жалобу я слышал от многих своих коллег. Платите вы тоже далеко не всегда, но это особая статья — и, может быть, в данном случае, не главная: учитывая неконвертируемый рубль и так далее. Но ведь автору всегда хочется хотя бы взглянуть на собственную книгу, изданную в Советском Союзе. Неужели это так трудно наладить? Я понимаю, что это наследие старых времен, когда у вас в течение десятилетий игнорировалось авторское право. Но теперь, в новой обстановке, это выглядит просто некрасивым анахронизмом. Ведь сами по себе высокие слова немногого стоят. Истинное сближение должно начинаться с мелочей.

МАРТИН ВАЛЬЗЕР[4]

Мое знакомство с Россией началось с Достоевского. Хотя, должен признаться, я прочел его слишком рано. Собственно, не прочел — проглотил. Теперь, думаю, пришла пора перечитать его заново. Хотя мои попытки в этом направлении часто разбиваются о качество переводов. Я не в состоянии сравнить их с оригиналом, но мне кажется, что Достоевский переведен на немецкий язык пока еще неудовлетворительно. Особенно это бросилось мне в глаза, когда я сразу после Достоевского

[4] В «ИЛ» напечатаны роман М. Вальзера «По ту сторону любви» (1979, № 6) и повесть «На полном скаку» (1983, № 8).

взялся за Толстого. Здесь уже и немецкий язык переводов был вполне убедительным. «Война и мир» всегда была для меня важной книгой, и я бы даже сказал — становится все более важной. Не только для меня, но, по-моему, для всей немецкой литературы. Дело в том, что наша проза все еще не создала произведения со столь же убедительной философией истории, а потребность у нас в этом огромная, особенно в XX веке — веке двух мировых войн с роковым участием в них Германии. У нас множество тривиальных романов на эту тему, скандальные споры о ней ведут историки, с их склонностью к крайним точкам зрения. Но вот художественно убедительной и объективной картины исторических событий этого периода нет. Опыт Толстого остается образцовым примером. Как раз историософия «Войны и мира» делает эту книгу в моих глазах куда более значительной, чем «Анна Каренина».

Но есть, пожалуй, русский писатель, который для меня лично был куда важнее, чем Достоевский и Толстой. И его значение продолжает расти. Этот писатель — Гоголь. Увлечение им началось со студенческого театра — в 1946 году мы в Тюбингене ставили «Ревизора». Потом пришло время «Мертвых душ». «Мертвые души» — единственная, пожалуй, в мировой литературе книга, которая сумела устоять в моем сознании и в самый разгар моей кафкомании. В конце сороковых я, знаете ли, был не просто увлечен Кафкой; я был отравлен им. Все книги после Кафки казались мне пресными. Все — кроме написанных Гоголем. Конечно же, я пытался читать все, что было тогда в цене, — Жида, Сартра, Фолкнера и других. Начинал — и бросал. И только Гоголь выдерживал близость Кафки — и значительностью духовной субстанции, и плотностью художественного письма. О, я чувствовал, тут не легкое плетение словес, как, например, у Жида, тут та единственная логика внутренней формы, которая только и делает искусство великим. Чичиков — это ведь вечный образ, как и многие другие у Гоголя. И дело не в том, как они задуманы, а в том, как исполнены, — то есть дело в форме.

Сразу за Гоголем идет у меня Чехов. Где бы я ни был, в Германии ли, в других ли странах Европы или Америки, всегда стараюсь попасть на постановки пьес Чехова, особенно если они осуществлены известными режиссерами. Удивительно, Чехов открыл своим творчеством театр XX века — и остался в нем до сих пор самым современным драматургом. Скажем, Беккет в сравнении с Чеховым кажется уже старомодным. Мало кто из писателей сумел настолько опередить свое время. В смысле строгости формы Чехов, пожалуй, самый великий учитель. Хотя, конечно, в области художественных идей дальше всех заглянул Достоевский. Да и «сделаны» некоторые вещи у него с изумительным мастерством, провидящим наше время. Я имею в виду даже не романы, а некоторые его миниатюры, такие, как «Бобок», например.

Должен сказать, что мой интерес к русской литературе никогда не подогревался другими писателями, писавшими о «святой» русской литературе. Ни Томас Манн, ни Кесснер, ни Рильке не оказали на меня никакого влияния. Ничего не дало и чтение книги Стефана Цвейга «Три мастера». Сами тексты русских писателей всегда говорили мне больше. Скорее уж Мережковский оказал некоторое влияние — когда-то в юности я прочел его книгу «Толстой и Достоевский». Но, повторяю, это была прежде всего непосредственная реакция на тексты. Я бы назвал это цепной реакцией, развязанной «обязательным» для всякого образованного европейца романом Достоевского «Преступление и наказание». Затем последовало потрясение от романа «Братья Карамазовы». У меня был друг в школе, с которым мы месяцами читали и обсуждали только «Братьев Карамазовых». Мы с ним и сами стали как братья. Вы только представьте — нам по шестнадцать-семнадцать, идет война, жизнь и смерть в обнимку, и — Достоевский! Как скрепляющая бытие стихия. Это уж не чтение, это эпоха в собственной биографии — «карамазовская» эпоха.

К сожалению, послечеховская русская литература — область, мною еще мало освоенная. Относительно хорошо я знаю Горького-драматурга по многочисленным постановкам. Читал же его только очерки, переписку с Лениным. Из писателей следующего за Горьким поколения сильнейшее впечатление на меня произвел Бабель. Шолохов остался непрочитанным — я было взял его в руки, но потом снова вернулся к Гоголю и Кафке. Набокова читал только один английский роман — «Аду». Эту книгу мне предлагали для перевода, но она не произвела на меня сильного впечатления. Много слышал о «Мастере и Маргарите» Булгакова, но как-то не удосужился до сих пор прочитать. В планах остается и Платонов.

Из моих ровесников более других мне известен Трифонов, с которым мы по инициативе одного журнала обменялись даже «программными» письмами, в Советском Союзе, кажется, не опубликованными. Вот кого я читал много и охотно — как истинно современного реалиста.

Ну а теперь внимание как-то само собой переключилось на политику, на весь комплекс явлений, именуемых перестройкой. Вот я даже приобрел на немецком сборник «Иного не дано». Вы даже представить себе не можете, какое освежающее воздействие на нас оказывают эти явления, какое мы все испытываем облегчение. Если вспомнить то, что было еще недавно, всю эту «холодную войну» между Москвой и Вашингтоном, нельзя не оценить произошедшие сдвиги. Тогда было предощущение какой-то абсурдной катастрофы, и это действовало угнетающе, парализующе. Казалось, чисто романное, научно-фантастическое безумие космических войн вот-вот станет реальностью. А теперь этот фантом развеялся. На этом фоне и нужно оценивать то, что удалось Горбачеву. Как ему удалось, в частности, изменить позицию Рейгана — ведь это просто поразительно! И как быстро на наших глазах побеждают разум и естественность. У меня такое чувство, будто это и моя победа. Я, знаете

ли, никогда не верил, что враждебность заложена в самой природе человека. Мои дети ругают меня неисправимым оптимистом, но что делать, если я не разделяю модных апокалипсических настроений. Апокалипсис, на мой взгляд, — порождение религиозной эпохи в истории человечества. Нет, нет, я ничего не имею против религии, у нее важнейшие заслуги перед человечеством, но ведь нужно смотреть на вещи исторически. В наше время, на мой взгляд, человечество переходит из религиозной эры в эру гуманитарную. И многие представления и предписания прежней эры я воспринимаю как оковы. Нет, по-моему, ничего более парализующего, как представление о предопределенности всего сущего. Поэтому происходящие благодаря перестройке перемены в мире я переживаю очень остро и глубоко верю в их глобальный характер.

Кстати, многие литературные кумиры недавнего прошлого суть, на мой взгляд, порождения этой религиозной эры с ее «тенденцией», пафосом, приверженностью к «story», к тому, что должно иметь начало и конец. Таковы, например, Томас Манн и Гессе, все еще оставляющие в тени Роберта Вальзера, который куда основательнее их как художник. А вот Толстой — словно писатель из будущего. Возьмите, например, наши антифашистские романы — ведь они пишутся так, будто фашизм еще существует. Это слишком куцая точка зрения. Толстой поднимается на неизмеримо большую высоту. Он описывает заседание военного совета в крестьянской избе с такой философской дистанции — при всей реалистической наглядности картины, — что русские, по-моему, и сейчас могут этим жить. Ибо Толстым постигнута некая парадигма национальной жизни. Вот к этому-то хотелось бы стремиться и в собственной работе.

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ[5]

Толстой, Достоевский, Чехов — вот первое, что приходит мне в голову, когда я думаю о русской литературе. Что же до самой России, то я ведь вырос в нацистское время... Так что в детстве с этой страной связывалось представление о чем-то чужом и опасном. И о чем-то бескрайнем: моя мать почему-то любила читать воспоминания немецких пленных времен первой мировой войны и делилась своими впечатлениями. Постепенно прочитанное, услышанное в кино стало складывать смутный образ какой-то хаотической мешанины из добродушия, бесхозяйственности, психологической усложненности, безжалостной власти, революционной жестокости, нежности Чайковского — всего этого, заключенного в бескрайность лесов, в которых рыщут волки. Добавьте к этому отрывочные представления о тесном переплетении русской и немецкой истории, разные исторические анекдоты вроде янтарной комнаты, подаренной Фридрихом Великим русскому царскому двору в знак благодарности за спасение его войск и тому подобное. Плюс Гинденбург, битва при Танненберге, прочие мифологемы немецкой доблести, вынесенные из первой мировой войны и, конечно, сильно действовавшие на детское воображение. С другой стороны — далекий отзвук других мифологем: Ленин, Сталин. Все это — как и вообще мое представление о мире — сильно изменилось с окончанием второй мировой войны. Хотя соперничество двух систем сказывалось долго: Россия внушала страх. По-настоящему мы здесь, на Западе, стали избавляться от него только в годы перестройки. Впрочем, когда я недавно в Ленинграде попал на репетицию войск перед парадом, страх этот неожиданно всплыл вновь: как-никак я два года был солдатом на фронте. Так что должен признаться, что на протяжении десятилетий в душе моей существовал раскол между любовью к России, пробудившейся под влиянием русской литературы, и страхом перед Россией.

Русских писателей я взахлеб читал в студенческие годы. Прежде всех — Достоевского, потом Толстого, Гоголя, Чехова. Часто ходил в театр на русские пьесы Самое большое и глубокое впечатление произвел на меня Толстой — и так это остается до сих пор. Думаю, что и в моем писательском становлении Толстой сыграл решающую роль — наряду с Джойсом, Прустом, Фолкнером. Но влияние Толстого все же решающее. Самое завораживающее в нем — феноменальная чуткость к чувственному миру, психологическая глубина внешне обыденного. Ведь люди у Толстого, что называется, нормальные люди, но насколько же они сложны, объемны и в основе своей бесконечны. Толстой — мастер жизненного континуума, жизненной синкретности, пронизывающей все и все подминающей — даже душу героя, если он вдруг начинает сопротивляться природе. Обыденность у Толстого преисполнена экстатических видений, апофеоз которых — конечно же, небо Аустерлица, которое видит князь Андрей. Самое потрясающее, что эти видения пусты. Глубина пустоты — такое могло даться только Толстому. Власть химер над жизнью человека, сила иллюзий, незаметно врастающих в реальность... Все это поразительно современно. Отсюда ведь и вышло все великое в XX веке на Западе — и Пруст, и Джойс, и Вирджиния Вулф, и Фолкнер. Непроизвольные ассоциации у Пруста, мгновения бытия у Вулф, экстатические мгновения у Фолкнера — все это выросло из Толстого, из его художественных запечатлений неравномерности времени. Поэтому глупо, конечно, изображать Толстого, как это у нас нередко бывает, традиционалистом, чуть ли не ретроградом формы. В то время как он авангардистов. Во многом архаичен уже и Томас Манн. Но не Толстой. Его видение мира и человека кажется необыкновенно актуальным. И, может быть, самое замечательное в нем — как он борется с собственным маньеризмом, укрощает его, осаживает, но маньеризм все равно вылезает. В таком шедевре, как «Смерть Ивана Ильича», это особенно заметно. Или в мечтах и видениях

[5] «ИЛ» печатала повести Д. Веллерсхофа (1978, № 2) и его роман «Победителю достанется все» (1986, № 6—8).

Левина. Там необыкновенно тонко схвачены эти моменты бытия человека — великого визионера, сидящего в простом человеке.

Нет, Толстой просто великолепен! И как он вписывается в философию своего и нашего времени. Ведь это ощущение отсутствия смысла жизни, беспочвенности существования преследует всех нас со времен Шопенгауэра и Ницше. Как и эта попытка породить иллюзию, дающую возможность жить. Тут ведь и корень всего современного европейского нигилизма — «Мифа о Сизифе» Камю и так далее. Да и все пограничные ситуации нашей жизни Толстой описал как никто. Вот у меня умирал брат. И я пошел навестить его. А потом стал перечитывать подобные сцены у Толстого — боже, какая поразительная, какая нечеловеческая точность! Ведь он описал до мельчайших деталей все мои ощущения! И этот зоркий и суровый укор в глазах брата: о чем, мол, ты, как ты можешь об этом, как ты вообще можешь жить, когда я умираю. Подобная точность и есть для меня критерий писательского мастерства. И не какая-нибудь холодная, объективированная точность, но такая полнокровная, как у Толстого, когда ты видишь, что автор и сам мучается, сам бьется над проблемами собственного бытия и доходит в них — и как человек, и как художник, и как мыслитель — до пределов понимания, отпущенного человеку.

Что-то очень родственное Толстому привлекает меня и в Чехове. Должен сказать, что я больше люблю драматургию Чехова, чем его прозу. А именно: эти клещи ситуации, которая держит человека. И человек страдает от нее, но как-то не до конца, и тоскует о другой жизни, но какой-то немужественной тоской, и тычется вокруг, как слепой. И тут же рядом кто-то непременно соблазняет видениями будущего, когда все разрешится и все будут трудиться и будут счастливы. И прочие иллюзии в таком же роде. Все это так человечно! И особенно, что великий писатель, сознавая тщетность этих иллюзий человека, все-таки солидарен с ним. И ведь он прав! Потому что не все ведь в жизни человека безнадежно. Есть творчество, есть удачи, есть любовь, дети. Бывают даже и большие общественные свершения — например, ваша победа в войне, она же — наше освобождение от фашизма. Или то, что сейчас происходит в России. Такое впечатление, будто Чехов имеет в виду и это.

Позднейшие впечатления от русской литературы у меня, к сожалению, отрывочны и случайны. Время от времени читаю то, о чем у нас говорят, — Трифонова или Рыбакова. Булгакова? Да, прочел, но у меня не возникло ощущения, что это мой писатель. Конечно, и я заметил, что это талант выдающийся, но ведь я не литературовед, я читаю только тех, без кого не могу обойтись. А без Булгакова я обойтись могу. Вот Набоков — совсем другое дело. Его я прочел целиком. У него есть то, чего я не обнаруживаю у других современных русских, у тех же Трифонова и Рыбакова, их язык — лишь средство для передачи какой-то общественно значимой информации, не больше. Нет той субъективированности языка, которая делает литературу искусством. А вот Набоков, конечно, настоящий мастер. Как и Замятин, и в некоторых — лирических — местах своей прозы Пастернак. Платонова мне еще предстоит открыть. Хотя, повторяю, мне по душе лишь то словесное искусство, которое преисполнено жизненной точности. Все выдуманное, по-моему, второстепенно. Когда знак теряет суть означенного, приобретает самодовлеющее значение, мне становится скучно. Так все более чуждой мне становится западногерманская литература, где эти тенденции нарастают.

Книга в моем представлении должна быть жизненно необходимой. Ведь я волен выбирать: почитать или отправиться на прогулку. Таким образом, книга должна быть по меньшей мере равноценна прогулке. К сожалению, в мире все больше выходит книг, которые не прибавляют, а отнимают время у жизни. Чего никак нельзя сказать о тех русских, кого я люблю перечитывать. Причем не только близких к жизни прозаиков, но, казалось бы, далеких от них поэтов, как Маяковский и Мандельштам, и еще более далеких от нее культурфилософов и литературоведов, таких, как Бахтин, Шкловский, Тынянов, Лотман — они очень помогают моему пониманию литературы. Из русских эмигрантов меня помимо Набокова более других интересовала Натали Саррот с ее подхваченными у Достоевского мотивами: надрыв, самокопание, смена масок, сдирание их, приросших, с лица, всякие психические изломы и прочее.

Что до моих впечатлений от Советского Союза, то их два, и они очень разнятся. Я был гостем Союза писателей СССР в 1982 году и вынес странное впечатление тотальной скованности и на глубине — невозможности истинного контакта: вас спрашивают о чем-то, но больше о внешнем, формальном, пустом, а на ваши вопросы по существу не отвечают, диалога не возникает. И совсем другая картина была в 1987 году. Разница оказалась сногсшибательной. И настолько обнадеживающей, что мне подумалось: если у мира вообще есть надежда, то она заключена именно в тех процессах, которые именуются словами «перестройка» и «гласность». Об этом я говорил и нашим политическим лидерам на одной из недавних встреч правительства с писателями и деятелями культуры в Бонне: возможность сближения между Востоком и Западом, рожденная перестройкой, должна быть энергично и всесторонне использована, ибо только такое сближение сулит народам земли достойное человека существование в будущем.

ГЮНТЕР ГРАСС[6]

Вся русская литература — даже в моей только жизни — поле слишком безбрежное. Позвольте мне ограничиться тремя примерами, оказавшими на меня наиболь-

[6] В «ИЛ» опубликованы повести Г. Грасса «Кошка и мышь» (1968, № 5) и «Встреча в Тельгте» (1983, № 5).

шее воздействие. В пятидесятые годы, работая над романом «Жестяной барабан», я подолгу живал в Париже и много общался с немецким поэтом, которого теперь уже нет в живых, — с Паулем Целаном. Он в то время переводил русскую лирику. Среди прочего — поэму Александра Блока «Двенадцать», волшебную, на мой взгляд, поэму, музыкой, ладом, языком, смелостью своей совершенно меня поразившую и навсегда врезавшуюся в память. Это поистине великое произведение

Примерно в то же время, может быть несколько позже, я прочел Исаака Бабеля. Его поэтическая, насквозь лиричная проза показалась мне тогда образцовой, заслуживающей пристального изучения. Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь еще достигал такого лаконизма, такой концентрации смысла на самом маленьком пятачке, где сходятся решающие экзистенциальные проблемы и выявляется слом добрых намерений злыми деяниями. Столь лапидарное, и выразительное, и в то же время отнюдь не упрощенное изображение целого переплетения сложнейших и жизненно важных проблем производило ошеломительное впечатление.

И третий пример, может быть, самый естественный — ибо кто же не восхищается Чеховым? Впрочем, мой случай, пожалуй, все же особый. Потому что я, разделяя вместе со всеми восхищение пьесами Чехова и его мастерскими новеллами, тем не менее больше всего ценю его путевые заметки — знаменитую «Поездку на Сахалин». Уже сама отвага замысла, особенно в соединении с внешне бесстрастной и точной описательностью, это умение не скрывать тенденцию, но и не выпячивать ее, это особое благородство прозы... Нет, Чехов — писатель поистине уникальный.

Знаком я со многим из того, что появилось позднее, но не хотел бы что-либо выделять, чтобы не смазать впечатление от тех трех примеров, что я привел. Упомяну разве что удовольствие, с которым читал «Мастера и Маргариту». Из числа новинок отмечу роман Рыбакова «Дети Арбата». Да, да, я понимаю: люди литературно избалованные могут быть недовольны старомодностью его письма. И все-таки в общественном отношении появление таких информативных книг, на мой взгляд, благотворно. Все мы желаем добра перестройке, более того, живем ею, теми надеждами, которые она пробуждает. И появление таких книг, как «Дети Арбата», укрепляет наши надежды.

ЭРНСТ ЮНГЕР[7]

Что же, для меня при слове «Россия» всплывает вся многовековая проблематика отношений Востока и Запада, достигшая пика, может быть, в бранном споре Александра Первого с Наполеоном. Сразу за этим идет, конечно, великая русская литература, начиная примерно с Аксакова, с его описаний бытовой колонизации русского Востока. Затем, разумеется, Достоевский, Толстой. Помню, у нас были вечные домашние распри с первой женой — кто более велик из этих двоих великанов. Она отстаивала интересы Толстого, я — Достоевского. Полюбил я его очень рано и страстно. Один год моей жизни вообще целиком прошел под знаком Достоевского — никого другого я тогда читать просто не мог. Какой это был год? Тысяча девятьсот десятый. Я тогда учился в гимназии в Ганновере. До сих пор помню бурю в душе, поднятую романом «Преступление и наказание». Свой психологический лот Достоевский опустил на самую большую глубину — во всей мировой литературе. После этого обязательного тогда чтения я уже не мог оторваться от Достоевского, пока не прочел его всего. В дальнейшем вышли даже литературоведческие работы, «подверстывавшие» меня под Достоевского. Не думаю, однако, что в таких сопоставлениях много смысла. Достоевский — универсум, в него, как в резиновый автобус, можно при желании запихнуть всех писателей XX века.

В более зрелые годы свой интерес к России я удовлетворял чтением в основном политических сочинений — не столько русских, сколько вышедших в Англии, Франции, Германии. Из русских писателей XX века мне более других знаком Горький.

Мои личные впечатления от России приходятся на особое время. Я ведь был послан туда в разгар войны из Франции Роммелем и другими генералами, полагавшими, во-первых, что мне, автору такого «пробольшевистского» сочинения, как «Рабочий», будет любопытно взглянуть на страну победившего социализма вблизи, и надеявшимися, во-вторых, с моей помощью прощупать настроения русского генералитета. Ведь у нас уже тогда вынашивался антигитлеровский заговор генералов. Вот участникам заговора и хотелось узнать, нет ли подобного антисталинского заговора в России и нельзя ли договориться с русскими генералами на предмет параллельного свержения деспотии. Однако, побывав на нескольких допросах русских генералов, я был вынужден разочаровать немецких коллег: у меня сложилось впечатление, что русским, прижатым к стене, не до интриг. Помню, на Кавказе во время допроса пленного русского офицера я спросил его через переводчика-прибалта: «Как вы относитесь к советскому режиму?» На что последовал гордый ответ: «Такие вопросы с посторонними не обсуждают». Этот ответ меня восхитил. Это была словно бы живая сцена из «Войны и мира». Вообще же Кавказ произвел на меня грандиозное впечатление. Он был так величествен, что я надолго забывал о войне и удивлялся, когда слышал грохот орудий.

В последние годы политические события в России приковали, естественно, и мой интерес. Но я не хотел бы торопиться с выводами и заключениями. Для них, по-моему, еще не настало время. Надежды надеждами, а реальность реальностью. Так что поживем — увидим.

Возвращаясь же к литературе — вот, взгляните на эти полки, видите издания русских классиков в роскошных переплетах двадцатых годов. Для нас, стариков,

[7] См. о нем ст. А. Карельского в «ИЛ», 1964, № 4.

нет большего удовольствия, чем перечитывать давно читанное — словно встречаешься со своей молодостью. Русские классики, пожалуй, из тех, кого я перечитываю особенно часто и охотно. Только в самое последнее время я перечитал таким образом «Отцов и детей» Тургенева, «Тараса Бульбу» — ах, какая вещь! — и «Ревизора», которого помню с раннего детства, это была любимая пьеса моего отца. Кроме того, вновь и с огромным наслаждением перечитал ранние повести Достоевского, почти забытые мною. И «Бесов», забыть которых невозможно. Редчайшей, пророческой силы книга! Она ведь, кажется, была запрещена в России? Теперь популярна? Ну, ну. Поживем — увидим.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ[8]

Мне было тринадцать, когда началась вторая мировая война. Пятнадцать — когда немецкая армия напала на Советский Союз. Война ворвалась в мое сознание неожиданно. Помню, меня поразила деталь: в Германию еще прибывали поезда с советскими товарами, а немцы уже бомбили советские железные дороги. В школе мы постоянно слышали об успехах вермахта, о том, сколько русских взято в плен. О судьбе этих пленных мы тогда не задумывались. Время шло, война длилась. На последнем ее году призвали и меня — служить во флоте, на Балтике. Первых русских пленных я увидел в Копенгагене, они грузили уголь в порту. Один из них предложил нам вырезанную из дерева птичку в обмен на что-нибудь съестное. Это было незадолго до окончания войны. Вскоре я перебрался из Дании к себе в Гамбург. Стал работать и вечерами учиться в университете. Времени было в обрез. И все же его хватало на чтение Достоевского, Толстого, Тургенева. Наибольшим событием стал Достоевский — и остался им до сих пор. Дважды в жизни я внимательнейшим образом прочел полное собрание его сочинений. Не раз писал о нем. Однажды — в компании с Бёллем, Носсаком и Мальро — выпустил о нем книгу статей. Недавно опубликовал отдельную брошюру о нем под названием «Верующий скептик». Название, думаю, говорит само за себя.

В молодости мне, бедному студенту в каморке, ближе всех был Раскольников. Эти горести и порывы ущемленного индивида — все это было мое. В этих перескоках разгоряченного сознания с Наполеона на старуху-процентщицу было для меня что-то демонически притягательное.

За Достоевским, как я уже сказал, последовали Толстой, Тургенев, другие «помещики». Проснулся интерес к политике, к философии — я стал читать Бердяева. Россия все больше представлялась мне страной небывалого опыта и страстей, подчас темных, опасных, заряженных угрозами со стороны власть имущих. Что-то подобное чудилось и в истории ее, особенно петровских времен: этот экспансионистский размах, не ведающий предела. Интерес к русской истории подогревался и тем, что генеалогия русских правителей нередко восходит к немецким корням — Екатерина Вторая и многие другие русские венценосцы были или немцами, или в родстве с немцами.

Меня всегда завораживали в русской литературе ее, так сказать, невыдуманные, трагические детективы — от «Записок из Мертвого дома» до «Архипелага ГУЛАГ», до Дудинцева, Трифонова, Распутина и прочего в том же роде. В целом же, конечно, можно сказать, что Россия — сверхдержава в литературе.

Вот у меня на полке стоит полный Набоков. Мастер изумительный. Но для меня он немного не русский, что ли. Возьмите даже биографию его: Петербург, Кембридж, Берлин, Париж, Соединенные Штаты, наконец Швейцария, Женевское озеро, где он умер. Везде жил и везде писал — и писал блестяще! Но если спросить, чьими именами помечен для меня русский духовный континент, то Набоков как-то не придет и в голову. Достоевский — да, в первую очередь! Набоков же мало влияет на мой «образ России». Как, впрочем, и Булгаков. «Мастер и Маргарита» — это великолепно, превосходно! Но это не Чехов, в котором мне слышится голос самой России. Платонова я еще не читал — мое упущение. Вообще упущений в моем чтении очень много. И чем старше я становлюсь, тем болезненнее их воспринимаю. Но как мало у всех у нас времени — а ведь есть еще и другие литературы!.. Я читаю многих американцев, французов, скаидинавов. Но если коллеги или дипломаты обращают мое внимание на какую-нибудь сенсационную новинку из России, стараюсь ознакомиться с ней непременно. Хотя, должен признаться, в последнее время явно перевешивают интересы политические. Ведь то, что происходит теперь в Советском Союзе, и для нас имеет огромное значение — как и для всего человечества. Я бы даже так сказал: вот появись сейчас из наследия Набокова какой-нибудь неизвестный роман — Набоков, кстати, превосходнейшим образом переведен на немецкий, а переводил его сам издатель Ровольт — и в то же время окажись в поле моего зрения переводы каких-нибудь острых статей из «Правды» или «Литературной газеты», я хоть и писатель и так далее, скорее прочту эти статьи, чем Набокова.

В «Литературке», кстати, кажется, была помещена моя речь по случаю получения Премии мира. Но экземпляра газеты я так и не получил.

Понятна притягательность публицистики — такой сейчас момент. Именно публицистика может поддержать перестройку всего эффективнее. Художественные вещи не могут быть откликом на злобу дня. Я вообще не думаю, что настоящая литература может служить какой-либо доктрине непосредственно, а писатель — быть «инженером человеческих душ». Слишком разные задачи у политики и литературы. Хотя цель у политиков и писателей, как и у всех людей вообще, одна — разумное устройство жизни.

Что же касается личных впечатлений от русских писателей, то я бы выделил дво-

[8] В «ИЛ» опубликованы роман З. Ленца «Урок немецкого» (1971, № 5—7) и рассказы (1977, № 1; 1989, № 6; 1990, № 5).

их — Федора Степуна, который жил в эмиграции где-то на юге Германии, и поэта Андрея Вознесенского. Оба поразили меня своей громогласностью. Вы знаете, Вознесенский ведь всегда читает свои стихи, будто он на стадионе — даже если дело происходит в такой вот небольшой комнате, как мой кабинет. Он все равно что набат: бум! — и стекла звенят, как в «Жестяном барабане» у Грасса. Таким же был и Федор Степун— колоритнейшая личность. Помню, влетел к нам в студию, как ураган, — я тогда работал редактором на гамбургском радио. Мы придумали серию «Свидетели эпохи» или что-то в этом роде. Приглашали и известных писателей — Вильгельма Лемана, Рудольфа Александра Шрёдера, других стариков. Степун рассказывал нам о февральской революции в России, о Керенском, Савинкове. Рассказчик был удивительный, впечатление произвел неотразимое. Один из славной плеяды русского духовного Ренессанса начала века.

Недавно я прочитал вышедшую у нас книгу «Русский Берлин» — о русских эмигрантах двадцатых годов. Какие имена! Какой небывалый расцвет культуры! Понимаю, что вы связываете с перестройкой надежды на возрождение этой культуры. От всего сердца желаю вам в этом успеха!

ВАЛЬТЕР ЙЕНС

При слове «Россия» у меня, естественно, первым делом возникают литературные ассоциации. Началось это давно и, как у многих, — с Достоевского. Уже в двенадцать лет я прочел «Преступление и наказание», потом «Бесов». И до тех пор, пока я не познакомился с Шекспиром, Достоевский оставался для меня самым большим потрясением, вынесенным из чтения иноязычной литературы. Позже и уже гораздо спокойнее я прочел всего Толстого. А еще позже познакомился с Чеховым, который и стал моим, так сказать, домашним богом, в каковой роли он пребывает и до настоящего времени. Причем трудно даже сказать, кто для меня важнее — Чехов-новеллист или Чехов-драматург. Сам я хоть и пишу прозу, но не упускаю случая увидеть Чехова на сцене. Вот недавно съездил даже с этой целью в Гамбург, на другой конец Германии.

Я ни разу не был в Советском Союзе, так что мое знакомство с этой страной носит сугубо литературный характер, как, впрочем, и с большинством других стран мира. По правде сказать, я даже несколько побаиваюсь знакомства с самой действительностью и не потому, что опасаюсь разочарований, а потому, что не хотел бы ничем повредить тому прекрасному и гармоничному образу, который возник у меня при чтении.

Что же до действительности, то большим событием моей внутренней жизни было освобождение Советской Армией Германии от фашизма. Надо сказать, что и в силу домашнего воспитания, и в силу выработанных убеждений я был ярым антифашистом. Не коммунист и не марксист, но достаточно радикальный демократ. Помню, с каким замиранием сердца слушал тайком сообщения зарубежного радио о приближении армий Рокоссовского, Конева и Жукова. И те ужасы, которые происходили на нашей земле, воспринимались мной спокойно — как расплата за то, что мы натворили в России. Я и до сих пор на всевозможных дискуссиях люблю повторять — да не все любят это слушать, — что этой небывалой свободой обмена мнениями, как и самим тем обстоятельством, что наши споры не осеняет свастика, мы обязаны не только Джону и Жаку, но и Ивану... К моему величайшему счастью, я, дожив до шестидесяти лет, никогда не читал Тургенева. К счастью, потому что не все же забирать себе молодости и в преклонные годы хочется получать от судьбы такие подарки. Прозу Пушкина я тоже прочел очень поздно, и если бы вы знали, как я завидую людям, которым предстоит прочитать ее в первый раз. Я говорю только о прозе, потому что сколько-нибудь адекватного отношения к русской поэзии у меня нет, да и быть не может, если вспомнить о том, какая несовершенная вещь поэтический перевод. Даже хваленый Хупперт явно сделал из Маяковского что-то не то. Удачи крайне редки. К ним я бы отнес переводы Пауля Целана из Блока, Ахматовой, Мандельштама. Но ведь Целан сам был великий поэт. Пушкина наши великие не переводили, вот он и звучит по-немецки как-то торжественно-деревянно. Поэтому подлинные мои открытия в русской литературе лежат в области драматургии и прозы. Из прозы XX века я бы отметил Бабеля, Владимира Набокова, Леонида Леонова с его «Вором», которого прочел еще в нацистские годы. Этот автор и до сих пор сравнительно мало известен на Западе, но меня это мало смущает, я-то убежден, что «Вор» — один из лучших романов XX века.

Однако в целом должен признаться, что познания мои в русской литературе хоть и очень интенсивны по переживаниям, но и очень эклектичны. Слишком много приходится читать другой литературы — на немецком, латинском, древнегреческом, других языках. И слишком мало всем нам отпущено времени. Сколько-нибудь профессионально я занимался только Достоевским. Однажды у меня был публичный диспут с известным теологом Хансом Кюнгом, также живущим в Тюбингене, на тему «Литература и религия». Вот в связи с этим мне и пришлось заняться Достоевским, и я опубликовал о нем эссе, где сравниваю его с Кьеркегором.

Нельзя не отметить также, что в круг моего постоянного чтения входят различные путевые очерки и заметки. С большим интересом, помню, читал зарисовки из Советского Союза, принадлежащие перу таких авторов, как Оскар Мария Граф, Армин Вегнер и другие. Меня всегда интересовало, что пишут об СССР западные писатели. Часто их размышления о России связаны с реакционным антизападничеством, с представлением о России как стране, которая ближе к Богу, чем растленный Запад, и все такое прочее. Достаточно вспомнить хотя бы «Размышления аполитичного» Томаса Манна, книги Кай-

зерлинга, Рильке, Касснера. И подобных примеров немало. Правда, такая позиция не всегда была реакционной. Взять хотя бы знаменитого мюнхенского антифашиста Ханса Шолля, казненного гестапо. Какое мужество надо было иметь, чтобы в те годы утверждать: русские — это вам не «недочеловеки», это все та же «великая святая Россия». Вот случай, когда антилиберальный, консервативный пафос был переакцентирован, перевернут.

Конечно, серьезный барьер — язык. В прежние поры многие интеллигенты — да и не только интеллигенты, но и такие люди, как Бисмарк, бывший одно время посланником в Петербурге, — изрядно знали русский язык. Теперь это редкость. Правда, недавно наш известный славист Лудольф Мюллер, наслышанный о моем интересе к России, предложил организовать что-то вроде «курсов русского языка для пенсионеров». Но тут же и припугнул, что для того, чтобы читать Достоевского, понадобится три года. Боюсь, что для меня это уже утопия. А хотелось бы!

Русская литература осветила такие сферы, которые оказались недоступными западной литературе: душевные бездны человека, его постоянную готовность соскользнуть в экстаз или в грезы. Ведь все это прерогатива не одного Достоевского, все это чувствуется в любом, безобидном или даже поверхностном с виду диалоге у Чехова: ощущение, что в любой миг такой обыденной нашей жизни может произойти что-то ужасное, чудовищное, непоправимое. Таким образом, самые основы человеческого существования затрагиваются русской литературой гораздо непосредственнее, чем немецкой, французской или английской. Эта близость неба и ада... Возьмите хоть «Войну и мир». Описываются ли военные действия, воспроизводятся ли салонные разговоры, постоянно это присутствие еще чего-то необыкновенно существенного, чего-то незримого, какой-то метафизической меры и тайны нашей жизни, этого «не хлебом единым»... И вот это-то традиция дорога мне и в русской литературе XX века — у Бабеля, Леонова, Алексея Толстого.

Мои же представления о текущей советской литературе — самые отрывочные и случайные. Так, по случаю приезда в Тюбинген Михаила Шатрова меня попросили провести дискуссию по его пьесе «Дальше... дальше... дальше!» Меня это заинтересовало в связи с повсюду обсуждаемой проблемой гласности и перестройки. Мне только показалось странным, что вашим общественным сознанием как-то совершенно игнорируется опыт Розы Люксембург. А уж если кто-то и был глашатаем и провозвестником современной гласности, современного понимания социализма как развитой демократии, так это она. И она же предупреждала: диктатура пролетариата легко может превратиться в диктатуру над пролетариатом. Именно эти идеи нахожу я теперь на страницах «Московских новостей», которые регулярно читаю в английском варианте. Полагаю, что пересмотр классического наследия вообще должен быть постоянной потребностью культуры. Пантеон следует выстраивать во всякую эпоху заново критике и литературоведению. Так и в немецкой литературе: все более гигантской представляется, например, фигура Ницше и все более сомнительной — фигура Геббеля, а ведь когда-то они казались стоящими на одинаковой высоте. Мне кажется, перестройка многое перестроит в ваших представлениях о культурных ценностях. И рано или поздно перестроит некоторые институты, ведающие, так сказать, сохранением огня — например, православную церковь, которая неминуемо будет играть все большую роль в общественных процессах.

Публицистика

ВЛАДИМИР ЗОТОВ

КИТАЙ: «ДУХ ЛЭЙ ФЭНА» ПРОТИВ «БУРЖУАЗНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ»

I

Притаилась ночь не дыша.
Только слышится:
Ша!
Ша!
Ша! [1]
Это эпоха жрет жизнь.

(Сюй Юйно. Ночные звуки. Перевод Л. Черкасского)

Китай стал первой социалистической страной, которая в конце 70-х годов решилась на то, что позднее получило у нас название перестройки и нового мышления. Китай стал первой социалистической страной, о которой спустя десять лет за рубежом говорят как о завершившей перестройку, хотя немногие считают это завершение вполне успешным. Внимание мировой общественности переключилось на ГДР, Чехо-Словакию, Румынию, сильно задержавшихся «на старте», но вырвавшихся вперед за считанные месяцы. Бежавшим на Запад «организаторам контрреволюционного мятежа» в Пекине осталось лишь с завистью наблюдать, как воодушевленные примером Китая, а затем и Советского Союза народы Восточной Европы вроде бы без особой подготовки свергли прежние режимы, установив в своих странах парламентскую демократию и политический плюрализм. После подавления массовых волнений в столице и ряде других крупных городов Китая бывший директор Института марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна, а ныне один из основателей действующего в эмиграции «Фронта демократического Китая» Су Шаочжи мрачно заметил: «С реформами покончено. Конечно, они будут говорить, что хотят, продолжать экономические преобразования, но это — для ушей иностранцев, чтобы продолжали поступать капиталовложения».

Лидеры КПК сразу после «восстановления порядка» в стране открыто заявили и продолжают заявлять о курсе партии на «углубление реформы» и о том, что «без реформ у Китая нет будущего». Нет оснований сомневаться в их искренности и решимости продолжать начатое дело. Но постороннему наблюдателю не может не броситься в глаза, что стоило разгромить «горстку злоумышленников, выступившую против руководства компартии и социалистического строя», как вдруг в моду вошли, казалось бы, забытые песни времен «культурной революции», вновь зазвучали популярные в 70-е годы лозунги: «Учиться у Дацина» и «Следовать примеру Лэй Фэна» [1], а «контрреволюционеры» со знакомой легкостью начали признаваться в совершенных ими жутких преступлениях.

С осени прошлого года студенты вузов вновь, как и во времена «культурной революции», должны проходить военное обучение. Для «укрепления духовного облика» юноши и девушки отправляются на год в армейские части. Средства массовой информации КНР принялись широко рекламировать это нововведение. Некоторые сообщения звучат весьма двусмысленно. Вот, например, выдержка из восторженного репортажа корреспондента агентства Синьхуа, озаглавленного «Счастливый день рождения»: «Ся Тянь, старшекурсница из Пекина, изучающая английский язык, празднует свое восемнадцатилетие вечером 10 октября с десятью соседками, живущими с ней в одной спальне, и тремя офицерами. По случаю праздника она надела новенькую военную форму. Один из офицеров дарит ей пирог и открытку с надписью: «Как ты изменилась с тех пор, как два дня назад стала курсантом. Поздравляем тебя с днем рождения!» Ся Тянь отвечает: «Никогда не могла вообразить, что буду встречать свое восемнадцатилетие в такой обстановке!»

Молодежь объявлена главным объектом борьбы на идеологическом фронте. Для студентов значительно увеличена продол-

[1] Убью (кит.).

[1] Дацин — крупнейшие в Китае нефтепромыслы, пропагандировавшиеся в годы «культурной революции» как образец для всех промышленных предприятий. Лэй Фэн — солдат, погибший в 1962 г. от несчастного случая и объявленный героем благодаря найденному после его смерти дневнику, в котором содержались восхваления в адрес Мао Цзэдуна и его идей.

жительность аудиторных занятий по обществоведческим дисциплинам, в каникулы многие университеты организуют политучебу. Пропагандируется «самоперековка» студентов: по вечерам и ночам они, вместо того чтобы, как раньше, играть в карты, шахматы, мацзян[1], почти поголовно изучают труды Мао Цзэдуна и партийные документы. Усиление идейно-политической работы коснулось даже детей. «Идейно-политическое воспитание надо усиливать с детства, — подчеркнул на специальном совещании по работе с пионерами Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь. — Надо добиться того, чтобы пролетарская революционная идея укоренилась в сознании детей. Только таким образом они приобретут сильный иммунитет в борьбе с тлетворным влиянием буржуазии».

Центр все же пытается удерживать пропагандистский угар в рамках разумного. Главный партийный идеолог Ли Жуйхуань в своих выступлениях время от времени осаживает чересчур ретивых борцов за чистоту принципов: «Для критики либерализации мы не должны пользоваться прежними догматическими, закостенелыми методами. Это лишь воспрепятствует движению Китая по пути модернизации». Но на местах тонкости объяснений того, что партия не отказывается от политики реформ, а всего лишь намерена выправить отдельные перегибы и навести порядок, воспринимаются слабо. Раз подавили «контрреволюционный мятеж», в котором участвовали ученые и писатели, значит, наступила пора прижать интеллигенцию. Раз обвинили прежнего генсека Чжао Цзыяна в ошибках, касающихся сельскохозяйственной политики, значит, пришло время покончить с семейным подрядом. Раз осудили ослабление роли парткомов на промышленных предприятиях, значит, надо сворачивать хозрасчет и «систему ответственности директоров». Раз заговорили об усилении государственного сектора и злоупотреблениях на частных предприятиях, значит, поступил сигнал отказаться от многоукладного хозяйства и начать наступление на частников, кооператоров, акционеров и прочий сброд. Едва центр успевает почувствовать неладное и начать трубить отбой (мол, вы нас неправильно поняли, команды «закручивать гайки» не было), как выясняется, например, что в 1989 году 70 миллионов крестьян уже успели послать на принудительные работы по ирригационному строительству, а 4 миллиона «индивидуалов» (пятая часть их общего числа по стране) поспешили сменить род своей деятельности на более безопасный.

Десять с лишним лет Китай мучительно избавлялся от наследия «культурной революции», а зарубежные наблюдатели вели спор о том, когда пора будет сказать: изменения необратимы, возврата к прошлому быть не может. И именно в тот момент, когда скептики стали составлять явное меньшинство, в стране произошел социальный взрыв, после которого время как будто повернуло вспять и ускорило свой бег. Сейчас многие говорят, что если бы студенты проявили меньше непримиримости, а власти оперативнее и чутче реагировали на требования демонстрантов, то конфликт был бы разрешен мирным путем и «большой скачок назад» не произошел. Но предположения эти бесплодны. Ж.-П. Сартр утверждал, что человек — это не более чем совокупность его поступков. Все нереализованные намерения и надежды имеют значение для его характеристики только в отрицательном смысле. Точно так же любое общество равно лишь созданным им реальным ценностям и отношениям. Проекты, по которым оно строилось, и альтернативы, имевшиеся перед ним, сколь привлекательны бы они ни были, интересны лишь с точки зрения критики сегодняшней действительности.

Можно ли считать «очернительством» разоблачение человека, совершившего убийства и изнасилования, если он по месту основной работы прилежно следовал «духу Лэй Фэна» или получил звание «Ударник коммунистического труда»? Или просто если его воспитатели ждали от него только добрых дел? Ответ, очевидный применительно к отдельному лицу, становится туманным, когда речь заходит об обществе. В нашей литературе не утихают споры о том, могут ли преступления против человечности, совершенные в странах социализма, «перечеркнуть» их «вклад в развитие мировой цивилизации». Строго говоря, эти словопрения не имеют отношения к обществоведению как науке и важны прежде всего для борющихся за власть политиков. Если вслед за Марксом понимать коммунизм не как идеал, а как действительное движение, приходится признать, что во всех странах он нашел практическое воплощение в тоталитаризме. Совершив выбор, общество не может дать обратный ход, оправдываясь при этом: «Ой, мы пошли не в ту сторону! Давайте считать, что допущена ошибка, и начнем все сначала». На любом этапе развития оно ответственно за каждый свой шаг вне зависимости от того, насколько его члены осознают эту ответственность.

Задача исследователя — выяснить, что обусловливает совершаемый обществом выбор. Для этого надо анализировать реально существующие, а не воображаемые производительные силы и общественные отношения. Но этого недостаточно. Очень часто страны со сходными объективными условиями, подвергаясь одинаковому внешнему воздействию, тем не менее выбирают разные пути развития. Сплошь и рядом мы сталкиваемся с этим в «третьем мире», а в последние годы — и в «социалистическом лагере». Имея общий социальный строй и встав на один и тот же путь его обновления, одни страны социализма, бурно начиная преобразования, наталкиваются затем на сложнейшие препятствия, а другие — долго оставаясь индифферентными к перестройке, сразу добиваются революционных изменений. Проблема соотношения детерминизма и свободы воли требует изучения не столько производственных отношений, сколько культуры общества в ее широком толковании — как определенного способа жизнедеятельности. Иными словами, надо искать ответы не на вопрос: «Что?», а на вопрос: «Как?»

[1] Китайская игра в кости.

Центральное место в культурологии занимает категория ментальности — коллективно формируемого в обществе строя мышления и психики, проявляющегося всегда на индивидуальном уровне. Заложенный в каждом человеке «культурный код» позволяет ему ориентироваться во всем многообразии окружающего мира, определенным образом систематизировать получаемую информацию и совершать свой выбор из объективно имеющихся возможностей. Но одновременно он ограничивает мышление определенными рамками стереотипов, выйти за которые индивидуум, как правило, не может.

Одна из главных сторон сущности человеческой культуры — это «наученное поведение», совокупность навыков и привычек, получаемых не наследственным путем, а через опыт общения в коллективе и «прячущихся» на бессознательном уровне. Согласно этому пониманию, важнейшей задачей культуролога становится выявление бессознательных структур за ширмой фетишей и иллюзий. В прямой постановке проблема противоположности бессознательного и сознательного впервые рассмотрена классической немецкой философией. Разбирая взгляды Гегеля, К. Маркс писал: «Видимость противоречит сущности. Видимостью тут является сознательно установленный закон государственного строя, а сущностью — его бессознательный закон, стоящий в противоречии к первому. Сознательно установленный закон тут не выражает того, что заложено в природе вещей; напротив, он составляет противоположность последней»[1]. Стремление увидеть за видимостью сущность, которым проникнуто марксистское учение, стало основой и для теории З. Фрейда о бессознательном, переработанном его последователями применительно к социальным процессам (социокультурная, а не биологическая природа бессознательного; обусловленность человеческого поведения настроенностью на историческое творчество, а не сексуальными влечениями).

Исследованиями европейских (в основном французских) этнологов и историков установлено, что в своей каждодневной практике из реально имеющихся альтернатив общество выбирает тот путь, который соответствует «коллективному бессознательному» (категория, введенная в оборот швейцарским ученым К. Юнгом). Если ментальность «подготовлена», то даже резкие изменения в общественном бытии (пример тому — недавние события в Восточной Европе) происходят как само собой разумеющиеся. Если же бессознательное «сопротивляется», то как бы решительно ни преобразовывался общественный строй, рано или поздно он принимает форму, адекватную мироощущению данного общества. В этом свете далеко не надуманным выглядит приписываемое в публикации Б. Бажанова В. И. Ленину признание о том, что попытка построить в России «по щучьему велению» новое общество провалилась, ибо «так вдруг переменить психологию людей, навыки их вековой жизни нельзя».

Опыт развития Китая по социалистическому пути демонстрирует немало примеров активности коллективного бессознательного. Искренний энтузиазм масс в годы «большого скачка» и безропотное принятие его трагических последствий (особенно в деревне), широкое участие молодежи в шабашах «культурной революции» и выдвигаемые сейчас рабочим классом лозунги типа: «Нам не нужно свободы и демократии, мы хотим есть!» — все это заставляет серьезно усомниться в том, что «большой скачок назад» — это случайность или кратковременное отступление.

II

Не важно, какого цвета кошка —
лишь бы она ловила мышей.
(Афоризм, использованный Дэн Сяопином)

Какого бы цвета ни была кошка —
мышей она все равно не ловит.
(Перефразировка афоризма китайскими студентами)

Что такое социализм? Анализ споров идеологов на эту тему, как правило, приводит к искажению реального содержания понятия применительно к конкретному обществу. Проведенные в 80-е годы опросы общественного мнения показали, что самые смелые высказывания ученых и политиков относительно существующего в КНР общественного строя находят слабый отклик в массовом сознании. Даже у наиболее восприимчивого ко всему новому социального слоя — студенчества преобладают весьма старомодные представления. Занимавшийся изучением этой проблемы социолог Ян Дунпин пишет: «Настоящая проблема состоит, возможно, в том, что «ортодоксальные» политические идеи, имеющиеся у большинства студентов, коренятся в привычках, сложившихся в детстве, а не исходят из сознательного выбора аргументов».

«Коммунизм — это всеобщее равенство», — считают большинство китайских школьников. Другие варианты ответов: «коммунизм — это дух Лэй Фэна», «коммунизм — это справедливость и самоотверженность». В материалах социологических опросов есть и более развернутые определения: «Коммунизм — это когда у меня есть то же, что и у тебя», или: «Когда все являются членами коммунистической партии». «Все к тому времени будут равны, и тогда даже старшим мы не позволим командовать собой», — написал один мальчик. Трудно предположить, что такие определения дети вычитали в учебниках. Они вошли в их сознание незаметно, явившись отражением общего психологического и умственного настроя окружающих. Став взрослее, эти школьники, возможно, выучат «правильные» формулировки, но в реальной жизни, совершая поступки, они будут невольно руководствоваться с детства привитыми представлениями.

История сыграла с социалистической идеей в Китае злую шутку. Являясь плодом научной теории, она была вначале воспринята в этой научной форме (с из-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. I, с. 282—283.

вестными поправками, конечно) незначительной частью интеллигенции (Ли Дачжао и его единомышленники). Советские востоковеды считают, что эта ситуация типична для отсталой страны, начинающей осознавать плачевность своего положения и ищущей скорейшего выхода в революционных теориях. Но затем идея социализма стала овладевать умами широких масс и трансформироваться в соответствии с «коллективным бессознательным». Она как бы приспособилась к традиционным идеалам китайцев (незыблемость установленного Небом общественного порядка, предполагающего добродетельного правителя и благодарный народ, тотальное равенство, строгое подчинение установленным ритуалам) и приобрела форму культа. После создания партии в ее состав все более широким потоком стали вливаться носители квазирелигиозного восприятия социализма и, выражая волю большинства, вытеснять тех, кто пытался стоять на научных позициях. На руководящие посты выдвинулись энергичные и малообразованные люди, после чего Мао Цзэдун — точно так же, как Сталин в ВКП(б), — разными путями избавился от партийной интеллигенции. Закономерен итог: коммунизм в Китае превратился в подобие новой религии, труды классиков стали рассматриваться как канонические тексты, а работа ученых выродилась в разновидность теологии.

Опросы общественного мнения, проведенные в последние годы, свидетельствуют, что даже среди самых образованных слоев китайского населения отсутствуют элементарные знания об основных положениях марксистской теории. По данным опроса молодежи из числа интеллигенции, 70% респондентов никогда не читали ни «Манифеста Коммунистической партии», ни учебников по истории международного коммунистического движения. Невежество и безразличие по отношению к марксистскому учению характерно не только для широких масс, но и для партийных работников, призванных воспитывать эти массы «в духе преданности идеям социализма». Одно из обследований деятельности руководящих работников на селе выявило, что почти половина из них «не проявляет интереса» к трудам классиков марксизма-ленинизма, а 82% предпочитают из всей партийно-политической литературы знакомиться лишь с указаниями вышестоящих органов.

Конечно, эти примеры отражают специфику положения в Китае, где до сих пор насчитывается 220 миллионов неграмотных. Обследования показывают, что в отдаленных деревнях многие до сих пор не знают, что умер Мао Цзэдун и закончилась «культурная революция». Но есть тут и общие черты со всеми социалистическими странами. Если принять поправку на более высокий средний уровень образования, то ситуация в Советском Союзе окажется сходной. Так, исследования наших социологов показали, что и в КПСС идеологические работники в массе своей не отличаются научной любознательностью, предпочитая руководствоваться «пролетарским чутьем» и указаниями «сверху». Как тут не вспомнить К. Маркса: «Теория способна овладеть массами, когда она доказывает ad hominem [1], а доказывает она ad hominem, когда становится радикальной. Быть радикальным — значит понять вещь в ее корне. Но корнем является для человека сам человек» [2]. Пользуясь современными категориями, можно сказать, что объективация идеи может происходить при двух обязательных условиях. Во-первых, если она воспринимается не только на уровне логического мышления, но и входит в подсознание. Ведь человек в своей жизни большинство поступков совершает, не «проигрывая» в мозгу все «за» и «против». Он просто прикладывает новую ситуацию к своей структуре «коллективного бессознательного» (знания, опыт, привычки, стереотипы), что позволяет сразу принять естественное для него решение. Во-вторых, идея должна иметь точки соприкосновения со строем мышления индивидуума, иначе происходит отторжение. Если в обществе господствует культовое сознание, наивно рассчитывать на то, что живущие ныне поколения проникнутся «научным социалистическим мировоззрением».

Приходится констатировать, что в реальной действительности социалистическая идеология везде сейчас существует в форме культа со всеми его составляющими. В Китае, например, налицо догматы веры («только социализм спасет Китай», «социализм — это хорошо, капитализм — нельзя»), широко применяются сакральные формулы («четыре основных принципа», «одно центральное звено, два основных момента» и т. п.), присутствует молитвенность (обязательное цитирование классиков марксизма-ленинизма, Сталина, Мао Цзэдуна для обоснования своих утверждений), продолжает неукоснительно соблюдаться обрядность. Подобно религии, социалистическая идеология внешне проявляется в бессмысленных с точки зрения стороннего наблюдателя ритуалах — тщательно организуемых и строго регламентируемых действиях, выполнение которых позволяет либо впадать в экстатическое состояние, либо создавать видимость «глубокой идейной убежденности». Не занимаясь изучением марксистской методологии и самосовершенствованием, можно просто выполнять установленные правила — повесить на видном месте портрет вождя, посещать мавзолей, ходить на праздничные демонстрации, участвовать в субботниках и других формах примитивного труда, произносить заученные лозунги на ритуальных собраниях — и этого для большинства оказывается достаточно, чтобы считаться правоверным марксистом.

Если рассматривать содержательную сторону культового сознания социализма, то можно заметить, что оно покоится на трех основных структурах: рационализме, эгалитаризме и вождизме. Общество воспринимается как строго организованная система, где все планируется и где нет места случайности. Каждый человек при-

[1] Argumentum ad hominem — доказательство применительно к данному лицу.

[2] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. I, с. 8.

зван отдавать всего себя без остатка обществу — не только свой труд, но и все свои способности, даже самого интимного свойства, — получая взамен гарантии социальной безопасности (пожизненная занятость, минимум продуктов, помощь на случай несчастья). Общество в лице государства с максимальной для себя пользой распоряжается отчужденными продуктами труда и самими человеческими жизнями. Для каждого данного момента этот максимум достижим только при ориентации на «отстающих», к которым приравниваются остальные. Поскольку выявление и развитие талантов требует больших и бесполезных на сегодняшний день затрат (и нет надежных гарантий, что они окупятся в будущем), в качестве идеала выдвигается человек с самыми примитивными способностями и связями. Обществу тоже предписывается самая простая и устойчивая форма организации — тоталитарная. Из общей массы равных во всем людей (а полное равенство возможно лишь при абсолютном самоотчуждении общества, когда ценность человеческой личности низводится до нуля) выделяются лишь приравненный или близкий к богу верховный правитель да особый слой хранителей такого строя — чиновники.

Попытки обнаружить эти бессознательные структуры на поверхности — в официальных документах, зачитываемых по бумажке речах и т. п. — чаще всего безуспешны. Чтобы выявить их, исследователю приходится обращать внимание на кажущиеся случайными оговорки, неловкости — одним словом, фиксировать те моменты, когда объект невольно «проговаривается». Это особенно важно для анализа социалистической идеологии, где, как и в религии, образное мышление преобладает над логическим, бессознательная вера в авторитет — над аргументированным убеждением. «Надо в е р и т ь, что только при наличии правильного руководства партии, направляющей роли марксизма, основных а т р и б у т о в социалистической экономики... наша цель — осуществление социалистической модернизации — будет непременно достигнута», — говорится в постановлении ЦК КПК «Относительно руководящего курса в строительстве социалистической духовной культуры» (1986 год), — нетипичном тем, что принималось в очень накаленной обстановке борьбы с «буржуазной либерализацией», когда было не до тщательного выбора выражений. Очень характерными бывают высказывания, прорывающиеся в неофициальных интервью, которые стали широко публиковаться нашей партийной печатью. «Сама я уважаю людей убежденных, верующих — пусть даже в бога, — заметила член ЦК КПСС В. Н. Плетнева. — А во что я верю? Верила и верю до последнего вздоха в Коммунистическую партию» [1].

Это последнее высказывание свидетельствует об относительной зрелости культового сознания социализма «перестроечного» периода, поскольку на смену агрессивному отношению к инакомыслию приходит веротерпимость. Застрельщиком здесь, как и во многом другом, выступил Китай. В 1982 году ЦК КПК опубликовал циркуляр «Политика партии в отношении религии при социализме». В нем наряду с традиционными марксистскими положениями («инструмент духовного порабощения масс», сохранения пережитков при социализме и т. п.) проскальзывает фраза о том, что «на нынешнем этапе разница в идейных убеждениях верующих и неверующих несущественна». Далее, «исходным и конечным пунктом нашей политики» объявляется «объединение масс верующих и неверующих, концентрация их воли и сил для достижения общей цели — построения модернизированного социалистического могучего государства». Предлагается не отталкивать заблудших, а как бы «дополнить» их религиозные воззрения социалистической идеей. Для этого партии надо взять в свои руки воспитание служителей культа и через «своих людей» наставить всех верующих на социалистический путь. «Главное содержание партийной работы в области религии» формулируется так: «привлекать на свою сторону, объединять и обучать религиозных деятелей, прежде всего профессиональных служителей культа... уделять им (тем, кого «привлекли». — В. З.) соответствующее внимание, заботиться о них, помогать их продвижению».

С помощью структурно-лингвистического анализа можно установить основные «технические» приемы, на которых построен культовый образ мышления социалистического общества, или — иначе — принципы доказательства истины. Первый и наиболее важный из них можно назвать литургическим принципом. В общественном сознании прошлое абсолютизируется и канонизируется. Существует устойчивое представление о «золотом веке» («Великий поход», первая пятилетка — в Китае; 20-е годы, героический труд на благо социализма — в СССР) и существовавшем ранее безупречном плане построения социализма. Высшим авторитетом является авторитет мертвых, ссылка на их мнение необходима и достаточна. Использование трудов классиков в качестве доказательства имеет разнообразные формы: суждение по аналогии (как правило, с цитированием изречений), переинтерпретация (редактирование), интерполяция (приписывание классикам собственных мыслей) и, наконец, фабрикация [1].

Другой принцип мышления — схематизм. Выдвигается догмат, или априорная истина (например, невозможность роспуска коллективных хозяйств, передачи земли в собственность крестьянам), под которые подверстывается жесткая логическая схема, безупречная сама по себе, но абсурдная для того, кто в этот догмат не верит (недаром Альбер Камю абсурд связывал с избытком логики). Многообразие фактов подвергается простому перечислению либо укладывается в схему «с одной стороны, с другой стороны», что позволяет не создавать новое знание, а укреплять существующие в обществе отношения.

Наконец, существенную роль играет такой способ мышления, как гипертрофия. Для усиления своей позиции принято сгущать краски, а аргументы оппонента представлять в окарикатуренном виде. Так, по-

[1] «Правда», 2 января 1990 г.

[1] См.: Л. С. Васильев. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989, с. 249—253.

пытки некоторых китайских обществоведов утвердить тезис о гуманистическом содержании марксистской теории («марксизм — это наиболее полный гуманизм», «система, полностью отвечающая потребностям развития человеческой личности», «человек — исходная точка марксизма») расценены в пропагандистской литературе как подмена учения К. Маркса «абстрактным гуманизмом» и как «фактическая постановка вопроса о том, нужен ли еще марксизм, нужен ли еще исторический материализм».

Бессознательные структуры обладают очень высокой устойчивостью. Это особенно заметно в традиционных изолированных культурах: только что перечисленные приемы мышления просуществовали в Китае тысячелетия. И уж конечно, трудно ожидать существенных сдвигов в «коллективном бессознательном» на протяжении краткой пока истории социализма; в лучшем случае можно говорить лишь о приглушении одних черт и актуализации других. За самыми решительными поворотами политики и изменениями идеологических установок стоят один и тот же образ действий, одна и та же психология Французский структуралист Клод Леви-Строс, один из первых увидевший одинаковое предназначение мифологии древних и политической идеологии современных обществ, утверждал: «Дело в том, что сущность мифа составляют не стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем и с т о р и я» [1]. Разные люди могут интерпретировать миф каждый по-своему: делать смешным или трагичным, что-то добавлять или опускать, менять местами положительных и отрицательных героев, вкладывать одну мораль или другую. Но во всех интерпретациях есть определенные способы толкования, узловые моменты, логические связки, которые остаются универсальными до тех пор, пока миф не умирает. Не может быть какой-то одной «достоверной» версии мифа или идеологии. Все они равноценны и являются лишь вариантами, служащими внешним отражением (перевернутым, как в камере обскура, или искаженным, как в кривом зеркале) единой бессознательной структуры, одинакового видения мира. Нельзя считать нэп в Советском Союзе или первую пятилетку в Китае «истинным» проявлением политики социализма, а последующие этапы — «деформациями». Культуролог, изучающий ментальность социалистического общества, обнаруживает — быть может, с удивлением для себя — единую основу у противоположных, казалось бы, политических идей сталинизма и перестройки, «культурной революции» и реформ.

Универсальные бессознательные структуры ближе всего к «поверхности» подступают в периоды крупных исторических перемен. За решительными формулировками типа «Реформа — это революция», за гневным осуждением «ошибок» предшественников и уверениями в окончательном отказе от догм то и дело проглядывают старые подходы, в основе которых — «априористический» (Ф. Энгельс) метод мышления. Партийные документы переходного периода еще отчетливей, чем раньше, говорят, по меткому замечанию академика С. С. Шаталина, «на языке веры». В материалах съездов КПК, пленумов ЦК, выступлениях китайских руководителей вы не найдете строгих определений того, что следует понимать под словом «социализм». Культовое сознание этого и не требует: ведь в объекте поклонения должна содержаться непостижимая разумом загадка. Обязательный мистический элемент содержит и политика перестройки, понимаемая как «обновление социализма». Любой шаг по ее осуществлению сопровождается произнесением заклинания, отлитого в формулировке XIII съезда КПК: «Наше общество уже социалистическое, и нам необходимо твердо держаться социализма, а не отходить от него». Судьба китайской цивилизации считается неотделимой от социалистического выбора. Возможные сомнения с ходу отвергаются ссылками на историю («капиталистический путь оказался для Китая непригодным», а революция обеспечила «блестящие достижения») и на радужную коммунистическую перспективу. Пока же, по утверждению «Жэньминь жибао», сравнивать свои успехи с чужими бессмысленно: «Только в середине следующего столетия, когда мы достигнем уровня среднеразвитой страны, мы сможем с уверенностью сказать, что социализм действительно превосходит капитализм и что мы в действительности его построили».

«Мне пришлось ограничить з н а н и е, чтобы освободить место в е р е», — говорил Кант. Априористические «несущие конструкции» представляют собой идеологические табу — думать об их правомерности запрещено. Конечно, в условиях перестройки количество таких запретов резко уменьшается, но рано или поздно разум наталкивается и на них. С теми, кто касается табуированных тем, даже не спорят. Ряд китайских ученых в 80-е годы пытался, пользуясь научными категориями, переосмыслить историю КНР и характер общественного строя. Они выдвигали предположения о том, что революция 1949 года была крестьянской, что в период жизни Мао Цзэдуна в стране построен «аграрный социализм», что до сих пор в Китае большую роль играют феодальные отношения и т. д. Аргументированной критики этих концепций не было. До поры до времени их авторы свободно высказывались, пока наконец эти искания не были попросту объявлены «обливанием грязью социализма», «воспеванием капитализма», «неверием в социализм, коммунизм и руководство партии».

Характерно, что большинство из этих ученых всю жизнь стояли на марксистских позициях. Это естественно для обществ с унитарной идеологией, выполняющей роль религии, где любая новая идея неизбежно появляется лишь в форме ереси. Однако, по мере того как разум в своем постижении действительности продвигается все дальше, рано или поздно наступает следующий этап: на смену ересям приходит срывание «ореола святости» с существующей идеологии. Фан Личжи — известный астрофизик, получивший на Западе

[1] К. Леви-Строс. Структурная антропология. М., 1985, с. 187.

за правоборческую деятельность имя «китайского Сахарова», вскоре после исключения из КПК в 1987 году вызывающе заявил: «Марксизм принадлежит определенной эпохе развития цивилизации, которая уже кончилась. Он подобен изношенной одежде, которую нужно отложить в сторону».

Социалистическое еретичество и богохульство находят определенную поддержку в массовом сознании. Китайские социологи установили, что насильственное «обучение» марксистской теории в 50—70-х годах вызвало у части населения недоверие или даже устойчивую неприязнь к социалистической идее. Это открыто проявилось в перестроечный период, когда старые методы идеологической обработки были несколько ограничены. Как показали опросы общественного мнения, проведенные в 1987 году, гордость от проживания в социалистической стране испытывают немногим более половины респондентов, тогда как 30% относятся к этому безразлично, 15% — «не горды», чуть более 1% — «стыдятся». Особенно широко настроения разочарования распространены среди молодежи. В Шанхае, например, лишь четвертая часть молодых людей назвала коммунизм одним из своих главных идеалов.

Закономерность некоторой деидеологизации общества, таким образом, очевидна. Но что дальше? Для человека, чей духовный строй основывается на культе, утрата одной веры означает лишь принятие или по крайней мере поиск другой. Чрезвычайно редки случаи, когда этот поиск перемещается в сторону научного мировоззрения. Большинство ищет новую точку опоры в иной вере. В Китае частичная деидеологизация в 80-х годах сопровождалась всплеском массового интереса к идеям, имеющим самые прочные корни в сфере бессознательного. Помыслы и действия людей резко переместились в этноконфессиональную плоскость. Среди многообразных культурных феноменов именно чувство принадлежности к определенной нации, к ее традиции и религии составляет самый глубинный пласт сознания, тесно соприкасающийся с биологической стороной человека.

Многими умами овладела всегда присутствовавшая в китайской традиции идея национальной исключительности, обратной стороной имеющая комплекс неполноценности. Эта удивительная смесь гордости с униженностью приняла особенно агрессивные формы после событий на Тяньаньмэнь, когда на страну с разных концов мира обрушились обвинения. Газета «Гуанмин жибао» в феврале 1990 года опубликовала поэму «Не задевайте нашу гордость», адресованную людям Запада, которые обвиняют Китай в нарушении прав человека. Автор Мэн Вэйцзай утверждает в ней, что права человека в КНР заменяет любовь к Родине и китайцам не нужны заморские «спасители», проповедующие общечеловеческие ценности. С наивной откровенностью Мэн предупреждает:

Мы не верим в духов,
Мы не верим в бога.
Только нашу гордость
Лучше вам не трогать.
. . . . . .
Знаете ли, люди,
Вы секрет Китая?
Я, как местный житель,
Вам открою тайну.
Как один, горды мы
Тем, что мы — китайцы.
Никогда не смейте
В нашу жизнь вторгаться.

Заметно вырос интерес к духовным ценностям, господствовавшим до революции. Для более или менее образованной части населения главным объектом внимания стало конфуцианство, для широких масс, особенно в деревне, — традиционные религии, древние верования и обряды. В конце прошлого года газета «Нунминь жибао» рассказала о «культовом психозе», охватившем многие районы страны. В качестве примера приводились факты, свидетельствующие о резком увеличении в последние годы числа паломников, приходящих к буддийским святыням в провинцию Хунань. Особое беспокойство авторов вызвало то, что среди этих людей быстро увеличивается доля молодежи (в 1986 году — 10%, в 1988 году — 26%). Корреспонденты обратили внимание на процессию из 200 человек, которую привел заместитель председателя народного правительства одного из поселков. Он с гордостью заявил: «В нынешнем году мы собрали хороший урожай зерна во всей волости. Предприятия получили много прибыли, а крестьяне стали богаче. Все говорят, что дело в хорошей политике, но здесь не обошлось и без покровительства Будды». Самое большое удивление вызвал учитель, который привел 25 учеников помолиться за то, чтобы их приняли в старшие классы. «Вышестоящие организации устанавливают ограничения на прием в средние школы высшей ступени, — объяснил он, — и из-за этого у нас разыгралось несколько трагедий. Видя, что многие приходят сюда на поклонение Будде, мы позволили это сделать и нашим ученикам. Ведь у нас нет другого способа помочь им». Анализируя создавшуюся ситуацию, редакция газеты пришла к выводу, что рост интереса к буддистской символике (подавляющее большинство паломников не имеют отчетливого представления о содержании этой религии и увлекаются лишь обрядной стороной) вызван «утратой идеалов», неудовлетворенностью тем, что «никто не может понятно объяснить, что такое социализм».

В 80-е годы в Китае появилось вдруг огромное количество шаманов, ведьм, прорицателей, гадалок. Они приобрели необычайную популярность. Широкие массы населения, например, обеспокоила проблема злых духов. Средства массовой информации сообщают о трагических происшествиях. В одной деревне сошедшую с ума женщину муж привел к местному шаману, который принялся изгонять духов огнем. «Пациентка» заживо сгорела. В другом случае какой-то местный кадровый работник, обеспокоившись свалившимися на него неурядицами, решил избавиться от духов с помощью ручных гранат и подорвался в собственном доме. Еще где-то группа незнакомцев явилась в село и, назвавшись оборотнями, выгнала всех мужчин, изнасиловала оставшихся женщин, ограбила несколько домов и спокойно удалилась.

Печать культового сознания обнаруживается на самых, казалось бы, прогрессивных движениях. То сочувствие, с которым были встречены на Западе студенческие выступления протеста в 1986 и 1989 годах, связано прежде всего с демократической направленностью требований демонстрантов. Американцы и европейцы исходили при этом, естественно, из своего понимания демократии, как правило, не задумываясь, что в одно и то же слово представители разных культур могут вкладывать разный смысл. В ходе опроса китайских студентов, проведенного в апреле 1989 года, им было предложено выбрать из представленного перечня главные отличительные признаки демократии. Подавляющее большинство проигнорировало такие основополагающие для западного человека позиции, как «разделение властей и механизм сдержек и противовесов», «многопартийная система», «уважение к инакомыслию», и т. п. В первую очередь студенты отметили «власть закона, а не личности», «неподкупную честность правительства», «равные возможности» и «демократический централизм». Рассматривая эти ответы, китайский исследователь Чжао Тао сделал вывод о бессознательной приверженности молодых людей, несмотря на кажущуюся порой «революционность», традиционной политической культуре Китая. Так, их пиетет к законности имеет мало общего с евро-американскими идеями о правовом государстве и связан с традиционным убеждением «закон — инструмент правителя». Об этом свидетельствует тот факт, что более половины студентов поддержали тезис: «Следует мириться с тем, когда правительство для того, чтобы справиться с напряженной ситуацией, выходит за рамки закона». Аналогичным образом требование «неподкупной честности правительства» соответствует традиционному идеалу добродетельного властелина, а понимание «равных возможностей» — тоталитарно-эгалитаристскому идеалу. Показательно также, что половина студентов уверена в том, что демократия «не соответствует» или «не совсем соответствует» условиям Китая, а для 38% слово «свобода» ассоциируется с беспорядками в обществе.

Проще всего было бы ограничиться в этом случае утверждением о «неготовности» конкретной нации — китайцев — к политическим реформам. Однако исследованиями социологов разных школ и направлений доказано, что во многих социалистических странах политические способности среднего человека (они включают политическую компетентность и политическую активность) имеют качественные отличия от западного мира. Об этом можно судить, например, по тому, насколько высоко ставится такая основополагающая для демократии ценность, как свобода личности. Согласно данным одного опроса, даже в Венгрии, имеющей сравнительно богатый опыт политических реформ, всего лишь 25% респондентов назвали свободу в числе первых четырех из 18 предложенных первоочередных жизненных ценностей. В среднем же венгры отвели свободе восьмое место, тогда как американцы в параллельном опросе — третье. Наш социолог М. Ю. Урнов, проведя пилотажное исследование, установил, что у советских людей преобладает декларативное принятие демократии, тогда как психологические черты, необходимые для ее жизнеспособности, выражены слабо.

Призывы к демократии для основной массы участников выступлений протеста в Китае весной — летом 1989 года явились таким же фетишем, каким была до этого социалистическая идея. Как и всегда в таких случаях, логически обоснованные конкретные требования, выдвигавшиеся вначале узкой группой научной и творческой интеллигенции, были либо отвергнуты толпами демонстрантов, либо обращены в примитивные и искажающие первоначальный смысл лозунги. Так незадолго до начала волнений группе китайских ученых удалось опубликовать в прессе развернутую программу политических реформ, выдержанную в «западническом» духе. Предлагалось пересмотреть действующую Конституцию, в частности передать всю власть собраниям народных представителей, ввести прямые выборы в парламент, обеспечить полную независимость суда, изъять из Основного закона название правящей партии (КПК) и предоставить населению возможность свободного создания общественных и политических организаций, привести законодательство страны в соответствие со «Всеобщей декларацией прав человека». Ни одно из этих требований не нашло отражения в петициях демонстрантов и голодающих.

Массовое движение протеста в Китае, получив толчок от немногих сознательных поборников демократии, вылилось затем в зеркальное отражение официальной идеологии. Оно сохранило все господствующие догмы, но как бы подставило к ним противоположный знак. «Коммунизм — это не более чем красивая сказка», «Капитализм — это хорошо» — подобных лозунгов было мало, но для руководства КНР именно они выглядели «визитной карточкой» студенческого движения. Когда оскорбляется объект поклонения, механизмы «коллективного бессознательного» включаются на полную мощность. Формально — логическое мышление почти полностью подавляется, и на поверхность выплескивается лишь праведный гнев. У людей в сознании всплывают сформировавшиеся в детстве и глубоко прятавшиеся до поры до времени образы. Чистыми, незапятнанными вновь начинают восприниматься фигуры Мао Цзэдуна и его «нержавеющих винтиков». «Осуществление социализма означает познание духа Лэй Фэна, — восклицает в январе 1990 года на официальном мероприятии высокопоставленный военный руководитель Лю Хуацин. — Дух Лэй Фэна — это дух коммунизма. С этим духом наша армия станет непоколебимой».

Перенос центра тяжести политики КПК на идеологическую работу в ортодоксальном ключе — вовсе не «проявление маразма престарелых лидеров КПК», как пытается объяснить этот процесс западная пресса. Это естественная реакция людей, чья идейная убежденность имеет самые глубокие корни в бессознательных структу-

рах. Бесцветная кошка, от которой требуется только ловить мышей, — небольшое преувеличение, которое позволил себе Дэн Сяопин, использовав этот образ в своих выступлениях на заре реформ. В переломные моменты истории именно цвет для многих приобретает решающее значение. А вот какой именно — это зависит от реальной расстановки политических сил в обществе, от сложившегося в ходе реформ баланса интересов.

III

Реформа — это, в сущности, перераспределение интересов. Она должна противостоять интересам тех, кто стоял у власти, интересам старых господствующих слоев, и выражать интересы предпринимателей и интеллигенции, представляющих новые производительные силы.

Су Шаочжи

В канун политического кризиса, разразившегося весной — летом прошлого года, идеологическая палитра Китая была как никогда красочной. Закрытая теперь властями газета «Шицзе цзинцзи даобао», которая играла примерно ту же роль, что у нас «Московские новости», так определяла цвета различных общественно-политических направлений. «Темно-коричневые» (консерваторы) — сторонники ортодоксально-марксистской идеологии, считающие, что реформы «скорее смахивают на капитализм, чем на социализм», и призывающие к решительной борьбе с «вредными поветриями». «Девственно-белые» (вроде наших почвенников) — проповедники уникальности китайской нации, настаивающие на сохранении традиций общинности, добродетельности и отвергающие индустриализацию и прочие иноземные искушения. «Шикарно-желтые» (западники) — энтузиасты «наведения мостов» между Востоком и Западом, представленные в основном далекой от политики естественно-научной и технической интеллигенцией. «Вызывающе-синие» (те, кому приписывают идею «капитализации») — технократы, соблазненные опытом Японии и новых индустриальных стран и предлагающие реализовать «азиатскую модель»: свободный рынок и жесткая диктатура элиты («неоавторитаризм»). «Ярко-красные» (по-нашему — «левые радикалы») — борцы за последовательную демократизацию страны, обвиняющие руководство в медлительности и недостаточном внимании к политической реформе.

Пока преобразования в обществе протекали «мирно», приверженцы разных идей вели свободные споры, изобретая все новые аргументы. Но во время кризиса многообразия как не бывало. Вся страна оказалась разбитой на два враждующих лагеря. Столь желанная раньше, а теперь приводящая в ужас консолидация (внутри каждого из лагерей, разумеется) была достигнута в считанные дни. Тонкости индивидуальных позиций, оттенки мнений — все как рукой сняло: «четыре основных принципа» либо «буржуазная либерализация», «тирания компартии» либо «патриотическое и демократическое движение». Если при былом наличии многих точек зрения еще существовала слабая надежда на поиск компромиссов, то отныне любой, даже самый простой вопрос становился предметом ожесточенной борьбы, в которой обе стороны считали невозможным идти на уступки.

На протяжении последнего года стороннему наблюдателю трудно было избавиться от ощущения ирреальности происходящего. Крупные китайские ученые, с интереснейшими работами которых я знаком, а с некоторыми лично встречался, — люди, которых грешно заподозрить в неумении логически мыслить, — вдруг начали как заведенные твердить о страшной опасности, угрожающей социалистическому строю, о зловещих замыслах империалистов и враждебных происках «буржуазных либералов». Словно актеры пекинской оперы, участники этого политического спектакля нарядились в грубо раскрашенные маски — кто героев, кто злодеев — и нарочитыми жестами и неестественными голосами принялись демонстрировать собственную правоверность и коварство противников.

Подавив эмоции, можно попробовать взглянуть на это явление с позиций культурологии. Известно, что поведение человека не поддается простому объяснению, учитывающему только его естественные потребности и условия. Люди часто действуют вопреки соображениям благоразумности, стремясь достичь созданного ими идеала, идя на самопожертвование или самоубийство. Кроме того, обещания и искренние намерения нередко отличаются от реальных действий, а иногда и противоположны им. Поиск причин таких поступков не принесет результата, если их не соотносить с культурным контекстом, вне которого человек не существует. Как родовое существо он, участвуя в совместной деятельности с другими людьми, обладает и пользуется определенным кодом — языком, «словарем мотивов» и т. д., — посредством которого и совершает свой жизненный выбор.

Культурно обусловленное избирательное отношение к объективно существующим возможностям в сочетании с установкой на удовлетворение потребностей есть интерес. Именно к такому пониманию категории интереса подходил Гегель, хотя в марксистской литературе возобладала и продолжает оставаться популярной утилитаристская трактовка, делающая упор на материальную сторону. В последнее время некоторые авторы стали отходить от такой традиции. В очень серьезном исследовании А. Т. Ханипова доказывается принадлежность интереса не материальным условиям жизни, а волевым отношениям [1]. Именно влечение, желание достичь поставленную цель — осознанное или, по Фрейду, находящееся на уровне латентного бессознательного (иначе — предсознательного, то есть в любой момент способного стать сознательным) — составляет главный элемент содержания интереса.

Главная отличительная черта культурной традиции Китая — самоощущение человека как неотъемлемой частицы чего-то более общего: коллектива, массы, нации. В

[1] А. Т. Ханипов. Интересы как форма общественных отношений. Новосибирск, 1987, с. 106—108.

отличие от европейской цивилизации, личность в Китае никогда не являлась высшей ценностью, и цель ее развития — не обретение свободы, а растворение в мире и всеобщем порядке. Поэтому изучение интересов в китайском обществе необходимо начинать с законов, определяющих действия и психологию масс.

Начиная с Гюстава Лебона, западные ученые, занимавшиеся изучением психологии толпы, в соответствии со своими индивидуалистскими представлениями характеризовали ее исключительно как явление регрессивное. Мышление человека, вовлеченного в толпу, деградирует, его поступками руководят бессознательные влечения. Ценой массового единения становится невосприимчивость к логическим доказательствам, легкая внушаемость через навязываемые извне образы, готовность верить в самые неправдоподобные идеи. Ощущение силы в единстве, основанное на бессознательном, пробуждает инстинкты первобытной орды — агрессивность и разрушительность. Подавление личности приводит к замкнутости и уродливым проявлениям себялюбия. Первое, что бросается в глаза европейцу при общении с китайцами, — неискоренимые недоверчивость, подозрительность и лукавство. Но надо ли так далеко ходить? Сравнительные исследования показывают, что и в Советском Союзе почти 70% участников выборочных опросов причиной честных поступков окружающих склонны считать не высокие моральные качества, а страх наказания, тогда как 72% американцев придерживаются противоположной точки зрения.

Будучи легко внушаемой, толпа, как и всякий культурный феномен, обладает тем не менее своими собственными интересами. Китайская цивилизация, тысячелетиями находившаяся в состоянии крайне неустойчивого равновесия с природной средой, вела постоянную борьбу за выживание. От общества требовалось предоставлять всем членам на равных условиях минимум жизненных средств, поддерживать устойчивое единство и преследовать тех, кто пытается его нарушить. Отсюда — установка на всеобщее равенство, которую Ф. Энгельс называл «стихийной реакцией», «выражением революционного инстинкта» масс, полное удовлетворение которого — с позиций западного человека — «неизбежно приводит к нелепости» [1].

Перестройка социалистического общества, помимо экономической и политической, имеет также культурную сторону. Развитие рынка, апробация демократических принципов создают условия для развития у людей нетрадиционных качеств — стремления к самостоятельному творчеству, инициативности, критичного отношения к действительности, тяги ко всему новому. К середине 80-х голов реформы в Китае зашли настолько далеко, что привели к формированию социальных слоев, разительно отличающихся от общей массы. В деревне это зажиточные крестьяне, способные вести товарное производство, которых еще недавно в китайской прессе называли «наиболее активными элементами на селе», «культурными людьми, обладающими техническими навыками, деловой хваткой, отдающими всю душу своему делу, стремящимися к знаниям, желающими вкладывать деньги в производство». Среди горожан это владельцы индивидуальных и частных предприятий, работники кооперативов, арендаторы и акционеры, в чей психологический портрет обязательно вплетены такие черты, как вкус к риску и даже авантюризм. К ним присоединилась часть интеллигенции, обладающей — хотя бы в зародыше — нонконформистскими качествами в любой цивилизации. Разобщенность всех этих людей с основной массой выразилась не просто в классовой форме, а в принципиально ином понимании сущности бытия, самой жизни.

Едва появившись, эта новая группа стала объединяться, у нее появились собственные экономические, социальные, политические притязания. Ее не могло удовлетворить абсолютное господство «ничейной» государственной собственности, при которой человеку отводится роль пассивного исполнителя, а инициатива и творчество наказуемы. Предприниматели и интеллигенция кровно заинтересованы в максимальном расширении свободы выбора, которую дает многообразие хозяйственных форм, включая частную собственность. Однако такая направленность перестройки находится в явном противоречии с «революционным инстинктом» тотального равенства. Проведенный в 1986 году социологический опрос показал, что треть китайских рабочих продолжала сомневаться в соответствии реформ «принципам марксизма-ленинизма», а почти 40% считали, что поощрение зажиточной жизни «может привести к делению общества на бедных и богатых». Когда же на следующий год в стране начался перевод предприятий на новые принципы оплаты по труду, более 70% заявили, что им больше по душе старая уравнительная система.

Среди социальных слоев, оказавшихся в авангарде перестройки, отчетливо проявилось стремление изменить свое положение в обществе. В ходе выборочных опросов 1987—1988 годов выяснилось, например, что в провинции Ганьсу лишь 14% представителей интеллигенции удовлетворены отношением к себе властей. В Шанхае 88% молодых людей с высшим образованием заявили о невозможности в полной мере использовать свои профессиональные знания и навыки, а 95% пожаловались на то, что им не разрешается проявлять инициативу в работе. Последние десять лет официальная пропаганда усердно убеждала население не относиться к представителям умственного труда как к людям «второго сорта». Был даже выдуман лозунг: «Интеллигенция — это часть рабочего класса» (подразумевалось, видимо, что это менее обидно, чем носить наименование «прослойки»). Однако, как показывают опросы, в массовом сознании отношение к ней принципиально не изменилось и по крайней мере половина респондентов попрежнему согласна с тезисом: «У интеллигенции хорошая репутация, но пользы она приносит мало».

Интеллигенция и новые слои, занятые

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 108.

предпринимательством, попытались активизировать общественно-политическую деятельность, «бум» которой пришелся на середину 80-х годов. Они принялись создавать различные ассоциации и объединения, созывать конгрессы и съезды, выступать на страницах печати. Это не могло не вызвать глухого раздражения основной массы населения, особенно рабочего класса, которому «революционное чутье» подсказало, что его социальный статус стремительно падает. На сознательном уровне недовольство приняло образ борьбы за социальную справедливость. Объясняя причины нынешнего ужесточения политики в отношении индивидуального и кооперативного бизнеса, китайская пресса ссылается на то, что народ очень раздражают «выскочки» и «нувориши», среди которых оказалось немало людей, нечистых на руку.

Нельзя сказать, что эти обвинения беспочвенны. Финансовые проверки устанавливают, что 80% частников уклоняются от уплаты налогов и занимаются различными махинациями (для сравнения: среди государственных предприятий в этом же уличена примерно половина). Но иного и быть не может. Привычку «урвать кусок побольше и смыться» многие считают национальной чертой китайцев, однако, если смотреть шире, она представляет собой неотъемлемый элемент экономической культуры любого общества, в котором реализуется массовое стремление к тотальному равенству. По сути дела, речь идет об одном из проявлений с детства воспитываемого иждивенчества — уверенности в том, что ты имеешь право не только требовать от государства обеспечения прожиточного минимума вне зависимости от результатов труда, но и присваивать некоторые излишки. К последним может относиться как государственное имущество, которое «плохо лежит», так и личное, которое надо поделить, если у кого-то его оказалось слишком много. Стремление к уравниловке, за которым стоит тайное желание сделать поменьше, а получить побольше, проявляется во всех сферах жизни — начиная с экономики и кончая семейными отношениями. Оно просматривается даже в политических движениях. Яркий пример — поведение участников «культурной революции», которое, помимо прочего, определялось и стремлением «пограбить». Эта установка жива и в наши дни. «Благодаря экономическим реформам наша жизнь, конечно, стала лучше, чем была десять лет назад. Но все, кто стал богатым в результате реформы Дэна, — это нечестные люди. Все они думают только о деньгах», — недвусмысленно отозвался о «выскочках» один из участников голодовки на площади Тяньаньмэнь в мае прошлого года.

Культурный аспект социально-экономических противоречий, возникающих в ходе реформ, — это конфликт между массовостью и индивидуализмом, между серостью и талантом, между некомпетентностью и профессионализмом. Противоречия эти при всей их остроте не относятся к категории антагонизмов. Они естественны для обществ, находящихся в переходном состоянии, и могут играть не только разрушительную, но и прогрессивную роль. В конкретной ситуации, сложившейся в Китае во второй половине 80-х годов, они сыграли роль устойчивого фона — в данном случае неблагоприятного — политической борьбы.

Рано или поздно новые социальные слои в КНР должны были — по достижении определенного уровня консолидации — выдвинуть свои политические притязания, притязания на власть. Перед самым началом волнений в Пекине и других городах во время одной из жарких научных дискуссий Су Шаочжи высказал то сокровенное, что давно уже будоражило многие умы: «В реформе политической системы главное — чтобы партия подала пример. Иначе ни одну проблему решить не удастся. Если по-настоящему будет так, что и партия играет главную роль, и народ играет главную роль, — а для этого партия должна решиться на отказ от некоторых привилегий, — то только в этом случае у реформы будет надежда».

Требование к правящей партии «поделиться властью» — вот тот пробный камень, о который сломала зубы не одна реформа в странах социализма, и не только в Китае. «Ядро буржуазной либерализации — противодействие руководству партии, а без руководства партии не может быть социалистического строя» — в этой аксиоме, высказанной Дэн Сяопином, отлито идеологическое обоснование безальтернативности субъекта власти при социализме. Но какие интересы стоят за этой позицией? Официальное объяснение сводится к тому, что компартия сначала выражает интересы самого прогрессивного класса — пролетариата, а по достижении обществом зрелости — всего народа.

Даже простой здравый смысл подсказывает, что ни одна постоянно стоящая у власти партия не в состоянии выразить интересы всех без исключения социальных групп в обществе. Лукавство официальной версии видно невооруженным глазом. Вопрос в том, в чем именно лукавит партия — когда уверяет, что способна учитывать, координировать и выражать все существующие интересы, или когда провозглашает новые принципы «обновленного социализма», в том числе свободное развитие многообразных форм собственности и ликвидацию уравниловки.

С позиций культурологии ответ может быть найден с помощью изучения сущности отношений между массой и вождем. Еще З. Фрейд отмечал их двойственный характер: с одной стороны, бессознательное стремление масс к покровительству сильной личности, безусловное подчинение авторитету, без которого они не могут прожить и дня, с другой — отождествление себя с вождем, требование равенства с ним и ненависть к нему как выражение скрытой зависти. В социуме, действующем в соответствии с законами психологии толпы, всеобщее стремление к тотальному равенству создает лучшие шансы претендовать на роль вождя для «самой выдающейся посредственности», то есть человека, одержимого теми же влечениями, что и толпа, и отличающегося от остальных только либо еще большей одержимостью, либо выдающейся волей. Рано или поздно к влас-

ти в таком обществе приходят личности, являющиеся носителями и выразителями интересов черни — люмпен-пауперских и маргинальных слоев, в наибольшей степени соответствующих идеалу «чистого листа бумаги». В результате властные отношения тотального равенства оборачиваются вопиющим неравенством людей с разными качествами, которых примеряют к одному и тому же прокрустову ложу «социальной справедливости». Для поддержания этого порядка требуется мощный чиновничий аппарат, призванный подавлять проявления индивидуализма, и слитая с ним воедино партия, выступающая духовным вдохновителем и политическим руководителем всеобщего уравнивания.

Масса не способна на осознанное выражение своих интересов, их может сформулировать только вождь. Но он имеет и свои собственные, обособленные интересы, которые, пользуясь авторитетом, навязывает массе. Там, где не существует официальных различий между людьми по экономическому признаку, единственной и высшей ценностью становится политическая власть в чистом виде. Присутствующая у любой личности настроенность на историческое творчество концентрируется в бессознательном стремлении («творческом инстинкте», по Ницше) пользоваться властью над другими людьми. Сохранение, упрочение, расширение границ власти является для вождя главной целью — и в этом он противопоставляет себя массе.

Теоретическая схема отношений вождя и массы — со всеми многочисленными поправками, которые вносит реальная жизнь, — «работает» применительно к социалистическому обществу. Наша политическая практика последних лет свидетельствует, что в борьбе идей из уст представителей аппарата неизменно звучат две главные угрозы: «Народ этого не поймет (не позволит)» и «Какие-то силы рвутся к власти!» Преобладание этих мотивов еще заметнее в Китае с его десятилетним опытом перестройки. В конце 70-х годов, когда в стране насчитывалось до 150 миллионов голодающих и экономика находилась на грани развала, при обосновании необходимости приступить к реформам сквозь идеологически выверенные формулировки нет-нет да прорывались те же два аргумента. Если верить опубликованным за рубежом материалам, главный теоретик экономической перестройки того времени Чэнь Юнь на совещаниях ЦК КПК, где царит более раскованная атмосфера, чем на форумах высокого уровня, так объяснял свою позицию: «Пища для людей важнее всего. С «большого скачка» до настоящего времени люди умирают с голода. Может такое положение считаться хорошим? Должно ли управление общественной безопасности Пекина выполнять обязанности похоронной команды? Если мы станем решать проблемы пищи, жилья, одежды и других предметов первой необходимости, чтобы у всех настала хорошая жизнь, к вопросам идеологии можно ослабить внимание...» Наряду с беспокойством за судьбу народа прозвучал, наконец, и самый убийственный довод: «Как только простой люд вскроет и поймет истинное положение вещей, то, возможно, власть будет потеряна».

Извечный вопрос: что для вождя важнее — отвечать чаяниям масс или сохранять власть? Какой тип побеждает — «фанатик» или «практик»? Б. Бажанов, вспоминая о борьбе группировок Сталина и Зиновьева в ВКП(б), писал: «Наблюдая их весь день в повседневной работе, я должен был с горечью заключить, что благо народа — последняя их забота. Да и коммунизм для них только удачный метод, который никак нельзя покидать...» Примерно те же выражения присутствовали у некоторых китайцев, дававших зарубежным корреспондентам интервью незадолго до начала политического кризиса. «Социализм, — говорили представители интеллигенции, — это то, о чем говорят наши руководители. Это слово, которое они используют, чтобы оставаться у власти». «Эти люди — не коммунисты, — восклицал рабочий. — Они просто старые феодалы, которые боятся народа и презирают нас». На эту тему сочинили даже частушку:

У ЦК минутки нет — формируют кабинет.
Мэры провинций — всегда за границей.
Лидер уезда — обжора нетрезвый.
Начальник волости — вор по должности.

Очевидно, что здесь возобладала ненависть массы к вождям. Насколько справедливы такие обвинения? Социологические исследования показывают, что руководящие работники КНР более искренни в своих социалистических убеждениях, чем все остальные социальные группы. Иного и быть не может. Человек не в состоянии жить постоянно во лжи. Он склонен оправдывать перед собой поступки, направленные на реализацию корыстных интересов, и облекать их в «благородную» форму. В сознании большинства руководителей главенствует мотив служения народу, тогда как воля к власти вытесняется на уровень латентного бессознательного и может быть распознана сторонним наблюдателем лишь через сумму спонтанных действий, а также через рано или поздно срывающиеся с языка тайные признания.

В процессе непрекращающейся борьбы за власть в «верхах» закономерно появляются лица, которые в моменты социальной напряженности решаются противопоставить себя своей среде. Испытывая решительное осуждение других вождей, они приобретают такую поддержку масс, о какой не приходится мечтать ни одному обладающему реальной властью руководителю. Помимо самого по себе выигрышного образа «обиженного» аппаратчика успех для такого изгоя достижим при выполнении двух условий. Во-первых, претендент на роль нового вождя должен выглядеть для массы «своим парнем», удовлетворяя ее желанию чувствовать себя равной с ним. Одной из причин высокой популярности Ху Яобана явилось то, что он заметно выделялся среди остальных китайских руководителей своим необычным поведением. Много разговоров ходило о его упорном характере, упрямстве и бескомпромиссности. В годы

«культурной революции» он приобрел репутацию «человека с крепкой шеей» за то, что на митингах критики никогда не признавал себя виновным и стоял с высоко поднятой головой, даже если ему на шею вешали тяжелую доску с надписью: «Ревизионист Ху Яобан». Широко известна была его эмоциональность: во время выступлений сильно жестикулировал, срывался на крик, мог неожиданно сказать что-нибудь «не то». Складывались легенды о его непритязательности в быту и необычайной скромности. По уверениям пекинцев, в 70-е годы Ху Яобана часто можно было видеть на улице идущим в магазин за покупками. Многим импонировала его общительность, умение легко находить общий язык с «простыми людьми».

Во-вторых, идущие вразрез с официальной линией лидеры не могут добиться власти иначе как представив свой интерес в виде всеобщего, отвечающего чаяниям широких слоев населения. Так или иначе, новый вождь должен выразить жажду тотального равенства, которую испытывает толпа, но сделать это в форме, отличающейся от той, которую избрали остальные правители. Наиболее очевидный вариант — переключить массовое чувство зависти с «выскочек» и «нуворишей» на пользующихся привилегиями бюрократов. Показательно, что в первые недели студенческих выступлений прошлого года имя Чжао Цзыяна стояло в массовом сознании в одном ряду со всеми руководителями КПК. Но как только студентам стало известно, что Чжао Цзыян терпимо отнесся к их демонстрациям и активно поддержал требование покончить с разложением в партии и коррупцией в органах власти, он сразу приобрел ореол «добродетельного правителя». Как показывают материалы опросов пекинцев, именно эти два требования (а вовсе не демократизация страны и ускорение реформ) ассоциировались в массовом сознании с акциями протеста. Когда же пронесся слух о том, что Чжао Цзыян посажен под домашний арест, в массах возник образ мученика, страдающего за народное дело, и студенты вышли на улицы с лозунгами «Долой Дэн Сяопина!», «Долой Ли Пэна!», «Защитим Чжао Цзыяна!».

После подавления студенческих волнений в июне 1989 года Чжао Цзыяну был предъявлен счет идеологических «грехов»: потворствование «идейному течению буржуазной либерализации», поддержка курса на «капитализацию» экономики, поощрение «частников-спекулянтов» и т. п. В пафосе этих обвинений тонуло главное из них — попытка «узурпировать власть» в КПК и отстранить от нее «старых революционеров». За жаркими идейными спорами, массовыми манифестациями и трагедией на площади Тяньаньмэнь незримо присутствовали интересы группировок высшего руководства, борющихся за усиление своих позиций.

IV

Ни одно общество не бывает полностью хорошим, но ни одно из них не бывает и абсолютно плохим. Все они предоставляют своим членам определенные преимущества, а также и элементы неравенства, удельный вес которых, видимо, приблизительно постоянен...

К. Леви-Строс

Один из осязаемых результатов десятилетних реформ в КНР — появление двадцати тысяч совместных предприятий, оснащенных добротным оборудованием, относительно передовой технологией и использующих непривычные для китайцев методы организации труда. О повседневной жизни этих предприятий можно судить по рассказам иностранных бизнесменов — представителей другой культуры, участвующих в совместной деятельности, но несущих свежесть восприятия. Генеральный директор совместного японо-китайского центра по ремонту и обслуживанию автомобилей «Хайжи» (город Хайкоу) Х. Танака рассказывает: «Отношение рабочих к труду неприемлемо, и не существует никакой возможности для уменьшения затрат. Многие из них отказываются принимать новую технологию или учиться обращаться с новым оборудованием, все время приговаривая в свое оправдание: «Здесь, в Китае, мы...» Особенно разочаровывает трудовая этика — она похожа на ту, что существовала в Японии сразу после войны. Более того, за шесть лет, прошедших со времени создания компании, не заметно никаких улучшений. Хотя мы и получаем прибыль, работа идет все хуже. Ни один человек не отрабатывает ту зарплату, которую получает».

Многие иностранцы на совместных предприятиях охвачены чувством изумления. Х. Танака никак не может понять: три года назад на проходной вывесили большие часы с тем, чтобы регистрировать приход и уход рабочих, но те до сих пор их не замечают. При этом руководители с китайской стороны всячески покрывают опаздывающих и прогульщиков, особенно если это член партии или профсоюза. Из 81 человека 15 японцы считают «отпетыми», но они уже поняли, что пытаться избавиться от бездельников — безнадежное дело. По установленным правилам, компания должна продолжать выплачивать уволенным львиную долю зарплаты, так что некоторые даже стремятся, чтобы их прогнали. Попытки дать приличное образование хотя бы тем, кто уже работает, тоже часто не оправдывает себя. Одного способного рабочего на деньги компании послали учиться в вуз, так по возвращении его забрало городское транспортное управление, которому понадобился «резерв на выдвижение».

Каждый советский человек знает: если западная фирма строит у нас «под ключ» предприятие, то надо постараться купить партии, первыми сходящие с конвейера, потому что как только фирмачи уедут, качество продукции быстро упадет до среднего по стране уровня. Такого рода явления типичны для всех обществ с традиционными и квазитрадиционными

структурами. Они часто отторгают или до неузнаваемости перелицовывают новые для них отношения. Если страна осуществляет индустриализацию, то непременно формирует экономику чисто затратного типа, если проводит аграрную реформу, то в виде всеобщего обобществления, если объявляет культурную революцию, то начинает уничтожать интеллигенцию и обеспечивать поголовную грамотность. Крупный американский этнограф Маргарет Мид заметила: «Точно так же, как узник, спящий на жесткой постели, много лет мечтает о мягкой и находит, выйдя из тюрьмы, что может спать только на жесткой, как голодающие люди, переехав к месту, где пища лучше, находят, что их тянет к менее питательной и ранее казавшейся невкусной пище их детства, так и всякий народ, по-видимому, более упорно держится за те культурные традиции, которые он усвоил ценою страданий, чем за приобретенные в удовольствиях и радостях» [1].

Способ, каким осуществляется действие, не менее важен, чем само это действие. Даже в такой, казалось бы, далекой от человеческих страстей сфере, как экономика, одни и те же шаги приводят к противоположным результатам в разных культурных контекстах. Скажем, переход на рыночные методы управления во многих странах социализма приводит не к «включению» закона стоимости с его принципом эквивалентного обмена в соответствии с общественно необходимыми затратами, как при капитализме, а к отношениям, которые можно назвать «хозрасчетным идиотизмом»: натуральный обмен между предприятиями, массовое падение рентабельности, безумная трата средств на капитальное строительство и закупки сырья, поголовное повышение зарплаты и уничтожение даже последних признаков оплаты по труду. И дело здесь не только в переходном состоянии общества, отсутствии должного опыта и квалифицированных кадров. Внешние атрибуты рынка наполняются соответствующим им содержанием только тогда, когда в обществе имеются массовые проявления «рыночного характера» (выражение Эриха Фромма). Последний означает, что человек постоянно ощущает себя товаром, имеющим не только потребительную, но и меновую стоимость и выступающим на «рынке личностей», где успех зависит от «упаковки» — умения подать себя. И до тех пор, пока общественное сознание хранит традицию презрительного отношения ко всякому, кто стремится «обскакать других», пока большинство хватается за спасительную соломинку: «Пусть мы бедные, но у нас есть идейные принципы и богатый духовный мир», самые радикальные реформы и даже революции могут оказаться блефом.

Однако «культурный детерминизм» обманчив. Столь обязательное для капитализма стремление к наживе самый широкий простор имело во многих традиционных восточных цивилизациях. Капитализм же победил на Западе, где общественное сознание хранило строгие моральные принципы, ставящие заслон для абсолютного господства «золотого тельца». Можно привести многочисленные примеры, свидетельствующие, что само по себе знание культурных традиций мало что дает для понимания закономерностей современного общественного развития. Культурологи незаменимы для объяснения уже свершившихся событий, но их прогнозы, как правило, неверны. Американский исследователь У. О'Мэлли провел недавно ревизию экономических прогнозов двадцатилетней давности применительно к странам Юго-Восточной Азии, сделанных на основе изучения культурных факторов, и выяснил, что почти все они были ошибочны. Считалось, например, что тайцы с их слабой способностью подчиняться строгим правилам социальной организации не в состоянии будут в обозримом будущем освоить современные технологии, а ценящие лишь клановые и семейные связи бирманцы — плохой человеческий материал для динамичного индустриального производства. На деле же оказалось, что Таиланд совершил прорыв в освоении передовой технологии, а Бирма продемонстрировала редкий для нынешних времен 6-процентный темп промышленного прироста. Возлагались большие надежды на бурное развитие рынка в Индонезии, где торговцы-мусульмане выглядели готовой базой для формирования «среднего слоя». И действительно, рынок в стране расцвел, «средний слой» появился, но как раз торговцы-мусульмане не сыграли в этом почти никакой роли.

Рассуждения о культуре вообще, сводящиеся к смакованию традиционных черт той или иной нации, как правило, бессмысленны без тесной привязки к ее экономическому и политическому положению. Что толку усматривать традиционные конфуцианские корни в «японском» или «тайваньском чуде», если существует огромный континентальный Китай, являющийся оплотом конфуцианской культуры и пока слабо реагирующий на вызов, предъявляемый новой технологической революцией? Куда плодотворнее оказываются междисциплинарные исследования, в которых конкретные элементы культуры анализируются в связи с конкретными экономическими и политическими явлениями и действиями.

Характерный пример — разгоревшиеся в нашей стране споры о колхозах и аренде. Важнейший аргумент сторонников консервации колхозного строя сводится к тому, что за десятилетия со времен «великого перелома» произошло «раскрестьянивание» деревни, а нынешний «гомо советикус» приспособлен только к колхозной жизни. Из этого делается вывод, что большинству крестьян землю в аренду отдавать нельзя, что они «не хотят» переходить на аренду, «не готовы» к ней и т. п. Эти абстрактные рассуждения опрокидывает реальный опыт Китая, где перед повсеместным переходом деревни на семейный подряд положение выглядело немногим лучше. Как показывали обследования конца 70-х годов, состав сельского населения был очень молодым: четыре пятых жителей родились и выросли после 1949 года, получив суровую закалку

[1] М Мид. Культура и мир детства. М., 1988, с. 334—335.

«народных коммун» и «культурной революции». 70% крестьян были неграмотны либо получили образование в объеме начальной школы, а 60% не разбирались в агрономии и не имели практического опыта обработки земли. «Ключевую силу» составляли 45—55-летние крестьяне, успевшие получить трудовой опыт первой пятилетки. Их доля не превышала 20% от всей рабочей силы в деревне (в нашей стране «настоящих» крестьян, по оценкам, не более 15%). Тем не менее подряд и аренда вполне прижились на китайской почве, стоило лишь развязать людям руки.

Особенно часты осечки у политологов, пытающихся строить свои выводы с учетом культурных факторов. В 1985 году многие советологи, характеризуя новую группу руководителей КПСС во главе с М. С. Горбачевым, обратили внимание главным образом на то, что эти лидеры принадлежат к поколению, чей формационный период пришелся на годы развенчания культа личности Сталина. И лишь значительно позднее, уже постфактум, стало учитываться, что жажда обновления, воспитанная временами «оттепели», густо замешена на страхе и идеологической зашоренности, так что в решающий момент выбора у человека включается «внутренняя цензура». Разумом он может понимать, что государственная эксплуатация более жестока, чем частная, что однопартийная система меньше всего приспособлена к демократии. Но когда надо решать, легализовать ли частную собственность и оппозиционные партии, бессознательный порыв заставляет сделать все возможное, дабы не допустить «крамолы». Если же выбор чреват ослаблением власти, любые логические доводы бессильны: человек способен отступить только перед лицом более сильной угрозы (например, когда приходится выбирать между добровольным отказом от части политических привилегий и насильственным свержением).

Еще более драматичным оказалось опровержение прогнозов относительно поведения нового поколения китайских руководителей. В начале 80-х годов западные синологи часто писали о том, что в КНР «на подходе» более молодые функционеры, среди которых ведущее место занимает так называемая группировка «лю э пай» — лица, учившиеся в 50-е годы в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Ожидалось, что их приход вызовет новую волну реформ, что опять же связывалось с влиянием «оттепели». После политического кризиса прошлого года представители «лю э пай» закрепились на высших партийных и государственных постах (Ли Пэн, Ли Жуйхуань и другие), но ни один из них не встал на позиции радикального обновления. Их девиз — умеренность, осторожность, рационализм. Ни один из этих людей не «запятнал» себя выражением поддержки или сочувствия массовому оппозиционному движению, ни один не поступился «четырьмя основными принципами» [1].

Для культуролога одинаково наивны лозунг «Больше социализма!» и утверждения о банкротстве социалистической идеи. Больше социализма, чем было при Сталине, Мао Цзэдуне и Пол Поте, быть уже не может. Ибо трудно точнее на практике реализовать социалистический идеал, хранящийся «в глубине сознания народа»: абсолютное равенство, поклонение авторитету, ориентация на максимальную «общественную полезность».

Еще большая бессмыслица — категорическое отрицание социалистической идеи. «Каждая эпоха жаждет некоего более прекрасного мира. Чем глубже отчаяние и разочарование в неурядицах настоящего, тем более сокровенна такая жажда», — утверждал голландский историк Йохан Хёйзинга [1]. Одним из выражений стремления людей к более «справедливому» общественному устройству и служит идея социализма. Являясь, как и всякая человеческая идея, отражением реальной жизни, она не может быть «хорошей» или «плохой». Качественный и оценочный момент привносят сами люди, пытающиеся воплотить ее в действительность.

Как политическая идеология, социализм подчиняется общим законам духовного развития человечества. В нынешней, культовой форме, он, по определению З. Фрейда, оказывается «не вечным достоянием, а анологией неврозу, который каждый культурный человек должен был преодолеть на своем пути от детства к зрелости» [2]. Именно этот процесс преодоления мы сейчас переживаем. Естественно, что он имеет некоторое сходство с тем, как проходила и проходит демистификация мировых религий, прежде всего ислама, несущего сильный заряд мессианства и нетерпимости.

Напрашиваются определенные аналогии между концепциями «гуманного, демократического социализма» в СССР, «начальной стадии социализма» в КНР и исламского «возрождения», охватившего в 70 — 80-е годы многие регионы мира В обоих случаях налицо попытка восстановить господство религиозных или квазирелигиозных форм в общественном сознании путем «модернизации» культа. Как в мусульманских странах ислам, так в социалистических — социалистическая идея меняет свою общественную роль: она уже не просто вбирает в себя все остальные формы сознания, а выступает как благосклонный покровитель науки, искусства и т. д. Ее задача теперь — не подавлять, а направлять и поощрять. Это отражает глобальный сдвиг в мышлении общества от примата материальных ценностей к духовным. Во главу угла ставятся общечеловеческие принципы — подлинный гуманизм, свобода выбора, создание равных возможностей, гармонизация отношений между государством и «простыми людьми». К экономике предъявляются нормальные требования, соблюдение которых необходимо для нормального развития: динамичный, гармоничный рост, повышение уров-

[1] К ним в Китае относят: социалистический путь, диктатуру пролетариата, руководящую роль компартии, марксизм-ленинизм — маоцзэдун'идеи.

[1] И. Хёйзинга. Осень Средневековья. М., 1988, с. 33.

[2] З. Фрейд. Введение в психоанализ. М., 1989, с. 406.

ня и качества жизни, решение проблем бедности, занятости, образования и т. п. На все это как бы набрасывается в одном случае — исламская, в другом — марксистская категориальная сетка, что позволяет одновременно и приспособиться к новым реалиям в мире, и сохранить старую духовную точку опоры.

Модернизация культа — процесс длительный и болезненный. Ослабление идеологического пресса, воспитание веротерпимости не могут не вызывать крайности и соблазны. Поскольку речь идет об «обновлении» и «возрождении», в общественном сознании обязательно появляется фундаменталистское течение, представители которого воспринимают происходящее как сигнал к восстановлению культа в прежних формах и объемах. Они не приемлют поворот к общечеловеческим ценностям и расценивают его как предательство: «Раньше у людей была вера, а теперь всю распродали». О том, насколько сильным может быть это направление общественной мысли, свидетельствуют пример Ирака, прошлогодние события в Китае, обострение политической борьбы в нашей стране.

Серьезные опасности для стабильности общества возникают и в случае, когда, наоборот, массовое сознание не консервируется, а быстро утрачивает прежние иллюзии. Для социалистической идеи такой сценарий наиболее реален, ибо она сильно уступает по глубине воздействия обычным религиям, прежде всего мировым. В идеологии социализма отсутствует важнейший элемент — апелляция к личности, к душе человека. Односторонняя «ориентация на массу» делает очень уязвимой веру в коммунизм, которая сохраняет высокую устойчивость лишь в условиях жесткой культурной изолированности и действии запретов на мышление. Опросы общественного мнения, проводившиеся в последние годы в СССР и КНР, однозначно свидетельствуют: чем образованнее и культурнее человек, чем больше у него возможностей для сопоставления разных общественных систем, тем слабее коммунистические убеждения.

Однако само по себе признание утраты иллюзий выглядит в наше время банальным, а главное, ничего не проясняет. Чтобы понять, к чему это ведет, нужен строгий и очень конкретный анализ. Наиболее вероятными являются два варианта. Один из них сводится к тому, что общество сохраняет в более или менее полном виде внешние атрибуты, которые принято приписывать социализму, и за этим фасадом развивается в соответствии с существующими на сегодняшний день бессознательными влечениями. Как показывают исследования социологов, в Китае и Советском Союзе очень высок уровень социального конформизма, особенно среди молодежи и наиболее образованных слоев населения. Большинство из них чрезвычайно серьезно относятся к достижению собственных интересов, но при этом стремятся не входить в конфликт с существующей системой и тем более с властями, а, соблюдая установленные «правила игры», добиваться своего, что называется, втихаря, через неформальные связи. Существование такого рода «двойной морали» создает самые благоприятные условия для того, чтобы социалистическая идея окончательно превратилась из предмета веры в инструмент сознательной борьбы за власть. На практике это приведет к подчинению общества сильным мафиозным структурам в экономике и политике.

Второй вариант предполагает интенсивное замещение в массовом сознании социалистического идеала суррогатом других культур. В этом случае шансы для «капитализации» общества вопреки опасениям как китайского, так и советского руководства минимальны. Преклонение тех или иных социальных групп перед внешними проявлениями буржуазного образа жизни, восхваление частной собственности — все это, по удачному выражению белорусских социологов, «всего лишь имитация какой-то иной культуры, к которой их участникам очень хотелось бы принадлежать, но подлинные ценности которой им недоступны, скрыты от них»[1]. Куда реальнее усиление того, что английский политолог М. Брэйди назвала «фашистским элементом в перестройке». Для широких масс населения замену или дополнение социалистической идеи легче всего найти в национализме, авторитаризме, традиционной религии, то есть идеалах, с которыми они полностью не порывали и которые вписываются в их «коллективное бессознательное». В сочетании с сохраняющимся господством государственной собственности образуется мощная основа для того или иного варианта национал-социализма.

Существует немного шансов, чтобы избежать все эти крайности. Если это удастся, на первый план выйдут проблемы, связанные с уязвимостью самих концепций «начальной стадии социализма» и «гуманного, демократического социализма», взятых в рафинированном виде. Ни одно современное общество не существует без иллюзий и поклонений фетишам. Опыт западных цивилизаций последнего столетия свидетельствует, что избавление от одного культа влечет за собой рождение другого. Наиболее чистый эксперимент — эволюция культуры Соединенных Штатов Америки, независимое существование которых начиналось в условиях максимальной деидеологизированности (насколько деидеологизированность вообще возможна). Однако уже к началу XX века в стране сформировалась новая мифология, отражающая реалии американского образа жизни (мифы о чистильщике обуви, ставшем миллионером, о Золушке, превратившейся в суперзвезду, и т. п.). Основополагающим мифом нашей идеологии является историческая предопределенность социалистического выбора.

Вместе с тем культурные процессы, охватившие мир в последние десятилетия, все нагляднее демонстрируют, что идейно-политические различия (социализм, капитализм, «третий путь») — вовсе не самые важные. Существуют более глубокие кри-

[1] И. Н. Андреева, Н. Я. Голубкова, Л. Г. Новикова. Молодежная субкультура: нормы и система ценностей. Социологические исследования, 1989, № 4, с. 53.

терии обособления обществ, которые можно назвать цивилизационными. Людей разделяют не столько идеи (новое политическое мышление показывает, что даже при самых серьезных разногласиях они могут находить общий язык), сколько основанные на бессознательном способы жизнедеятельности и мироощущения.

Прошлогодний политический кризис в Китае при всех его внешних идеологических проявлениях имел глубокую цивилизационную подоплеку. Среди обвинений оппозиции наряду с многочисленными ярлыками «капитализации», «буржуазной либерализации» и т. п. прозвучал и протест против навязывания китайскому обществу западных ценностей «крайнего индивидуализма» — «перенос приоритетов с общественного на личное, с обязанностей — на права, с аскетизма — на индивидуальное раскрепощение, с культа морали — на материальные стимулы». Ярко выраженный цивилизационный подтекст прозвучал в обвинении Чжао Цзыяна в том, что тот «прибегал к не имеющему никаких предпосылок абстрактному лозунгу «заботиться о человеке, уважать человека, понимать человека», делая его основным объектом идейно-политической работы, и не говорил об образовании человека, воспитании человека, возвышении человека...» Приговор, вынесенный оппозиции, суров: «Они говорят лишь о личных правах, но не об обязанностях перед обществом, говорят, отрываясь от общественного коллективизма, о личной борьбе, о собственных планах, о самореализации, в корне отвергая при этом ценностные ориентиры воспитания «обладающего идеалами, моралью, дисциплиной и культурой» нового социалистического поколения».

Ясно, что в Китае, как одном из самых чистых представителей восточной цивилизации, судьба оппозиции, хотя бы частично ориентирующейся на западные ценности, была предрешена. В ином положении находится наша страна. Концепция «гуманного, демократического социализма» принципиально отличается от современной китайской идеологии тем, что имеет ярко выраженную ориентацию на человеческую индивидуальность, рассматриваемую в качестве высшей ценности бытия. Такой подход создает предпосылки для преодоления ограниченности вульгарно-классового подхода и подключения СССР к единому потоку развития западных цивилизаций, сущность которых состоит не в выборе между капитализмом и социализмом, а в ориентации на наиболее полное развитие личности.

Однако столь последовательная определенность есть одновременно и самоограничение общества, признающего для себя неприемлемыми ценности, которые условно можно назвать коллективистскими. Более того, выбор в пользу ценностей западных цивилизаций невозможен для многих наций, проживающих в нашей стране. Республики Прибалтики и Средней Азии не могут существовать в рамках одной и той же ментальности. Это должно заставить нас внимательнее взглянуть на сущность восточных цивилизаций. Европеец привык видеть в них полную противоположность своему Я и расценивать их не иначе как воплощение абсурда, карикатуру на человечество. И только тесное общение двух типов цивилизаций, ставшее возможным в XX веке, позволило понять, что Запад и Восток — не антиподы. Обе культуры имеют точки соприкосновения, но поиск их возможен лишь на уровне высших форм человеческого сознания, максимально удаленных от бессознательного — в науке и искусстве, воплощающих свободу человеческого духа.

В силу установившихся у нас и превратившихся в привычку жестких идейно-политических ограничителей, диалог этот чрезвычайно затруднен. Он может со временем стать реальностью только в условиях широкой свободы выбора, когда каждый человек и общество в целом получат возможность и начнут стремиться к достижению «самости» — наиболее естественного для себя единства бессознательного и сознательного. Этому требованию не соответствует господствовавшая до последнего времени идеология, основанная на постулате: «Можно, но нельзя» (плюрализм мнений — можно, плюрализм идеологий — нельзя; рынок — можно, частная собственность — нельзя и т. д.). Ни одно из общественных устройств не должно считаться идеальным, ни одна идеологическая аксиома — священной. Незыблемым остается лишь принцип: «Подвергай все сомнению». Не потерял актуальности кантовский панегирик критике: «Если правительства считают полезным вмешиваться в деятельность ученых, то их мудрой заботливости о науке и обществе более соответствовало бы способствовать свободе такой критики, единственно благодаря которой можно поставить на прочную основу деятельность разума, а не поддерживать смехотворный деспотизм школ, которые громко кричат о нарушении общественной безопасности, когда кто-то разрывает их хитросплетения, между тем как публика их никогда не замечала и потому не может ощущать их утрату»[1].

Свобода выбора означает ответственность и острое чувство вины. Свободный человек не в состоянии объяснить кризис в стране ссылками на Сталина, Брежнева или «банду четырех», считая себя непричастным. У него нет права на самооправдание. Единственный выход — осознание своей обреченности на свободный выбор одного из множества путей, ни один из которых не является «хорошим», но все «плохи» поразному.

[1] И. Кант. Соч., т. 3, с. 98.

Публицистика

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

Перевод с английского ИОСИФА КОСИНСКОГО и ЛЮДМИЛЫ СКОРОПИСЦЕВОЙ

Глава восьмая
Человек, который знал слишком много

В декабре 1938 года Кривицкий прибыл в Нью-Йорк. Тот же Воль выхлопотал для него визу в американском посольстве в Париже, и в его биографии начался новый этап.

До Кривицкого почти все перебежчики старались обосноваться в Париже — центре наиболее массовой (и, надо сказать, на редкость пестрой) российской эмиграции.

Теперь эмигрантская волна начинала перехлестывать через Атлантический океан, и столицу Франции в ряде случаев следовало рассматривать как транзитную станцию, не более.

Дело в том, что над Европой все более сгущались тучи. К концу 1937 года зловещая тень Гитлера нависла здесь куда более ощутимо, чем, скажем, чувствовалось присутствие далекого Сталина. К тому же евреев, например того же Кривицкого, не могла не тревожить жестокая антисемитская кампания, начатая Гитлером. По сравнению с вялой и уже изрядно деморализованной Францией Соединенные Штаты казались воплощением стабильности, безопасности и национальной терпимости. Для Кривицкого этот фактор стал решающим. Его четырнадцатимесячное пребывание во Франции совпало с разгаром охоты НКВД за нежелательными эмигрантами и невозвращенцами.

Первые месяц или два, пока семья осваивалась в Нью-Йорке, а сам он нащупывал пути, ведущие в журналы и издательства, их существование омрачалось только одним: их сбережения быстро таяли. Что же касается Ежова и его оперативных групп, то из Америки они казались какими-то инопланетянами. Но вот наступил день — это было 7 марта 1939 года, — когда эти обитатели другой планеты вынырнули в центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер.

Кривицкий как раз обедал в ресторане на Таймс-сквер. За одним столом с ним сидел Давид Шуб, редактор нью-йоркской еврейской газеты и автор известной биографии Ленина. Едва они приступили к обеду, как открылась входная дверь, вошли трое и уселись за ближайший столик. Двое были незнакомы Кривицкому, но стоило ему взглянуть на третьего, как кусок застрял у него в горле. В третьем он узнал Сергея Басова, ветерана советской военной разведки, заслан ного в Штаты за несколько лет до этого с заданием «врасти в американскую почву» и до поры до времени затаиться. Басов так преуспел в этом, что ухитрился даже получить американское гражданство, которое служило здесь самым надежным прикрытием для любого разведчика.

Похоже, что Басов тоже сразу узнал Кривицкого — но еще более вероятно, что он просто выслеживал его и, следовательно, встреча не была для него неожиданной и такой уж случайной. Кривицкий поднялся, чтобы уйти, увлекая за собой Шуба, но Басов тут же последовал за ними, и у кассы произошел довольно странный разговор. Кривицкий в упор спросил Басова, не явился ли тот с целью тут же его застрелить. Басов заверил его, что, напротив, он присутствует здесь «совершенно неофициально» (?!) и хотел бы только «по-дружески потолковать» с Кривицким. Естественно, что в это трудно было поверить. Роковая встреча Игнатия Рейсса с его убийцами тоже началась с весьма дружелюбного разговора.

Правда, там дело происходило в безлюдном швейцарском лесу. А тут за окнами грохотал многолюдный Нью-Йорк и менее чем в сотне метров высилось надежное убежище — здание газетного концерна «Нью-Йорк таймс».

Кривицкий и Шуб направились прямо туда и, как только вошли, не мешкая поднялись в пресс-центр на третьем этаже — впрочем, в неотвязном сопровождении Басова. Хотя и казалось маловероятным, что в такой обстановке тот пустит в ход оружие, Кривицкий понимал, что для него вопрос жизни и смерти состоит в том, сумеет ли он оторваться от преследователей. В противном случае Басов получал шанс

Окончание. Начало см. в № 6 и 7.

выследить, где Кривицкий с семьей снимал квартиру.

На протяжении дальнейших шести часов в приемной ничего не подозревающего редактора «Нью-Йорк таймс» разыгрывался исполненный драматизма спектакль. Шуб звонил по телефону во все концы города, взывая о помощи, и в здание начали стекаться естественные союзники Кривицкого — дружески настроенные к нему нью-йоркские журналисты и российские эмигранты. Как только начали прибывать эти «подкрепления», Басов предпочел убраться восвояси. Но, вероятно, только для того, чтобы вновь присоединиться к двоим своим помощникам, оставленным на улице, и теперь они наверняка втроем поджидали Кривицкого внизу. Оставалось лишь надеяться, что с наступлением вечера, когда Таймс-сквер заполнится толпами театралов, ему удастся незаметно выскользнуть, вскочить в машину, принадлежащую одному из друзей, и таким образом уйти от преследования.

Этот инцидент, естественно, изменил благодушное отношение Кривицкого к своему на первый взгляд такому безопасному американскому убежищу. Отсутствие личной полицейской охраны, казавшейся поначалу вовсе ненужной, ощущалось как досадное упущение. Но дело было не только в этом. К своему ужасу, Кривицкий обнаружил, что у него, по-видимому, нет никакой возможности вступить в контакт с американской контрразведкой. Власти этой страны были попросту равнодушны к его персоне. Когда, стараясь никому не бросаться в глаза, Кривицкий сошел на американский берег с французским удостоверением личности в кармане, он воспринимал это отсутствие официального контроля как случайный промах властей, благоприятный для него. Но вот, начиная с апреля 1939 года в американской прессе публикуется серия сенсационных статей Кривицкого, разоблачавших злодейские намерения Сталина и его грязные методы. И, естественно, их автор захотел ощутить признаки хоть какой-то опеки со стороны американских властей.

Разоблачения начались со статей, помещенных в «Сатердей ивнинг пост». Позже они вошли в книгу мемуаров Кривицкого, увидевшую свет в конце того же 1939 года. Как статьи, так и мемуары, казалось бы, должны были заинтересовать американскую контрразведку. Здесь, в Нью-Йорке, как сообщала печать, находился бывший генерал советской военной разведки и, более того, человек, до недавнего времени являвшийся одним из руководителей шпионской сети Кремля, раскинутой по всей Западной Европе [1].

Несмотря на условность этого генеральского чина, любое заинтересованное ведомство не могло не видеть, что речь идет об уникальном источнике информации, относящейся к международной подрывной деятельности коммунистического государства. Было видно также, что Кривицкий готов выдать эту информацию по первому требованию. Как ни парадоксально, в Соединенных Штатах 1939 года нашлось только одно официальное лицо, заинтересовавшееся такой информацией. Причем это был сотрудник отнюдь не ФБР, а Госдепартамента.

Разоблачения, сделанные Кривицким, как конфиденциальные, так и публичные, основывались на следующем убеждении. Если в двадцатых годах Сталин делал все, что было в его власти, для разложения и подрыва тогдашней Германской республики [2], то захват власти Гитлером полностью изменил позицию Кремля. Кривицкий указывал даже точную дату этого поворота в советской политике — 30 июня 1934 года, когда Гитлер начал «чистку» — первую в истории своего кровавого режима, — уничтожив Рема и его сподвижников из штурмовых отрядов. Не далее как на следующую ночь Сталин, по сообщению Кривицкого, созвал специальное заседание Политбюро для обсуждения и оценки того, что произошло в Берлине. Безусловно, Сталин втайне восхищался Гитлером, сумевшим решительно устранить соперников в борьбе за власть, не придавая значения тому, что это устранение было не чем иным, как вероломным убийством старых товарищей. Не случайно постановление Политбюро, вынесенное той ночью, внесло в умы советских партийцев немалую сумятицу. Сталин объяснил членам Политбюро, что своей решительной акцией Гитлер продемонстрировал твердое намерение ни с кем не делить власть, и более того, что он является лидером, с которым следует считаться. Отныне Советский Союз, маскируя свои истинные цели шумихой антифашистской пропаганды, начал всеми средствами добиваться новой главной цели своей внешней политики. А именно — установления взаимопонимания с гитлеровской Германией [3]. Два великих диктатора призваны были думать не о том, как перегрызть друг другу глотку, а о том, как обменяться крепким дружеским рукопожатием.

Едва успела завершиться публикация его статей в «Сатердей ивнинг пост», как мир стал свидетелем эффектного подтверждения правоты их автора: 23 августа 1939 года Молотов и Риббентроп подписали печально знаменитый нацистско-советский пакт. Это ошеломляющее событие сразу выдвинуло Кривицкого в ряды наи-

[1] Вальтер Кривицкий, работая в ГРУ (Главном разведывательном управлении), никогда не имел звания, соответствующего генеральскому. В 1933 или 1934 году он был переведен в НКВД. Ко времени своего бегства он был резидентом НКВД в Голландии и отвечал за взаимодействие этого очага советского шпионажа с соответствующими центрами в других западноевропейских странах, находясь, однако, по-прежнему в относительно невысоком чине.

Насколько известно, сам Кривицкий был несколько озадачен тем, что ему приписывают генеральское звание, но, с точки зрения его издателей, это требовалось в рекламных целях, для привлечения большего внимания американской читающей публики к его статьям и книге.

[2] В этой кампании Кривицкий принимал и личное участие, например, работал по нелегальному сколачиванию кадров для «германской Красной армии».

[3] Развивая эту тему, Кривицкий дошел до утверждения, что даже вмешательство Сталина в гражданскую войну в Испании, против «держав оси», представляло собой по существу только еще одну попытку склонить Гитлера к переговорам о союзе и сделать его более уступчивым в ходе таких переговоров.

более осведомленных комментаторов мировой политики. Из рядового антикоммунистического публициста он сделался чем-то вроде политического прорицателя. Соответственно повысились и его акции в глазах разведывательных служб.

В середине тридцатых годов президент Рузвельт дал ФБР новое для того времени задание: следить за антиамериканской деятельностью иностранных держав на территории США. Поскольку наибольшую активность на международной арене проявляла, как многим тогда казалось, гитлеровская Германия, ФБР сконцентрировало свое внимание на нацистских происках против США. Этим можно как-то объяснить (но, конечно, не оправдать) то равнодушие, с которым относилась американская контрразведка к информации о более давних и более серьезных советских происках, в частности, о подрывной деятельности «Амторга», начавшейся вскоре после первой мировой войны.

Правда, после того как вспыхнула вторая мировая война, нашлись учреждения и люди, готовые прислушаться к сообщениям Кривицкого. 11 октября 1939 года он был приглашен в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. В отличие от ФБР она имела к тому времени уже двадцатилетний опыт расследования иностранных подрывных акций. Однако слушания по «делу Кривицкого» и тут с убийственной ясностью показали, что у членов Комиссии все еще сохранилось детское представление о внешнеполитической деятельности СССР. И не только о внешнеполитической.

Кривицкому пришлось потратить немало времени, объясняя им, к примеру, что высшим руководящим органом Советского государства является Политбюро и что истинным правителем страны давно уже сделался Сталин, что коммунистическая партия «контролирует правительство СССР» (Кривицкому пришлось дважды повторить эту формулировку: Комиссия хотела удостовериться, что не ослышалась и поняла его правильно), что посредством Коминтерна Сталин контролирует коммунистические партии всего мира, в том числе и американскую компартию, во главе которой стоял тогда Эрл Браудер.

До конца слушания, длившегося целый день, оставались считанные минуты, когда после пространного обсуждения методов советской разведки членам Комиссии пришло в голову поинтересоваться, не знает ли свидетель какого-нибудь советского агента, который бы действовал на территории Соединенных Штатов. Кривицкий немедленно перечислил всех руководителей шпионской сети в Америке, начиная с 1924 года, закончил он тогдашним руководителем этой сети Борисом Быковым. Парадоксальным образом, слушание на этом и закончилось. Дальнейших вопросов не последовало, как и не было сделано никаких попыток перенести окончание слушания на другой день.

Не менее странно и то, что показания Кривицкого, кажется, так и не были доведены Комиссией до сведения ФБР или какого-то иного правительственного учреждения. В Европе уже вовсю шла война, мир стоял на пороге новых судьбоносных событий, а между тем важнейшая информация, полученная от Кривицкого, была просто положена под сукно.

Впрочем, Кривицкий не остался неуслышанным, его разоблачения нашли свой отклик, — правда, по другую сторону Атлантического океана. Значение этого перебежчика и информации, которой он располагал, были оценены в уже воевавшей в то время Англии. Хотя и выяснилось это много лет спустя.

Ровно через неделю после того, как в Вашингтоне состоялось столь нелепое слушание показаний Кривицкого, перед судом в Лондоне предстал самый опасный из всех пойманных до того дня в Англии советских шпионов. Он был приговорен к десяти годам заключения. Хотя Кривицкому никогда не суждено было узнать об этом, однако первый толчок к разоблачению этого шпиона дал именно он, упомянув его имя в одном частном разговоре.

Все началось с эпизода, связанного с нелепыми попытками Кривицкого установить хоть какой-нибудь контакт с американской администрацией. Он заговорил как-то о советских шпионах за рубежом со своим знакомым, евреем, эмигрировавшим когда-то из России, — Исааком Дон Левиным. Левин был широко известным публицистом, писавшим о советских делах, и весьма предприимчивым журналистом, который уже раскопал к тому времени несколько интересных историй[1]. Его мемуары «Очевидец истории», опубликованные в 1973 году, отличает одна несколько курьезная особенность. В них он дает понять, что почти все важнейшие события века он либо видел собственными глазами, либо, на худой конец, описывал по свежим следам. Так что не приходится сомневаться, что в сентябре 1939 года, когда Кривицкий посетил Левина, тот оказался именно «нужным человеком на нужном месте».

В течение ряда месяцев Левин был одним из трех основных литературных консультантов Кривицкого. Они часто беседовали наедине о международном положении, которое на протяжении напряженного лета 1939 года все более ухудшалось. Во время одной из этих бесед у Кривицкого, обычно уклонявшегося от подобных тем в частных разговорах, вдруг вырвалось, по-видимому, давно уже томившее его признание. По его словам, ему были известны по крайней мере два советских агента, действовавших в святая святых британского правительства. Одного из них он назвал «клерком-шифровальщиком кабинета министров» и смог припомнить его фамилию — Кинг. Другой шпион, имя которого Кривицкий забыл, работал в учреждении, носившем название вроде «Имперского совета обороны». Кривицкий сообщил все это Левину как величайшую тайну, и тот со своей стороны никак не предполагал, что ему придется посвятить в эту тайну кого бы то ни было еще. Но через несколько

[1] Например, посетив Советскую Россию вскоре после революции, он оказался первым журналистом, раскопавшим в архивах императорского двора пресловутую «переписку Вилли и Ники», проливающую свет на действительные отношения между Николаем Вторым и кайзером Вильгельмом.

недель международное положение резко изменилось: Сталин заключил свой пакт с Гитлером и тем самым способствовал развязыванию войны в Европе. Левину не давала покоя мысль, что теперь эти шпионы работают на государство, связанное союзом с нацистской Германией, и он решил действовать.

Он резонно решил сразу иметь дело с самыми высокими инстанциями (что вообще было характерно для него). Благодаря посредничеству Адольфа А. Берла, помощника государственного секретаря США, Левин был принят тогдашним британским послом в Вашингтоне лордом Лотианом.

В своих мемуарах Левин не упоминает, пригласил ли он Кривицкого вместе с ним поехать к послу и рассказать ему все лично и вообще консультировался ли он с Кривицким, идя на этот шаг.

Так или иначе, лорд Лотиан внимательно выслушал Левина, однако не счел нужным скрывать, что относится к этой информации весьма скептически: маловероятно, чтобы Москве удалось внедрить двух своих шпионов в самую сердцевину Уайтхолла, к тому же — в два решающих центра, где делалась «большая политика». Левин вышел из здания посольства на Массачусетс авеню с чувством исполненного долга, но не надеясь на какой-либо результат.

Однако спустя две недели ему позвонил секретарь британского посла и просил снова прибыть в Вашингтон и повидаться с послом, по возможности безотлагательно. Не имея обыкновения пренебрегать такими приглашениями, Левин поехал в посольство и узнал, что из Лондона только что получена шифровка, «подтверждающая невероятное» (так Левин формулирует ее суть в своих воспоминаниях). Клерк шифровального отделения по фамилии Кинг действительно оказался советским агентом. Не согласится ли Кривицкий сотрудничать с британскими властями для разоблачения прочих советских шпионов, которые, по его предположениям, могут действовать на британской территории?

Прежде чем перейти к роковому сотрудничеству Кривицкого с англичанами, остановимся на истории Кинга.

Джон Герберт Кинг мог бы стать классическим примером добычи, попадающей в сети опытных агентов-вербовщиков. Когда закончилась первая мировая война, ему было тридцать с небольшим лет. Он был одним из тех неудачливых людей, для кого чин, полученный на военной службе, пусть даже весьма скромный, выглядел вершиной житейского успеха. Кинга демобилизовали в звании капитана. В мирное время он не смог найти более или менее высокооплачиваемой работы и вынужден был устроиться клерком-шифровальщиком в Форин офис. Жалованье его составляло для начала каких-то 100 фунтов стерлингов в год.

В «деле Кинга» обращает на себя внимание то прискорбное обстоятельство, что и спустя двадцать лет, накануне ареста, он получал лишь немногим больше. Кстати сказать, один из главных выводов, сделанных Уайтхоллом из этого дела, мог быть сформулирован приблизительно так: шифровальщик, обслуживающий правительственное учреждение высшего ранга и имеющий дело с информацией, важность которой и степень секретности резко контрастируют с его скромной должностью, имеет право претендовать на зарплату такого уровня, чтобы у него не возникало искушения подработать на стороне. Совершенно недопустимо оценивать его ответственный труд жалкой суммой, приличествующей разве что конюху.

В случае с Кингом выявилась вдобавок еще такая вопиющая несправедливость: он все двадцать лет почему-то числился «временным сотрудником», чем-то вроде внештатника, что лишало его даже права на пенсию и, следовательно, на мало-мальски обеспеченную старость!

Искушение возникло у Кинга еще в мае 1935 года. Дело происходило в Женеве, где он (опять же временно!) исполнял обязанности шифровальщика при британской делегации в Лиге Наций.

Его положение в этот момент было более чем незавидным: немолодой мужчина в роли мелкого служащего, разочарованный в жизни, разошедшийся с женой, почти без друзей и, уж конечно, безо всяких перспектив и надежд на лучшее будущее. Правда, у него была приятельница-американка, некая Хелен Уилки, но самое большее, что он мог себе позволить, — это раз в неделю побаловать себя и ее приличным обедом в каком-нибудь из великолепных женевских ресторанов. Неудивительно, что мечта любыми путями раздобыть денег сделалась для Кинга своего рода наваждением. На этот крючок его и поймал голландец по имени Пик — художник по профессии, завербованный в свое время не кем иным, как Игнатием Рейссом.

Пик казался состоятельным человеком; его картины — по большей части фривольного содержания — открыли ему доступ в женевское «избранное общество», собственно, в тот дипломатический омут, каким были тогдашняя Лига Наций и ее окружение. Он довольно быстро понял, что представляет собой Кинг: одинокая душа, тоскующая по недоступной ей «роскошной жизни». Пик то и дело приглашал Кинга принять участие в разнообразных развлечениях своего круга и даже свозил его как-то вместе с мисс Уилки на пару дней в Испанию, взяв все расходы на себя. Когда дело дошло до денег, то выглядело это весьма изящно и не вызвало у Кинга никаких подозрений. Пик рассказал, что у него есть очень богатый приятель — финансист, привыкший извлекать большую выгоду из того обстоятельства, что он обычно бывает заранее осведомлен о ближайших изменениях международной конъюнктуры и, так сказать, тенденциях развития в этой области. Такой сотрудник Форин офиса, как скажем, Кинг, должен, безусловно, находиться в курсе того, что предстоит завтра узнать всему миру. Не согласится ли он сообщать Пику для этого финансиста свои прогнозы — разумеется, для сугубо приватного и сугубо коммерческого использования? Бизнесмен, конечно, не останется в долгу.

Трудно сказать, почувствовал ли Кинг в этом предложении что-то неладное или же поначалу не увидел в нем ничего подозри-

тельного, — но так или иначе с этого времени ручеек секретной информации потек от Кинга к Пику, а затем, после возвращения шифровальщика в Лондон, к преемнику Пика, некоему Теодору Мали. Последний был тоже по-своему примечательной личностью.

Мали, он же Пауль Гардт (впрочем, он носил и ряд других имен), к середине тридцатых годов пользовался в Москве репутацией смелого и преданного чекиста. Между тем его биография была, несомненно, необычной для сотрудника НКВД. В годы первой мировой войны он одинаково верно служил и Богу, и императору Францу Иосифу. Мали был полковым священником (капелланом) австро-венгерской армии. Попав в русский плен и пережив в России одну за другой две революции, Мали сделался коммунистом. Вскоре его приметило ГПУ: он был интеллигентным человеком, выглядел как европеец и мог сойти за гражданина почти любого западноевропейского государства, а ГПУ как раз начинало свои зарубежные операции. Кинг имел с ним дело в течение двух лет — вплоть до июля 1937 года, когда Мали был отозван в Москву, чтобы там бесследно исчезнуть. Он сделался жертвой все той же «чистки», которая привела к гибели Рейсса и бегству Кривицкого.

Это событие прервало шпионскую деятельность Кинга, как, впрочем, и других советских агентов в Англии, связанных с Мали.

Когда из Вашингтона поступило сообщение о «советском шпионе Кинге — шифровальщике, имеющем доступ к правительственным секретам», — британская контрразведка придала этой информации куда более серьезное значение, чем посол Лотиан. Хотя бы потому, что на правительственной службе действительно находился шифровальщик, носящий фамилию Кинг. Но вопрос об ущербе, который он нанес, оставался пока что открытым.

Независимо от предупреждения, поступившего из Соединенных Штатов, косвенное свидетельство шпионской деятельности Кинга было получено от одного местного бизнесмена, который в 1935 году был партнером Пика и создал вместе с ним в Лондоне небольшую художественную фирму по оформлению и декорированию помещений. Пик, проживавший в Швейцарии, время от времени наезжал в Лондон.

Через несколько месяцев английский бизнесмен, по-видимому не подозревавший об истинном назначении этого предприятия, стал замечать весьма странные вещи. На адрес фирмы прибывали пакеты и письма, явно не имеющие ничего общего с оформлением интерьеров. А однажды Пик, не называя Кинга по имени, упомянул в разговоре со своим партнером, что у него есть «большой друг» в Форин офис. Пока не началась война, бизнесмен ни с кем не делился своими подозрениями, но теперь он счел своим долгом рассказать о них.

Эти два сообщения, не связанные между собой, но поступившие почти одновременно, ускорили начало детального расследования, которое вскоре подтвердило самые худшие предположения.

25 сентября 1939 года контрразведка нагрянула в скромную однокомнатную квартиру Кинга. Квартира была обыскана, а поскольку было известно, что Хелен Уилки, его швейцарская подруга, живет в Лондоне и все еще находится с Кингом в интимных отношениях, обыск пришлось произвести и у нее. Кинг поначалу все отрицал. Он утверждал даже, что не знаком вообще ни с каким Пиком. Но через несколько дней, видимо опасаясь за судьбу Хелен, решился на частичное признание: да, он знал Пика и, более того, передавал ему определенную информацию. Но эта информация носила чисто финансовый и коммерческий характер, поскольку предназначалась для приятеля Пика — некоего банкира. Кинг утверждал, что никакие тайны политического характера им не были разглашены. Больше того, по-видимому, чувство профессиональной чести заставило Кинга заявить, что он никогда не информировал «посторонних» о самом главном — о шифровальной книге Форин офис, то есть о принятой здесь технике кодирования информации.

Между тем контрразведка добыла неопровержимые улики, более чем достаточные для обвинения Кинга в государственной измене. Его выдали в конечном счете те самые деньги, ради которых он сделался шпионом.

Дело в том, что в тридцатые годы (теперь это даже трудно представить!) фунт стерлингов не только был известен во всем мире как наиболее сильная и устойчивая валюта, но и сам по себе составлял солидную сумму. Именно поэтому циркуляция всех банкнот выше однофунтовой, то есть банкнот в 5 фунтов, 10 фунтов и т. д., регистрировалась казначейством путем записи серийных номеров всех купюр, получаемых и выдаваемых банками. Запись велась с момента пуска купюры в обращение до ее полного обветшания, после чего она перемалывалась в бумажную массу. Это обстоятельство и погубило Кинга. Получив доступ к счету, открытому им в банковской фирме, где работала Хелен Уилки, контрразведчики обнаружили, что суммы, поступавшие на этот счет, вносились пяти- и десятифунтовыми купюрами. Номера их свидетельствовали, что ранее именно эти банкноты побывали в советских банках, поступая туда в качестве платежей за советские экспортные поставки. Оттуда, видимо, они переправлялись в секретный валютный фонд НКВД.

Другие купюры, на сумму в общей сложности около 500 фунтов стерлингов, пришли на счет Кинга из источника, уже известного британской контрразведке как канал финансирования советской агентуры. Это была компания по сбору и переработке утильсырья, возглавлявшаяся неким Бернардом Давидовичем Гадаром и функционировавшая в Ист-Энде. Гадар был тайным советским агентом, засланным в Лондон с заданием основать собственный бизнес. Специфической целью его компании было оказание помощи Мали в вербовке новых агентов среди британских граждан. Мали появлялся в этой фирме под видом скупщика утильсырья — в действительности, как мы знаем, его интересовали не клочья и обрывки тряпья, а куда более

ценные вещи: клочки и обрывки секретной информации.

И вот теперь, 18 октября 1939 года, одна из центральных фигур этой искусно сотканной сети шпионажа была отправлена за тюремную решетку. Ужасно, конечно, что долгое время Москва получала совершенно секретную информацию о тенденциях, планах и намерениях, относящихся к британской внешней политике, примерно в том же объеме, что и английские посольства за рубежом, и вдобавок — из рук того же человека. Правда, последние два года перед арестом Кинг оказался «законсервирован» в связи с тем, что Москва отозвала Мали из Англии, а Рейсс бежал со своего поста. Но ведь в любой момент его могли «расконсервировать»; он уже так крепко связал свою судьбу с советской разведкой, что, наверное, даже война, в которую оказалась втянута его родина, не заставила бы его воздержаться от оказания новых услуг Москве.

Если бы Кинга в этот период «расконсервировали», его деятельность представляла бы особую опасность. Британские секреты теперь могли утекать не только в Москву, но и через Москву в Берлин. Впрочем, тесное сотрудничество СССР и Германии в области разведки началось задолго до заключения пакта 1939 года. Не кто иной, как Кривицкий, более десяти лет работавший в Главном разведывательном управлении, свидетельствует: [1]

«Сотрудничество Красной Армии с германским генштабом началось еще до прихода Гитлера к власти. Были случаи, когда обе стороны сотрудничали в сфере шпионажа и обмена информацией военного характера. Поскольку пакт, заключенный между Сталиным и Гитлером, является фактически военным союзом, с о ю з о м д в у х а р м и й (выделено мною. — *Г. Б.-Ш.*), распространяющимся на определенные области (Европы), я не сомневаюсь, что такой обмен секретами военного характера и тому подобной информацией... совершенно необходим обеим сторонам — как Гитлеру, так и Сталину».

Вплоть до июня 1941 года Гитлер, как известно, не спешил совершить нападение на СССР. В частности, еще за год до этого он планировал вторжение в Англию. Кто знает, быть может, оно и состоялось бы, если бы Москва (то есть все тот же Кинг) предоставила Гитлеру информацию, неопровержимо свидетельствующую о чрезвычайной слабости британской обороны после Дюнкерка.

Летом этого года в распоряжении английского командования осталось лишь ничтожное количество боеспособных танков и тяжелой артиллерии.

Итак, приходится признать, что в критический для Великобритании момент Кривицкий оказал этой стране весьма важную услугу.

Однако, получив приглашение и впредь помогать британской секретной службе, Кривицкий опасался предпринять рискованное путешествие из США в Лондон. Его пугали, разумеется, не немецкие подводные лодки, шнырявшие по Атлантике, он просто ни на минуту не забывал, что в Англии до него куда легче добраться советским агентам.

Перестал он колебаться лишь тогда, когда ему гарантировали необходимые меры безопасности.

В конце декабря 1939 года Кривицкий отбыл из Нью-Йорка и 19 января 1940 года был в Лондоне. Как профессиональный разведчик, он не мог не увидеть, что британская контрразведка с началом войны развила энергичную деятельность. В отличие от Вашингтона, где так трудно было убедить администрацию в опасности советского шпионажа, в Лондоне существовали давние — еще с середины XIX века — традиции тайной войны с происками российской агентуры. И в ходе этой неугасающей борьбы, чем-то напоминающей «холодную войну» нашего времени, был накоплен огромный опыт.

В Англии Кривицкий встретился с опытными специалистами в области разведки, которые хорошо знали не только, о чем спрашивать своего собеседника, но и как интерпретировать его ответы. К числу таких специалистов принадлежала Джэнет Арчер. Наряду с обширными профессиональными познаниями ее, по-видимому, отличало незаурядное понимание психологии людей. Она быстро завоевала доверие своего нервного худенького собеседника, бледное лицо которого с кустистыми бровями под высоким выпуклым лбом напоминало скорее скромного школьного учителя, чем видного советского шпиона, перебежавшего на Запад.

Теперь уже не секрет, что за три недели бесед с Джэнет Арчер Кривицкий назвал в общей сложности около ста советских агентов, действующих в разных странах. Не менее двух третей работало в самой Великобритании либо в тех местах, где их деятельность прямо затрагивала британские интересы. Шестеро из них имели легальный статус: это были советские граждане, работавшие в посольствах либо торгпредствах.

Затем Кривицкий опознал два десятка так называемых оперативников, которые также действовали на территории Великобритании. Их цель заключалась в создании «служебной инфраструктуры», от которой зависела любая сеть шпионажа. Это были курьеры, фотографы, связные, съемщики безопасных квартир, резервных убежищ и т. п.

Поразительным было разнообразие фамилий и псевдонимов, а также национальностей и общественных групп, откуда вербовались эти кадры: среди них оказалось трое американцев, трое немцев, трое австрийцев, два голландца, один поляк и, наконец, восемь лиц русского происхождения. Не менее пестрыми были официальные профессии агентов. Девять человек называли себя бизнесменами, трое — художниками, были еще журналист, секретарь, студент и даже «конькобежец». Чем занимались в качестве легального прикрытия остальные четверо, установить не удалось.

Но особенно важным оказались сведения о тридцати пяти агентах, которые выполняли не подсобные функции, а занимались

[1] В показаниях, данных вашингтонской Комиссии конгресса США 11 октября 1939 г.

непосредственно шпионажем в пользу Советов. Там были поляки, чехи, индийцы и пр. Но среди них оказалось также шестнадцать англичан; из этих шестнадцати восемь были политическими деятелями и профсоюзными активистами, шестеро находились на государственной гражданской службе, двое были журналистами. Приблизительно половина агентуры, названной Кривицким, до того была неизвестна британским властям. Остальные уже находились под наблюдением контрразведки.

Вся эта разношерстная компания была, разумеется, «нейтрализована». В то же время никто из них не подвергся аресту, судебному преследованию и не был осужден, поэтому я не могу привести здесь их фамилии.

Ну а как же обстояло дело с тремя британскими аристократами, которые уже тогда были супершпионами Кремля (я имею в виду Берджесса, Филби и Маклина)? Пала ли на них хотя бы тень подозрения в результате разоблачений, сделанных Кривицким в январе 1940 года?

Ни одного из них Кривицкий не назвал по имени. По-видимому, их работа была столь тщательно охраняемой государственной тайной, что даже ведущий европейский резидент не мог навести на их след. С другой стороны, нельзя исключить, что Кривицкий счел для себя целесообразным не выдавать сразу всю информацию и до поры до времени приберечь некоторые главные козыри. Но на основе того, что нам известно, можно все-таки утверждать, что он буквально указал пальцем на наиболее выдающуюся фигуру этой троицы. Я имею в виду Дональда Маклина.

Это произошло, когда Кривицкому показали копии ряда секретных документов Имперского комитета обороны и спросили, какие из этих бумаг кажутся ему знакомыми по его работе в советской разведке. Кривицкий однозначно указал на несколько документов, которые ему довелось читать еще в Москве — в виде фотокопий, снятых в Лондоне советскими агентами. Это были главным образом аналитические обзоры тех или иных международных событий. Во всех случаях речь шла о документах, предназначенных для распространения в пределах Форин офис, где работал секретарем Маклин.

Другая нить, ведущая, как теперь очевидно, к Маклину, возникла, когда Кривицкий опознал видного советского агента, работавшего в Англии, по имени Арнольд Дейч. Дейч был родом из Вены и прибыл в Лондон впервые в 1934 году в качестве студента. Он оставался здесь до 1937 года, когда был внезапно отозван в связи с бегством Рейсса. За эти годы он завел много знакомств в студенческой среде, и, похоже, именно Дейч завербовал в Кембридже Берджесса, Маклина и Филби или по крайней мере следил за ними и опекал их в новой для них роли советских агентов.

Зловещая ирония судьбы заключалась в том, что, похоже, именно Маклин, которого контрразведка, несмотря на сотрудничество Кривицкого, не успела нащупать, сообщил Москве о разоблачениях, сделанных Кривицким в Англии. Конечно, показания перебежчика держались в глубокой тайне, и, казалось бы, конкретные детали должны были знать только те, кто непосредственно участвовал в беседах с Кривицким. Но в дальнейшем стало известно, что в апреле 1940 года секретный отчет Форин офис о «деле Кривицкого» был распространен в определенных политических кругах, и экземпляр этого отчета попал в руки Дональду Маклину[1]. Если учесть, насколько ограниченный круг лиц посвящался в тайны Форин офис, нетрудно представить себе, какая паника охватила крохотную группку предателей и соответствующие московские инстанции при мысли о том, что Кривицкий недвусмысленно указал на существование шпионского гнезда в стенах этого самого секретного британского ведомства.

Разоблачениями, сделанными в Лондоне в январе 1940 года, Кривицкий фактически вынес себе смертный приговор. Более чем вероятно, что к его гибели приложил руку Маклин, известив об этих разоблачениях Москву.

Глава девятая
Смерть в отеле «Бельвю»

...В понедельник 10 февраля 1941 года Телма Джексон, горничная скромного вашингтонского отеля «Бельвю», подошла к двери комнаты № 532 на пятом этаже, когда часы показывали уже 9.30 утра. Ей, как она считала, следовало осведомиться, не заболел ли человек, снимавший этот номер. Из-за двери не доносилось ни звука, но трудно было предположить, что в столь поздний час он все еще спит крепким сном. На стук никто не отозвался; дверь была заперта изнутри, и горничная открыла ее своим служебным ключом.

Едва заглянув в комнату, она бросилась обратно и побежала вдоль коридора, призывая на помощь: мужчина, остановившийся в 532-м номере, лежал на кровати в луже крови. Рядом с ним валялся пистолет.

Спустя полчаса полиция установила, что убитый впервые появился в отеле «Бельвю» накануне, около шести часов вечера, и снял номер, зарегистрировавшись как Вальтер Пореф. При осмотре его вещей было, однако, найдено удостоверение личности, выданное канадскими властями на имя Самюэля Гинзберга. Впрочем, это обстоятельство само по себе не могло вызвать особых подозрений: в те времена было обычным, что люди, останавливавшиеся в отелях, по тем или иным личным или деловым соображениям регистрировались под вымышленным именем. Фамилия Гинзберг говорила вашингтонской полиции столь же мало, как и фамилия Пореф.

Но в тот же день в полицейском управлении раздался звонок, и мужской голос сообщил, что настоящее имя Самюэля Гинзберга — Вальтер Кривицкий и что это бывший советский агент, чьи статьи и вы-

[1] До падения Франции, то есть до мая — июня 1940 г., Маклин работал в британском посольстве в Париже, а затем вернулся на службу в Форин офис.

ступления перед Комиссией конгресса вызвали в свое время такой переполох.

Звонил Луис Валдман, адвокат, известный своими левыми убеждениями, в числе клиентов которого был не только Кривицкий, но и куда более популярная личность — Лев Троцкий, погибший в результате покушения летом 1940 года.

Валдман узнал о смерти Кривицкого, слушая по радио последние известия. Теперь он предупреждал полицию, чтобы она не торопилась «закрывать дело», посчитав, что в данном случае имело место самоубийство. Адвокат был убежден, что постоялец отеля «Бельвю» погиб по той же причине, что и Троцкий, — иными словами, что это акт мести, осуществленный сталинской агентурой.

Версия Валдмана привела к тому, что о смерти Кривицкого целую неделю шумели газеты. Из ФБР поступило сообщение, что оно не располагает никакими сведениями о покойном, и — не к чести ведомства — это была сущая правда.

Как это бывает в классических детективах, обе версии — убийство и самоубийство — вроде бы подтверждались рядом веских, хотя и противоречивых доводов. Загадкой смерти Кривицкого постепенно перестали заниматься и полиция и газеты, и, что нередко случается, она отошла на задний план, заслоненная очередными газетными сенсациями. Но я возвращаюсь к ней не только оттого, что мне важны все факты, связанные с историей моего героя. Дело в том, что за истекшее время появились соображения, позволяющие детально рассмотреть все обстоятельства его смерти.

Прежде всего взглянем на этот загадочный случай глазами полиции, прибывшей на место происшествия.

Не приходится, по-видимому, оспаривать то, что в крохотный гостиничный номер, где остановился Кривицкий, можно было проникнуть только через дверь. Поблизости от его окна не было наружной пожарной лестницы, столь характерной для многих зданий в американских городах. Хотя окно (не распахивающееся, как в Европе, а поднимающееся, на американский манер) было приоткрыто, образуя щель в один или два дюйма для поступления свежего воздуха, это также не облегчало доступ в комнату со стороны окна. Наружная стена под ним была совершенно гладкой, без малейшего выступа.

Занимавшийся этим делом детектив, инспектор полиции Бернард В. Томпсон, признал, что, конечно, злоумышленник мог раздобыть копию служебного ключа, используемого горничной или другими служащими отеля. Но на основании картины, открывшейся ему, когда он вошел в комнату, Томпсон сразу же заключил, что имеет дело с самоубийством, и не видел причин для отказа от своей версии. В самом деле: в комнате не было следов борьбы, вещи не были раскиданы в беспорядке. Кривицкий лежал на застеленной кровати, полностью одетый (только туфли были сняты). Револьвер валялся рядом, а не был всунут в руку убитому, что обычно делается, когда хотят имитировать самоубийство. Было, правда, отмечено такое странное обстоятельство: на пистолете не удалось обнаружить никаких следов отпечатков пальцев. Но и тут нашлось объяснение: возможно, они были смыты кровью[1]. Пистолет был солидный — 38-го калибра, в магазине была обнаружена полная обойма за исключением одного патрона — значит, был сделан только один выстрел. Пуля вошла в правый висок Кривицкого, причем вид раны не оставлял сомнений в том, что выстрел был произведен в упор. Было найдено также выходное отверстие. Пулю не обнаружили — по-видимому, она вошла в стену, хотя на стенах комнаты не удалось найти ее следов. Пришлось довольствоваться стреляной гильзой, которую и приобщили к делу.

С точки зрения инспектора Томпсона, решающим доказательством самоубийства были три прощальные записки, найденные в комнате. В связи с этим пришлось вызвать полицейского эксперта-графолога; тот подтвердил, что все они, несомненно, написаны тем же лицом, которое собственноручно расписалось в регистрационной книге отеля как Вальтер Пореф. Правда, при этом обнаружилась такая странность. Кривицкий воспользовался не фирменной бумагой отеля или частного пансиона в Нью-Йорке, где он жил с семьей, а листочками, украшенными лаконичной надписью: «Шарлотсвилл, Виргиния». Странно было и то, что в двух из трех прощальных писем их автор отвлекался от жизненно важных для него вопросов только для того, чтобы пояснить, что он накануне ездил в этот самый Шарлотсвилл, чтобы приобрести необходимый ему пистолет — орудие самоубийства.

Самое длинное письмо было написано по-русски и обращено к жене и семилетнему сыну:

«Дорогие Таня и Алик!

Мне очень тяжело. Я очень хочу жить, но это невозможно. Я люблю вас, мои единственные. Мне трудно писать, но подумайте обо мне, и вы поймете, что я должен сделать с собой. Таня, не говори сейчас Алику, что случилось с его отцом. Так будет лучше для него. Надеюсь, со временем ты откроешь ему правду...

Прости, тяжело писать. Береги его, будь ему хорошей матерью, живите дружно, не ссорьтесь... Добрые люди помогут вам — но только не враги! Моя вина очень велика.

Обнимаю вас обоих.

Ваш Валя».

Внизу было приписано:

«Я написал это вчера на ферме Добертова. В Нью-Йорке у меня не было сил писать. В Вашингтоне у меня не было никаких дел. Я приехал к Добертову, потому что нигде больше не мог достать оружия».

Вторая записка была адресована адвокату Кривицкого и написана по-английски:

«Дорогой м-р Валдман,

моя жена и сын будут нуждаться в Вашей помощи. Пожалуйста, сделайте для них все, что можете.

Ваш Вальтер Кривицкий».

[1] Валдман заявлял, что рукоять пистолета была только местами запятнана кровью, и упрекал полицию в том, что она недостаточно серьезно отнеслась к вопросу о возможных отпечатках пальцев на пистолете.

Постскриптум к этому письму выглядел так:

«Я побывал в Виргинии, т. к. знал, что там я смогу достать пистолет. Если у моих друзей будут неприятности, помогите им, пожалуйста. Они хорошие люди. Зачем мне понадобился пистолет, им неизвестно».

Наконец, третья записка, на немецком языке, была обращена к Сюзанне[1]:

«Дорогая Сюзанна,

полагаю, у тебя все в порядке. Умирая, я надеюсь, что ты поможешь Тане и моему бедному мальчику. Ты была верным другом.

Твой Вальтер».

Несмотря на искреннее отчаяние, сквозящее в этих предсмертных письмах, на их вполне объяснимую бессвязность, несмотря на вывод полицейского графолога о полной тождественности почерка в них и в гостиничной книге — нельзя не признать, что они хоть и дают ответы на некоторые загадки, не раскрытые следствием, но одновременно поднимают еще больше вопросов.

Конечно, владелец виргинской фермы был найден и допрошен. Это был некий Эйтель Вольф Доберт, переселившийся в Соединенные Штаты из Германии. Его фамилия звучала там чуть иначе: Добертов. Он оказался в прошлом офицером рейхсвера, из Германии ему пришлось бежать из-за неприятия нацизма.

Действительно, и он, и его жена Маргарита дружили с Кривицким, и Маргарита подтвердила, что Вальтер действительно провел свой последний выходной с ними. Больше того, в субботу утром Маргарита съездила с Кривицким в Шарлотсвилл в оружейный магазин и присутствовала при покупке пистолета. Он объяснил ей, что нуждается в пистолете для самозащиты. Был он совершенно спокоен и в хорошем настроении, и она поверила такому объяснению, несмотря на то что оно выглядело малоубедительным, хотя бы потому, что нет надобности ехать из Нью-Йорка в Шарлотсвилл за пистолетом, который можно купить в любом городе, в том числе и в Нью-Йорке, а затем отправляться в Вашингтон, чтобы застрелиться из этого пистолета.

Эти и многие другие соображения привел полиции адвокат Валдман, посетивший гостиницу «Бельвю» и вашингтонское полицейское управление на следующий день после смерти Кривицкого. Но все, чего он смог добиться, — это отсрочки решения в пользу самоубийства, а именно на этой версии настаивала полиция, так как она позволяла считать дело закрытым. Ни Валдман, ни семья Кривицкого, ни его друзья не верили в его добровольный уход из жизни. Все видели здесь руку НКВД. Некоторые думали, что сталинские агенты могли шантажировать своего бывшего коллегу и таким образом довести до самоубийства. Но большинство считали, что его попросту застрелили.

Это мнение, не противореча фактам, уже известным читателю, обосновывалось такими доводами. Закрытая дверь не может остановить исполнителей организованного убийства (то есть убийства, совершаемого по заранее разработанному плану), если они располагают неограниченными денежными средствами. На счету сталинской агентуры были дела и посложнее. Достаточно вспомнить, как ими было зафрахтовано греческое торговое судно со всей его командой ради единственной, на первый взгляд непропорционально мелкой цели, а именно, чтобы убить другого советского перебежчика — Агабекова. Далее, профессиональные убийцы, желая создать видимость самоубийства своей жертвы, разумеется, оставляют комнату в таком состоянии, в каком они ее нашли, тщательно ликвидируя все следы оказанного им сопротивления. Притом они, конечно же, не прибегают к такой дешевой уловке, как вкладывание пистолета в руку убитому.

Наиболее трудной загадкой являются прощальные письма Кривицкого. Но ведь в распоряжении ведомства, где он работал, несомненно остались бумаги, написанные им на разных языках, — иначе говоря, образцы его почерка. В Москве к услугам этого ведомства всегда имеется группа искуснейших фальсификаторов любого рода, не испытывающая недостатка в практике. Этим людям не раз удавалось провести экспертов мирового класса, не то что рядового графолога вашингтонского полицейского управления. В то же время сам текст предсмертных записок оставляет место для сомнений. В выражениях типа «достать оружие» явно звучит какая-то искусственная нота. К тому же несуществующей проблеме доставания оружия уделено такое внимание, какого она попросту в США не заслуживает, — даже если отвлечься от того обстоятельства, что это были последние, предсмертные строки человека, намеревавшегося покончить с собой. Наконец, из этих записок следовало, что Кривицкий, всегда столь щепетильный, почему-то решил без всякой нужды впутать других людей в свои личные дела.

Но и версия о покушении имеет свои слабые стороны. Если семья Доберт представляла собой подлинных друзей Кривицкого, не способных предать его, то неизбежно возникает каверзный вопрос: выходит, что группа убийц выслеживала Кривицкого во время его поездки в Шарлотсвилл и назад и буквально довела его до порога захудалого вашингтонского отеля? Но в таком случае разве не проще было бы прикончить его где-нибудь в сельской местности и постараться затем избавиться от трупа, нежели имитировать самоубийство в столичном отеле, что автоматически, и притом немедленно, привлечет внимание прессы, не говоря уже о полиции? Правда, на это можно возразить, что такое паблисити имеет и выигрышную сторону. Не исключено, что НКВД преследовал и такую заманчивую цель: представить свою акцию как самоубийство изменника. К тому же до этого случая НКВД ни разу не рисковал убирать неугодных ему людей на территории Соединенных Штатов. В Европе такое случалось, но и там каждый раз приводило к серьезным политическим осложнениям...

[1] Установлено, что имелась в виду Сюзанна Лафолетт, либеральная писательница из видной висконсинской семьи. Она, как и несколько других американцев-антикоммунистов российского происхождения, дружила с Кривицким.

Самоубийство, инсценированное в Вашингтоне, не только избавляло НКВД от такого опасного человека, каким оказался Кривицкий, но и давало наибольший психологический эффект. В первую очередь это эффект *сдерживания*. Те из коллег Кривицкого, кто собирался последовать его примеру, теперь увидят, как горек удел беглеца.

Существует еще версия — «доведение до самоубийства». Но она вообще не выдерживает критики. По поводу этой версии Гедда Массинг спустя 35 лет высказалась так:

«Единственное средство, которое *они* могли пустить в ход против Кривицкого, была угроза его семье. Они могли угрожать убийством его жены и сына и одновременно пообещать, что пощадят их, но при условии, что сам он покончит с собой. Однако Кривицкий должен был знать, что можно верить угрозам этой публики, но никак не ее обещаниям. Занимая руководящее положение в том ведомстве, он был свидетелем множества таких обещаний «пощадить», «помиловать», даваемых даже от имени самого Сталина. Как только достигалась цель — их тут же цинично нарушали. Профессионал типа Кривицкого ни на секунду не мог принять в расчет подобные заверения»[1].

Итак, версия о доведении до самоубийства должна отпасть. Что же касается «добровольного ухода из жизни» под влиянием — скажем так — угрызений совести, то она представляется тем более сомнительной, чем больше мы отвлекаемся от примитивного полицейского протокола, составленного в то утро на пороге 532-го номера гостиницы «Бельвю». Если существует действительный ключ к разгадке смерти Кривицкого, то его надо искать в политической атмосфере, окружавшей перебежчика, в его биографии и его личной жизни.

Начну с того, что никакие высказывания и поступки Кривицкого не давали повода заподозрить в нем потенциального самоубийцу. Покидая Нью-Йорк, чтобы отправиться в последнюю в своей жизни поездку, он был вполне здоров, его личная жизнь выглядела благополучной, он не испытывал нужды в деньгах. Более того, он планировал для своей семьи дальнейшие перемены к лучшему. Например, всего за неделю до смерти он с воодушевлением обсуждал со своим адвокатом план покупки фермы, чтобы навсегда обосноваться в деревне. Этот эпизод в пересказе адвоката рисует нам человека, полного энергии, а не истерзанную душу, неотвязно преследуемую мыслью о самоубийстве.

В то же время над жизнью Кривицкого, безусловно, нависала тень, и ему случалось заговаривать об этом с окружающими. Когда в Мексике был убит Троцкий, Кривицкий предупреждал друзей о тайном просачивании коминтерновских агентов в Соединенные Штаты — главным образом через ту же Мексику. Многие из этих агентов находились в свое время в Испании, работая на республиканское правительство, и были «вытянуты» оттуда после победы Франко. Кривицкий утверждал, что теперь их задачей является организация саботажа, подрывающего военный потенциал Соединенных Штатов. Необходимо было притормозить американскую помощь Англии, сражающейся с «державами оси» в одиночку: тогда, в конце 1940-го и начале 1941-го, Сталин все еще был верным союзником Гитлера.

Кривицкий полагал, что попутно коминтерновские агенты постараются разделаться и с ним. «После всего что я сделал для Англии и Соединенных Штатов, — бесстрастно заявил он одному из друзей, — Москва испытывает просто необходимость расправиться со мной». Всего за месяц до смерти Кривицкого встревожило известие, что в Нью-Йорке появился некий особо опасный коминтерновский убийца (в разговоре с друзьями Кривицкий упоминал только его имя — или кличку — Ганс). Вот какая мрачная картина, относящаяся к началу 1941 года, вырисовывается со слов самого Кривицкого.

Остается неясным, была ли дата его смерти выбрана сознательно или оказалась случайной. Известно, однако, что именно в тот день, 10 февраля, Кривицкий был приглашен администрацией штата Нью-Йорк дать показания, касающиеся угрозы внедрения коммунистических агентов в систему народного образования США. Дальнейшая деятельность Кривицкого — о ней уже велись конкретные переговоры — должна была еще больше встревожить Москву. В начале 1941 года правительство Великобритании запросило согласие Вашингтона на приезд Кривицкого в Лондон для участия в новом расследовании деятельности советской агентуры. И здесь наверняка должны были выплыть дополнительные имена и связи.

Мне остается закончить рассказ о загадочной гибели Кривицкого его собственными словами, не раз произнесенными им в кругу друзей за несколько недель до смерти:

«Если вам придется услышать или прочесть в газетах, что я покончил с собой,— ни в коем случае не верьте!..»

Глава десятая
Золотой караван мистера Блэкстона

Последний крупный перебежчик предвоенной эпохи, Александр Орлов, появился в Париже утром 13 июля 1938 года. Сопровождаемый женой и маленькой дочерью, он вышел из ночного поезда, прибывшего с юга страны. В тот же день, после полудня, они успели в последний момент вскочить в поезд, отправлявшийся в Шербур к побережью Ла-Манша. Беглецам предстоял неблизкий путь. Франция была лишь его начальным этапом — коротким, но жизненно важным.

Раз Орлов направлялся в Шербур, следовательно, его дальнейший путь должен был идти через Атлантический океан и завершиться на американском берегу. Но прежде чем последовать за ним через Атланти-

[1] Из беседы Гедды Массинг с автором в Нью-Йорке в ноябре 1976 г.

ку, посмотрим, что предшествовало этому крутому зигзагу его биографии [1].

В сентябре 1936 года, уже имея за плечами более десяти лет ответственной работы в ОГПУ, он получил исходящее от Политбюро распоряжение: отправиться в Мадрид в качестве представителя Кремля при испанском республиканском правительстве. Его главное задание состояло в организации там разведки и контрразведки, которая могла бы эффективно противостоять франкистам и стоявшим за их спиной итальянцам и немцам. Дополнительная, но не менее важная задача Орлова состояла в том, чтобы сколотить отряды для войны в тылу противника. В сущности, эта работа была до некоторой степени специальностью Орлова: еще осенью 1920 года, когда он служил в советской Двенадцатой армии, он создавал подобные же партизанские отряды в польском тылу.

15 октября 1936 года Орлов едва успел появиться в своем мадридском кабинете, как вошел шифровальщик с сообщением, только что полученным из Москвы. Начав было его расшифровывать, шифровальщик был вынужден остановиться после первых же слов и вручил депешу вместе с шифровальной книгой своему недоумевающему начальнику. Единственная расшифрованная фраза была очень коротка и принадлежала наркому внутренних дел Ежову: «Передаю вам личное распоряжение хозяина». Согласно действующей инструкции «личные распоряжения хозяина» должны были расшифровываться в каждом случае лично адресатом, а не техническими сотрудниками. Эта предосторожность объяснялась тем, что «хозяин», то есть Сталин, часто возлагал на руководителей своей заграничной агентуры весьма щекотливые поручения. Так было и на этот раз. Расшифрованная Орловым депеша гласила:

«Совместно с полпредом Розенбергом [2] организуйте по согласованию с Кабальеро, главой испанского правительства, отправку золотого запаса Испании в Советский Союз. Используйте для этой цели советское судно. Операцию следует провести в абсолютной тайне.

Если испанцы потребуют от вас расписки, откажитесь, повторяю, откажитесь подписывать какой бы то ни было документ и объясните, что формальная расписка будет выдана Госбанком в Москве.

На вас возлагается персональная ответственность за успех этой операции. Розенберг соответственно уведомлен».

Телеграмма была подписана кодовым именем Сталина — «Иван Васильевич».

В обычное время и в нормальной обстановке такое распоряжение было бы едва ли выполнимо. Но данный момент не мог считаться «обычным». Военное положение республиканцев в эти дни непрерывно ухудшалось. Силы Франко находились всего в нескольких десятках километров от Мадрида. Гражданское население уже начало покидать столицу, и, по-видимому, правительство готовилось последовать за своими гражданами.

С другой стороны, какую бы жесткую позицию ни заняло в этом вопросе правительство республиканской Испании, Орлову ничего не оставалось, как всеми силами добиваться своего. Сталинская телеграмма содержала угрожающую фразу: «На вас возлагается персональная ответственность». Сталин не случайно выбрал Орлова для проведения этой небывалой акции, и тот прекрасно понимал, что его ждет, вздумай он уклониться от исполнения приказа.

Поэтому Орлов, не теряя времени, отправился с полученной депешей к Розенбергу. В дальнем углу просторного розенберговского кабинета сидел без дела скучающий шифровальщик, а сам полпред в поте лица расшифровывал только что полученную сталинскую телеграмму того же содержания.

На следующий день и тот и другой направились к тогдашнему министру финансов республиканского правительства Хуану Негрину (впоследствии сменившему Кабальеро на посту премьер-министра) и ознакомили его со сталинским «предложением», пересказанным в нарочито мягких, увещевательных тонах. С помощью Негрина предстояло уговорить правительство Испанской республики доверить весь золотой запас нации Сталину на том основании, что «в Москве это золото окажется в большей безопасности». Ожидался непростой и нелегкий обмен мнениями, может быть даже резкий спор.

Однако Негрин дал себя уговорить на удивленье легко. Позднее, уже находясь в США, Орлов признал, что они с Розенбергом «были просто ошарашены» такой уступчивостью испанской стороны: ведь здесь прекрасно понимали, что золото, будучи доставлено в Москву, окажется там в полнейшей безопасности, настолько полнейшей, что ему не будет угрожать даже возвращение домой. Но, видимо, Негрин рассудил, что пусть об этом болит голова у последующих испанских руководителей.

Теперь, когда дипломатическая сторона вопроса была улажена, Орлову предстояла не менее трудная задача: как доставить к месту назначения столь громоздкий и ценный груз?

Решение пришло само собой. Когда Негрин вежливо осведомился, сколько испанских солдат потребуется привлечь для проведения столь трудоемкой операции, Орлов заявил, что нисколько. Он позаботится о том, чтобы в этой операции были использованы советские бойцы.

В испанские порты только что прибыли морским путем большие партии советских танков. Само по себе это считалось «государственной тайной», так как официальная советская помощь республиканской Испании ограничивалась продовольствием и медикаментами. Но в еще большей тайне хранилось то, что вместе с танками и самолетами в Испанию прибыли советские авиационные и танковые экипажи. Это исключало необходимость обучать и тренировать

[1] В своих собственных работах (книге «Тайная история сталинских преступлений», журнальных очерках и пр.) Орлов пишет об этих событиях очень скупо. Лишь частично они изложены им в статьях, появившихся спустя много лет (в январе 1957 г.) в испанской прессе. Дальнейшее изложение базируется на протоколах официальных показаний Орлова, данных им в 50-х годах в США.

[2] Розенберг был полномочным представителем (послом) СССР при правительстве Испанской республики.

на новой и незнакомой им технике испанских летчиков и танкистов.

Вот Орлов и предложил использовать для погрузки и охраны золота советские танковые экипажи. Этот вариант был, по его мнению, самым простым, эффективным и безопасным. Правда, он был в то же время сопряжен с риском другого рода. Орлов предупредил Негрина: если произойдут какие-то непредвиденные осложнения, например, если транспорт с золотом наткнется на засаду или подвергнется иной опасности еще в пределах испанской территории, — что ж, «наши люди будут отстаивать вверенные им ценности до последней капли крови». Еще бы — затеянное предприятие явно пахло международным скандалом, не говоря уж о внутриполитических осложнениях!

Желая при любых условиях избежать скандала, Орлов выдвинул такое коварное предложение. Нельзя ли, дескать, в порядке предосторожности, на случай, если предприятие почему-либо сорвется и станет достоянием гласности, представить дело так, что это вовсе не Советы пытались завладеть золотым запасом Испанской республики, а совсем другие силы? Допустим, англичане или американцы? Сам он довольно прилично говорил по-английски, так что напрашивалась мысль снабдить его фальшивым удостоверением, полномочиями, исходящими, скажем, от Английского банка или Национального банка Америки... Негрин счел идею превосходной. Таким образом, Александр Орлов пустился в это рискованное предприятие в качестве «мистера Блэкстона» из Национального банка Америки, которого якобы сам президент Рузвельт направил в Испанию с заданием перевезти золотой запас Испанского государства в Вашингтон.

Сталин был мастером надувательства и провокаций, но даже ему не пришло в голову, что в данном случае всего лучше замаскировать своих людей под представителей постороннего государства. Орловский трюк, несомненно, получил его одобрение.

Оставалось решить чисто технические вопросы перевозки груза. Золото давно уже было вывезено из Мадрида и хранилось в глубоком тылу республиканцев, в Картахене, в пещере на склоне горного хребта, нависающего над картахенским портом. «Мистер Блэкстон» благополучно прибыл сюда, сопровождаемый сеньором Мендесом Аспе, главой испанского казначейства, который был одним из пяти испанцев, посвященных в тайну[1] и «ответственных за благополучное проведение операции» с испанской стороны.

Войдя в эту испанскую «пещеру Аладина», Орлов был поражен открывшейся ему картиной, настолько внушительно выглядело то, что до сих пор носило для него отвлеченное название «государственного золотого запаса». Но в то же время он и ужаснулся: какой же он громоздкий, этот груз! Действительно, в пещере было запрятано почти шестьсот тонн желтого металла, что в исчислении 1936 года составляло 600—700 миллионов долларов.

Хотя советские танкисты были готовы немедленно начать переброску ящиков к причалу, Орлов рассудил, что им лучше поручить более ответственные функции — охранять и взвешивать золото, перед тем как его погрузят в судовые трюмы. Он попросил выделить ему шестьдесят испанских матросов для использования их в качестве грузчиков и немедленно получил их. Конечно, от них невозможно было скрыть, с каким грузом они имеют дело, но они считали, что золото перебрасывается из Картахены ради большей безопасности в какой-то другой испанский город, название которого по понятным причинам сохраняется в глубокой тайне. Орлов не счел нужным разубеждать их в этом.

Одновременно он решил пренебречь сталинским указанием о том, что золото должно быть погружено на какое-то одно из советских судов. Учитывая огромную ценность груза, он распределил его между четырьмя судами — благо в Картахену только что пришел под конвоем военных кораблей целый караван советских судов, доставивший массу оружия и боевого снаряжения. Такое решение усложняло проблему охраны груза в пути, но, с другой стороны, значительно снижало риск его полной утраты.

Погрузка заняла трое суток. Суда выстроились вдоль линии причала; каждый вечер с наступлением темноты грузовики один за другим подгонялись прямо под судовые лебедки.

В дневное время испанским и советским участникам операции воспрещалось высовывать нос из пещеры. Там им пришлось пережить критический момент: на второй день работы германские пикирующие бомбардировщики произвели несколько ожесточенных налетов на порт. Между тем в пещере, находившейся по соседству с сокровищницей, располагался склад боеприпасов республиканской армии. Если б сюда угодила хоть одна бомба, от золотого запаса ничего бы не осталось, а его защитники и сторожа, включая и самого Орлова, превратились бы в кучку пепла.

Орлов между тем не потерял самообладания и потребовал продолжать погрузку, объясняя это тем, что четыре советских судна, ожидавшие груз в порту, подвергались еще большей опасности. Но Аспе, очень почему-то нервничавший еще до налета бомбардировщиков, теперь и вовсе не смог владеть собой. Он попросту удрал, прислав вместо себя кого-то из подчиненных, чтобы продолжать подсчет ящиков.

С этим подсчетом, кстати, была связана какая-то загадка. На третью ночь, когда пещера наконец опустела, по записям Орлова значилось 168 рейдов, сделанных в общей сложности грузовиками, и 7900 перевезенных ящиков золота. Испанская сторона насчитала на сто ящиков меньше — 7800. Орлов мудро решил не тратить времени на выяснение причин этого расхождения и ограничился тем, что сообщил о нем телеграммой в Москву. Поскольку его

[1] Остальными четырьмя, согласно показаниям Орлова, были: Азана, тогдашний президент Испанской республики; премьер-министр Кабальеро; министр финансов Негрин и, по-видимому, министр обороны Прието. С советской стороны посвященных было двое: Орлов и Розенберг. Итого, лишь 7 человек во всей Испании были тогда в курсе дела.

цифра была выше, ему нечего было опасаться.

Теперь, когда погрузка закончилась, его мысли были поглощены тем, как обеспечить безопасность всем четырем советским судам. Им предстоял дальний путь, на значительном отрезке которого по морским просторам рыскали военные корабли Франко.

Орлову пришлось взять на себя еще одну инициативу и действовать через голову испанских военачальников. Он уговорил премьер-министра Кабальеро распорядиться, чтобы как можно большее число боевых кораблей республиканского флота было стянуто на предполагаемую трассу «золотого каравана» и чтобы командир каждого из этих боевых кораблей получил запечатанный конверт с секретным чрезвычайным предписанием. Эти конверты могли быть вскрыты только по специальному радиосигналу опасности, о котором Орлов заранее договорился с капитанами всех четырех советских судов. В случае, если они подвергнутся нападению франкистов, в эфире прозвучит условленный сигнал и командиры испанских боевых кораблей, вскрыв конверт, найдут в нем приказ спешить изо всех сил на выручку советским судам, отвлечь на себя противника и во что бы то ни стало спасти советских моряков и вверенный им груз.

Орлов, разумеется, понимал, что подобный приказ должен был исходить только от республиканского министра обороны Прието (который был по совместительству также и министром военно-морского флота), поэтому в своем обращении к премьеру он настоял, чтобы Прието срочно прибыл в Картахену и отдал необходимые распоряжения лично.

Казалось, все пока шло гладко и приказ «Ивана Васильевича» вот-вот будет выполнен. Тем не менее, когда октябрьской ночью четыре судна, увозившие все испанское золото, вышли из картахенского порта и направились в открытое море, держа курс на далекую Одессу, Орлов провожал их взглядом, полным тревоги. В эту ночь, как и в предыдущие, ему было не до сна. Ведь на караван могли натолкнуться не только франкисты — это было б еще полбеды, — но и итальянские крейсеры. Что произойдет в этом случае, лучше было не думать.

Однако прошли сутки, другие, а тревожного сигнала с судов не поступало. Через неделю стало известно, что все они благополучно прибыли в Одессу. Там золото было перегружено в специальный поезд и доставлено в Москву.

Благодарности от «Ивана Васильевича» Орлов так и не дождался. Но ему скоро стало известно, как это важное событие было встречено в Кремле. Одному из друзей и сослуживцев Орлова довелось присутствовать на банкете, состоявшемся там по случаю благополучного прибытия почищенного золота. Сталин, пригласивший на этот банкет все свое ближайшее окружение, всех членов Политбюро, был в отменном настроении и сыпал шуточками. Одна из них, впрочем, прозвучала совсем непохоже на шутку и смахивала скорее на пророчество:

— Испанцам, — ухмылялся Сталин, — не видать этого золота как собственных ушей!

Не прошло и двух лет, как Орлов, сослуживший Сталину такую службу, вынужден был искать спасения в бегстве от Сталина за океан.

Но, быть может, не в эти последние месяцы, а когда-либо раньше, за долгие годы своей предыдущей работы в ЧК — ОГПУ, Орлов проявил себя нелояльным к «хозяину» или к большевистской партии?

Ничего подобного. Вся его биография с официальной советской точки зрения была полностью безупречной. Его преданность режиму была не случайной, а закономерной и логичной, о чем свидетельствует хотя бы его происхождение и его жизненный путь как до, так и после революции.

Лев Фельдбин — таковы настоящие имя и фамилия Александра Орлова — родился 21 августа 1895 года в Бобруйске, в многодетной семье лесоторговца Лазаря Фельдбина. Семья была еврейской и гордилась этим. Лет за десять до рождения Льва его дедушка отправился из России в Палестину, чтобы приобрести там клочок пустыни, изнывающей от безводья. В ту пору и в последующие годы притеснения евреев в царской России многие из Фельдбиных (родные и двоюродные братья Льва) переселились в Соединенные Штаты.

Сам Лев с детства мечтал стать военным, но в дореволюционное время еврею нечего было и думать о карьере офицера. Только Февральская революция открыла перед ним двери офицерской школы. В 1917 году двадцатидвухлетнему Льву Фельдбину удалось окончить Третье Московское военное училище в чине подпоручика.

Вполне естественно, что октябрьский переворот привел его в Красную Армию. В апреле 1921 года красный командир, молодой и полный большевистского энтузиазма, женился на юной киевлянке Марии Рознецкой. Гражданская война шла к концу. Молодые поселились в Москве. Некоторое время Орлов — как мы по-прежнему станем называть его — изучал юриспруденцию и даже сделался помощником прокурора в Верховном суде СССР. В этой должности он принял участие в составлении первого советского уголовного кодекса.

В 1924 году Орлов привлек к себе благосклонное внимание Дзержинского и стал работать в ОГПУ, сначала в Экономическом управлении[1], а затем перешел на более соответствующую его военному призванию службу в пограничных войсках.

В 1925 году его назначили командиром погранбригады, дислоцированной в Грузии. Это был важный пост, если учесть, что в Грузии было тогда очень неспокойно. В подчинение к Орлову, находившемуся в Тифлисе, поступило шесть полков погран-

[1] В обязанности Орлова входил, в частности, надзор за иностранными деловыми людьми и инженерами, находящимися в СССР; кроме того, на него же была возложена организация шпионско-подрывной деятельности за рубежом — под прикрытием советских торговых представительств и торгово-экономических делегаций.

войск — в общей сложности около 11 тысяч человек личного состава.

В Грузии Орлов получил неожиданное сообщение о назначении руководителем резидентуры ОГПУ в Париже. Кстати, в бытность его парижским резидентом советской тайной разведки сюда прибыл и поселился здесь Борис Бажанов.

После Франции, где Орлов пользовался для конспирации фамилией Николаев, его на три года послали в Берлин.

Этот отрезок орловской биографии остается и по сей день наиболее туманным. Сотрудничая в конце жизни с американскими секретными службами, он тем не менее, по-видимому, унес многие важные тайны с собой в могилу.

В частности, не подлежит сомнению, что его деятельность в середине тридцатых годов непосредственно затрагивала не только континентальную Европу, но и Англию. Известно, что Орлов в тот период регулярно знакомился с совершенно секретными документами британского правительства, которые копировались и пересылались в Москву советскими шпионами, действовавшими в Англии. Больше того, Орлов обнаружил поразительную осведомленность в расположении определенных зданий в столице Великобритании — осведомленность, которую можно объяснить только личным присутствием, а не заочным изучением города. Выходит, в этот наиболее таинственный период его жизни ему приходилось бывать в Англии, и, возможно, не раз. Быть может, он имел отношение к организации там сети советского шпионажа, к вербовке тех лиц, чьи фамилии и дела выплыли на поверхность только в пятидесятые — шестидесятые годы, вызвав невероятную сенсацию? Все это, как говорится в России, «тайна, покрытая мраком».

Вот каким был человек, прибывший в сентябре 1936 года в Мадрид в качестве специального представителя Сталина при правительстве Испанской республики. За его спиной было двадцать лет преданной службы «делу революции». Теперь он успешно организует похищение испанского золота. Не менее эффективна его деятельность по созданию партизанских отрядов во франкистском тылу, особенно в шахтерской провинции Рио-Тинто. Франко вынужден был снять с фронта целых две дивизии, чтобы подавить это партизанское движение. Словом, испанский этап, казалось бы, мог стать еще одной ступенью наверх в блестящей карьере Александра Орлова, этого верного исполнителя воли Кремля.

Однако в игру вступают высшие соображения, не имеющие прямого отношения ни к собственным заслугам, ни к безупречной биографии Фельдбина — Николаева — Орлова. Его судьба определяется теперь прежде всего разгромом всего аппарата госбезопасности — того аппарата, который вырос в СССР как на дрожжах на волне сталинского «большого террора» и сам стал его неизбежной жертвой.

Неудивительно, что Орлов пришел в смятение, узнав весной 1937 года, что в Испании появился некий «товарищ Болодин». Хотя этот товарищ и был обряжен в форму танкиста со знаками различия комбрига, Орлову было известно, что Болодин — один из наиболее опытных террористов НКВД, проще говоря — убийц, специалистов по уничтожению тех, кого Сталин счел целесообразным «наказать». Что, если он прибыл сюда с заданием ликвидировать самого Орлова?

Занимая столь значительный пост в Испании, Орлов, конечно, знал о судьбе всех тех видных энкавэдистов, кого десятками отзывали из европейских стран в Москву, где новый нарком внутренних дел Ежов без промедления ставил их к стенке. Так они расплачивались за Рейсса и за Кривицкого. Орлову оставалось только гадать, когда же дойдет очередь и до него. Похоже, первый тревожный сигнал прозвучал в августе 1937 года.

На его имя поступила телеграмма от Слуцкого — его непосредственного начальника, возглавлявшего Иностранное управление НКВД. Слуцкий ставил Орлова в известность, что агентура Франко, не без помощи нацистской Германии, запланировала похищение Орлова с территории, занятой республиканцами, для того, чтобы вырвать у него информацию о размерах и характере помощи, получаемой республиканской Испанией от СССР. Чтобы предупредить такую опасность, сообщал далее Слуцкий, в Испанию будет направлена группа сотрудников НКВД «в составе двенадцати специально отобранных людей», им предписывалось постоянно сопровождать Орлова в качестве телохранителей и нести ответственность за его безопасность.

Орлов постарался отклонить непрошеную заботу. Он телеграфировал Слуцкому, что его штаб круглосуточно охраняется испанскими солдатами-республиканцами, что вооруженная охрана сопровождает его во всех поездках и, таким образом, нет необходимости в дополнительных телохранителях. В то же время, встревоженный телеграммой своего московского начальства, он принял собственные меры предосторожности. Он отобрал десяток преданных делу коммунистов — немцев из Интернациональной бригады и сформировал из них подразделение личной охраны.

Решающий час наступил, когда Орлову доставили новое важное сообщение из Москвы, касавшееся лично его. Это произошло 9 июля 1938 года. На сей раз телеграмма была подписана самим Ежовым. С ее получением Орлову предлагалось прибыть в Париж и связаться с товарищем Бирюковым, тамошним генеральным консулом СССР, после чего они вдвоем в машине советского посольства должны проследовать в Антверпен. В антверпенском порту уже будет стоять на якоре, ожидая их прибытия, советский теплоход «Свирь». Им надлежит не позднее 14 июля подняться на борт «Свири», где предстоит «важное совещание».

Если б Орлов не принял меры по спасению семьи задолго до получения ежовского приказа, едва ли всем троим удалось бы бежать.

Он понимал, что любая нерешительность с его стороны будет истолкована в Москве не в его пользу. Орлов немедленно отослал телеграфный ответ: он прибудет в Антверпен в назначенный ему день и час, пред-

варительно заехав в Париж за Бирюковым. В его распоряжении оставалось двое суток. До истечения этого времени Ежов еще может считать, что все идет как полагается.

11 июля он выехал из Барселоны в сопровождении своего личного охранника-немца и направился к французской границе. Пока что его поведение, разумеется, тут же фиксируемое для доклада в Москве, ни у кого не должно было вызывать подозрений. Он уехал вовремя, в предписанном ему направлении и к тому же один, без семьи. Никто не предполагал, что он изменит курс только после того, как пересечет границу, оставив охранника здесь, на испанской стороне.

Оказавшись во Франции, Орлов первым долгом направился в гостиницу «Гранд-отель» в Перпиньяне, где, по уговору, его ожидали жена с дочерью, только накануне прибывшие с загородной виллы. Отсюда все трое направились на вокзал и сели в ночной парижский поезд.

В Париже они очутились утром 13 июля — в канун французского национального праздника, Дня взятия Бастилии. Никто не в состоянии предусмотреть решительно все на свете, но Орлов прямо-таки проклинал себя за то, что не предвидел этого осложнения: проезжая по парижским улицам, они заметили, что уже начался великий «исход» парижан из столицы на лоно природы, характерный для всякого большого праздника. Все устремились за город, на отдых, и, добравшись до американского посольства, куда Орловы намеревались обратиться с просьбой о предоставлении им политического убежища, они с ужасом узнали, что американский посол Буллит уже уехал отдыхать и появится не раньше чем через два-три дня! Марии пришла в голову спасительная мысль — толкнуться в дипломатическое представительство Канады.

Когда Орлов предъявил там свой дипломатический паспорт и попросил о свидании с главой канадской миссии, у него мелькнуло опасение, что ему откажут в приеме, так как Канада не имеет дипломатических отношений с Советским Союзом. Но нет, его ожидал, напротив, очень любезный прием. Вдобавок глава канадского представительства оказался бывшим комиссаром по делам иммиграции и, таким образом, вполне ориентировался во всех вопросах, связанных с предоставлением убежища в его стране.

Трудно сказать, в какой мере Орлов посвятил его в свои проблемы, однако в течение часа беглецы получили не только канадские визы (видимо, это прошло без осложнений, потому что в Квебеке тоже начали уже отмечать праздник, и это избавило любезного канадца от необходимости консультироваться через океан с начальством), но и рекомендательное письмо, адресованное в комиссариат по делам иммиграции — бывшим сослуживцам.

Более того, невольно стал участником разговора канадский пастор, случайно заглянувший в этот день в представительство. Узнав, что Орлову с семьей необходимо как можно скорее оказаться на противоположном берегу Атлантического океана, он сказал, что как раз вечером из Шербура отходит канадский теплоход «Монклэр» и, кажется, на нем есть еще свободные каюты.

Вероятно, за всю свою долгую службу в разведке Орлов ни разу не получал за столь малое время такого количества жизненно важной информации, как сейчас, когда его разведывательная карьера бесповоротно кончилась! Он бросился в туристское агентство за билетами на «Монклэр», а Мария слетала в гостиницу, где они остановились, за Верой и вещами. Все трое встретились на вокзале, когда до отхода шербурского поезда оставались считанные секунды. Четыре часа спустя семья Орловых поднялась на борт «Монклэра». Ночь застала их уже в открытом море.

Глава одиннадцатая
Пятнадцать лет молчания

13 августа, предъявив все тот же дипломатический паспорт, Орлов с семьей въехал через канадскую границу на территорию Соединенных Штатов. Прошел ровно месяц с того дня, когда ежовская «подвижная группа» тщетно поджидала его на борту «Свири». Во Франции Орловым, можно сказать, невероятно повезло, но там некогда было даже перевести дух. Теперь же, оказавшись за океаном в относительной безопасности, Орлов должен был срочно позаботиться о том, чтобы Сталин не тронул его мать и тещу, оставшихся в СССР. Отлично зная нрав «хозяина», Орлов понимал, что существует только одно средство, которое сможет сохранить жизнь двум ни в чем не повинным заложницам. Этим средством был ш а н т а ж, притом шантаж крупный, чтобы Сталин осознал, что он ничего не выиграет, а может лишь серьезно проиграть, если вздумает мстить двум старым женщинам.

Еще находясь в Канаде, Орлов срочно вызвал в Монреаль своего нью-йоркского кузена Натана Курника и вручил ему два толстых пакета. Это были письма — оба одного и того же содержания, на тридцати семи страницах каждое, предназначенные для Сталина и для его наркома внутренних дел Ежова.

В письмах не было ни излишней риторики, ни обвинений, ни попыток самооправдания. Они носили сугубо деловой характер. Орлов ставил Сталина и его подручного в известность, что если двум старым женщинам попытаются мстить, он опубликует все, что он знает о мерзких сталинских преступлениях. В первую очередь он предаст гласности факты, свидетельствующие о нечеловеческой жестокости самого Сталина, а также во всех деталях раскроет перед мировой общественностью жуткую подоплеку «московских процессов» 1936—1938 годов, о которых было столько шумных толков на Западе. Чтобы показать, что ему действительно известна вся закулисная сторона этих процессов, как и подробности других сталинских злодеяний (хотя едва ли у Сталина и Ежова были какие-либо сомнения на сей счет!), Орлов

перечислил все совершенные Сталиным преступления, которые он имеет в виду.

Письма заканчивались еще одним предупреждением: если что-либо случится с самим Орловым, это ничего не изменит, поскольку он распорядился о немедленной публикации всех этих разоблачений третьими лицами на случай внезапной смерти.

В отношении Ежова Орлов также использовал такое надежное и безотказное средство, как шантаж. Он пригрозил публикацией, в частности, того факта, что Ежов позволил своему тайному агенту из среды белоэмигрантов — генералу Николаю Скоблину — укрыться в советском посольстве, когда французская полиция шла за ним по пятам, намереваясь арестовать его за участие в похищении генерала Миллера [1]. Упомянутое распоряжение Ежова бросало тень на советское посольство во Франции и, конечно, было крупным служебным промахом, который, стань он известен Сталину, мог стоить Ежову карьеры, если не головы.

Оставалось решить немаловажный вопрос: как доставить эти грозные предупреждения адресатам? Натан Курник согласился отправиться в Европу и передать их работникам советского посольства в Париже. Расходы по этому путешествию брал на себя Орлов, он же проинструктировал своего кузена, как войти в контакт с посольством, не подвергая себя опасности.

В тот момент, когда Орловы пересекали границу Соединенных Штатов, миссия, возложенная на Курника, уже была выполнена и он находился на пути домой.

Итак, было сделано все, что в человеческих силах, для защиты двух матерей, положение которых в СССР оставалось, несомненно, очень опасным. Теперь Орловым следовало подумать, как застраховать от всяких случайностей самих себя.

Орлов не питал никаких иллюзий на этот счет: он понимал, что Сталин ни перед чем не остановится, только бы добраться до предателя, вдобавок ко всему осмелившегося его шантажировать. Было решено, что в США семья будет жить под неприметной фамилией Берг и вообще постарается побыстрее раствориться в американской среде.

Орловы считали эту задачу несложной, хотя и не предполагали, что с самого начала найдут понимание и поддержку у американских властей. Матерому агенту секретной службы, привычному к тискам советского режима (где каждый шаг любого иностранца контролировался властями и всемогущей тайной полицией), Америка показалась страной невероятной наивности, детской доверчивости и легкомыслия.

Самой серьезной проблемой оказалось найти надежного адвоката, с которым в необходимых случаях можно было бы срочно проконсультироваться. В этом Орлову помогли его нью-йоркские родственники. Они рекомендовали ему мистера Файнерти, который, будучи видным деятелем демократической партии, участвовал в работе Комиссии конгресса, занимавшейся невыясненными и непонятными Западу аспектами «московских процессов», то есть темой, очень близкой Орлову. В результате хлопот мистера Файнерти не прошло и двух недель со дня прибытия Орловых в Соединенные Штаты, как главу семьи пригласили в Вашингтон для личной беседы с министром юстиции Фрэнсисом Биддлом.

Орлов перечислил мистеру Биддлу свои звания и должности и продемонстрировал в подтверждение свой дипломатический паспорт. Главной его целью было получить официальное разрешение остаться в Соединенных Штатах.

Министр заметил, что лично он не усматривает к этому никаких юридических препятствий, но все же следует поинтересоваться мнением главы департамента иммиграции и натурализации. Тот в свою очередь заявил, что Орлову необходимо лишь представить поручительство, подписанное двумя-тремя гражданами Соединенных Штатов, и плюс к тому сообщить властям, на какие средства он собирается жить, по крайней мере первое время.

Орлов ответил, что за него, без сомнения, поручатся его нью-йоркские родственники. Что же касается денег, то он захватил с собой из Европы довольно приличную сумму — 22 800 долларов наличными. «Это — моя зарплата за последние месяцы и сбережения, образовавшиеся за ряд лет», — объяснил он.

Таким образом, дело было улажено. Высшие американские чиновники тут же заверили Орлова, что он вправе поселиться в любом городе на территории Соединенных Штатов. Правда, ему не дали на руки никакого документа, хотя бы простого письма на официальном бланке, подтверждающего это устное заверение. Но, с другой стороны, от него ведь тоже не требовали никаких письменных обязательств или поручительств, удовлетворившись его ссылкой на нью-йоркских родственников и устным заявлением о денежных средствах, которыми он располагает. Ни в госдепартаменте, ни в военном ведомстве, ни в ФБР, ни даже в Комиссии конгресса, занимавшейся «московскими процессами», никому из чиновников не пришло в голову как-то воспользоваться неожиданным появлением в Соединенных Штатах такой редкой и важной птицы, как бывший советский комиссар госбезопасности — генерал с тремя ромбами!

Едва выйдя из подъезда вашингтонского министерства юстиции, Орлов поспешил воспользоваться беспечностью американских властей и на целых пятнадцать лет исчез из их поля зрения.

Как удалось ему так долго оставаться «человеком-невидимкой»?

В этом ему помогло, конечно, то, что он располагал значительным, по тому времени, капиталом. Как мы знаем, у Орловых было с собой 22 800 долларов; родственники ссудили их еще четырьмя тысячами. Экономя на всем, Орловы установили, что для благополучного существования им достаточно полутора тысяч долларов в год. За квартиру они платили на протяжении всех пятнадцати лет 75 долларов в месяц. Это в среднем. Самая первая и самая дешевая

[1] Генерал Миллер был одним из лидеров воинственной части российской белой эмиграции. Агентура Ежова похитила его из Парижа 21 сентября 1937 года прямо с улицы, средь бела дня.

их квартира обходилась им всего в 45 долларов ежемесячно, а последняя — самая дорогая — в 80.

В этой стране массовой моторизации они так и не обзавелись автомобилем. Что же касается питания семьи, то и оно все годы оставалось очень скромным, почти спартанским.

Незавидная, казалось бы, жизнь. Однако именно такой образ жизни гарантировал Орловым, как они и рассчитывали, полную безопасность. Избегая общения с посторонними людьми, уклоняясь от заполнения каких бы то ни было анкет, глава семьи не зарегистрировался в качестве безработного.

Семья постоянно меняла не только квартиры, но и города— агентурный опыт Орлова подсказывал ему, что это средство «заметания следов» исключительно действенно. Даже контакты с Файнерти, которому Орлов вполне доверял, были обставлены массой предосторожностей. Адвокат никогда в точности не знал, где в данный момент находится его подопечный и увидятся ли они с Орловым в тот день и час, которые последний сам же назначал для встречи. Свой дипломатический паспорт — единственный документ, удостоверявший его личность, — Орлов хранил в сейфе одного из вашингтонских банков. Связь с Файнерти долгое время поддерживалась с помощью условных, зашифрованных объявлений, которые обе стороны помещали в газете «Нью-Йорк таймс».

Переезжая с квартиры на квартиру и из города в город, Орлов представлялся домохозяевам то как «Александр Берг», то как «Александр Фельд», то как «Леон Курник» (так звали американца, мужа его нью-йоркской тетушки). Мария называлась во всех случаях Рознецкой, вернув себе девичью фамилию.

Первые месяцы семья провела в Нью-Йорке и Вашингтоне, затем перебралась в Бостон, а оттуда, спустя некоторое время, — в район Питтсбурга, где тоже то и дело переезжала с места на место.

1940 год Орловы провели в Лос-Анджелесе. Здесь их постигло большое горе — смерть единственной дочери. Вере было только шестнадцать лет. Так дала себя знать роковая простуда, схваченная ею в дождливый день на озере в далеком Тифлисе...

Веру похоронили на кладбище в Кембридже, в штате Массачусетс. Но и в этом городке, к которому их, казалось, должна была привязать могила дочери, Орловым не суждено было задержаться надолго.

В самом начале 1941 года американскую общественность взбудоражило сенсационное происшествие: в вашингтонском отеле был найден мертвым Вальтер Кривицкий, и газеты подняли невероятный шум, привлекая всеобщее внимание к судьбе советских перебежчиков, к советскому шпионажу и подрывной деятельности в целом.

Орлов не сомневался, что смерть Кривицкого, конечно же, была делом рук советской агентуры, и понимал, что штат Массачусетс находится слишком близко от Вашингтона чтобы здесь можно было чувствовать себя в безопасности. Кроме того, как раз в это время, в разгар второй мировой войны, Соединенные Штаты всерьез начали готовиться к военным действиям. Орлов получил повестку, призывающую его на военную службу. Этой службы ему следовало избежать во что бы то ни стало — не потому, что он не надеялся стать полноценным защитником Америки, а по той простой причине, что от внимания призывной комиссии не могло ускользнуть, что она имеет дело с генерал-лейтенантом советской госбезопасности!

Вот почему в 1941 году Орловы срочно перебрались в другой штат — Огайо, в город Кливленд, где им суждено было обосноваться надолго. Они сняли скромную квартирку в многоэтажном доме и просидели в ней не только войну, но и первый послевоенный период. Их образ жизни может быть назван наитишайшим: супруги редко выходили из дома, не завели почти никаких знакомств и, конечно, не имели друзей. Здесь же Орловы прошли через процедуру получения американского гражданства.

Не обращая внимания ни на раскаты второй мировой войны, сотрясавшие мир, ни на приближение «холодной войны», все явственнее ощущаемой человечеством, Орлов наконец-то основательно засел за книгу, замысел которой родился у него, по-видимому, еще до побега. Его книга должна была раскрыть миру глаза на сталинское царство террора.

В начале 1951 года рукопись была закончена. В мире бушевала «холодная война», вновь разделившая человечество на два враждебных лагеря. Во главе одного из них стояла страна, где родился Орлов, во главе противоположной — страна, ставшая ему второй родиной.

Он решил попытаться немедленно опубликовать свой труд, невзирая на то, что это сразу же разоблачит его инкогнито и, без сомнения, принесет ему множество осложнений. Но и он, и Мария к этому времени были уверены, что их матерей наверняка уже нет в живых, и нарушение обета молчания теперь не могло повредить никому, кроме самого Орлова. Кроме того, книга, разоблачающая сталинщину, могла бы оказаться мощным оружием в идеологической «холодной войне».

Торопиться с опубликованием книги приходилось также по более прозаической — но от этого не менее важной — причине. Деньги, которыми располагали Орловы, подходили к концу. Когда печатались на машинке последние главы рукописи, им уже пришлось сесть на вегетарианскую диету.

Одна за другой были проданы все маломальски ценные вещи, имевшиеся в доме. На деньги, вырученные от продажи последней из таких вещей — Вериного фотоаппарата, Орлов отправился в Нью-Йорк, захватив с собой только что законченную рукопись.

В Нью-Йорке он обратился за советом к Максу Истмену, видному американскому литератору. Биография Истмена подсказывала Орлову, что это именно тот человек, который ему нужен. В первые годы после большевистской революции он исповедовал крайне левые взгляды и был горячим приверженцем коммунизма. Он зачастил тогда в Советскую Россию, пользо-

вался доверием самого Троцкого и женился на представительнице большевистских верхов — сестре Николая Крыленко, под чьим началом Орлов когда-то работал в Верховном суде СССР. Но в дальнейшем Истмен основательно поправел и полностью разочаровался в «диктатуре пролетариата», а главное — в самом диктаторе. Теперь, в 1951 году, он был человеком вполне умеренных, даже скорее правых, взглядов и убежденным антисталинистом. Кто-кто, а он-то должен был оценить по достоинству как незаурядную биографию Орлова, так и значение его правдивой, разоблачительной книги.

Впрочем, Орлов на всякий случай держался с этим человеком, прежде ему не знакомым, крайне осторожно. Он представился не как автор рукописи, а лишь как «доверенное лицо» автора. Разгадал Истмен эту нехитрую уловку или нет, неизвестно. Гораздо существеннее то, что он сразу признал рукопись «блестящей». Но, продолжал Истмен, ее автор, генерал Орлов, безусловно, нуждается в квалифицированном переводчике. Так вот он, Истмен, готов взять на себя труд по переводу столь выдающегося документа на английский язык. Его условия скромны: одна треть гонорара.

Я думаю, даже профану ясно, что это предложение попахивало откровенным грабежом. Орлов раздумывал день или два, но затем решительно отверг подобное сотрудничество и вернулся домой в Кливленд. Взяв несколько сот долларов взаймы у своих нью-йоркских родственников, он решил, что пусть лучше его снова ожидает в течение нескольких месяцев скудный вегетарианский обед, но он сам переведет свой труд на английский язык.

Летом 1952 года перевод был наконец закончен, и в феврале 1953 года Орлов успешно провел переговоры о публикации ряда глав своей книги в популярном журнале «Лайф». Вознаграждение показалось ему прямо-таки сказочным.

Публикация совпала с внезапной смертью Сталина — главного персонажа орловской книги. Ее автор был несколько даже разочарован, что Сталин не увидел, как тайная история его преступлений сделалась известна всему миру и все старания утаить их оказались тщетными. Но, с другой стороны, смерть Сталина снова приковала внимание всего человечества к личности этого тирана, и публикация орловских разоблачений оказалась как нельзя кстати.

В том же году книга Орлова под названием «Тайная история сталинских преступлений» была полностью опубликована на английском языке нью-йоркским издательством «Рэндом хаус». Ее перевели на немецкий, японский, китайский и другие языки[1]. Это было первое подробное и авторитетное исследование событий, происходивших за кулисами сталинских «чисток» и пресловутых московских «показательных процессов». Орлову в полной мере удалось продемонстрировать всему свету безграничную подлость, мегаломанию, мстительность, коварство и жестокость Сталина и его подручных — те черты советской правящей верхушки, что на протяжении десятилетий определяли внутреннюю — да и внешнюю — государственную политику огромной страны и вызывали на Западе первоначально лишь недоумение, смешанное с недоверием.

[1] Случилось так, что русский оригинал книги Орлова дождался публикации лишь в 1983 г. Он был выпущен в Нью-Йорке издательством «Время и мы». **(Прим. ред. «Время и мы».)**

Глава двенадцатая
Запоздалое эхо

Итак, в феврале 1953 года один из ведущих американских журналов, еженедельник «Лайф», начал готовить к публикации отдельные главы из книги Орлова и приступил к их печатанию с номера, датированного 6 апреля.

Теперь спохватилось и ФБР, с изрядным запозданием установив, что на протяжении целых пятнадцати лет под боком у американской контрразведки безмятежно жил компетентнейший специалист по вопросам советской подрывной деятельности и шпионажа.

В 1953 году, когда взорвалась эта психологическая бомба, Гитлер и развязанная им война казались уже далеким прошлым. В мире назревал новый глобальный конфликт — между Западом и Востоком. Явление, характеризуемое на языке дипломатов и разведчиков как «вызов советского блока», отбрасывало свою гигантскую тень буквально на все стороны американской действительности. Советологи и кремленологи в значительной степени определяли теперь политику Белого дома. Именно эти круги первыми осознали, по-видимому, в значительной степени благодаря журнальным статьям Орлова, что американская администрация сейчас может получить ключ ко многим загадочным коммунистическим акциям периода «холодной войны», и этот ключ находится в руках человека, который здесь, рядом, в соседнем штате, буквально под носом.

С того дня, как первая статья Орлова появилась в «Лайф», ФБР, что называется, плотно взялось за него и не выпускало из своих «объятий» несколько недель кряду. Агенты ФБР буквально дневали и ночевали в его теперешней нью-йоркской квартире, задавая хозяину миллион вопросов, — его досье росло день ото дня, составляя уже горы исписанной бумаги.

Впрочем, вся эта возня оказалась крайне малоэффективной, особенно когда дело дошло до информации, выходящей за рамки личной биографии Орлова. Тут он наотрез отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Это был не тот уровень, на котором он соглашался теперь сотрудничать с американским правительством.

ФБР, по-видимому, поняло, что даже в «лучшие» (то есть в самые трудные для Орлова) времена его вряд ли удалось бы соблазнить сотрудничеством за деньги. А уж теперь и подавно. Он не нуждался более в деньгах. Его доход от книги и от статей в «Лайф» составил в 1953 году, как позднее удалось установить, 44 500 долларов — почти вдвое больше той суммы, на которую они с женой умудрились прожить

полтора десятка лет. Все, что ему теперь требовалось, — это чтобы его оставили в покое и дали возможность продолжать легально жить в этой благословенной стране.

Но как раз в этом-то ему и собирались отказать. Как следует из протоколов заседаний конгресса Соединенных Штатов, 13 июня 1955 года были выписаны ордера на арест обоих супругов — на том основании, что они будто бы «нарушили правила, установленные для лиц, не имеющих статуса легальных иммигрантов». Кроме того, Орлову инкриминировалось еще одно прегрешение: утверждалось, что он, «будучи иностранцем, после въезда в США продолжал оставаться членом коммунистической партии иностранного государства» (?!). Трудно даже представить, насколько эта формулировка, явно рожденная тогдашним маккартистским психозом, была неуклюжей и нелепой по существу. Товарищ Фельдбин, он же Орлов и как его там еще, наверняка был бесповоротно вычеркнут из списков членов ВКП(б) сразу, как только в Москве стало известно о его бегстве, то есть задолго до того, как он пересек границу Соединенных Штатов.

К счастью, эти, мягко говоря, малоизящные действия, инспирированные ФБР, не имели последствий. Выход книги Орлова стал своего рода литературной сенсацией и привлек к нему благожелательное внимание широких кругов американской общественности, которая решительно выступила в его защиту. Дело кончилось тем, что специальным биллем, проведенным через конгресс в мае 1956 года, супругам Орловым было официально предоставлено право постоянного проживания на территории Соединенных Штатов Америки.

За восемь месяцев до этого события Александр Орлов, сопровождаемый женой, впервые дал показания перед сенатским Подкомитетом по национальной безопасности. В феврале 1957 года супруги вновь предстали перед членами этого Подкомитета. Их показания были опубликованы только спустя шестнадцать лет.

Показания, данные Орловыми на сенатских слушаниях, были в общем очень сдержанными. Если расположить их в хронологическом порядке, окажется, что, в сущности, Орлов раскрыл очень немногое сверх того, что удалось вытянуть из него сотрудникам ФБР в самом начале расследования.

Так, Орлов подробно рассказал о деятельности Марка Зборовского — одного из самых опасных агентов, которому Сталин поручил «выследить» Троцкого и по возможности «нейтрализовать» его. Когда Орлов в первый раз прибыл в Соединенные Штаты (это произошло в 1932 году), он уже знал, что этот агент — известный ему тогда только по имени Марк — сумел подружиться с сыном Троцкого, жившим в Париже под именем Льва Седова. Орлов познакомил сенатский Подкомитет с обстоятельным анонимным письмом, которое он отправил Троцкому из Соединенных Штатов 27 декабря 1938 года. В письме он предупреждал опального большевистского вождя не только о том, что Лев Седов оказался фактически в сетях советского агента, выдающего себя за его друга и единомышленника, но и о том, что руками этого агента предполагается «ликвидировать» самого Троцкого.

В дни Рождества 1953 года, спустя тринадцать лет после того, как Троцкий был зверски убит агентами Сталина в своем мексиканском доме в Койоакане, Орлов узнал, что Зборовскому удалось еще в 1941 году пробраться в Соединенные Штаты. За истекшее время он не только получил американское гражданство, но и сделался респектабельной фигурой — обзавелся множеством полезных деловых и дружеских связей. Как только закончились рождественские праздники, Орлов поторопился сообщить американским властям о преступном прошлом Зборовского и о том, что он по-прежнему потенциально опасен.

Характерно, что Орлов направился для этого не во враждебное ему ФБР, а в нью-йоркский офис мистера Аттербери — помощника министра юстиции. Этот визит привел к нейтрализации происков Зборовского в Соединенных Штатах. Позже Орлов признавался, что тогда, в конце 1953 года, у него возникло неодолимое предчувствие, что ближайшее покушение, наверняка уже планируемое Зборовским, будет нацелено на него.

Еще одна темная история, вскрытая теперь с помощью Орлова, относилась к широко задуманной Советами кампании по наводнению Соединенных Штатов фальшивыми деньгами. Дело происходило в 1928—1934 годах. Сообщения о появлении в тот период массы фальшивых банкнот действительно мелькали в американской прессе, но в дальнейшем Москва, убедившись, что операция позорно провалилась, предприняла экстренные меры к ее свертыванию и заметанию следов[1]. Однако до разоблачений, сделанных Орловым, никто не знал, каких чудовищных масштабов должно было достигнуть это предприятие, если б все шло, как задумали его организаторы, и в какой мере его инициатором и вдохновителем был лично Сталин. Теперь эти пикантные подробности его деятельности сделались достоянием гласности.

Вся эта афера, по свидетельству Орлова, была затеяна для того, чтобы, во-первых, путем размена фальшивых купюр на настоящие раздобыть побольше твердой валюты, которой большевикам страшно недоставало, и таким образом обеспечить закупку промышленного оборудования, необходимого для индустриализации Советского государства. Во-вторых, посредством такой акции Советы надеялись подорвать американскую экономику.

Сталин с самого начала был главной пружиной этой авантюры. По мнению Орлова, такая идея возникла в голове вождя совсем не случайно: еще в 1908 году, будучи арестован за подпольную революционную деятельность, будущий диктатор попал в одну камеру с двумя знаменитыми фальшивомонетчиками, специалистами по подделке пятисотрублевых банкнот, и проявил огромный интерес к их захватывающим рассказам.

[1] О лихорадочных мерах по свертыванию этой акции подробно пишет Кривицкий в своей книге.

Эксперты Государственного банка Соединенных Штатов утверждали, что им никогда еще не случалось видеть фальшивые банкноты, сработанные с таким мастерством. Удивляться этому не приходится: Орлов объяснил, что по распоряжению Сталина их изготовление было поручено московскому Гознаку, то есть тому учреждению, где разрабатывались и изготавливались советские банкноты и где были сосредоточены лучшие в СССР специалисты в этой области — граверы и печатники. Эти кадры сохранились в значительной мере еще с царских времен. А ведь банкноты царской России, замечал Орлов, были по рисунку и по качеству печати наиболее совершенными в мире.

Столь же серьезное внимание Сталин уделил пуску в оборот этих фальшивок, которые были напечатаны в виде крупных (стодолларовых) купюр. Для этого пришлось специально приобрести — через посредство канадских коммунистов — берлинскую финансовую контору «Зааз-Мартини».

Несмотря на столь основательную подготовку, операция провалилась. В то время газеты писали, что банда фальшивомонетчиков собиралась распространить поддельные банкноты на сумму в два миллиона долларов. Действительные аппетиты Сталина были куда грандиознее. Орлов сообщил, что в Соединенных Штатах предполагалось пустить в обращение фальшивок на десять миллионов, да и то в качестве «первого этапа» всего предприятия.

Эта информация взволновала американских конгрессменов несравненно сильнее, чем все перипетии охоты за Троцким, о которых смог рассказать Орлов. Еще более впечатляющими оказались сведения, выданные Орловым «под занавес» — в самом конце слушаний, — вызвавшие бурный обмен мнениями. Они касались сети шпионажа, которую Кремль сумел раскинуть в Соединенных Штатах еще перед второй мировой войной.

Орлов подчеркнул, что к 1938 году советские главари в своих планах шпионской и подрывной деятельности уделяли США такое же внимание, как Англии и Франции. Это выразилось хотя бы в том, что если принимать во внимание только агентуру, подчиненную НКВД (то есть без военной разведки, находившейся в ведении ГРУ — Главного разведывательного управления Красной Армии), и притом только «легальную», то есть тех агентов, которые работали под прикрытием своих официальных должностей в дипломатических и торговых миссиях, то в Соединенных Штатах насчитывалось по меньшей мере восемнадцать гнезд советского шпионажа. Во главе этой сети стоял некий товарищ Гусев, когда-то состоявший в подчинении Орлова. Теперь Гусеву подчинялось шестеро советских разведчиков в разных частях Соединенных Штатов, у каждого из которых насчитывалось по три помощника — американца. Как правило, это были члены американской компартии.

Конечно, теперь, когда прошло два десятка лет, вся эта информация о проникновении советской агентуры в США имела скорее историческое значение. Но если бы Орлов дал свои показания сразу после прибытия в Соединенные Штаты и к тому же эти показания получили надлежащую оценку, то, вероятно, не составило бы труда убедить президента Рузвельта расстаться со своими роковыми иллюзиями в отношении Советского Союза и его «мужественного и трезвого лидера — дяди Джо», которого не в меру добродушные государственные деятели Америки сочли вполне подходящим партнером при решении послевоенных судеб мира.

В 1963 году издательство Мичиганского университета выпустило книгу Орлова, сухо озаглавленную «Пособие по разведывательным и партизанским операциям». Сам он охарактеризовал ее как сокращенный и переработанный вариант руководства, составленного им в 1935—1936 годах для советских секретных школ по подготовке диверсантов и террористов.

Название книги способно ввести в заблуждение: из ста восьмидесяти семи ее страниц партизанским боевым действиям посвящено меньше двадцати. Впрочем, этот раздел, иллюстрированный практическими примерами из опыта испанской войны, в ближайшее десятилетие начал усиленно изучаться лидерами так называемых национально-освободительных движений во всех частях света. Известно, что многие из этих «движений» (особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке) поддерживались и раздувались Москвой и Пекином и были направлены против режимов, поддерживаемых американцами. Так что приходится констатировать, что по иронии судьбы эта часть книги Орлова сослужила службу не Соединенным Штатам, а их противникам.

Остальная часть «Пособия...» вполне отвечала давнему намерению Орлова — показать широкой общественности гигантский размах и крайнюю неразборчивость в средствах, характерные для советской шпионско-подрывной деятельности. Орлов подчеркивал, что действия советского режима куда шире, чем на Западе, основываются не на общедоступной информации, поступающей по обычным каналам, а на секретной, собираемой множеством тайных агентов. Он знакомил читателей со специфически советскими понятиями в сфере разведки, чтобы даже профан в этой области мог наглядно представить себе образ действий разведчиков в зависимости от условий их работы и поставленных целей.

Книга рассказывала о специальной подготовке и особенностях внедрения «легальных» и «нелегальных» агентов и групп, о методах вербовки ими соучастников и помощников, о системах связи с «Центром». Конечно, для спецслужб Соединенных Штатов, которые к 1963 году уже сильно разрослись и набрались опыта, в этой книге не содержалось ничего сенсационного. Но тот факт, что она выдержала в Соединенных Штатах три издания, говорит об интересе, проявленном к ней со стороны рядовых американских читателей.

Написав эту книгу, Орлов расстался на время с литературной деятельностью и принялся за изучение советского законодательства — оно интересовало его еще с тех давних времен, когда ему довелось слу-

жить в Верховном суде... Но безмятежную жизнь стареющих супругов неожиданно нарушило событие, которое теперь, спустя полтора десятка лет после смерти Сталина, они считали совершенно невероятным. Как выяснилось, Кремль отнюдь не забыл о существовании Александра Орлова и, более того, знал, что он живет теперь в городке Анн-Арбор штата Мичиган.

14 ноября 1969 года, во второй половине дня, в дверь квартиры Орловых деликатно постучали. Орлов осторожно приоткрыл дверь, придерживая рукой цепочку: его несколько смутило то обстоятельство, что снизу, из подъезда, ему перед этим никто не позвонил, предупреждая о приходе. На лестничной площадке стояла какая-то незнакомая фигура.

Видимо, не догадываясь, кто выглядывает из дверной щели, но в то же время, несомненно, хорошо зная, кто живет в этой квартире, человек протянул пакет, торопливо объяснив по-английски, что это письмо от одного из товарищей Орлова по Испании, и застыл в ожидании ответа. Орлов взял письмо и, ничуть не собираясь снимать с двери цепочку, спросил, с кем имеет честь говорить.

— Моя фамилия Феоктистов, — последовал ответ. — Я хотел бы сказать несколько слов Александру Михайловичу...

Орлов понял, что незнакомец либо не узнал его, либо вообще не имеет представления, с кем говорит. Поэтому он попросил неожиданного гостя подождать: «Сейчас я передам письмо Орлову...» Но такой оборот дела не понравился Марии. Не зря, видимо, американские чиновники называли ее «офицером безопасности, отвечающим за всю семью»! Услышав из своей комнаты этот разговор, она вышла к дверям квартиры и потребовала, чтобы неизвестный предъявил удостоверение личности. Тот повторил, что его фамилия Феоктистов, добавив, что он член советской делегации в ООН, работает, следовательно, в Нью-Йорке, и в подтверждение своих слов вытащил какое-то удостоверение. «У вам имеется при себе револьвер?» — поинтересовалась Мария, и Феоктистов заверил ее, что нет.

Захлопнув дверь, ведущую из прихожей в комнаты, Мария завязала с ним долгий разговор. Не подлежало сомнению, что Феоктистов — сотрудник советской госбезопасности, прикрывающийся легальной должностью «члена советской делегации в ООН».

Зная, что жена действует в их общих интересах, Орлов прислушивался к разговору, не показываясь больше в прихожей. Разговор, затеянный Марией, вращался в основном вокруг судьбы ее сестер, живших в Советском Союзе. Быть может, спрашивал Феоктистов, ее интересуют какие-нибудь сведения от них? Он мог бы передать им ее адрес. Не захочет ли она переслать им весточку о себе? Но как только Феоктистов, явно следуя полученным инструкциям, пытался коснуться семейных дел Орловых, Мария тотчас уходила от этого и начинала говорить о советской политике в целом — о предмете, достаточно хорошо ей знакомом. Когда окончательно стало ясно, что к Орлову его не допустят, незнакомец удалился. Супруги поняли, что отныне их не оставят в покое.

Действительно, вскоре раздался телефонный звонок. В качестве новой тактики Феоктистов избрал лесть, которая, как он надеялся, подействует безотказно: в Советском Союзе, видите ли, все теперь отдают должное автору «Тайной истории сталинских преступлений», более того, восхищаются им. Времена теперь совсем иные, не то что при Сталине, и уже давно никто не считает его врагом народа. Сам Феоктистов был бы просто счастлив получить от генерала Орлова экземпляр его знаменитой книги.

Воспользовавшись покровительством американских спецслужб, которые теперь по-настоящему сочувствовали Орлову и вдобавок считали себя ему многим обязанными, супруги поспешно перебрались обратно в Кливленд. КГБ понадобилось полтора года, чтобы вновь нащупать их местопребывание.

Утром 10 августа 1971 года раздался знакомый деликатный стук в дверь. Мария не сразу опознала неожиданного посетителя. Но тот первым долгом предъявил ей свой дипломатический паспорт и смиренно просил разрешения войти в прихожую, «чтобы вы могли убедиться, что это я...».

Робкие манеры Феоктистова и его не вполне понятная настойчивость хоть кого могли ввести в заблуждение... Марии пришло в голову: а что, если он тоже сыт по горло советскими порядками и хочет, чтобы ему посодействовали в получении убежища на Западе? Почему бы нет? Она позвала мужа и с понятным волнением задала гостю вопрос:

— Вы что же, разошлись с советским режимом?

— Я, собственно, не разошелся... — ответил тот. — Я работаю на них...

После этого разговор принял характер, напоминающий беседу через дверную щель в Анн-Арборе. Феоктистов продолжал утверждать, что советское правительство и народ испытывают к товарищу Орлову все возрастающее уважение. Он пользуется там такой любовью, что стоит только кому-нибудь подать правительству эту мысль — и его немедленно произведут в Герои Советского Союза. Не знают только, как отнесется к этому сам Орлов, «и это многих останавливает». Что же касается сегодняшнего визита, то единственная его цель — получить разрешение генерала на публикацию в СССР книг, посвященных ему, и в первую очередь его собственного антисталинского произведения.

И, вообще говоря, почему бы генералу не возвратиться теперь, вместе с женой, на родину, где его ждут слава и почет? И не желает ли Орлов сообщить, кому из своих старых друзей в СССР он хотел бы передать привет — им наверняка это будет приятно.

А пока что — не спустится ли он на минуточку вниз, чтобы Феоктистов мог познакомить его со своей супругой и дочерью? Они ждут у подъезда в машине...

Это был, безусловно, неудачный ход. Орлов прекрасно знал, что в Москве его ожидает пуля, а не Звезда Героя. Точно

так же у него не было сомнений, что в машине, стоящей у подъезда, сидят не жена и дочь безобидного сотрудника ООН, а группа специально обученных убийц или похитителей.

Рассказывая об этом эпизоде друзьям, Орлов заметил, что все-таки на сей раз он узнал от Феоктистова одну важную для себя вещь. То ли случайно, то ли намеренно Феоктистов вдруг сказал, возвращаясь к тому давнему поступку Орлова:

— А вы знаете, мне ведь довелось видеть то письмо, что вы написали Сталину! Я даже прочел, какую он там наложил резолюцию...

Резолюция оказалась в соответствии с обычной сталинской манерой — свирепо-нецензурной. Но именно эта реакция вождя позволила Орлову сделать вывод, что она выражала бессильную злобу. Следовательно, примененное им тогда оружие шантажа оказалось действенным, сработало и, значит, достигло цели: спасло его близких, оставшихся в СССР.

Феоктистов был, разумеется, выставлен за дверь, и ему предложили вообще забыть дорогу к этому дому. Больше он не появлялся. Но его миссия хоть и не достигла цели, однако произвела роковое побочное действие. Волнение за мужа, переживания, связанные с этим визитом и с ожиданием дальнейших неприятностей, преждевременно свели жену Орлова в могилу. 16 ноября 1971 года Мария умерла от сердечного приступа.

Муж пережил ее на год и четыре месяца. В этот последний период своей жизни он снова погрузился в рукописи, работая над мемуарами — по сей день не дождавшимися издателя — и одновременно еще раз редактируя первоначальную русскоязычную рукопись «Тайной истории...». 7 апреля 1973 года он умер в кливлендской больнице св. Винсента в возрасте семидесяти семи лет.

Послесловие

Раскройте английское издание книги Гордона Брук-Шеперда «Буревестники», и вам тотчас же бросится в глаза заставка-символ: устремленная к свободе птица пытается оторваться от серпа и молота. И хотя книга вышла в серии «Шпионаж и разведка», похоже, что издатели явно хотели подчеркнуть ее политический смысл. Перед нами не просто шпионский детектив, но одиссея советских буревестников, порвавших со сталинским режимом.

Однако по мере того как знакомишься с этой одиссеей, начинаешь ощущать, как ее содержание приходит в противоречие с замыслом издателей и как сама одиссея оборачивается историей нескольких трагических одиночек, приговоренных к смерти Сталиным и нашедших в себе силы бежать на Запад.

Гордон Брук-Шеперд — честный и беспристрастный исследователь, и потому он не стремится уйти от правды, сколь бы жестока и неприятна она ни была. Да, его герои — мужественные люди, они выбрали свободу, за этот выбор им приходится пожинать на Западе горькие плоды. Угроза расправы неотступно преследует их. Но не в этом усматривает Брук-Шеперд их трагедию, ибо ведь только некоторых настигает рука советской тайной полиции. Но все, повторяю, все — и здесь нет исключений! — становятся жертвами преступного равнодушия Запада.

На самом деле кто они — Бажанов, Кривицкий, Беседовский, Агабеков, Орлов — в глазах западных правительств того времени? Сколь бы ни возносили их газеты тех дней, сколь бы ни называли борцами за свободу, вывод Брук-Шеперда жесток и однозначен: все они в глазах Запада не более чем советские агенты, готовые продать себя за приличную плату западным разведкам.

Однако, судя по всему, товар в глазах покупателей был не слишком высокой стоимости. И «гордые буревестники», получив определенную мзду, оказывались брошенными на произвол судьбы. Иные как-то перебивались, иные, забытые и ненужные, вовсе влачили жалкое существование. Вот ведь какой была участь тех, кто первым выбрал свободу!

Они стучались во все двери. Они предупреждали мир о разбойничьих планах Сталина. Но глухими оставались мудрые стратеги Запада. Если шифры и коды еще чего-то стоили, то взгляды и прогнозы бежавших лишь раздражали, лишь портили им настроение.

Можно сказать, что книга Брук-Шеперда[1] — о сталинских интригах против свободного мира и о тех, кто пытался ему открыть глаза. Но можно сказать и что его книга о том, сколь опасна беспечность демократического общества перед лицом тоталитаризма, какие бы формы он ни принимал. Может быть, в этом и состоит и главный урок книги Г. Брук-Шеперда.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН,
главный редактор издательства
и журнала «Время и мы»

[1] Полностью перевод выйдет в издательстве «Пик».

Австралия

ЗОРКИМ ГЛАЗОМ И СЕРДЦЕМ

«Огромный мир» — так называется шестой роман известного австралийского поэта и прозаика Дэвида Малуфа, опубликованный издательством «Чатто энд Уиндус». «Яркое, масштабное полотно австралийской жизни, охватывающее семь десятилетий», — такое определение дает книге обозреватель английского журнала «Лиснер» Эд Томасон.

...В 1942 году новобранец Вик Каррен попадает в плен к японцам, где ему предстоит томиться долгих три года. В бывшем луна-парке под названием «Огромный мир», превращенном в концлагерь, Вик познает унижения, болезни, трудности отчаянной борьбы за выживание. Здесь же он повстречает молчаливого, мужественного соотечественника по прозвищу «Австралиец Кин», вместе с которым пройдет через все испытания. История их сорокалетней дружбы и составляет стержень повествования.

Колоритный образ Австралийца наделен, по мнению рецензента, «поистине чеховской глубиной». Ярмарочный боксер в молодости, скромный ремесленник после войны, страстный книголюб и обладатель прекрасной памяти, он становится живым архивом имен и личных номеров военнопленных, хранителем судеб своих товарищей — живых и погибших. «Он — один из тех цельных, зорких глазом и сердцем персонажей, которые всегда так удаются Дэвиду Малуфу», — считает Эд Томасон.

Лейтмотивы романа — «мир» и «память». «Для Малуфа, как и для М. Кундеры, эти понятия диалектичны, взаимодополняющи — когда человек забывает о своих корнях, он теряет всякое представление о самом себе, и его внутренний мир распадается на части». Скрытая от посторонних взоров сторона жизни и есть для Дэвида Малуфа «огромный мир», мастерски им описанный. По свидетельству парижского журнала «Магазин литтерер», «новый роман Д. Малуфа вызвал в Австралии самый широкий отклик».

Великобритания

«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» НА СЦЕНЕ

Бестселлеры редко выдерживают испытание временем. Однако некоторые из них, те, что талантливо отображают социальные конфликты и психологические коллизии, характерные для эпохи, остаются в культурной памяти. Так случилось, к примеру, с романом Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» (1962), пережившим спустя полтора десятка лет после появления на свет второе рождение в экранизации Милоша Формана.

Аналогична судьба «Заводного апельсина» Энтони Бёрджесса, увидевшего свет в один год с произведением К. Кизи. В 1971 году публика вновь вспомнила об этом романе — он был экранизирован. И вот теперь Э. Бёрджесс написал по своей книге либретто музыкального спектакля «Заводной апельсин 2004 года», поставленного труппой королевского Шекспировского театра. В нем принимают участие известные рок-музыканты, хореограф — Арлен Филипс, постановщик нашумевшего бродвейского мюзикла «Звездный экспресс». Билеты на все представления закуплены вперед.

Хотя Э. Бёрджесс осовременил некоторые места своего произведения, чтобы сделать его более созвучным

Сцена из спектакля королевского Шекспировского театра «Заводной апельсин 2004 года»

(Журнал «Тайм»)

проблемам тэтчеровской Англии, сюжет остался в целом неизменным. Молодой парень Алекс — герой мира недалекого будущего, отличающегося от дня сегодняшнего разве что большей грубостью нравов и хаотичностью. Алекс и его друзья-вандалы нападают на людей, громят и уничтожают все вокруг, в конце концов совершают убийство. Самое страшное в поведении этих преступников, отмечает рецензент американского журнала «Тайм», что их поступки совершенно не подвластны разумному истолкованию. Да, они безработные, остро ощущают свою ненужность и беспомощность, накачивают себя наркотиками. И все же, подчеркивает рецензент, это не объясняет, почему они калечат людей и уничтожают чужое имущество. На поверку оказывается — просто ради забавы.

В интервью журналу «Тайм» Э. Бёрджесс так объяснил свой творческий замысел: «Нам всем кажется, что насилие является результатом какого-то психического отклонения, дурно-

го воспитания, недостатка образования. Но возьмите хулиганство футбольных болельщиков — в основном это не выходцы из неимущих пролетарских слоев, а отпрыски респектабельных буржуа. Агрессивный импульс — это первородный грех, и от него никуда не деться».

Э. Бёрджесс решил инсценировать свой роман отчасти потому, что, к его сожалению, многие англичане восприняли киноверсию «Заводного апельсина» как апологию насилия. В романе Алекс излечивается от «вируса» агрессивности, в фильме же, напротив, он снова выходит на улицу в поисках новых жертв. В связи с протестом общественности фильм был снят с британского экрана, его демонстрация по телевидению и распространение на видеокассетах невозможны и по сей день.

Гваделупа

СТРАСТИ ЗЕМЛИ АНТИЛЬСКОЙ

«Переход через мангровые леса» — так озаглавлен новый роман Маризы Конде, достойно представляющей молодую литературу Антильских островов, пишет парижский журнал «Магазин литтерер».

Основу романа составляет детективный сюжет: крестьянка обнаруживает в зарослях труп Фрэнсиса Санчера — жителя той же деревни, поселившегося здесь несколько лет назад. Прошлое Санчера оставалось тайной, ибо общества он избегал, жил в полном одиночестве и слыл «писателем»: писал какую-то книгу. (Название ее М. Конде и вынесла в заглавие своего нового романа.) О странном чужеземце по округе поползли самые невероятные слухи, его побаивались и крепко невзлюбили.

Однако загадочная смерть Санчера всколыхнула людей, заставила их на многое взглянуть иначе. В ночь траура, которую все жители деревни, следуя древнему обычаю, провели у тела убитого, каждый вспоминает историю своих отношений с Санчером. «Представив эти воспоминания в виде внутренних монологов, дающих мозаичную картину событий, писательница раскрывает причину вспыхнувшей к нему ненависти, приведшей к трагедии, — поясняет журнал. — Здесь, как и в любом преступлении, замешаны женщины, обманутые неотразимым соблазнителем».

По мнению рецензента журнала, Санчер не столько главный герой, сколько своего рода «фон», на котором отчетливо проступают характеры, мысли, переживания остальных персонажей в переломный момент: уклад их жизни и образ мышления меняются под натиском цивилизации, носителем которой и явился Санчер.

«Осознать место своего народа в современном мире — к этому стремится Мариза Конде в новом романе, написанном живым, колоритным языком, увлекательно и изящно», — заключает «Магазин литтерер».

Канада

КОГДА НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ТИШИНЕ

Местом действия своего нового романа «Обманчивая тишина» известный канадский писатель Брайен Мур выбрал город, в котором родился, — Белфаст. Здесь спокойно и благополучно живет главный герой книги Майкл Диллон, некогда мечтавший стать поэтом, а ныне преуспевающий владелец респектабельного отеля «Кларенс». Любовница Диллона, молодая журналистка Андреа, готова отказаться от соблазнительного предложения работать на Би-би-си — ей не хочется расставаться с Диллоном; однако он сам решает бросить все и уехать с ней в Лондон. Накануне отъезда Диллон собирается сообщить эту новость жене, но ему мешают странные события — если можно так назвать внезапное появление в доме четырех террористов в масках...

Обозреватель английского журнала «Лиснер» Пол Бейли отмечает сходство нового романа Б. Мура и предыдущей его книги «Цвет крови», где серьезные религиозные и политические проблемы также поднимаются в рамках напряженного детективного сюжета. «Б. Мура всегда отличало умение создавать совершенные по цельности произведения, — продолжает рецензент. — А в последних двух романах он превзошел самого себя: в повествовании — ничего лишнего; фразы — короткие, сжатые; сюжет — динамичный; все, вплоть до мельчайших подробностей, четко и упорядочено».

П. Бейли считает, что Брайен Мур даже несколько «перестарался», нагнетая тревожную атмосферу, отчего описание социального окружения персонажей кажется недостаточным. Впрочем, писать о деятельности Ирландской республиканской армии — задача не из простых, и берутся за нее редко. «Хотя автору, наверное, виднее, о чем и как писать», — иронизирует в свой адрес рецензент.

По его мнению, представленная в начале книги довольно традиционная семейно-любовная драма, как и ее неожиданное, зловещее продолжение, отчасти лишены столь характерных для произведений Брайена Мура глубины чувств и ощущения легкости и широты. «А ведь именно такое впечатление останется у читателя, когда детективные страсти отойдут на второй план», — подытоживает П. Бейли.

Брайен Мур.
(Журнал «Лиснер»)

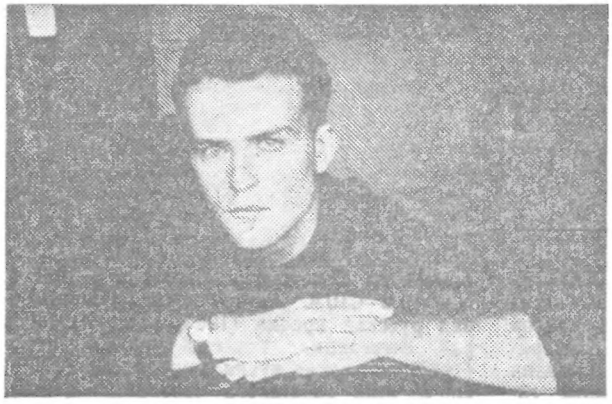
Франция

СХВАТКА СО ВРЕМЕНЕМ И СМЕРТЬЮ

Издательство «Галлимар» выпустило в свет новый роман Эрве Гибера «Другу, не спасшему мне жизнь». Это, видимо, последняя книга молодого французского писателя, умирающего сейчас от СПИДа. Роман представляет собой удивительный сплав художественности и документальности: в нем автор шаг за шагом прослеживает течение болезни и связанные с ней ощущения и переживания. «Но Эрве Гибер не только рассказывает о себе, он рисует картину новой эпохи, наступившей с начала 80-х годов, когда тесно переплелись сексуальность и смерть, когда в душах людских рядом с желанием поселился страх», — отмечает журнал «Магазин литтерер».

Книга построена на глубоко личном материале: Билл, американский промышленник и фармацевт, обнадеживает своего французского друга, пообещав ему якобы существующее чудодейственное лекарство. Однако обещания оказываются ложными, и автору предстоит познать разочарование и предательство.

Сомнения, надежды, отчаяние, одиночество, мысли о самоубийстве — таков мир Эрве Гибера ныне, таков мир любого тяжелобольного. Спасение молодой романист находит в литературе: «Когда я узнал, что скоро умру, мне захотелось написать все книги, какие задумал,— разных стилей и жанров, те, что откладывал на зрелые



Эрве Гибер. *(Журнал «Кензен литтерер»)*

годы, на старость». И Э. Гибер вступил в схватку с ускользающим временем и неумолимой смертью: каждые полгода — по книге, и вот — последняя. «Она мне теперь дороже жизни. И я счастлив, что умираю медленно, что успел завершить ее».

Особую силу придает роману предельная искренность и откровенность повествования. «Но это вовсе не та «скандальность», которой иные так ждут и втайне радуются, когда достигший художественных, писательских и других высот оказывается в конце пути «падшим» и отверженным», — замечает журнал «Кензен литтерер». Эрве Гибер в силу обстоятельств освободился почти ото всего в этой жизни и, стоя на краю пропасти, спокоен, мужествен и открыт. «От читателя потребуется не меньше подлинного мужества, спокойствия и достоинства», — заключает «Кензен литтерер».

ЮАР

ИСПОВЕДЬ АФРИКАНЕРА

Всю свою жизнь 35-летний Райен Малан, по его словам, старался быть «просвещенным африканером», «справедливым белым», что в его положении было непросто. До 1977 года он работал журналистом в Йоханнесбурге, писал репортажи о межрасовых конфликтах и одним из первых стал освещать восстание в Соуэто — крупнейшем поселении черных африканцев в ЮАР. Затем несколько лет жил в США, откуда продолжал следить за развитием событий на родине. В конце 80-х заключил контракт с бостонским издательством, заказавшим ему рукопись исторического романа о жизни нескольких поколений семьи белых южноафриканцев. Но первоначальный замысел не осуществился, и в конце концов Малан решил написать «книгу, с помощью которой я мог бы одолеть демонов, терзавших меня изнутри». Так родилась книга-исповедь, повествующая о трудноразрешимых межрасовых противоречиях в ЮАР, о моральных дилеммах белого интеллигента — противника апартеида.

В своей исповеди, названной «Мое сердце-изменник», Малан признается, что, несмотря на всю свою любовь к культуре коренного населения страны и сочувствие к черным южноафриканцам, он постоянно испытывал неосознанный страх перед ними — тот самый страх, который и заставил некогда белых завоевателей создать жестокую систему апартеида. Горькая ирония заключается в том, что Райен — дальний родственник Дэниела Малана, одного из идеологов и «архитекторов» апартеида.

По предположению автора, «Мое сердце-изменник» будет равным образом враждебно встречена и белыми и черными читателями ЮАР. «Многие черные южноафриканцы-западники будут недовольны тем, с какой симпатией я описал африканскую культуру, — сказал Р. Малан в интервью газете «Интернэшнл геральд трибюн», — а сторонникам АНК не понравится история убийства 14-летнего чернокожего подростка в Соуэто активистами АНК». Белые же, считает он, будут раздражены ярко выраженным пафосом стыда и самобичевания по поводу апартеида. Малан вспоминает, как дал посмотреть рукопись своему белому другу — журналисту и тот вернул ее, не дочитав: он обвинил автора в «нелюбви к африканерам».

Книга завершается описанием трагического случая — по словам обозревателя «Интернэшнл геральд трибюн», его можно рассматривать как печальную притчу о клубке противоречий, в который сплелись межрасовые отношения в стране. Это история семьи африканеров, которая поселилась близ зулусской деревни и многие годы помогала местным жителям осваивать современные сельскохозяйственные технологии. Во время одной из стычек между враждующими племенами глава семьи был случайно убит. Однако безутешная вдова не дала себя сломить чувству горькой безнадежности. Она говорила Р. Малану: «Доверие не может быть крепостью, надежным укрытием от жизни. Доверять опасно, но без доверия нет надежды на любовь. А любовь — это единственное средство противостоять мраку».

До сих пор неизвестно, будет ли книга издана в ЮАР, где действует закон о цензуре, ряд положений которого книга нарушает. Однако фрагменты книги уже были напечатаны в местном журнале «Лидершип».

Райен Малан.
(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

Авторы этого номера

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР (WILLIAM FAULKNER; 1897—1962) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор многих романов и рассказов об американском Юге. Большую часть своей жизни провел в небольшом провинциальном городке штата Миссисипи. Его первые произведения появились в двадцатые годы. Автор романов «Москиты» («Mosquitoes», 1927), «Сарторис» («Sartoris», 1929), «Святилище» («Sanctuary», 1931), «Свет в августе» («Light in August», 1932) и др. Книги У. Фолкнера неоднократно издавались в нашей стране. «Иностранная литература» познакомила читателей с романами У. Фолкнера «Особняк» (1961, № 9—12). «Осквернитель праха» (1968, № 1—2), «Шум и ярость» (1973, № 1—2), пьесой Фолкнера — Камю «Реквием по монахине» (1970, № 9), рассказами «Дом», «Победа», «Поджигатель» и др. Повесть «Когда я умирала» («As I Lay Dying») издана в США в 1930 г. Она войдет в том У. Фолкнера в серии «Библиотека литературы США», который готовит к печати издательство «Художественная литература».

ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ (ZBIGNIEW HERBERT; род. в 1924 г.) — польский поэт, эссеист, драматург. Лауреат нескольких международных премий, а также премии польского ПЕН-клуба (1989). Автор книг стихов «Струна света» («Struna swiatla», 1956), «Гермес, пес и звезда» («Hermes, pies i gwiazda», 1957), «Исследование предмета» («Studium przedmiotu», 1961), «Надпись» («Napis», 1969) и др., книги эссе, сборника пьес («Dramaty», 1971). Публикуемые стихи взяты из книг «Господин Когито» («Pan Cogito», Warszawa, Czytelnik, 1974) и «Рапорт из осажденного города» («Raport z oblezonego miasta», Paryz, Instytut Literacki, 1983).

ЧЕСЛАВ ДЗЕКАНОВСКИЙ (CZESLAW DZIEKANOWSKI; род. в 1943 г.) — польский прозаик. По образованию филолог. Дебютировал в литературе в 70-е годы. Автор романа «Селекционер» («Celekcjoner», 1980), книги о творчестве В. Мысливского (в «ИЛ» опубликован роман В. Мысливского «Камень на камень», 1986, № 7—9). Повесть «Frutti di mare» вышла в Польше в 1990 г. (Warszawa, Iskry). Печатается по рукописи, с сокращениями.

ПЕТР ВАЙЛЬ (род. в 1949 г.) и **АЛЕКСАНДР ГЕНИС** (род. в 1953 г.) — литературные критики, журналисты. Эмигрировали из Советского Союза и с 1977 г. живут в США. Авторы книг: «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990).

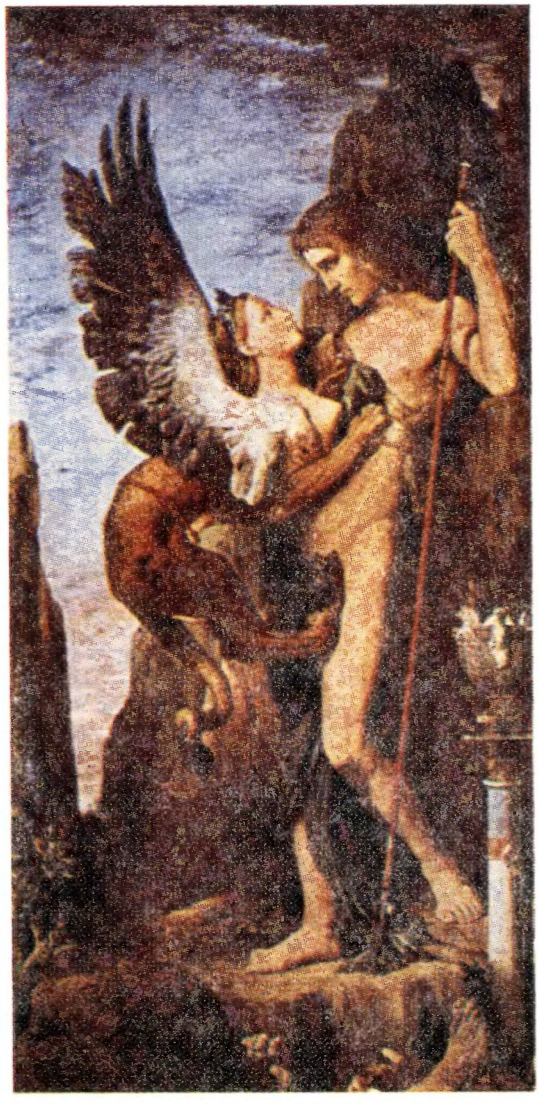
АРХИПОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1943 г.) — советский критик, литературовед, переводчик с немецкого. Кандидат филологических наук. Автор работ о немецкоязычной литературе XIX—XX вв. В его переводе издавались повести Р.Вальзера, В. Шнурре, Г. Грасса «Встреча в Тельгте» («ИЛ», 1983, № 5), рассказы Г. Броха, Й. Рота, пьесы М. Фриша, Э. Хорвата и др.

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род в 1957 г.) — советский китаевед, кандидат экономических наук. Автор статей по проблемам современной китайской экономики, опубликованных в научных изданиях. В «ИЛ» напечатаны его статьи: «Китай: десять лет по пути обновления» (1988, № 5), «Китай: истоки политического кризиса» (1989, № 11).

Переводчики:

ГОЛЫШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (род. в 1937 г.) — переводчик с английского. В его переводах издавались романы Р. П. Уоррена «Вся королевская рать», У. Фолкнера «Свет в августе», К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», Т. Уайлдера «Теофил Норт» («ИЛ», 1976, № 6—8), фантазия для маленького экрана В. С. Найпола «Флаг над островом» («ИЛ», 1981, № 4), повести Д. Хэммета «Большой налет» и «106 тысяч за голову» («ИЛ», 1988, № 7) и др.

БРИТАНИШСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (род. в 1933 г.) — советский писатель, переводчик, полонист. Автор книг стихов, прозы, статей и очерков о польской литературе. За переводческую деятельность удостоен польской премии «Заикс». В «Иностранной литературе» печатались его статьи и переводы из поэзии Я. Ивашкевича, Т. Ружевича, З. Херберта, С. Е. Леца, Т. Боровского и др.



Эдип и Сфинкс

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 8, 1—256

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394